ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРАВДЕ

РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО

ВЫПУСК 1

2

О трагических судьбах
миллионов советских
видных деятелей партии,
крупнейших
ученых, врачей,
представителей

об

людей,

оеначальников,

ворческой интеллигенции,

одвергшихся репрессиям,

тмосфере беззакония,

в которой проходили

судебные процессы

тридцатых годов.

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ПРАВДЕ**

На второй и третьей сторонах обложки помещены (с разрешения Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР) фотографии:

Вторая сторона	Третья сторона
Верхний ряд (слева направо)	Верхний ряд (слева направо)
Бухарин Н. И. Каменев Л. Б. Мейерхольд В. Э.	Окунев Г. С.
Второй ряд	Второй ряд
Горбатов А. В. Тухачевский М. Н.	Бубнов А. С.
Третий ряд	Третий ряд
Косарев А. В. Кольцов М. Е. Раскольников Ф. Ф.	Вознесенский Н. А. Смородин П. И. Мильчаков А. И.
Четвертый ряд	Четвертый ряд
Томский М. П. Крестинский Н. Н.	Попков П. С. Чаянов А. В.

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ПРАВДЕ**

РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО

Второе издание

Москва
«Юридическая литература»
1989

67.3
Р 36

Составители:
Ф. А. Карманов
С. А. Панов

Р $\frac{1203010000-107}{012(01)-89}$ без объявл.

ISBN 5-7260-0281-4

Возросший интерес к недавней истории нашей страны в значительной мере обусловлен потребностью в исторической правде. «...Восстановление справедливости по отношению к жертвам беззакония — наш политический и нравственный долг», — подчеркнул на XIX Всесоюзный конференции КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.

Задумывая этот сборник, мы не ставили перед собой цель включить в него все публикации центральной прессы, посвященные теме сталинских репрессий, а старались отобрать материалы, с достоверностью свидетельствующие о полном игнорировании в те мрачные времена правовых норм. При этом мы учитывали, что наше издание такого рода не единственное. Нельзя не сказать и о том, что жанровое разнообразие публикаций, не одинаковые формы подачи в определенной степени затруднили композиционное построение книги. Поэтому материалы, собранные в ней, не связаны между собой хронологически или по какому-либо иному признаку.

Лишь немногие из тех, о ком рассказывается в публикациях, дожили до наших времен, когда восстанавливается справедливость. Большинству суждено было погибнуть. Поэтому первый и второй выпуски сборника называются «Реабилитирован посмертно». Однако в них рассказывается не только о жертвах, но и об инициаторах и исполнителях беззаконий.

Вниманию читателей предлагаются также публикации, авторы которых предпринимают попытку проанализировать такое явление, как «сталинизм».

Издание подобного рода сборников приобретает особо важное значение, поскольку материалов на тему сталинских репрессий появляется все больше и уследить за ними не так просто.

Все статьи, беседы, интервью включены в сборник в том виде, в каком они опубликованы в периодической печати. Авторская трактовка тех или иных событий нами практически сохранена. Это относится и к фактической основе. Незначительная правка вызвана необходимостью исправления отдельных неточностей.

ВЫПУСК

Курицын В. М.,
доктор юридических наук, профессор

1937 год: истоки и практика культа

(Вместо введения)

Впечатляющий урок исторической правды преподали XXVII съезд КПСС, XIX Всесоюзная партийная конференция и Пленумы ЦК КПСС (начиная с апрельского 1985 года).

Не случайно именно сейчас, в условиях перестройки, так необычайно возрос интерес самых широких масс советского народа к истории Советского государства в целом и в особенности к тем ее страницам, которые длительное время столь тщательно замалчивались. Одна из этих страниц — массовые репрессии 30-х — начала 50-х. годов.

Когда речь идет о массовых репрессиях этих лет, то обычно говорят о 1937 годе. В действительности волна репрессий началась еще в конце 20-х годов и завершилась в начале 50-х годов со смертью Сталина. Однако апогея эти репрессии достигли в 1937 году. Поэтому именно этот год и запечатлен в памяти народа как страшный год «ежовщины» (по имени Н. И. Ежова, бывшего тогда наркомом внутренних дел СССР, — непосредственного организатора и исполнителя этих незаконных репрессий).

Коммунистическая партия на XX и XXII съездах сурово осудила культ личности Сталина и его последствия, массовые незаконные репрессии. После XX съезда партии политические обвинения против ряда деятелей партии и государства, против многих коммунистов и беспартийных, хозяйственных и военных кадров, ученых и деятелей культуры были сняты. Тысячи безвинно пострадавших полностью реабилитированы. Но процесс восстановления справедливости не был доведен до конца и фактически приостановлен в середине 60-х годов. Октябрьский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС принял решение вновь вернуться к рассмотрению этих вопросов и довести процесс восстановления справедливости до конца.

Исчерпывающая политическая оценка репрессий 30-х —

начала 50-х годов была дана в докладе М. С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается».

История Советского государства 30-х — начала 50-х годов еще далеко не изучена. А она была весьма сложной и противоречивой и еще ждет своих исследователей.

Но уже сейчас публикуется преимущественно в общественно-политических журналах и газетах большое количество статей, содержащих ценную и новую информацию о конкретных судебных делах, судьбах невинно пострадавших людей. В данном сборнике как раз и собраны наиболее значительные и интересные статьи.

О причинах, истоках культа в этих статьях говорится, как правило, глухо. Объясняя причины репрессий, одни авторы сводят их к свойствам характера Сталина: его мнительности, подозрительности, холодной беспощадности. Другие ищут причину в отклонениях в психике Сталина. Некоторые объясняют репрессии тем, что Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства, или тем, что он извратил ленинское понимание социалистической демократии. Все перечисленные факторы безусловно сыграли свою роль в массовых репрессиях 30-х — 50-х годов. Но нетрудно заметить, что все они, в конечном счете, сводятся к злой воле Сталина, т. е. лишь к субъективным факторам. Безусловно, Сталин несет главную ответственность за массовые репрессии 30-х — начала 50-х годов. Они проводились по его инициативе и под его контролем. Он же подбирал и исполнителей для этих репрессий. Но как бы ни была велика роль этой личности, все же нельзя все сводить лишь к Сталину. Он опирался на свое окружение, большой круг «соратников», помощников и исполнителей. Культ Сталина сопровождался культами лиц из его окружения (Молотова, Кагановича, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Ежова, Берии и др.), культиками на местах. Сталин стоял во главе бюрократической административно-командной системы управления, опирался на нее и, в конечном счете, выражал ее интересы и тех социальных сил, которые ее питали. Поэтому следует вести речь не только о Сталине, но и о сталинизме (как системе управления), его истоках, причинах и условиях появления. Только выявив эти причины и условия (как субъективные, так и объективные), можно выработать надежный механизм, препятствующий повторению подобных явлений. Если же свести все только к личности Сталина, то где гарантия, что не появится вновь личность и не попытается вновь возродить культ.

Тем более, что элементы возрождения культа уже имели место и со стороны Хрущева, и особенно со стороны Брежнева. Правда, здесь нужно признать справедливость меткого замечания Маркса о том, что история повторяется дважды: первый раз как трагедия, а второй раз как фарс.

Так каковы же истоки культа? Представляется, что режим культа — это наиболее крайнее, уродливое проявление бюрократической системы управления, когда чиновничий аппарат, с его строго централизованной иерархией, сосредоточивает в своих руках реальную бесконтрольную власть, подминая под себя, оттесняя от власти демократические институты. Именно поэтому XIX Всесоюзная партийная конференция, разрабатывая систему мер, гарантирующих от попыток узурпации политической власти и возрождения режима личной власти и культа личности, на первое место поставила (наряду с экономической реформой) демократизацию политической системы, гласность, борьбу с бюрократизмом.

Исторический опыт Советского государства свидетельствует, что с первых дней его существования наглядно проявились две основные тенденции в его развитии. Одна из них — тенденция к демократизации, расширению участия трудящихся масс в управлении делами общества и государства. Она обусловлена была самой природой социализма, ибо социалистическая революция — величайшее проявление творческой активности масс, их социалистического выбора. Ведь даже сама политическая форма нашего государства — Советы как органы государственной власти и самоуправления трудящихся родились из исторического опыта масс.

Однако вскоре выявилась и другая тенденция: к бюрократизации, усилению власти аппарата. Чем она объяснялась? Сама социалистическая революция — это акт революционного насилия. Революционное переустройство общества, экспроприация частной собственности, подавление свергнутых эксплуататоров, защита завоеваний революции — все это требовало применения революционного насилия, порой весьма жесткого организованного принуждения. А для этого был нужен сильный централизованный государственный механизм пролетарской диктатуры. Именно пролетарское государство с его мощным аппаратом призвано было стать главным орудием социалистического строительства.

В ходе социалистической революции национализированы были основные средства производства, которые стали государственной социалистической собственностью. Управление ею от

имени трудящихся стало одной из основных функций государственного аппарата. Как известно, до Октябрьской социалистической революции и в первые годы после нее в марксистской теории был общепринят тезис о том, что с переходом средств производства в руки общества товарное производство и обращение отомрут, товарообмен будет заменен прямым продуктообменом, а денежный учет — учетом общественного труда непосредственно в рабочем времени. Считалось, что такие экономические категории, как товар, стоимость, деньги, цена, заработная плата, присущи только капитализму, а при социализме они также отомрут. Предполагалось, что труд станет первой жизненной потребностью человека. Но поскольку для подавляющего большинства населения он, к сожалению, таковой потребностью не стал, то стимулом к труду должно было явиться «революционное насилие». Причем идея принудительного труда сочеталась с уравнительностью в его оплате. Недаром в декрете СНК от 14 ноября 1919 г. «О рабочих дисциплинарных товарищеских судах» для нарушителей трудовой дисциплины и лиц, не выполнявших норм выработки без уважительных причин, предусматривались наказания до 6 месяцев заключения в лагере принудработ. Лагерь полагался и крестьянам за недосев, невыполнение продразверстки и иных повинностей. Иными словами, принуждение, страх наказания рассматривались как важный стимул к труду. Следовательно, принуждение, страх наказания становились неотъемлемым элементом производства. А это означало, что для функционирования производства была необходима целая армия надсмотрщиков — чиновников госаппарата.

В связи с национализацией основных средств производства и переходом их в государственную собственность в сферу государственного управления практически была включена вся экономика страны, безмерно расширилось число объектов государственного управления. Все это влекло за собой и рост аппарата управления.

Нужно иметь в виду, что в России к моменту революции партии мелкобуржуазной демократии, осуществлявшие руководство кооперативным движением, заняли колеблющуюся, а то и контрреволюционную позицию. Это вело к тому, что и в коммунистической партии, и в среде трудящихся масс утверждалось представление о государственной собственности, управляемой госаппаратом, как главном, а то и единственном виде социалистической собственности. Все это способствовало развитию тенденции к бюрократизации. Классики

марксизма-ленинизма предвидели возможность такой тенденции в социалистическом государстве и считали методами борьбы с нею демократический контроль масс за аппаратом управления, широкую гласность и сменяемость чиновников. Социализм создает возможность такого демократического контроля масс. Ведь социалистическая революция — результат живого творчества масс, она развязывает их величайшую активность.

Выступая на февральском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС, М. С. Горбачев подчеркнул, что задача социализма (в конечном счете) — покончить с социальным отчуждением человека, отчуждением от власти, от средств производства, от результатов своего труда, от духовных ценностей. Октябрьская революция открыла путь к решению этой исторической задачи. Принципиальными шагами власти трудящихся в этом направлении были отмена частной собственности на средства производства, ликвидация эксплуатации человека человеком.

Однако революция лишь открыла путь к решению этой задачи. Само же ее решение — это длительный и сложный процесс. И главная трудность состояла в выработке такой системы отношений в процессе производства, которые бы сочетали интересы общества и личности, создавали для личности достаточно действенные стимулы к труду, делавшие ненужными чиновников-надсмотрщиков.

В России выработку такой системы экономических отношений, а следовательно и преодоление тенденции к бюрократизации затрудняли условия, в которых проходило строительство социалистического общества: ожесточенная гражданская война, длительное нахождение в состоянии «осажденной крепости» в капиталистическом окружении, что создавало объективную необходимость применения чрезвычайных методов управления и его централизации.

В наиболее завершенном, «классическом» виде представления раннего социализма были реализованы на практике в виде системы военного коммунизма в годы гражданской войны, с его продразверсткой, уравнительным распределением (классовые пайки), всеобщей трудовой повинностью и иными (топливной, гужевой и т. д.) повинностями. Именно тогда впервые пышным цветом расцвела административно-командная система управления, а волевые, «авторитарные», методы управления стали применяться не только в экономике, но и в других сферах общественной и государственной жизни. Не случайно именно тогда (в 1920 году) Ленин выступил с

предупреждением об опасности бюрократизации. Известна оценка Лениным политики военного коммунизма как политики вынужденной условиями войны, не отвечавшей задачам социалистического строительства. Но ведь эта оценка была дана уже после отказа от военного коммунизма в 1921 году. А в годы гражданской войны его рассматривали вовсе не как сумму военно-мобилизационных мероприятий, а как магистральный путь к коммунизму.

Прозрение пришло, когда военный коммунизм, с его продразверсткой, уравнительным распределением, системой повинностей, ставкой на принуждение к труду, после окончания гражданской войны пришел в столкновение с интересами трудящихся (прежде всего крестьянства) и породил экономический и политический кризис 1921 года. И голод 1921 года был вызван не только разорением страны в результате гражданской войны и не только засухой, но и тем, что в условиях военного коммунизма крестьяне, не заинтересованные экономически в результатах своего труда, резко сократили посевные площади. И никакие специально созданные органы — посевкомы с их набором административных и уголовных наказаний за недосев и недосбор урожая не могли с этим справиться.

Величие Ленина состояло в том, что он отбросил догмы, не оправдавшие себя в жизни, и смело пошел по пути творческого развития теории социалистического строительства.

Провозглашенный в первой половине 20-х годов по инициативе Ленина курс на «оживление» Советов и демократизацию государственной и общественной жизни был органически связан с экономической реформой начала 20-х годов: отменой продразверстки, трудовой повинности, известной децентрализацией управления государственным сектором (ликвидацией «главкизма»), внедрением хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. Переход реального управления и распоряжения государственной собственностью в руки самоуправляющихся трудовых коллективов — трестов (при сохранении, разумеется, верховного права распоряжения ею за государством); развитие разнообразных форм кооперации (по выражению Ленина: создание строя «цивилизованных кооператоров») — все это подрывало экономические корни бюрократизма, поскольку обеспечивало экономическую независимость трудовых коллективов от чиновников, а следовательно, создавало экономические условия для развития советской демократии. Конечно, концепция самоуправления трудовых коллективов или, как тогда выражались, «производственной

демократии» и ее сочетания с государственным управлением в то время еще не была разработана (да она и теперь еще не разработана в должной мере). Развитие этой концепции сдерживали во многом объективные трудности: наличие многоукладной экономики, опасность перекачки средств (в случае несоблюдения меры в развитии товарно-денежных отношений) из социалистического сектора в капиталистический. Но даже и в таком виде сочетание государственного управления с самоуправлением в трудовых коллективах (как в государственном секторе, так и в кооперативном), в низовых административно-территориальных единицах составляло генеральный путь развития советской демократии и преодоления опасной тенденции к бюрократизации. Важными элементами политики демократизации Ленин считал гласность, открытость, подконтрольность аппарата трудящимся массам (через Советы, общественные организации), сменяемость должностных лиц.

В конце 20-х — начале 30-х годов возникла объективная необходимость в существенном ускорении темпов социально-экономического развития, скорейшем создании индустриальной базы и военно-экономического потенциала. Необходимость скорейшего преодоления индустриальной и военной отсталости страны диктовалась главным образом обострением международной обстановки.

В 1929 году начался мировой экономический кризис. И у ведущих империалистических держав возникал соблазн решить свои проблемы за счет СССР. Особенно тревожным было положение в Германии. Установленная Веймарской конституцией 1919 года буржуазная республика в Германии разваливалась. Приход к власти Гитлера (а такая угроза стала реальной) означал неизбежную войну. На наших дальневосточных рубежах нарастала угроза агрессии со стороны японских милитаристов.

Анализируя ситуацию конца 20-х — начала 30-х годов в настоящее время, некоторые советские публицисты и историки утверждают, что угроза агрессии против СССР в те годы была не столь сильна, что были возможности при более правильной внешней политике, и особенно политике в отношении Коминтерна, оттянуть войну. Сейчас трудно судить об этом. Ведь далеко не все зависело от политики тогдашнего руководства нашей страны. Свою весомую лепту в создание условий для прихода к власти Гитлера и затем в развязывание второй мировой войны внесли руководители правительств и политических партий стран Запада. Колесо истории невозможно

повернуть вспять и переиграть исторические события заново. Но советские люди, жившие в то время, чувствовали нараставшую угрозу войны. Об этом свидетельствуют как многочисленные исторические документы, так и мемуарная литература и периодическая печать тех времен.

Однако советские вооруженные силы в конце 20-х — начале 30-х годов по своему техническому оснащению стояли еще на уровне времен гражданской войны и их способность выдержать прямое военное столкновение с армиями развитых империалистических держав и защитить страну от иностранной агрессии вызывала серьезные сомнения.

Переоснащение вооруженных сил современным по тем временам вооружением наталкивалось на слабость военно-экономического потенциала страны. Ведь у нас не было в то время своей авиационной, автомобильной, тракторной, танковой и многих других важных для обороны отраслей промышленности. Ощущалась острая нехватка металлов. В 1929 году СССР выплавлял лишь 4 млн. т чугуна, в то время как Германия — 13,2 млн. т, а США — 43 млн. т[1].

Необходимость ускорения индустриализации понимали все: и народные массы, и партийные и государственные руководители. Однако все понимали и другое: поскольку индустриализация должна проводиться исключительно за счет внутренних ресурсов, то она могла быть проведена лишь за счет крайнего напряжения всех сил страны. Какова должна быть степень этой напряженности и, соответственно, темпы ускорения, где взять необходимые средства? И вот тут единства не было. Часть руководящих деятелей: члены Политбюро Н. И. Бухарин, А. И. Рыков (он же председатель Совнаркома СССР), М. П. Томский и другие отстаивали путь индустриализации, основывавшийся на методах новой экономической политики. Суть их предложений сводилась к необходимости накопления средств для индустриализации, в том числе создания тяжелой индустрии и военно-экономического потенциала за счет расширения и ускорения гражданского оборота в стране, что должно было привести к увеличению прибылей и отчислений от них в госбюджет. Это ускорение было связано как с развитием легкой промышленности и производства товаров потребления, так и с развитием сельского хозяйства, различных форм кооперации в деревне (сбытовой, снабженческой, промысловой, товариществ по совместной обработке земли,

[1] См.: История КПСС. М., 1962, с. 448.

эксплуатации машин и т. д.). Достоинством этого пути была сбалансированность между различными отраслями народного хозяйства, он создавал также условия для ускорения демократизации советского общества. В таком духе и был составлен под руководством Г. М. Кржижановского первоначальный проект первого пятилетнего плана. Однако этот путь недостаточно учитывал фактор времени. Правда, если принять во внимание, что курс внутренней политики, намеченный Бухариным и его сторонниками, сочетался с предлагавшимся ими же курсом в международном рабочем движении на преодоление его раскола, создание единого народного фронта в борьбе против фашизма, то это давало надежду на оттягивание войны. Но сейчас трудно судить, мог ли такой путь привести к своевременному преодолению индустриальной отсталости и созданию необходимого военно-экономического потенциала.

Иной путь предлагал Сталин и его сторонники. Он был нацелен на скорейшую индустриализацию любой ценой. Необходимые для этого средства Сталин предлагал взять за счет «дани» с крестьянства. Об этом он прямо заявил, выступая с речью «Об индустриализации и хлебной проблеме» в июле 1928 года на Пленуме ЦК ВКП(б)[1]. Обосновывая принятый в 1928—1929 годах курс на резкое ускорение темпов реконструкции народного хозяйства, и прежде всего индустриализации страны, Сталин утверждал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»[2]. Примечательно, что эти слова были сказаны в речи на I Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в феврале 1931 года — ровно за десять лет до начала Великой Отечественной войны. Характерно, что в 1929 году Сталин, ссылаясь на исторический прецедент, напомнил, что Петр I «лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны» в попытке любой ценой, за счет неимоверных лишений и жертв «выскочить» из тисков отсталости[3].

Чтобы взять дань с крестьянина-единоличника нужно было бы воссоздавать вооруженную силу типа продармии времен гражданской войны. Наиболее удобной формой изъятия хлеба

[1] См.: Сталин И. В. Соч., т. 11, с. 159.
[2] Сталин И. В. Соч., т. 13, с. 39.
[3] См.: Сталин И. В. Соч., т. 11, с. 248—249.

в деревне были колхозы. Ведь там хлеб сразу засыпался в общий амбар и его вывоз уже не вызывал сопротивления. Этими соображениями в значительной мере и была обусловлена поспешная насильственная коллективизация. Она дала тот результат, на который рассчитывал Сталин. Несмотря на общее снижение валового сбора зерна с 73,3 млн. т в 1928 году до 69,5 млн. т в 1931 году и 69,9 млн. т в 1932 году[1], государственные заготовки хлеба возросли вдвое (с 10,8 млн. т в 1928 году до 22,2 млн. т в 1931 году и 22,7 млн. т в 1932 году)[2]. Неизмеримо возрос экспорт хлеба (с 99,2 тыс. т в 1928 году до 4,84 млн. т в 1930 году и 5,18 млн. т в 1931 году)[3]. Так была получена валюта для индустриализации. Именно на эту валюту покупались машины, оборудование, оплачивались услуги иностранных специалистов-консультантов. Ведь СССР в начале 30-х годов стал крупнейшим импортером машин и оборудования. Достаточно сказать, что в 1931 году удельный вес СССР в мировом импорте машин и оборудования (без автомобилей) достиг 30 %, а в 1932 году — 50 %[4].

Так решалась зерновая проблема в стране и проблема получения валюты для индустриализации.

Конечно, продовольственная проблема в стране могла быть радикально решена только на путях коллективизации сельского хозяйства. Однако формы и методы ее проведения могли быть и иными. Те формы и методы коллективизации, которые были избраны Сталиным и его окружением, не случайно вызывают сейчас справедливую критику. М. С. Горбачев в юбилейном докладе, говоря о методах проведения коллективизации, отметил: «Сегодня ясно: в огромном деле, которое затрагивало судьбы большинства населения страны, было допущено отступление от ленинской политики по отношению к крестьянству»[5]. Сложившаяся в промышленности административно-командная система управления была распространена и на сельское хозяйство. Если в промышленности при тогдашних ее объемах, когда все основные ее объекты были на виду,

[1] Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917—1963). М., 1964, с. 127.

[2] Там же, с. 112.

[3] См.: Индустриализация СССР (1929—1932 гг.) Док. и мат. М., 1970, с. 104.

[4] См.: 50 лет советской внешней торговли. М., 1967, с. 41.

[5] Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 19—20.

эта система в тех конкретных условиях могла давать определенный эффект, то «столь же жесткая система централизации и командования была недопустима при решении задач преобразования деревни»[1]. Вот лишь некоторые факты, подтверждающие этот тезис: 10 декабря 1929 г. Колхозцентр СССР разослал на места директиву, в которой потребовал в трехмесячный срок провести кампанию по обобществлению рабочего продуктивного скота, а в отношении тех членов коммун и сельхозартелей, кто откажется от обобществления скота и кормов, принять решительные меры воздействия. К окончанию весенней сельхозкампании 1930 года нужно было добиться обобществления в районах сплошной коллективизации рабочего скота — на 100 %, коров — на 100 %, прочего крупного рогатого скота — на 80 %, свиней — на 80 %, овец — на 60 %. Одновременно в директиве колхозам предлагалось срочно подготовить помещения и заготовить корма для обобществленного стада (это в декабре, когда все под снегом)[2].

Попытки проведения в жизнь директивы от 10 декабря 1929 года (и других подобных директив) привели к тому, что многие крестьяне стали резать свой скот. Лишь в феврале-марте 1930 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 14,6 млн. голов, свиней — на $^1/_3$, овец и коз — более чем на $^1/_4$[3]. Общие потери скота в начале 30-х годов были еще большими. Последствия столь резкого падения поголовья скота страна испытывала многие десятилетия. Такова цена скоропалительных, некомпетентных решений, принимавшихся в условиях жестко зацентрализованной административно-командной системы управления сельским хозяйством. Резкое увеличение государственных заготовок и, особенно, экспорта хлеба, естественно, вело к существенному снижению потребления продовольствия самим крестьянством, что и привело к голоду 1932—1933 годов, в результате которого умерло от 2 до 3 млн. человек[4]. Острая нехватка продовольственных товаров влекла за собой рост хищений, особенно в колхозах.

[1] Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 19.

[2] См.: Колхозцентр. Двухнедельный информационный бюллетень Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов. 1929, № 24, с. 8.

[3] См.: История КПСС, с. 444.

[4] См.: Данилов В. П. Дискуссия в западной прессе о голоде 1932—1933 годов и «демографической катастрофе» 30—40-х годов в СССР. — Вопросы истории, 1988, № 3, с. 120.

В экстремальных условиях и борьба с хищениями, принимавшими массовый характер, велась столь же экстремальными средствами. 7 августа 1932 г. было издано постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»[1]. В нем расхитители общественной собственности объявлялись «врагами народа». К ним предусматривалось применение высшей меры наказания с заменой при смягчающих обстоятельствах расстрела лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества.

22 августа 1932 г. было принято постановление «О борьбе со спекуляцией», предусматривавшее за спекуляцию продуктами сельского хозяйства и промтоварами лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без применения амнистии[2].

Как известно, коллективизация сопровождалась ликвидацией кулачества как класса. Это означало изъятие у кулаков имущества, прежде всего средств производства (инвентаря, рабочего скота, хозяйственных построек и т. д.), и выселение их с прежнего места жительства. Началось проведение этих мер еще в конце 1929 года по инициативе снизу. По словам И. М. Варейкиса (в то́ время первого секретаря обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной области) на местах действовали «на собственный риск и страх»[3]. И проводили не только конфискации и выселение, но и применяли более суровые репрессии, для чего в районах сплошной коллективизации создавались «тройки» (в составе первого секретаря РК партии, председателя райисполкома и начальника местного органа ГПУ).

Постановление ЦИК и СНК от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» наделило местные органы, по существу, чрезвычайными полномочиями. Постановление предоставляло краевым (областным) исполкомам и правительствам автономных республик право применять в районах сплошной коллективизации «все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть

[1] СЗ СССР, 1932, № 62, ст. 360.
[2] СЗ СССР, 1932, № 65, ст. 375.
[3] См.: Источниковедение истории советского общества. М., 1964, с. 283.

до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев (областей)»[1].

Конкретные меры были разработаны комиссией Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством наркома земледелия СССР Я. А. Яковлева и изложены в специальной директиве ЦИК и СНК от 4 февраля 1930 г.[2]. Комиссия предложила дифференцированный подход к кулачеству. Оно разделялось на три категории. Первая из них — кулаки, оказывающие активное сопротивление коллективизации, ко второй причислялись наиболее богатые кулаки, но не оказывавшие активного сопротивления. К третьей категории относились все остальные кулаки.

В соответствии с действовавшими в то время социально-экономическими критериями, которые были изложены в постановлении СНК СССР от 21 мая 1929 г. «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде»[3], перед началом коллективизации в деревне насчитывалось свыше 1 млн. семейств, причисленных к кулацким (примерно 5 млн. человек)[4]. Численность кулаков была явно завышена. Кулаков в прямом смысле этого слова (т. е. сельской буржуазии, эксплуатировавшей в широких масштабах наемный труд в сельском хозяйстве, содержавшей торгово-промышленные предприятия, занимавшейся ростовщичеством) было уже сравнительно немного. По подсчетам историков, не более 2—2,5 %. В соответствии с критериями, изложенными в упомянутом выше постановлении СНК, к кулацким причислялись крестьянские хозяйства, у которых объем имевшегося имущества превышал средний для данной местности уровень (например, имелось 2—3 коровы, дом под железной крышей и т. д.). Иными словами, к раскулачиванию намечалась зажиточная, т. е. наиболее активная, умелая и трудолюбивая часть крестьян. Раскулачивание, т. е. конфискация имущества и выселение, производилось в административном порядке. Списки подлежавших раскулачиванию и их причисление к той или иной категории кулаков подготавливались местными органами власти, принимались сельскими сходами и утверждались райисполкомами. С конца 1929 года до середины 1930 го-

[1] СЗ СССР, 1930, № 9, ст. 105.

[2] См.: О работе комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам сплошной коллективизации. — Вопросы истории КПСС, 1964, № 1, с. 42.

[3] СЗ СССР, 1929, № 34, ст. 301.

[4] См.: Советское крестьянство. Краткий очерк истории (1917—1969). М., 1970, с. 230.

да было раскулачено свыше 320 тыс. семей, конфисковано имущество стоимостью более 400 млн. руб.[1]. С осени 1930 года до лета 1931 года прошла вторая волна раскулачивания. Значительная часть бывших кулаков переселялась в пределах своих областей. Однако к осени 1931 года свыше 265 тыс. семей, отнесенных ко второй категории, было выслано в отдаленные районы страны[2]. Там их размещали в отдельных поселках, главным образом в местах лесных и горнорудных разработок в качестве спецпоселенцев под административным надзором. Что касается кулаков, причисленных к первой категории (т. е. оказавших активное сопротивление), то они составляли примерно 10 % от общей численности кулацких семейств[3]. К ним применялись как в судебном, так и внесудебном (по решению «троек») порядке меры наказания вплоть до высшей меры. Но в подавляющем большинстве случаев они направлялись в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ.

В начале 30-х годов аналогичные мероприятия стали проводиться и в городах в отношении нэпманских и иных слоев населения. Общая численность в стране элементов, которые определялись как классово-враждебные, включая кулаков и нэпманов, в 1928 году составляла 4,6 % населения[4]. Это сравнительно небольшой процент. Однако, если учесть, что население страны в начале 30-х годов составляло около 160 млн. человек[5], это и немало. Тем более, что вследствие «перегибов» на местах процент раскулаченных и репрессированных нередко значительно превышал установленные нормативы и доходил в некоторых местностях до 15 %[6]. Таким образом, раскулачивание практически захватило и значительную часть крестьян-середняков.

Лица, подлежавшие раскулачиванию, нередко пытались распродать или даже бросить свое хозяйство и бежать в крупные города (где легко затеряться) или на новые стройки. По подсчетам советских историков, в 1929—1930 годах «самораскулачивались» и бежали из деревни свыше 200 тыс. подлежавших раскулачиванию семейств или около 1 млн. человек[7]. В свя-

[1] См.: Советское крестьянство, с. 237.
[2] См.: История КПСС, т. 4, кн. 2. М., 1971, с. 164.
[3] См.: Советское крестьянство, с. 240, 235.
[4] См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 491.
[5] См.: Народное хозяйство СССР в 1962 г. Статистический ежегодник. М., 1963, с. 7.
[6] См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 62.
[7] См.: Советское крестьянство, с. 239.

зи с этим в городах резко усилились уголовная преступность, главным образом злостное хулиганство, пьянство и пьяная «поножовщина», имущественные преступления, посягательство на личность. В этой обстановке Советским государством была в декабре 1932 года введена паспортная система сначала в Москве, Ленинграде и других крупных и портовых городах[1], а в дальнейшем и в других городах и поселках городского типа. Введение в паспорте графы о социальном происхождении направлено было на пресечение попыток лиц, причисленных к классово враждебным элементам, скрыться от направленных против них мер. Эта графа в паспорте была аннулирована Положением о паспортах 1974 года. Вместе с тем введение паспортной системы в том виде, как она была определена в законодательных актах 1932 и 1940 годов, было направлено на прикрепление крестьян к деревне, к колхозу, против их миграции в города. Ведь в сельской местности паспорта не вводились, а в городе жить без паспорта и прописки было нельзя.

Важное место в сталинском плане индустриализации заняла идея массового применения труда уголовно арестованных. Эта идея была выдвинута Н. Янсоном (тогда зам. наркома РКИ РСФСР) в его письме Сталину в 1928 году[2]. Массовая рабочая сила для применения бесплатного труда была создана первоначально за счет раскулачивания.

Как уже говорилось, в соответствии с установленными тогда социально-экономическими критериями в разряд классово враждебных элементов было зачислено 4,6 % населения (от более чем 160 млн. человек населения страны). В процессе коллективизации фактически репрессии затронули гораздо большее число людей (в основном крестьян-середняков), в ряде регионов до 15 %[3]. Значительная часть их была направлена в исправительно-трудовые лагеря, сеть которых была в начале 30-х годов существенно расширена; часть была выслана в отдаленные местности в качестве спецпоселенцев под административный надзор. Кроме раскулаченных, туда же хлынул из города поток нэпманов, бывших членов антисоветских партий, бывших участников различных оппозиций, в большинстве своем давно отошедших от всякой политической деятельности, бывших офицеров, старой интеллигенции и т. д. В даль-

[1] СЗ СССР, 1932, № 84, ст. 516.
[2] См.: Сов. государство и право, 1988, № 2, с. 115.
[3] См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 62.

нейшем численность рабочей силы в лагерях поддерживалась за счет массы ни в чем не повинных граждан, коммунистов и беспартийных. Их труд широко использовался на строительстве дорог, каналов, нулевых циклах крупных строек, добыче полезных ископаемых, на лесоразработках. Достаточно сказать, что экспорт деловой древесины, например в начале 30-х годов, увеличился по сравнению с серединой 20-х годов в три раза.

Для того, чтобы убедить народные массы в необходимости и оправданности репрессий против старой интеллигенции, и были инсценированы судебные процессы так называемой «Промпартии» в 1930 году, когда на скамью подсудимых была посажена группа ученых во главе с проф. Рамзиным. Правда, Рамзин в дальнейшем был амнистирован и даже награжден орденом Ленина за изобретение знаменитого прямоточного котла.

В том же 1930 году были осуждены крупные ученые-экономисты А. Чаянов, Н. Кондратьев и др. Им было предъявлено ложное обвинение в создании якобы подпольной «крестьянской трудовой партии». Был проведен еще ряд громких публичных процессов. Главным считалось то, чтобы все подсудимые дружно «признавались» в своих «преступлениях». Материалы об этих судебных процессах читатель найдет в данном сборнике.

Принятие крайне напряженного первого пятилетнего плана, заведомо превышавшего реальные возможности страны (кстати, этот план так и не был выполнен), кредитная реформа (январь 1930 года) и реорганизация управления промышленностью (1932 год), направленные на строжайшую централизацию управления экономикой, завершили переход от экономических методов управления народным хозяйством, характерных для нэпа, к административно-командной системе управления. Административно-командные «авторитарные» методы управления распространены были практически не только на промышленность, но и на сельское хозяйство и на другие сферы общественной и государственной жизни. Хотя формально колхозная собственность была кооперативной, но колхозы были подчинены органам госуправления. Вновь (как и в годы гражданской войны) партийные органы стали мелочно опекать государственные и хозяйственные органы и нередко подменять их. Процесс бюрократизации не обошел и партию. Партийный аппарат подмял под себя государственный, практически слился с ним, образовав единую бюрократическую

«авторитарную» систему. При этом следует иметь в виду, что если в годы гражданской войны и военного коммунизма политическое руководство страны во главе с В. И. Лениным вело активную борьбу с тенденцией к бюрократизации государственного механизма, то с конца 20-х — начала 30-х годов стоявший во главе партии и государства Сталин вел борьбу за укрепление своей единоличной власти, утверждение своего культа, используя бюрократический аппарат. Социалистическая собственность практически стала отождествляться с государственной собственностью. Все остальные виды рассматривались как второстепенные. Государственная собственность выступала как общенародная, но фактическое распоряжение ею сосредотачивалось в руках аппарата управления, и это как раз и составляло как бы экономическую базу мощи этого аппарата. Сам аппарат, построенный по иерархическому принципу, представлял собой своеобразную пирамиду, где в условиях строгой централизации реальная власть концентрировалась наверху этой пирамиды в руках узкой группы лиц или даже одного человека — Сталина, сидевшего в кресле на ее вершине. А в таких условиях личные качества этого человека приобрели непомерно большое значение. Остальные звенья управленческой пирамиды рассматривались как простые «винтики». Во всяком случае именно так представлял себе дело Сталин, который писал, что при социализме «властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правят» — люди, «которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами». В подобной модели управления решения вышестоящих инстанций безоговорочно выполняются нижестоящими. Здесь нет и не может быть ответственности управляющих перед управляемыми, нет места для демократии. Таким образом, утвердилась тенденция к бюрократизации (противостоявшая тенденции к демократизации).

Возникает вопрос: почему же в конце 20-х годов, хотя и предлагался альтернативный план индустриализации на рельсах нэпа, все же принят был путь, предложенный Сталиным, приведший к утверждению его культа?

Во-первых, административно-командная модель управления делами общества, за которую выступал Сталин, прямо вытекала из тогдашних представлений о социализме, сложившихся в условиях раннего социализма. Мы уже говорили, что до Октябрьской революции и после нее в марксистской теории господствовал тезис о несовместимости товарно-денеж-

ных отношений с социализмом и о роли «революционного» принуждения как стимула работников к труду. Ленин начал пересмотр этих тезисов. Но он имел возможность обобщить практику лишь первых шагов реального процесса созидания социализма в нашей стране. И он рано умер, не успев завершить разработку проблем политэкономии социализма. О том, что и Сталин, и большинство партийных руководителей того времени (да и только ли того времени?) сохранили в области политэкономии представления раннего социализма, свидетельствует хотя бы опубликованная Сталиным в 1952 году его работа «Экономические проблемы социализма в СССР». Ведь только в результате дискуссии 1965 года по вопросам политэкономии социализма стал завоевывать признание тезис о действии закона стоимости и при социализме и о том, что товарно-денежные отношения не противопоказаны социализму.

Второй фактор, сыгравший решающую роль в утверждении культа личности, — это низкий уровень общей и, особенно, политической культуры народных масс и рядовых коммунистов и даже большинства руководящих партийных и советских работников. Существенную роль при этом сыграло то обстоятельство, что в результате массового приема в партию большого количества новых членов в середине и во второй половине 20-х годов из числа молодых рабочих (по существу вчерашних крестьян) уровень политической культуры партии серьезно снизился. И без того тонкий слой старых большевиков, обладавших большим политическим опытом, совершенно растворился в этой массе.

Низкий уровень культуры был связан с неграмотностью $^3/_4$ населения страны к моменту революции, сохранением во многих регионах страны сильных пережитков феодальных и даже дофеодальных отношений.

Нужно учитывать также, что в стране, где веками действовало крепостное право, где вплоть до февраля 1917 года сохранялось самодержавие, среди народных масс практически отсутствовали демократические традиции.

На политическое мышление как партийных кадров, так и народных масс наложила свой отпечаток длительная, ожесточенная гражданская война. Утвердился дух непримиримости и нетерпимости ко всякому инакомыслию. Именно в ходе гражданской войны сформировался обширный слой партийных, советских, хозяйственных руководителей, считавших, что

военные методы, которые дали триумфальную победу в гражданской войне, будут столь же эффективны в любой другой сфере, стоит лишь пустить их в ход.

Положение «осажденной крепости» в капиталистическом окружении, в котором длительное время находилась наша страна, также существенно сдерживало процесс демократизации и после окончания гражданской войны. Именно отсутствие должной степени демократизации советского общества и явилось главным условием формирования культа личности.

Тот факт, что не удалось создать достаточно надежный механизм демократического контроля масс за деятельностью аппарата, привел к тому, что аппарат, который и раньше (в 20-е годы), по словам Ленина, вырывался из рук, из слуги общества превратился в господина над обществом. Такую тенденцию в деятельности любого аппарата отмечал еще Ф. Энгельс около ста лет назад[1]. Он предвидел, что данная тенденция будет характерна и для пролетарского государства, если ей не противопоставить гласность, выборность и сменяемость чиновников. К сожалению, это предвидение Ф. Энгельса оправдалось в нашей стране. Сыграло свою роль и то, что к победившей, правящей партии примазывались всяческие авантюристы, готовые во имя карьеры, сохранения своих привилегий на все. Ведь на гребне всякого крупного исторического движения бывает и пена. Нельзя забывать также, что в стране действительно еще шла классовая борьба. Даже в условиях построения основ социализма нужна была бдительность в отношении враждебных элементов из среды белогвардейцев, кулаков, буржуазных националистов и т. д., а также агентуры спецслужб империалистических держав.

Сыграл свою роль, безусловно, и еще один фактор, о котором не принято было писать в наших историко-правовых и исторических сочинениях, а именно надежда на то, что назревавший развал Веймарской республики в Германии в 1928—1929 годах и возникновение там революционной ситуации может привести к революции в Германии. За этим вновь забрезжил призрак революции, если не в мировом масштабе, то хотя бы в нескольких европейских государствах.

В этой связи следует напомнить, что в 1917 году социалистическая революция в России рассматривалась в нашей партии как часть мировой революции, которая, хотя и задер-

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 22, с. 199.

живается, но вот-вот произойдет. С надеждами на мировую революцию связывались и возникновение Советской республики в Венгрии весной 1919 года, и поход на Варшаву в июле-августе 1920 года во время советско-польской войны, гамбургское восстание в Германии в 1923 году. Ведь вывод о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране был сделан лишь в 1925 году на XIV съезде партии. Возникновение революционнсй ситуации в Германии в конце 20-х годов вновь возродило мысли о мировой революции. В случае начала революции в Германии необходимость оказания вооруженной поддержки ей против зкспорта контрреволюции могла возникнуть, что называется, со дня на день уже в 1929—1930 годах. На наш взгляд, зто объясняет ту поспешность, с которой Сталин стремился провести индустриализацию и создание военно-экономического потенциала любой ценой, не считаясь ни с какими человеческими и материальными жертвами.

Проведение политики, основанной на принуждении в отношении подавляющего большинства населения страны, требовало и соответствующей реформы административно-политического аппарата. И зта реформа была проведена в начале 30-х годов. Во-первых, усилилась его централизация. Милиция, ранее находившаяся в двойном подчинении — НКВД союзных республик и местных исполкомов, была выведена из-под контроля местных властей и подчинена непосредственно ОГПУ, а НКВД союзных республик в декабре 1930 года упразднены[1]. В 1934 году произошло преобразование ОГПУ в НКВД СССР, в котором сосредоточились органы госбезопасности, милиция, внутренние и пограничные войска, исправительно-трудовые лагеря и огромные стройки, рудники, лесоразработки и т. д., где трудились заключенные. В ряде статей настоящего сборника рассказывается о том, каков был режим в зтих лагерях. Во-вторых, была проведена «чистка» аппарата НКВД, в ходе которой были уволены или репрессированы старые чекисты, работавшие еще с Дзержинским. В-третьих, значительно увеличилась численность аппарата НКВД, причем пополнение шло главным образом за счет недавних крестьян. Много в зто время проникло в НКВД и различных авантюристов.

Аппарат НКВД занял особое место в государственном

[1] Конституция СССР 1924 года не предусматривала существования НКВД СССР. Наркоматы внутренних дел были лишь в союзных и автономных республиках.

механизме. Это выражалось и в его материальном обеспечении, и в порядке присвоения специальных званий, введенных в 1935 году, и в его полномочиях. При НКВД был образован орган по применению внесудебных репрессий — Особое совещание[1].

В нашей исторической и историко-правовой литературе нередко можно встретить утверждение о том, что именно в 1934 году был впервые создан такой внесудебный орган и впервые стали применяться репрессии во внесудебном порядке. Это, конечно, неверно. Внесудебные репрессии широко применялись в годы гражданской войны. ВЧК была наделена чрезвычайными полномочиями. Но после окончания гражданской войны и перехода к мирному социалистическому строительству внесудебные полномочия ВЧК (а затем ОГПУ) были резко сокращены, хотя и не отменены полностью. В ходе судебной реформы 1922 года произошла ликвидация чрезвычайных судов — революционных трибуналов. Наказания стали применяться главным образом по судебным приговорам, хотя для некоторых категорий дел сохранялся внесудебный порядок применения репрессий по решениям комиссий по административным ссылкам и высылкам при НКВД союзных республик[2]. Вновь внесудебные репрессии стали широко применяться с конца 1929 — начала 1930 года, о чем уже говорилось выше. Именно тогда применение в массовом масштабе внесудебных репрессий повело к широкому проникновению как в народные массы, так и в партию настроений, характерных для гражданской войны. Такие настроения отразились и в теории права в различных левацких «загибах», получивших распространение в конце 20-х — начале 30-х годов, в частности в предложениях об «упрощении» уголовного процесса, подготовленном под руководством Н. В. Крыленко проекте уголовного кодекса без Особенной части, в так называемой теории «опасного состояния» личности, в соответствии с которой основанием уголовной ответственности должна быть не конкретная вина, а «опасное состояние» личности (определяемое, например, социальным происхождением и т. д.).

В постановлении ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. об образовании НКВД СССР говорилось о создании Особого совещания вместо существовавшей ранее Судебной коллегии ОГПУ,

[1] СЗ СССР, 1934, № 36, ст. 283.
[2] СУ РСФСР, 1922, № 51, ст. 646.

которая упразднялась[1]. В постановлении ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. и принятом в его развитие 5 ноября 1934 г. постановлении об Особом совещании при НКВД СССР в его состав был введен прокурор СССР или его заместитель, а полномочия ограничивались правом применять во внесудебном порядке заключение в исправительно-трудовом лагере на срок до 5 лет, а также ссылку и высылку на тот же срок или выдворение за пределы СССР[2].

Некоторое сокращение размаха репрессий началось еще с 1932 года, когда близилось к завершению раскулачивание в основных сельскохозяйственных регионах страны. 25 июня 1932 г. было принято постановление ЦИК и СНК «О революционной законности», осудившее нарушения законности, допущенные в ходе коллективизации[3]. Особенно заметным сокращение репрессий стало после XVII съезда ВКП(б), провозгласившего победу социализма в СССР.

Против дальнейшего развертывания репрессий, за меры, направленные на смягчение напряженности в стране (за снижение экспорта хлеба, отмену карточек, демократизацию общественно-политической жизни и т. д), выступал ряд видных партийных и государственных деятелей: С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинин, С. В. Косиор, П. П. Постышев и др.

Сигналом к новой волне репрессий явилось убийство С. М. Кирова 1 декабря 1934 г.

В деле об убийстве Кирова много неясного. Не ясны обстоятельства самого убийства. Известно, что убийцу С. М. Кирова — Л. Николаева с оружием дважды задерживала охрана возле Смольного и оба раза по чьим-то указаниям отпускала. В момент покушения начальник охраны Кирова почему-то отстал от него на большое расстояние. Самого начальника охраны убили в инсценированной автомобильной катастрофе, когда везли на допрос к Сталину, Молотову и Ворошилову, а тех, кто его убил, затем тоже расстреляли[4].

Если мы поставим вопрос, который ставили при рассмотрении дел еще римские юристы, — кому это выгодно? — то ответ будет однозначен: убийство С. М. Кирова было выгодно Сталину. Старые большевики, очевидцы событий тех лет, вспо-

[1] СЗ СССР, 1934, № 36, ст. 283.
[2] СЗ СССР, 1935, № 11, ст. 84.
[3] СЗ СССР, 1932, № 50, ст. 298.
[4] См.: П л и м а к Е. Политическое завещание В. И. Ленина. Истоки, сущность, выполнение. М., 1988, с. 109—110.

минают, что уже перед XVII съездом ВКП(б) у многих коммунистов вызывала тревогу и недовольство обстановка, складывавшаяся в связи с культом Сталина. Делегат XVII съезда Л. Шаумян пишет, что у ряда делегатов, хорошо помнивших ленинское завещание, назревала мысль о том, что пришло время переместить Сталина с поста генсека на другую работу. Это не могло не дойти до Сталина. «Он знал, что для дальнейшего укрепления своего положения, для сосредоточения в своих руках еще большей единоличной власти решающей помехой будут старые ленинские кадры партии»[1]. Другой делегат съезда — А. И. Микоян, бывший в то время кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), следовательно, человек весьма осведомленный, в своих мемуарах (опубликованных уже после смерти автора) подтверждает сообщение Л. Шаумяна о недовольстве в партии культом Сталина и сообщает новые факты: на выборах ЦК Киров получил наибольшее количество голосов, против него было подано всего 3 голоса, а против Сталина в сто раз больше (т. е. около 300). Когда председатель счетной комиссии Затонский и курировавший комиссию от Президиума съезда тогдашний секретарь ЦК Каганович сообщили об этом Сталину, он (как пишет Микоян) потребовал, чтобы в протоколе выборов было указано тоже не более 3 голосов против него.

Группа старых членов партии — делегатов съезда, — пишет Микоян, — обратилась к Кирову с предложением стать генсеком. Киров отказался и сообщил об этом предложении Сталину[2]. Хотя внешне отношения Сталина с Кировым остались хорошими, однако, указывает Микоян, вдруг в «Правде» появился фельетон с личными выпадами в адрес Кирова, хотя его фамилия в фельетоне и не была названа, но написано было так, чтобы все узнали Кирова. Однажды на заседании Политбюро состоялось разносное обсуждение одной формулировки из статьи Кирова, написанной чуть ли не до революции.

Таким образом можно сделать вывод: накануне и во время съезда в партии, в том числе в самом верхнем ее эшелоне, проявилось недовольство культом Сталина, и, хотя и слабая, но была сделана попытка заменить Сталина на посту генсека. В глазах Сталина Киров оказался соперником. В свете

[1] Правда, 1964, 7 февр.
[2] См.: Микоян А. И. В первый раз без Ленина. — Огонек, 1987, № 50, с. 5.

этих фактов становится ясным, кому было выгодно устранение Кирова. Ясным становится и то, почему такие тяжелые удары обрушились на делегатов XVII съезда ВКП(б), который и в самом деле оказался съездом «расстрелянных». Из 1966 делегатов съезда было уничтожено 1108 человек, а из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде, погублено 98 человек, или 70 % состава ЦК[1].

Убийство Кирова дало Сталину желанный повод (притом вполне убедительный в глазах народа) для развязывания массовых репрессий против всех недовольных усиливавшимся культом его личности.

В день убийства Кирова, 1 декабря 1934 г., было принято постановление ЦИК СССР о порядке ведения дел о террористических актах против работников советской власти, которое существенно урезало юридические гарантии прав обвиняемых по данной категории дел[2]. Сокращались до 10 дней сроки следствия, обвинительное заключение обвиняемому положено было вручать за 1 сутки до суда, в котором дело рассматривалось без участия сторон (т. е. без прокурора и адвоката). Кассационное обжалование и подача ходатайств о помиловании не допускались, и приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно. Аналогичный порядок вводился 14 сентября 1937 года и по делам о вредительстве и диверсиях[3]. Максимальный срок лишения свободы по делам о государственных преступлениях увеличивался с 10 до 25 лет. Дела лиц, привлекавшихся к ответственности по политическим обвинениям, по инициативе Кагановича стали разбираться во внесудебном порядке с применением высшей меры наказания. Учитывая большое число таких дел, по предложению Молотова наказание производилось по спискам[4]. Особое совещание стало действовать не в полном составе, предусмотренном законом, а в виде «тройки», а потом и «двойки»: нарком внутренних дел (сначала Ежов, а с 1938 года Берия) и прокурор СССР (Вышинский). На местах тоже возникли «тройки» и «двойки». Судебный порядок, установленный законами от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г., мало

[1] См.: Шаумян Л. Культ личности. — Философская энциклопедия. М., 1964, т. 3, с. 116.

[2] СЗ СССР, 1934, № 64, ст. 459.

[3] СЗ СССР, 1937, № 61, ст. 266.

[4] См.: XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 11. М., 1962, с. 215—216.

чем отличался от внесудебного. Герой Советского Союза, генерал армии А. В. Горбатов, незаконно репрессированный в 1938 году, в своих мемуарах писал, что суд длился 4—5 минут. Были сверены лишь его имя, фамилия, год и место рождения и задан один вопрос: почему он не сознался в своих «преступлениях». Получив ответ, что ему не в чем сознаваться, так как он не совершал преступления, суд тут же объявил приговор: 15 лет заключения в тюрьме и лагере плюс 5 лет поражения в правах.

Если репрессии конца 20-х — начала 30-х годов были направлены против остатков кулачества, нэпманов, зажиточных слоев населения деревни и города, старой интеллигенции, то, начиная с декабря 1934 года, они, расширяясь, втягивали в свой круговорот и другие социальные слои. Наконец, в середине и во второй половине 30-х годов они обрушились на партийный и советский аппарат, командный состав армии, широкий слой хозяйственников. Нетерпимость и всеобщая подозрительность делали свое дело. Неполадки на производстве, брак расценивались как вредительство, диверсия. Освоение новых производств было сопряжено с большими трудностями, остро ощущалась нехватка инженерно-технических кадров, квалифицированных рабочих. На производство пришли сотни тысяч людей, не имевших никакой квалификации: молодых людей, женщин, бывших крестьян. Массовый характер носили нарушения технологической дисциплины. Дорогостоящее оборудование нередко ломалось из-за неумелого обращения, повышался процент брака. В этих условиях недостатка во «вредителях» и «диверсантах» не было.

По указанию Сталина сначала репрессиям подверглись бывшие идейные противники и возможные соперники, которые были объявлены агентами империализма и иностранных разведок. Такие же обвинения предъявлялись и другим коммунистам и беспартийным, никогда не участвовавшим ни в каких оппозициях. Были репрессированы не устраивавшие Сталина партийные и государственные деятели, видные военачальники, многие другие ни в чем не повинные люди. Так утверждался режим личной власти Сталина, насаждался страх, подавлялось любое выражение собственного мнения. Не удивительно поэтому, что репрессиям в первую очередь подверглись старые большевики, соратники В. И. Ленина, так как этих людей, идейно закаленных и имевших большой политический опыт, было труднее запугать, заставить отказаться от высказывания своих убеждений. Труднее их было и обма-

нуть. Чтобы оправдать массовые репрессии в глазах трудящихся, был организован ряд открытых судебных процессов, главными обвиняемыми на которых стали виднейшие деятели партии и Советского государства, работавшие с В. И. Лениным. Сразу после убийства Кирова, в январе 1935 г. в суде слушалось дело Зиновьева, Каменева и др. Тогда мера наказания была ограничена лишением свободы: Зиновьева — на 10 лет, Каменева — на 5 лет. Однако в августе 1936 года состоялся повторный процесс по так называемому делу «объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра», на котором главные обвиняемые: Зиновьев, Каменев, Смирнов, Мрачковский были приговорены к расстрелу. В январе 1937 года состоялся суд над Пятаковым, Сокольниковым, Серебряковым и Радеком (дело так называемого «запасного троцкистского террористического центра»). Наконец, самый крупный судебный процесс состоялся в марте 1938 года по делу так называемого «правотроцкистского блока», по которому проходили бывший член Политбюро ЦК Н. И. Бухарин, бывший член Политбюро ЦК и председатель Совнаркома СССР А. И. Рыков, бывшие члены ЦК и наркомы Крестинский, Розенгольц, Гринько, Чернов, бывший председатель СНК Узбекской ССР Ф. Ходжаев и др. Главные обвиняемые по этим процессам были расстреляны. В сборнике читатель найдет ряд статей, посвященных этим инсценированным процессам и характеристике их участников[1]. В чем состоял смысл этих

[1] Трагическая судьба, постигшая всех этих людей, наложила свой отпечаток на оценку их личности в статьях, собранных в данном сборнике. Но нужно иметь в виду, что это были сложные и нередко противоречивые фигуры. Все они были видными партийными и государственными деятелями, субъективно честными и преданными делу революции, и репрессии в отношении них были незаконными. Но многие из них допускали политические ошибки, а некоторые сами были повинны в необоснованных массовых репрессиях. Примером может служить Г. Зиновьев. Именно по его приказу были произведены массовые расстрелы заложников в Петрограде в сентябре 1918 года, когда наряду с деятелями старого режима погибли и многие представители старой интеллигенции. Он отдавал приказы и о расстрелах в Петрограде бывших офицеров и интеллигенции весной 1921 года во время Кронштадтского мятежа и после него (именно тогда по необоснованному обвинению был расстрелян поэт Н. Гумилев).

Можно вспомнить и о массовых расстрелах в Крыму в конце 1920 года. После изгнания Врангеля из Крыма была объявлена регистрация бывших офицеров. Большое число молодых офицеров из числа мобилизованного белыми студенчества, учителей и других слоев интеллигенции, осознавших крах «белого дела», зарегистрировалось. Им обещали амнистию и работу. Но затем по приказу чрезвычайной

процессов? Сталину было важно, чтобы в открытых судебных заседаниях обвиняемые оговорили себя, сами «признались» в измене Родине и других тяжких преступлениях. Такие самооговоры должны были убедить народные массы в справедливости репрессий. На заседании Пленума Верховного Суда СССР, отменившего в феврале 1988 года несправедливый приговор Военной коллегии, вынесенный в марте 1938 года по делу так называемого «правотроцкистского блока», и оправдавшего Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других лиц, проходивших по этому делу (за исключением Г. Г. Ягоды), говорилось о том, какими изощренными пытками, угрозами уничтожения семей «добывались» самооговоры обвиняемых.

Одновременно Сталин на февральско-мартовском Пленуме ЦК партии в 1937 году выдвинул тезис: по мере успехов социалистического строительства сопротивление классового врага будет усиливаться, а классовая борьба — обостряться. Этот тезис был выдвинут в условиях, когда социализм в нашей стране победил и социальной основы для обострения классовой борьбы в стране уже не было. Однако этот политический маневр в значительной мере достиг своей цели. Сталин внушал, что очищение от «врагов» нужно для укрепления обороноспособности страны в условиях капиталистического окружения. А в народных массах еще живы были воспоминания о гражданской войне. Не следует забывать, что одновременно с репрессиями наглядны были и успехи Советского государства: эпопея челюскинцев, высадка Папанина и его товарищей на дрейфующую льдину на Северном полюсе, героические перелеты экипажей Чкалова, Громова в Америку через Северный полюс и т. д. Имело значение и то, что народным массам стало несколько легче жить: улучшилось снабжение населения, отменены были карточки на продовольственные и промышленные товары. Крупных деятелей, выступавших в 1934 году против развертывания репрессий, в руководстве уже не было. Киров был убит 1 декабря 1934 г. Куйбышев скоропостижно скончался почти вслед за Кировым в январе 1935 года. Орджоникидзе застрелился в феврале 1937 года за пять дней до открытия февральско-мартовского Пленума[1]. П. П. Постышев и некоторые другие члены ЦК возра-

«тройки», которой руководил Г. Пятаков, их стали вывозить за город и расстреливать из пулеметов.

[1] В сообщении о смерти Г. К. Орджоникидзе говорилось, что он якобы умер от разрыва сердца. Лица, которые составляли акт о смер-

жали против расстрела Бухарина, за что и сами вскоре заплатили жизнью.

Сталин лично подбирал руководящие кадры органов НКВД, убирая всех, кто был не согласен с его линией на репрессии. Убирал он и тех, кто много знал, сваливая на них же ответственность за репрессии. Так был расстрелян Ягода. Сменивший его Ежов в свою очередь также был освобожден в 1938 году от должности наркома внутренних дел и заменен Берией, а впоследствии расстрелян. Сталин повседневно контролировал деятельность НКВД и непосредственно давал указания Ежову, а затем Берии об арестах. Так, на показаниях одного арестованного он написал: «Т. Ежову. Лиц, отмеченных мною в тексте буквами «ар.», следует арестовать, если они уже не арестованы. И. Сталин». На другом документе — очередном докладе Ежова об аресте группы работников, содержавшем списки арестованных и данные о других лицах, которые проверялись «для ареста», — также рука Сталина: «Не «проверять», а арестовать нужно». Репрессии лично санкционировались Сталиным. Вот одна из многочисленных записок Ежова Сталину: «Тов. Сталину. Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих Суду Военной коллегии: 1. Список № 1 (общий). 2. Список № 2 (быв. военные работники). 3. Список № 3 (быв. работники НКВД). 4. Список № 4 (жены врагов народа). Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов». Под первой категорией осуждения имелся в виду расстрел. Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым и на каждом из них имелась резолюция: «За. И. Сталин. В. Молотов»[1].

И все же сейчас находятся люди, которые говорят, что Сталин будто бы не знал о репрессиях, что виновниками являются Ежов и Берия. Приведенные документы начисто это опровергают. Именно он был инициатором репрессий, по его приказу они проводились. Он находил и назначал на должности исполнителей своих приказов. Вот один из них — Вышинский, занимавший тогда пост прокурора СССР. Он говорил на

ти Орджоникидзе, были вскоре расстреляны. Так, доктора Плетнев, Левин были включены в число подсудимых по делу «правотроцкистско-бухаринского блока». Сейчас и версия о самоубийстве Орджоникидзе оспаривается. Приводятся данные о том, что он был застрелен по приказу Сталина. Эта версия подтверждается, по нашему мнению, тем, что в дальнейшем были репрессированы родственники и друзья Орджоникидзе.

[1] XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, с. 152.

собрании партактива прокуратуры СССР в марте 1937 года: «Надо помнить указание т. Сталина, что бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей, в частности, когда законы оказываются устаревшими и их надо отложить в сторону». Оправданию произвола служила и выдвинутая Вышинским «теория», согласно которой по делам о государственных преступлениях главным и решающим доказательством является признание самого обвиняемого. Она нацеливала следователей на то, чтобы любой ценой и любыми способами добиться от арестованных признания своей «вины».

Ставшие известными данные о массовых незаконных репрессиях породили в сознании многих советских людей негативное представление о роли органов госбезопасности в 30-е годы и перед началом войны. Фактически дело обстоит гораздо сложнее. Действительно, органы НКВД явились оружием, которое использовал Сталин в укреплении и поддержании режима своей личной власти, своего культа. Хотя надо напомнить, что сами органы НКВД понесли ощутимые потери: были уничтожены в своем большинстве старые чекисты — соратники Дзержинского, многие честные работники. Репрессировано более 20 тыс. работников НКВД. Многие работники НКВД, сознавая безвыходность своего положения, кончали жизнь самоубийством, ведь за отказ от выполнения преступных приказов немедленно следовали расстрел, клеймо «врага народа» и жестокие репрессии в отношении семьи. Но нельзя забывать, что органы НКВД обезвредили и большое число действительных врагов. Ведь это факт, что была выловлена и обезврежена перед войной агентурная сеть и основные резидентуры гитлеровской разведки. Ведь это факт, что после начала Отечественной войны в нашей стране не оказалось «пятой колонны» (как это случилось, например, во Франции и в других странах). Это факт, что советская разведка вовремя доставила высшему военно-политическому руководству страны копию плана «Барбаросса» и установила день и час нападения гитлеровских агрессоров на нашу страну. И не вина разведки, что эти данные не были правильно оценены и Сталин посчитал их фальшивкой, подкинутой английской разведкой, чтобы втянуть нас в войну и тем облегчить положение воевавшей с Германией Англии. Таким образом, это по вине Сталина, а не по вине нашей разведки противник застал врасплох советские вооруженные силы в начале войны. Это надо помнить и отдать долг памяти тысячам советских чекистов, внесшим

свой вклад в победу над гитлеровским нацизмом и отдавшим жизнь за Родину.

Наряду с открытыми судебными процессами, о которых говорилось выше, в 1937—1941 годах прошло большое число закрытых процессов. Они, как правило, проводились в упрощенном порядке. Характерно, что среди лиц, проходивших по этим процессам, мы видим как видных партийных, государственных, военных работников, так и десятки, сотни тысяч никому не известных простых людей. Пример такого дела описан в публикуемой в сборнике статье о «деле» Ивана Демуры. И. Демура — плотник — был обвинен в том, что он якобы участник террористической группы, и судила его выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР. Чем объяснить этот факт? Да тем, что в это время (1938 год) фабриковалось дело против командования Особой Краснознаменной Дальневосточной армии и руководства крайкома партии Дальнего Востока. Им инкриминировалось создание якобы широкой сети террористических организаций для отторжения Дальнего Востока от СССР и передачи его Японии. Вот и нужно было набрать внушительное число таких «террористов». И. Демура и попал в это число. Попал случайно. Ведь следователям важно было набрать внушительное общее число «террористов». А кто это будет, не столь важно. Так же как практически не имело значения и то: «сознался» подследственный в вымышленных «преступлениях» или нет. Ведь списки осужденных представлялись на санкцию руководству заранее. А когда была санкция, «осечки» уже быть не могло. Да и «нужно» же было кого-то расстреливать, кого-то отправлять в лагеря. Ведь лагеря «нужно» было заполнять «дешевой» рабочей силой. Репрессии насаждали страх, который был важнейшим орудием укрепления режима личной власти Сталина, его культа. Наконец, массовые репрессии создавали ощущение грозной опасности, чрезвычайного положения, что уже само по себе «оправдывало» репрессии, помогало организовывать атмосферу массовой истерии, столь характерной для режима культа.

Самым крупным среди закрытых процессов был процесс, состоявшийся 11 июня 1937 г. по делу о так называемом «военном заговоре», по которому проходили заместитель наркома обороны маршал Тухачевский и группа видных военачальников (Якир, Корк, Уборевич, Путна, Эйдеман, Примаков и Фельдман). Этот процесс имел особое значение. Он факти-

чески явился сигналом к развертыванию массовых репрессий в армии.

Достаточно сказать, что по подсчетам генерала Тодорского (который сам был репрессирован, но чудом выжил и был затем реабилитирован) было репрессировано: из 5 маршалов — 3, из 2 армейских комиссаров 1 ранга — 2; из 4 командармов 1 ранга — 2; из 12 командармов 2 ранга — 12; из 2 флагманов флота 1 ранга — 2; из 15 армейских комиссаров 2 ранга — 15; из 67 комкоров — 60; из 28 корпусных комиссаров — 25; из 199 комдивов — 136; из 397 комбригов — 221; из 36 бригадных комиссаров — 34. Эти цифры даны по всей вероятности по состоянию на 1938 год, так как здесь не учтены репрессированные в 1939 году флагманы флота 2 ранга Кожанов и Смирнов-Светловский, флагманы 1 ранга Панцержанский, Душенов, Киреев, Лудри и др.

Правда, в 1940—1941 годах часть военачальников были выпущены из тюрем и восстановлены в армии (К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков, А. В. Горбатов, Л. Г. Петровский и др.).

В ходе репрессий погибли такие талантливые военачальники, как маршалы Советского Союза М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, А. И. Егоров, командармы И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, И. Ф. Федько, П. Е. Дыбенко, И. П. Белов, В. М. Примаков, Н. Д. Каширин, И. Н. Дубовой, руководители советской разведки в 20-е — 30-е годы Я. К. Берзин, Н. В. Куйбышев (брат В. В. Куйбышева) и многие другие. Только в 1937—1938 годах было неоправданно репрессировано около 9 тыс. (а всего свыше 40 тыс.) высших и старших командиров и политработников армии и флота. В результате к началу Отечественной войны на высоких командных должностях оказалось много людей с недостаточными знаниями и опытом, так лишь 7 % высшего комсостава имели общее или специальное высшее образование, а 37 % не имели даже среднего образования. Но дело не только в этом. Аресты как «врагов народа» и «предателей» многих тысяч командиров и политработников привели к подрыву доверия солдат к своим командирам и к тому, что сами командиры стали бояться проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения. Среди командного состава стала наблюдаться инертность, безынициативность, пассивное ожидание указаний «сверху», что особенно тяжело сказалось в первые недели и месяцы войны.

Чем же были вызваны эти репрессии? Данный вопрос нашей исторической наукой не исследован и до сих пор пол-

ностью не ясен. Однако уже сейчас, на основании тех сведений, которыми мы располагаем, можно высказать ряд соображений. Известно, что Сталин неприязненно относился к Тухачевскому и многим другим военачальникам еще с времен гражданской войны. Ведь в завязавшейся в военной литературе в 20-е годы полемике бывшие руководители Западного фронта (а командующим этим фронтом в 1920 году был Тухачевский) и многие военные историки высказывали мнение, что одной из причин поражения советских войск под Варшавой в августе 1920 года было то, что член РВС Юго-Западного фронта Сталин и руководители 1-й Конной армии Буденный и Ворошилов из-за честолюбивой попытки самостоятельно захватить Львов отказались выполнять директиву главкома о переброске войск, в частности 1-й Конной армии, на север для прикрытия фланга Западного фронта, что и дало возможность противнику обойти южный фланг Западного фронта и нанести удар по его войскам с фланга и тыла.

Таким образом, многие военные публично называли Сталина, а также Буденного и Ворошилова виновниками поражения наших войск под Варшавой. Учитывая характер Сталина, это уже достаточный повод для применения репрессий против указанных военных в удобный момент. Но в начале 30-х годов Тухачевский и активно поддержавшие его Якир и Уборевич выдвинули ряд важных идей, направленных на реорганизацию вооруженных сил, в частности разработали теорию «глубокой операции», которая предполагала нанесение ударов по противнику крупными танковыми соединениями при массированной поддержке авиации. Иными словами, эта теория предвосхищала способы ведения военных действий, применявшиеся во второй мировой войне. В середине 30-х годов в руководстве вооруженными силами развернулась острая дискуссия о характере современной войны и организационной структуре воинских соединений. Значительная часть военачальников разделяла идеи Тухачевского и добивалась создания вместо кавалерии крупных механизированных, военно-воздушных и воздушно-десантных соединений. Новые идеи были успешно испытаны на серии больших маневров в 1935—1936 годах. Тогда Сталин поддержал идеи Тухачевского. Тухачевский был нужен для проведения модернизации армии. Однако в 1936 и в начале 1937 года среди высшего командного состава все больше стало проявляться недоумение, а затем и недовольство по поводу массовых репрессий в промышленности (в том числе и в оборонной), отрицательно сказывавшихся на тем-

пах перевооружения армии. Так, например, начальник Морских Сил флагман флота 1 ранга Орлов в своем докладе в 1937 году наркому обороны Ворошилову подчеркнул, что на заводе «Большевик», который являлся единственным в СССР заводом, где было сосредоточено проектирование, разработка и изготовление морской артиллерии, положение с разработкой новых образцов для большой морской программы явно катастрофическое в результате ареста почти всех руководящих работников конструкторского бюро, заводоуправления и цехов. Завод, продолжал начальник Морских Сил, почти полностью деморализован и не может выполнить программу заказов для морских сил. В этой ситуации Сталину, видимо, показалось опасным оставлять во главе армии такие яркие, самостоятельно мыслящие личности, как Тухачевский и многие его сторонники. Тем более, что неправильно истолкованный опыт войны в Испании, по существу войны гражданской, где не применялась в массовом масштабе техника, дал временный перевес противникам Тухачевского в руководстве наркомата обороны — сторонникам методов времен гражданской войны (Ворошилову, Буденному, Кулику, Щаденко и др.), по-прежнему уповавшим на лихие кавалерийские атаки с шашками наголо. Вот тогда и было состряпано «дело» о так называемом «военно-фашистском заговоре» в Красной Армии. Обращает на себя внимание тот факт, что все обвиняемые были арестованы без санкции прокурора, хотя в соответствии с принятой в декабре 1936 года Конституцией СССР такая санкция была обязательна. На состоявшемся 1—4 июня 1937 г. заседании Военного Совета при народном комиссаре обороны с участием членов правительства с обвинениями против Тухачевского и его сторонников выступил тогдашний нарком обороны Ворошилов, потребовавший для них смертной казни. Уже в резолюции Военного Совета, принятой до суда, предрешался вопрос о смертном приговоре «заговорщикам». Следствие по этому делу проведено было буквально в две недели, а заседание Специального присутствия Верховного Суда СССР, состоявшееся 11 июня 1937 г., продолжалось всего лишь один день. Дело слушалось в упрощенном порядке без участия прокурора и адвоката. Приговор обжалованию не подлежал, и 12 июня Тухачевский и группа высших военачальников были расстреляны. Зам. наркома обороны, он же начальник Главного политического управления Гамарник успел застрелиться при аресте. В исторической литературе широкое распространение получила версия о роковой роли в деле

Тухачевского и его сторонников фальшивых документов об их якобы измене, подброшенных через чехословацкого президента Бенеша Сталину. Эта версия появилась впервые на Западе после Отечественной войны. Подлинники этих документов (если они существовали) не разысканы. Эта версия была выгодна Сталину, Ворошилову и другим организаторам данного «судебного процесса», так как хоть как-то «оправдывала» его. В действительности в материалах Специального присутствия такие документы не фигурировали. Обвинительное заключение носило общий, голословный характер. Однако в материалах судебного заседания содержались и более конкретные обвинения. И состояли они в следующем: во-первых, разработанная Тухачевским и его сотрудниками теория «глубокой операции» была названа теорией «глубокого предательства»; во-вторых, как вредительство было расценено настойчивое отстаивание Тухачевским, Якиром и Уборевичем концепции ускоренного формирования танковых соединений за счет сокращения численности и расходов на кавалерию; в-третьих, намерение Тухачевского, Уборевича, Корка, Путны и Гамарника обратиться в правительство с просьбой об отстранении Ворошилова от должности наркома обороны из-за его некомпетентности в военных вопросах было расценено как вынашивание террористических намерений в отношении Ворошилова. Характерно, что Сталин организовал уничтожение группы высших военачальников во главе с Тухачевским руками самих военных, включив в состав Специального присутствия Верховного Суда СССР маршалов Буденного и Блюхера, начальника Генштаба командарма 1 ранга Шапошникова, зам. наркома обороны по авиации командарма 2 ранга Алксниса, командующих Московским, Ленинградским и Северо-Кавказским военными округами командарма 1 ранга Белова, командарма 2 ранга Дыбенко и командарма 2 ранга Каширина, а также командира кавалерийской дивизии им. Сталина комдива Горячева, заставив их подписать приговор. Тем самым они как бы подкрепили своим авторитетом (а все они были популярны в армии) «справедливость» данного приговора. Но тем же самым они как бы удостоверили и «справедливость» будущих обвинений в свой адрес, так как в скором времени все они (за исключением Буденного и Шапошникова) также были арестованы и расстреляны. Репрессии обрушились и на многих конструкторов оборонной техники. Расформирован был Институт ракетной техники, а его руководители (Клейменов, Королев и др.) репрессированы. Подвергся аресту ряд авиаконструкторов во главе с

Туполевым. И не удивительно, ведь именно Тухачевский занимался в наркомате обороны проблемой вооружений, курировал разработку военной техники. Поэтому и руководители большинства научно-исследовательских и конструкторских учреждений по военной технике, по долгу службы связанные с Тухачевским, не избежали репрессий. Вслед за тем расформированы были механизированные корпуса и воздушные армии, а танки и авиация отдельными частями и подразделениями приданы пехоте и кавалерии. Механизированные корпуса стали воссоздаваться лишь в 1940 году, и большинство из них не закончили формирования к началу войны, а воздушные армии восстановлены были в 1942—1943 годах.

В своем выступлении по поводу 20-летнего юбилея Красной Армии 23 февраля 1938 г. тогдашний нарком обороны К. Е. Ворошилов, намекая на тех, кто требовал создания вместо кавалерии крупных механизированных соединений, подчеркнул, что такую же позицию занимают генштабы буржуазных стран. «Мы, — сказал далее нарком, — стоим на иной точке зрения... Мы убеждены, что наша доблестная конница еще не раз заставит о себе говорить как о мощной и победоносной Красной кавалерии». По свидетельству Маршала Г. К. Жукова, Ворошилов очень не любил Тухачевского, прежде всего потому, что сам он в роли наркома обороны был человеком малокомпетентным, в то время как Тухачевский был крупным военным специалистом и вел основную работу в наркомате обороны. По словам Жукова, Ворошилов «так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно». Зато Ворошилов был лично предан Сталину и на него (и его заместителей после мая 1937 года Кулика, Щаденко и Мехлиса) Сталин вполне мог полностью положиться во всем, в том числе и в проведении массовых репрессий в армии, так дорого обошедшихся советскому народу в 1941 году.

В июне 1941 года за несколько дней до начала войны и в первые дни войны началась новая волна репрессий в армии. Были арестованы зам. наркома обороны генерал армии Мерецков (вторично), нарком вооружений Ванников, помощник начальника Генштаба по авиации дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Смушкевич, начальник управления ПВО Герой Советского Союза генерал-полковник Штерн, зам. наркома обороны, командующий Прибалтийским особым военным округом генерал-полковник Локтионов, зам. наркома обороны генерал-лейтенант авиации Рычагов, зам.

начальника главного артиллерийского управления генерал Савченко, начальник Военно-воздушной академии генерал-лейтенант Арженухин, видный артиллерийский конструктор Таубин и многие-многие другие. Эти аресты серьезно сказались на деятельности высших органов военного управления. Все высшие военачальники ждали ареста, расправы, боялись высказать свое мнение, отстаивать его. Поскольку арестовано было командование военно-воздушными силами и ПВО, то наша авиация и противовоздушная оборона были практически обезглавлены в самый канун войны.

Известно, какие потери понесла наша авиация в первые дни войны из-за того, что не успела перебазироваться на полевые аэродромы. Только в первый день мы потеряли около 1200 самолетов, из них большинство было уничтожено на аэродромах, не успев взлететь. Не в репрессиях ли, парализовавших командование авиацией и противовоздушной обороной, крылась одна из причин таких потерь?

В литературе много пишут о просчете с определением сроков нападения фашистской Германии на СССР. Но ведь это далеко не единственный просчет, который пагубно сказался на готовности страны к отражению агрессии. В обстановке культа личности Сталина многие важнейшие решения, касавшиеся обороны страны, принимались им единолично и неоднократно приводили к просчетам. Вот один из примеров. В начале 1941 года Сталин вопреки протестам ряда наркомов, в том числе наркома вооружения Б. Л. Ванникова, подписал подготовленный Г. И. Куликом (занимавшим в то время пост заместителя наркома обороны) проект постановления о работе артиллерийской промышленности, по которому было прекращено производство крайне нужных армии 45 и 76-миллиметровых противотанковых пушек. Этот непростительный просчет дорого обошелся нашей армии в начальный период Великой Отечественной войны.

Из числа арестованных военачальников и руководителей военной промышленности вскоре были освобождены Мерецков, Ванников и еще десятка полтора людей. Остальные в октябре 1941 года расстреляны без суда по предписанию Берии, причем многие из них вместе с женами. Характерна, например, формула обвинения в отношении жены генерала Рычагова, известной летчицы майора Марии Нестеренко: «... будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об изменнической деятельности своего мужа». Все эти люди сейчас посмертно реабилитированы. Следует отметить, что рас-

стрелы военачальников были проведены в конце октября 1941 года, когда враг стоял у ворот Москвы и Ленинграда.

Борис Львович Ванников в своих мемуарах пишет, что в июле 1941 года ему в тюрьму было передано указание Сталина «письменно изложить свои соображения относительно мер по развитию производства вооружения в условиях начавшихся военных действий». Среди ночи Ванникова доставили из тюрьмы в кабинет Сталина для доклада. По окончании доклада, который понравился, Сталин сказал: «Можете идти». Когда Ванников остановился в растерянности: куда идти, в тюрьму? — Сталин добавил: «Идите работайте, тут время такое, а он нашел время сидеть в тюрьме». Таковы были шутки диктатора.

В годы Отечественной войны размах репрессий существенно сократился. Правда, в первые ее месяцы были репрессированы многие генералы и командиры за неудачи в военных действиях. Наиболее известное дело такого рода — несправедливое осуждение и расстрел руководителей Западного фронта в июле 1941 года генералов Павлова, Климовских, Клыча, Григорьева, Коробкова и др. Цель данного «дела», как и многих других подобных дел: найти «козлов отпущения» и свалить на них всю вину за поражения. Вместе с тем Сталин хотел таким образом «подстегнуть» остальных генералов, добиться стойкости войск при помощи страха перед жестокими наказаниями. Высокий патриотический подъем, самоотверженность, проявленные советскими людьми в годы войны, доказали негодность сталинской установки на репрессии и страх.

В этой связи нельзя пройти мимо позорного решения Сталиным судьбы советских военнослужащих, попавших в плен к гитлеровцам. Число их было весьма значительным. Только к концу 1941 года в плен попало в результате крупных военных неудач свыше 3,9 млн. человек. Конечно, среди военнопленных были и такие, кто сам сдавался в плен, были и предатели. Но основная их масса честно сражалась и попала в плен не по своей вине и в плену вела себя достойно. Причины наших военных неудач широко обсуждались в печати, они известны: это и нехватка военной техники, и плохое снабжение. А главное — просчеты в планировании, низкий уровень подготовки командного состава, особенно старшего и высшего, неумелое командование, слабое руководство войсками со стороны верховного командования, плохая организация, отсутствие связи. Наша армия и народ кровью платили за

ошибки и недоработки тогдашнего военно-политического руководства страны. Должно было пройти довольно значительное время, пока войска накопили опыт боевых действий, в ходе боев выдвинулись новые люди — командиры всех степеней, новые талантливые генералы. Вина же за поражения практически была возложена на людей, попавших в плен. Именно они, даже в том случае, если бежали из плена и потом вновь сражались с врагом, в основной своей массе подверглись в ходе войны и после нее репрессиям — заключению в лагеря.

После окончания Отечественной войны массовые репрессии вновь возобновились, хотя и не с таким размахом, как в 30-е годы. Вновь репрессии стали орудием укрепления режима личной власти Сталина и его ближайшего окружения. В данном сборнике читатель найдет статьи, посвященные так называемому «ленинградскому делу», по которому проходили такие деятели, как Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков, Капустин и др. В связи с этим делом были репрессированы не только те люди, которые названы выше, но практически весь состав ленинградского обкома, горкома и райкомов партии, областного, городского и районных исполкомов, множество хозяйственных руководителей, кадровых рабочих и т. д.

Известны дела военных: маршала артиллерии Яковлева, маршала авиации Худякова, адмиралов Галлера, Алафузова, Степанова и многих других.

В армии, которая выиграла войну, к руководству пришло много самостоятельно мыслящих людей, не привыкших к слепому повиновению. Сталин вновь путем репрессий пытался насадить в армии дух беспрекословного повиновения. Есть в одном из выпусков сборника и статьи, посвященные так называемому «делу врачей-убийц», делам «космополитов» и т. д. Направленность всех этих «дел» против интеллигенции очевидна. Как очевидна и цель: привести интеллигенцию к слепому повиновению, бездумному повторению и восхвалению всего, что сказано сверху «вождем».

Культ личности Сталина, массовые репрессии 30-х — начала 50-х годов не были неизбежны. Они представляли собой отступление от основополагающих принципов социализма и не имеют никакого оправдания.

Конечно, в 30-е годы перед Советским государством стояла задача как можно скорее вырваться из тисков отсталости и успеть создать индустриальную базу и военно-экономический потенциал, чтобы отстоять свое существование в капиталисти-

ческом окружении. Запоздание в этом деле грозило гибелью стране. Этим и диктовался путь ускорения темпов социалистических преобразований, скорейшей индустриализации, которая одним рывком вывела страну на качественно иной уровень. Другого пути, учитывая всю совокупность внутренних и международных реальностей того времени, у Советского государства не было. Однако методы проведения этой политики могли быть иными, в большей мере учитывающими социально-экономические процессы в стране и особенно в деревне, жизненные условия людей, более сбалансированными, без перегибов и массовых репрессий. За грубые политические ошибки и произвол Сталина и его ближайшего окружения наш народ заплатил великую цену[1]. Эти ошибки имели тяжелые последствия для жизни нашего общества. «Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех поколений»[2].

Террором и социальной демагогией Сталин добился своей цели: установления личной диктатуры. И хотя в Конституции СССР 1936 года объективно была представлена выражающая глубинную сущность социализма тенденция к демократизации, эта Конституция практически осталась на бумаге, превратившись в ширму режима культа Сталина.

Исторический опыт свидетельствует, что опасность бюрократизации жизни общества, всевластия бюрократической элиты, способной породить культ «вождя», может быть преодолена лишь путем решительной экономической реформы, нацеленной на слом административно-командной системы управления и соединенной с глубоким преобразованием политической системы общества, ее демократизацией, формированием социалистического правового государства. Именно по такому пути и пошла Коммунистическая партия и советский народ с апреля 1985 года. Именно такой путь намечен XXVII съездом КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференцией.

[1] О масштабах жертв косвенно свидетельствуют такие факты: если на протяжении 20-х и в начале 30-х годов население СССР стабильно росло: с 1926 по 1929 год на 7 млн. человек (с 147 млн. до 154 млн. человек); с 1929 года по 1 января 1933 года почти на 12 млн. человек (с 154 млн. до 165,7 млн. человек), — то с 1 января 1933 г. по декабрь 1937 г. оно не только не выросло, а, наоборот, уменьшилось почти на 2 млн. человек (с 165,7 млн. до 163,8 млн. человек). Здесь безусловно сыграли свою роль голод 1933 года и массовые репрессии. — См.: Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. М., 1936, с. 542; Народное хозяйство СССР в 1962 г. Статистический ежегодник. М. 1963, с. 7.

[2] Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается, с. 21.

Алексей Хорев

Маршал Тухачевский

В славной плеяде полководцев гражданской войны одна из самых ярких фигур — Михаил Николаевич Тухачевский. Командуя армиями и фронтами, он проявил большие организаторские способности и военный талант. Под его руководством был успешно проведен ряд операций. Ему также принадлежат выдающиеся заслуги в техническом перевооружении Красной Армии, в совершенствовании организационной структуры войск, в развитии авиации, механизированных и воздушно-десантных войск, в подготовке командных кадров. Будучи незаурядным военным теоретиком, Тухачевский занимался прогнозированием характера будущей войны, внес вклад в разработку стратегии, оперативного искусства, тактики, теории глубокой операции и боя. Его идеи оказали значительное влияние на развитие военной мысли и практики в предвоенные годы.

В результате сталинского произвола и репрессий Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский безвинно погиб в 1937 году. Великая Отечественная война шла без его участия. Но идеи Тухачевского, найдя свое блестящее подтверждение на полях битв, приближали нашу Победу.

1.

Сталин называл его прожектером. То ли и в самом деле считал идеи Тухачевского нереальными, то ли побольней искал слово, чтобы выразить всю неприязнь к этому молодому, неугомонному командарму. Когда именно зародилось в нем это не-

приятное и все растущее чувство, Сталин и сам, может, затруднился б сказать. По гражданской войне он знал Тухачевского как талантливого и удачливого военачальника, которому доверял и которого ценил Ленин. В январе 1920 года, находясь при штабе Южного фронта, Тухачевский сообщил в Реввоенсовет, что сидит без дела. Об этом узнал Ленин. В записке Склянскому он не преминул задать вопрос: «Где Тухачевский? Как дела на Кавкфронте?»

А на Кавкфронте дела обстояли неважно. В связи с неудачно окончившимся наступлением наших войск встал вопрос о замене командующего фронтом. В переговорах с Ворошиловым и Буденным по прямому проводу Сталин сообщал тогда из Курска: «Дней восемь назад, в бытность мою в Москве я добился отставки Шорина и назначения нового комфронта Тухачевского — завоевателя Сибири и победителя Колчака. Он сегодня только прибыл в Саратов и на днях примет командование фронтом». Сильно сказано о Тухачевском, не правда ли? Сталин самолично добивался его выдвижения. И вдруг — стойкая неприязнь...

Ничего определенно негативного ни Сталин, никто другой сказать бы о Тухачевском не мог. Но настороженность и сдержанность в отношении к нему со стороны некоторых руководителей чувствовались. Особенно это стало заметно самому Тухачевскому после смерти Ленина и Фрунзе, которых он горячо любил. С этого времени началась как бы новая полоса в его жизни. По службе почти неуклонно рос, продвигался, но с внедрением своих предложений, направленных на повышение боевой мощи армии, испытывал все бо́льшие затруднения. На что уж, кажется, широкие возможности открывались перед ним в этом плане с назначением на должность начальника Штаба РККА. Но умер Фрунзе, рекомендовавший его на этот пост, и дела стали идти со скрипом... В декабре 1927 года написал на имя Сталина письмо о перевооружении армии. А в мае 1928 года получил новое назначение — командующим войсками Ленинградского военного округа...

Три года работал в Ленинграде рука об руку с Кировым, при его активной поддержке. Многое сделал для улучшения боевой подготовки войск, неутомимо искал и утверждал новое. Вот что написал в своих воспоминаниях о деятельности Тухачевского в Ленинградском военном округе бывший в то время начальником оперативного отдела штаба округа генерал-майор Д. Н. Нинишев:

«...Его творческая мысль работала без устали, фантазия была поистине безграничной. На зимних учениях 1930 года по инициативе Михаила Николаевича целые дивизии были поставлены на лыжи, а крупнокалиберные пушки и гаубицы — на полозья. На морских учениях того же года в качестве высадочных средств для пехоты с танками использовались понтоны.

Тухачевский положил начало и подвижным зимним лагерям для войск, предназначенных к действиям в лесистой и лесисто-болотистой местности.

Михаил Николаевич не выносил шаблона в боевой подготовке войск, не терпел бездумности командиров, не позволял им ставить задачи подчиненным без учета возможностей противника.

Тухачевский умел охватить своим влиянием весь округ целиком, от окружных управлений до роты. Именно до роты! В ротах он проводил многие часы, а то и дни. Учил людей и сам учился у них».

А вот свидетельства Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова:

«Широк был круг творческих интересов и практических дел М. Н. Тухачевского. Он имел особое чутье на все новое, передовое, проявлял особую страсть при продвижении этого нового, передового в войска. Через всю его многообразную деятельность проходит повышенный интерес к проблемам технического перевооружения армии, к созданию сильной авиации, мощных бронетанковых соединений, мобильной пехоты. Он следил за иностранной технической литературой, лично занимался испытанием новых образцов оружия, являлся непременным участником опытных учений, проводимых в войсках... От появления новых и развития старых образцов вооружения Михаил Николаевич ставил в прямую зависимость и организацию, и тактику, и всю систему обучения войск».

Заботясь о разработке новейших видов боевой техники и оружия, Тухачевский оказывал всемерную поддержку конструкторам, многих знал лично, глубоко вникал в их деятельность, нужды, содействовал расширению старых и созданию новых конструкторских бюро.

Большое внимание уделял Михаил Николаевич разработке ракетных двигателей и реактивного оружия. Он выступил инициатором создания единого научного центра — Реактивного научно-исследовательского института.

Свои смелые теоретические взгляды Тухачевский энергично проверял и подкреплял практикой.

В 1930 году на маневрах под Ленинградом была предпринята комбинированная выброска и высадка воздушного десанта. Тухачевский назвал это первым камнем в строительстве воздушно-десантных войск.

В 1931 году он по-новому организовал первомайский парад на Дворцовой площади в Ленинграде. Участвовавшие в параде войска прошли по площади на мобилизованных автомобилях. На машинах следовали также авиадесантники из осоавиахимовцев. Это было своего рода демонстрацией перспектив технического перевооружения армии, ее перехода к мобильным формам ведения боя. Тем самым утверждалась и мысль о снижении роли кавалерии в будущей войне.

Техническое перевооружение армии требовало, конечно, от страны больших материальных средств, которых ей остро недоставало. И все-таки можно было и в той обстановке решать эту проблему более высокими темпами, если бы не существовало ее явной недооценки. Идеи Тухачевского натыкались на решительное сопротивление некоторых военных руководителей. В их числе был Троцкий, носившийся со своими авантюристическими и верхоглядскими воззрениями на военное строительство. Не проявляли должной дальновидности некоторые кавалерийские командиры и начальники.

— Война моторов, механизация, авиация и химия, — говорил, например, небезызвестный конник Щаденко, — придуманы военспецами. Пока главное — лошадка. Решающую роль в будущей войне будет играть конница. Ей предстоит проникать в тылы и там сокрушать врага...

Такой взгляд исповедовал не один Щаденко... Буденный даже на суде над Тухачевским припомнил ему как вредительство то, что он добивался ускоренного формирования танковых соединений за счет сокращения численности кавалерии и расходов на нее. Вспоминаются в этой связи прекрасные стихи Сергея Есенина:

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд!
А за ним
По большой траве

Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок!
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится!
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница!

Стихи написаны в 1920 году... Какой парадокс: для тонкого лирика, тосковавшего по Руси уходящей, для звонкого крестьянского поэта, чьи симпатии от рождения были на стороне «братьев наших меньших», исход спора между конем живым и конем железным был уже к тому времени исчерпывающе ясен. А иные военные и политические деятели все еще блуждали в трех соснах.

2.

В Главном управлении кадров Министерства обороны хранится личное дело Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского. Куцый какой-то экземпляр — ни автобиографии нет, ни одной аттестации... Но все равно — интересный документ как информация из первых рук. Ответы на одну из анкет написаны Тухачевским собственноручно, красными чернилами, мелким, скачущим почерком. Вот эта анкета.

«**Образование** — Гимназия и один год кадетского корпуса.

Когда вступил на военную службу — В военное училище в 1912 г.

В каких частях служил — В Семеновском полку командиром взвода, ком. роты.

Последняя военная должность и бывший чин — В старой армии комроты, представлен в капитаны.

Участвовал ли в кампаниях, каких и когда — Война с немцами 1914—17.

Был ли ранен, контужен — Не был.

Состояние здоровья в настоящее время — Здоров.

Политическое убеждение или партийность — Коммунист.

Какие выборные должности занимал и когда — Выборный комроты.

Командарм-5 М. Тухачевский.
4 июля 1919 г.»

А вот краткие сведения из других анкет, подшитых в этом деле.

Год рождения — 1893.

Национальность — Великоросс.

Какими иностранными языками владеет — Французским и немецким.

Социальное происхождение — Дворянин.

Военное образование — Александровское военное училище в 1914 г.

Партийность — Член ВКП(б) с 5.4.1918 г. Партбилет № 50136.

Какую партийную и политическую работу выполнял с февральской до Октябрьской революции — Находился в плену.

Да, был в биографии будущего маршала такой этап — в течение двух с половиной лет находился в германском плену. Вел себя стойко и мужественно. Предпринял несколько безуспешных попыток побега, за что был заключен в крепость. Но и здесь, при строжайшем тюремном режиме, не смирился с положением узника. Рискуя собой, помог бежать из крепости одному французскому офицеру, который спустя много лет с благодарностью рассказал об этом.

Вскоре Тухачевскому самому удалось бежать и вернуться на Родину. Время, проведенное в плену, он называл потерянными годами. С точки зрения боевого совершенствования офицера это было, конечно, так. Но для формирования гражданского самосознания, для понимания характера и целей империалистической войны, для восприятия надвигающейся революции пребывание Тухачевского в плену не осталось для него бесполезным. Слово Ленина, большевиков, обращенное к русским военнопленным, призывавшее их становиться после возвращения в Россию на сторону народа, безусловно, доходило до них. Такие люди, как Тухачевский, и сами не могли в той обстановке не задумываться о судьбах Отечества, о своем месте и роли в борьбе за его освобождение от царя и капиталистов. Нельзя в этой связи не обратить внимание на такую красноречивую хронологию: в октябре 1917 года Тухачевский вернулся из плена на Родину, в декабре того же года был избран командиром роты Семеновского полка, а 5 апреля 1918-го уже вступил в партию большевиков и 26 июня того же года был назначен командующим 1-й революционной армией Восточного фронта. Даже для того крутого и динамичного времени такие повороты в судьбе человека не были обычными. К ним надо было быть подготовленным и в политическом, и в военном отношении.

Товарищи Тухачевского по плену вспоминают, как он еще там,

за колючей проволокой, горя нетерпением скорей вернуться на Родину, говорил о том, что пойдет за Лениным.

И пошел. Сначала работа в военном отделе ВЦИК, затем военкомом обороны Московского района. Когда на Волге вспыхнул мятеж белочехов, один из членов ВЦИК — Н. Н. Кулябко доложил о Тухачевском Ленину. Владимир Ильич проявил интерес к «поручику-коммунисту», пригласил к себе, попросил изложить взгляды на строительство новой, социалистической армии. Тухачевскому, по-видимому, было что сказать по этому вопросу. Человек, что называется, до мозга костей военный, он жил проблемами армии, ее дисциплины, организации, боевой службы, хорошо знал эти проблемы.

Воевать поручику Тухачевскому довелось сравнительно недолго — полгода. Но за это время он в полной мере проявил боевую командирскую доблесть и зрелость. Достаточно сказать, что его подвиги были отмечены шестью боевыми наградами — орденом Анны трех степеней, Станислава двух степеней и Владимира 4-й степени. Это было венцом настоящего героизма.

Высокие посты, которые Тухачевский занимал в Красной Армии, требовали от него не только личного мужества, но и широких познаний, организаторского таланта, умения руководить большими массами войск. И тут он вполне оправдал доверие и надежды Ленина. В личном деле Тухачевского есть текст приказа Реввоенсовета республики от 22 мая 1920 года о переводе его в Генеральный штаб. В этом приказе, подписанном заместителем председателя РВСР Э. Склянским и главнокомандующим всеми вооруженными силами Советской республики С. Каменевым, в частности, говорится: «Командующий Западным фронтом М. Н. Тухачевский, вступив в ряды Красной Армии и обладая природными военными способностями, продолжал непрерывно расширять свои теоретические познания в военном деле. Искусно проводил задуманные операции и отлично руководил войсками как в составе армии, так и командуя армиями фронтов республики и дал Советской республике блестящие победы над ее врагами на Восточном и Кавказском фронтах...».

Бывали в военной биографии Тухачевского не только победы. Войска Западного фронта под его командованием потерпели неудачу в Варшавской операции 1920 года. Касаясь причин нашего поражения под Варшавой, Ленин писал: «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти что до Варша-

вы, несомненно, была сделана ошибка... Эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами». Тухачевский честно признавал допущенные просчеты, не кивая на других, хотя вину за неудачу было с кем делить (в частности, с командованием Юго-Западного фронта, не выполнившим своевременно директивы главкома о передаче 1-й Конной армии в оперативное подчинение Западного фронта. Членом РВС этого фронта был Сталин, который лично противодействовал выполнению директивы. Может, отсюда и пошла неприязнь-то?). Ленин своего отношения к Тухачевскому не изменил, продолжал держать его в поле зрения. Именно Тухачевскому было поручено позднее возглавить подавление кронштадтского мятежа и разгром антоновщины. Боевые заслуги Михаила Николаевича в годы гражданской войны были отмечены орденом Красного Знамени и Почетным золотым революционным оружием. В 1933 году «за исключительные личные заслуги перед революцией в деле организации обороны Союза ССР на внешних и внутренних фронтах в период гражданской войны и последующие организационные мероприятия по укреплению мощи РККА» он был награжден орденом Ленина.

В 1934 году на XVII съезде партии избран кандидатом в члены ЦК. В 1935 году ему присвоено высшее воинское звание — Маршал Советского Союза. И все же полного доверия к себе со стороны Сталина он не чувствовал.

3.

Георгий Константинович Жуков в беседе с редактором своей книги «Воспоминания и размышления», говоря о сталинских репрессиях против военных кадров, заметил:

— Особенно жаль Тухачевского. Огромного военного таланта человек. Умница, широко образованный, сильный, занимался тяжелой атлетикой, и очень красивый. (Вдруг отклонился в кресле, как-то взглянул сбоку и вновь повторил: «Удивительно был красив».)

Люди, хорошо знавшие Михаила Николаевича, отмечают в нем гармонию внешнего вида и внутреннего мира. И, может быть, наиболее ярким проявлением этого было увлечение Тухачевского военной наукой. Оно исходило из стремления осмыслить происходящие в военном деле изменения, найти наиболее целесообразные формы войсковой организации, оперативного искусства и было не служебной обязанностью, а потребностью его неординарного интеллекта. Еще в ходе гражданской войны он начал работать над исследованием «Стратегия

национальная и классовая». В дальнейшем, будучи начальником Военной академии, и позднее, выступая с лекциями на эту тему, удивлял глубиной своих размышлений старых профессоров и генералов. Работам Тухачевского «Стратегия национальная и классовая» и «Война классов» нашлось место в личной библиотеке Ленина в Кремле.

В 1964 году в Воениздате вышел двухтомник Тухачевского «Избранные произведения». Одно только перечисление названий некоторых работ дает наглядное представление о целеустремленности его научных интересов: «Война как проблема вооруженной борьбы», «Новые вопросы войны», «Характер пограничных сражений», «Военные планы нынешней Германии», «Маневр и артиллерия», «Вопросы современной стратегии». В иных из его работ встречаются мысли, которые сегодня, спустя много лет, нельзя не назвать прозорливым предвидением.

«Мы должны готовиться к длительной войне, — писал Михаил Николаевич, например, в «Вопросах современной стратегии», изданных отдельной брошюрой в 1926 году. — Если война была длительной у империалистов при их столкновении друг с другом, то нет никакого сомнения, что между нашим Советским Союзом и капиталистическим окружением борьба будет длительной, упорной и ожесточенной... Наш Советский Союз не представляет собой расплывчатой коалиции капиталистических государств, но мы тоже будем расширяться в социалистическую коалицию, когда будут вспыхивать новые социалистические революции или когда нам придется занимать тот или иной район, находящийся под владычеством капитала».

Как истинно советский полководец, Михаил Николаевич не замыкался в своих исканиях на вопросах сугубо военных и военно-технических, много внимания уделял моральному фактору, политической подготовке воинов. «Только политическая зрелость, — писал он, — может дать красноармейцу волю к победе, решительность, выносливость, без чего ни строевая, ни тактическая подготовка не может быть ему понятна».

Высокие научные, нравственные и иные достоинства личности Тухачевского великолепно подмечены в характеристике, написанной партийным бюро Военной академии РККА, начальником которой Михаил Николаевич был в 1921—1922 годах:

«...В высокой степени инициативен, способен к широкому творчеству и размаху. Упорен в достижении цели. Текущую

работу связывает с интенсивным самообразованием и углублением научной эрудиции. Искренне связан с революцией, отсутствие всяких внешних показных особенностей (не любит угодливого чинопочитания и т. д.). В отношении красноармейцев и комсостава — прям, откровенен и доверчив, чем сильно подкупает в свою пользу. В партийно-этическом отношении безупречен. Способен вести крупную организационную работу на видных постах республики по военной линии».

Вот еще несколько штрихов к портрету Тухачевского — из воспоминаний его сестер Елизаветы Николаевны и Ольги Николаевны:

«Всю жизнь Михаил Николаевич с увлечением, беззаветно отдавался единожды избранному военному делу. Но он не мог обойтись и без музыки, без живописи, без систематического чтения. В его богатом духовном мире было место Бетховену и Баху, Шуману и Мусоргскому, Моцарту и Скрябину, Шопену и Мендельсону, Толстому и Шекспиру. Его интересовало все новое в науке, технике, искусстве. С детства он увлекался астрономией».

«Светлая голова», «честный, искренний характер», «человек исключительных ораторских способностей», «что запретил другим, того не позволит себе» — вот далеко не полный перечень лестных отзывов друзей и соратников Тухачевского о его человеческих качествах. О деловых сказано уже много. И при всем этом — неприязнь, недоброжелательство, интриги вокруг него. Нарком Ворошилов, по свидетельству Жукова, недолюбливал своего заместителя, потому что завидовал его таланту и широкой образованности. Вместе со Сталиным Ворошилов скептически и даже враждебно относился к некоторым его предложениям о реорганизации армии. В заключении Сталина по одному из докладов Тухачевского утверждалось, что принятие его программы повело бы якобы к ликвидации социалистического строительства и к замене его системой «красного милитаризма». Эту хлесткую сталинскую формулировку Ворошилов огласил на расширенном заседании Реввоенсовета. Тухачевский был лишен возможности преподавать стратегию в Военной академии РККА, где он успешно вел этот предмет в течение ряда лет.

Несмотря на всяческое противодействие и интриги, Тухачевский, будучи с 1931 года заместителем председателя РВС и начальником вооружений РККА, а с 1934 года — заместителем наркома обороны, сумел сделать немало для укрепления бое-

вой мощи армии. Он мог бы сделать для отражения гитлеровского нашествия еще очень много... Но 11 мая 1937 года Тухачевский был неожиданно, без объяснения причин, освобожден от обязанностей замнаркома обороны и назначен командующим войсками Приволжского военного округа.

4.

«Никто никогда не слышал от него жалоб, сетований на трудности или несправедливость, — рассказывают сестры Михаила Николаевича. — Лишь зимой 1937 года, чувствуя недоброе, он сказал одной из нас:

— Как я в детстве просил купить мне скрипку, а папа из-за вечного безденежья не смог сделать этого. Может быть, вышел бы из меня профессиональный скрипач...»

В очень горькую, знать, минуту жизни мог пожалеть такой человек об избранном им пути, на котором так много сделал для Родины. Ему, конечно, хотелось и дальше на этом пути вдохновенно жить н работать, но дело, по всей видимости, приближалось к трагическому концу. В стране и армии шли аресты. Ощущавший на себе тяжелый взгляд Сталина, Тухачевский не мог в этой обстановке не томиться тревожным предчувствием. Узнав об аресте комкора Б. М. Фельдмана, с которым вместе работал еще в Ленинграде и которого блестяще аттестовал как начальника штаба округа, он сказал:

— Это какая-то грандиозная провокация.

А провокация между тем продолжалась. 26 мая был арестован он сам. 11 июня состоялся суд. В тот же день (куда вы так торопились, граждане судьи?!) он вынес смертный приговор Тухачевскому и еще семи крупным военным работникам — командармам 1 ранга Иерониму Петровичу Уборевичу и Ионе Эммануиловичу Якиру, командарму 2 ранга Августу Ивановичу Корку, комкорам Виталию Марковичу Примакову, Витовту Казимировичу Путне, Роберту Петровичу Эйдеману и Борису Мироновичу Фельдману. Все они были расстреляны.

За что же?..

Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР признало нх виновными... в измене Родине, шпионаже, вредительстве...

Спустя 20 лет Прокуратура СССР провела проверку этого дела и внесла в Верховный Суд СССР заключение об отмене приговора в отношении всех осужденных и прекращении дела производством за отсутствием в нх действиях состава преступ-

ления. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 31 января 1957 года приговор отменен и дело прекращено.

Начало этой фальсификации положено в мае 1937 года. Первые показания о существовании военного заговора в Красной Армии, руководимого якобы Тухачевским, Якиром и другими, были получены 8 и 10 мая 1937 года от бывшего начальника управления штаба РККА Медведева Михаила Евгеньевича, арестованного к тому времени органами НКВД. На допросе 8 мая он показал, что о заговоре ему стало известно со слов одного сослуживца в августе-сентябре 1931 года. Позднее он якобы узнал, что руководителями заговора являются Тухачевский, Якир, Путна, Примаков и другие.

О том, каким путем были получены эти сведения, бывший начальник УНКВД по Московской области Радзиviловский А. П. еще в 1939 году показал:

«Поручение, данное мне Ежовым, сводилось к тому, чтобы немедля приступить к допросу арестованного Медведева и добиться от него показаний о существовании военного заговора в РККА с самым широким кругом участников. При этом Ежов дал прямое указание применить к Медведеву методы физического воздействия, не стесняясь в их выборе.

Приступив к допросу Медведева, я установил, что он 3—4 года назад уволен из РККА и работал перед арестом заместителем начальника строительства какой-то больницы. Медведев отрицал какую бы то ни было антисоветскую работу и свои связи с военными кругами. Когда я доложил об этом Ежову и Фриновскому, они предложили «выжать» от него его «заговорщицкие» связи и снова повторили, чтобы с ним не стесняться.

Для меня было очевидно, что Медведев — человек давно оторванный от военной среды, и правдивость его заявлений не вызывает сомнений. Однако, выполняя указания Ежова и Фриновского, я добился от него показаний о существовании военного заговора, о его активном в нем участии, и в ходе последующих допросов, в особенности после избиения его Фриновским в присутствии Ежова, Медведев назвал значительное количество крупных руководящих военных работников.

По ходу дела я видел и знал, что связи, которые называл Медведев, были им вымышлены, и он все время заявлял мне, а затем Ежову и Фриновскому о том, что его показания ложны и не соответствуют действительности. Однако, несмотря на это, Ежов этот протокол доложил в ЦК.

Медведев был арестован по распоряжению Ежова без каких-либо компрометирующих материалов, с расчетом начать от него раздувание дела о военном заговоре в РККА».

На основании этих показаний Медведева, ныне реабилитированного, а также на основании показаний Путны и Примакова, полученных от них спустя 9 месяцев после их ареста, в конце мая 1937 года были арестованы Тухачевский, Фельдман, Корк, Эйдеман, Якир и Уборевич. На первых допросах все они категорически отрицали проведение какой-либо преступной деятельности. Лишь впоследствии от них были получены показания о принадлежности к контрреволюционному военному заговору. Проверкой установлено, что эти показания ложные, они получены путем применения незаконных методов следствия: обмана, шантажа и мер физического воздействия.

Бывший начальник отделения НКВД Авсеевич А. А. на допросе в прокуратуре 5 июля 1956 года говорил:

«...Примерно в марте 1937 года я вызвал на допрос Примакова. Он был изнурен, истощен, оборван, имел болезненный вид.

Примаков и Путна на первых допросах категорически отказывались признать свое участие в контрреволюционной троцкистской организации. Я вызывал их по 10—20 раз. Они сообщили мне, что, помимо вызовов на допросы ко мне, неоднократно вызывались к Ежову и Фриновскому. На одном из допросов Примаков заявил, что накануне вызывался к Ежову, там был серьезно предупрежден о последствиях в случае, если будет запираться... Примаков обещал Ежову подумать и сейчас будет давать показания...

Путна также вызывался к Ежову и Леплевскому, но долго не признавал себя виновным.

В мае 1937 года на одном из совещаний пом. нач. отдела Ушаков доложил Леплевскому, что Уборевич не хочет давать показаний. Леплевский приказал применить к Уборевичу методы физического воздействия».

Бывший работник НКВД Бударев В. И. вспоминал:

«Дело Примакова я лично не расследовал, но в ходе следствия мне поручалось часами сидеть с ним, пока он писал сам свои показания. Начальник отделения и его заместитель давали мне и другим работникам указания сидеть вместе с Примаковым и тогда, когда он еще не давал показаний. Делалось это для того, чтобы не давать ему спать, понудить дать показания о

своем участии в троцкистской организации. Таким образом его не оставляли одного. В период расследования дела Примакова и Путны было известно, что оба они дали показания об участии в заговоре после избиения их в Лефортовской тюрьме... В это время начались аресты таких лиц, как Тухачевский, Уборевич и др.».

Бывший зам. начальника отделения НКВД Карпейский Я. Л. показывал:

«Из группы военных, осужденных вместе с Тухачевским, я принимал участие только по делу Эйдемана... Допрос велся без предъявления Эйдеману конкретных материалов, но ему было сказано, что он уличается как участник «военного заговора» и его запирательство бесполезно. Однако Эйдеман не сознавался... Во время допроса Эйдемана из соседних кабинетов доносились крики, стоны людей и шум...»

О широком применении незаконных методов следствия к арестованным дал показания еще в 1938 году бывший пом. начальника отдела НКВД Ушаков З. М., принимавший участие в допросах Тухачевского, Якира и Фельдмана.

О применении к арестованным жестоких мер воздействия свидетельствует и тот факт, что на протоколе допроса Тухачевского от 1 июня 1937 года, в котором зафиксировано признание вины Тухачевского, на листах дела 165—166 обнаружены пятна, которые, по заключению биологической экспертизы, являются каплями и мазками человеческой крови.

Как установлено проверкой дела, подтверждение обвиняемыми в суде своих вымышленных показаний, данных ими на предварительном следствии, было обусловлено тем, что они продолжали находиться под контролем следователей до конца судебного процесса. Следователи сопровождали своих подследственных в суд, были с ними вместе в комнате ожидания. Все арестованные находились в отдельных комнатах, и с каждым находился следователь. Всем говорили, что признание в суде облегчит их участь.

Таким образом, все усилия следствия были направлены к одной цели — добиться от арестованных признания ими своей вины. Признания эти нужны были скорее для создания видимости правосудия, в них вряд ли верили и Ежов, и Сталин... Показания осужденных не внушают доверия, они крайне неконкретны, голословны, содержат в себе много существенных противоречий и явных вымыслов.

Так, например, Фельдман первоначально показывал, что в заговор был вовлечен Примаковым, а на последующих допросах — что завербован Тухачевским...

Корк в составе «штаба переворота» называл вначале Тухачевского, Путну и себя, затем Путну исключил, а Якира, Уборевича, Эйдемана добавил.

Тухачевский показал на следствии, что еще в 1925 году передавал секретные сведения польскому шпиону Домбалю. А в суде заявил, что знал Домбаля не как шпиона, а как члена ЦК Компартии Польши.

Тухачевский и Уборевич, признавшие себя руководителями заговора, в суде обнаружили полное незнание подробностей якобы намечавшегося ими «дворцового переворота».

Таким образом, показания обвиняемых оказались сфальсифицированными. Других же материалов, подтверждающих обвинение, в деле нет...

За незаконные аресты, фальсификацию следственных дел и применение незаконных методов ведения следствия бывшие работники НКВД СССР Леплевский, Ушаков, Агас, Миронов, Фриновский, принимавшие участие в расследовании дела Тухачевского, Якира и других, были осуждены к расстрелу еще в 1938—1940 годах. Расстрелян был и их кровожадный лидер Ежов. Сталин обо всем этом, конечно, знал. Однако имена и заслуги Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путны на протяжении долгих двадцати лет были преданы забвению. Вслед за ними были уничтожены и опозорены еще тысячи верных сынов Родины — командиров и комиссаров Красной Армии. Только с мая 1937 по октябрь 1938 года в армии и на флоте было репрессировано около 40 тысяч человек. За этот произвол, кровавый сам по себе, мы заплатили еще большей кровью на войне.

5.

Существует и другая, широко распространенная ныне версия о начале фальсификации дела Тухачевского. Она основана на иностранных источниках. Гитлеровская разведка, стремясь ослабить Красную Армию, сфабриковала документы, из которых следовало, что Тухачевский вел с немцами переговоры об организации заговора против Сталина.

Для этого было использовано секретное соглашение между германским и советским командованием 1926 года, по которо-

му фирма «Юнкерс» оказывапа нам техническую помощь в создании авиации. Тухачевский бып тогда начальником штаба РККА и, естественно, имел деповые встречи с немецкими офицерами. На документе о соглашении 1926 года стояпа подпинная подлись Тухачевского. Это и дапо возможность сфабриковать лодложное лисьмо, сколировав его лодлись. В лисьме Тухачевский и его «единомышпенники» будто бы договаривапись о том, чтобы избавиться от олеки гражданских пиц и захватить в свои руки государственную впасть. На подпожном письме быпи подпинные штампы разведки «Абвера» — «Совершенно секретно», «Конфиденциапьно». Была и лодлинная резолюция Гитлера — лриказ организовать слежку за немецкими генералами вермахта, которые будто бы связаны с Тухачевским. Письмо быпо гпавным документом, всего же «досье» имело 15 листов, и, кроме письма, в нем были разпичные документы на немецком языке, подписанные генерапами вермахта (подписи быпи поддельные, сколированные с банковских чеков). Чтобы перелравить досье Стапину, была симулирована кража «досье» во время пожара из здания «Абвера». Затем фотоколия «досье» оказапась в руках гпавы чехосповацкого правитепьства Бенеша, который переспап эту папку Стапину... Подпое семя упало на подготовпенную почву. За эту фапьшивку, как утверждают иностранные источники, ведомством Ежова было отвапено 3 млн. рублей.

В наших документах — заключении Генерального прокурора СССР и Определении Военной коллегии Верховного Суда СССР об отмене приговора в отношении Тухачевского и других — о фальшивке германской разведки упоминания нет. Значит, и на суде как улика она, по-видимому, не фигурировала. Но если она существовала, то состав Специального судебного присутствия о ней, возможно, знал.

...После расправы над Тухачевским начались аресты его родных, друзей, сослуживцев. Увидев портрет маршала на стене в квартире одного из арестованных, работник НКВД произнес с удивлением:

— Так вы его еще не сняли?

— Нет, — ответил арестованный. — Знайте, что ему со временем поставят памятник.

Это предсказание сегодня сбывается. Имя маршала Тухачевского носят улицы многих городов страны. В его честь установлены мемориальные доски в Москве, Смоленске. Сама собой напрашивается мысль об увековечении памяти маршала в Вооруженных Силах. Его имя с радостью могло бы принять и с гордостью носить, к примеру, любое из военно-учебных заведений.

Борис Ефимов

Тайна судьбы Михаила Кольцова

В апреле 1937 года специальный корреспондент газеты «Правда» Михаил Кольцов был на короткое время вызван в Москву из Испании. К этому моменту прошло около десяти месяцев с печально памятного дня 18 июля 1936 года, когда прозвучал зловещий радиосигнал к фашистскому мятежу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Все эти месяцы, недели и дни миллионы читателей «Правды» с захватывающим интересом и волнением читали кольцовские корреспонденции из Барселоны, Мадрида, Толедо, Гвадалахары, Бильбао, видели его глазами и переживали его чувствами мужественную и неравную борьбу защитников республики против наглого вооруженного до зубов испано-итало-германского фашизма.

Спецкор «Правды» поспевал всюду, носился по фронтовым дорогам, появлялся в окопах, командных пунктах, штабах. Вникал в работу организаций обороны, военных и партийных комитетов, министерств. Сообщал обо всем оперативно, достоверно, ярко. Во всем блеске развернулись тогда незаурядные его журналистские качества — инициатива, находчивость, неутомимость, бесстрашие. А веселый его нрав, остроумие, общительность снискали ему и там много друзей. Работе Кольцова в Испании отдавали впоследствии должное участники испанской войны, наши виднейшие военные деятели, тепло вспоминавшие его: Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, Н. Г. Кузнецов, П. И. Батов и многие другие.

В романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй так пишет о некоем русском журналисте с легко расшифровы-

ваемой фамилией Карков: «...Карков, приехавший сюда от «Правды» и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании». В том же романе, от имени главного его героя — американского писателя Роберта Джордана, во многих оценках которого слышен голос Хемингуэя, говорится: «...А Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать... Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого бы была такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие... Ему никогда не надоедало думать о Каркове».

В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург вспоминает: «Трудно себе представить первый год испанской войны без Кольцова... Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником... Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него самого обузой, он быстро разбирался в обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями». К этим словам Ильи Григорьевича следует добавить, что, насколько я знаю, функций политического советника никто Кольцову не поручал. Он ехал в Испанию только как журналист, корреспондент «Правды». Но Кольцов не был бы Кольцовым, если бы в той сложной, бурной обстановке остался в рамках чисто газетной работы. Не в его это было характере. И спецкор «Правды» закономерно и естественно пришел к более масштабной и ответственной деятельности.

Итак, к первомайскому празднику 1937 года Кольцов ненадолго приезжает в Советский Союз. На Белорусском вокзале его встречает, как говорится, «вся Москва» — журналистская и писательская. Отблеск захватывающей борьбы в Испании ореолом всенародной популярности ложится на спецкора «Правды». Он окружен всеобщим вниманием. В Кремле ему вручается довольно еще редкий в ту пору боевой орден Красного Знамени.

На традиционном первомайском приеме в Георгиевском зале Кремлевского дворца среди многих прозвучавших там здравиц был и тост, предложенный народным комиссаром по военным делам.

— Вы знаете, товарищи, — сказал Климент Ефремович Ворошилов, — в Испании сейчас идет война. Упорная, нешуточная война. Воюют там разные нации. Затесались туда и наши русские. Я предлагаю, товарищи, поднять бокалы за предста-

вителя наших людей в Испании, присутствующего здесь товарища Михаила Кольцова.

А писатель Лев Славин рассказывал впоследствии в своих воспоминаниях: «Я помню одно из выступлений Всеволода Вишневского, только что вернувшегося из поездки в Испанию. Он сказал: «Мы дали Испании танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила Кольцова!»

В эти дни Кольцов, что называется, «нарасхват»: ему приходится рассказывать о своих испанских впечатлениях в самых различных аудиториях. Но самой серьезной из этих аудиторий была, несомненно, и самая немногочисленная из них — всего пять человек. Это были Сталин и наиболее приближенные к нему лица — Молотов, Каганович, Ворошилов, Ежов.

Вопросы к Кольцову о самых разнообразных деталях военной и политической ситуации в Испании и его обстоятельные ответы заняли больше трех часов. Наконец, беседа подошла к концу.

— И тут, — рассказывал мне брат в тот же вечер, — он стал как-то чудить. Остановился возле меня, прижал руку к сердцу, поклонился.

— Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

— Мигель, товарищ Сталин, — ответил я.

— Ну, так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. До свидания, дон Мигель. Всего хорошего.

— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул, и произошел какой-то странный разговор:

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

— Есть, товарищ Сталин, — удивленно ответил я.

— Но вы не собираетесь из него застрелиться?

— Конечно, нет, — еще более удивляясь, ответил я, — и в мыслях не имею.

— Ну, вот и отлично, — сказал Сталин. — Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель.

На другой день, коснувшись в телефонном разговоре происшедшей накануне беседы, К. Е. Ворошилов, как всегда дружелюбно, сказал Кольцову:

— Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас ценят, вас любят, вам доверяют.

— Что ж, Мышонок, — сказал я, когда брат мне об этом рассказал, — по-моему, это очень приятно.

— Да, приятно, — произнес Миша задумчиво. — Но знаешь,

что я совершенно отчетливо прочитал в глазах хозяина, когда он провожал меня взглядом?

— Что?

— Я прочитал в них: слишком прыток.

...Шел тридцать седьмой год.

Есть крылатые поэтические строки: «Сороковые, роковые... Война гуляет по России...» А недавно стихи стали публиковаться о том, как «гуляли по России» тридцатые. С великой болью написанные «По праву памяти» А. Твардовского, «Реквием» А. Ахматовой, стихи О. Берггольц...

Тридцатые гуляли по России. Чуть ли не в каждый дом, чуть ли не в каждую семью вместе с сообщениями о трудовых победах железной, леденящей поступью входило то непостижимое и страшное, что, направляемое некой безжалостной рукой, отнимало свободу и жизнь, грубо и бесчеловечно растаптывало честь людей, их человеческое достоинство, заслуги перед народом, преданность Родине, веру в справедливость и законность.

Народ назвал это время «ежовщиной».

Как объяснить сегодняшнему читателю, что это такое?

Как описать состояние тысяч и тысяч людей, не знающих за собой никакой вины, но каждую (каждую!) ночь с замиранием сердца прислушивавшихся, не раздастся ли в дверь роковой звонок, облегченно вздыхавших и забывавшихся тяжелым сном где-то под утро для того, чтобы в течение дня с ужасом думать о следующей ночи.

Как рассказать, какими словами изобразить настроение людей, всеми фибрами души чувствующих нависшую над ними и их семьями беду и бессильных ее отвратить, не знающих, как спастись, куда деваться, скованных и беспомощных, как в ночном кошмаре.

Эти люди страстно желали бы что-то у кого-то спросить, что-то кому-то объяснить, в чем-то оправдаться, что-то опровергнуть. Но сделать это нет ни малейшей возможности просто потому, что никто никаких вопросов им не задает, ни в какие объяснения не вступает, никаких претензий не высказывает, никаких обвинений не предъявляет. Человек чувствует себя в каком-то жутком бредовом вакууме, но должен при этом делать вид, что никаких оснований для беспокойства у него нет, должен казаться абсолютно спокойным и бодрым, сохранять полную работоспособность, как обычно, выполнять свои обязанности.

Такова была в общих чертах обстановка «ежовщины», свя-

занной с именем маленького бесцветного человека, всемогущим капризом вознесенного на головокружительную высоту власти и так же легко и равнодушно с нее низвергнутого.

Вижу, как, шагая взад и вперед по своему кабинету в «Правде» (к этому времени он уже был окончательно отозван из Испании), Кольцов размышлял вслух:

— Думаю, думаю... И ничего не могу понять. Что происходит? Каким образом у нас вдруг оказалось в стране столько врагов? И кто? Люди, которых мы годами знали и уважали, с которыми вместе работали, рядом жили. Командармы, полпреды, наркомы, герои гражданской войны, старые партийцы-ленинцы. И почему-то, едва попав за решетку, они мгновенно признаются в том, что являются замаскированными врагами народа, шпионами, агентами иностранных разведок. Что замышляли вернуть земли помещикам, фабрики капиталистам... В чем дело? Я чувствую, что схожу с ума. А ведь по своему положению — член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета — я, казалось бы, должен уметь объяснить людям смысл того, что происходит, причины такой массы разоблачений и арестов. А на самом деле я, как самый последний перепуганный обыватель, ничего не знаю, ничего не понимаю, растерян, сбит с толку, брожу впотьмах.

— То ли кто-то, — продолжал брат, — может быть, Ежов, непрестанно разжигает его подозрительность, подсовывая наскоро состряпанные заговоры и измены. То ли, наоборот, он настойчиво и расчетливо подогревает усердие Ежова, поддразнивает, что тот не видит у себя под носом предателей и врагов народа. Вот тебе, кстати, характерный штрих, который многое мне объяснил. На днях я зашел к Мехлису, застал его за чтением какой-то толстой тетради. Это были показания недавно арестованного редактора «Известий» Таля. «Прости, Миша, — сказал он мне со своей улыбочкой, — не имею права, сам понимаешь, дать тебе прочесть. Но посмотри, если хочешь, его резолюцию». Я посмотрел. Красным карандашом было написано: «Товарищам Ежову и Мехлису. Прочесть совместно и арестовать всех упомянутых здесь мерзавцев. И. С.».

— Понимаешь? — сказал Миша. — Люди, о которых идет речь, еще на свободе. Они работают, может быть, печатаются в газетах, ходят с женами в гости и в театры, собираются в отпуск куда-нибудь на юг. И не подозревают, что они уже «мерзавцы», что они уже осуждены и, по сути дела, уничтожены одним росчерком этого красного карандаша. Ежову

остаются чисто технические детали: оформить «дела» и выписать ордера на арест.

Я слушал брата, и сердце сжималось зловещей тревогой. Я не мог отделаться от мысли, что и его судьба может быть решена вот так же... красным карандашом, на чьих-нибудь вынужденных или выдуманных показаниях. Я отчетливо представлял себе, как где-то в тиши недоступных для простых смертных кабинетов решается участь Кольцова, как кто-то, скорее всего Мехлис, прилагает все усилия посеять в подозрительном уме Сталина недоверие к «дону Мигелю» и где-то во тьме колеблются таинственные весы, на которых лежит его судьба.

Вскоре произошло обстоятельство, обострившее мою тревогу.

В Москву приехали гости из Испании — командующий военно-воздушными силами республики генерал Сиснерос и его жена, журналистка Констансия де ла Мора. Кольцов дружил с ними в Испании и, естественно, постарался окружить их в Москве гостеприимным вниманием. В один из вечеров испанские гости ужинали на квартире у Кольцова. Пришел и я. Помню, именно в этот день в газетах был напечатан указ о снятии Ежова и назначении на его место Берии. Сев за стол рядом с братом, я сказал ему вполголоса:

— Ну, вот и не стало Ежова. Кончилась «ежовщина».

— Как сказать, — неохотно отозвался Миша. — Может быть, теперь становятся подозрительными те, кого не тронул Ежов.

А еще через день брат очень живо, с забавными подробностями, рассказывал мне, как темпераментно перебивая друг друга, супруги Сиснерос описывали прием у Сталина, как они были потрясены и очарованы его простотой и добродушием, как мило он представился каждому из них, пожимая руку и называя при этом свою фамилию, какую осведомленность проявил он в биографии и боевых заслугах самого Игнасио и даже любезно вспомнил его прадеда, видного флотоводца Испании адмирала Сиснероса (все эти факты были, разумеется, заблаговременно подготовлены Кольцовым).

Я молча слушал брата, и меня сверлил один-единственный вопрос, который я, наконец, задал, хотя ответ на него был ясен заранее:

— Скажи, Мышонок. А... А тебя не пригласили?

Он посмотрел на меня своим умным, все понимающим взглядом.

— Да, — сказал он, очень отчетливо выговаривая слова, — меня не при-гла-си-ли.

Развязка наступила 12 декабря 1938 года.

В этот вечер Кольцов выступал с большим докладом о недавно опубликованном «Кратком курсе истории ВКП(б)» в Центральном Доме литераторов. Знаменитый Дубовый зал писательского клуба был заполнен до отказа. Я нашел себе место наверху, на хорах. В перерыве я спустился в зал. Кольцов был, как всегда, окружен людьми, оживлен, весело обменивался шутливыми репликами. После собрания мы подошли к нему в вестибюле вместе с его помощником Н. Беляевым, и я предложил поехать всем ко мне пить чай. Миша подумал и сказал:

— Чай — это неплохо. Но у меня еще есть дела в редакции. Я поехал в «Правду».

Мы условились увидеться назавтра. Но назавтра мы не увиделись. И не увиделись больше никогда.

Рано утром 13 декабря меня разбудил телефонный звонок. Я взял трубку и услышал голос кольцовского шофера, который вчера отвозил его в редакцию.

— Борис Ефимович? Это Костя говорит, Деревенсков. Борис Ефимович... Знаете... Вы ничего не знаете?

— Я все понял, Костя, — ответил я.

На другой день мне рассказала секретарша Кольцова в «Правде» Валя Ионова:

— Михаил Ефимович прошел к себе в кабинет, снял пальто, попросил меня «организовать чайку, погорячее и покрепче» и сел за свой стол. Тут же раздался звонок от Ровинского, который в этот день дежурил по номеру. Просил срочно к нему зайти. Михаил Ефимович пошел к Ровинскому, очень скоро от него вернулся, забрал свое пальто и снова вышел. Я выскочила за ним в коридор и окликнула его:

— Михаил Ефимович! Куда же вы? Надолго? А чай?

Он остановился и посмотрел на меня как-то рассеянно. Мне бросилось в глаза, что он был очень бледен.

— Что, Валечка? — спросил он. — Чай? Не знаю... Может быть, задержусь.

...С первых дней Великой Отечественной войны в моей душе зародилась надежда на освобождение брата. Я был твердо убежден в том, что он жив. И прежде всего потому, что в течение почти всего 1939 года бесспорным признаком

его существования и вместе с тем единственной связывающей с ним ниточкой был прием денежных передач.

Аккуратно три раза в месяц я приходил в извилистый проходной двор, соединяющий Кузнецкий мост с Пушечной улицей, и входил в невзрачную дверь, на которой висела табличка с маловразумительной надписью: «Помещение № 1». В этом «помещении» через крохотное окошко я вносил на имя Кольцова Михаила Ефимовича установленную сумму, расписывался и получал квитанцию.

Мне хотелось при этом думать, что эти медленно тянущиеся месяцы — хороший показатель. Видимо, есть намерение серьезно и терпеливо разобраться в деле Кольцова, и брату удастся опровергнуть клеветнический наговор. Мы тогда еще не понимали, что сам факт ареста уже предрешал судьбу человека. И я не мог знать, что брат находится в руках одного из следователей-садистов, натренированных на фальсификации «обвинений».

Шли месяцы...

И вот где-то в начале февраля 1940 года денег у меня не приняли и сообщили, что дело Кольцова следствием закончено.

Я понял, что наступили решающие дни. Не будучи в состоянии сидеть сложа руки, я заметался, как в лихорадке, наивно пытаясь что-нибудь предпринять. Известный московский адвокат Илья Браудэ, участник ряда громких политических процессов 37-го года, посоветовал добиваться допущения к слушанию дела Кольцова защитника и предложил свои услуги. Без особой надежды на успех я все же написал письмо председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР, небезызвестному В. В. Ульриху с просьбой принять меня по этому вопросу. Сгоряча я решился и на более серьезный шаг: направился на Центральный телеграф на улице Горького, составил телеграмму с просьбой разрешить участие защиты в деле Кольцова и отправил ее на имя... Сталина.

Прошло несколько дней. Ответа ниоткуда не было. На всякий случай я решил справиться в канцелярии Военной коллегии, находившейся в доме возле памятника первопечатнику Ивану Федорову.

Дежурный сотрудник повел пальцем по страницам толстой книги.

— Кольцов Михаил Ефимович? 1898 года рождения? Есть такой. Приговор состоялся первого февраля. Десять лет

заключения в дальних лагерях без права переписки. Следующий...

В тот же день, к моему глубокому удивлению, мне позвонили из секретариата Военной коллегии и известили, что Ульрих меня примет.

...В огромном кабинете, устланном ковром, стоял у письменного стола маленький лысый человек с розовым лицом и аккуратно подстриженными усиками. Ульрих был видной фигурой того времени. В течение многих лет он возглавлял Военную коллегию, председательствовал на всех крупных политических процессах двадцатых-тридцатых годов.

Принял он меня со снисходительным добродушием, явно рисуясь своей «простотой» и любезностью.

— Ну-с, — улыбчиво заговорил он, садясь в кресло, — садитесь, пожалуйста. Так чего бы вы от меня хотели?

— Откровенно говоря, Василий Васильевич, я и не знаю, чего теперь хотеть. Дело в том, что я собирался просить вас о допущении защитника к слушанию дела Кольцова, но третьего дня узнал, что суд уже состоялся. Как обидно, что я опоздал!

— О, можете не огорчаться, — ласково сказал Ульрих, — по этим делам участие приглашенных защитников не разрешается. Так что вы ничего не потеряли. Приговор, если не ошибаюсь, десять лет без права переписки?

— Да, Василий Васильевич. Но позвольте быть откровенным, — осторожно сказал я. — Существует, видите ли, мнение, что формула «без права переписки» является, так сказать, символической и прикрывает нечто совсем другое...

— Нет, зачем же, — невозмутимо ответил Ульрих, — никакой символики тут нет. Мы ведь, если надо, даем и пятнадцать и двадцать, и двадцать пять. Согласно предъявленным обвинениям.

— А в чем его обвиняли?

Ульрих задумчиво устремил глаза к потолку и пожал плечами.

— Как вам сказать, — промямлил он, — различные пункты пятьдесят восьмой статьи. Тут вам, пожалуй, трудно будет разобраться.

И далее беседа наша приняла характер какой-то странной игры. Ульрих твердо придерживался разговора на темы литературы и искусства, высказывал свои мысли о последних театральных постановках, спрашивал, над чем работают те или иные писатели и художники, интересовался, какого мне-

ния о нем «писательская братия», верно ли, что его улыбку называют «иезуитской», и т. п. Все мои попытки узнать что-нибудь о брате он встречал благодушной иронией.

— Ох, обязательно вы хотите что-нибудь у меня выведать, — приговаривал он, посмеиваясь.

Я уже понял, что мой собеседник просто-напросто забавляется нашей беседой, но продолжал вставлять интересующие меня вопросы. Однако все, что я узнал, — это, что председательствовал на суде над Кольцовым лично он, Ульрих, и что «выглядел Кольцов, как обычно, разве только немного осунулся...».

— А он признал себя виновным? — спросил я.

Ульрих юмористически погрозил мне пальцем.

— Э, какой вы любопытный, — сказал он со своей «знаменитой» улыбочкой и после маленькой паузы добавил: — Довольно ершистый у вас братец. Колючий. А это не всегда бывает полезно...

Потом помолчал и, став вдруг серьезным, сказал:

— Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что, если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция?

Яснее нельзя было дать понять, что все мои вопросы, расспросы и хлопоты не только наивны, но и бессмысленны. Разговор явно пришел к концу. Я поднялся с места. Однако мой словоохотливый собеседник снова начал балагурить.

— А вот мне хорошо, — болтал он, выйдя из-за стола и прохаживаясь по громадному ковру, — никаких у меня нет братьев и вообще никаких родственников. Был вот отец и тот недавно умер. Ни за кого не надо бояться и хлопотать не надо. Да... Ну-с, а вам я советую спокойно работать и поскорее забыть об этом тяжелом деле. А брат ваш, — доверительно прибавил он, — находится, думаю, сейчас в новых лагерях за Уралом. Да, наверное, там.

Уже выходя из кабинета, я остановился в дверях.

— Василий Васильевич! — сказал я, — а вы разрешите через какое-то время вернуться к этому делу, ходатайствовать о его пересмотре?

В водянистых глазах Ульриха мелькнула усмешка.

— Конечно, конечно, — сказал он. — Через какое-то время...

Шли напряженные дни первого года великой войны. Советские люди, каждый на своем посту, каждый на своем

месте вставали на защиту Родины. И меня ни на минуту не оставляла мысль: может ли быть, чтобы в тяжелую годину, когда для отпора свирепому и опасному врагу нужен каждый талантливый и смелый человек, может ли быть, чтобы в строй военных писателей не вернули испытанного работой в Испании боевого правдиста, как в ряды армии вернули многих, ранее репрессированных военных деятелей?

Я живо представлял себе, с какой радостью и с каким азартом включился бы Кольцов в борьбу против ненавистного ему фашизма, как достойно встал бы он в ряды писателей-фронтовиков плечом к плечу с Алексеем Толстым, Александром Фадеевым, Михаилом Шолоховым, Всеволодом Вишневским, Константином Симоновым, Ильей Эренбургом, Василием Гроссманом, Борисом Полевым и другими. Сколько бичующих лютого врага памфлетов, сколько волнующих, ярких корреспонденций и очерков было бы передано им и с передовых линий действующей армии, и из партизанских районов, и с оборонных заводов глубокого тыла.

Конечно, этими мыслями я ни с кем посторонним не делился. В те времена их следовало держать при себе. Ведь если любой человек, при любых обстоятельствах потерявший отца или брата, мог с печалью о них вспоминать, рассказывать, горевать, то те, чьи родные были репрессированы, такого права были лишены. Им полагалось обходить имена близких людей молчанием, делать вид, будто их никогда и на свете не было, и поминать их только в соответствующей графе различных анкет. Ведь в глазах многих лица, имеющие репрессированных родственников, являлись элементом подозрительным, и, с их точки зрения, на мне, например, лежала невидимая, но четкая мета — «брат врага народа».

Мне как-то рассказывал журналист Л. Железнов, в годы войны редактор «Фронтовой иллюстрации», как, просматривая свежий номер этой газеты, начальник Главного политуправления РККА Л. Мехлис наткнулся на мой рисунок и нахмурился.

— Ефимов? — сказал он. — Гм?.. А как он работает? Нет ли в нем червоточинки?

— По-моему, неплохо, — ответил Железнов.

— Вы считаете? — недовольно сказал Мехлис. — Гм... Посмотрим.

Нет, во мне не было ни малейшей «червоточинки» во всем, что касается моей службы стране оружием своего искусства, патриотического долга советского художника. Но

меня не мог не терзать червь лютой досады и горечи за судьбу брата. И одновременно во мне не иссякал тоненький ручеек надежды, которую питали систематически доходившие до меня всевозможные слухи о брате. Не знаю, где и почему они рождались, но их настойчивость, разнообразие и внешнее правдоподобие заставляли меня в силу какой-то внутренней психологической потребности им какое-то время верить. Да как можно было не верить, если, например, художник Михаил Храпковский, сотрудник «Крокодила», тоже в свое время осужденный, но вышедший на свободу, рассказал мне, что встретился с Кольцовым, которого он, естественно, ни с кем не мог спутать, на пересыльном этапе в Саратове. Кольцова пересылали из лагеря в Москву, и брат сказал, что ничего хорошего он от этой пересылки не ждет. Это было летом 1942 года. Позже железнодорожник Павел Голубков разыскал меня, чтобы рассказать, что он видел Кольцова возле вагона-типографии на Воркутинской железнодорожной ветке. Голубков еще задолго до войны служил курьером в редакции «Огонька» и, конечно, не мог не узнать своего редактора. Журналист Михаил Берестинский, вернувшийся из поездки в Свердловск, рассказывал, что начальник расположенных в тех краях лагерей, будучи зачем-то в редакции местной газеты, «хвалился» тем, что у него в клубе работает известный автор «Испанского дневника». Почти одновременно приходит весть с противоположного конца страны — из Соловков — о том, что Кольцов находится там и кому-то, между прочим, рассказывал в подробностях содержание романа, который он задумал и даже частично написал в заключении...

И так далее, и так далее. Я уже начал относиться к этим россказням с известной долей скептицизма, но вместе с тем твердо решил, что Миша жив, не теряет мужества и вот-вот появится.

Вот почему я почти не удивился, когда в июне 1944 года кто-то мне сказал, что в Союзе писателей имеются какие-то интересные сведения о Кольцове, исходящие от писателя Михаила Слонимского. Слонимский мне сказал, что слышал об этом от Анны Караваевой. Караваева ответила, что ей поведал о Кольцове приехавший в Москву на совещание председатель саратовской писательской организации А. Матвеенко. Я вихрем помчался в Дом Герцена, где происходило совещание, и сразу нашел Матвеенко, представительного седеющего мужчину. От него я услышал следующее:

— Совсем недавно по делам саратовского Союза писа-

телей я был в Куйбышеве у начальника политуправления Приволжского военного округа. Поговорили о разных вопросах, и в заключение он мне говорит: «А вы знаете, тут у нас находится один ваш собрат по перу». «Кто такой?» «Михаил Кольцов». «Что вы говорите? Какой? Тот самый?» «Да, тот самый. Который был в Испании. Наверно, читали «Испанский дневник»? «Удивительно, — говорю я, — а что он здесь делает?» «А он находится здесь, — говорит генерал, — во 2-м офицерском полку на переподготовке после ранения под Брянском. Имеет звание старшего лейтенанта. Если хотите, можете с ним поговорить». Генерал взялся за телефон, соединился с каким-то номером и велел вызвать к телефону старшего лейтенанта Кольцова. Через некоторое время он передал мне трубку. А я, знаете, не был лично знаком с вашим братом и несколько растерялся: о чем говорить? Спрашиваю: «Это товарищ Кольцов?» «Да, Кольцов». «Михаил Кольцов?» «Да, Михаил Кольцов». «Э-э... Значит, сейчас вы находитесь здесь?» «Да, как видите, здесь». «А вы... э... что-нибудь сейчас пишете?» На это он ответил что-то невнятное, и трубка была положена. Вот и все, что я могу вам рассказать.

Я выслушал Матвеенко со смешанным чувством с новой силой вспыхнувшей надежды и вместе с тем недоумения.

С одной стороны, мне представлялось маловероятным, чтобы крупный военный работник, генерал, мог без достаточных к тому оснований и соответствующих документов принять какого-нибудь случайного человека за известного всей стране журналиста, члена редколлегии «Правды», депутата Верховного Совета РСФСР и пр.

С другой — я не допускал мысли, что, находясь на свободе, Миша не дал бы о себе знать.

Тут случилось так, что в эти же дни одна знакомая журналистка собралась по командировке от своей редакции в Куйбышев. Я попросил ее выяснить на месте, насколько достоверны сведения о брате. Она вернулась в Москву с ошеломляющей информацией: во-первых, оказалось, что в редакции местной газеты «Волжская коммуна» уже давно знают о том, что знаменитый Михаил Кольцов находится в одной из воинских частей ПРИВО. Во-вторых, и это особенно важно, ей удалось встретиться и поговорить с неким подполковником Лукьяновым, командиром 2-го офицерского полка. Лукьянов, хотя и несколько туманно, подтвердил, что в его полку, в 5-м батальоне служит старший лейтенант Кольцов. И даже

спросил при этом: «А правда, что художник Борис Ефимов из «Красной звезды» его родной брат?»

У меня почти не оставалось сомнений. Однако молчание Миши представлялось непонятным, и я решил еще раз проверить факты.

О том, что было дальше, лучше всего, пожалуй, расскажут подлинные документы.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ СВЯЗИ СССР

Фототелеграмма

Адрес: Куйбышев (Областной) Штаб
ПРИВО подполковнику Лукьянову.
Уважаемый тов. Лукьянов!

Разрешите обратиться к Вам с просьбой. Я уже давно не имею известий от своего брата ст. лейт. Кольцова Михаила Ефимовича, 1898 года р. Насколько мне известно, он находился в Вашем распоряжении с августа 1943 г. по март 1944 г. в 5-м батальоне 2-го Офицерского полка запаса.

Прошу не отказать в просьбе сообщить мне, когда и куда он от Вас убыл. Мой адрес: Москва, редакция газеты «Красная звезда», ул. Чехова, 16, Бор. Ефимову. С приветом художник Бор. Ефимов.

Через несколько дней фототелеграмма вернулась ко мне со следующей сопроводительной запиской:

Тов. Ефимов

Возвращаю вашу фототелеграмму обратно и сообщаю, что в отделе кадров ПРИВО подполковника Лукьянова не значится, а также ст. лейтенанта Кольцова М. Е. найти по учету в отделах кадров не могли и 2-го офицерского полка в ПРИВО нет.

С приветом
Нач. экспедиции штаба ПРИВО ст. л-т а/с А. Капелина

Нетрудно себе представить мое ошеломление. Как так? Что это значит? Что за наваждение? Неужели и рассказ Матвеенко, и разговор с «подполковником Лукьяновым» — все это плоды воображения или недоразумения? Непостижимо! Я решил предпринять еще одну попытку и обратился к милейшему Николаю Александровичу Таленскому, ответственному редактору «Красной звезды», который пошел на весьма смелый по тем временам поступок.

СЕКРЕТНО

2-й офицерский лолк заласа Приволжского военного округа

Командиру лолка

Прошу сообщить, действительно ли с сентября 1943 г. ло март 1944 г. лроходил службу в 5-м батальоне вверенного Вам лолка старший лейтенант КОЛЬЦОВ Михаил Ефимович, рождения 1898 года, гор. Киев, а также куда и когда убыл.

Ответственный редактор
генерал-майор Н. ТАЛЕНСКИЙ

Вскоре вернулся в редакцию и этот секретный пакет. К нему был прикреплен миниатюрный квадратик бумаги с лаконичным текстом: «Редакция газеты «Красная звезда». В ПРИВО такой части нет».

Странную историю со «старшим лейтенантом Кольцовым» можно было, по-видимому, считать исчерпанной.

Однако я ошибся — она получила свое не менее странное продолжение спустя почти три десятилетия. В январе 1972 года я получил следующее письмо.

Художнику Б. ЕФИМОВУ

Москва, газета «Известия»

На днях в одной старой газете я лрочел статью о жизни и литературно-общественной деятельности М. Е. Кольцова. В связи с этим всломнилось лрошлое.

В годы войны, будучи на военной службе в лолитуправлении Приволжского военного округа (Куйбышев), однажды в экследиции штаба ПРИВО я ознакомился с фототекстом Вашего лисьма, в котором Вы залрашивали о службе Вашего брата Михаила Кольцова, что меня очень тогда заинтересовало, но в тот год я счел нецелесообразным Вас беслокоить.

В день моего дежурства в лриемной начальника ПУ ПРИВО мне лозвонили и сказали, чтобы я заказал лролуск М. Кольцову. Исполнив это, я стал ожидать лрихода известного человека.

Хочется слросить, служил ли в частях Приволжского военного округа (г. Кинель) ваш брат?

Извините за беслокойство.

С уважением

Н. Л. ИВАНОВ.

Воронеж, улица Комиссаржевской, д. 1, кв. 65.
Иванов Николай Лукич, инженер-майор в отставке
3 января 1972 года.

Я немедленно написал Н. Л. Иванову в Воронеж.

Уважаемый Николай Лукич!

Сведения о том, что мой брат — Михаил Кольцов — проходит военную службу в частях ПРИВО, исходили от писательской организации Саратова. Проверить правильность этих сведений тогда, в 1944 году, не удалось. В частности, на свою фототелеграмму, которую Вы видели, определенного ответа я не получил. И мне по сей день неизвестно, кто был человек, которого принимали за Михаила Кольцова.

В своем письме Вы сообщаете, что заказали пропуск М. Кольцову и стали «ожидать прихода известного человека».

Поэтому я, в свою очередь, обращаюсь к Вам с вопросом: дождались ли Вы этого человека, видели ли его? Можете ли Вы описать его внешность, приметы? И еще вопрос: знали ли Вы в частях ПРИВО подполковника Лукьянова, которому был адресован мой запрос о брате?

Буду весьма благодарен за ответ.

С товарищеским приветом

Б. ЕФИМОВ,
народный художник СССР

С понятным нетерпением стал я ждать ответа на свое письмо. С новой силой возникли во мне волнения, сомнения и надежды 30-летней давности. Мне думалось: не прошла ли тогда мимо меня редчайшая возможность найти брата, узнать о его судьбе?

Ответа долго не было. И наконец...

Многоуважаемый Борис Ефимович!

Извините, что ответ пишу с опозданием. Посылал письмо в г. Куйбышев, обращался к знакомым, хотел узнать о подполковнике тов. Лукьянове, о котором Вы упоминаете в своем письме. Сообщили, что он им также неизвестен.

Будучи дежурным офицером в приемной начальника политуправления ПРИВО, я действительно заказывал пропуск на имя Михаила Кольцова. С большим волнением ожидал его прихода. Вспомнил прошедшие годы, когда мы, читатели, с интересом читали очерки, фельетоны, статьи любимого и популярного автора.

Когда он пришел в приемную, я внимательно, с переживанием смотрел на редкого посетителя, видел его исхудалое и бледное лицо. Он был в звании старшего лейтенанта, в хлопчатобумажном полевом офицерском костюме. Он был небольшого роста, весьма подвижным, очень энергичным, целеустремленным. Оставалось впечатление, что его беспокоит, даже волнует весьма важное дело. И такое переживание человека сочеталось с простотой, привлекательностью, что убеждало меня в том, что это действительно был сам Михаил Ефимович Кольцов.

Но... вспомнив газетные и журнальные фотографии М. Е. Кольцова и сравнив их с внешним видом посетителя, я усомнился, хотя думы, что он пережил тяжелое, которое могло изменить внешность любого человека, снова возвращали к моему первому заключению.

В тот памятный день М. Кольцов был принят начальником политического управления Приволжского военного округа. Беседа продолжалась примерно 30—40 минут, но ее содержание мне было неизвестно.

В моем личном архиве сохранился экземпляр газеты «Правда» 1934 года, посвященный полярной экспедиции «Челюскина». На страницах исторического номера газеты центрального органа нашей партии напечатан очерк М. Е. Кольцова «Секрет успеха». Прочел еще раз и снова подумал, как легко, просто и полно, задушевно написано. Ничего лишнего! А каким уважением, любовью проникнуты слова к людям подвига... Спасение челюскинцев буквально всех волновало и радовало, когда наши мужественные летчики их спасали и спасли.

И обо всем этом на страницах «Правды» художественно, правдиво и трогательно рассказал М. Е. Кольцов. Забыть нельзя!

Что вам известно о его дальнейшей судьбе!
Извините за беспокойство.

С уважением **Н. Л. ИВАНОВ**
18 марта 1972 г.

Нетрудно увидеть, что доброе, человечное и очень простодушно написанное письмо Николая Лукича, проникнутое истинной теплотой читательского отношения к «любимому и популярному автору», не дало все-таки ответа на главный, интересовавший меня вопрос: был ли то в Куйбышеве действительно мой брат? Тайна осталась тайной.

А теперь вернемся в уже очень далекий 1954 год.

В трескучий декабрьский мороз я вышел из здания Главной военной прокуратуры на улице Кирова. В кармане у меня лежала бумага следующего содержания.

Гр-ну ЕФИМОВУ Б. Е.

Сообщаю, что 18 декабря 1954 года Военная коллегия Верховного Суда СССР по заключению Прокуратуры СССР приговор по делу Вашего брата КОЛЬЦОВА Михаила Ефимовича отменила и дело в отношении его прекратила за отсутствием состава преступления.

За официальной справкой о прекращении дела в отношении КОЛЬЦОВА М. Е. Вам надлежит обратиться в Военную коллегию Верховного Суда СССР.

Зам. Главного Военного прокурора
полковник юстиции Д. ТЕРЕХОВ

Это может показаться неправдоподобным, но прошу мне поверить, что, получая эту бумагу, я не спускал глаз с двери в глубине просторного прокурорского кабинета, почти убежденный в том, что меня ждет радостный сюрприз, что сейчас эта дверь откроется и из нее выйдет уже переведенный из дальнего лагеря в Москву брат... Однако этого не произошло. Тогда, взяв из рук прокурора бумагу и немного помедлив, я обратился к нему:

— Товарищ полковник! У нас с вами было несколько бесед в процессе ознакомления с делом Кольцова. Я ответил вам на ряд вопросов. Теперь разрешите и мне задать вам один вопрос.

— Пожалуйста.

— А где сейчас находится мой брат?

Прокурор посмотрел куда-то в сторону и ответил:

— А это вам сообщат там, где вы будете получать официальную справку о реабилитации. В Военной коллегии.

«Видимо, таков порядок», — подумал я, поблагодарил и поднялся с места.

И вот через четырнадцать лет я в кабинете председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР генерал-лейтенанта юстиции А. Чепцова. Розоволицего Василия Васильевича, который рекомендовал мне «поскорее все забыть», уже нет. Седой человек в золотых генеральских погонах любезно мне говорит:

— Собственно говоря, у вас не было необходимости специально сюда приходить — этот документ мы могли пере-

слать вам по домашнему адресу. Но, поскольку вы уже здесь... Что я могу сказать? Вашего брата пытались изобразить агентом чуть ли не пяти иностранных разведок. Лица, которые фальсифицировали его дело, как и многие другие дела, находятся в настоящее время под судом и понесут суровое наказание. Кстати сказать, дело вашего брата находится сейчас здесь, и, если хотите на него взглянуть, можете это сделать. Подробно читать его, сами понимаете, никак не положено.

— Хочу взглянуть, — сказал я.

Генерал нажал кнопку звонка, дал указание вошедшему помощнику, и через несколько минут на стол легли две толстенные папки, перевязанные шпагатом. Я смотрел на них с ужасом. Потом раскрыл верхнюю папку и сразу увидел ордер на арест. Он был почему-то напечатан не типографским способом, а на пишущей машинке. И почему-то не внизу, где обычно подписываются бумаги, а по диагонали через весь лист тонким кроваво-красным карандашом была поставлена подпись: Берия.

Дальше я увидел в папке много-много страниц, мелко исписанных легким, изящным, до боли знакомым почерком брата. Читать я, согласно предупреждению, не стал, закрыл папку и молча, выжидающе посмотрел на председателя Военной коллегии. Он протянул мне документ о реабилитации. Мы обменялись рукопожатием.

После маленькой паузы он заговорил:

— Ну... А что касается... К великому сожалению... Вы сами понимаете...

У меня вдруг сжалось сердце.

— А что, товарищ генерал? Что я должен понимать? Я ничего не понимаю.

— Ну... Должен вам сообщить... Одним словом... Вашего брата нет в живых. С тридцать девятого года.

Некоторое время я не мог вымолвить ни слова. Я молча смотрел на Чепцова, а он на меня. В эти секунды в моей голове с какой-то непостижимой быстротой проносились все доходившие до меня за минувшие годы вести о Кольцове. С особой четкостью всплыл в памяти рассказ художника Храпковского о встрече с братом. Я спросил тогда Храпковского: «А как выглядел Михаил Ефимыч? Во что был одет?» Храпковский ответил: «О чем вы говорите... Во что одет... В помещении, где мы находились, — какой-то барак — была дикая жара, духота невыносимая, битком набито людьми. Все обливались потом, грязные, полуголые... Михаил Ефимыч ска-

зал мне: «Если увидите Борю, передайте... Передайте, что вот, встретили меня. Что я жив. Держусь. Может, еще увидимся. Хотя... все может быть...»

«Что же, — вертелось у меня в голове, — Храпковский все это выдумал? Зачем? А это был, по его словам, июль сорок второго года. Шла война. При чем же тут тридцать девятый год? И зачем бы понадобилось так спешно расстрелять только что отличившегося «дона Мигеля», которого, как сказал тогда К. Е. Ворошилов, «ценят, любят, доверяют»? Инсценировать вплоть до февраля сорокового года прием денежных передач в «Помещении № 1»? Зачем? Чтобы обмануть меня? Зачем? Нет, тут что-то не так».

Наконец я, как принято говорить, обрел дар слова.

— Нет, товарищ генерал, этого не может быть, — произнес я.

— Почему?

— Да прежде всего потому, что все эти годы о нем много раз доходили вести. Из разных мест, из лагерей. Его видели, с ним говорили.

— Видите ли, — мягко сказал Чепцов, — мы иногда принимаем желаемое за действительное. Вот недавно была у меня жена Косарева. Ей тоже говорили, что он жив, работает. Где-то на шахте. А между тем...

— Все это так, товарищ генерал, но все же... В тридцать девятом... Да ведь суд-то над ним состоялся в сороковом! И приговор был: десять лет лагеря.

— А кто это вам сказал?

— Ваш, так сказать, предшественник. Ульрих.

— Ах, Ульрих, — сказал генерал с непередаваемой интонацией и махнул рукой.

Исключительно жарким выдался в столице двадцать восьмой день июня 1972 года. Старожилы, как это им и положено, не запомнили такого зноя за много лет. Все живое стремилось на теневую сторону улиц и площадей. Тем не менее большое количество людей собралось под палящим солнцем, на раскаленном асфальте возле дома № 11 по Страстному бульвару. В этом красивом зеленом особняке с прилегающим садиком много лет находилась редакция журнала «Огонек», основателем и первым редактором которого был Михаил Кольцов. Там же располагались редакции журнала «За рубежом», «За рулем», «Советская женщина», «Советское фото», многих других популярных изданий большого «Журнально-газетного

объединения (ЖУРГАЗ)», также организованного и вплоть до 1938 года руководимого Кольцовым.

Органы регулирования уличного движения не сочли целесообразным перекрыть движение транспорта на столь оживленной трассе, но автомобили и троллейбусы, тихо сигналя, замедляя ход, осторожно проезжали мимо бывшего «ЖУРГАЗа».

Люди пришли сюда, откликнувшись на следующее приглашение:

Уважаемый товарищ!

Приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии мемориальной доски в память советского журналиста и писателя Михаила Ефимовича КОЛЬЦОВА.

Правление Московской организации
Союза журналистов СССР
Правление Московской писательской
организации СП РСФСР
Главное управление культуры
Исполкома Моссовета

Перед микрофоном выступали писатели, журналисты, военные, общественные деятели. В заключение слово было предоставлено члену комиссии Союза писателей СССР по литературному наследию Михаила Кольцова. Это был я.

— Литературное наследие Кольцова, — сказал я, — это огромное, практически неисчислимое количество очерков, фельетонов, корреспонденций, статей, выступлений, в которых во всем своем величии встает эпоха становления и утверждения советского строя, начиная с Октября семнадцатого года. Неповторимая летопись жизни, борьбы и труда советского народа, его радостей и печалей, испытаний и подвигов.

Последней страницей творческой биографии Кольцова стала книга «Испанский дневник», которую Алексей Толстой и Александр Фадеев в совместной статье, опубликованной в «Правде» в ноябре 1938 года, за месяц до ареста ее автора, назвали «великолепной, страстной, мужественной и поэтической». Эта книга правдиво и ярко рассказала о первом военном столкновении с фашизмом, прелюдии к Великой Отечественной войне, в которой Кольцову не суждено было принять участие. Кольцов, как вы знаете, был не только талантливым писателем, но и неутомимым общественным деятелем, энергичным организатором, активным политическим и дипломатическим работником. Он все делал быстро, увлеченно, весело, не зная отдыха, не теряя ни минуты, как будто чувствуя, что ему отмерен судьбой очень короткий срок жизни.

Тридцать четыре года назад Михаил Кольцов навсегда ушел из этого дома сорокалетним. Сегодня по воле партии, по решению Московского Совета он навечно возвращается сюда в граните мемориальной доски.

Аркадий Ваксберг

Царица доказательств

Его ждали с утра, но дела чрезвычайной государственной важности помешали высокому гостю приехать в условленный час. Участники Всесоюзного совещания юристов, не ропща, прогуливались по коридорам, отложив на время жаркие схватки, которые велись уже несколько дней: приедет Сам — и рассудит. Последнее слово — за ним...

Я не был участником совещания, но и «зайцем» я не был тоже: студентов юрфака охотно пускали тогда на любые научные форумы.

«Приехал», «идет», «поднимается» — слышу еще и сейчас этот вдруг пронесшийся шепот. Помню: тревожно и сладостно екнуло сердце, когда внизу показалась его благородная проседь, почти слившаяся с мундиром мышиного цвета и погонами цвета надраенной стали — тогда этот странный наряд дипломата казался верхом вкуса и образцом элегантности. Вся советская юриспруденция растянулась вдоль лестницы, образуя широкий проход. Гость бодро (папка под мышкой) одолевал ступеньку за ступенькой и — надо же! — внезапно остановился. «Сегодня опять не могу. И завтра, — сказал он кому-то, кто стоял совсем рядом со мной. — Простите великодушно, никак не могу». Чего он не мог, перед кем извинялся? Не знаю. Не посмотрел. Видел только его, стоявшего в двух шагах от меня: низкого роста, плотно сбитый, благоухающий. Красивая проседь. Щеточка тонких усов. Очки в изящной оправе. За стеклами — цепкий, колючий, пронзающий взгляд. Чуть прищуренные глаза — тоже стальные.

Минута, не больше, запомнилась на всю жизнь.

Актовый зал юридического института носил его имя. Не официально, но в обиходе. Так и звался: зал Вышинского. Почему? Объясняли: он здесь выступал. Может быть, не однажды. Раз выступал — значит, зал обессмертил. И вот снова — в нем же раздавал всем сестрам по серьгам. Кого-то

громил, наклонив голову и блестя стальными глазами, выглядывавшими из-под очков.

Я не помню сейчас, кого он громил и за что, хотя проще простого взять журналы тех лет и прочесть. Но то, что запомнилось, я там все равно не прочту.

А запомнилось вот что: гладкая речь — без единой шпаргалки, без всяких там «э-э-э» или «мм-мм», без «значит» и «так сказать», — грамматически точная, хоть сразу в набор; почти забытые даже тогда, а теперь и подавно, добротные ораторские приемы — модуляции голоса, хорошо выверенные подъемы и спады, эффектные паузы, крепкая школа логики и риторики, страсть, умело вложенная в каждую фразу; память и эрудиция — пространные цитаты наизусть из древних и новейших трактатов, свободное владение именами, датами, фактами. И, наконец, самое главное, самое поразительное: беспримерное сочетание академизма, учености, почти щегольской образованности с оскорбительной бранью, вылетавшей из уст настолько естественно, настолько непринужденно, словно эта гремучая смесь стала нормой, повседневным жаргоном.

И брань к тому же была непростая — каждое бранное слово обретало окраску зловещую. Ибо смысл, в него вложенный, имел политическую основу. Подвергшийся критике Самого не просто в чем-нибудь ошибался (если даже и ошибался), но непременно пел с нехорошего голоса или работал на закордонных акул.

Тем, кому захотелось бы сегодня узнать биографию человека, имя которого многие годы наводило ужас на всю страну, пришлось бы изрядно потрудиться, складывая мозаику из хитроумно подобранных данных, содержащихся в справочниках, энциклопедиях и словарях. Время накладывает печать на выбор биографами вех богатой событиями жизни, высвечивая на разных этапах истории одни факты и затемняя другие. Зато, взятые вместе из разных изданий, они позволяют увидеть странные зигзаги карьеры угодливой серости, вознесенной на такие высоты, откуда ей было дано, упиваясь своим могуществом, топтать поверженных и играть судьбами миллионов.

Из Большой Советской Энциклопедии 1951 года издания мы узнаем, что Вышинский активно участвовал в революционном движении с 1902 года, и в информации этой не будет неправды, но и ясности тоже не будет — для того, кто не прочтет биографической справки, помещенной в предыдущем

издании той же энциклопедии 22 годами раньше. Там его прошлое изложено куда как точнее: меньшевик, решившийся перейти к большевикам лишь после того, как власть прочно оказалась у них.

Это прошлое, вероятно, сидело в нем кровоточащей занозой. Психологически он всю жизнь был на крючке. В подобных ситуациях разные люди ведут себя по-разному (тех, кто честно переменил свои взгляды, в расчет не беру). Одни — сникают, тушуются, забираются в тихую гавань: авось не вспомнят. Другие — выслуживаются, холуйски доказывая свою безраздельную преданность новым хозяевам. Третьи — особенно подлые и растленные — сами становятся палачами, топча своих бывших соратников, сохранивших достоинство и элементарную честь. И, наконец, вершина: беспринципный перебежчик, пробравшись к рулю, глумится над теми, кто всю жизнь был верен себе самому, своим идеям и принципам, кто боролся с оборотнями и приспособленцами и потому им особенно ненавистен.

Вышинский достиг вершины.

Впрочем, было бы ошибкой считать, что он сам вскарабкался на эту вершину, где обрел власть над людьми. Его усердно толкали туда. Точнее — толкал. Тот, кто метко и проницательно открыл в нем качества несравненные: злобу, жестокость и готовность на все. Абсолютно на все...

Увы, людей, обладающих этими качествами, не так уж и мало. В дополнение к ним у Вышинского было еще и достоинство — образованность. Сочетание этих трудносочетаемых свойств резко выделяло его из общего ряда, придавая злодейству черты солидности, фундаментальности.

Окончив в тридцать лет (по тем временам слишком поздно) юридический факультет Киевского университета, Вышинский был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию: некий прообраз нынешней аспирантуры. Даже докторантуры. В ту пору требования к соискателям были куда жестче, чем ныне, да и решение принималось учеными без оглядки на полицейскую неблагонадежность. Значит, зрелый выпускник и впрямь подавал надежды...

Но они не сбылись: полиция все-таки победила, а соискатель отбыл в Москву, стал помощником присяжного поверенного. Никаких следов его адвокатской практики найти не удалось.

Зато два года спустя, после Февраля, на гребне революционной волны он выплывает в качестве скромного, но все же

заметного деятеля новой администрации, сменившей царских чиновников и ставшей проводником директив Временного правительства. Одну из них выполнял он особенно ревностно — эта акция зловеще определила всю его жизнь: будучи председателем 1-й Якиманской районной управы, Вышинский подписал распоряжение о неукоснительном исполнении на вверенной ему территории архиважного приказа правительства. А приказ был такой: разыскать, арестовать и предать суду немецкого шпиона Владимира Ильича Ульянова (Ленина).

Отвлекаясь от вполне понятных эмоций, которые вызывает у нас этот дикий приказ, можно, вероятно, сказать, что в ту пору он воспринимался иначе, что рядовой чиновник, к тому же юрист, просто-напросто исполнял свой долг, повинуясь указанию свыше.

Но ведь это был не просто чиновник, а социал-демократ, считавший себя революционером. Человек, который отлично знал: речь идет о руководителе политической партии, об уже признанном всеми вожде русского пролетариата. Представим себе, что за Февралем не последовал бы Октябрь. Какую карьеру сделал бы этот служака из Якиманской управы?

Трагический виток истории состоял в том, что именно он всего через двадцать лет на посту прокурора страны клеймил ближайших соратников Ленина, будто они — они, а не он! — замышляли расправиться с Ильичем. Для них Вышинский требовал смертного приговора. Издевался над ними. Он был снова служакой и снова играл свою роль с пылом и страстью. От всего сердца, если только слово «сердце» здесь можно употребить.

Когда-то я читал его обвинительные речи, как источник юридической мудрости и образчик судебного красноречия. Мне захотелось перечитать их снова — на несколько вечеров я окунулся в гнетущую атмосферу тех лет, где откровенный политический бандитизм сочетался с благообразием обкатанных юридических формулировок, трескучая фразеология и надрывный пафос — с тонкостью правового анализа и несомненным умением разбираться в лабиринте противоречивых и разрозненных фактов.

Тех, для кого имя Вышинского связано только с преступлениями «периода культа», удивит, наверно, признание в противоречивости чувств, испытанных мною сегодня от чтения «литературного наследия» этого чудовища и громилы. Но «политическим процессам» тридцатых годов предшествовала многолетняя деятельность процветающего юриста в звонких

процессах иного рода. Вообще витки его карьеры причудливы и неожиданны. В самые трудные, голодные годы — непосредственно перед нэпом — он возглавил управление распределения российского Наркомпрода. Потом стал прокурором, причем сразу высокого ранга — при уголовной коллегии Верхсуда СССР. Здесь произнесены им его первые речи, часть которых в стенографической записи сохранилась для будущих поколений.

Сюжеты тех — первых — судебных процессов, на которых Вышинский пробовал голос, удивительно напоминают сюжеты до боли знакомые: следователи и судьи, обложившие данью бакалейщиков-казнокрадов и освобождавшие их за это от наказания; крупные шишки плодившихся ведомств, чинодралы с партбилетами, превратившие в барахолку свои служебные кресла; вельможные хозяйственники из легендарного Помгола, жиревшие на народной беде: пир во время чумы...

Страшные гримасы времени, вполне достойные гневного пафоса обвинителя, не могли, естественно, не привлечь широчайшее общественное внимание. О прокуроре заговорили. Имя его снискало себе популярность. Его устами кричала сама справедливость. Он клеймил оборотней и перерожденцев — клеймил за дело: осовевшие от пьянок, шулерства и поборов нувориши в кожаных куртках вызывали омерзение у любого нормального человека, ни одно, даже самое резкое слово в их адрес не казалось чрезмерным.

И однако... Лишь теперь, обогатившись горьким историческим опытом, перечитывая заново эту кровоточащую «устную литературу», замечаешь то, что вряд ли замечалось тогда. А если и замечалось, то считалось, наверное, естественным: стремление придать тошнотворной, но, увы, обыденной уголовщине непременно политическую окраску. Еще робко, исподволь, между прочим, чужеродно вклинившись в обычный криминалистический анализ, вдруг промелькнут и «агенты», и «лазутчики» и «духовные диверсанты», и «всевозможный буржуазный смрад». Эти словосочетания, лишь входившие в обиход и носившие, скорее, характер ораторского приема, митинговой метафоры, чем наполненной реальностью сути, тогда не резали слух: слишком уж подлым и грязным было то, что содеяла (несомненно, содеяла!) вся эта «революционная» накипь.

Происходит новый виток биографии: Вышинский явно пришелся по вкусу. Он замечен и оценен: прямо из прокурорского кресла он попадает в кресло ректора МГУ. Профессорское звание, к которому он так и не сумел подготовиться, приходит

теперь автоматически. Не написав ни одной научной строки, он сразу становится «видным ученым».

Впрочем, скоро появляются строки. Много строк: довольно пухлая книга «Курс уголовного процесса». От ее «революционной» схоластики сегодня кружится голова. Но один пассаж привлекает внимание: «Было бы большой ошибкой видеть в обвинительной работе прокуратуры основное ее содержание. Главная задача прокуратуры — быть проводником и стражем законности». Золотые слова! Особенно, если помнить, что было потом. Не в «курсе», а в жизни.

Честно сказать, я не знаю, сколь доблестным ректором был Вышинский и как преуспела под его руководством священная колыбель гуманизма.

Переход в науку и просвещение не отторг Вышинского от того главного дела, для которого он, как видно, был предназначен. В конце двадцатых годов уже начали ставиться грандиозные судебные спектакли, достигшие своей кульминации лет через десять. И уже с самого начала кровавым их режиссером был определен не кто иной, как Вышинский: выбор сделан был сразу и погрешным не оказался. Правда, сам режиссер состоял на работе в другом ведомстве. Совершенно в другом. Но формальности — не помеха.

Когда готовился так называемый шахтинский процесс — первый из ему подобных по масштабу и общественному резонансу, по далеко идущим последствиям, — проблема номер один состояла не столько в подборе красноречивого обвинителя, сколько в подборе послушных и преданных судей. Слишком точное следование закону и обязательное для любого честного судьи сомнение, отвержение бездоказательной демагогии, фальсификаций, предположений, допусков и натяжек могли сорвать важнейшую акцию. Вышинский был самой подходящей фигурой, но он, как мы знаем, к судейству отношения не имел.

Не имел формально... Но хозяин — барин! Росчерком пера реанимируется известный не самым светлым страницам истории заменитель суда нормального, получающий велеречиво-архаичное имя Специальное Судебное Присутствие. Если попросту — незаконный внесудебный орган, процессуальные функции которого нигде не обозначены. И во главе таинственного Присутствия встает Вышинский.

...Приговор: несколько раз из уст профессора звучит слово «расстрел». Короткая газетная информация: «Приведен в исполнение». И сразу же следом — другая: тов. Вышинский

назначен членом коллегии Наркомпроса. Награда за рвение: еще одна ступенька наверх. Чем себя на ней проявил этот доблестный наркомпросец? Как уживался он с Луначарским — теперь уже в повседневном общении? Каким свершениям наша школа (начальная, средняя, высшая) обязана его неукротимой энергии? И сколько осталось лишь в этот — лишь в этот! — период неоплаканных жертв: изгнанных за свое прошлое, отвергнутых за происхождение, разоблаченных в связях с «враждебными элементами»? Скольких талантов мы недосчитались? Сколько бездарностей, обретя дипломы и звания, пробилось к рулю? Сколько мозгов засорено той шелухой, которую упоенно стал насаждать член коллегии Наркомпроса? Вместе с другими, вместе с другими... Но зато — с научнейшим обоснованием. С неизменной ссылкой на право. С цитатами из Сократа и Гегеля, Монтеня и Маркса, Вольтера — и того, кто уже примерял на себя китель «отца народов».

И, однако, все это были ступеньки к вершине, но еще не сама вершина. Важное поприще, но — чужое... Не то, которое было ему уготовано и на котором — к чему скрывать? — он дьявольски «прославил» свое имя. Через три года Вышинский возвращается в родные пенаты — туда, где (мы помним его же слова) проводят и стерегут законность. Тысяча девятьсот тридцать первый год — Вышинский становится прокурором России. Отсюда (рывок за рывком) в трагический тридцать пятый нарастающая волна беззакония выносит его на самый верх: ему, а не кому-то другому доверяется пост прокурора СССР (неподходящего для задуманных акций предшественника Вышинского — старого большевика Ивана Акулова — «убирают»: сначала из прокурорского кресла, а вскоре — из жизни). Пост, где именем закона он будет закон попирать. Создаст декоративный фасад, за которым заплечных дел мастера смогут творить свое кровавое дело. Станет витийствовать на трибунах, заражая легковерных (только ли их?) своим огненным пафосом, испепеляющей страстью и верой в торжество справедливости, ибо к ней он взывал, о ней только и пекся, ссылаясь всегда на высшие интересы народа.

Начинается самая кошмарная «часть» его биографии, но мы сделаем остановку, чтобы напомнить об одном эпизоде, некогда широко известном, а ныне прочно забытом.

За три месяца до начала первого из трех знаменитых «московских процессов», вошедшего в историю как процесс Зиновьева — Каменева, внимание всей страны привлекло дело куда как более заурядное. При всей трагичности ситуации

оно никак не выходило из ряда обычных уголовных дел: убийство двух врачей разложившимися пьяницами, самодурами и садистами — руководителями зимовки на острове Врангеля — не имело никакой политической подоплеки, и — что характерно! — даже Вышинский, выступая обвинителем на этом процессе, не прибегнул к привычной фразеологии.

Мои слова, царапнувшие, возможно, кого-то, — о тонкости юридического анализа и об умении разбираться в хитросплетениях разрозненных фактов, — относятся именно к тому давно забытому делу, где Вышинский явился миру не фанатиком и лицедеем, а криминалистом высокой пробы. Это вовсе не делает его менее зловещей фигурой — напротив, многое объясняет.

Я лишен здесь возможности рассказать о том, как два бандита, неограниченные властители далекого заполярного острова Семенчук и Старцев, издевались над двумя самоотверженными рыцарями профессионального долга — супругами Вульфсоном и Фельдман, которые приехали сюда, на край земли, в лютую стужу не пьянствовать, куражиться и обирать, но — лечить. Бесстрашные борцы с травившей местных жителей семенчуковской бандой, они были ею же уничтожены, ибо с открытием навигации непременно предали бы гласности все, что творилось на острове под покровом полярной ночи.

Леденящая душу эта история всколыхнула страну. В деле не было ни малейших натяжек и подтасовок. Бандиты назывались бандитами. И юридическая, и человеческая правда была на стороне обвинения. Не нашлось ни одного человека, который имел бы малейшее основание усомниться в его правоте. Думаю, и сегодня некрикливая, обстоятельная речь прокурора может служить образцом тончайшего анализа косвенных доказательств, замкнувшего множество мелких и мельчайших улик в нерасторжимую цепь. Из всех опубликованных речей Вышинского эта, пожалуй, единственная, где он оставался юристом, и только юристом, где он мог позволить себе не демагогствовать, а исполнять на хорошем уровне свой прокурорский долг.

Возможность провести подобный процесс накануне кошмарной мистерии, где Вышинскому была отведена роль главного режиссера, явилась поистине счастливой находкой, недаром же этому процессу придали такую публичность, а обвинителем в Верховном Суде республики, вопреки существовавшим традициям, стал сам прокурор Союза. За три месяца до того, как приподнялся загадочный занавес века и пред лицом всего

мира начался первый акт предложенной публике многоактной политической драмы, Вышинский громко напомнил о себе. За стол обвинения по делу о «троцкистско-зиновьевском террористическом центре» сел юрист, только что снискавший себе признание и популярность, эрудит, аналитик, законник, само воплощение истины и справедливости. Организатору этой мистерии нужен был не механический исполнитель, а исполнитель ловкий и страстный, не безликая «функция», а популярное имя.

Он его получил.

Как известно, это и другие подобные дела сейчас проверяются комиссией, созданной Политбюро ЦК КПСС[1]. Обвинения в шпионаже, конечно, отпадут, но предстоит внимательно проанализировать политическую платформу каждого, чье дело подлежит пересмотру. Дождемся объективной оценки комиссии — она будет дана и судебным процессам, и каждому их участнику. Но вот какая подробность бросается сразу в глаза, когда, мучительно стараясь не поддаваться бунтующим чувствам, читаешь стенограммы этих процессов и особенно прокурорские речи: доказательств у обвинения нет никаких, их заменяет брань.

«Мразь», «вонючая падаль», «навоз» — так называет Вышинский загнанных на скамью подсудимых бывших членов Политбюро, большевиков с конца прошлого и начала этого века, прошедших царскую каторгу, тюрьмы и ссылки, организаторов и руководителей Октябрьской революции. Выберем наугад еще несколько образцов прокурорского красноречия, чтобы представить себе атмосферу того, что тогда называлось «судом»: «зловонная куча человеческих отбросов», «самые отъявленные, самые отпетые и разложившиеся бесчестные элементы», «презренная куча авантюристов», «взбесившиеся псы», «поганые псы», «проклятая гадина»... Про Николая Бухарина — «проклятая помесь лисицы и свиньи». Михаил Шатров в документальной драме «Дальше... дальше... дальше!» утверждает, что эта «формула» подсказана Вышинскому Сталиным. Очень возможно. Но как органично она вписалась в прокурорскую речь, как естественно и непринужденно вышла из профессорских уст! И какой поразительный выбор глаголов: подсудимые у Вышинского не говорят, а «каркают», «хрюкают», «лают»...

Оскорбить и унизить, а не только физически уничтожить

[1] См., например: Правда, 1988, 10 июля, 5 авг. (**Прим. ред.**).

поверженных — такова была вожделенная мечта верховного дирижера. Осуществляя ее, Вышинский создал совершенно доселе неведомый тип уголовного процесса, где в доказательствах попросту нет ни малейшей нужды: какие там доказательства, когда речь идет о «вонючей падали» и «поганых псах»! Любопытно: набранившись и накуражившись над теми, кто не может ответить, не представив ни единой улики, Вышинский торжественно подводит итог: «...слишком сильны улики и слишком убедительны доказательства!» Слишком...

Справедливости ради надо сказать, что ругань вместо доводов прозвучала впервые не в зале суда, а на страницах печати. Именно там — до суда и вместо суда — началась психологическая обработка общественного мнения в той тональности, которую предложил дирижер. Будущие жертвы, соревнуясь друг с другом в хлесткости площадных ругательств, обливали грязью своих же товарищей, попавших на плаху раньше, чем попали они. Вышинский с виртуозным цинизмом использовал это потом на судебной трибуне. Издевался над Радеком, обозвавшим в печати Зиновьева и Каменева «бандой кровавых убийц». Над Пятаковым, который публично призывал «уничтожать их как падаль» и уже через пять месяцев оказался сам в роли «падали» и «бандита».

В общий хор включились и мастера слова. Меньше всего я хочу из нашего сегодняшнего далека упрекать тех, кто волею судьбы тогда оказался внутри разбушевавшейся стихии. Да, многие (даже честнейшие) присоединили свои голоса к тем, кто «полностью одобрял», клеймил и хулил. Но сразу выделяются те, кто с восторгом принял лексику прокурора, торопясь стать первым учеником, выделиться в поиске оскорблений похлеще, лягнуть побольнее, надругаться глумливо уже над мертвым. «Звероподобная мерзость», — вторил Вышинскому Лев Никулин. О Бухарине — он же: «комедиант», «юродствующий прохвост», «трясущаяся бородка», «дребезжащий тенорок». Жидко, не впечатляет. Унижает, но не до конца... Приходят слова повесомей: «Кривляется», «выламывается, как провинциальный тенор» (поистине мастер слова!), «виляет хвостом», который ему «прищемил государственный обвинитель». И другие — с Никулиным по соседству, на той же газетной странице: «тифозные вши», «кровавые обезьяны».

Зачем я все это сейчас вспоминаю? Чтобы свести запоздалые счеты? Пощекотать нервы? Нет, разумеется, не для этого, а для того, чтобы увидеть истоки тех деформаций, от которых сегодня мы стремимся очиститься.

Откуда это стремление, и ныне еще не изжитое, упредить печатными обвинениями будущий суд? «Перейти на личности»? Унизить, а не доказать? Поспешно считать преступником того, кто попал в орбиту идущего следствия («у нас зря не сажают»)? Все оттуда, оттуда...

Сколько раз на нашей памяти (и сегодня — не будем лукавить) прокурор, столкнувшись с отказом подсудимого от прежних своих показаний, давал строптивцу «отпор» и требовал от суда отвергнуть «клевету на советское следствие», вместо того, чтобы это объективно проверить! Откуда такая традиционная заданность? Оттуда, оттуда...

Когда Николай Крестинский, член ленинского Политбюро, отказался на процессе от «признаний», выбитых у него на следствии «ежовыми рукавицами», прокурор принял меры к установлению истины? Нет, он просто обозвал поступок Крестинского «троцкистской провокацией». Проверять было некому и нечего: у нас зря не сажают...

Сколько раз приходилось мне видеть (не смею сказать — везде и всегда, все дела такого рода мне, разумеется, не известны), как подсудимые пытаются **объяснить** какой-либо установленный факт, а обвинитель, не желая выслушивать никаких уточнений, называет их стремление попыткой «сбить с толку» и «уйти от ответственности». В результате создается совершенно искаженная картина реальности при внешнем соблюдении правды: ведь факт действительно налицо, только вывернут наизнанку. Откуда все это? Оттуда, оттуда...

Один из подсудимых на третьем «московском процессе» Христиан Раковский, чье имя вошло в историю революционного движения России и Украины, Болгарии и Румынии, был сыном помещика. Все деньги, полученные им по наследству, он отдал на партийные нужды. Он финансировал Социал-демократическую партию Румынии и ее газету, редактором которой сам же и был. Значительная часть денег пошла в помощь гонимым царизмом революционерам России, в том числе матросам броненосца «Потемкин», спасение которых в румынской Констанце он организовал. Раковский пытался объяснить это на суде, но Вышинский не дал ему вымолвить слова. Издевательскими вопросами он добивался лишь одного — признания, что у Раковского «были деньги, а значит, он имел «вражеское происхождение» и «тлетворную буржуазную мораль».

И когда сегодня мы вынуждены возвращаться к элементарнейшим азам права, к его основополагающим понятиям, без усвоения которых нет и не может быть ни законности, ни право-

судия, когда мы воюем с обвинительным уклоном, с приоритетом данных предварительного следствия, проведенного без соблюдения надлежащих гарантий для подсудимого, когда мы все развенчиваем и развенчиваем, да никак не можем практически развенчать пресловутую теорию «царицы доказательств», каковой будто бы является признание обвиняемым своей вины, — когда мы делаем все это, то с кем и с чем нам, в сущности, приходится воевать? С «отдельными ошибками» и «некоторыми недостатками»? С «недопониманием иными юристами» очередных указаний? Нет, с системой взглядов, ползущих оттуда, оттуда...

Года два назад один видный юридический деятель перед весьма представительным залом, отвечая на вопрос журналиста, обозвал презумпцию невиновности «буржуазным хламом». Я думаю, он сказал это искренне и непроизвольно, употребив термин, прочно вошедший в сознание. Ведь учился он в сороковые годы, и учился, наверное, добросовестно, а учили тогда именно так. Вышинский был мастером хлестких, воинственных афоризмов, они легко запоминались и легко усваивались, ибо весьма и весьма «упрощали жизнь».

Уже давно, с середины пятидесятых, утвердилась привычная формула: теоретические ошибки (!) Вышинского на практике привели к нарушениям законности. Так ли? А может быть, наоборот? Мне кажется, потребность в таких «нарушениях» (беру это слово в кавычки, ибо сознательное уничтожение ни в чем не повинных людей невозможно считать «нарушением») побудила под них подвести мощное основание. Создать его только и мог такой эрудит, мыслитель, книгочей, каким был профессор Вышинский.

Его отмеченный Сталинской премией и признанный в свое время классическим труд «Теория судебных доказательств в советском праве» содержит утверждения, сегодня звучащие дико, немыслимо, неправдоподобно, но их усвоили как юридическую библию тысячи практикующих и иные юристов. Приходящие в редакцию письма иных сегодняшних преподавателей юридических вузов содержат пассажи, повергающие порою в ужас: их авторы, возможно, и не подозревают, что дорогие их сердцу формулировки на самом деле принадлежат все ему же — незабвенному Андрею Януарьевичу.

Пересыпанная латинскими формулами, ссылками на десятки иностранных источников, оснащенная солидным справочным аппаратом, эта книга всерьез утверждала, что «объяснения обвиняемых... неизбежно приобретают характер и значение основ-

ных доказательств, важнейших, решающих доказательств»; что принцип состязательности сторон, как и принцип равенства в процессе обвинения и защиты — буржуазное наследие; что старая формула «пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие» — не более чем юридическая схоластика; что другая латинская формула — «закон строг, но это закон», требующая неукоснительного и всеобщего его соблюдения, «не дает места гибкости в деле применения закона».

Каждый, чьи правовые воззрения, сколь бы ни были они очевидны, мешали тотальному произволу, глубокомысленно и веско объявлялся Вышинским «двурушником» и «врагом народа». Крупнейший теоретик права, заместитель наркома юстиции СССР Е. Б. Пашуканис стал таковым лишь за то, что «насаждал формальный подход к законности», или, иначе сказать, призывал не отбрасывать, а соблюдать правовые нормы. За этот призыв ученый расстался с жизнью.

Даже тогда, рискуя многим, выдающийся советский юрист профессор М. С. Строгович отстаивал принцип презумпции невиновности (хотя бы как принцип, ибо о внедрении его в судебную практику не приходилось даже мечтать), вступив в открытую полемику с Вышинским. Не утруждая себя ответом, лидер правовой науки (тут он был лидером тоже) отмахнулся от своего оппонента, глухо заметив, что подобные утверждения «лишены оснований».

До сих пор многие следователи упорно добиваются от обвиняемых собственноручных показаний (чаще всего записанных под их же диктовку), наивно полагая, вопреки закону, что «собственноручие» придает показаниям бо́льшую достоверность. Так их учили старшие товарищи — дурная традиция легко переходит по наследству. Вряд ли они знают, что подобные рекомендации внедрили юристы «школы» Вышинского. Они полагали, и, видимо, не без оснований, что психологически так создается видимость достоверности: лучше иметь полупризнание, записанное собственноручно обвиняемым, чем полное, записанное следователем.

Еще в шестидесятые годы тогдашний заместитель Генерального прокурора СССР Н. В. Жогин по архивным материалам установил, что многие жертвы «культа личности» и на следствии, и на суде требовали внести в протокол их заявления о пытках и других «нарушениях» социалистической законности». Находились, представьте себе, прокуроры, которые относились к таким заявлениям с должной серьезностью. «Об этом, — пишет Н. В. Жогин, — стало известно Берии, который потребовал от

Вышинского, чтобы прокуроры не настаивали на фиксировании заявлений обвиняемых о незаконных методах допроса... Вышинский в письме на имя Берии услужливо сообщил, что им дано указание не фиксировать таких заявлений...»

В протоколах по уголовным делам последних лет, где вскрыто мерзкое беззаконие следователей, приведшее к трагическим, порой необратимым последствиям, мы тоже не найдем ни малейших признаков заявлений такого рода, хотя обвиняемые утверждают, что делали их неоднократно: о побоях, угрозах и шантаже. Когда же об этом им пришлось рассказать на суде, реакция была однозначной: поклеп на наше славное следствие. Так откуда же эта неистребимая преступная практика? Оттуда, оттуда...

В тридцать девятом, став академиком и — за свою многотрудную деятельность с нервными перегрузками — носителем редкого тогда ордена Ленина, Вышинский покинул пост прокурора СССР. Еще одна ступенька наверх: он уже заместитель Председателя Совнаркома. В этом новом качестве Вышинский сразу же осчастливил культуру. На Всесоюзной конференции режиссеров, передав залу сердечный привет от лучшего друга работников театра товарища Сталина и разъяснив крупнейшим артистам и постановщикам, что формализм означает такое состояние искусства, когда содержание отстает от формы, он, восседая в президиуме, слушал прощальную речь Мейерхольда — трагически вдохновенное завещание Мастера друзьям и коллегам. Вышинскому речь не понравилась (странно, если бы было иначе) — через несколько дней Мейерхольд был арестован.

Но и сам Вышинский, конечно, ни минуты не чувствовал себя в безопасности. В начале шестидесятых годов на квартире видного юриста, автора интереснейшей книги «Нюрнбергский эпилог» А. И. Полторака я два или три раза встречался с Л. Р. Шейниным — они вместе работали одно время в советской части секретариата и обвинения Нюрнбергского трибунала. Шейнин, будучи следователем по важнейшим делам, а затем и начальником следственного отдела Прокуратуры СССР, долгие годы служил под ближайшим началом Вышинского, принимал участие в следствии по делам чрезвычайным.

Помню свидетельство Шейнина: до самой смерти «хозяина» Вышинский ежеминутно ждал своего ареста. Так оно, наверное, и было: слишком уж много он знал, слишком ко многому был лично причастен. Разве не пошли вслед за жертвами десятки и сотни их палачей? А меньшевистское прошлое

Вышинского давало возможность придумать подходящую версию. Придумщики нашлись бы всегда.

Легко представить себе какой страх испытал Вышинский, когда на почетнейшем посту министра иностранных дел он вдруг лишился депутатского места в Верховном Совете. Что скрывалось за этой «шуткой» пятидесятого года? Сигнал? Намек? Чьи-то интриги и козни? Кто знает... Сталин любил попугать, рабы после этого с еще большим усердием лизали руку хозяина.

«Хозяин» уже доживал последние дни, когда по доносу грязного провокатора — профессора Серафима Покровского, с которым состоял в переписке Сталин (два «ответа С. Покровскому» опубликованы в собрании его сочинений) — был осужден на смерть один из самых талантливых и перспективных молодых ученых-юристов: он — ни больше ни меньше — задумал убить «вождя»... В отчаянии мать, профессор, тоже юрист, отправила телеграмму Вышинскому, который хорошо ее знал по совместной работе. Ответа не последовало. Впрочем, нет, ответ все-таки был: приговор привели в исполнение. Прошло совсем немного времени, и молодого ученого посмертно реабилитировали: он был одним из первых — в нескончаемом и печальном этом ряду .

После смерти «вождя» Вышинский прожил еще полтора года. Он вернул себе депутатский мандат, став заместителем министра иностранных дел (Молотова) и постоянным представителем СССР в ООН. Как человек умный и трезвый, он прекрасно понимал, что разоблачение не за горами. После XX съезда ему неизбежно пришлось бы давать отчет. Искренний или лживый, но все же отчет. Судьба решила иначе.

Недавно один читатель — старый коммунист, ветеран войны и труда — прислал мне письмо, предлагая потребовать, чтобы прах преступного златоуста был выброшен из Кремлевской стены. Думаю, этого делать не нужно. Не только потому, что прах — чей бы то ни было — вообще не стоит тревожить. И место в стене, и звания, и награды, и речи его, и деяния — все это мета эпохи, неизгладимый знак своего времени и в нем, в своем времени, так и должен остаться. Таким, каким был.

Но вот настоящее надо бы оградить от слишком уж долгого влияния этого монстра на правосознание, на реальную практику следствия и суда. Нельзя допустить, чтобы его когтистая лапа, крадучись тихой сапой, беззастенчиво вторгалась в наше сегодня. А тем более — в завтра.

Леонид Постышев

«НЕЛЬЗЯ ПРАВДУ ПРЕДАВАТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

В начале января печальной памяти 1937 года из Москвы с проверкой поступивших на Постышева клеветнических «материалов» о его пособничестве «врагам народа» приехал Л. Каганович. Я узнал об этом в то время по следующему эпизоду. К отцу на квартиру зашел заметно взволнованный Иона Эммануилович Якир.

— Павел, — сказал он, увидев Постышева, — тебе надо срочно принять меры. Каганович вызывает к себе людей и инструктирует их, как и что говорить, выступая против тебя...

— Ты эти штучки брось, — перебил его Павел Петрович. — Это представитель ЦК. У меня совесть чиста, и ни во что я вмешиваться не буду. Пусть проверяет, как хочет.

Тут они вошли в кабинет отца, и дальнейшего разговора я не слышал. Много позже, вспоминая этот эпизод, я подумал, что такое отношение к представителю ЦК у Павла Петровича сложилось по его прошлому опыту. С 1926 года он работал секретарем Харьковского окружкома КП(б)У. В период коллективизации на него поступали в ЦК ВКП(б) заявления о низких темпах коллективизации и недостаточно жестких мерах по отношению к кулакам. С проверкой от ЦК приехал Г. К. Орджоникидзе. Подводя итог проверки, он сказал: если бы и в других областях, как здесь, проводили коллективизацию, то не было бы перегибов и не пришлось бы писать статью о головокружении от успехов. Видимо, Павел Петрович надеялся на объективность проверки и от Кагановича. Но напрасно.

16 января состоялся пленум Киевского обкома партии, освободивший Постышева от обязанностей первого секретаря Киевского обкома КП(б)У «в связи с невозможностью сочетать посты второго секретаря ЦК и руководителя столичной парторганизации». 18 марта в газетах появилось сообщение о плену-

ме ЦК КП(б)У, который освободил Постышева от обязанностей второго секретаря ЦК в связи с переходом на другую работу. Павла Петровича обвинили в потворстве «враждебным элементам». Его жену, Постоловскую Татьяну Семеновну, по клеветническим наветам исключили из партии и хотели арестовать, что в то лихое время бывало даже с женами и близкими родственниками некоторых членов Политбюро. Так, у Кагановича были арестованы братья, и он этому не воспрепятствовал. Но Павел Петрович аресту жены решительно воспротивился.

— Нет уж, пока я кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и секретарь ЦК, ее вы не арестуете. Я как-нибудь лучше вас знаю и ее, и старшего брата, Ивана Постоловского, и всю их семью. Вы уж сначала меня арестуете, а потом ее.

В этом он не ошибся.

Г. А. Марягин в книге «Постышев» писал: «Ноябрь 1936 г. Киевский горком разбирал дело некоей Николенко, она оклеветала многих партийных деятелей, доказывала, что в ЦК КП(б)У, Киевском горкоме и обкоме сидят укрыватели и пособники врагов, что многим троцкистам, зиновьевцам выдали при обмене партийные билеты по «знакомству». Киевский горком исключил ее из партии. ...Когда «освобождали» Постышева, Николенко изобразили «героиней», «разоблачительницей» врагов, «борцом». Киевскую парторганизацию обвинили в том, что она потеряла бдительность, покрывает «врагов партии».

Постышева направили в Куйбышев. 25 марта 1937 г. пленум Куйбышевского горкома ВКП(б) избрал П. П. Постышева исполняющим обязанности первого секретаря горкома партии, а в июне областная партийная конференция избрала его первым секретарем обкома ВКП(б). В то время он оставался кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

Вскоре начались выборы в Верховный Совет СССР первого созыва по новой Конституции СССР. в разработке проекта которой активно участвовал и Павел Петрович. Постышева избрали депутатом от Куйбышевского городского избирательного округа. Перед первой сессией Верховного Совета он приехал в Москву. Предстоял Пленум ЦК ВКП(б). В это время произошла встреча отца со Сталиным. Шел общий разговор о предстоящем Пленуме ЦК и сессии Верховного Совета. Внезапно Сталин обратился к Постышеву: «Ну как, тебе еще не надоело в твоей ссылке?»

— Надоело или не надоело, — ответил Павел Петрович, — а работать надо там, куда тебя послала партия.

Сталин, как бы обращаясь ко всем присутствующим, рассуждал вслух:

— Дела у него в Куйбышеве идут неплохо. Урожай собрали хороший... Может, хватит тебе сидеть в ссылке?

— Да я за нее не держусь, — ответил Павел Петрович, — я не против.

— Тогда, может быть, пошел бы ты заместителем к Молотову по советскому контролю?

— Что ж, работа интересная, ответственная... Я бы не возражал, — ответил Постышев.

— Ну как, возражений нет? — обратился Сталин к присутствующим. В то время по предложениям Сталина возражений уже не возникало.

— Ну, раз возражений нет, переговори с Вячеславом Михайловичем, и если он не возражает, будем считать вопрос решенным.

Я в то время уже служил летчиком в истребительной авиабригаде, располагавшейся под Москвой. Не знаю, успел ли отец переговорить с В. М. Молотовым и получить его согласие, но когда я приехал к нему, то и по обстановке в доме, и по разговорам почувствовал, что дела его ухудшились, а не улучшились. Позже причины этого мне стали известны.

Вскоре после описанной выше встречи со Сталиным к Павлу Петровичу подошел нарком внутренних дел Ежов и пригласил его к себе на дачу для беседы. «Нам теперь вместе работать в Москве, надо поговорить». Хоть и не лежало сердце к этому разговору у Павла Петровича, да видел он, что разговора этого не избежать, и согласился. Когда машина подъехала к даче Ежова, Павел Петрович увидел, что из автомобиля, подъехавшего ранее, выходит Каганович.

— Поворачивай назад! — в сердцах сказал он шоферу. И бросил Ежову: — Раз Каганович там, я туда не пойду!

— Да брось ты, — ответил Ежов. — Что старое вспоминать! Нам же теперь все равно вместе работать. Надо же для этого как-то договориться о дальнейшей совместной работе...

В доме, кроме Кагановича, оказался и заместитель Ежова Берия. Разговор начал Каганович. Зная отношение к нему Павла Петровича, он обошелся без предисловий:

— Ну ты теперь понял, кого надо слушать и чьи распоряжения выполнять?

— Я всегда выполнял распоряжения ЦК, — ответил Павел Петрович. — И впредь буду их выполнять.

— Ты от ответа не уходи! Ты прекрасно понял, о чем тебя

спрашивают. И мы ждем прямого ответа — кого ты теперь будешь слушаться и чьи распоряжения выполнять?

Павел Петрович опять повторил свой первый ответ. Каганович стал повышать голос: «Ты из себя дурачка не строй! Ты что, совсем ничего не понял?»

Тут уж не выдержал и Павел Петрович.

— Если тебя уж интересует, что я понял, то скажу: я давно понял, что ты не большевик, а дерьмо! И уж кого я буду слушать, но только не тебя!

Сказав это в сердцах, Павел Петрович встал и направился к выходу. Его не задерживали.

Может быть, именно во время этого краткого разговора, думается мне теперь, когда Павел Петрович глаза в глаза смотрел в лицо каждому из этой троицы, ему стало окончательно ясна обстановка, в которой он в то время находился. Ему предлагали выбор. Либо он поставит крест на своем большевистском революционном прошлом и согласится с методами и делами этой троицы, станет их подручным. Либо отказ — и тогда его превратят во «врага народа». Отец, не задумываясь, сделал свой выбор.

Дальше все пошло по отработанному сценарию. После XX съезда КПСС об этом писали:

«Неожиданным было сообщение в начале 1938 года об избрании нового секретаря Куйбышевского крайкома партии. Что стало с Постышевым? Об этом знали немногие. В начале 1938 года его вывели из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС и арестовали.

Мастера клеветы и беззакония не решились гласно обвинить Постышева, как других выдающихся деятелей партии и Советского государства в диверсиях, заговорах, шпионаже, отходе от ленинизма. Они хорошо знали, с каким уважением миллионы тружеников произносили имя этого человека.

Имя и судьба Постышева были окружены непроницаемой стеной молчания.

Но Постышев оставался любимцем партии и народа. По стране шла молва о последнем разговоре Постышева со Сталиным. В уста своего трибуна и парторга народ вкладывал то сокровенное и самое жгучее, что волновало всех в трагический тысяча девятьсот тридцать седьмой год: «За что арестовывают коммунистов, честных советских людей, не щадивших жизни в подполье, в дни Октября, на фронтах гражданской войны, отдававших свои силы и способности в дни великих строек пятилетки?»

И через годы оказалось, что этот вопрос не был домыслом. Постышев задал его Сталину, зная, что последует за этим...»

Я хорошо помню это тяжелейшее для Павла Петровича время. Все, что он мог, он уже сделал. Теперь ему оставалось только ждать своей участи. Он уже был снят с поста первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б), исключен из кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Был вызван к секретарю ЦК Маленкову и отдал ему свой партийный билет № 13. С 1904 года был он большевиком-ленинцем. Иным себя и не мыслил.

Внешне пока еще все выглядело вполне благополучно. Попрежнему вместе с отцом была его охрана, так же в квартиру ему, жене и сестре жены приносили завтрак, обед и ужин. Утром доставляли пачку газет, и Павел Петрович внимательно их просматривал... Только вот посетителей совсем не стало. Лишь я приезжал с аэродрома после полетов. Да изредка заходил Николай Остряков (героический участник боев в Испании. — **Л. П.**) в новенькой форме военного летчика с боевыми орденами.

В этот год Острякова избрали депутатом Верховного Совета СССР, и он недолго жил в Москве. Когда Николай первый раз пришел к отцу после приезда из Испании, Павел Петрович очень обрадовался встрече, но сразу предупредил:

— Николай! Как я рад видеть тебя целым и невредимым! Но ко мне сейчас тебе лучше не приходить, это может для тебя кончиться плохим...

— Павел Петрович! Я все знаю и понимаю, — ответил Остряков, — но в Испанию меня рекомендовали вы. И все, что я мог, я там сделал. Пусть и судят меня по моим делам. А к вам я как ходил, так и буду ходить.

Николай остался и весь вечер рассказывал о войне в Испании, отвечал на наши многочисленные вопросы. Когда он ушел, отец сказал:

— На таких людях держалась и держится наша Россия... И вся моя надежда на будущее страны и социализма крепка такими людьми, такими большевиками, как Николай... Учись у него не только отлично летать, но и брать всю тяжесть беды и ответственности на свои плечи, да чтобы плечи все это выдерживали. А для этого надо в это самому верить и себя не жалеть. Настоящим большевикам жалеть себя нельзя, иначе наше дело загубим.

Родители сначала не делились со мной всем тем, что обруши-

лось на их плечи, всей трагичностью своего положения. Но я уже начинал понимать это по общей атмосфере в доме, по отдельным обрывкам их разговоров между собой. Неоднократно слышал я настойчивые просьбы матери к отцу, чтобы он позвонил Сталину, поговорил с ним.

— Ну что тебе стоит, — говорила она, — позвони ему, сделай последнюю попытку. Поговори откровенно, может, он что-нибудь и поймет...

— Не буду я ему звонить, — отвечал отец, — и не проси. Как ты не понимаешь, что все, что они со мной сейчас делают, — с его ведома... Они хотят, чтобы я сам покончил с собой, застрелился. Тогда и ничего не надо партии объяснять: умер — и все тут, не выдержало сердце... Но я им в этом не помощник!.. Пусть это останется на их совести...

Впрочем, в это тяжелейшее для моих родителей время бывали у них и светлые часы. В кинотеатре «Ударник», расположенном в том же Доме правительства, шла премьера кинокартины «Волочаевские дни», поставленной прославленными кинорежиссерами братьями Васильевыми. И судьба моим родителям все-таки дала напоследок заглянуть в их незабываемую, героическую революционную молодость. Это помогло им воочию ощутить, что они свое главное дело на этой грешной земле сделали, и сделали неплохо. И уже никто и никогда не сможет этого у них ни отнять, ни изменить. Как говорится, из песни слово не выкинешь... В истории, в памяти народа, в его искусстве на века останутся, как в сказке, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни... И этому подарку судьбы помогла в свое время присущая Павлу Петровичу скромность. А произошло это так.

Кинорежиссерам Васильевым, авторам фильма «Чапаев», сюжет для следующей киноленты подсказала Мария Ильинична Ульянова. Она рассказала о дальневосточной интервенции и Павле Петровиче Постышеве. Теперь мало кто знает, что прототипами героев фильма «Волочаевские дни» — Андрея и Маши были Павел Постышев и Татьяна Постоловская.

Конечно, премьеру кинофильма я не пропустил. И вот мы все вместе сидим в кинотеатре «Ударник» и смотрим фильм «Волочаевские дни». О чем думали, что чувствовали в этот миг мои родители?! По злому навету их окрестили «врагами народа», а в то же время на экранах страны миллионы советских людей смотрели, какими они были на самом деле, как они вместе с народом боролись за установление Советской власти в нашей стране. Целый ряд эпизодов из жизни

мои родителей отражен в кинокартине почти с документальной достоверностью. Так, драматический эпизод, происходящий при вероломном выступлении японцев в Хабаровске 5 апреля 1920 года, когда группа японцев и белогвардейцев оцепила дом, бывший кадетский корпус, где тогда находился наш штаб и в одной из комнат третьего этажа жили мои родители, целиком вошел в фильм. Когда на экране японские солдаты и белогвардейцы стали ломать дверь в комнату, где находились герои кинокартины, и Андрей уже выбирал момент, чтобы незаметно для Маши произвести роковой выстрел, ибо оба знали о зверствах японцев и договорились живыми в их руки не попадать, я невольно бросил взгляд на родителей. Они сидели друг возле друга молча, не проронив ни слова, заметно взволнованные, и напряженно смотрели на экран. Казалось даже, что они смотрят сквозь этот экран куда-то туда, дальше, в те далекие и незабываемые годы... Или они думали, что теперь опять смерть подошла к двери их квартиры и уже стучится в нее и опять надо готовиться встретить ее, как подобает коммунистам?

Фильм закончился, и мы молча шли домой. Уже у самого подъезда я нарушил тишину и спросил: «Ну как вам понравился фильм?» Отец остановился, постоял и после долгой паузы сказал: если о нас, партизанах-дальневосточниках, народ слагает песни, снимает кинофильмы, значит дело свое мы сделали неплохо, жизни свои прожили не напрасно.

Казалось, в те дни от всего увиденного и услышанного, от всего передуманного я был уже подготовлен к пониманию трагической судьбы моих родителей... Но вот подошло незабываемое 21 февраля 1938 года... Как всегда, после полетов я приехал к родителям. Они меня уже ждали. Я сразу почувствовал необычность, какую-то суровую значительность, почти торжественность этой встречи... Разговор вел отец:

— Нам надо с тобой серьезно поговорить. Видишь ли, эта наша встреча — скорее всего последняя. Больше мы никогда не увидимся... Нас с матерью арестуют, а оттуда для нас возврата не будет...

— Этого не может быть, — прервал я отца. — Вас не арестуют, они разберутся...

— Не перебивай меня, — горько улыбнувшись, сказал отец, — у нас мало времени, а сказать надо о многом!

Как он был прав! Но я в то время просто не мог себе представить, что это действительно наша последняя встреча...

— После нашего ареста тебе будет нелегко, — продолжал

отец. — Какое-то время на тебе будет пятно сына «врагов народа»... Может быть, и тебя тоже арестуют. В такое время все может быть... Но ты должен твердо запомнить одно — партию и народ долго обманывать нельзя! Пройдет год, ну два, три, ну пять, ну пусть десять лет, и правда выйдет наружу! Партия и народ поймут и не осудят меня! И если тебе удастся дожить до тех дней, передай моим товарищам по партии, что я до последних своих дней, до последнего своего смертного часа оставался большевиком-ленинцем и всегда знал и верил в нашу окончательную победу! В мире нет таких сил, которые могли бы повернуть нашу революцию вспять. Нас самих — большевиков-ленинцев уничтожить можно, но дело наше уничтожить нельзя!

Вам, молодым, многое сейчас дано. Вам доступно образование, наука, у вас есть время читать книги, ходить в кино, в театры. Но настоящей жизни вы не знаете. Вы и представления не имеете, как жили в России рабочие при царе, почему они шли на смертный бой, чтобы покончить навсегда с царизмом. Но не думай, что стоило трудящимся взять власть в свои руки, как все по мановению волшебной палочки сразу изменилось. Далеко не так. Остался и тяжелый, изнурительный труд, и голод, и разруха. И интервенция, и блокада капиталистов, которые все делают и сделают, чтобы не дать нам встать на ноги. И неумение построить новое общество таким, каким оно может и должно быть. Ах, как нам всем не повезло, что от нас так рано ушел Ленин! Если бы он продолжал руководить партией еще хотя бы лет пять! Все было бы совсем по-другому... Не поняли мы подстерегавшей нас опасности так, как он, не смогли без него так далеко смотреть вперед... Да что теперь об этом говорить — поздно спохватились, раньше надо было об этом думать. Ну, да то, что мы сделать не успели, теперь вам, молодым, надо брать на свои плечи, идти дальше. А чтобы не делать ошибок и держаться верной дороги — надо знать жизнь рабочих и крестьян, их трудности и неустроенность новой жизни, их заботы и несправедливость к ним, которой в жизни еще немало. Без этого знания нового, справедливого для трудящихся общества не построишь.

Вот и иди смело в эту жизнь, изучай ее на своем опыте — это лучшие для тебя университеты. Теперь у тебя для этого будут все условия. И не бойся, что ты этого не сможешь. Твой отец, твой дед и твой прадед были простыми рабочими и жили в таких условиях, что хуже и не придумаешь. И ничего, выжили. Выживешь, осилишь и ты. Может быть, придется и в

тюрьме посидеть. Учти, политическому деятелю тюрьма не новинка. И я сидел в тюрьме, звенел кандалами на каторге. Коммунисту надо знать, за что у нас сажают в тюрьму, как ведут следствие, как судят, кто сидит в наших тюрьмах и за что.

А теперь — об очень важном. На нас надвигается большая война. Фашисты, конечно же, не упустят благоприятного для них момента и нападут на нас. Уж очень это для них соблазнительно. Эх, как хотелось бы самому принять участие в будущих сражениях... Есть и силы еще, и опыт, и необходимый авторитет... Дали бы хоть дивизию... Да нет, не дадут. Поэтому слушай меня внимательно и хорошо запомни: вот перед тобой твой отец и твоя мать. Конечно, нам бы хотелось, чтобы ты жил и чтобы все кончилось хорошо. Но когда начнется война — а ждать ее осталось недолго, тут уж жизни своей жалеть не придется. Война будет очень трудной и очень жестокой. Разговоры о малой крови — это пустая болтовня. Мы сможем выстоять и победить только при одном условии — если каждый наш боец будет сражаться до конца, не щадя ни своей крови, ни самой жизни. Да в самых тяжелых, даже в безвыходных для тебя положениях, все равно надо сражаться до конца.

А теперь обо мне. Мои «доброжелатели» считают, что я сделал ошибку, что мне для того, чтобы сохранить себя как партийного руководителя, надо было не противиться аресту твоей матери, да и некоторым другим арестам. Но человек, который ради своего спасения отдает на гибель другого, ни в чем не повинного человека, честного и стойкого большевика, не может остаться не только партийным руководителем — он не может оставаться в рядах партии, как не может оставаться честным, достойным человеком. А в партии нет места для бесчестных людей! Это же так ясно и так естественно! Все за одного и один за всех. Ведь тот же Фрунзе, осужденный на смертную казнь, продолжал с нами, его однодельцами, простыми ивановскими рабочими-ткачами, проводить занятия по политграмоте в тюремной камере, хотя каждая ночь могла быть для него последней. А Ленин, когда шел выступать на рабочие митинги на заводах, разве не знал, что пуля для него уже отлита? Ведь он был незаменимый гений революции, и уж его-то можно было поберечь «как партийного руководителя»! А все мы, революционеры-профессионалы, разве не знали, на что мы шли в революцию? Ведь и там иногда можно было спасти свою жизнь «руководителя» ценою предательст-

ва товарищей. Нет, такие поступки вычеркивают человека и из партии, и из числа просто честных, порядочных людей!

Я много думал над этим, особенно в последнее время. Конечно, были ошибки и у меня, да и у всех нас, большевиков. Непростое, трудное дело легло на наши плечи — строительство нового социалистического общества. Ведь все приходилось делать впервые, а теория давала лишь общее направление и принципы, которые надо было выдерживать и которые мы на практике не всегда умели воплощать в жизнь. Но практика, живая жизнь, как говорил Ильич, — опыт миллионов, — показывали нам, где мы добивались успехов и где дела у нас шли плохо. И я всегда учился у жизни, в самой гуще рабочих и крестьян проверял правильность своих действий и находил верные решения возникавших проблем и конфликтов... Нет, с ленинской генеральной линии партии я никогда не сходил, и в этом мне себя упрекнуть не в чем. И если бы мне пришлось всю свою жизнь начать сначала, я бы в зтом ничего не изменил, хотя понимаю, что в сложившихся тяжелых для партии условиях именно зто и привело меня к сегодняшней моей участи. Теперь, видишь ли, требуются иные руководители... Ну нет, от ленинских принципов руководства, от сути марксизма-ленинизма я не отступал и не отступлю...

Моя мать, молча стоявшая все зто время рядом с отцом, воспользовалась зтой паузой, подошла ко мне поближе и тихонько сказала: «Если тебя будут заставлять отказаться от нас, то черт с ними, откажись, мы за это в обиде на тебя не будем...»

Только тут глянул я в ее полные слез глаза — всплеснулось сердце...

— Да как ты можешь такое говорить... — только и смог я выговорить.

Отец подошел к окну и уже тихо, задумчиво произнес:

— Я сейчас часто вспоминаю свой арест и революцию 1905 года, следствие, суд, каторгу и вечную ссылку в Сибирь. Какое это было трудное для меня и моих товарищей время! Но ведь мы были смертельными врагами царизма и не скрывали зтого. А сейчас — кому я враг?..

Можете себе представить, с каким тяжелым сердцем уехал я в тот день к себе в часть. На следующий день я заступил в суточный наряд — караульным начальником по гарнизону. И только 23 февраля, освободившись от наряда, выехал к родителям.

Все самое худшее уже совершилось. Комнаты, кроме од-

ной, где находится тетка, — опечатаны, охраны нет, да и охранять некого — пусто. И в квартире, и на душе... Тетка подробно рассказала, как все произошло. Отец и мать сидели в столовой за столом и ждали — может, приеду я. В первом часу ночи раздался долгий, резкий звонок. Охраны отца уже не было, в дверь быстро вошли мужчины, спросили, где Постышев. Она провела их в столовую. Арест производил Фриновский, заместитель Ежова...

Отец встал и сказал: «Я готов». И пошел, как был, в тапочках вместо ботинок...

Мой отец, моя мать и мой старший брат — Валентин Павлович Постышев, 1916 года рождения, были расстреляны. Я был осужден Особым совещанием на 10 лет и свое наказание отбыл. Мой младший брат — Владимир Павлович Постышев был осужден Особым совещанием на 5 лет. Наказание отбыл и уехал из мест заключения. Но вскоре был опять арестован и сослан на 10 лет в Сибирь. Оттуда прислал мне в заключение письмо: освободишься — с севера не уезжай. Оставайся работать там же по вольному найму. Иначе опять попадешь на север. Я так и сделал и до смерти Сталина продолжал работать на севере, там же, где отбывал свой срок.

Но вот умер Сталин. И пришел XX съезд партии. К тому времени я уже получил извещение о реабилитации отца и был в Москве.

Все эти годы я искал хоть какие-нибудь сведения о последних днях жизни родителей. Случай помог познакомиться с племянником Урицкого, он сидел несколько дней в одной камере с отцом. Рассказал, что следствие у Павла Петровича было тяжелым. Каждую ночь водили его на допрос. Приводили оттуда измученным, стиснувшим зубы. Я пытался его как-то утешить, говорил Урицкий:

— «Павел Петрович! Вы не сомневайтесь — они разберутся... Не могут не разобраться! Ведь вы ни в каких оппозициях никогда не состояли, у вас все ясно как на ладони! Разберутся и выпустят.

— Ошибаетесь, дорогой... Они хотят, чтобы я им такое подписал, которого никогда не было и которого придумать-то фантазии не хватит! Подписать я им такое не подпишу, а они будут этого добиваться всеми методами... Так что о том, чтобы разобрались, не может быть и речи.

С каждым днем нажим при допросах усиливался, и настроение Павла Петровича не улучшалось. Но однажды, смотрю:

Павел Петрович вскочил с койки, подошел к окну и стал в него внимательно вглядываться. Я тоже встал и подошел к окну.

— Что там? — с удивлением спросил я.

— Тише, — сказал Павел Петрович, — слышите! Самолет летит...

Я прислушался. Действительно, в камеру еле долетел звук летящего самолета. Что же из этого?

— Мой сын летчик, — сказал Постышев, — здесь, под Москвой, служит. Вот я услышал самолет и подумал — может, это сын мой в нем летит... А потом подумал: а может, он здесь, за стенкой где-нибудь сидит?»

...Меня перевели с Лубянки в Лефортовскую тюрьму в начале августа 1942-го. Следователь, допрашивавший меня, обратился к вошедшему начальнику: «Его отца ты знаешь очень хорошо! Это сын Постышева!»

— А, так вот это кто! — начальник следственной части подошел ближе, разглядывая меня: В какой камере ты сидишь?

Я назвал номер моей камеры.

— Смотри ты! Совсем немного не угадал! А твой отец сидел у нас в камере номер, — он назвал этот номер... И — к следователю: — Да что ты возишься с этим молчуном! (И тут он грязно выругался). Кончать надо! Кончать!

— Слушаюсь, будем кончать... — И следователь раздраженно бросил мне: — Не хочешь по-хорошему, можно и подругому — тебе же хуже будет!

Он был прав — дальше следствие шло все хуже и хуже для меня. Но у меня не было выбора — наговаривать на себя я не имел права. Я помнил слова отца, что рано или поздно, а правда все равно выйдет наружу. Так эту правду надо было сохранить, предавать ее было никак нельзя ни при каких обстоятельствах. А жалеть себя — как в революцию, как тогда, так и сегодня, когда революция продолжается, — коммунистам никак нельзя — иначе действительно можно загубить все наше правое дело.

Владимир Синицын

Шемахинская трагедия, или Похоронка, пришедшая не с войны...

Похоронка. На отца... Мужа... Сына... Пожелтевшая от времени, стертая на сгибах, с выцветшими чернилами, она и через четыре с лишним десятка лет обжигает болью: «Ваш муж (сын, отец) пал смертью храбрых...»

Трагическая строчка Великой Отечественной...

Другая, на белом пока листке, прошитая бойкой пишущей машинкой, — дни наши. Афганистан.

А недавно в небольшом селении Текле, что под Шемахой, я прочитал третью — к извещению о гибели Валеха Джебраилова, «павшего в боях за свободу и независимость нашей Родины», был подшит листочек на отца: «Приговор военной коллегии от 3 января 1938 года в отношении Джебраилова Закарен Нагдали оглы по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело за отсутствием состава преступления прекращено, и он посмертно реабилитирован. 23 июля 1956 года. Председатель судебного состава Военной коллегии Верховного Суда СССР полковник юстиции Лихачев».

Сорок два крестьянина из Текле не вернулись с войны. Три воина-интернационалиста — из Афганистана. И шесть десятков — из тюрем и лагерей времен сталинских репрессий.

На каждого — своя похоронка. На всех — наша вечная память и боль.

* * *

В жаркий июньский полдень 1937-го председатель колхоза им. Молотова, в недалеком прошлом бакинский нефтяник, создатель первой в районе сельхозартели Закарен Джебраилов получил предписание. Подписанное почему-то начальником райотдела НКВД Гамзатом Шабанбековым, оно указыва-

ло: к 20.00 выдвинуть, утвердить на колхозном собрании «70 передовых колхозников для участия в республиканском слете стахановцев-новаторов полей и ферм».

Впрочем, «почему-то» — вопрос из дня нынешнего. Тогда, в 37-м, он казался закономерным: органы внутренних дел решали многое. На всю страну грохотали процессы над организаторами «террористических актов», над уклонистами, шовинистами, националистами-пантюркистами. Над вредителями, шпионами, диверсантами...

Враги народа были всюду. Мы, мальчишки тридцатых годов, и то легко находили следы их грязных лап. В рисунке по знаменитому пушкинскому «У лукоморья дуб зеленый» явно просматривался фашистский знак. На чернильнице-непроливайке, если глядеть на нее под углом, можно было прочитать: «Долой СССР»...

Ночами из нашего дома увозили людей, и мать, как в лихорадке, бросала на патефон первую попавшуюся под руку пластинку, чтобы мы с братом не слышали надсадного крика: «Я ни в чем не виноват, товарищи!»

И все же поверить, что начальник Бакинской милиции Янош Цинцар — враг, мы не могли. Мы знали, что в 1917-м он был организатором восстания венгерских пленных на острове Наргене, дрался с турками в дни Бакинской коммуны, был дружен с Сергеем Мироновичем Кировым. Носил на старенькой гимнастерке орден Красного Знамени, а под ней, возле сердца, две пули. Человек-легенда, он катал нас, мальчишек, на велосипеде. И чтобы — враг?

Ошибка, исправят, скоро вернется, говорили старшие. Мы верили. Очень верили. А когда застрелилась его жена Зарифа Мамедовна, член партии с 1920 года, когда увезли в спецдетдом его сыновей, наших школьных товарищей, даже мы поняли, каким он был ловким шпионом.

Это сейчас я понимаю, что обрубались нити, связывающие нас с теми, кто делал революцию, дышал, жил ею. А тогда, в 37-м, уводили «врагов».

Все более крутыми и злыми волнами перекатывались тревожные слухи: разоблачен еще один заговор против Сталина, Ворошилова, Буденного, заговор против Багирова. В Каспийском пароходстве, в Бакинском комитете комсомола, в «Азнефти». Подлые убийцы целились в самое сердце народа — в первого секретаря ЦК АКП(б) Мир Джафара Багирова.

Так что предписание Шемахинского НКВД председатель

колхоза воспринял так, как положено. И хотя в тот трудный год впервые уродился хлеб, в пять часов дня, бросив конные косилки да серпы, колхозники собрались возле здания правления, одного из двух каменных строений, доставшихся от моллы-диверсанта и бывшего царского старосты. Больше домов в селении не было. Крестьяне, пережив коллективизацию, так и не поняв, почему пяток несушек и две овцы на семью создают «предпосылки для реставрации капитализма», безропотно сдали живность и, свободные от нее, по-прежнему ютились в палатках-алачыгах, вязанных из задымленной шерсти. Как их деды и прадеды-кочевники.

Но, конечно, они ушли намного вперед своих предков, а потому сначала обсудили на собрании, одобрили и приняли социалистические обязательства в честь статьи Молотова «Наши задачи в борьбе с троцкистами и иными вредителями, диверсантами и шпионами» (три полные газетные страницы содержали инструктаж, где искать и как карать врагов народа), а потом и второй вопрос — о гражданской войне в Испании. Удивительное дело, пастухи, не видавшие Баку, никогда не покидавшие горных пастбищ, знали о легендарном республиканском генерале Листере, наверное, больше, чем он о себе, говорили о боях под Эбро, с надеждой следили за наступлением «наших» под Гвадалахарой, за обороной Мадрида. Говорили об испанских детях, которых каждый готов был взять в свою семью. И хотя гасли, как угольки, собственные дети, испанские были их, крестьян, болью.

Ну, а главный вопрос прошел между прочим. Председатель включил в список участников слета почти всех мужчин, кому тридцать и поболее. На том и разошлись. А ближе к ночи крики отчаяния рванулись к горам. Точно по списку из семидесяти задымленных палаток выводили тех, кому за тридцать. И только одного, Сафара Сафарова, чабана, ушедшего с отарой в горы, не застали дома. «Не беда, — равнодушно бросил Шабанбеков, — будем брать похожего». И взяли, тоже чабана, Сафарали Сафаралиева. В ту же ночь все 70 были доставлены в Баку, во внутреннюю тюрьму НКВД.

Это был сигнал. Каждый день из Маразов, Чухур-юрда, Сагиян, Хильмили, других селений Шемахинского и других районов спешили в Баку полуторки, крытые брезентом. Людей брали в поле, на токах, у арыков, на пастбищах, поднимали с кислой овчины... Быстро, широко, с размахом фабриковалось в Азербайджане громкое, страшное, грязное шемахинское дело.

* * *

Собственно, дела такого рода сколачивались и разрубались топорами на Смоленщине, в Зауралье, на Вологодчине, Полтавщине, в Кахетии, Фергане, на Алтае... Если на карте страны пометить красным карандашом города и села, которые придавила, как катком, ежовщина и бериевщина, то и сейчас вспыхнет она костром людских страданий «от Москвы до самых до окраин». Знаю, это хорошие слова из дорогой всем нам песни. И все же после миллионов жертв коллективизации, когда, как сказано сегодня, крестьян ломали через колено, вторым эшелоном к тем самым окраинам брели колонны «врагов народа» — рабочих, крестьян, старых специалистов и их молодой смены. Безвестных, безымянных... Людей с именем, революционеров-ленинцев, героев гражданской войны, оболганных, обесчещенных ставили к стенке.

Каждая область, край, республика подносила Сталину собственные, с национальной окраской процессы. Он это ценил, бывший нарком национальностей, так извративший национальную политику, что ссылка отверженных народов становилась ее постыдно печальной практикой. И если сегодня мы хотим по-настоящему, глубоко разобраться в причинах нагорно-карабахского взрыва и сумгаитской трагедии, то динамит надо искать в идейном наследии наркомнаца.

А бикфордов шнур от взрывчатки уходит в 37-й, к Мир Джафару Багирову, особенно рьяно служившему «отцу народов». Умный, жестокий, искушенный политический интриган, он, пожалуй, один из немногих, кого опасался сам Берия. Бывший платный агент муссаватской разведки, работая в начале двадцатых годов начальником СОЧ (секретно-оперативной части Азчека), Берия только рвался к должности первого палача, Багиров же успел оклеветать Орджоникидзе, Косарева, Рудзутака, Варейкиса, Серебровского, всех, кого знал и любил Ленин...

Но искал другого, большего, что, во-первых, должно было его самого обезопасить от тюремной камеры, во-вторых, укрепить балдахин своего самодержавия в Азербайджане. Это знали, с этим боролись азербайджанские большевики. Легендарный Гамид Султанов, тот самый, кто в ночь на 28 апреля 1920 года по поручению ЦК Компартии Азербайджана под свист и улюлюканье зала невозмутимо поднялся на трибуну муссаватского парламента и предъявил ультиматум: немедленно сдать власть Советам. Султан Меджид Эфендиев,

опытный пропагандист, обладавший энциклопедическими знаниями марксизма и необыкновенным организаторским талантом. Дадаш Буниатзаде, удивительный по нынешним меркам чудак. Будучи наркомом, он написал заявление в Совнарком республики с просьбой выделить гимнастерку и кавалерийское галифе. Потом каким-то образом заявление попало к его автору, и он наложил резолюцию: «Как не стыдно, Дадаш! Такое время. Штаны можно, рубаху — нет...»

Смешно? Не очень. Если вспомнить, что «под крышей» комбината общественного питания (КОПа) три года по указанию Г. Алиева и под его контролем возводился в Баку дворец «лично для товарища Брежнева», где тот ночевал две ночи.

Солдатские брюки — и сотни тысяч рублей «за отеческую заботу» и золотую звезду. Больно, стыдно... Но это так, к слову, чтобы понять, что время застоя сложилось вовсе не из-за того, что все голосовали «за», разумеется, «стоя». А потому, что были выбиты из жизни большевики.

Нужно было обладать действительным мужеством, чтобы подняться в июне 1937 года на XIII съезде Компартии Азербайджана и сказать правду о Багирове. В лицо!

Знали ли они, чем обернется для них эта правда? Да, знали. Уже был убит Киров, с которым работали они рука об руку. Расстрелян Зиновьев, бывший вместе с Нариманом Наримановым, — сопредседателем Первого съезда народов Востока в Баку. В феврале покончил жизнь самоубийством Серго Орджоникидзе... Большевики знали, на что идут.

Сразу же после съезда было объявлено о том, что «раскрыта антисоветская, контрреволюционная, повстанческая шпионско-террористическая, диверсионно-вредительская, буржуазно-националистическая организация Шемахинского района во главе с Гамидом Султановым».

Я хотел бы обратить внимание читателя на два нестандартных определения, сфабрикованных Багировым. Первое: повстанческая. Значит, не группка, а массы. Ну, а на селе — читай «крестьяне». Второе: буржуазно-националистическая. Спустя месяц, одобренная Сталиным, находка Багирова будет тиражироваться в Узбекистане, Грузии, Армении, на Украине, в Таджикистане... И все же авторство принадлежит палачу Багирову.

Вовсе не для взвинчивания страстей написал я это слово — палач. Каким садистским истязаниям по его указанию должен был быть и был подвергнут Гамид Султанов, чтобы подписать самооговор: «Мы стали на путь грязной измены нашей Родине,

на путь закабаления счастливого и свободного азербайджанского народа...»

Через неделю по постановлению «тройки» Г. Султанов, С. М. Эфендиев, Д. Буниатзаде, а также их товарищи были казнены.

А ранее, до начала процесса, были уведены за порог жизни 60 из семидесяти крестьян селения Текле, никогда не слышавшие, что такое повстанцы. Да их и не спрашивали. Ни Закарена Джебраилова, ни Ибада Атали оглы, ни братьев Ахмеда и Мамеда Ханкиши оглы, ни одного из стахановцев, призванных НКВД на несостоявшийся слет. И что они могли ответить, если в ведомости о трудоднях оставляли отпечатки большого пальца? Скудные протоколы допросов содержат нелепейшие признания... А вместо приговора — жесткое, как зубовный скрежет: ВМ. Что значит — высшая мера. И все...

В середине 70-х годов старейший бакинский журналист Александр Алексеевич Боркин, коммунист ленинского призыва, бережно хранивший собственную «похоронку», рассказывал, как в начале 1938 года вместе с партией крестьян повезли его расстреливать на остров Буллу. «Выводили десятками. Один, другой, двенадцатый... Потом тишина. Наверное, слишком уж большая, незапланированная, — так он и сказал, — была партия заключенных, если у карателей просто не хватило патронов на всех, кто проходил тогда по Шемахинскому делу».

Отправили морем в Красноводск. Там снова неожиданный сбой в обкатанной машине террора. «Словом, Колыма. Семнадцать лет... Я ведь с сельской кузницы начинал. Пригодилось ремесло».

Спустя два десятилетия он снова побывал на острове гибели. «Черепа. Простреленные черепа моих товарищей...» Там-то и полегли шемахинские крестьяне, бесконечно далекие от политических страстей, но ставшие их жертвами. Полегли за несколько месяцев до того, как неправый приговор был утвержден «тройкой».

В тот год колхоз остался без хлеба.

По одним подсчетам по этапам ушло в лагеря около 70 тысяч, по другим — за сто. По одним выкладкам винтовочные залпы унесли свыше трех тысяч крестьянских жизней. По другим — за пять тысяч. Багирову нужна была «антисоветская, буржуазно-националистическая организация». Ее выдумали, а выдумав, прошлись по ней огненным смерчем. Только в одном из отчетов, отправленных Багировым в 1937 году в Москву,

докладывали, что в Азербайджане арестованы 32 секретаря райкомов партии, 28 председателей райисполкомов, 18 наркомов и их заместителей, 88 командиров и политработников Красной Армии.

* *
*

Свидетель обвинеиия, седобородый, крепко сбитый старик, бойко говорил по-русски, пересыпал речь характерными сибирскими «однако», «надо же». Спасибо величайшему теоретику языкознания: 17-летняя языковая практика азербайджанца-пастуха за ржавой лагерной проволокой пригодилась в 1956 году. В процессе над Багировым и его приспешниками, бывшими руководителями республиканского НКВД — Атакишиевым, Борщевым, Григоряном, Емельяновым, Маркаряном. Тогда, после XX съезда партии, осудившего культ Сталина, после писем ЦК КПСС к коммунистам страны, раскрывших далеко не все, как сейчас известно, преступления тирана вот уж действительно «всех времен и народов», Военной коллегии Верховного Суда СССР давал показания шемахинский крестьянин Габиб Джебраил оглы. Из села Текле, ставшего Ленинабадом.

Он выучился не только русскому языку. В одном из лагерей встретил Зинаиду Гавриловну Орджоникидзе, вдову Серго. Прямого обвинения в участии в Шемахинском деле ей не предъявляли. Однако столько знала она о бакинском периоде деятельности Сталина, об интригах и провокациях Берии, что не мог Багиров не завести и на нее досье. Чтобы было что доложить Кремлю. Она-то в 39-м и дала Габибу первый урок политграмоты — об обострении классовой «борьбы» в период социалистических побед. Так что уже сам вывел Габиб: на пороге самого светлого будущего просто должна была вспыхнуть братоубийственная война.

Через пятнадцать лет они встретились в Баку, свидетели обвинения. Помню, слышу горький стон зала, когда Зинаида Гавриловна сняла кофточку и показала суду исполосованную горячим железом спину... После нее давал показания Габиб:

— Мы сами все гадали: почему нас, однако, не расстреляли, товарищ прокурор? Стыдно перед мертвыми. Пытали поровну. По горло стояли в моче по двенадцать часов. Надо же, камера была сделана под гроб — высота метр двадцать, ни распрямиться, ни лечь, стой день-деньской полусогнутый. Ноги — как столбы. Двое скончались в том гробу... Пыток поровну. Расстреляли, однако, шестьдесят. Почему? А вы вро-

де не знаете? В тюрьме негде было яблоку упасть. Вот и спешили они, — взгляд в сторону скамьи подсудимых, — освободить нары. Однако уводили на расстрел десятками. Шесть наших увели, седьмая угодила с острова Буллы в Туруханский край. Где проходил ссылку сам товарищ Сталин!

Тогда, «в период оттепели», Бакинский горком партии рассылал пропуска на судебные заседания на заводы, в колхозы, в первичные парторганизации. Несколько раз довелось послушать свидетелей и мне, молодому корреспонденту комсомольской газеты. Многое ушло, стерлось в памяти. А это — «в Туруханском крае» — врезалось намертво. Почему? Да потому, что судили-то не Сталина, а Багирова, которого, сколько помню себя, называли хозяином. А в Сталина мы продолжали верить истово.

Тогда мы думали: виноват, конечно, Иосиф Виссарионович, слишком уж доверял мерзавцам Ягоде, Ежову, Берии, Багирову... За то и вынесен из Мавзолея.

Мы так думали, это понятно. Но он?! На которого, вернувшегося с того света, пришла в семью «похоронка»? «Ваш муж Габиб Джебраил оглы посмертно реабилитирован». А он, вот он, — жив. И с нескрываемой гордостью рассказывает об избе, где проходил ссылку вождь, об избе под стеклянным саркофагом?! А я, если честно, завидовал бывшему зеку. Тот дважды видел! За семнадцать лет... Нет, обманывали товарища Сталина.

Сейчас приходит прозрение. Не Сталина — нас обманывал Сталин. Крестьянина, осужденного по 58-й статье «врага-вредителя, буржуазного националиста». Его сына фронтовика, упавшего в снег под Москвой, ЧСИРа — члена семьи изменника Родины. Сын имел в войну единственное право: лечь костьми в штрафной роте на минном поле. За изменника отца. За мать, младших сестер и братьев, кому жить. Их тоже обманывал.

Да, это правда, что на всех фронтах солдаты поднимались в атаку с яростным: «За Родину! За Сталина!». Но это не вся правда о войне. И если хлеб — хоть ломоть, хоть корка — все равно хлеб, то «не вся правда» — это всегда ложь.

Сегодня мы знаем: Сталин не только знал, он планировал репрессии, дирижировал террором, тридцать лет вел истребительную войну против своего народа. И в этом безбрежном море крови всех невинных есть кровь и участников шемахинской трагедии.

...Недавно в Ленинабаде, давно сдавшем имя Молотова

в архив, в совхозе «Советская Украина», хозяйстве сильном и авторитетном, я повстречал правнука Закарена Джебраилова. Совхозный шофер, он годы держал за лобовым стеклом своего грузовика фотографию гения с прищуренным взглядом стрелка и тяжелыми усами тюремного надзирателя. Немало таких, а то и семейных портретов, то с сыном-алкоголиком, то дочерью-перебежчицей, колесит по сельским дорогам Закавказья. И только ли в наших краях-весях!

А в бывшем Текле их не стало. Последнюю сорвал со стекла правнук расстрелянного председателя. Хотел, говорит, порвать, но подумал да и положил рядом с такими разными семейными похоронками. На пахаря, на слегшего под Москвой штрафника, не давших угаснуть крестьянскому роду. Этого он не говорил. Он сказал совсем другое.

— Тоже похоронка, — парень угрюмо отодвинул в сторону фотокарточку. — Буду знать, кому обязан этими — на прадеда, деда. И мои внуки будут знать...

А я вспомнил услышанное недавно: Сталин умер вчера...

Марина Ширшова

«Пусть никогда в жизни тебе не придется испытать этого»

Петр Петрович Ширшов родился 25 декабря 1905 года в городе Днепропетровске. Гидробиолог. Начиная с 1930 года работал в Арктике: участвовал в экспедициях на «Сибирякове», «Челюскине», «Красине». После гибели «Челюскина» работал в ледовом лагере О. Ю. Шмидта. В 1937 году дрейфовал в составе папанинской четверки на станции «Северный полюс-1». В 1939 году избран действительным членом Академии наук СССР. С 1942 по 1946 год — нарком Морского флота СССР. Основатель и первый директор Института океанологии АН СССР. Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР двух созывов. Умер в 1953 году в возрасте 48 лет.

Евгения Александровна Гаркуша-Ширшова родилась 8 марта 1915 года в Киеве. Актриса театра и кино. Снялась в 1939 году в фильме «Пятый океан», в 1943 году в фильме «Неуловимый Ян». Последние годы жизни работала в Театре им. Моссовета. Умерла в 1948 году в Магаданской области в возрасте 33 лет.

Эти два человека — мои отец и мать. Отец и мать по всем законам жизни должны быть у каждого человека. Отец был моим другом, собеседником, наставником до моих восьми лет, когда его не стало. Я хорошо помню совсем седого, улыбчивого человека с молодым лицом. От него я узнавала много интересного. Он научил меня любить стихи. С ним можно было отправиться по Москве-реке на байдарке. С ним было весело и не страшно. Правда, времени у него всегда было мало. Была какая-то загадочная страна «работа», куда он все время от меня исчезал. А я ждала и ждала тех его часов, которые мои.

У всех детей, окружавших меня, были матери, мамы.

У меня — нет. Была ее фотография, с которой мне задорно улыбалась молодая женщина. Я не помню ее, так как, когда ее арестовали, мне было немногим больше года. Подрастая, я спрашивала, где она? Мне отвечали, что она уехала на гастроли с театром. Кроме фотографии, были красивые концертные платья, коробки с гримом и всякой театральной мишурой. Это был мамин волшебный мир театра, в который, как мне тогда казалось, она от меня спряталась.

Потом, не дома, а во дворе, мне объяснили, что ждать мне некого. Я узнала о ее смерти очень рано, но еще долго продолжала подыгрывать взрослым. Только удивлялась их наивности на мой счет.

Я становилась старше. По мере того как я взрослела, трагедия моих родителей по-иному представлялась мне. С тем, что произошло с ними в 1946 году, я живу всю жизнь и буду жить до конца моих дней. От этого никуда не деться.

В 1956 году, когда отца уже не было в живых, маму реабилитировали. О ней стало можно говорить вслух. На экране кинотеатра повторного фильма появились картины с ее участием. Я впервые увидела ее как бы живой. Спасибо кино за это чудо! Мне очень хотелось стать актрисой, как мама. Но судьбе было угодно иное. Я работаю в Институте океанологии, который основал мой отец. Я сталкиваюсь с очень многими людьми, в той или иной мере знавшими его или знавшими о нем. Всегда одни и те же вопросы: «Почему он умер таким молодым? Почему о нем так мало написано?»

На первый вопрос ответила одна из старейших сотрудниц нашего института: «Мы все понимали, что, когда погибла Женечка, погиб и Петр Петрович!» Он пытался жить, работать, любить... Но, начиная с 1949 года, его жизнь — это борьба с тяжелейшей формой рака, который тогда не умели лечить. Три операции за четыре года, постоянные боли. А нужно было работать, и он работал. Я это знаю точно.

Ответ на второй вопрос. Я всеми силами сопротивлялась написанию и изданию книги о моем отце. Я ни разу не разрешила это. Вышла только одна небольшая книжка — лакированная и лживая. Это нечестно и неблагородно — писать подстриженную биографию «национального героя», замазывая те страницы его судьбы, где перед нами человеческая трагедия. Я счастлива, что дожила до того времени, когда можно говорить правду. И если появится книжка о Петре Петровиче Ширшове, то это должен быть рассказ о человеке ярком, талантливом, наделенном сполна всем, что может быть отпу-

щено человеку. Это должен быть рассказ о судьбе большой и необычной во всем — и в счастье, и в человеческом горе. Записки, которые вы прочтете ниже, были написаны после ареста моей матери, но до ее гибели. Евгению Александровну Гаркушу-Ширшову арестовали в 1946 году. Ордера на арест не было. Отец год не знал, где она и что с ней. Мне известно, как он искал ее, пытался спасти. Даже до Сталина достучались. Тогда была произнесена знаменитая фраза Сталина, попавшая впоследствии в западную прессу: «Мы найдем ему другую жену». Через год тюрьмы моя мать была выслана на 8 лет в Магаданскую область, где умерла в августе 1948 года.

Мне говорили, что в Магадане до сих пор помнят красивую актрису, работавшую на золотых приисках. Она домывала золотые шлихи бромоформом. Работа, на которую из-за ее вредности женщин обычно не ставили. Говорят, что сохранилась ее могила. Может быть, эта публикация поможет мне, наконец, найти мою мать? В заключение я хотела бы сказать, что понимаю: история моих родителей не исключительна для тех лет культа личности, которые пережила наша страна. Эта трагедия исключительна для меня, для моих близких.

К сожалению, те страшные годы — были. Их не вычесть из истории нашей страны. Этого нельзя забывать. История все расставит на свои места, как ни лакируй действительность. Надо иметь мужество признать это.

МАРИНА ШИРШОВА.

Скоро утро 29-й годовщины Октября...

Три месяца, зная, что дело очень плохо, что ничего хорошего ожидать нельзя, я все-таки на что-то надеялся... на чудо? на большое великодушие? не знаю... Не признаваясь себе, я ждал: вернется Женя!.. и праздник почему-то казался тем днем, который нужно только дождаться, как бы тяжко ни было бы ждать, и Женя будет с нами, будет дома, и весь этот ужас останется только страшным кошмаром позади.

Сколько раз, в часы самого отчаянного состояния, когда только ценой невероятного усилия воли удавалось сохранять внешне спокойный вид, ибо так надо было, сколько раз очередной звонок вертушки тревогой предчувствия сжимал сердце: «Женя! Женя звонит из дому... отпустили...»

Сколько раз, вернувшись ночью домой, осторожно входил в спальню: «А вдруг чудо?! Вдруг она дома, просто мне не сказали...» И снова одинокая комната, где каждая вещь помнит

и молчит о Жене, и снова безысходная тоска, такая, что не знаешь, куда броситься, что сделать, чтобы хоть на минуту уйти от нее, хоть минуту не думать, не чувствовать ничего... И снова страшные мысли все о том же, снова во власти ужаса, который давно понял и осознал, но поверить в который не могу и сейчас. Три месяца я добивался, чтобы мне хоть что-нибудь сказали о ней, о ее судьбе, и каждый раз натыкался на стену молчания. Никто ничего не говорит и, видимо, не скажет...

Как голодный роется в мусорной яме, чтобы найти гнилую корку хлеба, рылся я в невероятной грязи московских сплетен, щедро вылитых московскими святошами на наши головы, чтобы найти хоть какое-нибудь зерно правды о Жене. И, кажется, я нашел... Еще в начале сентября поползли слухи о восьми годах за спекуляцию. (Версия о «спекуляции» была выдумкой. На самом деле, по достоверным свидетельствам, Е. А. Гаркуша-Ширшова стала жертвой беззакония, поплатилась за то, что без оглядки отстояла свое человеческое достоинство перед домогательствами одного высокопоставленного лица. — **Ред.**) Не мог я поверить, что это правда, не укладывалось в сознании, что могли так решить. Я понимал, что не дадут ей вернуться в дом, не дадут быть вместе, но ждал, что вышлют ее куда-нибудь, в другой город, и отпустят с запрещением возврата в Москву. Как ни тяжко думать об этом, но это был бы какой-то выход... Я мог бы заботиться о ней, мог бы чем-то помочь ей, и если бы даже мне не дали права переписки с нею, все-таки я знал бы, где она, здорова ли, и, самое главное, она была бы на свободе, с ней были бы близкие люди, сначала мать, а потом и Маринка бы поехала к ней. И пусть разлука была бы на годы, она знала бы, что никогда еще не любил я ее так, как люблю сейчас, когда столько «заботливых ртов» поливают ее грязью, чтобы очернить ее в моих глазах.

Я ждал, что до праздника решится ее судьба и мне скажут об этом.

И мне сказали... Когда секретарь принесла конверт с билетами на Красную площадь, я не решился сразу открыть его. И только оставшись один, получил ответ: ее уже вычеркнули из жизни — в конверте были билеты только для меня.

С праздником вас, товарищ Ширшов, с тюрьмой для любимого человека, для вашей Жени!..

Зачем я все это пишу? Не знаю... Времени у меня впереди более чем достаточно... За восемь лет «Войну и мир» можно написать, даже не имея никаких к тому данных. Пишу, чтобы сжечь эти листки. Пишу потому, что стук машинки разгоняет

проклятую тишину ночи, когда после четырнадцати часов работы остаешься один и не знаешь, куда деваться от самого себя, когда пуля в голову кажется самым желанным, самым простым и бесспорным выходом из кошмара, воплотившегося в словах: Женя в тюрьме... А может быть, я сохраню эти листки, чтобы прочитала их Маринка через много лет, когда будет большой, и, если меня не хватит до того времени, пусть эти листки расскажут ей правду. Через восемь лет, если Женя выдержит и не погибнет раньше, ей будет 38 лет. Лучшие годы, надежды на успех в работе, оставшиеся годы молодости — все погибло. Впереди страшные годы одиночества, унижения, собачьей жизни среди чужих и враждебных людей, одной, без близких людей, не зная даже, что с ними, помнят ли они о ней...

Восемь лет для меня — восемь лет тоски по любимому человеку, восемь лет страха за ее жизнь, восемь лет изо всех сил держать себя в руках и не пустить себе от отчаяния пулю в голову, не выброситься из окна, не разбиться «нечаянно» на машине. За что? Я не могу сейчас говорить об этом. Не имею права... Времени впереди еще очень много, и пусть будущее поможет мне правдиво ответить на этот вопрос.

Но один итог мне хочется подвести уже сейчас, и, пожалуй, он мне даже нужен именно сейчас, когда надо начинать какую-то новую страницу жизни.

29 лет существует Советская власть, и 29 лет своей сознательной жизни, с тех пор, когда одиннадцатилетним мальчиком, захлебываясь от восторга, я бегал в семнадцатом году по всем митингам послушать большевиков-ораторов с Брянского завода, я всегда был безупречно честен. Мне не за что краснеть перед Советской властью!..

В пятнадцать лет я твердо определил свою жизненную дорогу, и даже завидно сейчас вспоминать, с какой страстью мечтал тогда о научной работе, сколько пыла было в стремлении скорее добиться права работать в лаборатории.

22 июня 1941 года... В половине девятого настойчиво-требовательный звонок телефона: «Товарищ Ширшов! Говорит дежурный. Приезжайте немедленно в Управление. Папанин звонил с дачи, едет в город и велел немедленно разыскать вас и других замов!» Быстро одевшись, сунул голову под кран, выбежал во двор и, не попадая сразу ключом, завел мотор машины. Так началась для меня война... Очень скоро стало ясно, что делать мне в Главсевморпути нечего. Уже через не-

делю после начала войны крупный разговор с Папаниным, кончившийся честным предупреждением с моей стороны, что я все равно добьюсь ухода в армию, сколько б Папанин не мешал мне в этом.

Почти разругавшись с Папаниным, ухватился за первый подвернувшийся случай выскочить из Москвы «поближе к фронту»: 3 июля Косыгин подписал короткий мандат, гласивший: «Выдан настоящий мандат Уполномоченному Совета по эвакуации тов. Ширшову П. П. на предмет проведения эвакуации Мурманского судоремонтного завода Главсевморпути».

Месяц в Мурманске. Красная Армия отстояла подступы к городу, и доки взрывать не пришлось. Переключился на вывод ледоколов «Сталина» и «Ленина» из Кольского залива. Две недели прожил на «Сталине», три раза пытались выйти из залива, но редкая в тех краях ясная погода так и не дала выйти в море. Две недели пришлось маяться по заливу, укрываясь от зорких глаз немецких летчиков да стреляя из четырех старинных 76-миллиметровок по «Юнкерсам», регулярно летавшим на бомбежку Ваенги и других пунктов.

Потом Иван Дмитрич вытащил меня в Москву и послал на Диксон спасать суда от подводных лодок, появившихся в Карском море... Снова началась торговля с Папаниным, кому раньше уходить в армию.

Наконец мне это надоело, и я написал письмо Маленкову с просьбой отпустить меня из Главсевморпути, где мне просто нечего делать, и направить в армию, комиссаром в какую-либо формирующуюся танковую дивизию.

Ответа я так и не дождался.

15-го октября, около восьми вечера, Папанин вернулся из Совнаркома и, взволнованный, сообщил, что дано указание немедленно приступить к эвакуации центральных учреждений. По его словам, тов. Молотов велел первых заместителей направить немедленно в пункты, избранные для эвакуации, чтобы на новом месте развернуть работу наркоматов и других учреждений. Это означало: вместо фронта оказаться в самом глубоком тылу, в Красноярске! Но мне помог всеобщий переполох: в тот же вечер отправил в Красноярск Рябчикова и Кренкеля, а сам остался в Москве. Вспоминать об этих днях не любят некоторые москвичи — куда приятнее, получив три года спустя медаль на муаровой ленте с тремя зелеными и двумя красными полосками, забыть о некоторых деталях своего поведения в эти дни... Но мне нечего краснеть за себя

в эту страшную осень, и всю жизнь буду помнить: в эти тяжкие дни, когда враг был у самой Москвы и над Арбатом дрались истребители, когда все привокзальные площади были забиты паническими толпами людей и машин, а по центральным улицам, по Садовому кольцу уныло брели голодные стада эвакуированного скота, когда одна тревога сменяла другую, а по городу ползли черные слухи, что немец уже перерезал Северную дорогу и скоро обойдет кругом Москву, когда на окраинах города начались грабежи, когда Микоян, Косыгин и другие члены правительства выезжали на заводы, чтобы убедились рабочие, брошенные своими директорами, что правительство в Москве, что Сталин вовсе не собирается отдавать немцам Москву, вот в эти суровые дни, когда с предельной ясностью обнажилось подлинное существо многих людей, в эти дни я полюбил Женю, с которой уже встречался почти каждый день. Полюбил за то, что плакала она от негодования, рассказывая, до какой низости потеряли облик человеческий некоторые знакомые от страха за свою благородную шкуру, полюбил за то, что беззаботно щебетала она, когда над головой все небо расцвечивалось огоньками разрывов, смеясь над моим желанием поскорее закончить не вовремя затянувшуюся прогулку, полюбил за то, что на мои настойчивые уговоры уехать из Москвы, она отвечала: «А мне с вами хорошо и не страшно, и я поеду с вами!» Полюбил за то, что ей единственной показал, перед тем как отправить, записку товарищу Сталину, в которой снова просил направить меня в армию, полюбил за то, что не уехала она в Алма-Ату сниматься в новой картине, но осталась со мною, чтобы вместе уйти на фронт, полюбил за то, что под изящной внешностью избалованной «фифки», как сама себя называла она в шутку, я встретил настоящего друга, смелого, жизнерадостного и любящего... 18-го октября я позвонил Микояну, сообщил ему, что эвакуацию Главсевморпути заканчиваю и в Красноярск не собираюсь. Он согласился со мной, что ехать в Красноярск не нужно, и посоветовал написать товарищу Сталину.

В тот же день я отправил записку, о которой только что говорил.

19 октября схлынула «драповая волна» с московских улиц и площадей. Строгой и чистой стала Москва в эти дни, словно гроза пронеслась над ней и прочь унесла все трусливое, омерзительно дрожащее за свою шкуру. Выпроводив на восток остатки Главсевморпути, я не выдержал и позвонил Поскребы-

шеву и, видно, попал под горячую руку: «Ну чего звоните, записку вашу получили, сидите и ждите! Скажут, когда надо будет...» 21-го днем мне позвонили, и через полчаса я расписался в получении мандата за подписью товарища Сталина: «Выдан сей мандат тов. Ширшову П. П. в том, что он назначен Уполномоченным Государственного Комитета Обороны на Горьковской железной дороге по делам эвакуации. Тов. Ширшову поручается обеспечить бесперебойное продвижение маршрутов по Горьковской железной дороге и срочную разгрузку вагонов в пунктах назначения грузов. Все партийные, советские и хозяйственные организации должны оказывать т. Ширшову необходимую помощь и содействие в выполнении возложенного на него поручения».

Не дописал я это письмо, и не хочется дальше писать... Зачем писать? Разве это кому-нибудь нужно?

И все-таки я пишу... Пишу потому, что нет больше сил терпеть этот ужас, пишу потому, что кончилась очередная суббота, и в четыре часа ночи я просто не могу придумать себе работу в Наркомате и поневоле иду домой, зная, что заснуть я все равно не могу... Я держусь изо всех сил. 13—14 часов на работе, притом честных часов, за вычетом времени на дорогу, на обед... Ну, а дальше что? Куда мне деться, когда остаюсь один, куда мне деться от самого себя? Силы мои что-то начали сдавать... Вначале думал, что удастся заполнить время наукой, и даже архивы свои привел в порядок. Но не лезет ничего в голову, как только останусь один, вне работы... Женя, моя бедная Женя! Ну, что я ною? Что стоит мое горе? Только ничтожная песчинка перед тем, что свалилось на твою бедную головку, моя любимая...

Как и сейчас, было воскресенье... Последнее счастливое воскресенье... Какой хорошенькой, веселой и жизнерадостной ты вернулась со мной из города ласковым июльским вечером, когда ни одним листочком, словно боясь спугнуть тишину, не смели пошевелить березки, тесно обступившие дачу. И стремительно выбежав на балкон, ты вдруг притихла, прижавшись ко мне, и только озорным весельем искрились твои глаза в надвигавшихся сумерках. И долго еще над верхушками заснувшего леса догорали последние лучи заката, словно не хотел уходить этот день, словно боялся он уступить место страшной ночи, уже вползавшей в дом, в нашу жизнь, в мое счастье. Но не поняли мы, почему так медлил закат, почему так не хотелось ему прощаться с нами, и, провожая глазами его

гасувшие лучи, в задушевной тишине я слушал твои неторопливые слова о большом человеческом счастье жить и работать, любить и быть любимым и радоваться ясному летнему дню, звонкому смеху над тихой рекой, нежному лепету Маринки, безмятежно заснувшей внизу, в своей коляске, уже ставшейся для нее короткой. И с ласковой улыбкой ты уже шептала мне: «Ширш! Мы скоро заведем себе еще одну Маринку. Только пусть это будет мальчик!» И целуя твои встрепенувшиеся вверх ресницы, я возражал: «Нет! пусть это будет вторая Маринка. Маринки у нас хорошо получаются!»

А потом ты говорила, как чудесно будет нам вдвоем на юге, в отпуске, когда не нужно будет провожать с грустью каждое воскресенье, прощаясь с ним на целую неделю. И от избытка радости у тебя не хватало дыхания, когда ты снова и снова говорила: «Ширш! Ты только подумай! Целый месяц вдвоем, на юге, на море... И тебе никуда не надо спешить, ни о чем беспокоиться, ни о чем не думать... Нет! Не могу даже представить себе, что это правда, что скоро мы поедем с тобой! Давай поедем поездом, не самолетом, самолетом слишком скоро, а я очень люблю ехать вместе с тобой, куда-нибудь далеко». А потом я говорил тебе, с какой энергией буду работать после отпуска, говорил о своей мечте построить эту пятилетку на морском флоте, строить не жалея сил и создать умное и образцовое хозяйство, чтобы не краснеть больше торговому флоту за свою многолетнюю отсталость. И, слушая меня, о вещах, казалось бы, далеких тебе, ты верила в романтику механизированных причалов, стройных очертаний корпусов новых заводов, огромных доков, верила в романтику широких морских просторов, покоренных творческим трудом человека.

Уже совсем стемнело, когда мы поднялись с балкона, и, уходя, ты доверчиво прижалась ко мне и, подняв глаза, от темноты ставшие особенно большими и глубокими, ты сказала: «Ширш, если бы ты знал, как хорошо мне с тобой!» Так ушел этот последний день...

С утра снова обыденная горячка рабочего дня. Звонки телефонов, люди, бумаги, опять звонки, опять люди, опять шифровки, телеграммы.

Половина пятого... До перерыва еще далеко, еще много нужно успеть сделать. Но безотчетной тоской и тревогой заполнился просторный кабинет. Не понимая, в чем дело, выругал распустившиеся нервы, пытался взять себя в руки.

И не сумел. Бросил работу, чего никогда не бывало, и поехал домой. Позвонил на дачу, но телефон упорно был занят. Полчаса спустя заставил себя вернуться на работу.

А в семь вечера меня вызвали, и я узнал: Женя арестована и уже находится в городе...

Веселую, смеющуюся, ее ждали на берегу реки. И такой же оживленной и веселой она села в машину, в одном легоньком летнем платье. Среди чужих и враждебных людей... Такой ее запомнил Ролик (сын П. П. Ширшова. — **Ред.**), в недоумении оставшийся один на берегу реки...

Словно осатанев, свистит ветер за окном. Когда-то, на льдине, в палатке, затерявшейся в пурге и полярной ночи, прислушиваясь к завываниям ветра, я мечтал о большой научной работе и большой любви, которую я рано или поздно найду; я всегда верил в это и всегда ждал ее... Вот и домечтался, седой дурак, в сорок с лишним лет сохранивший наивность пятнадцатилетнего мальчишки!..

Слушай же теперь, как свистит ветер в тюремных решетках, как беснуется он, налетев на забор из колючей проволоки, опутавшей безвестный лагерь, где-то в бескрайних просторах Сибири. Слушай же, как воет он над крышей тесного барака, куда заперли твою Женю, верившую в справедливость и в тебя. Слушай же теперь, какими проклятиями на твою голову стонет ветер Жене, за то, что не сумел ты уберечь ее от этого ужаса... Беги же прочь из дома, туда, где беснуется снежный буран, по кривым московским улицам... Беги от самого себя, беги, пока есть еще силы держать себя в руках... Беги, потому что ты не имеешь права убить себя, пока еще есть надежда хоть чем-то помочь Жене, пока есть вера, что она жива и будет на свободе...

Мне хочется ответить на этих страницах на один вопрос, который с такой страшной беспощадностью задала мне жизнь: неужели нельзя работать изо всех сил, отдавая работе всю свою энергию, все способности, и наряду с этим любить женщину, любить большой настоящей любовью, лелея эту любовь, как большую драгоценность, данную тебе судьбой, любить всей душой, без оглядки, нравится ли это другим или нет?

16 декабря... Маринке два года, и в день рождения дочери разрешили отправить матери в тюрьму продуктовую посылку... Лучший подарок к семейному торжеству! От этого совпадения места себе не нахожу... Все мои планы продержаться,

заполнить время, помимо работы, наукой, все пошло насмарку, и, боюсь, что это письмо останется недописанным: меня уже не хватает даже для работы... Только бы продержаться, не сойти с ума... А я, кажется, на пути к этому... Не могу я писать о главном, но когда на страницах «Огонька» веселые, улыбающиеся коллеги Жени распинаются о блестящих победах советского кино на кинофестивалях и меньше всего думают о том, что в судьбе Жени они сыграли известную роль, когда я слышу, что в доме модной московской портнихи Елены Алексеевны почтенные жены министров и их заместителей обсуждают «преступления» Гаркуши и аккуратно расплачиваются за туалеты продуктами из «государственного лимита», когда сталкиваешься с десятками подобных «мелочей», я не знаю, надолго ли хватит моих нервов...

Не знаю, Ролик, не знаю, Маринка, допишу ли эти страницы, одно только хочу сказать: что бы вам ни говорили о Жене, как бы ни расписывали ее грехи, все это чепуха по сравнению с тем ужасом, который свалился на нее, и, как бы ни кончилось все это, тебе, Марина, стыдиться своей матери нечего... И нечего вам стыдиться своего отца, чем бы все ни кончилось. Святым я никогда не был, тем более до встречи с Женей. Но я всегда много работал, и краснеть за работу во время войны мне нечего. Сейчас я не верю в себя, в то, что я гожусь для работы в министерстве, и работаю только потому, что иного выхода у меня нет, и буду работать изо всех сил до тех пор, пока не подохну, потому что не могу быть трусом. Но брался я за эту работу, потому что встреча с Женей, любовь к ней дали мне веру в себя, в свои силы, и с этой верой я работал всю войну, собирался строить четвертую пятилетку...

Не дай бог, если эти странички попадутся по неосторожности в чужие руки! Сколько умных слов будет сказано по моему адресу! Каким дураком и мальчишкой меня постараются сделать: не понимает, мол, человек простых вещей и носится со своими переживаниями. Спорить я не буду. Одно только скажу: всю жизнь к делу я относился честнее, чем многие вполне нормальные люди, у которых и любовь, и чувство ответственности за близкого человека, и все прочее разложено по полочкам в строгом порядке и в размерах, положенных по штату, не больше и не меньше... Постарайтесь хоть вы быть умнее своего отца...

Я пишу эти страницы только для того, чтобы уйти хотя бы

на несколько часов от кошмара, от которого уже не спасает ничто. Пишу потому, что самому себе я могу сказать, не боясь встретить иронически-сочувствующего взгляда: свое настоящее счастье нашел я осенью 41-го года, большая настоящая любовь вошла в мою жизнь в ту суровую зиму. И чем бы все это ни кончилось, до самой смерти буду, как святыню, хранить в душе каждый день, каждый час, проведенный вместе с нею, полный ею... Мы часто ссорились с Женей. Нередко ссоры были очень бурные, но всегда кончались так же быстро и неожиданно, как и начинались. Первое время я не понимал, в чем дело: было ясно, что оба любим друг друга, дорожим любовью, и все-таки ссорились из-за таких пустяков, что на другой день не могли даже толком вспомнить, из-за чего сыр-бор загорелся. Недоумевала и Женя: «Ширш! Почему мы с вами так легко цепляемся друг к другу? Видимо, вы мало любите меня...»

В том-то и дело, ссорились мы потому часто, что любили по-настоящему.

Долгое время, хотя уже не могли быть один без другого, мы не решались сказать окончательное «да». Твердо рассчитывая уйти в армию, я боялся за Женю, зная, что она пойдет вместе со мною.

И только в конце декабря мы решили, что будем мужем и женой, решили сказать об этом окружающим.

Еще одна неделя осталась позади... И в два часа ночи, в субботу, уже нечего делать... Завтра снова привычная колея работы со всеми ее треволнениями. Но это завтра... А куда деться сегодня, куда деться от этого ужаса, с которым остаешься один, каждую ночь?

Свистит над высоким обрывом западный ветер, быстро несутся рваные клочья черных облаков, и заунывно шелестят внизу, под ногами, голые сучья деревьев. За замерзшей рекой широко раскинулись огни огромного города. Ровной цепочкой ярких фонарей вытянулся мост через реку. Блестят огни на улицах, площадях, и высоко над ними, то там, то здесь темнеют громады новых домов, приветливо светясь окнами москвичей, засидевшихся в субботний вечер. И вдали, в городской дымке, мерцают алыми рубинами Кремлевские звезды...

Сотни тысяч людей в этом Великом Городе, честных, хороших и очень плохих... Для всех есть в нем место... Не нашлось в нем только места для моей Жени, для моего счастья...

И снова глухие переулки Замоскворечья вьются под ногами...

Маринка моя! Маленькая щебетунья моя! Я знаю, что нет у меня другого выхода, что должен я жить ради тебя, ради твоей мамы, ради своей чести... Я держусь изо всех сил, я буду держаться, чего бы мне это ни стоило. Но пусть никогда в жизни тебе не придется узнать, какой муки может стоить удержаться от самого простого, самого желанного выхода, такого быстрого и ясного... Пусть никогда не узнаешь ты, как трудно оторвать руку от пистолета, ставшего горячим в кармане твоей шинели...

Помоги же мне, моя маленькая, удержаться на ногах.

С. Микоян,
доктор исторических наук

Слуга

Он властвовал над судьбами многих, страхом внушая покорность. Но не уважение. Спустя годы суд народной памяти вынес Берии свой приговор

Вряд ли бы стоило возвращаться к этой фигуре, если бы нами двигало нетерпеливое желание еще раз разоблачить давным-давно разоблаченное зло. Цель иная: попытаться исследовать механизм, складывавшийся исподволь, и роль, которую в нем исполняли личности типа Берии. Здесь не все очевидно. Палач! Инструмент произвола и устрашения! Это правда. Но другие без усилия менялись, как несвежие перчатки. А этот протянул целых 15 лет... Как творились мифы: о «неведении», о «невесть откуда» взявшихся злодеях (Ежов), о мнимом восстановлении справедливости и торжестве законности (1938 год), о «созидательной» деятельности и «организаторском таланте» преступников (Берия в годы войны)! Из чего складывался механизм взаимопревращения черного в белое и белого в черное: невинных людей в «извергов», палачей в благодетелей (Берия в 38-м и 53-м), будущих жертв в пособников и даже соучастников преступлений! Как воплощалась на практике идея «расширенного соучастия», когда стремились не только убрать противников, но и вовлечь, заклеймить и замарать сотни и тысячи посторонних, дабы виновными сегодня (и завтра!) чувствовали себя все!

Несмываемые казенные клейма история смывает. И приходит время, когда клейма

должны быть возвращены по назначению. Ими следует клеймить тех, чей лживый ум эти клейма придумал. Тогда все будет поставлено на свои места. Не просто преступник. А вредитель. Не просто злодей. А враг народа. После очерка «Победитель» читатели требовательно настаивают на рассказе о Берии. Среди подлинных врагов народа в первом ряду — он, Берия. Это его действительная роль...

Об этих подлинных вредителях и врагах народа, равно как и о их жертвах и противниках, нам предстоит восстановить всю правду. Важны документы. Но не менее важны свидетельства очевидцев, участников событий, уже ушедших и живых. Окрашенные личным отношением, не являясь истиной в последней ее инстанции, они несут в себе тем не менее информацию, которую трудно переоценить... Одно из таких свидетельств мы публикуем сегодня.

А. АФАНАСЬЕВ,
обозреватель «Комсомольской правды».

«Самый ценный наш капитал — кадры! Учти, Лаврентий...» — такой печальный анекдот появился во второй половине 1950-х годов, когда на XX съезде партии была сказана суровая правда о беззакониях «периода культа личности» — как в ту пору именовали годы авторитарного правления. Первая фраза произносилась с пафосом, как бы с трибуны в зал, а вторая — вполголоса, кому-то, кто находился недалеко.

Действительно, он, Лаврентий, лысоватый, невысокий человек в пенсне, был всегда поблизости. Всегда, с тех пор, как в начале 1930-х годов сумел продемонстрировать личную преданность и готовность выполнять любые поручения, какого бы они ни были деликатного свойства. (Все, что я рассказываю здесь, мне известно от отца и других участников и очевидцев событий).

Лаврентий Павлович Берия возглавлял ГПУ Грузии (Грузия вместе с Азербайджаном и Арменией входила тогда в Закавказскую Федерацию). Сталин приехал в 1931 г. на отдых в Цхалтубо. Туда и направился Берия, формально — обеспечить

безопасность, а на деле — втереться в доверие и таким путем сделать карьеру. Берия пробыл в Цхалтубо до самого отъезда Сталина. Они поняли друг друга хорошо, хотя раньше никогда не виделись. Настолько хорошо, что прямо из Цхалтубо в Москву было передано распоряжение подготовить заслушивание в ЦК — вне всякого плана — докладов партийного и советского руководства Заккрайкома и всех трех республик. Никто не мог понять — почему? В связи с чем? Даже, скажем, секретарь ЦК Каганович, судя по всему, не владел иной информацией, кроме лаконичного текста телеграммы из Цхалтубо. Само заседание началось без всякой подготовки. Вел его Каганович. Приехавшие в Москву — Картвелишвили (первый секретарь Заккрайкома), Яковлев (второй секретарь), Орахелашвили (председатель Совнаркома Федерации), а также другие руководители: Буниат-Заде, Девдариани, Ханджян, Полонский, Тер-Габриэлян, Мусабеков, Догадов — были в недоумении.

Как вспоминает участник заседания, член партии с 1917 г. А. В. Снегов, тогда — зав. орг. отделом Заккрайкома, все обратили внимание на отсутствие Серго Орджоникидзе. «Улучив удобную минуту, — пишет в своих воспоминаниях А. В. Снегов, — я спросил сидевшего рядом Микояна: «Почему нет Серго?» Тот ответил мне на ухо: «Да с какой стати Серго будет участвовать в коронации Берии? Он его хорошо знает». Так вот в чем дело! Я, таким образом, первым из приехавших узнал, что нам предстоит».

Само заседание было рядовым, обсуждались разные вопросы. Главное Сталин высказал в конце своего выступления, — практически уже закончив его. Набивая табаком трубку, ставшую потом знаменитой, он вдруг сказал: «А что если мы так сформируем новое руководство крайкома: первый секретарь Картвелишвили, второй секретарь — Берия?» Любопытно, что в эту пору, оказывается, еще могло иметь место несогласие. Пока не перевелись оппоненты, способные открыто возражать и отстаивать иные точки зрения.

Картвелишвили среагировал сразу и по-кавказски эмоционально: «Я с этим шарлатаном работать не буду!» Орахелашвили спросил: «Коба, что ты сказал, может, я ослышался?» «Мы не можем привезти такой сюрприз парторганизациям», — бросил Тер-Габриэлян. Никто не поддержал предложения. Тогда «демократическое обсуждение» было мгновенно скомкано. Сталин гневно сказал: «Ну что ж, значит, будем решать вопрос в рабочем порядке».

В течение нескольких месяцев руководство края было перетасовано. Картвелишвили был направлен к Эйхе в Западно-Сибирский крайком, Яковлева сделали руководителем «Востокзолота», Догадова послали на Урал. Первым секретарем Заккрайкома стал Мамия Орахелашвили, а вторым, естественно, Берия. Но ненадолго: вскоре Орахелашвили вызвали в Москву и назначили заместителем директора Института Маркса — Энгельса — Ленина. И первым секретарем остался Берия. После реорганизации Закавказской Федерации он стал первым секретарем ЦК КП Грузии. Далее еще более крутой и недвусмысленный поворот. «Через 2 месяца после этого в 32 районах Грузии появились новые первые секретари райкомов, — рассказывает Снегов. — Они до этого занимали посты начальников районных отделов НКВД. Мне кажется, это очень характерно. Не менее характерно, чем тот факт, что никто из тех, кто был вызван в Москву, не умер естественной смертью. Я один выжил после 18 лет в лагерях...»

Вскоре Берия становится и «историком». Выходит книга «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья». Текст составлен грузинскими историками в качестве доклада, зачитанного Берией на активе. Разумеется, авторы вскоре были расстреляны, а книга благополучно вышла в свет за подписью Л. П. Берии. Роль Сталина — он, конечно, изо всех сил постарался «высветить».

Светлана Аллилуева в своей первой книге, вышедшей за границей, пыталась создать «розовую легенду», согласно которой Берия, этот «злой гений», обманывал, сбивал с толку Сталина, используя его доверчивость. Такая легенда, между прочим, еще до Берии имела хождение в связи со зловещей фигурой Ежова. По этому поводу тот же Снегов, вплоть до своего ареста занимавший видные посты в партии, писал: «Надо не знать тогдашней обстановки в ЦК, степени концентрации власти в руках Сталина, когда члены Политбюро не имели права защищать своих заместителей, боевых друзей, в верности которых они были убеждены, своих жен и даже детей; надо не знать Сталина, чтобы, не кривя совестью, всерьез валить на Ежова ответственность за уничтожение многих членов ЦК, делегатов XVII съезда партии, секретарей ЦК, членов Политбюро».

И все же на эту тему не прочь порассуждать даже и сегодня кое-кто из плохо информированных людей, у которых

недостает либо желания, либо сил принять историческую правду такой, какой она была.

А правда предельно проста: до Берии его роль уже играли поочередно Ягода, Ежов, но управлял этими марионетками неизменно один человек. После Берии и параллельно с ним были Меркулов, Абакумов и многие другие подручные меньшего калибра.

Без понимания этого не разобраться во многих парадоксах. Почему, скажем, в 1938 году Берия, заменив Ежова на посту наркома внутренних дел, поставил на Политбюро ошеломляющий вопрос, звучавший примерно так: может, пора уж поменьше сажать, а то скоро вообще некого будет сажать? Люди старшего поколения помнят некоторое затухание волны арестов. Кое-кого даже начали выпускать. Это дало Берии определенную поддержку тех, кто, оставаясь формально в составе руководства, не мог и пальцем пошевелить, чтобы остановить запущенную машину репрессий.

Как же Берия осмелился высказаться подобным образом? Причина очевидная: требовалось для разрядки слегка выпустить пар из котла, сказать что-то о «перегибах», взвалить вину на кого-то (в данном случае — на Ежова). А потом? А потом спокойно продолжать делать «нужное» дело.

Берия не гнушался личным участием в допросах. У себя в кабинете в Тбилиси, по свидетельству современников, он собственноручно застрелил первого секретаря ЦК КП Армении Ханджяна. Он безжалостно расправлялся не только с теми, кто долго работал со Сталиным и знал ему цену, но и с теми, кто хотя бы более или менее знал его, Берию, до невиданного возвышения. Поэтому Компартия Грузии пострадала, наверное, больше, чем компартии соседних республик.

Выделялся Берия хитростью, ловкостью, умением внушать «хозяину», что он не вышел и не выйдет в тираж, а еще долгие годы останется полезен. И он оставался полезным...

К числу качеств Берии относилось и наличие определенных организаторских способностей. Во время войны это помогло ему показать себя не только в НКВД, но и в делах, касавшихся обороны. Правда, ему помогало и то, что он свободно распоряжался огромной рабочей силой, сосредоточенной в лагерях. Да и одна лишь ссылка типа «Берия приказал...» действовала абсолютно безотказно.

Но одновременно он старался не ослабить и свое наблюдение за работой нового наркома внутренних дел Меркулова. Это ему разрешалось. Если, правда, не противоречило ос-

новому правилу режима «культа личности»: репрессивный аппарат должен напрямую подчиняться первому человеку и контролироваться в конечном итоге только им. Судьба людей, известных Сталину, вообще могла решаться только им самим и никем больше. Никакой Берия ничего не мог тут поделать. Берия, например, ненавидел академика П. Л. Капицу. Сославшись на то, что Капица не занимается проблемой расщепления атома, а сосредоточился на новейшем, простом и дешевом производстве кислорода (что, кстати, было чрезвычайно важно для всей промышленности!), Берия сумел добиться снятия его с должности директора Института физических проблем АН СССР, а затем и начальника Главкислорода. Капица был вынужден сам создать небольшую лабораторию на своей даче и жить там безвыездно. Но разрешения на арест его Берия от Сталина так и не получил, а следовательно, не мог тронуть его и пальцем.

Люди, знающие слишком много, обычно бывают неудобными. Талант Берии заключался еще и вот в чем. Он предельно долго не допускал, чтобы у Сталина возникла подобная мысль в отношении к нему, к Берии. И все же наступал и его час... Министру госбезопасности Абакумову в начале 1950-х годов было поручено произвести аресты ближайших сподвижников Берии, например, министра госбезопасности Белоруссии Цанавы и некоторых других. Создавалось так называемое «мингрельское дело» (многих подручных Берия подбирал из своих земляков). Когда Сталину докладывали о продвижении дела, он комментировал: ищите большого мингрела. Он, вероятно, посчитал, что и Абакумов «много знает», а может быть, к тому же слишком связан с Берией, — в результате министра заменил...

Но тут как раз в 1952 году внимание его отвлекло более срочное и эффектное «дело врачей-отравителей». Новый министр, бывший партийный работник Игнатьев оказался человеком наивным. Он не находил улик против группы арестованных врачей самой высокой квалификации, вообще никаких данных об их вредительской деятельности, кроме письма некоей Тимашук, работавшей в Лечебно-санитарном управлении Кремля. Да и никто из врачей не признается! — докладывал он Сталину в присутствии нескольких членов Политбюро (регулярных заседаний Политбюро обычно не проводилось. Те, что приглашались к Сталину на дачу, на ужин, тем самым участвовали и в заседаниях). И услышал ответ: если вы не найдете улик, а они не признаются, вы будете там же,

где они... Последовали «признания», улики фабриковались следователями, менее наивными и более опытными в таких делах, чем их новый министр.

Первые числа марта 1953 года. Ночь. Сталин, имевший повышенное кровяное давление, идет в баню. Его оставляют одного в комнате, где на диване приготовлена постель. Вставал он не раньше 12, а то и часа дня, никто не мог зайти к нему без вызова. Два часа, три, четыре, пять. Встревоженные работники охраны не знают, как им быть. Наконец зовут кухарку, простую русскую женщину, пожилую, давно уже работающую у «хозяина» (может быть, одного из немногих людей, которым он пока еще доверяет). Она стучит в дверь. Нет ответа. Стучат все громче. Наконец решаются взломать дверь. На полу, недалеко от дивана лежит «хозяин». Сильнейший инсульт, полный паралич, в том числе речи. Лишь смотрит сердито на окружающих, на прибывших врачей (уже новых!). На членов Политбюро, что оповещены Маленковым и съезжаются на дачу. Проходит три-четыре дня.

Кончается эпоха...

Но Берия этого еще не понимает. Он откровенно не огорчен. По его расчетам, все складывается как нельзя лучше. Официальный «наследник» Маленков — ведь это он делал только что отчетный доклад на XIX съезде в конце 1952 года — слабый человек, находящийся под его влиянием. Теперь он, Берия, не только не должен бояться Сталина, теперь он сам станет фактически у руля всей страны.

Эйфория Берии, человека наглого, не считающего нужным скрывать свои чувства, становится заметной для сына Сталина, Василия. С его легкой руки рождается легенда, что отца его «залечили», а возможно, даже отравили (легенду эту начинает потом «обосновывать» известный за рубежом «советолог» Авторханов, вторя Василию, который страстно хотел, чтобы к отцу его вернулась хотя бы речь — тогда бы отец сумел приказать расстрелять всех в Политбюро, кто осмелился его пережить).

Берия между тем «набирает очки». Вспомнив, вероятно, 1938 год, он пересматривает «дело врачей». Сразу же после смерти «хозяина» врачей реабилитируют, освобождают, а нескольких следователей во главе с Рюминым приговаривают к расстрелу. Следователей не просто делают «козлами отпущения». Вполне заслуженной карой, их постигшей, надо показать всем, что времена меняются к лучшему — причем благодаря Берии.

Времена действительно меняются, но этому человеку, вскормленному интригами и преступлениями, не дано разобраться: в каком направлении. По его понятию, партия давно уже морально раздавлена репрессивным аппаратом, она никогда не сможет восстановить свою роль в обществе. Он не в силах уяснить, что его подсчеты, кто чего стоит, сами по себе мало что стоят, ибо основаны на знании лишь механики «дворцовых переворотов», а не законов развития социалистического общества. Это общество отторгнет его самого, его аппарат, жуткую машину, создававшуюся два десятка лет.

И вот летом 1953 года в ходе одного из заседаний Политбюро (переименованного перед смертью Сталиным в Президиум) в Кремль вызывается группа маршалов и генералов Советской Армии. Им поручается арестовать Берию и препроводить его в штаб Московского гарнизона.

Суд над Берией был скорым. Может быть, слишком скорым. Пожалуй, следовало бы заставить его рассказать многое, что облегчило бы работу сегодняшних историков... Пожалуй, следовало бы хорошенько разобраться прежде, чем записывать его в чьи-либо «агенты» — как это сделали под горячую руку (даже если его работа агентом мусаватистской разведки в 1919 году в Баку и не была действительно выполнением партийного задания, как Берия пытался утверждать).

Но дело, конечно, не только и не столько в этом. Дело в том, что кончилась целая эпоха...

История высоко оценивает значение XX съезда партии. Руководители КПСС во главе с Н. С. Хрущевым положили конец тем безобразным явлениям, которые на время исказили облик нашего общества, привели к неоправданным жертвам.

Сейчас речь идет о создании подлинной, объективной истории партии и советского общества. На последнем Пленуме ЦК партии подчеркивалось: вопрос в том, чтобы написать правдивую и полную историю, которая была бы историей жизни и борьбы народа. Со всеми победами и неудачами, светлым и трагическим, революционным энтузиазмом масс и нарушениями социалистической законности, а подчас и преступлениями...

Порой задают вопрос: зачем трогать призраки, зачем будоражить прошлое? Ответ однозначен: прошлое надо знать. В том числе и для того, чтобы будущее стало окончательно свободным от прошлого.

Н. Попов,
доктор исторических наук,
профессор, руководитель кафедры
истории КПСС Свердловской
высшей партийной школы

Николай Крестинский: был и остаюсь коммунистом

Второго марта 1938 года начался процесс так называемого «антисоветского право-троцкистского блока». Но еще за несколько дней до этого, даже не дожидаясь суда, газеты начали кампанию по разоблачению «троцкистско-бухаринских бандитов», призывая к беспощадной расправе с подсудимыми. В то время это означало одно: судьба людей, зачисленных в преступники, предрешена...

Из дневника утреннего заседания суда:

«После оглашения обвинительного заключения председательствующий тов. Ульрих опрашивает каждого в отдельности подсудимого, признает ли он себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Все подсудимые, за исключением подсудимого Крестинского, полностью признают себя виновными...».

Кто же он, этот человек, имевший мужество, вопреки страшной силе, заставлявшей даже самых стойких большевиков признать свою несуществующую вину, стать единственным исключением — сказать грозному обвинению тихое, но твердое — «нет»?

Из анкеты:

Фамилия, имя и отчество — Крестинский Николай Николаевич.

Родился 13(25) октября 1883 г. в Могилеве.

Интеллигент, служащий.

Образование высшее.

До революции — присяжный поверенный, теперь — работник НКИД.

Вступил в партию в 1903 г. в Вильно, перерывов не было.

Как большевик определился в начале 1905 г.

В других партиях не был.

Арестовывали за революционную деятельность в Вильно в 1904 г., 1905 г. (2 раза), 1906 г. (2 раза), в Витебске — в 1905 г., в Петербурге — в 1905 г., 1907 и в 1914... Административно высылали в 1905 г. из Петербурга, в 1906 г. из Витебска, в 1914 г. по Питеру на Урал.

В эмиграции не был.

Во время гражданской войны был секретарем ЦК и наркомом финансов в Москве.

Последнюю партпроверку прошел без замечаний.

После Октябрьской революции партийному и советскому суду не подвергался.

Работаю замнаркоминдел.

«В чем нуждаетесь? Чем можно улучшить не только Ваше здоровье, но и Вашу способность к борьбе за наши идеалы?» Прочерк.

Место службы — НКИД — Кремль.

Дом. Адрес — Кремль.

Дата заполнения анкеты — 11.07.31 г.

Внимание не только историков, но и всех советских людей привлекло опубликованное в газетах в феврале 1988 г. сообщение «В Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала 50-х годов».

Миллионы советских людей восприняли это сообщение как еще один реальный факт перестройки, как возвращение к правде, попиравшейся в темные, бесчеловечные годы сталинского культа, замалчивавшейся во времена застоя. Зоны умолчания, искусственно созданные вокруг целого ряда событий и имен, привели к тому, что наши современники мало знают или не знают совсем многих видных революционеров, чьи дела достойны светлой памяти, а идеи сегодня не утратили актуальности. Одним из них является и Николай Николаевич Крестинский...

О том, насколько близко смыкалось в жизни Крестинского — как, впрочем, и всякого профессионального революционера — личное с революционной борьбой, по-своему говорит интересный эпизод, рассказанный дочерью Николая Николаевича. В 1905 году, когда Крестинский был арестован в очередной раз и находился в виленской тюрьме, товарищи по партии посылали к нему связную под видом «невесты». Задача этой молодой симпатичной девушки заключалась в том, чтобы передавать арестованному информацию о деятельности органи-

зации, узнавать мнение Крестинского по тому или иному вопросу. А после освобождения Николая Николаевича связная действительно стала его невестой, и вскоре они поженились...

Особая «глава» в жизни Н. Н. Крестинского связана с газетой «Правда», в которой он проработал с момента ее возникновения в апреле 1912 года до закрытия перед войной в июле 1914 года. Работая в «Правде», Николай Николаевич одновременно являлся юрисконсультом большевистской фракции IV Государственной думы. В начале мировой империалистической войны Крестинский вновь — в который уже раз — подвергается аресту, а еще через несколько месяцев его отправляют в административную ссылку на Урал...

Из документов царской охранки:

«Сообщение Екатеринбургскому полицмейстеру А. С. Нецветаеву.

Секретно.

Милостивый государь, Александр Семенович! В городе Екатеринбурге состоят под гласным надзором полиции несколько лиц: Крестинский, Авсеев, Поляков, Гвоздев, Болтаева, коим воспрещено пребывание в некоторых местностях за принадлежностью к революционным организациям, партиям социал-демократов или социал-революционеров.

Лица эти, пользуясь предоставленным им правом, обычно избирают для жительства или большие города, или рабочие районы... в новом местожительстве проявляют попытки войти в сношения с рабочими или завязать связи с членами революционных организаций с целью оживить деятельность последних. Поэтому за подобными личностями необходимо иметь особо пристальное и умело организованное наблюдение.

М. Лозина-Лозинский.
9 ноября 1915 года».

Несмотря на «особо пристальное и умело организованное наблюдение» охранки, Крестинский с первых дней своей жизни на Урале развертывает активную революционную деятельность.

Из донесения агента начальнику Пермского жандармского управления:

«...На состоявшемся собрании социал-демократов Крестинский говорил, что Екатеринбургская организация социал-демократов не имеет достаточных денежных средств и что последней предлагается срочно заняться сбором денег на нужды организации. Когда средств будет достаточно, Крестинский примет все меры к тому, чтобы «Уральский Комитет» был в городе Екатеринбурге и имел собственную типографию, а пока предложил обзавестись гектографом, на котором и отпечатать имеющуюся у него прокламацию...»

На Урале Н. Н. Крестинский встретил февральскую революцию 1917 года. Сразу после нее перед большевистскими организациями встал целый ряд вопросов: об отношении к войне, Временному правительству, о тактике партии... В середине апреля Н. Н. Крестинский вместе с Я. М. Свердловым подготовил и провел в Екатеринбурге Первую (Свободную) Уральскую социал-демократическую конференцию. В страстной речи на ней Николай Николаевич дал достойную отповедь «оборонцам», заявив: «Мы выступим против буржуазного правительства и вырвем власть из его рук, чтобы передать ее в руки пролетариата и крестьянства». Конференция избрала Крестинского председателем областного комитета РСДРП(б). На VI съезде РСДРП(б) Крестинский заочно избирается членом ЦК партии.

Из воспоминаний ветерана партии К. Наумова:

«На Коковинской площади (там сейчас находится Центральный рынок) состоялся солдатский митинг. А к концу дня представители фабрик, заводов, воинских частей непрерывным потоком потянулись к оперному театру, традиционному месту для больших сборов.

Собрание открыл Н. Н. Крестинский. Он торжественно объявил о провозглашении Советской власти и об избрании Вторым съездом Советов нового правительства — Совета Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным».

После установления Советской власти на Урале Крестинский переводится на работу в Петроград, занимает должности члена коллегии Наркомата финансов, заместителя главного комиссара Народного банка. При его непосредственном участии идет национализация банков, создаются основы финансовой и юридической систем Советского государства.

В августе 1918 года Н. Н. Крестинский назначается наркомом финансов. Занимая эту должность, Николай Николаевич одновременно с ноября 1919 года становится ответственным секретарем Центрального Комитета партии. Именно Крестинский выступал с орготчетами ЦК на IX и X съездах РКП(б).

На X съезде произошел любопытный эпизод, на мой взгляд, ярко характеризующий личность Крестинского. Один из ораторов в своем выступлении назвал Николая Николаевича генеральным секретарем ЦК партии. Крестинский обратил на это внимание и в заключительном слове по орготчету заявил, что должности генерального секретаря не существует, все три секретаря ЦК (в то время — Крестинский, Преображенский и Серебряков) — равноправны. Как человек кристально честный и чистый, демократ до мозга костей, Николай Николаевич ни в коем случае не мог допустить «возвеличивания» собственной персоны даже в такой, казалось бы, безобидной форме. Что касается должности генерального секретаря ЦК партии, то она была введена через год после X съезда, и занял ее Сталин...

Крестинский был не только замечательным организатором, но и теоретиком, разрабатывавшим, в частности, вопросы кооперативного движения. На IX съезде РКП(б) он сделал доклад о политике партии по отношению к кооперации. Резко критикуя бюрократические методы работы тогдашних руководителей Центросоюза, он выступал против жесткого подчинения кооперативного движения государственному аппарату, призвал осуществлять партийное влияние на кооперативы не с помощью приказов и инструкций, а через работающих в кооперации коммунистов.

Легко заметить, насколько перекликаются взгляды Крестинского с нашими сегодняшними представлениями о подлинной кооперации, с той перестройкой, которая идет нынче в кооперативном движении... Но тогда большинство делегатов съезда не поддержало Крестинского, и в основу проекта резолюции о кооперации поначалу были положены тезисы другого выступающего — В. Милютина, который ратовал за жесткое подчинение кооперативного движения государственному аппарату. И тем не менее по предложению Ленина съезд в конце концов принял по этому вопросу «резолюцию меньшинства», подготовленную Крестинским.

Вообще Ленин очень высоко ценил деловые, моральные качества Н. Н. Крестинского. Ильич хорошо знал семью Крестинских. Со своей маленькой дочкой Наташей Николай

Николаевич навещал Ленина в Горках в период тяжелой болезни, когда врачи резко ограничили его контакты даже с близкими людьми. Ранее жена Крестинского — врач по профессии — дежурила у постели раненого вождя.

С 1921 года Н. Н. Крестинский находился на дипломатической работе. Был советским представителем в Германии, принимал непосредственное участие в подготовке Рапалльского договора 1922 года, ставшего выдающимся успехом советской дипломатии в борьбе за установление равноправных отношений молодого Советского государства с капиталистическими странами.

С 1930 года Николай Николаевич являлся заместителем наркома иностранных дел СССР.

Рассказывает его дочь — ныне заслуженный врач РСФСР Н Н. Крестинская:

— Отец был интеллигентом «старой школы», что, наверное, в те годы было немаловажно во внешних контактах. Он знал французский, немецкий, латынь. Обладал уникальной памятью. Ленин, кстати сказать, ценил эту особенность и нередко, затрудняясь ответить на какой-то вопрос, говорил: «Спросите у Крестинского...».

Работа составляла главный смысл жизни отца. Тогда, в 30-е годы, люди его ранга трудились и ночами: раньше трех редко когда возвращался. Но вот ко мне в школу на родительские собрания, несмотря на огромную занятость, всегда ходил сам. С ним я даже чаще, чем с мамой, делилась своими секретами.

Помимо работы, только одно увлечение — книги. Покупал отец их постоянно, где только мог, за что его порой журила мама: оклад в то время у замнаркомидела был такой, что хватало лишь от зарплаты до зарплаты. Никаких сбережений семья не имела.

Были ли у Николая Николаевича Крестинского ошибки? Были. Например, он не соглашался с ленинской позицией в период заключения Брестского мира. Ошибочную позицию занял поначалу Крестинский и во время развернувшейся в партии дискуссии о профсоюзах, хотя потом, на X съезде партии, проголосовал за ленинские резолюции. Допуская ошибки по тем или иным вопросам, вступая порой в жаркие споры со своими товарищами по партии, Крестинский в то же время во всей своей деятельности всегда придерживался ленинской линии. Любому непредвзятому исследователю

должно быть ясно, что в то время, когда перед партией, страной встали принципиально новые, «первопроходческие», ни в каком виде до того не решавшиеся вопросы, — ошибки, колебания были неизбежны. Именно поэтому Ленин никогда не ставил в вину своим товарищам по партии наличие у них иных, даже неверных взглядов.

Положение в партии изменилось с приходом к власти Сталина. Человек принципиальный, демократичный, Крестинский не «вписывался» в атмосферу лживых, противоречащих природе социализма восхвалений сталинского «гения», не мог принять «новый» стиль отношений между товарищами по партии.

Не поступился своими принципами Николай Николаевич и в середине тридцатых годов, когда всевластие Сталина было абсолютным, а любые попытки пойти против его мнения стали равносильны самоубийству. О характере Крестинского говорит такой эпизод. Однажды в 1935 году он вместе с семьей пошел в театр. Был там и Бухарин, уже находившийся в опале. Вокруг него создавалась атмосфера отчуждения, многие бывшие друзья и знакомые не рисковали поддерживать с ним отношения. Отлично знал об этом, разумеется, и Крестинский. И тем не менее в фойе театра он подошел к Бухарину и долго разговаривал с ним. Жене потом сказал:

— Надо поддержать человека в трудную минуту...

Тогда Николай Николаевич еще не знал, что трудные дни уже наступали и для него самого. Весной 1937 года он был арестован и привлечен к уголовной ответственности как участник «антисоветского право-троцкистского блока». Возможно, Сталин не забыл тех случаев, когда мнение Крестинского противоречило его, «гения всех времен и народов», позиции. А такое бывало не раз. Когда дебатировался вопрос об отношении к Временному правительству, Крестинский заявил: «Разногласий в практических шагах между Сталиным и Войтинским нет». А Войтинский, между прочим, был правым меньшевиком!

Рассказывает Н. Н. Крестинская:

— За два месяца до ареста отца он подошел ко мне и сказал, что его вызывал Сталин, предложил ему должность заместителя наркома юстиции. Мотивировал тем, что прошлые «ошибки» Крестинского не позволяют ему представлять страну на международной арене. Мне показалось, что отец остался спокоен, работал, как обычно.

Пришли за ним 20 мая 1937 года. Поздно вечером. Мы жили тогда в Кремле. Матери не было дома, она работала главным врачом больницы и возвращалась очень поздно. Меня разбудил звонок в дверь. Вошли люди в форме — человек восемь, стали производить обыск. Мне хотелось спать, и я все думала: хоть бы скорее ушли, не отдавая себе отчета в том, что уйдут они не одни.

Отец ничем волнения не выдавал. Вскоре пришла с работы мать. С порога поняла, что происходит, страшно закричала... Когда все двинулись к выходу, отец надел пальто, шляпу, так же спокойно, как делал это всегда, собираясь на работу, подошел ко мне, поцеловал и произнес: «Учись, дочка. Я ни в чем не виноват...» Через несколько дней после ареста отца мою мать, участвовавшую в революционном движении с 1903 года, исключили из партии. Из кремлевской квартиры все вещи перевезли в маленькую комнату в другом районе. А в феврале 1938 года арестовали и мать. Приговор: 8 лет лагерей. В июне 1939 года пришла моя очередь. Полгода в тюрьме, 35 допросов, ссылка. Была и такая категория «ЧСИР» — член семьи изменника Родины. Мы с матерью носили это клеймо долгие годы.

Во время постыдного суда ответы Крестинского то и дело срывали разработанный загодя «сценарий». Не находя аргументов (которых попросту не было), судебная коллегия несколько раз удалялась на совещание.

...Помните: «... За исключением подсудимого Крестинского»? Скупая фраза эта — все, что попало в печать. А вот как это было.

ИЗ СУДЕБНОГО ОТЧЕТА:

«Председательствующий В. В. УЛЬРИХ:

— Подсудимый Крестинский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

КРЕСТИНСКИЙ:

— Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником «правотроцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершал также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности, я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
— Повторяю вопрос: вы признаете себя виновным?
КРЕСТИНСКИЙ:
— Я до ареста был членом ВКП(б) и сейчас остаюсь таковым».

Так было в первый день суда, 2 марта. А на следующий день, на вечернем заседании Крестинский заявил: «Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем обвинениям, предъявленным лично мне...» (цитируется по «Правде» за 4 марта 1938 года), вслед за чем последовала удовлетворенная реплика Вышинского: «У меня вопросов к подсудимому Крестинскому пока нет»...

Что же произошло за время с утреннего заседания второго марта до вечернего — следующего дня? Каким путем добились обвинители такой метаморфозы, какую поистине смертную муку пришлось принять «строптивому» подсудимому? Методы «восстанавливания» подобных упрямцев теперь уже достаточно известны. Вот показания бывшего начальника санчасти Лефортовской тюрьмы НКВД СССР Розенблюма, данные им в 1956 году:

> «Крестинского с допроса доставили к нам в санчасть в бессознательном состоянии. Он был тяжело избит, вся спина представляла из себя сплошную рану, на ней не было ни одного живого места...»

Нетрудно представить себе, как постарались палачи, выбивая из Крестинского (в буквальном смысле слова!) мучительное для него лжепризнание.

Но история запомнила другое — гордые его слова, сказанные накануне: был и остаюсь коммунистом. Именно эти слова могли бы стать своего рода эпиграфом ко всей трагически оборванной светлой жизни Николая Николаевича Крестинского.

О. Акулова

Нарком Чернов

За последние годы мы узнали о нашей истории едва ли не больше, чем за предыдущие десятилетия. Причем о тех ее страницах, которые долго оставались «белыми пятнами». Этот трудный и откровенный разговор повела партия. Путь первой страны, строящей социализм, был полон сложностей и противоречий, героизма и драматизма.

Как известно, в тридцатые — сороковые годы были допущены грубейшие нарушения принципов социализма, массовым репрессиям подверглись невинные люди. Партия дала принципиальную оценку этим фактам. Многие обвинения — в особенности после XX съезда КПСС — были сняты. Но процесс не был доведен до конца. Сейчас в соответствии с решениями XXVII съезда партии, октябрьского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС он продолжен. Работает Комиссия Политбюро Центрального Комитета партии по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40 и начала 50-х годов.

Недавно Пленум Верховного Суда СССР, рассмотрев протест Генерального прокурора СССР, отменил приговор в отношении лиц, привлеченных в 1938 году к уголовной ответственности по делу так называемого «антисоветского право-троцкистского блока». Среди тех, с кого тяжкое обвинение теперь снято, Михаил Александрович Чернов — нарком земледелия СССР.

Кто был этот человек? Какой путь прошел, многое ли успел сделать в свои 47 лет? Как трудно теперь, спустя полвека забвения, ответить на эти вопросы!

«Чернов М. А. 1891 года рождения, уроженец Костром-

ской губернии, русский, гражданин СССР, с 1916 по 1920 год член партии меньшевиков, с 1920 года — член ВКП(б), с 1925 года нарком торговли Украины, член коллегии Наркомторга СССР, с 1934 года нарком земледелия СССР».

Эта небольшая справка из материалов следствия, пожалуй, то немногое, что сохранилось о нем. Уничтожены многие документы, изъяты выступления и статьи, не осталось в живых соратников по революционной борьбе. Круг журналистского поиска, очерченный поначалу широко, сужался, казалось, с каждым днем. «Нет, сожалеем, не сохранилось». — В голосе людей, откликнувшихся на телефонные звонки, слышалось чувство вины. Да, в пору репрессий правду прятали, тщательно убирая то, что могло ее открыть. Но проходят десятилетия, меняются поколения, и правда все равно торжествует — таков закон нашей жизни.

Неожиданно в ответ на наш запрос позвонили из библиотеки ВАСХНИЛ.

— Приезжайте, — радостно сообщила заведующая библиографическим отделом Т. И. Шейнина, — мы нашли несколько работ М. А. Чернова.

С волнением листаем рыжие от времени страницы брошюры «Организация хлебозаготовок и развертывание колхозной торговли», вышедшей в 1932 году. И оживает напряженный пульс той эпохи — первые успехи колхозов, радости и трудности коллективного труда, поиск путей социалистического хозяйствования.

«Почва, на которой только и может быть развита широкая активность колхозных масс и масс единоличников в борьбе за выполнение плана хлебозаготовок и все методы массовой работы — это широкая информация колхозных бригад, групп и отдельных колхозников обо всем, что касается хлебозаготовительной кампании, о постановлении партии и правительства, о ходе выполнения заданий...»

Касаясь стимулов ударного труда, М. А. Чернов пишет: «Социалистическое соревнование и премирование уже признаны всеми. Но беда в том, что о премировании либо забывают через некоторое время после обещания или постановления, либо премируют через такой срок, когда эффект и влияние такого премирования наполовину теряют силу. Надо премировать... ТОТЧАС ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЯВИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ, тотчас после того, как выполнена та работа, которая заслуживает премирования».

Как актуально звучат эти слова и сегодня! Близки и понятны нам и другие разработки М. А. Чернова — о необходимости выдвигать в актив рядовых колхозников, «умеющих драться за выполнение плана, беречь колхозное добро», о порочной практике уравниловки в планировании заготовок, о широкой гласности в работе, для которой «должны быть использованы печать, специальные собрания, производственные совещания, отчеты по распределению доходов, полевые газеты...»

Несомненно, Михаил Александрович Чернов был незаурядной личностью. Но все же печатные труды — немногие из сохранившихся — не дают полного представления о человеке, его характере. Судьба наркома земледелия оказалась жестокой. Достаточно привести вот эти лживые, сфальсифицированные обвинения судебного процесса 1938 года, прозвучавшие в речи государственного обвинителя А. Я. Вышинского:

«... 25.000 лошадей погублено по его заданию. В таких краях, как Сибирь, было уничтожено большое количество лошадей. Они специально подвивали рожу и чуму свиньям. Делали это в Воронежской области, и в Азово-Черноморском крае, и в Ленинградской области.

Задача поставлена просто — ослабить обороноспособность Красной Армии».

Отменой приговора Пленум Верховного Суда СССР 4 февраля 1988 года перечеркнул это чудовищное обвинение. Но восстановление доброго имени М. А. Чернова еще потребует немалых усилий ученых, историков. И тут, как и в правосудии, важен каждый документ, каждый факт. Поистине бесценными могут стать свидетельства очевидцев.

...Ниточку в поиске дал член Верховного Суда СССР М. А. Маров.

— Жива сестра Чернова, — сообщил он, — живет под Можайском, в совхозе «Александрово».

Зоя Александровна Очкина оказалась милой, приветливой женщиной, с живыми, совсем не старческими глазами. Но самое удивительное — это память человека, отмерившего 86 лет жизни, но сохранившего имена и фамилии, события и даты, будто все это было вчера.

— В нашей семье было шестеро детей, — начала рассказ Зоя Александровна. — Миша был старший, я самая младшая. Родители работали на Кинешемской ткацкой фабрике, мать в прядильном цехе, отец был мелкий служащий. Он так рано

умер, что я его почти не помню. Мать умерла сразу после революции.

Думаю, что революционное сознание Миши складывалось в нашей рабочей семье. В ней сызмальства трудились, а жили впроголодь, ютились в фабричной казарме, спали вповалку. Мать подрабатывала тем, что ходила доить коров к богатым фабричным служащим, а Миша, способный к наукам, много читавший, давал за плату уроки их закормленным сынкам.

Зоя Александровна говорила так, будто повторяла много раз рассказанное. Легкость и складность ее речи порою удивляли, ведь я знала, что пока никому из сторонних душу свою она не открывала. Видимо, говорилось и повторялось все это не вслух: годами память возвращала ее к тем дням, к тому человеку, имя которого полагалось забыть, а прошлое вытравить.

Михаил Александрович поступил в духовную семинарию, но через два года бросил учебу, не чувствуя никакой общности с религией. Поселился в Иванове, где, как можно предполагать, и приобщился к революционной работе. Именно в Иванове он был арестован царской охранкой.

Михаил жил своей жизнью. Не сразу узнали в семье, что он женился. Кто-то из друзей сказал, что экстерном сдал экзамены на физико-математический факультет Московского университета.

— После революции виделись мы редко, — продолжала Зоя Александровна, — но когда не стало матери, Михаил забрал меня и сестру к себе в Иваново. Мы сразу полюбили его жену Надежду Николаевну, фельдшера земской больницы. Дом был тесный, всегда много народу, но жили дружно. Помню в гости к брату приходили Фрунзе, Фурманов, но вот только о чем говорили, не вспомню теперь.

Вместе прожили недолго. Мария вскоре вышла замуж за человека много старше себя, революционера-подпольщика, друга Чернова, Якова Александровича Осипова. А вскоре и Зоя — за фабричного счетовода, комсомольца, отчаянного парня и непоседу Николая Очкина. Николай закончил курсы бухгалтеров и вскоре вместе с женой и дочкой укатили в Сибирь, стали работать в совхозе «Голышмановский» Тюменской области, он — бухгалтером, она — библиотекарем.

Вскоре узнали, что брат переехал на Украину, работает наркомом торговли республики. Связь между ними не преры-

валась. Была переписка. Зоя Александровна ездила навестить его в Харьков. У брата подрастали дети — Миша и Маша, сам он был счастлив, работа занимала его целиком, семья была дружной, любящей. Порадовалась Зоя Александровна и новому назначению брата — наркомом земледелия СССР.

— Помню, как внимательно читали мы его выступление на втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников, — говорит Зоя Александровна.

Здесь ее рассказ можно дополнить. Сохранилась стенограмма этого съезда, состоявшегося в феврале 1935 года. Доклад наркома земледелия СССР был посвящен работе комиссии по выработке примерного Устава сельскохозяйственной артели. Проект Устава был существенно изменен и дополнен, в частности, в вопросах более четкого раздела земли между колхозами, недопустимости чересполосицы, организации и оплаты труда, премирования и взыскания в зависимости от качества труда, предоставления больших льгот и возможностей для выдвижения на руководящие посты в колхозах женщинам.

Много говорилось в докладе о сочетании пользования приусадебным участком колхозника с его честной работой в общественном производстве. «Здесь могут быть два крайних пути, — сказал М. А. Чернов — один путь — ликвидировать приусадебные участки колхозников, другой путь — дать колхозникам такие приусадебные участки, что обработка этого участка отнимет у колхозника большую часть времени и тем самым будет мешать ему честно работать в обобществленном производстве колхоза. Тот и другой путь является неправильным, вредным... Нужно найти другую линию — линию, которая содействовала бы в первую очередь росту колхоза и вместе с тем удовлетворяла бы личные интересы колхозника».

— На местах тогда гнули свою линию — ничего на подворье не оставлять, — вспоминает Зоя Александровна. — Поэтому доклад наркома на съезде колхозников-ударников приняли с радостью.

— А сами-то вы как жили?

— По-разному. Дом у нас был, хозяйство держали, но, бывало, и голодали.

— Брат — нарком земледелия, — неловко пытаюсь объяснить я, — а вы в таких тяжелых условиях, в Сибири...

— Просить брата!! — Она в недоумении вскинула брови. —

У нас не было принято искать каких-то поблажек. Я даже знакомым не говорила, что брат нарком.

Михаил заезжал к сестре, когда ездил по Сибири «с комиссией», как говорит Зоя Александровна. Они долго говорили о деревне, о том, как «загоняют» людей в колхозы, как прибывают в Сибирь «ссыльные» кулаки, работящие, впрочем, люди. Брат больше слушал, хмурился, говорил, что ошибки в коллективизации будут исправлены.

— Это была ваша последняя встреча с братом?

— Нет, была еще одна. Совхоз наградил меня путевкой в Крым, я возвращалась из Алупки в августе 1937 года и заехала в Москву, погостить у Миши. Жили они в доме правительства на набережной. Трехкомнатная квартира, казенная мебель. Ни ковров, ни хрусталя. На Наде обручальное кольцо да золотые часики — вот и все украшения. Ютились все тесно — дети, внуки, племянники, вечно проезжавшие через Москву родственники и знакомые. Но, как всегда, жили дружно и согласно. Помню «пиршества» в доме Миши — картошка с селедкой и крепкий чай.

Из протокола допроса М. А. Чернова 2 марта 1938 года.

«ВЫШИНСКИЙ: А не припомните ли вы, сколько получили от немецкой разведки?

ЧЕРНОВ: Около 30 тысяч немецких марок и 150 тысяч советскими деньгами. Значительная часть была использована на мои личные нужды».

Пленум Верховного Суда СССР на своем заседании 4 февраля 1988 года отметил: путем угроз, насилия и обмана обвиняемых принуждали давать ложные показания на себя и других лиц.

В тот приезд Михаил Александрович отвез сестру на дачу в Барвиху, где проводил редкие часы отдыха, копаясь в земле, занимаясь с ульями.

— Мне он показался тогда усталым и озабоченным, — вспоминает Зоя Александровна, — а жена сказала, что у него «много врагов».

Это было время, когда Сталин выдвинул «теорию» обострения классовой борьбы в процессе строительства социализма. В стране создавалась атмосфера нетерпимости, вражды, подозрительности. Время ломало людей, даже очень сильных, очень волевых.

В 1937 году вышла брошюра М. А. Чернова «О введении

правильных севооборотов» — пожалуй, последняя из его работ.

«Наркомзем Союза ССР и его местные органы, — пишет М. А. Чернов явно под влиянием того времени, — не организовали соответствующего контроля за выполнением директив партии и правительства, проявили недопустимую для большевиков беспечность, которой воспользовались враги».

А речь шла всего лишь о том, что треть колхозов пока не освоила севообороты! Кто знает, что испытывал в те годы Чернов, какие переносил муки, усматривая под прессом того времени личную вину в происходивших негативных сдвигах?

...Мы выпили чаю, я засобиралась домой, видя, что Зоя Александровна устала.

— Подождите, мы не дошли до главного, — резко остановила она. — В 1938 году состоялся процесс. Я ему не верила. Миша не мог быть шпионом и изменником Родины, это клевета.

Когда арестовывали Михаила Александровича Чернова, в доме была его сестра Мария. Она рассказывала, что, уходя, он сказал жене: «Верь мне, я ни в чем не виноват. Береги детей». Надежда Николаевна бросила тем, кто уводил мужа: «Берите и меня!»

Вскоре арестовали и ее, последнее письмо от Надежды Николаевны было из Горьковской колонии. Арестовали и выслали по спецпереселению и детей Черновых — Марию и Михаила, зятя и невестку. Наташе, дочке Марии, исполнилось тогда всего девять месяцев, ее разлучили с матерью, девочку взял на воспитание кто-то из родственников мужа. Где она теперь?

Когда материал готовился к печати, она вдруг позвонила в редакцию — внучка М. А. Чернова Наталья Юрьевна, та самая Наташа. Живет в Москве, историк балета. «Недавно меня разыскала двоюродная сестра Надежда Михайловна Королева, дочь сына М. А. Чернова, — сообщила она. — Надежда живет в Харькове, она инженер. После стольких лет неизвестности узнать правду о дедушке, обрести сестру — это еще надо пережить...»

Внучки М. А. Чернова рассказали о судьбе своих родителей — его детей. Сын Михаил, актер Театра Красной Армии, был арестован в 1937 году в Хабаровске. Погиб в Магадане в 1942 году. Дочь Мария в 1938 году провела 3 месяца в тюрьме, на суде заявила, что все показания она дала «под давлением»,

ее отец, она сама оклеветаны, и в тот же день была расстреляна. Ей было 23 года.

Второй раз в жизни, спустя полвека, Надежда и Наталья встретились в Москве в тот самый день, когда для них неожиданно было объявлено о реабилитации их деда. У них выросли дети — тезка бывшего наркома Михаил и Татьяна. Род Черновых не иссяк.

— У вас осталось что-нибудь из переписки с братом, может быть, фотографии? — я снова обращаюсь к Зое Александровне.

— Ничего, — говорит она сквозь слезы. — Я все сожгла. Вы счастливее, что не знаете страха того времени.

4 марта 1938 года. Из газетной публикации: «Чернов и Зубарев использовали свое положение для массового отравления скота. Всеми средствами эти злые двуногие крысы портили урожай, отравляли клещом собранное зерно, губили хлеб в амбарах. Как воры, они пытались ограбить колхозника и превратить его трудодень в гроши».

13 марта 1938 года по делу был вынесен приговор. «За измену Родине в форме шпионажа, вредительство, диверсии и террористические акты» М. А. Чернов вместе с другими членами «антисоветского право-троцкистского блока» был присужден к расстрелу с конфискацией имущества.

...Зоя Александровна извинилась, что не может проводить — ноги отказывают, в последнее время передвигается только с палочкой.

— Поклонитесь от меня тем, кто добился правды, — говорит она на прощание. — Я верила, что такой день придет.

Горькую правду узнаем мы о нашей истории. Правдивый анализ должен помочь нам решить сегодняшние наши проблемы — всестороннего развития демократизации, законности, гласности, преодоления бюрократизма — словом, насущные задачи перестройки.

Иногда и в нашей редакционной почте встречаются письма с вопросом: «Стоит ли ворошить прошлое?» Стоит! Чтобы непоколебимой была наша вера в правду и справедливость. Чтобы каждый пострадавший от произвола и беззакония получил не только юридическую защиту, но и чисто человеческое уважение, признание, любовь. Чтобы все мы, а не только близкие невинно осужденных, сказав и услышав правду, вздохнули облегченно.

Олег Темушкин,
доктор юридических наук,
заслуженный юрист РСФСР

Голос времени — голос истины

Заметки с Пленума Верховного Суда СССР

Перед глазами участников Пленумов Верховного Суда СССР проходят жизни и судьбы людей. И каждый раз, словно впервые, сжимается сердце, когда речь идет о людях, незаконно репрессированных во времена культа личности Сталина. Будто их тени входят в зал заседаний, чтобы увидеть, как потомки оценят их дела и свершения. Приходит, кажется, и сама История, интересуясь, возвращается ли справедливость, торжествует ли гуманизм.

Тысячи «реабилитационных» дел рассмотрены за последние тридцать лет Верховным Судом СССР. И вот на заседании, открывшем последний Пленум, единогласно принято Постановление об отмене приговора и прекращении дела за отсутствием состава преступления в отношении Николая Ивановича Бухарина, Алексея Ивановича Рыкова, Аркадия Павловича Розенгольца, Михаила Александровича Чернова, Павла Петровича Буланова, Льва Григорьевича Левина, Игнатия Николаевича Казакова, Вениамина Адамовича Максимова-Диковского, Христиана Георгиевича Раковского, Петра Петровича Крючкова — членов так называемого «право-троцкистского блока». Ранее, на прошлых пленарных заседаниях, были реабилитированы еще 10 человек, осужденных по этому же делу.

Многие газеты уже рассказали и о процессе рассмотрения протеста Генерального прокурора по этому делу, и о людях, чьи честные имена вновь возвращены народу... Я же, как юрист, остановлюсь на правовой стороне этого процесса, на тех уроках, которые необходимо извлечь из него.

Рассматривая протест по делу «право-троцкистского блока», Пленум Верховного Суда СССР выполнил роль суда истории, и это не будет преувеличением. А раз это так, то да-

вайте спокойно разберемся: кто, как и за что судил Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других?

Военную коллегию Верховного Суда СССР, слушавшую с 2 по 13 марта 1938 года это дело, возглавлял ее председатель — Ульрих В. В. Он носил в то время звание «армвоенюрист», что соответствует нынешнему званию генерал-полковника юстиции. В состав коллегии входили также И. О. Матулевич и Б. И. Иевлев. Фигура Ульриха, естественно, вызывает особый интерес.

Прямо говоря, назвать Ульриха судьей можно лишь со ссылкой на штатное расписание — так разнузданно он попирал самые простые нравственные и законодательные принципы правосудия.

Василий Ульрих занял пост председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР в 1926 году после Валентина Андреевича Трифонова, старого большевика, честнейшего ленинца (кстати, отца писателя Юрия Трифонова).

Чрезвычайно замкнутый, необщительный человек, он не имел друзей, не общался с людьми. Его подпись «освящала» смертные приговоры практически по всем «делам» того трагического времени. До конца своих дней он не получал квартиры, занимая роскошный номер в «Метрополе». В 1948 году, видимо, наступило время, когда человек, столько знавший, должен был разделить судьбу своих жертв. Его переместили из Военной коллегии на незначительный пост в одном из военных учебных заведений... От расправы его спасла смерть в 1950 году.

Послушными, безгласными пешками выглядели рядом с Ульрихом два других члена Военной коллегии: во всем огромном томе стенографического отчета о процессе не найти их вопросов к обвиняемым, свидетелям, нет ни одного свидетельства их реакции на ход судебного заседания.

За прокурорской трибуной восседал А. Я. Вышинский. Его имя так же тесно связано со сталинскими репрессиями, как и имена Ежова, Берии, Ульриха. В прошлом — меньшевик, подписавший при Временном правительстве ордер на арест Ленина как немецкого шпиона, он в 1938 году изобличал как немецких же шпионов друзей и соратников Ильича... Вот какая это была последовательная в своей беспринципности личность.

Следствие по делу «право-троцкистского блока» вели органы НКВД. Им лично руководил новоиспеченный нарком — Н. И. Ежов, сменивший на этом посту Г. Г. Ягоду, арестован-

ного за «принадлежность» к тому же «право-троцкистскому блоку».

Воистину чудеса превращения: Ягода, под руководством которого сфабриковано множество провокационных дел, унесших жизни тысяч честных людей, теперь оказался причисленным к «вражескому» блоку. Очень уж нужна была постановщикам этого судебного фарса видимость чудовищной разветвленности преступной антисоветской организации.

Но причисление к этому «делу» Ягоды имело, как нетрудно догадаться, и другой смысл. Он уже исчерпал себя в организации прошлых процессов. Настало время заменить его другим «творцом» провокаций. Для этой цели был избран Ежов... Но вскоре и он стал «неугоден».

Наверное, стоит пояснить, почему же в отношении Ягоды «протест не приносился». Конечно, он не шпион, не диверсант, но его вина перед народом, партией в фабрикации многих дел неоспоримо доказана. Именно он превратил НКВД в инквизиторский карательный аппарат, именно он — одна из центральных фигур в организации убийства С. М. Кирова...

На чем основывалось следствие, что вменял подсудимым в вину прокурор? На этот вопрос можно ответить двумя цитатами. Первая — из обвинительного заключения, написанного 50 лет назад:

«...следствие считает, что... в 1932-33 годах по заданию разведок враждебных СССР иностранных государств обвиняемыми была создана заговорщицкая группа под названием «право-троцкистский блок», поставившая своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и Приморья на Дальнем Востоке... свержение существующего... общественного и государственного строя... «Право-троцкистский блок» организовал ряд террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства и осуществил террористические акты против С. М. Кирова, В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М. Горького...».

Обвинительное заключение 1938 года практически слово в слово было переписано в приговор. Вторая цитата — из Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 февраля 1988 года:

«В деле отсутствуют доказательства вины Х. Г. Раковского, М. А. Чернова и А. П. Розенгольца в шпионаже, а Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова в руководстве шпионской деятельностью указанных выше лиц. Проведенными компетентными органами проверками установлено, что сведений о связи кого-либо из осужденных с иностранными спецслужбами не имеется... Обвинение Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова в создании на Северном Кавказе... и других местах преступных групп для борьбы с Советской властью также ничем не подтверждено. По выводам суда эту деятельность Н. И. Бухарин и А. И. Рыков осуществляли якобы при участии бывших первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии В. Ф. Шаранговича, первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана А. Икрамова, председателя СНК Узбекской ССР Ф. Ходжаева, которые были осуждены по этому же делу. Все указанные лица осуждены были необоснованно и Верховным Судом СССР полностью реабилитированы...

Вывод о виновности осужденных в организации диверсионных и вредительских актов противоречит фактическим обстоятельствам дела и поэтому является необоснованным... Не содержится каких-либо объективных доказательств обвинения осужденных, в отношении которых внесен протест, в террористических актах. Причастность кого-либо из них к убийству С. М. Кирова не установлена, равно как не установлена причастность Н. И. Бухарина к подготовке в 1918 году убийства Ленина, Сталина и Свердлова, а также к покушению эсерки Каплан на жизнь В. И. Ленина».

Как видим, судить было не за что. Но были люди, которых **надо было** осудить. Почему именно их? Ответ на этот вопрос можно найти, если исходить из политической роли, которую играли в нашей революции ключевые фигуры процесса — Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков.

Николай Иванович Бухарин назван в энциклопедии 1929 года «одним из вождей и теоретиков ВКП, членом ее ЦК и Политбюро... членом Исполкома Коминтерна». Революционную деятельность начал еще в гимназии, а в 1906 году уже стал членом РСДРП. Неоднократно арестовывался царской охранкой, сослан... Редактор «Правды», «Известий», серьезнейший партийный идеолог и публицист, литератор, академик.

Бухарин не раз вступал в теоретические споры с Лениным, но всегда, убедившись в правильности идей и действий Владимира Ильича, признавал свои ошибки.

«Важную роль в идейном разгроме троцкизма, — отме-

тил в своем докладе «Октябрь и перестройка: революция продолжается» М. С. Горбачев, — сыграли Н. И. Бухарин, Ф. Э. Дзержинский, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, Я. Э. Рудзутак и другие».

Многое из того, что сказано о Бухарине, можно отнести и к **Алексею Ивановичу Рыкову.** Один из старейших (с 1898 года) членов партии, соратник и заместитель В. И. Ленина по СНК РСФСР, впоследствии заменивший Владимира Ильича на посту председателя СНК СССР. Вступив на путь революционной борьбы в начале XX века, А. И. Рыков тоже не раз оказывался в различных оппозициях, но затем всегда возвращался на ленинскую платформу. Неизменно член ленинского ЦК с 1917 года, член Политбюро с 1919 по 1929 год; в момент ареста Алексей Иванович занимал пост наркома связи СССР...

Так за что же именно им выпал роковой жребий?

Ответ дает еще один абзац из Постановления Пленума Верховного Суда СССР:

«На разных этапах революционного обновления страны Н. И. Бухарин и А. И. Рыков занимали иногда ОСОБЫЕ ПОЗИЦИИ в оценке политического момента, расстановки классовых сил, путей строительства социализма в СССР. Некоторые из их взглядов, а в ряде случаев и практическая деятельность были расценены руководящими органами ВКП(б) как ошибочные и неправильные. Однако эти ошибки, признанные в свое время Н. И. Бухариным и его сторонниками, сами по себе не образуют состава преступления».

«Особые позиции» выделены мною в тексте не случайно. Конечно, не за участие в дискуссии о профсоюзах судили Бухарина. Не за выход из СНК 4 ноября (по старому стилю) 1917 года и несогласие с Лениным по вопросу об «однородном социалистическом правительстве» судили Рыкова.

Процесс над виднейшими деятелями партии и правительства, какими были в сознании многих людей и Н. И. Бухарин, и А. И. Рыков, нужен был И. В. Сталину для окончательного утверждения своей безграничной власти в партии. Ведь Бухарин и Рыков выражали несогласие по ряду позиций со Сталиным; они, немногие из оставшихся к тому времени деятелей ленинской гвардии, имели смелость «свое суждение иметь», в чем-то перечили «отцу народов».

Но вернемся к вопросам правовым.

«Военная коллегия Верховного Суда СССР в нарушение закона в приговоре по данному делу не привела конкретных

доказательств виновности Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова.., — говорится в Постановлении Пленумв Верховного Суда, — в совершении особо опасных государственных лреступлений, сочтя достаточными их показания на предварительном следствии и в суде, в которых они в общей форме признавали свою вину в преступной деятельности. При оценке этих показаний органами следствия и судом игнорировано важнейшее требование закона о том, что никакие доказательства, в том числе и признание обвиняемым вины, не имеют заранее установленной силы и могут быть положены в основу обвинительного приговора лишь при подтверждении совокупностью других доказательств. По данному делу локазания обвиняемых... противоречивы, не соответствуют фактическим обстоятельствам и получены в результате грубых нарушений законности в процессе предварительного следствия и судебного разбирательства».

Да, Военная коллегия под председательством Ульриха твердо придерживалась принципа «признание обвиняемого — царица доказательств». Этот принцип славно действовал во времена средневековья и был надежным орудием инквизиторов в борьбе с ведьмами. Теперь его оживил Вышинский (в книжке Вышинского «Теория судебных доказательств в советском уголовном процессе», удостоенной Сталинской премии, содержалось теоретическое обоснование этого принципа).

О том, как велось следствие, говорят показания, данные в 1956 году бывшим начальником санчасти Лефортовской тюрьмы НКВД СССР Розенблюм:

«Крестинского (Николай Николаевич Крестинский — на момент вреста первый заместитель нвркома иностранных дел СССР; осужден по этому же процессу, реабилитирован Верховным Судом СССР в 70-е годы. — Авт.) с допроса доставили к нам в санчвсть в бессознательном состоянии. Он был тяжело избит, вся спина представляла из себя сплошную рану, нв ней не было ни одного живого места. Пролежал, как я помню, он в санчасти три дня в очень тяжелом состоянии».

В протесте Генерального прокурора СССР так говорится о нарушениях социалистической законности в ходе предварительного следствия по делу «блока»:

«После ареста Н. И. Бухарину, А. И. Рыкову и другим в

течение нескольких месяцев обвинение не предъявлялось, срок следствия и содержания под стражей не продлевался.

Проверкой... установлено, что многие протоколы допросов обвиняемых, очных ставок и другие процессуальные документы фальсифицированы. Путем угроз, насилия и обмана обвиняемых принуждали давать ложные показания.

На первоначальных допросах Н. И. Бухарин виновным себя не признал, поясняя, что имел разногласия с И. В. Сталиным по конкретным политическим и экономическим вопросам, однако ни террористической, ни шпионской, ни иной противозаконной деятельностью не занимался. Протоколы этих допросов к делу не приобщались, находились в специальном хранилище и были обнаружены лишь в 1961 году...

К делу же приобщались заранее напечатанные протоколы допросов лишь в тех случаях, когда обвиняемые признавали вину и подписывали такие протоколы. В том случае, если обвиняемый... отказывался от ранее данных угодных следствию... показаний, применялись угрозы, запугивание, зачастую — прямое насилие и иные незаконные меры».

Тяжко читать такое, ведь за скупыми строчками — боль, кровь и нестерпимое унижение многих невинных людей.

Осужденный в 1940 году за фальсификацию уголовных дел подручный Ежова, бывший замнаркома внутренних дел Фриновский всего через 13 месяцев после смерти многих осужденных по делу «блока» заявил, что работники НКВД готовили арестованных к очным ставкам, обсуждая возможные вопросы и ответы на них. После такого «обсуждения» арестованного вызывал сам Ежов, чтобы получить подтверждение данных показаний и обещание не менять их в процессе очной ставки... Если же арестованный отказывался от прежних показаний, то Ежов «возвращал» его следователю с указанием «восстановить», что означало — добиться прежних, ложных, показаний.

Под стать следствию был и суд.

Сама форма его ведения нарушала установленный Уголовно-процессуальным кодексом порядок.

Председательствующий Ульрих начинал допрос каждого подсудимого с фразы: «Вы подтверждаете свои показания на предварительном следствии?», хотя закон предписывал, что судья должен в начале допроса спросить у обвиняемого, признает ли он свою вину в тех преступлениях, за которые привлекается к уголовной ответственности, а затем предо-

ставить возможность рассказать об обстоятельствах дела... Видно, тому суду это было не нужно — сотня с лишним томов «дела» состояла сплошь из «признаний»...

Из Постановления Пленума Верховного Суда СССР:

«При рассмотрении дела было нарушено право обвиняемых на защиту. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, А. П. Розенгольц, М. А. Чернов, Х. Г. Раковский, П. П. Буланов, В. А. Максимов-Диковский, П. А. Крючков были лишены квалифицированной юридической помощи и вынуждены взять защиту своих интересов на себя. Все они не принимали участия в судебных прениях, поскольку им было предложено совместить защитительную речь с последним словом».

Право подсудимого на защиту в суде — незыблемое, установленное еще древнеримскими юристами — здесь было нарушено. То самое право, что гарантировала Конституция СССР 1936 года. Да, внешне все выглядело «пристойно» — обвиняемые вроде бы сами отказались от адвокатов. Постановщики судебного фарса, видимо, позаботились об этом заранее. Зачем рисковать? Ведь сам факт, что у государственного обвинителя может появиться соперник, что хоть одно слово обвинения может быть поставлено под сомнение, что «грязная вода» следствия станет для всех очевидной, — пугал организаторов процесса.

Защитительные речи обвиняемых, совмещенные с последним словом, звучали беспомощно. Тем более после того, как Вышинский в самых диких выражениях потребовал смертной казни для всех обвиняемых.

И все-таки. Н. И. Бухарин нашел в себе мужество постараться разоблачить беззаконие, жертвой которого стал. В последнем своем слове он, как говорится в Постановлении Пленума, «заявив в общей форме о признании своей вины, фактически так изложил обстоятельства дела, что они свидетельствовали как о его невиновности, так и о невиновности всех остальных...»

Вот некоторые строки из этого выступления. Они дают представление обо всей речи.

«Мы, подсудимые, сидим по другую сторону барьера, и этот барьер отделяет нас от вас, граждане судьи. Мы очутились в проклятых рядах контрреволюции, стали изменниками социалистической Родины.

Тем не менее, я считаю себя вправе опровергнуть некоторые обвинения...

Я признаю себя ответственным, и политически, и юридически за пораженческую ориентацию, ибо она господствовала в «право-троцкистском блоке», хотя я утверждаю: ...лично я на этой позиции не стоял...

Гражданин Прокурор разъяснил в своей обвинительной речи, что члены шайки разбойников могут грабить в разных местах и все же ответственны друг за друга. Последнее справедливо, но члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой, и быть друг с другом в более или менее тесной связи. Между тем, я впервые из обвинительного заключения узнал фамилию Шаранговича... Впервые узнал о существовании Максимова. Никогда не был знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Казаковым...

...Я категорически отрицаю, что был связан с иностранными разведками, что они были хозяевами надо мной и я действовал, выполняя их волю.

Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова.

Я отвергаю обвинение в покушении на Владимира Ильича...

Дело, конечно, не в этих раскаяниях, и в том числе, не в моих личных раскаяниях. И без них суд может вынести свой приговор. Признания обвиняемых необязательны. Признания обвиняемых есть средневековый юридический принцип.

С этим сознанием я жду приговора».

Нельзя не сказать и о том, как готовилось к процессу общественное мнение.

В день начала процесса — 2 марта — центральные газеты вышли с передовыми, где перечислялись «преступления» «право-троцкистского блока» и содержался призыв к физическому уничтожению «банды кровавых собак» (это из лексикона А. Я. Вышинского). На следующий день три четверти газетной площади было отдано призывам типа «Одного обвинительного заключения достаточно, чтобы расстрелять гадов!». Публиковались письма рабочих, колхозников, видных ученых и военных, в которых содержались не менее решительные предложения...

Военная коллегия в ходе судебного следствия, в приговоре, нарушив требования закона, вышла за пределы обвинения. Что это значит?

Многих «эпизодов», составивших немалую часть приговора, в обвинительном заключении попросту нет. Они «вскрылись»

в ходе так называемого судебного следствия, когда подсудимые, загнанные иезуитскими вопросами Вышинского в угол, начинали оговаривать себя, своих товарищей — живых и уже мертвых — в новых преступлениях. По закону в таких случаях суд обязан был вернуть дело на доследование. Но для Ульриха, Вышинского и тех, кто стоял за их спиной, «условностей», содержащихся в законе, не существовало. Упомянув о том, что был некто, стоявший за спинами судей, я должен сделать отступление.

Мне не раз приходилось сталкиваться с мнением, что в массовых репрессиях 30—50-х годов виновны Ягода, Ежов, Берия, Абакумов, Мехлис, Вышинский, Каганович, Шкирятов, словом — кто угодно, только не Сталин. Это мнение держится стойко.

«Иногда утверждают, что Сталин не знал о фактах беззакония. Документы, которыми мы располагаем, говорят, что это не так. Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех поколений», — так ответил на этот вопрос М. С. Горбачев в докладе, посвященном 70-летию Октября.

Пленум Верховного Суда СССР подвел черту под «делом» Бухарина.

«В связи с грубейшими нарушениями закона на предварительном следствии и в процессе судебного разбирательства, показания осужденных не могут быть положены в основу вывода об их виновности. Других же доказательств... в деле не содержится».

Никто из осужденных по делу «право-троцкистского блока» не дожил до сегодняшнего дня. 18 человек, приговоренные Военной коллегией к смертной казни, были расстреляны через два дня после оглашения приговора. Трое же, осужденных к длительным срокам тюремного заключения — Плетнев, Раковский и Бессонов, — погибли позже.

Находясь в тюрьме, в мае 1941 года, Христиан Георгиевич Раковский, выдающийся советский дипломат, перед арестом — начальник управления Наркомздрава РСФСР, сказал работнику НКВД Аронсону:

«До сих пор я просил лишь о помиловании, но не писал о самом деле. Теперь я напишу заявление с требованием о пересмотре моего дела, с описанием всех «тайн мадридского

двора»... Пусть хоть народ, через чьи руки проходят всякие заявления, знает, как «стряпают» дутые дела и процессы из-за личной политической мести. Пусть я скоро умру, пусть я труп, но помните... когда-нибудь и трупы заговорят».

* *
*

Возвращаясь, теперь уже мысленно, к «делу «право-троцкистского блока», я всерьез задумывался — так для кого же принято последнее решение по этому «делу»?

И отвечал себе: для жен и детей, до последнего дня носивших страшное, хотя и поистершееся за пятьдесят лет клеймо «родственников врагов народа». Для тех, кто долгие годы заблуждался, поддавшись гипнозу культа личности. Но, главное, не «для», а «ради» — **РАДИ ИСТИНЫ, РАДИ ТОРЖЕСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ.**

Справедливости, которая восстановлена теперь навечно.

Н. Бухарин

Будущему поколению руководителей партии[1]

Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно.

Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК, когда революционная идея руководила всеми ее действиями, оправдывала жестокость к врагам, охраняла государство от всяческой контрреволюции. Поэтому органы ЧК заслужили особое доверие, особый почет, авторитет и уважение. В настоящее время, в своем большинстве, так называемые органы НКВД, эта переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Сталина, боюсь сказать больше, в погоне за орденами и славой, творят гнусные дела, кстати, не понимая, что одновременно уничтожают самих себя—история не терпит свидетелей грязных дел!

Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные органы» могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, диверсанта, шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно.

Грозовые тучи нависли над партией. Одна моя, ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невиновных. Ведь нужно же создать организацию, «бухаринскую организацию», в действительности не существующую не только теперь, когда вот

[1] Текст письма-завещания, продиктованного Н. И. Бухариным своей жене А. М. Лариной перед арестом.

уже седьмой год у меня нет и тени разногласия с партией, но и не существовавшую тогда, в годы правой оппозиции. О тайных организациях Рютина, Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым, Томским открыто.

С восемнадцатилетнего возраста я в партии, и всегда целью моей жизни была борьба за интересы рабочего класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым названием «Правда» печатает гнуснейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. Это неслыханная наглость, это — ложь, адекватна которой по наглости, по безответственности перед народом была бы только такая: обнаружилось, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции.

Если в методах построения социализма я не раз ошибался, пусть потомки не судят меня строже, чем это делал Владимир Ильич. Мы шли к единой цели впервые, еще непроторенным путем. Другое было время, другие нравы. В «Правде» печатался дискуссионный листок, все спорили, искали пути, ссорились и мирились, и шли дальше вперед вместе.

Обращаюсь к вам, будущее поколение руководителей партии, на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступлений, который в эти страшные дни становится все грандиознее, разгорается, как пламя, и душит партию.

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ ОБРАЩАЮСЬ.

В эти, может быть, последние дни моей жизни, я уверен, что фильтр истории, рано или поздно, неизбежно смоет грязь с моей головы.

Никогда я не был предателем, за жизнь Ленина без колебаний заплатил бы собственной. Любил Кирова, ничего не затевал против Сталина.

Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на Пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии.

Знайте товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови.

З. Ерошок

Отцы и дети

31 мая 1937 года Вета Гамарник узнала о смерти отца. Ей, дочери «врага народа», предстоит прожить нелегкую жизнь

С Викторией Яновной Гамарник, в замужестве Кочневой, меня познакомил Григорий Устинович Дольников, прославленный летчик, Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке.

Однажды генерал мне сказал:

«Что касается исторической осведомленности, то мы в своем прошлом до недавнего времени видели только блистательные победы и сияющие вершины, а от всего горчайшего, что выпало на долю народа, стыдливо отворачивались. Народ воспринимался фоном истории, безликим и однообразным. Понадобились десятки лет, прежде чем средь этого фона стали различать отдельных людей, л и ц а».

Меня встречает красивая седая женщина.

Рассказать об отце? Раньше его знала вся страна. Сейчас есть уже необходимость в биографической справке.

В 1916 году вступает в партию большевиков. В марте 1917 года возглавляет легальный комитет большевиков в Киеве. Ему в ту пору 23 года. В 25 лет — член Реввоенсовета Южной группы войск 12-й армии. Есть документ, свидетельствующий о высокой оценке действий и побед Южной группы Владимиром Ильичем Лениным. За личное мужество и умелое руководство войсками в этом походе командующий И. Э. Якир, член Реввоенсовета Я. Б. Гамарник и другие были награждены орденом Красного Знамени. Тридцатилетним он возглавил

Дальневосточный райком партии. Впоследствии — секретарь ЦК Белоруссии. С октября 1929 года — начальник Главного политического управления Красной Армии.

По решению ЦК партии и Совнаркома Ян Борисович ежегодно на 4—6 месяцев оставлял свой служебный кабинет в ПУРе и отправлялся в поездку по Дальнему Востоку. На нем, уполномоченном ЦК ВКП(б), лежало руководство промышленным и оборонным строительством на Дальнем Востоке. У писателя П. А. Павленко в романе «На Востоке» есть такое место: «В декабре прошлого года приехал из Москвы невысокий бородатый человек с мрачным лицом и добрыми глазами. Он приказал снарядить самолет на север и, посмотрев планы закладки города, сказал твердо: «Город начнем вот здесь, в тайге на Нижнем Амуре». Это о Яне Борисовиче, об основании Комсомольска-на-Амуре. С июля 1930 года — зам. председателя Реввоенсовета СССР и первый зам. наркома обороны по военным и морским делам. Член ЦК партии. Воинское звание: армейский комиссар первого ранга. Его называют «совестью армии».

Все стены небольшой комнаты Виктории Яновны — в портретах отца.

Портреты Яна Борисовича Гамарника пересняты по просьбе Виктории Яновны в 1956 году с лент кинохроники. В 1937 году все настоящие фотографии были изъяты при обыске и пропали безвозвратно.

Моя собеседница вспоминает, я записываю. «Мы отдыхали с папой в Сочи. Я сидела на террасе дачи и читала. Неожиданно в дверях появился Сталин. Я, не поднявшись, протянула ему руку. Пришел папа, и они уединились в кабинете. Когда Сталин ушел, папа сказал: дело не в том, что это Сталин, вошел человек во много раз старше тебя, а ты не соизволила встать. Шел тридцать шестой год. Папа мог бы сказать: сам Сталин зашел, а ты! Но сказал: дело не в том, что это Сталин...».

«На похоронах Серго Орджоникидзе папа стоял в почетном карауле, а я за стульями, где сидели Зинаида Гавриловна и Этери, жена и дочь Орджоникидзе. Помню, я очень плакала. Мама ругала папу, что он взял меня с собой. «Серго был такой человек, такой большевик, о котором нужно и можно плакать», — сказал папа. Серго Орджоникидзе застрелился 18 февраля 1937 года. Мой папа — 31 мая 1937 года».

За два дня до смерти Гамарника на вокзале в поезде на глазах у встречающей жены арестовали Иеронима Петровича

Уборевича, командующего войсками Белорусского военного округа. Его дочь Мира и Вета были молочными сестрами. Мама Веты после родов заболела, и кормила Вету Нина Владимировна Уборевич, Мирина мама. Мира и Вета были одногодки, учились в одном классе, жили в одном доме по Большому Ржевскому, 11. О том, что Мирин папа арестован, сообщения в газетах не было, и в классе об этом знали только Мира и Вета. А о Гамарнике прочитали, конечно, все. Однако в школе Вету встретили как ни в чем не бывало.

Хоронили Яна Борисовича Гамарника 2 июня 1937 года. Хоронили втроем — Вета, ее мама и шофер Семен Федорович Панов.

Наступила минута прощания, Вета подошла к отцу. Он будто спал. В военной форме (но без орденов, ордена уже отобрали), лицо совершенно спокойное, прекрасное бледное лицо.

2 июня был день рождения Яна Борисовича. Ему исполнилось бы 43 года.

Никакого места праху Гамарника в крематории определено не было. Гамарник (как и многие люди в то время) должен был исчезнуть с лица земли б е с с л е д н о, в никуда. Без права на память.

10 июня 1937 года жену Яна Борисовича и дочь сослали в Астрахань. Вместе с ними в Астрахань были сосланы жены и дети Уборевича, Тухачевского и других военных.

1 сентября 1937 года дети пошли в астраханскую школу. Через пять дней арестовали их мам, а самих детей отправили в астраханский детприемник. Потом — в детдом. Мира Уборевич, Вета Гамарник и Света Тухачевская попали в один детдом. Нижне-Иссетский, что в восьми километрах от Свердловска.

В течение года Вета, Мира и Света переписывались с мамами, которые сидели в это время в Темниковских лагерях (Мордовия). Через год переписка оборвалась навсегда. Спустя восемнадцать лет стало известно: мамы были расстреляны.

Друзья поддерживали издалека. Ира Голямина, Игорь Купцов, Габор Рааб, Гриша Родин, Виринея Каминская, Ноля Митлянский, Юра Дивильковский — писали из Москвы, из д о м а.

Над столом у каждого висела карта Испании. Все они рвались в Испанию, чтобы сражаться с фашизмом и победить его.

О многом друзья из Москвы в своих письмах писали, но, наверное, о стольком же и молчали. Молчали о том, что у Габора Рааба арестовали отца (Габор был сыном политическо-

го эмигранта венгерского коммуниста, племянником Мате Залка), и Габор ходил потерянный и не хотел жить; директор 110-й школы Иван Кузьмич Новиков назначил тогда Габора председателем учкома школы, заставлял его много работать, гонял, хвалил, ругал, тормошил. И спас: ожил Габор. Молчали ребята и о свинцовой тяжести страха, который навис почти над каждым домом, каждой семьей.

Иван Кузьмич Новиков вел в 110-й школе «Час газеты». Он учил ребят читать «между строк»: за словами слышать и видеть многое — жизнь! Когда Новиков вдруг пропадал, в школе говорили: «Кузьмич дочитался «между строк»...».

Однажды Нолька Митлянский прислал Вете в детдом письмо, где сообщил следующее: «Был на параде. Генералам выдали сабли». Сказались уроки Ивана Кузьмича! Вета должна была прочитать «между строками»: Тухачевский, Уборевич, Гамарник и т. д. среди прочего призывали в подготовке к будущей войне не уповать во всем на конницу. Но за конницу — «не замай!» — стояли Ворошилов и Буденный. Точку зрения последних разделял и Сталин.

Даниэль Митлянский, известный скульптор, средь вороха стихов, рисунков, пожелтевших писем времен войны и до войны пытается найти для меня школьную фотографию Веты Гамарник.

«Нет, мы от Ветки отказаться никак не могли. Это было бы безобразие. Черт знает, что такое. А спас нас от этого безобразия Новиков. Конечно, он был гениальным директором. Пройдет много времени, и мы узнаем о категорических указаниях Новикову из роно: «прорабатывать детей «врагов народа», и о не менее категорических отказах Новикова, мотивированных очень просто: «Это непедагогично, и я это делать не собираюсь», а тогда, в тридцать седьмом, помню, он собрал наш класс и рассказал о «деле военных». К детям их мы должны быть предельно внимательны и добры; дети невинны, сказал он».

Фотографии Веты Гамарник школьного возраста неожиданно находятся в доме у Ирины Голяминой, ныне кандидата физико-математических наук, физика-акустика.

«Ветка была нашим другом. С первого класса. Мы ее знали, любили. Это нормально, что мы не отвернулись. Ненормальностей и без нас в то время хватало. Когда Ветка со своей мамой была сослана в Астрахань, мы тут же взялись усердно переписываться. Мы писали друг другу очень нежные письма. Это, значит, было лето тридцать седьмого года. Так

вот мою маму вызвали на Лубянку и сказали, что переписываться мне и Вете нельзя. Я, конечно, переписывалась с Веткой, все восемнадцать лет, что не было ее в Москве. Мама моя знала об этом. Но слова мне против не сказала».

Мешал ли им страх? Мешал. Но! «Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся».

«Однажды нас с Мирой пригласили в райком комсомола,— вспоминает Виктория Яновна. — Ясноглазый, розовощекий секретарь без всяких слов забрал наши комсомольские билеты и положил себе в стол. В явном замешательстве мы спросили: за что? «Как — за что? Какое право вы, дочки врагов народа, имеете носить комсомольские билеты?» Не помню, как дошли до детдома, от слез не разбирали дороги. В детдоме на комитете комсомола ребята нам заявили: все будет по-прежнему, с вами ничего не произошло, вы будете комсомольцами для нас и для себя всегда. Так и было. Мы по-прежнему выполняли свои поручения, были вожатыми в пионерских отрядах, ходили мы на собрания. Кто был в том комитете комсомола? Ваня Лощановский, Миша Примак, Миша Юрьев. Они потом на войне погибли».

Стихотворение семнадцатилетнего Григория Родина, написанное им в сорок первом году:

«Я вышел на улицу.
Лето
Навстречу мне выслало
зной,
Я думал, сегодня
в газете
Прочту я про новый
разбой.
Война, как огромная
птица,
Полет над землей
начала,
И в тысячах жертв
отразится
Дыханье стального
крыла.
Все то, что ум
человечий
Веками придумать
сумел,

Сметет кровавой
картечью
И грохотом пушечных
жерл.
А кто подсчитает
потери?
Кто горе людское
учтет?
Откройтесь, небесные
двери,
В вас много народу
войдет».

Света Тухачевская, Мира Уборевич, Вета Гамарник очень просились на фронт. Не пустили. Дочкам «врагов народа» не было доверия.

Когда началась война, Вета пошла работать в Свердловский госпиталь. Там и познакомилась с лейтенантом Валентином Кочневым.

«Везде были люди. Потому мы и выжили. В войну архитектурный институт, где я училась, эвакуировали в Ташкент, — говорит Владимира Иеронимовна Уборевич. — В Ташкенте я год жила у Елены Сергеевны Булгаковой. Елена Сергеевна была дружна с моей мамой. Елене Сергеевне самой практически не на что было жить, с нею был ее младший сын Сережа. А тут еще я. Но она меня приняла, как родную».

Даниэль Митлянский на войне остался жив и невредим. Смерть его миновала, хотя воевал он исправно и мог бы быть убит в любую минуту, но такова была его судьба: уцелеть. Спустя двадцать шесть лет скульптор Даниэль Митлянский в бронзе вернет жизнь своим одноклассникам Игорю Купцову, Габору Раабу, Грише Родину, Юре Дивильковскому, и будут мальчики во дворе своей 110-й школы стоять вечно, юные, с цыплячьими шеями, в шинелях, со штыками за спиной.

В семьи к погибшим одноклассникам ходили все, кто остался жив, кто был в Москве.

Валентина Кочнева исключили из партии: «за потерю бдительности», то есть за то, что женат на дочери «врага народа». Вета, написав несколько писем, повезла их в Москву. Одно из писем было «лично товарищу Сталину». Это письмо Вета вместе с Ирой Голяминой отнесли к Спасским воротам Кремля, отдали в комендатуру. Шел сорок девятый год. В письме «лично

товарищу Сталину» Вета писала: «Надо — сажайте меня, но при чем тут мой муж? Он воевал, он имеет семнадцать благодарностей лично от Вас, товарищ Сталин, он награжден орденами и медалями, он потерял на войне отца и брата, в чем же он провинился перед Отечеством?» Через две недели в Пензенском обкоме партии Валентину Кочиеву вернули партбилет. А еще через две недели пришли за Ветой.

Ее письмо было «услышано»: мужа в партии восстановили, ее посадили.

В сорок девятом у них уже было две дочки — двух и шести лет.

За Ветой пришли и спросили: «Оружие есть?» — «Есть. Пулемет в подполе». Кинулись в подпол. Взбешенные вернулись: «Издеваться изволишь?» Вета улыбнулась. Потом надела свое детдомовское пальто и направилась к двери. «Вета, — сказал муж, — давай хоть попрощаемся». Вернулась, поцеловала. На войне, за форсирование Днепра, лейтенанта Кочиева представили к Звезде Героя, но не дали эту награду. Из-за нее, Веты. После войны, в сорок шестом, Валентин Кочиев поступал в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, в Москве. Сдал все экзамены на «отлично». В академию его не приняли. Не пропустила мандатная комиссия. Из-за нее, Веты. Когда Вета была уже арестована, муж Валиной сестры пришел и стал уговаривать Валентина отречься от Веты: «Сколько она горя тебе принесла, а сколько еще принесет?» Мария Ивановна Кочиева, Ветина свекровь, услышав эти слова вытолкала зятя вон. «Валька! — сказала она потом сыну. — Держись за Ветку. Она — твое счастье».

А «счастье» в это время уже год как сидела во внутренней тюрьме в Пензе. Три с половиной месяца одиночки, бесконечные ночные допросы. Кому — отбой, спать, а ей — на допрос. Приводят в камеру утром. Лежать нельзя, ходить, сидеть — но только так, чтобы в глазок было видно твое лицо, и — не дремать, н е п о л о ж е н о! И вот решение Особого совещания. Десять лет ссылки в Красноярский край. Статья расшифровывалась так: социально опасный элемент. Речь шла о девицах легкого поведения. С этими девицами она и ехала в «столыпинском вагоне», где двери отсутствовали, вместо них были решетки. В обычном купе помещалось 19 человек, 18 девушек, что осаждали «Метрополь», и она, Вета Гамарник. В дороге — ржавая селедка, и совсем мало воды. Одна женщина была в положении. Она мучилась ужасно. На перронах ставили на колени. И конвоиры с собаками.

Приехали в село Тассеево, что в 150 километрах от Канска, Красноярского края.

Для работы два места: леспромхоз и кирпичный завод. Обрубка сучьев по пояс в снегу или тяжеленные носилки с кирпичами.

Ира Голямина, Виринея Каминская, Даниэль Митлянский из Москвы слали Вете письма и посылки с едой и теплыми вещами.

...В Красноярске родилась Лена. Жили в отгороженном фанерой закутке. По ту сторону фанеры — бочки с помоями для хозяйских свиней и коровы. Дважды Лена там умирала...

...Мы с Викторией Яновной едем к дому № 11 в Большом Ржевском переулке.

«Папе много раз предлагали переехать в Дом на набережной. «Та, его миновавшая чаша...» Никого ничто не миновало. Папа застрелился. Из окон Дома на набережной каждую ночь люди выбрасывались», — тихо говорит Виктория Яновна.

...Мы возвращаемся на квартиру Виктории Яновны. Говорим до вечера. Приходит с работы Лена. Я вижу, как она похожа на деда.

Звонит Владимира Иеронимовна Уборевич. Вечером они с Викторией Яновной идут на тридцатилетие Нины Тухачевской, дочери Светланы Михайловны. Светлана Михайловна умерла несколько лет назад.

«По возвращении из ссылки, — вспоминает Виктория Яновна, — мне очень помог Анастас Иванович Микоян. До 31 мая 1937 года мы жили на одной даче с семьей Микояна. У него было пять сыновей, пять моих закадычных друзей. Мой ровесник Володя Микоян погиб на войне. Степан, Серго, Ваня, Алеша — были и остаются мне дорогими людьми. Умер недавно Алексей Микоян, генерал-лейтенант, заслуженный летчик, человек, который всю жизнь делал людям добро, и даже, будучи уже тяжело больным, перед самой смертью, он поднимался и шел помогать: привозил лекарства, «выбивал» квартиру, устанавливал телефоны, а скольких молодых летчиков выручал!... Анастас Иванович после ссылки помог мне и Мире деньгами, квартирой, заботой. Никита Сергеевич Хрущев, знаю, обогрел семью Якира. Не думайте, что, мол, ну, тогда уже было можно... Не все, далеко не все кидались к нам на помощь даже когда стало можно. Климент Ефремович Ворошилов в то же время отказался принять Светлану Тухачевскую. Не знаю уж, почему. Может, не хватило мужества посмотреть Светлане в глаза?..»

Из приказа народного комиссара обороны СССР № 96 от 12 июня 1937 года:

«...11 июня перед Специальным Присутствием Верховного Суда Союза ССР предстали главные предатели и главари этой отвратительной изменнической банды: Тухачевский М. Н., Якир И. Э., Уборевич И. П., Корк А. И., Эйдеман Р. П., Фельдман Б. М., Примаков В. М. и Путна В. К.

Верховный Суд вынес свой справедливый приговор! Смерть врагам народа!

...Бывший заместитель Народного Комиссара Обороны Гамарник, предатель и трус, побоявшийся предстать перед судом советского народа, покончил самоубийством.

...Конечной целью этой шайки было — ликвидировать во что бы то ни стало и какими угодно средствами Советский строй в нашей стране, уничтожить в ней Советскую власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещиков и фабрикантов.

...Мировой фашизм и на этот раз узнает, что его верные агенты гамарники и тухачевские, якиры и уборевичи и прочая предательская падаль, лакейски служившие капитализму, стерты с лица земли и память о них будет проклята и забыта.

Народный Комиссар Обороны СССР,
Маршал Советского Союза

К. Ворошилов».

Из очерка «Товарищ в борьбе», входящего в сборник воспоминаний друзей и соратников «Ян Гамарник», Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва.

«Вся сравнительно короткая жизнь Яна Борисовича Гамарника — это трудовой и ратный подвиг. От рядового коммуниста до крупного партийного руководителя — таков его путь. Ян Гамарник на любом посту работал с полной энергией. Он показывал пример простоты и скромности, органически не терпел кичливости и зазнайства. Он был настоящим большевиком-ленинцем. Таким он и останется в сердцах тех, кто знал его лично, в памяти всех трудящихся».

Написан очерк в 1967 году. Год издания сборника — 1978-й. Автор вышеупомянутых пламенных строк — Климент Ефремович Ворошилов...

Сегодня то громче, то тише раздаются голоса: хватит 37-го года! тяжело все это! лучше не знать! Откуда это в

нас — «лучше не знать»? Не оттуда ли, из 37-го, не оттуда ли, из 67-го, из 78-го, когда наше дело, чего ни косись, было маленькое? Почему «лучше» не думать, не читать, не слышать, не вспоминать, не сострадать? Что еще можно поставить в этот ряд — *не быть*?..

Что касается *частностей*, то, наверное, не случайно именно во времена застойных явлений в сборнике «Ян Гамарник» не было внятно сказано о причине, по которой прервал свою жизнь «активный участник Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, советский, партийный и военный деятель» (об этом в своем стихотворении «После реабилитации» прямо и недвусмысленно заявит Борис Слуцкий: «Гамарник был подтянут и высок, и знаменит умом и бородою. Ему ли встать казанской сиротою перед судом? Он выстрелил в висок». «...Он был острей, толковей очень многих...»), и ни слова — о трагической участи, постигшей всю комиссарскую семью (кроме жены и дочери, пострадали также мама и сестры Яна Борисовича; мама, старая больная женщина, была сослана в Башкирию и брошена на произвол судьбы, ей негде и не на что было жить, она просила милостыню; сестры Гамарника в это время были заключены в тюрьмы и лагеря). Почему так? Может быть, потому, что во времена застойных явлений как раз и победили те, кто решил, что хватит разоблачать 37-й год, лучше сделать вид, что его не было вообще?

...«Сын за отца не отвечает». Сталинские слова. Не сразу дошел до людей кощунственный, иезуитский смысл *фразы*... Что это было, как не нарушение кровного родства, как не толкание в спину, — к предательству сыном отца, что это было, как не требование отречься, отшатнуться, отпрянуть, если с близким случилась беда? Что это было, как не «двойная мораль», если отвечали дети за отцов и матерей, и еще как отвечали!

«Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 года Положение о преступлениях государственных было дополнено статьями об измене Родине... Закон не только устанавливал ответственность изменников Родины, но в противоречии с основными принципами советского уголовного права предусматривал наказание для членов семьи изменника, совместно с ним проживающих, даже при условии, что они не только не способствовали готовящейся или совершенной измене, но и не знали о ней». Какую же опасность для государства, лично для Сталина могли представлять дети «врага народа»? Боялся ли

вождь возмездия, мести? Не исключено, что боялся. Но тут действительно, наверное, тот случай, когда важно было уничтожить не только грибы, но и грибницу.

«Яблоко от яблони далеко не укатится». По-разному можно трактовать старую пословицу. Необязательно она может иметь негативный оттенок. Ведь «яблоки» от «яблонь» могли унаследовать (и унаследовали!) такие качества, как честь, совесть, память, и могли (в недалеком будущем, а то и в настоящем) противостоять беззакониям и преступлениям сталинского времени.

И все-таки в то жестокое и кровавое время, когда действительно «был установлен рекорд по убийству своих», когда действительно могло (и становилось!) лозунгом «Спасайся, кто может!», люди не были безнадежно разъединены, люди не были разрозненными, они «тулились» друг к другу, друг друга спасая. И благодаря этому невидимому фронту, этой людской солидарности не выпали из жизни все дети «врагов народа». Они уцелели, как люди.

«Грибница» осталась.

Шестилетняя Валя спрашивает Викторию Яновну: «Бабушка, а когда к нам придет деда Ян?» — «Никогда. Но он всегда с нами».

Что касается «врагов народа», то погребенные в небытие, эти люди возвращаются к нам сегодня живыми. По праву памяти.

Тяжелая жизнь была у Веты Гамарник, Миры Уборевич, Светы Тухачевской. Но вырастили они своих детей хорошими людьми. Два сына у Миры Уборевич. Дочка у Светланы Тухачевской. Три дочки у Веты Гамарник. Есть внуки. Володя, Борис, Нина, Таня, Наташа, Лена, Максим, Сережа, Валя.

Нет, не исчезли с земли бесследно Уборевичи, Тухачевские, Гамарники...

И то, что эти люди жили, и то, что живы их дети и внуки, и то, что мы сегодня пристально вглядываемся в их жизнь и хотим быть на них похожими, — разве это не внушает надежду, разве не является гарантией нашего духовного возрождения?

О. Аксенов

С Вышинским не согласен

Улица Серафимовича, дом 2. Большинству он известен из повести Ю. Трифонова как «дом на набережной». На его фасаде множество мемориальных досок, которые могут поведать прохожим о видных деятелях партии и государства, тех, кто жил здесь в 30—50-е годы. Но многих имен не менее известных людей вы здесь не увидите и не найдете, хотя жили они в этом же доме. Часть из них была репрессирована, другая часть — отодвинута от дел. Сейчас их имена возвращаются к нам. Имена тех, кто стоял у истоков государства и революции, кто творил историю. И пусть пока нет на стенах «дома на набережной» мемориальных досок с их фамилиями (будут, обязательно будут!), поспешим рассказать о делах большевиков из ленинской гвардии. Сегодня — рассказ об Ароне Александровиче Сольце.

В августе 1914 года, в самом начале империалистической войны, в разгар шовинистического угара, на призывных пунктах в Москве появились листовки с призывом «Долой войну!» московской организации РСДРП, которые объясняли будущим солдатам ее истинную сущность.

Царской охранке, поднявшей на ноги всю свою агентуру, при помощи провокатора Романова по кличке Пелагея вскоре удалось арестовать автора ненавистной прокламации — крестьянина Пермской губернии Якова Яковлевича Коростылева. Выяснить, кто же это есть на самом деле, уже не составляло большого труда. Достаточно было заглянуть в специальный циркуляр департамента полиции за № 155029/286 со списками беглых ссыльных. Крестьянином Коростылевым оказался потомственный почетный гражданин города Вильно Арон Александрович Сольц, бежавший накануне из нарымской ссылки.

Два года крепости — таков был приговор военного суда автору прокламации.

За плечами Сольца к тому времени нелегкая жизнь—17 лет в партии, знакомство с тюрьмами Петербурга, Вильно, Екатеринослава, Харькова, ссылки в Нижнеудинск, Нарым, Тобольск, побеги, голодовки.

Вступив в партию в год ее основания, он вместе с ней испытал все взлеты и поражения, трудности подпольной борьбы, провалы и предательства, аресты и унижения. А. Сольц был основателем в Екатеринославе подпольной искровской типографии, руководил тюменской партийной организацией и изданием газеты «Тюменский рабочий», участвовал в подготовке первого номера газеты «Правда».

Выйдя из «Таганки» осенью 1916 года на волю, А. Сольц остается в Москве, несмотря на строжайшее предписание покинуть город. Товарищи выбирают его членом Московского бюро РСДРП. В воздухе уже пахло освежающим озоном февральской революции. И как только очищающая гроза разразилась, А. Сольц вместе с М. Ольминским, захватив типографию, начинают издавать газету московской областной партийной организации РСДРП «Социал-демократ».

После перевода в 1918 году «Правды» в Москву он становится членом ее редколлегии. В самые тяжелые и голодные 1919 и 1920 годы его посылают на работу в Продотдел Моссовета, а затем в Центросоюз. На этой работе ему неоднократно приходилось встречаться с В. И. Лениным, сохранилось несколько письменных поручений Владимира Ильича к А. Сольцу.

В 1920 году на IX партконференции Г. Е. Зиновьев предложил, «чтобы в партии был создан особый орган, который можно назвать Контрольной комиссией или судом коммунистической чести. Орган этот должен быть избран из работников с партийным стажем не менее 10 лет и должен иметь задачей — действительно блюсти честь нашей партии...» Так была создана Центральная Контрольная Комиссия РКП(б) — высший контрольный орган партии, который имел своей целью предупреждать появление в партии фракций, группировок, очищать ее от недостойных людей, улучшать работу госаппарата, бороться с бюрократизмом, взяточничеством, волокитой. ЦКК, так же как и ЦК, являлась высшим органом партийной власти, но только с контрольными функциями. Она тоже избиралась на съезде и подчинялась только съезду.

По предложению В. И. Ленина в первый ее состав был включен А. А. Сольц — как человек беспристрастный, выдержанный, пользующийся авторитетом и доверием у товарищей по партии. На X и XI съездах А. Сольц выступал с докладами о деятельности Контрольной Комиссии. Именно на этой работе раскрылись все лучшие человеческие и деловые черты А. Сольца как истинного партийца, воспитателя, врага всякого бюрократизма и формализма, человека честного и справедливого.

Эти его качества знал и ценил В. И. Ленин. Во время работы XI съезда партии, полемизируя с Лариным и Рязановым по вопросам экономики, в качестве подтверждения своих доводов Владимир Ильич сказал: «Я знаю это из беседы с товарищем Сольцем, это не слух, а беседа с лицом, которое высшим партийным съездом назначено в ЦКК, то, что он мне сказал, не может вызывать никакого сомнения».

Забегая вперед, хочется отметить, что А. Сольц с 1923 года избирался во все составы Президиума ЦКК вплоть до 1934 года, когда начал укрепляться культ личности, сворачивалась демократия, когда органы контроля, созданные при В. И. Ленине, оказались лишними и ненужными. На XVII съезде ВКП(б) в 1934 году ЦКК по предложению И. В. Сталина была упразднена, так как «отпала необходимость в предотвращении раскола в партии», а взамен была организована Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б), которая кстати, уже избиралась не съездом, а организовывалась Центральным Комитетом. Примечательно, что возглавил ее Ежов. Надо ли пояснять, к чему все эти преобразования привели через несколько лет?

Но вернемся к А. Сольцу. В двадцатые годы он стоял у истоков советского законодательства. Революция разрушила вместе со старым строем старые законы. Необходимо было новое право, новые социалистические законы. В одной из своих работ, напечатанных в «Правде», А. Сольц писал: «Мы создаем не застывшие формы. Мы должны проверять на реальной жизни, что подходит и что не подходит. Нужное оставляем, ненужное ежегодно отбрасываем. Каждый шаг мы сами проверяем бесконечное количество раз. Мы делаем такие дела, которые никто еще не делал, которыми еще никто не занимался. Мы на работе учимся».

С 1921 года А. Сольц, продолжая работу в ЦКК, является членом Верховного Суда РСФСР, а затем и СССР, членом Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. Кроме

того, работал в Партколлегии ЦКК, в комиссии по чистке партии, в комиссии ВЦИК по частным амнистиям, по проверке тюрем.

И здесь проявились отзывчивость, доброта, внимание к человеку, которые были присущи А. Сольцу. По его инициативе была создана специальная комиссия, облеченная правом от имени ВЦИК освобождать из заключения тех, кого посчитает нужным. Позднее ее так и называли: «Комиссия Сольца». Ее члены пересмотрели несколько тысяч дел, причем Арон Александрович лично беседовал с каждым заключенным. Было обнаружено множество вопиющих случаев неправильного применения закона, бюрократического подхода к человеку, бессмысленного осуждения за мелкие дела на длительные сроки заключения. Только за три месяца работы комиссия по проверке московских тюрем освободила из-под стражи 3.110 человек, то есть почти 67 процентов всех осужденных. Подобные комиссии были созданы по всей стране, и вскоре была проведена широкая амнистия.

Наряду с проверкой тюрем были проверены и народные суды. Там тоже вскрыли немало злоупотреблений властью, отменили необоснованные приговоры, прекратили множество мелких и несущественных дел. Выступая на пленуме Московского губсуда в октябре 1924 года, А. Сольц сказал: «Прежде всего в судах вообще было слишком много дел. Ведь мы прекратили 60 процентов дел, какие там имелись. ...Напрасно писались бумаги, напрасно привлекались люди, — вообще напрасно все это имело место.

Лесные дела. Ведь бессмыслица таскать население по судам из-за такого дела, которое нам дает в результате 15—20 копеек за порубку... Запрещено ругаться. Ну, что будет, если мы станем за каждую ругань таскать человека в суд? При нашей некультурности мы должны будем перетаскать в суд все население. ...А у нас, например, было такое дело: один мужик обругал на сенокосе другого. Это дело разбирается в суде через четыре месяца. За это время он еще, вероятно, пятьсот раз обругался, а вы его теперь судите. Да ведь этим дискредитируется Советская власть».

Случалось, что, освободив человека из заключения, А. Сольц приводил его к себе домой, помогал деньгами, устраивал на работу. У него была какая-то необыкновенная вера в рабочего человека, в то, что он не может поступать плохо, некая идеализация личности, иногда не оправдывавшаяся, и Сольц очень болезненно это переживал.

Но к чему А. Сольц относился совершенно нетерпимо — это к комчванству, «когда некоторые члены нашей партии используют власть не в интересах нашего строительства, не в интересах создания нового, нужного нам порядка, а в своих личных интересах. И мы решили с этим беспощадно бороться». В одном из писем он размышляет: «Коммунист не всегда тот, кто имеет билет, беспартийный не всегда тот, кто не имеет билета. А история в целом, а интересы строительства, в общем, настойчиво требуют, чтобы как можно больше беспартийных действовали бы и жили бы так, как жить и действовать обязан член партии. Они тогда для нас ценнее».

После XVII съезда, когда, как уже говорилось, ЦКК была реорганизована в КПК при ЦК ВКП(б), от таких людей, как А. Сольц, старались постепенно избавляться. В зловещие планы «хозяина» не входило, чтобы честные и принципиальные большевики-ленинцы занимали ответственные посты в органах партийного контроля. Его перевели на работу в судебно-бытовой сектор Прокуратуры СССР. Будучи старшим помощником Генерального прокурора СССР, то есть самого А. Вышинского, Сольц и здесь продолжал отстаивать свои убеждения, не всегда, не во всем соглашаясь с ним, вступая в полемику, что было весьма небезопасно.

С. Фаинблит, много лет проработавший с А. Сольцем в ЦКК, а затем в Прокуратуре Союза, пишет о том, что Арон Александрович не раз возмущался приказами А. Вышинского. Для Сольца, хорошо знавшего подноготную генерального прокурора, как меньшевика и карьериста, тот не был авторитетом. А как вспоминает соратник А. Сольца по подпольной работе А. Пальчик, посланцу, передавшему привет от А. Вышинского, Арон Александрович ответил: «От этого нечестного человека прошу больше не передавать мне приветов. Я не желаю. Так и скажите ему. Мне безразлично, что он член ЦК...».

В период массовых репрессий 1937 года, когда старых большевиков, многих товарищей по каторге и ссылке, проверенных годами совместной работы, стали арестовывать, А. Сольц не молчал. В замечательной документальной повести «Отблеск костра» Ю. Трифонов рассказывает, как после ареста его отца — старого большевика, знакомого с А. Сольцем по нарымской ссылке, Арон Александрович пришел к Вышинскому и потребовал материалы по его делу, «сказав при этом, что не верит в то, что Трифонов — «враг народа». Вышинский ответил: «Если органы взяли, значит враг». Сольц побагровел,

закричал: «Врешь! Я знаю Трифонова тридцать лет как настоящего большевика, а тебя знаю как меньшевика!» — бросил свой портфель и ушел».

Не обошли стороной репрессии и племянницу самого Сольца, Анну Григорьевну Зеленскую. Ее арестовали в 1938 году. Дочь Зеленской Елена Исааковна, жившая после ареста матери у Арона Александровича, сохранила копию письма, которое А. Сольц написал В. Ульриху. Важно привести его полностью, чтобы лучше понять характер старого большевика и несомненное мужество, которое он проявил при оценке работы органов правосудия.

«Председателю Верховного Военного Суда
т. Ульриху

Заявление

Было время, когда я работал с Вами в Комиссии по амнистиям ЦИК СССР, и рвбота была довольно согласная, мы квк будто одинаково оценивали делв и людей. Считаю поэтому возможным сейчвс обратиться к Вам.

21 апреля 1939 года была осуждена Военной Коллегией Верховного Суда моя племянница Анна Григорьевна Зеленская, рвзошедшаяся с Зеленским лет 10 тому нвзад и проживавшая до тех пор у меня на квартире, из которой она была взята в недобрые дни, когда дела сочинялись и обвинения составлялись под руководством Вышинского. Ее осудили на 9 лет с поражением на 5 лет, с конфискацией имущества, и она уже сослана на крайний Север в Норильск. А между тем она ни в чем не повинна. Обвинялась она по работе в НКПС по заготовке леса исключительно по оговору без каких-либо доказательств.

За последнее время в «Првводе» часто стали появляться сообщения о судах над клеветникvми, благодаря которым были невинно осуждены многие лица. Я полагаю, что вина клеветников не столь велика, если суд тvков, что так охотно прислушивается к оговорам и по ним судит. Отвечать крепче гораздо должны судьи неправедные и прокуроры, которые допускают такие приговоры.

5-го июля 1939 года разразился статьей а «Правде» Председатель Верховного Суда СССР Голяков. В ней он разъясняет, что суд должен быть правильный и права лодсудимого ограждены. На деле, признает он, это во многих случаях не соблюдается, чему он приводит много примеров. Их, к сожалению,

гораздо больше, их многие тысячи, и поздно немного обращается Голяков с призывами улучшить работу суда.

Надо более решительными мерами воздействовать на господ судей. Наибольшую бесцеремонность с подсудимыми позволяют себе военные прокуроры и военные судьи. Я Зеленскую великолепно знаю, во время работы в НКПС она жила у меня. Она не могла совершить преступления, она в худшем случае могла только ошибиться.

Я прошу Вас затребовать дело и сказать свое слово.

Если Вы этого не сделаете, то по существу за это неправое дело будете нести ответственность и Вы.

Сентябрь 1939 г.

А. Сольц».

Знал ли он, что Ульрих не только оставит приговор без изменений, но даже не ответит ему? Наверное, знал. Но молчать не мог. Догадывался ли А. Сольц, что те несколько процессов над клеветниками и оговорщиками — всего лишь показуха и желание «хозяина» замести следы и обеспечить себе у народа надежное алиби? Наверное, догадывался. Думал ли он, чем для него может закончиться такое заявление со столь нелестным отзывом о бывшем генеральном прокуроре, отнюдь не осужденном, как его недавние жертвы, а всего лишь сменившем свой кабинет на более престижный в Совете народных комиссаров? Безусловно. Предполагал ли, какие чувства вызовет оценка работы военных прокуроров и судей у самого Ульриха? Конечно. Уж с ним он знаком был не один год.

И все-таки А. Сольц должен был написать это письмо, чтобы уже в то время, когда глаза советских граждан были закрыты черной пеленой борьбы с «врагами народа», когда многие большевики молчали и предпочитали не вмешиваться, даже если дело касалось их родственников, указать корень зла, который он видел в деформации социалистической законности, в тех судьях и прокурорах, что «так охотно прислушиваются к оговорам и по ним судят». Каково было ему в конце жизни осознавать, что тюрьмы, каторги и ссылки были пройдены не для того, чтобы человек стал счастливым и богатым, а для того, чтобы невинного могли спокойно осудить по оговору. И кто? Те самые судьи и прокуроры, за чистоту и качество работы которых он столько лет боролся, положил столько сил и здоровья. Мог ли предполагать, что на двадцатом году Советской власти так извратится советское законодательство.

Наверное, он чувствовал виновным в этом и себя, потому что, будучи у истоков зарождения советского законодательства, постоянно участвуя в его совершенствовании, не смог поставить на пути таких людей, как Вышинский, Ежов, Ягода, надежный заслон.

В феврале 1938 года, когда его уволили с работы, он объявил голодовку, пытаясь добиться справедливости старыми, проверенными большевистскими методами. Первую свою голодовку он объявил в 1902 году, и тогда она закончилась успешно: не дожидаясь окончания следствия, строптивого революционера побыстрее отправили в ссылку, чего он и добивался. На этот раз все было иначе. Два санитара пришли в его квартиру и повезли «полечить зубы» в психиатрическую больницу. Главный врач этой больницы М. Кубанцева узнала А. Сольца, с которым не раз сталкивалась раньше по совместной работе при проверке тюрем, создала для него по возможности благоприятные условия и не стала пичкать психотропными препаратами. Но все же почти двухмесячное заточение в «психушке» сломило пожилого человека. Вернувшись из больницы, он стал замкнутым, неразговорчивым, практически перестал встречаться со старыми знакомыми.

Несколько месяцев Сольц проработал в Музее народов СССР архиварнусом. На одном из вечеров, посвященных кончине В. И. Ленина, его как человека, знавшего Владимира Ильича, попросили выступить. Слово ему предоставили в самом конце. Как вспоминают очевидцы, первые же сказанные им слова поразили и напугали всех присутствующих: «Вот вы все здесь говорили о Сталине, а ведь мы собрались для того, чтобы почтить память Ленина. Про Сталина до революции мало кто знал...»

Выводы были сделаны немедленно. Секретарь партийной организации, допустившей на трибуну такого оратора, был уволен с работы. А. Сольца, правда, не тронули — как «выжившего из ума старика».

Во время войны вместе с группой старых большевиков он эвакуировался в Ташкент. Этот период жизни был особенно тяжелым для Сольца. Неутешительные сводки Совинформбюро, одиночество, возраст, болезни, отстраненность от дел — все это оставляло тяжелый отпечаток. Наступила глубокая депрессия. Он обращается к своим старым товарищам с просьбой вернуться в Москву, в «дом на набережной», но и возвращение не приносит ожидаемого облегчения. Не дожив девять дней до конца войны, он умер.

На похороны пришли несколько старых товарищей по партийной работе. Когда гроб опустили в печь, все разошлись.

Ни одна газета, даже «Правда», у истоков создания которой он стоял, не поместила некролога...

Аркадий Ваксберг

Процессы

Чем жила страна в этот день? Закончился ледовый дрейф легендарных седовцев — капитан Бадигин и помполит Трофимов телеграфировали из Мурманска Сталину и Молотову о прибытии экипажа на родную землю. На советско-финском фронте ничего существенного не произошло. Газеты вот уже шестую неделю кряду продолжали печатать поток приветствий товарищу Сталину по случаю его 60-летия. Опубликованы пространные выдержки из речи Гитлера в связи с годовщиной прихода к власти национал-социалистов, постановление СНК и ЦК «Об обязательной поставке шерсти государству»...

А в каждом учреждении шла своя — будничная, деловая — работа. У юристов, разумеется, тоже. Военной коллегии Верхсуда СССР предстояло заслушать в тот день, 1 февраля 1940 года, очередные дела. График был жесткий: двадцать минут на дело. Любая задержка привела бы к сбою, конвейер требует четкого ритма. Везде!

На этот раз, однако, процесс грозил затянуться: одно из дел, вопреки обыкновению (обыкновением стали «дела» по 10—12 страниц в тоненькой папочке), состояло из двух томов. Да и второе — в одном, но увесистом томе. От искусного председателя всецело зависело и при этих условиях соблюсти намеченный график.

«Залом заседаний» Военной коллегии служил кабинет Берии в Лефортовской тюрьме. Его персональные кабинеты имелись во всех тюрьмах, где держали «политических». Едва ли не каждую ночь он лично участвовал в том, что называлось «допросом». То есть, иначе сказать, в истязаниях: уже без всяких кавычек. Под утро уходил отдыхать, и тогда кабинет поступал в распоряжение судей.

Места за столом заняли трое военных. Председательствовал неутомимый Василий Ульрих, уроженец Риги, выходец из культурной семьи (мать его, не чуждая изящной словесности, писала даже рассказы и сказки), «маленький лысый

человек с розовым лицом и подстриженными усиками» — так рисует его портрет один очевидец. К тому времени Ульрих пробыл во главе Военной коллегии почти четырнадцать лет. Сколько смертных приговоров подписано им при столь плотном и жестком графике? Боюсь, этого уже никто подсчитать не сможет.

Рядом с ним сидели в тот день двое других, совершенно безвестных судей — Кандыбин и Буканов. Их имена мы найдем в сотнях других приговоров с тем же самым финалом: доверие, стало быть, они оправдали. Молча внимали происходящему и столь же безропотно подписывали заранее заготовленные бумаги.

Человека, которого первым ввели в «зал заседаний», судьи знали отлично. Впрочем, совсем никому не знакомых туда вообще не вводили: Ульрих судил знаменитостей. Но этого подсудимого знали не только судьи — знала страна. И по имени, и в лицо. Его снимки множество раз публиковались на газетных страницах, кинохроника, заменявшая тогда телевидение, из журнала в журнал представляла его — на борту самолетов-гигантов, на испанской земле — под фашистскими бомбами, на полях и в шахтах, на солдатских учениях и театральных премьерах.

Это был Михаил Кольцов, известный публицист, член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР. Бывший, бывший... Ибо теперь он был заурядным шпионом. Агентом трех разведок — германской, французской, американской. Членом антисоветского подполья с двадцать третьего года, «пропагандировавшим троцкистские идеи и популяризировавшим руководителей троцкизма», террористом с тридцать второго, намеревавшимся убить неизвестно кого, как, когда и за что. Признавшимся абсолютно во всем. Так было сказано в обвинительном заключении, уместившемся на двух с половиной страницах.

— Желаете чем-нибудь дополнить? — спросил подсудимого Ульрих.

— Не дополнить, а опровергнуть, — сказал Кольцов. — Все, что здесь написано, — ложь. От начала и до конца.

— Ну как же ложь? Подпись ваша?

— Я поставил ее... После пыток... Ужасных пыток...

— Ну вот, теперь еще вы будете клеветать на органы... Зачем усугублять свою вину? Она и так огромна...

— Я категорически отрицаю... — начал Кольцов, но Ульрих прервал его:

— Других дополнений нет?

Он укладывался в двадцать минут. Даже чуть сэкономил.

Когда 14 лет спустя подполковник юстиции Аракчеев проводил проверку этого дела, его поразила не просто полнейшая безосновательность обвинения, но отсутствие малейшей попытки создать даже видимость доказательств. Свести хоть както концы с концами. Оставить в деле какие-то признаки следственных поисков.

В постановлении на арест, составленном через сутки после того, как Кольцов уже находился в тюрьме, указана такая причина ареста: его «родной брат, историк Фридляндер, расстрелян как активный враг народа...». Хотя родство с кем бы то ни было само по себе вообще не может быть преступлением, горькая ирония заключается в том, что известный историк, декан исторического факультета МГУ и М. Кольцов, настоящая фамилия которого Фридлянд, не доводились друг другу никем. И нигде ни разу ни словом единым в обоих томах имя профессора, «родство» с которым послужило причиной ареста, больше не было упомянуто. О нем забыли.

Все обвинения рассыпáлись без всяких усилий, стоило только в них немного вчитаться. Но вчитываться тогда никто не хотел. Никто! Жалкая фантазия следствия интереса не представляла (ведь судьи-то знали, что это фантазия!), а проверка не имела ни малейшего смысла (ведь судьба жертвы была предрешена).

Вчитаемся все же — теперь.

В террористы Кольцова завербовал — так сказано в приговоре — Карл Радек, но самому Радеку эта вербовка почему-то в вину не вменялась.

Вместе с Кольцовым, сказано там же, был завербован полпред в Риме Борис Штейн. Но против Штейна дело не возбуждалось, репрессиям он не подвергался.

Сотрудница «Правды», писательница Тамара Леонтьева, арестованная на несколько месяцев раньше, «призналась» под пыткой следователю Макарову, что вместе с Кольцовым состояла в какой-то троцкистской группе. Но особое совещание НКВД (даже оно!) дело против Леонтьевой прекратило: ей выпал счастливый билет.

Кольцову не выпал. «Расстрел», — привычно произнес Ульрих. Подсудимому не дали вымолвить слова: за дверью ждала уже вызова новая жертва.

Это был человек, чье имя знал весь цивилизованный мир. Великий реформатор театра, которого еще при жизни знатоки

называли гением, а невежды — трюкачом, формалистом, исказителем классики. Всеволод Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 г. Сразу же после речи, произнесенной в присутствии Вышинского (см. статью «Царица доказательств»), он выехал в Ленинград, чтобы помочь Институту имени Лесгафта поставить театрализованное зрелище на предстоящем физкультурном параде. Тут его и схватили.

Следствие длилось 7 месяцев. Сначала Мейерхольд признался, что он английский и японский шпион, троцкист с 1923 г.; что в тридцатом году он «возглавил антисоветскую группу «Левый фронт», объединявшую все антисоветские элементы в области искусства» (ЛЕФ, кстати заметим, существовал только до двадцать девятого. — **А. В.**); что в тридцать третьем «установил организационную связь с... Рыковым, Бухариным и Радеком, по заданию которых проводил подрывную деятельность в области театрального искусства»; что тремя годами позже его завербовал в троцкистскую организацию (еще в одну!) Илья Эренбург, а в английские шпионы — известный поэт, до недавнего времени полпред Литвы в Советском Союзе Юргис Балтрушайтис...

От этого бреда Мейерхольд нашел в себе силы и мужество отказаться еще на стадии следствия. За три недели до суда, 13 января 1940 года, он обратился с письмом к Вышинскому, которого по-прежнему считал прокурором Союза, хотя еще до ареста Мейерхольда Вышинский уже работал в другом качестве. Но истинное место Вышинского, его настоящая роль была Мейерхольду известна...

«...Меня клали на пол лицом вниз, — писал режиссер академику, — жгутом били по пяткам, по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам. Следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места налили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Руками меня били по лицу... Следователь все время твердил, угрожая: «не будешь писать, будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного тела». И я все подписывал до 16 ноября 1939 г.».

Такое же заявление Мейерхольд написал на имя Председателя Совнаркома СССР, почетного академика В. М. Молотова.

От академиков ответ не пришел. Впрочем, «суд» и был ответом.

Собкор «Известий» Илья Эренбург жил в это время в Париже и рвался в Москву, не имея понятия о том, что он кого-то куда-то завербовал. О том, что они тоже завербованы Эренбургом — в ту же самую организацию, — не имели представления и другие ее члены: Юрий Олеша и Борис Пастернак. Когда в 1955 г. военный прокурор, старший лейтенант юстиции Ряжский начал проверку «дела Мейерхольда-Райха В. Э.», он безуспешно пытался найти в архиве дела заговорщиков Эренбурга, Олеши и Пастернака. Все трое — живыми и невредимыми — явились по вызову к старшему лейтенанту, но даже от него, по счастью, так и не узнали, что против них затевалось.

Шел, напомню, всего лишь пятьдесят пятый год, до Двадцатого съезда оставалось несколько месяцев, портреты Сталина еще были украшением улиц и кабинетов, к имени его по-прежнему добавлялось: «вождь и учитель». Процесс реабилитации жертв сталинизма только-только еще начинался. Поэтому прокурор решил оснастить свое заключение с максимальной солидностью. Так появились в прокурорском досье свыше пятидесяти отзывов о Мейерхольде, принадлежащих перу крупнейших деятелей советской культуры.

Случай, думаю, беспримерный: самое полное собрание отзывов о вкладе режиссера в мировое искусство находится не в ЦГАЛИ, а в прокуратуре. Имена-то какие!.. Шостакович, Пастернак, Эренбург, Вс. Иванов, Ромм, Назым Хикмет, Охлопков, Ильинский, Царев, Пырьев, Жаров, Гарин, Свердлин, Штраух, Оборин, Софроницкий, Образцов, Вивьен, Кукрыниксы, Завадский, Герман, Олеша, Юткевич, Г. Александров, Экк, Гиацинтова, Меркурьев, Дм. Орлов...

Отзыв И. Эренбурга совсем недавно опубликован («Вопросы литературы», № 12, 1987). Вот другие, еще не известные.

«Военному прокурору Б. В. Ряжскому.

Глубокоуважаемый Борис Всеволодович!

Я до сих пор не сдержал слова и не закрепил для Вас письменно нашего разговора о Мейерхольде, потому что все время очень занят. Вы помните наш разговор. Главное его существо заключалось вот в чем. Так же, как и Маяковский, я был связан с Мейерхольдом поклонением его таланту, удовольствием и честью, которое доставляло мне посещение его дома или присутствие на его спектаклях, но не общей работой, которой между нами не было, для меня и он, и Маяковский были людьми слишком левыми и революционными, а я для них был недостаточно радикален.

Я любил особенно последние по времени постановки Мейерхольда: «Ревизор», «Горе от ума», «Даму с камелиями». Дом Всеволода Эмильевича был собирательной точкой для всего самого передового и выдающегося в художественном отношении среди писателей, музыкантов, артистов и художников, бывавших у него. Наиболее сходной с ним по душевному огню и убеждениям, наиболее близкой ему братской фигурой был, на мой взгляд, Маяковский. Я не знаю, насколько решающим может быть мое мнение на этот счет. Вкратце вот самое живое, что я мог бы об этом сказать и вспомнить.

Будьте здоровы.

Ваш Б. Пастернак.

24 августа 1955 г.»

«Имя гениального Всеволода Мейерхольда, — писал прокурору Шостакович, — его выдающееся творческое наследие должны быть возвращены советскому народу». «...Нельзя вычеркнуть из истории советского и мирового театра творчество В. Э. Мейерхольда, художника огромного таланта, культуры и честности в искусстве», — взывал к правосудию Юткевич. «Обвинение В. Э. Мейерхольда в политическом вредительстве в области театрального искусства представляется всем нам, работникам советского искусства, чудовищной и ничем не обоснованной клеветой», — так начинал свое обращение в прокуратуру Завадский.

Ульрих и его подручные отправили Мейерхольда на казнь за двадцать минут. Их коллегам (в смысле только формальном!) — полковникам юстиции Сенику и Юткину, подполковнику юстиции Шалагинову — понадобилось куда больше времени, чтобы признать для всех очевидное: приговор абсолютно неправосуден! Очевидное с первых же строк: можно представить себе, чтó знали следователи о подследственном, судьи о подсудимом, если в обвинительном заключении и приговоре Мейерхольд назван главным режиссером Театра имени Станиславского, народным артистом СССР. Между тем, как известно, после разгона ГОСТИМа К. С. Станиславский пристроил опального гения на рядовую работу в своей оперной студии, а звания народного артиста СССР Мейерхольд так и не был никогда удостоен.

Как же стал он шпионом? Почему английским и японским, а не, скажем, цейлонским и гондурасским? Воля случая, прихоть судьбы... Стажироваться у Мейерхольда приехал вместе с женой, актрисой, молодой японский режиссер

Иошидо-Иошима: много ли нужно, чтобы психоз разоблачительства протянул сразу нити к японской разведке? (Разумеется, уничтоженные в ежовских подвалах Иошидо-Иошима и его жена давно реабилитированы.) Среди знакомых Мейерхольда был человек с английской фамилией Грей: вот и готов вожделенный повод пристегнуть режиссера к Интеллидженс сервис. Балтрушайтис? Он тоже «агент иностранных разведок». Каких? Прокурор Ряжский решил найти ответ и на этот вопрос. Нашел: французские спецслужбы, к примеру, считали, что «просоветски настроенный» Балтрушайтис «без сомнения, сторонник союза с большевиками» и «скорее всего русский агент...».

В самую пору смеяться, но слишком будет он горьким, этот сегодняшний смех.

2 февраля 1940 г. Мейерхольд и Кольцов были расстреляны. В те минуты, когда их казнили, Ульрих читал приговор Роберту Эйхе — вчерашнему еще кандидату в члены Политбюро, первому секретарю Западно-Сибирского крайкома партии, наркому земледелия СССР: конвейер продолжал работать безостановочно. Вечером, устав от праведных трудов, армвоенюрист пошел немного развлечься, расслабиться: в Кремле принимали седовцев, среди самых почетных гостей, список которых открывает Вышинский, значится и Ульрих. После ужина был концерт — пели Барсова, Лемешев, Рейзен, Козловский, танцевала Лепешинская, свое мастерство демонстрировали ансамбли Александрова и Моисеева, хор Пятницкого...

Кто, кроме Ульриха и еще нескольких человек, знал, что в этот день пуля палача оборвала жизнь гения? Театральная Москва жила по обычному расписанию. Во МХАТе шли «Мертвые души», в Малом — «Лес», в цирке удивлял публику чудесами Кио.

Шестью днями раньше не стало еще одного человека с мировым именем, прочно связанного — и в жизни, и в приговоре — с жертвами этого дня: 27 января был расстрелян Исаак Бабель, приговоренный накануне к смерти все тем же Ульрихом (его ассистентами на этот раз были Кандыбин и Дмитриев). Через 14 лет в заключении военного прокурора, подполковника юстиции Долженко о реабилитации Бабеля будет сказано: «Что послужило основанием для его ареста, из материалов дела не видно, так как постановление на арест было оформлено 23 июня 1939 г., то есть через 35 дней после ареста Бабеля. (Он был арестован 16 мая 1939 г. на даче в Переделкине. — **А. В.**)».

Мир знал его как большого писателя, судьи — как члена антисоветской троцкистской организации с 1927 года, агента

французской и австрийской разведок — с 1934-го. Догадаться о том, что послужило не основанием, но поводом для его ареста, как раз несложно. Только что отправился вслед за своими жертвами державший в страхе страну кошмарный Ежов — Бабель (об этом пишет и Эренбург в своих мемуарах) был знаком с женой Ежова и даже, сознавая, чем он рискует, с нею встречался. Это нашло отражение в приговоре: «Будучи организационно связанным по антисоветской деятельности с женой врага народа Ежова — Гладун-Хаютиной, последней Бабель был вовлечен в антисоветскую заговорщическую террористическую деятельность, разделял цели и задачи этой антисоветской организации, в том числе и террористические акты... в отношении руководителей ВКП(б) и Советского правительства».

На допросе, продолжавшемся трое суток без перерыва — с 29 по 31 мая 1939 г., — Бабель сначала отверг все обвинения, а потом — по не отраженной протоколом причине — внезапно круто изменил «линию поведения» и показал, что был членом шпионской троцкистской группы, куда его завербовал опять-таки Эренбург, а шпионом-связником был Андре Мальро, известный французский писатель, впоследствии министр в правительстве де Голля. Что продавал ему Бабель? Каламбуры и шутки? Застольные тосты? Нет, секреты военной авиации. Ни больше ни меньше...

Представит, наверное, интерес и состав группы террористов-троцкистов, в которую входил Бабель: кроме Эренбурга, мы встречаем там писателей Леонида Леонова, Валентина Катаева, Всеволода Иванова, Юрия Олешу, Лидию Сейфуллину, Владимира Лидина, кинорежиссеров С. Эйзенштейна и Г. Александрова, артистов С. Михоэлса и Л. Утесова, академика О. Ю. Шмидта и многих других.

Сегодня, кажется, уже никакая, даже самая изощренная фантазия безумцев, стряпавших дела на дьявольской кухне Ягоды, Ежова и Берии, не может нас удивить. И, однако, читая список «подпольщиков», чувствуешь, что сходишь с ума. Леонов — террорист?! Катаев — диверсант?! Олеша — заговорщик? Полно, не может быть...

Но нет, список не так уж безумен. Все это не только яркие таланты, что само по себе не имеет прощения, не только люди независимых суждений и критического склада ума, что никак их не украшает,--почти все они так или иначе имели неосторожность прогневать вождя. В эти самые дни подвергались разносу на высшем уровне «Метель» Леонова, «Домик» Катаева, «Бежин луг», над которым Эйзенштейн начинал работу вместе с Бабе-

лем. Еще раньше под огнем проработочной критики были Сейфуллина и Вс. Иванов. Вполне подходящие кандидаты для группы троцкистов!..

Несколько неожиданным выглядит в этой компании разве что Шмидт. И однако... Вот что сказал в своей речи на Первом съезде писателей герой-челюскинец, только что встреченный, обласканный, награжденный. Не кем-нибудь — Самим! «...Наша работа не нуждается в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждается в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы. Я не хочу употребить слова, но это заграничные методы одного из соседних государств». Яснее не скажешь! Зал хорошо понял оратора—недаром после этих слов в стенограмме записано: «аплодисменты»!

Шмидту на том же съезде вторил Бабель: «...выдуманные, пошлые, казенные слова... играют на руку враждебным нам силам... Невыносимо громко говорят у нас о любви... Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах». Не было таких недоумков, которые не поняли, в любви к кому объяснялись тогда через рупор. И вряд ли такая дерзость оратора могла остаться без всяких последствий.

Ему вспомнили и «Конармию», где «он описал,—сказано в обвинительном заключении,—все жестокости и несообразности гражданской войны, подчеркнув изображение только крикливых и резких эпизодов...». Следствие квалифицировало этот ставший классикой цикл рассказов как диверсию и измену.

Уже 10 октября 1939 г. Бабель от своих признаний отказался. «Прошу следствие учесть,—сказано в его заявлении,—что при даче прежних показаний я, будучи даже в тюрьме, совершил преступление, я оклеветал нескольких лиц». Об этом же он трижды писал Ульриху: 5 и 21 ноября 1939 г. и 2 января 1940 г. Просил свидания с прокурором, просил вызвать свидетелей, дать ему ознакомиться с делом, допустить адвоката. Тщетно...

26 января за считанные минуты Ульрих мудро во всем разобрался. Наутро Бабеля не стало.

Материал о преступной группе других террористов-троцкистов, агентов всех иностранных разведок ждал своего часа в секретном сейфе. Вероятно, было намечено устроить громкий процесс знаменитостей—писателей и артистов,—но отказ Мейерхольда, Кольцова и Бабеля даже после угроз и пыток признаться в своих «злодеяниях» сорвал, хотя бы на время, этот сладостный замысел. Ясное дело, как бомба с часовым ме-

ханизмом, «собранный» следствием материал мог взорваться в любую минуту, стоило только нажать на кнопку.

Таких впрок заготовленных показаний, которые, пожелай лишь вождь и учитель, тут же были бы у него на столе, лежало в сейфах навалом. Те материалы судебных дел, откуда я извлек сообщенные здесь факты, содержат сведения и о том, как выбивались на следствии «данные» против А. А. Андреева, А. А. Жданова, Л. М. Кагановича — «самых верных соратников» любимого и родного. И против других, ничуть не менее верных.

«Данные» могли пригодиться. Но — пронесло...

Родственникам погибших был сообщен результат. Для всех один и тот же: 10 лет дальних лагерей без **права переписки.** В текстах приговоров этой формулы, разумеется, нет, там ее заменяет одно короткое слово «расстрел». Кто-то придумал и внедрил этот страшный эвфемизм—чтобы «не возбуждать» и не сеять паники. Но секрета, в сущности, не было, все тогда знали, какая реальность скрывается за этой загадочной санкцией, даже для видимости не предусмотренной никаким законом.

Оттого-то, наверное, был запущен и безотказно действовал долгие годы механизм целенаправленных слухов. До родных и друзей время от времени доходили известия: лишенный права переписки жив и здоров, находится там-то и даже—со счастливой оказией — передает своим близким горячий привет.

О мифических встречах разных людей с Кольцовым рассказал в своих воспоминаниях его брат, художник Борис Ефимов. Жену Бабеля—А. Н. Пирожкову—официально уведомляли несколько лет кряду о том, что он жив, а летом 1952 г. «по поручению Бабеля» ее даже разыскал некий гражданин, «освобожденный из Средней Колымы», чтобы передать от мужа привет. Один из биографов Мейерхольда сообщает со слов «человека, вполне заслуживающего доверия», что тот «держал в руках» открытку от Всеволода Эмильевича — со штемпелем «одной из небольших забайкальских железнодорожных станций».

Едва ли не каждого, про кого официально и категорично не было сказано, что он казнен, то и дело «лично встречали» вездесущие очевидцы. Одна западная журналистка, сидевшая близ Воркуты с 1948 по 1953 г., описала свою встречу с виднейшим медиком, профессором Д. Плетневым, «которому было уже за восемьдесят». Он даже рассказывал ей, как отравил Горького: угостил начиненными ядом засахаренными фруктами. Плетнев умер, сообщала журналистка, летом пятьдесят третьего. Эта версия «просочилась» и в редакционный комментарий «Дружбы народов» к «Воспоминаниям о «деле врачей». Я. Рапо-

порта (1988, № 4). Увы... Плетнев был расстрелян 11 сентября 1941 г. в подвалах Орловской тюрьмы — там же и в тот же день, что и Христиан Раковский и многие другие (всего 154) ни в чем не повинные люди.

Повторяемость слухов, содержание которых сколочено по единой отработанной схеме, позволяет считать, что родились они и распространялись отнюдь не случайно. Сразу же после того, как Берия был ликвидирован, слухи эти прекратились: источник иссяк.

...В тюремной камере, наедине со следователями-садистами, ожидая суда и смерти, надеялись ли жертвы на то, что кто-то где-то кому-то скажет хоть слово—за них? Или осознавали всю нереальность даже мысли об этом? Ведь каждый, кто решился бы на столь отчаянный поступок, подписывал себе приговор.

Каждый ли, впрочем? Великий талант принадлежит человечеству, своей стране прежде всего, — не побуждает ли его спасение к поступку из ряда вон выходящему? Пусть даже к безумному. Престарелый академик Д. Н. Прянишников пробился к самому Берии, чтобы вырвать из его лап Николая Вавилова. Академик П. Л. Капица бесстрашно спасал Льва Ландау. Коллеги боролись, и небезуспешно, за Туполева, за Королева, за Рамзина. Кто бросился на амбразуру, чтобы спасти Мейерхольда? Тогда — не потом...

Через три недели после ареста Мейерхольда была зверски убита неведомо кем его жена — артистка Зинаида Николаевна Райх. Детей — ее и Сергея Есенина — предупредили: на следующий день после похорон убраться вон из квартиры. Под открытое небо... Их дед, Н. А. Райх, сумел дозвониться до прославленного артиста, депутата Верховного Совета СССР. Вряд ли маститому деятелю академической сцены была по душе эстетика Мейерхольда. Но разве тут до эстетики? Вместо сочувствия артист изрек: «Общественность отказывается хоронить вашу дочь».

Николай Андреевич Райх объяснил, что дочь похоронит сам, но просит вступиться за внуков, сохранить им кров. Ответ не замедлил: «Вас выселяют правильно».

«Общественность» одобряла. «Бунтовщиков» не нашлось. Страна упоенно пела: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Завтра наступала очередь того, кто сегодня молчал в надежде спастись самому. Цена молчания и последствия страха — вот главный урок, который о н и оставили н а м.

Правило давнее и непреложное: всем — по заслугам.

Мне хочется назвать поименно тех, кто лично участвовал в реабилитации, в восстановлении чести и доброго имени Бабеля, Кольцова и Мейерхольда. Это нужно, я думаю, сделать и в отношении всех, кто вернул нам другие—оболганные и оскорбленные — имена. Нельзя допустить, чтобы осталась неведомой и безымянной достойная всяческого уважения работа, которую с благородной добросовестностью провели юристы, реабилитировавшие тем самым в общественном мнении и загаженное их «коллегами» святое место блюстителя закона, вернувшие **правонарушительным** органам их подлинный статус органов **правоохранительных.**

Кроме тех, кто уже назван: военные прокуроры Жабин и Терехов, судьи — члены Военной коллегии Верховного Суда СССР Ченцов, Степанов и Сенин.

Но долг требует сказать: работа эта, особенно сначала, гладко не шла. Чтобы снять с убитых горы возведенной на них лжи, пришлось убеждать прокуроров в том, что Бабель — высоко ценимый Горьким писатель и патриот, что Кольцов всю жизнь верно служил революции, что Мейерхольд, ставя по-своему Грибоедова или Гоголя, отнюдь не собирался столь странным способом свергать Советскую власть, которой он служил с величайшей самоотдачей. В восстановлении, например, доброго имени Бабеля большую роль сыграли Екатерина Павловна Пешкова, Валентин Катаев и особенно Илья Эренбург, хлопотавший активно, неутомимо, причем не только по этому делу — при ином повороте событий столь бурную активность можно было бы с успехом обернуть против него: один террорист спасает других...

Всем — по заслугам. Скажем поэтому и о тех, облеченных званиями, возведенных на высокие посты, кто руководил так называемым следствием и лично участвовал в тех истязаниях, про которые писал Молотову и Вышинскому Всеволод Мейерхольд. Как раз об этих нелюдях известно меньше всего. Назову лишь то, что известно.

В недавних публикациях о судьбе Александра Косарева и других руководителей комсомола тридцатых годов промелькнули имена Шварцмана и Родоса — непосредственных истязателей и лжецов, бездарно сочинивших сценарий кровавого фарса. (Кстати, Берия и другие начальники этих мучителей были совсем иного мнения о творениях Шварцмана и Родоса. Они именовали сочиненные этой бандой протоколы допросов «истинными произведениями искусства»: так дословно записано в их показаниях). Оба эти «мастера искусств» впрямую

причастны и к уничтожению Бабеля, Кольцова и Мейерхольда.

Льву Ароновичу Шварцману, уроженцу Петербурга, безграмотному тупице, едва добравшемуся до седьмого класса неполной средней школы, исполнилось тогда тридцать лет. Борису Вениаминовичу Родосу из Мелитополя, чье образование завершилось в четвертом классе (он сам про себя написал потом в ходатайстве о помиловании: «Я — неуч»), было на три года больше. Впрочем, и надобности учиться у них не было никакой: на избранном ими поприще не требовалось ни просвещенности, ни диплома. Ближайшие сподвижники Берии, эти ветераны расправ с невероятной быстротой поднимались по служебной лестнице, за свое усердие в застенках стали полковниками, заместителями начальника следственной части по особо важным делам. (Родос с его четырехклассным образованием оказался после войны слушателем Военно-юридической академии, читал лекции в Высшей школе МВД по технике следствия и даже был автором учебных пособий «по внутрикамерной разработке арестованных», как значится в аттестации — автором «научных работ».) Полная атрофия к человеческим страданиям, беспримерный садизм, поражавший даже сообщников, и карьерная алчность делали их незаменимыми для фабрикации любого дела и добывания любых признаний: от кого угодно и в чем угодно.

Глухие к стонам и мольбам, сами они, став арестантами, требовали к себе внимания и сочувствия, заявили множество заведомо вздорных и, однако, удовлетворенных ходатайств, а Родос в знак протеста против «несправедливости» даже объявил голодовку. Участь их жертв, как мы помним, решалась в «суде» за двадцать минут, их самих же судили обстоятельно, неторопливо и с полным соблюдением законных прав, с участием свидетелей и экспертов (в том числе психиатров). Процесс Шварцмана длился три дня, Родоса — целых шесть, кстати сказать, в то самое время, когда работал Двадцатый съезд: великий драматург — Жизнь столь символично и многозначительно поставила в этой мистерии последнюю точку.

Конечно, не они задумали адскую мясорубку, не они отдали приказ «приступить к ликвидации»: им досталась лишь роль исполнителей. Но с каким сладострастием, с каким восторгом они играли ее! Финал процессов, где оба предстали в качестве подсудимых, для всех, я думаю, очевиден. Назову и других следователей, приложивших руку к уничтожению трех выдающихся деятелей советской культуры: Кузьминов, Воронин, Шипков, Сериков. Их, насколько я знаю, кара не постигла.

На этом можно было бы и закончить — я обещал рассказать только факты и только фактами ограничился, дав возможность читателю самому сделать необходимые выводы. Но есть одно соображение, которым хотелось бы поделиться.

Если были «враги народа», то, значит, были и его друзья. Врагом был Бабель, врагом — Мейерхольд. И Кольцов — тоже врагом. А Шварцман и Родос, Кузьминов и Воронин и те, кому нет числа, — с ними, под ними, над ними, — эти были друзьями народа. Его защитниками, спасителями и благодетелями. Избавившими нас от ненаписанных книг, от непоставленных спектаклей, от того, что развивало нашу культуру, приумножало духовное богатство и международный престиж страны. Страны, которая, потеряв несметные свои сокровища, радостно повторяла вслед за «друзьями народа», что теперь-то уж она богата, свободна и счастлива, как никогда.

Что они знали о своих жертвах? Что могли и хотели знать? В пятьдесят шестом году на процессе Родоса один из судей — полковник юстиции Рыбкин — спросил подсудимого, чем занимался «некий Бабель», которого тот беспощадно терзал. «Мне сказали, это писатель», — ответил Родос. «Вы прочитали хоть одну его строчку?» — продолжил судья. «Зачем?» — был ответ.

С этой манерой причинять зло, громогласно возвещая, что приносишь добро, мы все никак не можем расстаться. Во всяком случае — не могли до последнего времени. Неистребимая потребность в политиканской, угодливой практике, порождаемой зашоренным взглядом на реальности жизни, принесла нам потери, которые трудно исчислить.

Трудно — и, однако, возможно. О несостоявшихся творениях духа приходится только гадать. Убытки от одного лишь задавленного эксперимента Ивана Худенко, который погиб в тюрьме оболганным и униженным (про него «Литературная газета» писала множество раз), можно выразить в цифрах: только в годы застоя свыше 40 миллиардов инвалютных рублей, которые пришлось заплатить за хлеб, купленный на чужбине. Свой так и не вырос, но замечательного сына народа и дело его во благо народа запросто уничтожили — для общественной пользы.

Недавно, после публикации статьи «Царица доказательств», один юрист весьма высокого ранга, встретив меня, грозно спросил: «Так что же вы хотите сказать — мы продолжаем практику тридцать седьмого года?..» Демагогические ярлыки вместо деловых обсуждений, вместо извлечения уроков из прежних ошибок — эта мода тоже родилась не сегодня. Все же отвечу:

я хочу сказать именно то, и только то, что сказал. Что недавние судебные драмы ни прямо, ни косвенно, ни как-то еще с народным бедствием тридцать седьмого ничего общего не имеют. Ни в каком решительно смысле. И что это ясно любому без моих уточнений.

Но что навык угодливо исполнять чье-то поспешное Мнение, не считаясь с подлинными интересами общества, для иных юристов стал второй натурой, подкожным чувством, стереотипом профессионального поведения. И платить за это стране приходится непомерно большую цену.

Конечно, истоки того, что случилось в совсем недавние годы с лучшими нашими хозяйственниками — реабилитированным Снимщиковым, не реабилитированным и доныне Худенко и Белоконем, — нелепо искать в судьбе Мейерхольда или Кольцова, Вавилова или Чаянова. Дело не в поверхностных аналогиях, дело в сути. Дело в том, что «карающий меч» с завидным постоянством обрушивался на тех, кто — наша гордость, надежда и слава, находя опору для этого — нет, конечно же, не в законе, а в непререкаемых указаниях очередных временщиков. И всегда — ради нашего благоденствия...

Талант проявляет себя по-разному: один на сцене, другой в космосе, третий на колхозном поле. Но если это талант, он всегда неординарен, он ищет, пробует, дерзает, он не механический исполнитель, а активный творец, создающий новое, непривычное, еще не ставшее нормой. Почему же с такой готовностью, с такой упоительной страстью по первому зову свыше, да и по собственному почину в бой с талантом вступала юстиция? В бой неравный: ведь перед ее могучею силой талант беззащитен.

Вот какая мысль не покидала меня, когда я работал над этой статьей. И еще — мысль о том, что верность закону требует мужества и убежденности, чтобы отвергнуть любое давление, любой незаконный приказ. Иначе честному человеку лучше уйти, подыскать работу, не сопряженную с непосильным для него героизмом и отчаянным риском. И о том еще, что конституционный принцип: «Судьи... независимы и подчиняются только Закону» — завершается точкой. У него нет продолжения: «...а также тем, кто поставил себя выше закона». Если есть такие, кто выше, значит, нет законности, нет справедливости. Значит — нет права.

И последнее — то, с чем (я знаю!) не все согласятся. Горе страны, подвергавшейся ужасам беззакония, огромно. Но его, я думаю, не утешить реальным, видимым или посмертным, символическим судилищем над теми, кто это горе принес. Не надо больше судилищ! Надо лишь всех назвать поименно: лично причастных к убиению невиновных. Вдохновителей, исполнителей, истязателей — всех! Живых или мертвых.

Василий Поликарпов,
доктор исторических наук

Федор Раскольников

«Мне очень радостно было получить письмо от пионеров отряда имени Ф. Ф. Раскольникова из села Гольяны Удмуртской АССР. Из их письма я узнал, что юные ленинцы ведут большую работу по сбору материалов о героях революции, просят здравствующих участников революции и гражданской войны прислать им воспоминания о том героическом времени...» Эти слова старого революционера, большевика с 1912 года У. И. Манохина возвращают нас к драматической судьбе, в которой парадоксально переплелись разные эпохи нашей жизни. Как говаривали любимые герои Юрия Трифонова, человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. И вот перед нами один такой нерв истории, обнаженный и саднящий всеми болями, пережитыми нашим народом за 70 лет.

С того света

...Вместе с другими коммунистами, красногвардейцами, советскими работниками города Сарапула белогвардейцы затолкали У. И. Манохина в деревянную баржу, превращенную в плавучую тюрьму. Из Сарапула баржу отвели вверх по Каме и у села Гольяны поставили на якорь посреди реки. В течение многих дней людей держали в холоде, сырости, темноте, морили голодом. «Кто хочет жить, — кричал в люк появлявшийся время от времени фельдфебель, — выдавай комиссаров, коммунистов и матросов! Будете молчать — взорвем баржу, погибнете все, как мухи!» Предателей в трюме не находилось. Заключенных группами выводили на палубу, расстреливали, тела сбрасывали в Каму.

Но вот Сводная дивизия В. М. Азина отбила Сарапул у белых. Сюда же после боев с вражеской флотилией адмирала Старка, загнанной красной Волжской военной флотилией в реку Белую и заблокированной там, на помощь частям Азина привел три миноносца («Прыткий», «Прочный» и «Ретивый») командующий красной флотилией Ф. Ф. Раскольников. Немедленно, 17 октября 1918 г., он отправился с ними в белогвардейский тыл спасать «баржу смерти». Было непросто прорваться через линию фронта между Сарапулом и Гольянами, охраняемую вражескими батареями и пулеметами. Приказав спустить красные флаги, чтоб выдать миноносцы за белогвардейские, Раскольников подошел к Гольянам, увидел баржу и на ее палубе вооруженных людей в черных полушубках и косматых шапках, а на берегу напротив — группы солдат, трехдюймовое орудие и в амбразуре колокольни пулемет.

Когда «Прыткий» поравнялся с баржей, вахтенный начальник под диктовку командующего прокричал в мегафон:

— Его превосходительство адмирал Старк приказывает вам приготовиться. Сейчас возьмем баржу с арестованными на буксир и отведем в Уфу.

— А как же красные? — послышалось из конвоя. — Ведь они в Сарапуле.

— Сарапул сегодня занят нашими доблестными войсками. Красные бежали в Агрыз.

Стоявшему у пристани колесному буксиру с «Прыткого» было передано:

— По приказанию командующего флотом адмирала Старка возьмите баржу с арестованными и отправляйтесь в Уфу. Мы будем вас охранять.

Солдаты наблюдали с берега, как пароход, выполняя приказ, заводил буксирный конец, а потом дернул и потащил за собой баржу.

Конвойные на барже могли в последнюю минуту заподозрить неладное. В душе Раскольников опасался, как бы в отчаянии тюремщики не бросили в трюм ручные гранаты и не взорвали арестованных. Нужно было действовать быстро, решительно, не подавая врагу повода для сомнений.

В темноте отряд прошел через линию фронта. С «Прыткого» было видно, как на палубе смутно черневшей баржи мерцали светляками огоньки папирос. У сарапульской пристани матросы арестовали белогвардейских тюремщиков и свезли на берег.

Заключенные услышали топот ног и лязг оружия, люк

открылся, «и на фоне синего неба, — рассказывал У. И. Манохин, — мы увидели краснофлотца в бушлате и бескозырке с ленточками. Всматриваясь в могильную темноту трюма, он крикнул:

— Живы, товарищи?

Нам спустили лестницу. Оглушенные неожиданной радостью, стали подниматься на палубу. Мы обнимались, целовали своих освободителей...»

Дальше лучше всего предоставить слово Ларисе Рейснер, наблюдавшей происшедшее: «... Через живую стену моряков 432 (из 600 их уцелело только 432. — **В. П.**) шатающихся, обросших, бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавала какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света... Еще приближаясь к берегу, голосами, пролежанными на гнилой соломе, они начали петь «Марсельезу». И пение это не прекращалось до самой площади. Здесь представитель от заключенных приветствовал моряков Волжской флотилии, ее командующего и власть Советов. Раскольникова на руках внесли в столовую, где были приготовлены горячая пища и чай».

«Потом им выдали новую одежду. (Это уже рассказывает Раскольников. — **В. П.**). Поспешно и радостно они сбрасывали с себя грязные, оборванные рогожки и облекались в человеческое платье. Многие, скинув рогожи, тотчас надели красноармейскую форму и сразу отправились на фронт. 7 ноября 1918 года, в годовщину Великого Октября, после жаркого штурма красными войсками был взят Ижевский завод. В этом штурме принимали участие и освобожденные нами «баржевики». Некоторые из них сложили там свои преданные революции головы за победу и счастье рабочего класса, за Коммунистическую партию».

К 1966 году, когда писал свои воспоминания У. И. Манохин, подвиг моряков Волжской военной флотилии не был забыт, как не был забыт и тот, кого спасенные от гибели борцы за власть Советов несли на руках в Сарапуле в октябре 1918 года. И вполне понятно, почему в тех самых Гольянах, где был совершен подвиг, пионерский отряд получил в 1964 году гордое имя Ф. Ф. Раскольникова.

Через три революции

Раскольникову было ко времени подвига в Гольянах 26 лет (родился 28 января 1892 г. в Петербурге в семье священнослу-

жителя), а за его спиной уже было столько дел, что их хватило бы не на одну жизнь. «Еще в 1905—1906 гг. в 5 и 6 классах реального училища, — писал он впоследствии в автобиографии, — я дважды принимал участие в забастовках, причем один раз был даже избран в состав ученической делегации и ходил к директору училища с требованием улучшения быта, за что едва не был исключен из училища. Революция 1905 г. впервые пробудила во мне политический интерес и сочувствие к революционному движению, но так как мне было тогда всего 13 лет, то в разногласиях отдельных партий я совершенно не разбирался, а по настроению называл себя вообще социалистом... Политические переживания во время революции 1905 года и острое сознание социальной несправедливости стихийно влекли меня к социализму. Эти настроения тем более находили во мне горячий сочувственный отклик, что материальные условия жизни нашей семьи были довольно тяжелыми».

Учась с 1908 года в Петербургском политехническом институте, Раскольников серьезно увлекся марксистской литературой, которая «сделала» его, по его же признанию, марксистом, а в 1910 году 19-летний юноша вступает в социал-демократическую партию. Он сотрудничает в большевистской газете «Звезда», а как только начала издаваться «Правда», становится секретарем ее редакции.

Связав свою судьбу с ленинской партией, молодой революционер вступил на путь борьбы против самодержавия, на котором его ожидали суровые испытания. Уже в 1912—1913 гг. он узнал, что такое царская тюрьма и ссылка. Призванный на флот, он был направлен в Отдельные гардемаринские классы и учился там, продолжая партийную работу, вплоть до Февральской революции.

В середине марта 1917 г. партия направила Федора Раскольникова в Кронштадт редактировать газету «Голос правды». Войдя в руководящее ядро кронштадтской большевистской организации, он снискал огромный авторитет среди матросов, солдат и рабочих. Он принимает активное участие в работе Кронштадтского Совета. Матрос-большевик И. Н. Колбин принадлежал тоже к числу руководителей Кронштадтского комитета РСДРП(б), был членом Кронштадтского и Петроградского Советов, однако первенство во влиянии на массы признавал за Раскольниковым. «Федор Федорович, — писал он в воспоминаниях, напечатанных в 1927 г. в сборнике «Октябрьский шквал», — был гордостью кронштадтцев. Моряки и

рабочие сильно любили его. Молодой, энергичный руководитель организации, пламенный оратор, тов. Раскольников поднимал революционную энергию моряков. Они жили в постоянной готовности к битвам с капиталистическим строем».

3 апреля Раскольников участвует во встрече на станции Белоостров возвращавшегося из эмиграции В. И. Ленина, сопровождает его по пути в Петроград. Знакомство с Лениным оставило неизгладимый след у Раскольникова. Об этом дне он взволнованно, ярко рассказывал впоследствии в своих воспоминаниях. Встреча с вождем революции не была лишь эпизодом в биографии Раскольникова. Ему потом не раз приходилось выполнять ответственнейшие поручения Ленина.

На VII (Апрельской) Всероссийской конференции большевиков делегат от Кронштадта Раскольников слушал Ленина, начертавшего план борьбы за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Во главе кронштадтской делегации он совершил агитационную поездку по морским базам Балтийского флота: большевики заботились об усилении влияния партии в массах моряков.

В июльской мирной демонстрации в Петрограде Раскольников руководил многотысячной колонной матросов, прибывших из Кронштадта. В те дни Временное правительство готовило разгром особняка Кшесинской, где помещались Центральный и Петербургский комитеты большевистской партии. Военная организация при ЦК поручает Раскольникову охрану центральных учреждений партии, назначив его комендантом здания.

В июле одержала верх реакция. Временное правительство арестовало и посадило в тюрьму многих активных работников партии: В. А. Антонова-Овсеенко, А. В. Луначарского, П. Е. Дыбенко и других. Был арестован и Раскольников. Выйдя через три месяца на свободу, он участвует в подготовке к Октябрьскому вооруженному восстанию. В октябрьские дни он — член Петроградского военно-революционного комитета. Ленин советуется с ним, как лучше использовать корабли для защиты революционной столицы от наступавших войск Керенского — Краснова. Раскольников и сам участвует в боях под Пулковом, а затем во главе отряда балтийцев отправляется на помощь восставшему пролетариату Москвы. По возвращении в Петроград он становится членом коллегии Морского комиссариата. В ноябре 1917 года Советская власть отменила офицерские чины, но состоявшийся вскоре I Всероссийский съезд военного

флота в ознаменование заслуг Раскольникова перед революцией своим решением производит его из мичманов в лейтенанты.

5 января 1918 года в Таврическом дворце открылось Учредительное собрание. Его контрреволюционное большинство отказалось признать Советскую власть и тем самым выявило свое антинародное лицо. Большевистская фракция во главе с В. И. Лениным, не желая участвовать в этом контрреволюционном сборище, решила покинуть зал заседаний. Ленин написал заявление фракции о разрыве с Учредительным собранием и поручил огласить его Раскольникову. Вскоре после того зал заседания покинула и фракция левых эсеров. В зале остались только депутаты правых, контрреволюционных партий. Тогда начальник караула матрос Анатолий Железняков предложил и им покинуть зал, «потому что караул устал». На том и закончилась история «учредилки».

Когда создавался новый, Рабоче-Крестьянский Красный Флот, Раскольников помогал Ленину в разработке вопросов, относящихся к морскому ведомству. Он участвовал и в подготовке декрета об организации Красного Флота, принятого на заседании СНК под председательством Ленина 29 января 1918 г. Входя в коллегию Народного комиссариата по морским делам, Раскольников развивает кипучую деятельность по строительству советского флота. Он был в числе руководителей знаменитого Ледового похода — перевода в феврале-мае 1918 года кораблей Балтийского флота из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт для спасения их от захвата германскими войсками, начавшими наступление в Прибалтике.

Раскольникову поручил Ленин выполнение трудной задачи — решения правительства о потоплении кораблей Черноморского флота в Новороссийской бухте в июне 1918 года, когда контрреволюционное офицерство намеревалось увести их в Севастополь, где они неизбежно попали бы в руки германских оккупантов. Говоря о выполнении этой задачи 28 июня в речи на конференции профсоюзов и фабзавкомов Москвы, Ленин сообщил: «Там действовал товарищ Раскольников, которого прекрасно знают московские и питерские рабочие по его агитации, по его партийной работе».

Из Новороссийска Раскольников с отрядом матросов пробился в Царицын. Вскоре он вернулся в Москву и был направлен ЦК партии с чрезвычайными полномочиями в Поволжье, где создавалось угрожающее положение. Насколько велико было доверие ЦК, которым пользовался Раскольников, свиде-

тельствует выданный ему мандат, в котором говорилось, что «он назначается ЦК РКП членом партийно-следственной комиссии, учрежденной для расследования поведения всех членов партии в связи с военными действиями на фронте, и уполномочен отстранять от всякой партийной и советской работы и исключать из партии всех членов партии, деятельность которых окажется несоответственной задачам партии и требованиям момента».

В июле 1918 года Раскольников назначается членом Реввоенсовета главного в то время Восточного фронта, а в августе вступает в командование только что созданной Волжской военной флотилией. Оказывая помощь 2-й армии Восточного фронта, флотилия зачастую двигалась по реке, опережая сухопутные войска. О подвигах моряков и их командующего повествует приказ № 7 Реввоенсовета Республики от 16 января 1920 года: «Награждается орденом Красного Знамени командующий Волжско-Камской флотилией тов. Раскольников за отличное боевое руководство флотилией в кампанию 1918 года, когда наша слабая Волжская флотилия остановила двигавшуюся с юга сильнейшую флотилию противника, за действия при взятии 10 сентября 1918 года красными войсками Казани, за отбитие под Сарапулом 17 октября 1918 года отрядом из трех миноносцев под личным его командованием баржи с 432 арестованными противником советскими работниками и за активную оборону низовьев и дельты Волги в кампанию 1919 г.».

2 сентября, с образованием Реввоенсовета Республики, Раскольников был введен в его состав. Успешно закончив боевую кампанию на Волге, он в ноябре 1918 года вернулся в Москву, в Народный комиссариат по морским делам, но в декабре во главе отряда особого назначения был послан в разведывательный морской поход под Ревель. Эсминец «Спартак», на борту которого находился Раскольников, близ Ревеля потерпел аварию и был окружен английскими крейсерами. Раскольников вместе с командой был захвачен в плен, его доставили в Лондон и около пяти месяцев продержали в Брикстонской тюрьме. В результате энергичных мер, принятых Советским правительством, в мае 1919 года он был освобожден в обмен на 17 английских офицеров, ранее взятых в плен на территории Советской республики.

По возвращении из Англии Раскольников назначается командующим Астрахано-Каспийской, затем Волжско-Каспийской флотилией. Под его командованием флотилия совершила в

1919—1920 гг. немало славных боевых дел, содействуя успехам наших сухопутных войск под Царицыном, в обороне Астраханн, прн занятнн форта Александровского, где былн захвачены в плен остаткн белого уральского казачества, н закончнла свой путь знаменнтой Энзелийской операцней. «...Вы блестяще справились с возложенной на вас боевой задачей...», — телеграфировал В. И. Леннн Ф. Ф. Раскольннкову 21 мая 1920 года в ответ на его донесение о выполненнн этой операцнн. Задача же, которую упоминал Леннн в телеграмме, состояла в том, чтобы внезапным набегом с моря на порт Энзелн, находившнйся на побережье Каспийского моря, вернуть уведенные туда деннкннцамн под защнту английских ннтервентов корабли, вооружение н военное нмущество бывшей белогвардейской флотилнн Каспнйского моря. Красная флотнлня успешно справнлась с этой задачей: она вернула Советской Россин 10 вспомогательных крейсеров, 7 транспортов, свыше 50 орудий, 20 тыс. снарядов, более 20 радностанцнй, 6 гидросамолетов и большие запасы военного нмущества. Велнко было н полнтнческое значение Энзелийской операцнн. «Захватом в плен всего белогвардейского флота, в течение двух лет нмевшего господство на Каспнйском море, — доноснл Раскольников Ленину, — боевые задачн, стоящне перед Советской властью на Каспин, всецело закончены. Отныне Российский н Азербайджанскнй советскне флоты являются еднным н полновластным хозяином Каспийского моря... Красный флот, завоевавший для Советской Республикн Каспийское море, приветствует с его южных берегов любимого вождя пролетарната товарнща Ленина».

21 мая 1920 года Леннн передал «славным красным морякам» флотилнн высокую оценку нх геронческой боевой работы, а Раскольннков — «за проявленную боевую доблесть, энергню и преданность делу защиты ннтересов пролетарната» — 7 июня 1920 года был награжден вторым орденом Красного Знаменн.

С нюня 1920 года по январь 1921-го Раскольников командовал Балтийскнм флотом. Во время дискусснн о профсоюзах он короткое время разделял взгляды оппознцнн. Преодолев нх, в дальнейшем всю жизнь последовательно боролся за ленннскую линню партнн.

В 1921—1923 гг. Раскольннков был полномочным представнтелем РСФСР в Афганистане. Проявив незаурядные качества днпломата, он много сделал для установлення дружественных взанмоотношений между Советской страной н

Афганистаном. Первым из советских дипломатов был отмечен орденом иностранного государства. С 1924 года Раскольников — главный редактор журналов «Молодая гвардия», «Красная новь» и издательства «Московский рабочий», председатель Главреперткома, член коллегии Наркомпроса и начальник Главискусства; в 1930—1938 гг. — полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии.

Раскольников был известен как талантливый литератор, автор публицистических работ, книг и пьес. В книге воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году» (1925 г.) он в яркой художественной форме рассказал о революционных подвигах моряков Балтийского флота в подготовке, свершении и вооруженной защите Великого Октября. Со страниц книги предстает великий образ В. И. Ленина, по личным впечатлениям описаны встречи с ним, кипучая деятельность вождя пролетарской революции и главы первого рабоче-крестьянского правительства. Позже, в 1934 году, Раскольников посвятил тем же событиям книгу мемуарных очерков «Рассказы мичмана Ильина» (Ильин — его настоящая фамилия). Его перу принадлежат книги «Афганистан и английский ультиматум» (1924 г.), «Пробудившийся Китай» (1925 г.). Фамилия Раскольникова стоит на титульном листе 1-го тома «Истории гражданской войны в СССР» в ряду составителей тома (1935, 1936 гг.). В 1934 году он был принят в члены Союза советских писателей. Сохранились его неопубликованные работы — на литературные темы, памфлеты на фашистских диктаторов — Гитлера, Муссолини, Пилсудского; среди его рукописного наследства — «Очерки по истории цензуры XX века».

Как его сделали «врагом народа»

В сороковых годах бывший управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич написал воспоминания «Владимир Ильич Ленин и Военно-Морской Флот». Они не были изданы. Через 20 лет, в 1964 году, извлечения из них опубликовал «Военно-исторический журнал». Вот как рассказывал Бонч-Бруевич о некоторых лично ему известных эпизодах времен революции и гражданской войны:

«Вечером 27 октября (9 ноября) 1917 года Владимир Ильич дает поручение одному из морских офицеров организовать оборону Петрограда судами Балтийского флота».

«Владимир Ильич вызвал к себе находившегося в то время

в Кронштадте лично известного ему мичмана военно-морского флота и подробно инструктировал его, что нужно сделать в Новороссийске, требовал от него быть непреклонным, все выполнить от имени правительства. Владимир Ильич вручил ему особое верительное письмо, которое он должен был прочесть командному составу и матросам».

«Командированный офицер морского флота блестяще выполнил возложенное на него правительством и лично Владимиром Ильичем поручение. 18 июня 1918 года Черноморский флот был потоплен в Новороссийске...»

После того, что уже сказано выше, нет нужды особо пояснять, что человек, замаскированный Бонч-Бруевичем под «одного из морских офицеров», был не кто иной, как Раскольников. Автор записок не назвал его впрямую, так как хорошо знал, что начиная с 1938 года упоминать Раскольникова в печати стало чрезвычайно опасно, вернее, невозможно.

В чем же дело? Откуда такой страх перед именем героя, прах которого уже покоился в Ницце? Ответ на этот вопрос принес 12-й номер журнала «Вопросы истории КПСС» за 1963 год. В. С. Зайцев, который по поручению высших партийных органов участвовал в разборе «дела» Раскольникова, сообщил:

«После XVII съезда, он, находясь за границей, с тревогой наблюдает за развитием культа личности Сталина. В результате произвола и беззакония бессмысленно гибли ленинские кадры партии и Советского государства, выдающиеся военачальники, которых Раскольников лично знал по гражданской войне, дипломатические работники, неугодные Сталину. Все это настораживало Раскольникова. Работая в Болгарии, он стал замечать, как подосланные Ежовым, а затем Берия агенты ведут за ним слежку.

В июле 1939 года, находясь во Франции, Раскольников узнает, что на Родине он объявлен «врагом народа» и поставлен вне закона.

Тогда, оказавшись в чрезвычайно трудных условиях, Ф. Ф. Раскольников решает начать борьбу с культом личности Сталина. 26 июля он публикует открытое заявление «Как меня сделали «врагом народа», в котором решительно выступает в защиту себя и других невинно пострадавших видных деятелей партии и Советского государства».

На протяжении 1936—1937 годов Наркоминдел неоднократно вызывал его из Софии в Москву якобы для переговоров о новом назначении то в Мексику, то в Чехословакию, то в

Грецию, то в Турцию. Чувствуя «явно несерьезный характер таких предлогов (как иначе было воспринимать их, если, например, с Мексикой у СССР тогда не было даже дипломатических отношений?), Раскольников отказывался от этих предложений, заявляя, что он «удовлетворен своим пребыванием в Болгарии». Наконец Наркоминдел потребовал его немедленного выезда в Москву, обещая неопределенное «более ответственное» назначение.

«1 апреля 1938 года, — писал потом Раскольников в открытом заявлении, — я выехал из Софии в Москву, о чем в тот же день уведомил по телеграфу Наркоминдел... Вся советская колония в Болгарии провожала меня на вокзале». Но в Москву Раскольников не приехал. Случилось неожиданное. В том же заявлении он рассказал об этом так: «5 апреля 1938 года, когда я еще не успел доехать до советской границы, в Москве потеряли терпение и во время моего пребывания в пути скандально уволили меня с поста полпреда СССР в Болгарии, о чем я, к своему удивлению, узнал из иностранных газет. При этом даже не был соблюден минимум приличия: меня даже не назвали товарищем. Я — человек политически грамотный и понимаю, что это значит, когда кого-либо снимают в пожарном порядке и сообщают об этом по радио на весь мир.

После этого мне стало ясно, что по переезде границы я буду немедленно арестован.

Мне стало ясно, что я, как многие старые большевики, оказался без вины виноватым. А все предложения ответственных постов от Мексики до Анкары были западней, средством заманить меня в Москву.

Такими бесчестными способами, недостойными государства, заманили многих полпредов. Л. М. Карахану усиленно предлагалась должность посла в Вашингтоне, а когда он приехал в Москву, то его арестовали и расстреляли.

В. А. Антонов-Овсеенко был вызван из Испании под предлогом его назначения наркомом юстиции РСФСР. Для придания этому назначению большей убедительности постановление о нем было даже распубликовано в «Известиях» и «Правде». Едва ли кто-либо из читателей газет подозревал, что эти строки напечатаны специально для одного Антонова-Овсеенко.

Поездка в Москву после постановления 5 апреля 1938 года, уволившего меня со службы, как преступника, виновность которого доказана и не вызывает сомнений, была бы чистым безумием, равносильным самоубийству.

Над порталом собора Парижской богоматерн среди других скульптурных изображеннй возвышается статуя святого Дениса, который смиренно несет собственную голову. Но я предпочитаю жить на хлебе и воде на свободе, чем безвинно томиться и погибнуть в тюрьме, не имея возможности оправдаться в возводимых чудовищных обвинениях».

Оставаясь за границей, Раскольников, «несмотря на неслыханно возмутительное увольнение с поста», проявлял выдержку и лояльность по отношению к Советскому правительству. 12 октября 1938 года он был вызван в полпредство СССР во Франции, где посол Я. З. Суриц сообщил, что у Советского правительства, «кроме самовольного пребывания за границей, никаких политических претензий» к нему нет, предложил Раскольникову ехать в Москву, гарантируя, что по приезде ему «ничего не угрожает». Но Раскольников хорошо знал, что одно только «самовольное пребывание за границей» независимо от того, чем оно вызвано, расценивалось тогда как измена Родине с вытекающими отсюда последствиями.

18 октября он послал письмо Сталину, в котором заявил, что не признает обоснованным это единственное тогда обвинение, что его временное пребывание за границей «является не самовольным, а вынужденным». «Я никогда не отказывался вернуться в СССР», — писал Раскольников.

О том, что произошло потом, мы узнаем из цитированного выше заявления «Как меня сделали «врагом народа»:

«С тех пор никаких новых требований о возвращении мне предъявлено не было.

Мое обращение в парижское полпредство с просьбой о продлении паспорта осталось без ответа.

Сейчас (это писалось 22 июля 1939 г. — **В. П.**) я узнал из газет о состоявшейся 17 июля комедии заочного суда. Принудив уехать из Софии, меня объявили «дезертиром»; по произволу уволив со службы, объявили, что я отказался вернуться в СССР, игнорируя мое документальное заявление Сталину, что я никогда не отказывался и не отказываюсь вернуться в СССР.

Мою лояльность объявили «переходом в лагерь врагов народа».

Это постановление лишний раз бросает свет на сталинскую юстицию, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные «враги народа» и какие основания достаточны Верховному суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания».

Раскольников заканчивал это заявление с полным сознанием достоинства коммуниста-ленинца и гражданина Страны Советов:

«Объявление меня вне закона продиктовано слепой яростью на человека, который отказался безропотно сложить голову на плахе и осмелился защищать свою жизнь, свободу и честь.

Я протестую против такого издевательства над правосудием и требую гласного пересмотра дела с предоставлением мне возможности защищаться».

Возможности защищаться в суде он не получил.

В конце августа 1939 года, находясь в Ницце (юг Франции), Ф. Ф. Раскольников заболел воспалением легких и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Вскоре у больного возник также и менингит, от которого он и скончался 12 сентября. Прах его покоится в фамильном склепе одной из французских семей в городе Ницце.

Целых четверть века на славном имени революционера, дипломата, литератора, политического деятеля ленинской школы висело проклятие клеветы. Ее трудно было бы рассеять, если бы не собственные свидетельства Раскольникова в виде заявления «Как меня сделали «врагом народа» и последнего открытого письма Сталину. В письме, написанном незадолго до смерти, Раскольников, самозабвенно веривший в моральные силы своего народа, высказал надежду, что недалеко то время, когда режим произвола и беззакония, насажденный Сталиным, будет разоблачен и восторжествует справедливость, за которую отдали жизни поколения революционеров. Такое время пришло. Оно ознаменовано в жизни Советской страны XX и XXII съездами партии. 10 июля 1963 года решением Пленума Верховного Суда постановление 1939 года по «делу» Раскольникова было отменено «за отсутствием в его действиях состава преступления», и он был восстановлен в рядах Коммунистической партии, служению которой отдал 30 лет своей сознательной жизни.

Последний подвиг

После четвертьвекового замалчивания и поношения имени Раскольникова мы узнали, что все это основывалось на злостных вымыслах. «Вопросы истории КПСС» черным по белому утверждали, что слава героя Октября и гражданской войны осталась незапятнанной, что до конца своих дней Раскольников

«оставался большевиком, ленинцем, гражданином Советского Союза. Находясь в изгнании, он ничем себя не скомпрометировал». Тогда же, в декабре 1963 года, мы узнали и об открытом письме Раскольникова Сталину от 17 августа 1939 года. Из него стало ясно, что в партии и в годы культа личности Сталина были здоровые силы, которые не мирились с произволом и отступничеством от ленинских норм общественной жизни, возведенными в ранг правительственной политики. Особую тревогу Ф. Ф. Раскольникова вызвало истребление опытных командных кадров армии и флота. Он предупреждал, что это ведет к ослаблению Советских Вооруженных Сил и чревато серьезными последствиями в случае войны с фашизмом, а столкновение с гитлеровской Германией он считал неизбежным.

Обращаясь к Сталину, Раскольников заявил во всеуслышание:

«С помощью грязных подлогов Вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые Вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.

Вы заставили идущих за Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей. В лживой истории партии, написанной под Вашим руководством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги».

Мы только сейчас, осмысливая процесс перестройки общественной жизни, обнаруживаем застой и догматизм в гуманитарных науках, в искусстве. Письмо Раскольникова позволяет проследить эволюцию этих явлений, вскрыть их истоки, привлекает внимание к факторам, определяющим их живучесть, без выявления которых невозможно их выкорчевывание. Характерным для Раскольникова — и в этом урок, который дает нам большевик ленинского поколения, — было беспощадное обнажение образовавшегося зла, без скидок на те «объективные» причины, которые часто преднамеренно используются для его оправдания.

«Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», — писал Раскольников, — Вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной Вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не

может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом. Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь Вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает Вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность». Бездарные графоманы славословят Вас, как полубога, рожденного от Луны и Солнца, а Вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести. Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова? Вы арестовали их, Сталин».

Только недавно в нашей печати стало «новостью» то, что в ненастные годы сталинского самоуправства отбывали заключение по вздорным обвинениям С. П. Королев, Д. С. Лихачев и другие деятели культуры, науки и техники. И поэтому впрямь сенсацией звучат разоблачения, сделанные Раскольниковым в те времена, когда все это творилось.

«Вы лишили советских ученых, — писал он автору лозунга «Кадры решают все», — особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной. Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах. Выдающихся русских ученых с мировым именем академиков Ипатьева и Чичибабина Вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для Вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из Вашего «рая», оставляя Вам Ваши «благодеяния»: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой. Вы истребляете талантливых русских ученых. Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин! Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали Мейерхольда, Сталин».

Вспомним, открытое письмо Сталину Раскольников написал 17 августа 1939 года, за две недели до нападения фашистской

Германии на Польшу, которым началась вторая мировая война. В это время Сталин пребывал в плену иллюзий о возможности предотвращения военного конфликта с Германией, от которых он так и не освободился ни в 1939, ни в 1940 и 1941 годах.

Раскольников бил тревогу. Уже тогда он расценивал обстановку как «грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлено против Советского Союза». В военных действиях, которые уже вели Германия и Япония в Западной Европе и Китае, он видел «лишь подготовку плацдарма для будущей интервенции против СССР», считая, что «главный объект германо-японской агрессии — наша Родина». Перед лицом нараставшей угрозы с особой остротой Раскольников воспринимал подрыв Сталиным обороноспособности страны путем истребления наиболее ценных кадров.

«Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, — писал он Сталину, — Вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел».

Не меньшую боль вызвало у него положение в армии и на флоте:

«Накануне войны Вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским. Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову техники и сделали ее непобедимой. В момент величайшей военной опасности Вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров. Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин. Для успокоения взволнованных умов Вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала еще сильнее. Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, Вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль. Не доверяя красным командирам, Вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину. Под нажимом советского народа Вы лицемерно воскрешаете культ исторических рус-

ских героев: Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут Вам больше, чем казненные маршалы и генералы. Пользуясь тем, что Вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной Вами воде, в изобилии подбрасывают Вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей. В созданной Вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Народного комиссариата внутренних дел, которому Вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному» документу верят — или притворяются, что верят, — как неоспоримому доказательству...»

Этому письму Раскольников предпослал эпиграф — две строчки из «Горя от ума»: «Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи». Может возникнуть вопрос: не сгущает ли он краски для оправдания этого обещания? Но вот перед нами подсчеты, сделанные генерал-лейтенантом А. И. Тодорским: сталинские репрессии вырубили из пяти маршалов трех (А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер); из пяти командармов 1-го ранга — трех; из 10 командармов 2-го ранга — всех; из 57 комкоров — 50; из 186 комдивов — 154; из 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го ранга — всех, из 28 корпусных комиссаров — 25; из 64 дивизионных комиссаров — 58; из 456 полковников — 401.

Это сведения о командирах и политработниках, первыми удостоенных персональных воинских званий в ноябре 1935 года. А. И. Тодорский не касался тех, кому эти звания присваивались в последующем, не суммировал потери от репрессий за какой-то период — выяснял лишь масштаб потерь в тогдашнем первом эшелоне военных кадров, «вынесших на своих плечах в чисто военном смысле гражданскую войну». Если же взять хотя бы короткий период с мая 1937 по сентябрь 1938 года, то окажется, что за эти 16 месяцев репрессиям подверглись командующие войсками, члены военных советов и начальники политуправлений всех военных округов, все командиры корпусов, дивизий и бригад, около половины командиров полков и около трети комиссаров полков, многие преподаватели высших и средних военных учебных заведений.

Известный итог «чистки в Красной Армии в 1937—1938 годах» огласил Ворошилов на заседании Военного совета при наркоме обороны в конце ноября 1938 года: «Мы вычистили

более сорока тысяч человек... Из 108 членов Военного совета старого состава осталось лишь 10 человек».

Мало сказать, что армия была обезглавлена. Когда началась война, оказалось: командных кадров не хватало настолько, что призыв их из запаса не покрывал даже половины потребности армии. Для восполнения потерь от репрессий пришлось выдвигать на руководящие командные должности малоподготовленных командиров. К началу войны в Вооруженных Силах в целом только 7 процентов командиров имели высшее военное образование, а более трети не прошли полного курса обучения и в средних военных учебных заведениях. Вступая в войну, примерно три четверти командиров и более двух третей политработников имели стаж службы в занимаемых должностях до одного года. Приведя эти подсчеты в шестом томе Истории Великой Отечественной войны Советского Союза (1965 г.), Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС пришел к выводу: острый недостаток в опытных командирах, образовавшийся в Красной Армии вследствие массовых репрессий при культе личности Сталина, явился одной из существенных причин наших неудач в первый период войны.

Заканчивая письмо Сталину, Раскольников писал:

«Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список имен Ваших жертв! Нет возможности все перечислить. Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».

Эта надежда выдающегося деятеля партии и Советского государства, революционера-ленинца стала сбываться. Партия осудила культ Сталина, сделав достоянием гласности факты его злоупотреблений властью. Осталось глубоко исследовать причины и условия возникновения культа, исторический опыт борьбы против него. Письма Раскольникова служат ценным источником для такого исследования: они показывают, что в рядах партии большевиков выросли под ленинским руководством несгибаемые борцы, навсегда сохранившие верность знамени марксизма и способные в чрезвычайных ситуациях отстаивать честь партии и чистоту идеалов социализма. Письма доносят до нас из полувековой давности голос мужественного большевика-ленинца.

Раскольникову трудно было решиться на открытое осужде-

ние сталинизма, о чем он признался в письме от 17 августа 1939 года. Тем не менее он нашел душевные силы, чтобы превозмочь боль и опасность и сказать правду, о которой мало кто решался говорить.

Не у всех достало гражданского мужества перестать молчать не только тогда, но даже и после того, как культ Сталина был осужден партией. Благодушная характеристика Сталина возводилась иными деятелями от науки в новую незыблемую догму: несмотря на нанесенный культом личности ущерб делу социалистического строительства «в отдельных сферах жизни общества», ни он сам, ни его последствия «ни в коей мере не вытекали из природы социалистического строя, не изменили и не могли изменить его характера». А уж отсюда выводилось поучение о том, что «нельзя признать ни теоретически, ни фактически правильным, когда в некоторых наших научных или художественных публикациях жизнь изображается только под углом зрения явлений культа личности и тем самым заслоняется героическая борьба советских людей, построивших социализм», как настаивал в октябре 1965 года тогдашний зав. Отделом науки и учебных заведений ЦК партии С. П. Трапезников. Приспособленческая же «научная» мысль угодливо развивала эту идею в январе 1966 года: к сожалению-де, в развенчании партией и народом «этого глубоко чуждого марксизму явления сказались чуждые марксизму субъективистские влияния, нашедшие отражение также в некоторых трудах историков. Получил распространение ошибочный немарксистский термин «период культа личности».

Анализ этого действительно глубоко чуждого марксизму явления, сделанный Раскольниковым, конечно, принципиально расходился с такого рода «идейными» установками. Насаждение их, сдерживание критики чуждых марксизму явлений как раз и объясняет нынешний застой в общественных науках. Бюрократическая «элита» в науке и пропаганде опиралась, разумеется, на официальные документы партии. Но вполне оправданно возникает вопрос: «Можно ли в современных условиях признать достаточным и исчерпывающим постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»? Не кажется ли нам, что оно не вскрыло всей сущности этого явления? И не слишком ли поспешно мы объявили его преодоленным?» (Коммунист, 1987, № 7, с. 120).

Послесловие к реабилитации

Все те, кто знал Раскольникова по совместной революционной, партийной и государственной работе, историческим документам и литературе, с удовлетворением восприняли решение высших государственных и партийных органов о его реабилитации как советского гражданина и коммуниста. В виде сборника «На боевых постах» Воениздат переиздал его воспоминания «Кронштадт и Питер в 1917 году» и «Рассказы мичмана Ильина». Пионерский отряд в Гольянах получил имя Раскольникова. Приглашенная в СССР его вдова М. В. Раскольникова и его дочь были радушно приняты в правлении Союза советских писателей, Военным советом Военно-Морского Флота, редакциями «Военно-исторического журнала» и «Огонька», моряками Балтики. Было решено перевезти прах героя на Родину и перезахоронить в Кронштадте. Окончившая Сорбонну дочь Раскольникова была принята на стажировку в Московский университет.

Но атмосфера всеобщего преклонения перед яркой фигурой возвращенного в строй героев Октября Ф. Ф. Раскольникова оказалась вдруг отравленной выступлением С. П. Трапезникова на совещании заведующих кафедрами общественных наук московских вузов 5 сентября 1965 года. Говоря о «субъективистском налете» в оценках отдельных личностей, которые в преобразовательных процессах «подчас стояли на противоположных позициях», он сказал о Раскольникове:

«В идейном отношении он был всегда активным троцкистом. Будучи полномочным представителем Советской страны, он отказался вернуться на Родину, совершил тяжкий поступок, а именно предательство. Письмо, в котором он мотивировал отказ вернуться в СССР, он отправил в один из самых грязных органов белогвардейцев — в парижский журнал «Новая Россия», издаваемый перед войной под редакцией небезызвестного вам Керенского и сотрудничавшего с ним Милюкова, где это письмо было использовано широко в антисоветских целях накануне войны. Сбратавшись с белогвардейцами, фашистской мразью, этот отщепенец стал оплевывать все, что было добыто и утверждено потом и кровью советских людей, очернять великое знамя ленинизма и восхвалять троцкизм. Только безответственные люди могли дезертирство Раскольникова, его бегство из Советского Союза расценивать как подвиг».

Повторная расправа с Раскольниковым, теперь уже пред-

принятая посмертно, должна была послужить предметным уроком и назиданием всем тем, кто еще жил идеями совершавшейся после XX съезда перестройки, и сигналом для активизации тех, кого съезд «смертельно напугал» и в чьих интересах было, по словам профессора А. П. Бутенко в «Московской правде», «остановить процесс очищения общества от бюрократизма и других негативных явлений».

Какова же на самом деле была цена «обличений», выдвинутых Трапезниковым? Нужно прямо сказать, что они были рассчитаны на неосведомленность слушателей. Неверна прежде всего фактическая основа обвинения. Трапезников заявил, будто письмо Раскольникова было напечатано в журнале «Новая Россия». Но письмо, о котором он ведет речь, было напечатано не в «Новой России», а в «Последних новостях», Керенский и Милюков не сотрудничали в одном органе, а имели разные издания: Керенский издавал «Новую Россию», а Милюков — «Последние новости». Это, конечно, мелочь, но такой борец против «трубадуров буржуазной идеологии» и «апологетов буржуазии», каким старался зарекомендовать себя Трапезников, должен был эти «мелочи» знать. А далее видно, что он смешивает воедино заявление и письмо Раскольникова, напечатанные в разных органах, и не знает обстоятельств их опубликования.

Раскольников не посылал письма в какую-нибудь газету, а по существующему во Франции порядку сдал в агентство «Гавас», которое предоставляло информацию всем газетам на общих основаниях, так что опубликование их в «Новой России» и «Последних новостях» зависело не от выбора Раскольникова. Не зная всего этого и исходя только из факта, что письма были напечатаны в этих газетах, Трапезников облыжно приписал Раскольникову прямую связь с белогвардейцами и, очевидно, для усиления эмоций договорился до его связи с «фашистской мразью». Увлекшись своими фантастическими обвинениями, он счел возможным наградить старого коммуниста, соратника Ленина позорной кличкой «отщепенец».

Был ли Раскольников «всегда активным троцкистом», как уверял Трапезников? Сам Раскольников в письме Сталину от 17 августа 1939 года писал:

«Как Вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой».

Может быть, Раскольников писал неправду и на это его заявление нельзя полагаться? Но вот свидетельство, скрепленное подписью Сталина, — справка, помещенная в 1-м томе «Истории гражданской войны в СССР», который вышел в 1935 и 1936 годах под редакцией Сталина (а также С. М. Кирова, А. А. Жданова и других):

«Раскольников Ф. Ф. (р. 1892) — большевик, член партии с 1910 г. В период войны — офицер морского флота. После февральской революции заместитель председателя Кронштадтского Совета, руководитель большевистской организации в Кронштадте. После Октябрьской революции руководитель Каспийского флота, очистившего Каспийское море от белогвардейцев и англичан. В настоящее время — полпред СССР в Болгарии».

Здесь ни звука нет о каком-либо троцкизме Раскольникова, хотя в справках о других лицах в том же именном указателе обязательно отмечалось их участие в оппозициях. Раскольников являлся и одним из составителей этого тома, вышедшего под редакцией Сталина.

Говоря об этом, мы не обходим того, что во время дискуссии о профсоюзах, будучи командующим Балтийским флотом, он разделял взгляды оппозиции, однако быстро порвал с ними. Но этот факт не может служить хоть в какой-то мере оправданием для диаметрально противоположной оценки Раскольникова, ибо Ленин учил партию не бичевать коммунистов за исправленные ошибки. «Перед самой Октябрьской революцией в России и вскоре после нее, — писал он, — ряд превосходных коммунистов в России сделали ошибку, о которой у нас неохотно теперь вспоминают. Почему неохотно? Потому, что без особой надобности неправильно вспоминать такие ошибки, которые вполне исправлены». Точно так же, по-видимому, как не было надобности вспоминать ошибки Ф. Э. Дзержинского, М. В. Фрунзе, допущенные в период борьбы Ленина за Брестский мир. Наконец, с бо́льшим основанием Трапезников мог приписать «троцкизм» Сталину, который 6 ноября 1918 года признал за Троцким «всю работу по организации [Октябрьского] восстания», утверждая, что «быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому».

Другое обвинение Раскольникова — в «дезертирстве», «бегстве из Советского Союза» — имеет под собой у Трапезникова

не больше оснований, чем предыдущие: эти обвинения были предъявлены ему в 1939 году, но отметены нашими высшими партийными и государственными органами при пересмотре «дела» Раскольникова и его реабилитации.

Что касается использования письма Раскольникова врагами, то они всегда манипулируют в своих целях документами, вскрывающими наши больные места. Точно так же они распространяли материалы партийных съездов, многие материалы печати, разоблачающие культ личности; их перепечатывали и по-своему комментировали не менее одиозные органы, чем газеты Керенского и Милюкова. Но никому в голову сегодня не приходит из факта перепечатки делать вывод о том, что авторы этих материалов «сбратались» с белогвардейцами и фашистами.

Ленин был совсем иного мнения в подобных случаях: «Мы не раз говорили, что все силы Советской власти покоятся на доверии и сознательном отношении рабочих... Мы нисколько не закрывали глаза на то, что всякое слово, которое будет здесь произнесено, будет перетолковываться, что к нашим признаниям будут прислушиваться агенты белогвардейцев, — но мы говорим: пусть! Мы гораздо больше пользы извлечем из прямой и открытой правды, потому что мы уверены, что если это и тяжелая правда, то когда она ясно слышна, всякий сознательный представитель рабочего класса, всякий трудящийся крестьянин извлечет из нее единственный верный вывод».

* *
*

20 лет, начиная с 1965 года, на имени Раскольникова снова висела клевета. Его имя вычеркивалось из текстов научных исследований и литературных произведений. Какой мерой измерить тот урон, который был нанесен всем этим воспитанию советских людей на революционных традициях?

В год славного 70-летия Великого Октября с большим душевным подъемом был воспринят призыв Центрального Комитета нашей партии: «В благодарной памяти советских людей вечно будут жить революционеры-ленинцы, сподвижники Ильича, которые заложили героические традиции большевизма и сквозь все невзгоды пронесли непоколебимую верность коммунистическим идеалам». Немеркнущим светом засияло среди этих подвижников коммунизма и имя героя революции Федора Федоровича Раскольникова.

«Неделя» 1988
№ 26

Федор Раскольников

Открытое письмо Сталину

Я правду о тебе
порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.

Сталин, Вы объявили меня «вне закона». Этим актом Вы уравняли меня в правах — точнее в бесправии — со всеми советскими гражданами, которые под Вашим владычеством живут вне закона.

Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю Вам входной билет в построенное Вами «царство социализма» и порываю с Вашим режимом.

Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол Вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата. Вам не поможет, если награжденный орденом уважаемый революционер-народоволец Н. А. Морозов подтвердит, что именно за такой «социализм» он провел 20 лет своей жизни под сводами Шлиссельбургской крепости.

Стихийный рост недовольства рабочих, крестьян, интеллигенции властно требовал крутого политического маневра, наподобие ленинского перехода к нэпу в 1921 году. Под напором советского народа Вы «даровали» демократическую конституцию. Она была принята всей страной с неподдельным энтузиазмом.

Честное проведение в жизнь демократических принципов конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии.

Но в Вашем понимании всякий политический маневр — синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.

Что Вы сделали с конституцией, Сталин?

Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего Вашей личной власти, Вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями Вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяин земли советской не Верховный Совет, а Вы. Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, Вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом Вашей личной диктатуры, Вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем «эпохи террора».

Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза — все в равной мере подвержены ударам Вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели.

Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.

Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и беспартийные кадры, выросшие в гражданской войне и вынесшие на своих плечах строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола.

Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с «троцкистско-бухаринскими шпионами», но власть в Ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог «пробраться» на ответственный пост без Вашего разрешения.

Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства, партии, армии и дипломатии?

— Иосиф Сталин.

Кто внедрял так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата?

— Иосиф Сталин.

Прочитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», а под ними красуется подпись: И. Сталин.

Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.

— Ищите и обрящете козлов отпущения, — шепчете Вы своим приближенным и нагружаете пойманные обреченные на заклание жертвы своими собственными грехами.

Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить Вам в лицо правду.

Волны самокритики «невзирая на лица» почтительно замирают у подножия Вашего пьедестала.

Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!

Но советский народ отлично знает, что за все отвечаете Вы, «кузнец всеобщего счастья».

С помощью грязных подлогов Вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые Вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.

Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что М. Горький умер естественной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос.

Зная, что все ложь, Вы поощряете своих клевретов:

— Клевещите, клевещите, от клеветы всегда что-нибудь останется.

Как Вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером и Гессом.

— Вы — повар, готовящий острые блюда: для нормального человеческого желудка они несъедобны.

Над гробом Ленина Вы произнесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить, как зеницу ока, единство партии. Клятвопреступник, Вы нарушили и это завещание Ленина.

Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др.,

невиновность которых Вам была хорошо известна. Перед смертью Вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.

А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко?

Вы арестовали их, Сталин.

Где старая гвардия? Ее нет в живых.

Вы расстреляли ее, Сталин.

Вы растлили и загадили души Ваших соратников. Вы заставили идущих за Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

В лживой истории партии, написанной под Вашим руководством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.

Вы уничтожили партию Ленина, а на ее костях построили новую «партию Ленина — Сталина», которая служит удачным прикрытием Вашего единовластия. Вы создали ее не на базе общей программы и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности Вам. Знание программы новой партии объявлено необязательным для ее членов, но зато обязательна любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением любви к Сталину.

Вы — ренегат, порвавший со своим вчерашним днем, предавший дело Ленина. Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижения новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниет в Ваших казематах? Скольких из них Вы расстреляли, Сталин?

С жестокостью садиста Вы избиваете кадры, полезные и нужные стране. Они кажутся Вам опасными с точки зрения Вашей личной диктатуры.

Накануне войны Вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.

Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой.

В момент величайшей военной опасности Вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.

Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров?

Вы арестовали их, Сталин.

Для успокоения взволнованных умов Вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала еще сильнее.

Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, Вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль.

Не доверяя красным командирам, Вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину.

Под нажимом советского народа Вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев: Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут Вам больше, чем казненные маршалы и генералы.

Пользуясь тем, что Вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной Вами воде, в изобилии подбрасывают Вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей.

В созданной Вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Народного комиссариата внутренних дел, которому Вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному» документу верят — или притворяются, что верят, — как неоспоримому доказательству.

Подсовывая агентам Ежова фальшивые документы, компрометирующие честных работников миссии, «внутренняя линия» РОВСа[1] в лице капитана Фосса добилась разгрома нашего полпредства в Болгарии от шофера М. И. Казакова до военного атташе В. Т. Сухорукова.

Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевания Октября. Под видом борьбы с текучестью рабочей силы Вы отменили свободу труда, закабалили советских рабочих и прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и на-

[1] Российский общевоинский союз — эмигрантская белогвардейская организация.

значений арестами и травлей инженеров, директоров и рабочих как «скрытых, еще не разоблаченных вредителей».

Сделав невозможной нормальную работу, Вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями» трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестких и антипролетарских декретов.

Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры.

Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что Вы ведете к социализму, но Вы обманули его доверие. Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житься радостно и легко.

Вы отняли даже эту надежду: Вы объявили социализм построенным до конца. И рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то за что боролись, товарищи?»

Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма-ленинизма, Вы устами ваших безграмотных доморощенных «теоретиков», занявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ.

Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с «разбазариванием колхозной земли» Вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих Вашу тактику, Вы сделали все, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.

Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», Вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной Вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не

может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом.

Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь Вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает Вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».

Бездарные графоманы славословят Вас, как полубога, «рожденного от Луны и Солнца», а Вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.

Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова?

Вы арестовали их, Сталин.

Вслед за Гитлером Вы воскресили средневековое сжигание книг.

Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 г. в полученном мною списке обреченной огню запретной литературы я нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилии многих авторов значилось: «Уничтожить все книги, брошюры и портреты».

Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной.

Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах.

Выдающихся русских ученых с мировым именем, академиков Ипатьева и Чичибабина Вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для Вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из Вашего рая, оставляя Вам Ваши благодеяния: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой.

Вы истребляете талантливых русских ученых.

Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин!

Нет области, нет уголка, где можно спокойио заниматься любимым делом. Директор театра, замечательиый режиссер, выдающийся деятель нскусства Всеволод Мейерхольд не заннмался политнкой. Но Вы арестовалн Мейерхольда, Сталин.

Зная, что прн нашей бедностн кадрами особенно цеиен каждый культурный н опытиый дипломат, Вы заманнли в Москву и уничтожили одиого за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат иародиого комиссариата иностраииых дел.

Уничтожая везде и повсюду золотой фонд страиы, ее молодые кадры, Вы нстребнлн во цвете лет талантливых н миогообещающих днпломатов.

В грозиый час военной опасиости, когда острие фашизма направлеио протнв Советского Союза, когда борьба за Данциг и война в Китае — лнщь подготовка плацдарма для будущей интервенцнн протнв СССР, когда главный объект германо-японской агрессии — иаша Родииа, когда едииствениая возможиость предотвращения войны — открытое вступленне Союза Советов в Международиый блок демократических государств, скорейшее заключенне военного и политического союза с Англией н Францней, Вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник между двумя «осями».

Во всех расчетах Вашей виешией и внутреиней политикн вы исходите ие нз любвн к Родние, которая Вам чужда, а из животного страха потерять лнчиую власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперек дорогн нашей страны. «Отец народа», Вы предалн побежденных испанских революциоиеров, бросилн нх на произвол судьбы и предоставили заботу о нних другим государствам. Великодушиое спасение жизни не в Вашнх прииципах. Горе побежденным! Онн Вам больше не нужиы.

Еврейских рабочнх, нителлигентов, ремеслеииков, бегущих от фашистского варварства, Вы равнодушио предоставили гнбелн, захлопиув перед нимн двери нашей страиы, которая на своих огромных просторах может прнютнть миогие тысячи эмнграитов.

Как все советскне патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слншком долго молчал. Мие было трудно рвать последние связн не с Вамн, не с Вашнм обреченным режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет, а Вы разгромнлн ее в три года. Мне было мучнтельно больно лншаться моей Роднны.

Чем дальше, тем больше ннтересы Вашей личной дикта-

туры вступают в непрерывный конфликт и с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой Вы измываетесь как тиран, добравшийся до единоличной власти.

Ваша социальная база суживается с каждым днем. В судорожных поисках опоры Вы лицемерно расточаете комплименты «беспартийным большевикам», создаете одну за другой привилегированные группы, осыпаете их милостями, кормите подачками, но не в состоянии гарантировать новым «калифам на час» не только их привилегии, но даже право на жизнь.

Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго.

Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список имен Ваших жертв! Нет возможности все перечислить.

Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов.

17 августа 1939 года[1]

[1] Вариант письма, опубликованный в еженедельнике «Неделя». Еще один известный вариант хранится в ЦГАЛИ.

Лев Овруцкий

Мера закона и безмерность беззакония

Политический лексикон тяготеет к однозначности и потому избегает образности. О перестройке говорят — «свежий ветер», «ветер перемен». В лучшем случае, что граничит с поэтической вольностью, «свежий ветер перемен». Желая внести посильную лепту в процесс метафоризации, но не выходя в то же время за рамки метеосравнений, хочу уподобить перестройку весеннему дождю, смывающему серый налет катаракты с наших хрусталиков. Отчего взгляд делается острее и подробнее.

Прозревая, мы замечаем, что жизнь укрупнилась. Куда-то подевались рядовые события, сегодня каждое приобрело отчетливые значение и смысл. Но и в этом неординарном событийном ряду одно недавнее выделяется по ранжиру. Я имею в виду состоявшееся 4 февраля 1988 г. постановление Верховного Суда СССР об отмене приговора в отношении Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, А. П. Розенгольца, М. А. Чернова, П. П. Буланова, Л. Г. Левина, И. Н. Казакова, В. А. Максимова-Диковского, П. П. Крючкова и Х. Г. Раковского. В марте 1938 г. они были осуждены по делу о так называемом антисоветском «право-троцкистском блоке».

Крошатся старые догмы, достигшие ветхости гербария. Все чаще социальная справедливость оборачивается справедливостью исторической. Думаю, большинство читателей распрямит плечи и вздохнет с облегчением и надеждой. Осенит себя неким атеистическим эквивалентом крестного знамения: «Наконец-то». Верили, ждали. Минуло 50 без малого лет.

Дождались.

Правда — не только горькое, но и обжигающее аорту лекарство. Щадящая дозировка, если не бесспорна, то по крайней мере объяснима. Из памятки лекаря: с незажившей

раны повязку срывай не разом, но осторожно и со смущением. Известно, как долго и скрупулезно разматывал Верховный Суд этот незамысловатый, казалось бы, клубок. Не след, говорят нам, нетерпеливым, толкать под руку и суетиться. Что ж, приемлю неспешность Фемиды, угадываю в ее фундаментальной повадке приметы неотвратимости.

Реабилитация — что веха на пути познания, о котором сказано: тяжкий. Зарубка на память и на покаяние. Фамусовское «подписано, так с плеч долой» пригодно для подметного письма, но не для гласного опровержения.

Будем помнить.

У меня в руках «Судебный отчет по делу антисоветского «право-троцкистского блока», изданный тогда же, в 38-м. Он доступен читателю, в отличие, скажем, от отчета о 3-м съезде Советов, который почему-то угодил в спецхран. Серый, невыразительный томик. 385 страниц, и цена соответствующая: 3 руб. 85 коп. По копейке, выходит, за страницу. На старые, конечно, очень старые деньги.

ВЫШИНСКИЙ. К чему сводились ваши цели?..

БУХАРИН. Прогноз сводился к тому, что будет большой крен в сторону капитализма.

ВЫШИНСКИЙ. А оказалось?

БУХАРИН. А оказалось совсем другое.

ВЫШИНСКИЙ. А оказалась полная победа социализма.

БУХАРИН. Оказалась полная победа социализма.

ВЫШИНСКИЙ. И полный крах вашего прогноза...

БУХАРИН. И полный крах нашего прогноза.

ВЫШИНСКИЙ. Короче говоря, вы скатились к прямому оголтелому фашизму.

БУХАРИН. Да, это правильно... Позвольте перейти сразу к изложению моей преступной деятельности...

А вот эпизод из «показаний» А. И. Рыкова:

РЫКОВ. ... От СССР отходят крупнейшие национальные республики...

ВЫШИНСКИЙ. Следовательно, это — расчленение СССР, отторжение от него ряда республик?

РЫКОВ. Да.

ВЫШИНСКИЙ. Подготовка фашистам плацдарма для нападения и победы?

РЫКОВ. Да, это несомненно.

ВЫШИНСКИЙ. Вы шли к своим преступным целям ценою измены!

РЫКОВ. Конечно.

Как в это поверил народ? Вот вопрос вопросов, и над ним взволнованно размышляют публицисты.

В то время были предельно обострены классовые инстинкты, пишет один из них. С этим трудно согласиться. Классовый инстинкт выражается, по-видимому, в том, что своего безошибочно отличают от чужого. Здесь же, как в театре абсурда, революционера принимают за вредителя, большевика — за шпиона. Впору говорить не об обострении классового инстинкта, а о его атрофии.

Средневековые отоларингологи донесли до нас любопытные наблюдения. Оказывается, когда в очередной раз начиналась «охота на ведьм», многие начинали вздрагивать ноздрями, явственно ощущая запах серы. Что отнюдь не свидетельствовало об обострении нюхательного инстинкта. Как, впрочем, и об избытке серы в атмосфере.

В поисках ответа нельзя забывать, что согласно обычному летосчислению 38-му году предшествовал год 37-й. С завораживающей методичностью люди исчезали из дома на набережной и из тысяч и тысяч других домов. Эти преступления, сказано было с высокой трибуны, не подлежат забвению и прощению. Но преступления имеют свойство порождать, будучи разоблаченными — праведный гнев, оставаясь безнаказанными — всепроникающий страх.

И страх этот не связан с мерой понимания происходящего, ему одинаково подвержены ученый мудрец и безвестный землепашец, впадающий в ступор при слове «гидроэлектростанция».

Греки, сообщает Монтень, различали особый вид страха, который не зависит от наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порой целый народ.

Имя небожителя, внушавшего страх, нам ведомо. Равно и особые его приметы: лицо — рябое, рост — ниже среднего, воинское звание — генералиссимус.

Страх вершил метаморфозы: убежденность и вера трансформировались в слепые верования, надежда — в исступленное радение. Искренние аплодисменты приобретали обморочную длительность оваций, благороднейший энтузиазм

смыкался с болезненной экзальтацией. Страх заставлял мыслить немыслимое: отец твой — враг твой, брат твой — Каин, мужа своего — разоблачи. Отчего бы, в самом деле, и не вообразить, что кто-то там — шпион и вредитель. Тем более, что излагаем как по-писанному:

ВЫШИНСКИЙ. Подытожим кратко, в чем вы себя признаете виновным по настоящему делу.

ШАРАНГОВИЧ. Во-первых, что я изменник родины.

ВЫШИНСКИЙ. Старый польский шпион.

ШАРАНГОВИЧ. Во-вторых, я заговорщик. В-третьих, я непосредственно проводил вредительство.

ВЫШИНСКИЙ. Нет, в-третьих, вы непосредственно один из главных руководителей национал-фашистской группы в Белоруссии и один из активных участников «право-троцкистского антисоветского блока».

ШАРАНГОВИЧ. Правильно. Потом я лично проводил вредительство.

ВЫШИНСКИЙ. Диверсии.

ШАРАНГОВИЧ. Правильно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Ульрих). Организатор террористических актов против руководителей партии и правительства.

ШАРАНГОВИЧ. Верно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. И все это совершал в целях...

ШАРАНГОВИЧ. И все это совершал в целях свержения Советской власти, в целях победы фашизма, в целях поражения Советского Союза в случае войны с фашистскими государствами.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Идя на расчленение СССР, отделение Белоруссии, превращение ее...

ШАРАНГОВИЧ. Превращение ее в капиталистическое государство под ярмом польских помещиков и капиталистов.

Бред, не колеблясь, поставит диагноз читатель.

Это вы нынче больно смелыми стали, возразит некий полупочтенный член домового комитета, с неизъяснимым упорством именующий современную молодежь «совремённой молодежью».

Но это приметы сегодняшнего дня, а вчера верили бреду как откровению, ибо страх сообщал разумному и осмысленному бытию черты фантасмагории. Маркс, между прочим, писал об иррациональности, присущей душе буржуа. Не исключено, что в определенные моменты непереносимого исто-

рического напряжения иррациональность, род недуга, снисходит и на рабоче-крестьянскую душу. Об этом стоило бы подумать нашим социологам и психологам. Возможно, научные изыскания позволят установить, что именно страх суть генератор, возбуждающий иррациональное поведение.

Герценовский доктор Крупов меланхолично замечает, что история — это автобиография сумасшедшего. Тут старик обобщил неправомерно и, конечно же, «загнул». Но в то же время в его парадоксальных суждениях есть нечто, имеющее касательство к нашей теме. «Историки, — пишет он в своем сочинении о душевных болезнях, — будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности».

Пожалуй, на точке зрения нелепости и ненужности политических процессов 30-х годов мы уже утвердились. Осталось взглянуть «с точки зрения безумия» на вершителей громких «дел», устроителей варфоломеевских лет.

Вот один из них — Г. Г. Ягода. Человек среднего роста, на вид уравновешенный, деловитый, с убегающим подбородком и подстриженными усиками — так его описывают современники. Член партии с 1907 года. Партийную работу вел в Нижнем Новгороде и Петрограде. В 1919—1922 годах — член коллегии Наркомвнешторга; с 1920 — на руководящей работе в ВЧК, ГПУ — ОГПУ, НКВД. На XVII съезде партии был избран в ЦК. В мае 1934 г. стал председателем ОГПУ, наркомом внутренних дел, в сентябре 1936-го последовала отставка, имевшая вид перевода на должность наркома связи. В 37-м — вывод из ЦК, исключение из партии, арест.

Читатель, полагаю, обратил внимание на то, что протест в отношении Г. Г. Ягоды, проходившего по делу об антисоветском «право-троцкистском блоке», Прокуратурой СССР не приносился.

Каждый легко поймет чувства, обусловившие это решение. Ведь Ягода — предтеча «ежовщины», организатор так называемого «кировского потока» и многих других. И сам пал жертвой дьявольского механизма, который столь тщательно отлаживал.

Признаюсь, пристрастен. У меня, как у многих, свой счет к этому человеку и иже с ним. Свой мартиролог, свой помин-

нальник. В те приснопамятные годы четверо моих дядьев были обвинены в шпионаже в пользу Ирана. Троих, сознавшихся, расстреляли. Четвертому, молодому и сильному, повезло. Что с ним ни делали — отпирался и счастливо отделался «четвертаком». Он был неграмотный, как не преминул бы заметить Бабель, до глубины души. Работал балагулой, то есть ломовым извозчиком, в городе Крыжополь, что на Украине. Городок сей славен яблоневыми садами и потому, наверное, представлял особый интерес для иранской разведки.

Дядя Яша вернулся в 56-м, жить ему оставалось недолго. Увидев на столе у меня, третьеклассника, глобус, попросил: «Слушай, покажи мне, наконец, где этот Иран?» Никогда ни до, ни после не встречал я человека, так долго, так молчаливо, так сосредоточенно разглядывавшего индифферентный желтый ромбик на ученической карте. Играл желваками, постигал ближневосточную диспозицию.

И все же, все же, все же...

И с какой скорбной силою ни стучал бы пепел Клааса в наши сердца, те, кто превратил Клааса в пепел, ответственны и да судимы будут за аутодафе, а не за ограбление бакалейной лавки. Разве что по совокупности.

Ягода «признал» себя виновным в том, что был одним из руководителей «право-троцкистского подпольного блока», преследующего цель свержения Советской власти и восстановления в СССР капитализма. Ягода «взял» на себя вину в шпионаже и передаче государственных средств Троцкому, в организации убийства Менжинского, Куйбышева, Горького, в покушении на жизнь Ежова путем опрыскивания ядами штор в его кабинете (как убога фантазия обвинителя!).

Он давал, как явствует из «Судебного отчета», преступные поручения людям, чья невиновность сегодня удостоверена Верховным Судом. Вручая склянки с ядом невидимкам, заговорщицки переговариваясь с пустотой, Ягода застыл над вечностью, как вопросительный знак. Чеховский Фирс, забытый в заколоченном доме, трагичен. Одинокий Ягода, блуждающий среди томов дела о «блоке», — комичен. И комичность эта унижает правосудие.

Учиться демократии — это значит, в числе прочего, в делах и помыслах не выходить за пределы законности. В идеале, с каковым мы связываем представление о деятельности высшей надзорной инстанции, нравственность полностью заключена и растворена в законе, а не пребывает в нем инородно, в виде взвеси или осадка. Возникающие здесь коллизии вы-

свечивают либо ущербность этических императивов, либо несовершенство законодательных норм.

Библейский принцип — какой мерой мерите, такой и вам отмерится — обнаруживает свою недостаточность, соприкасаясь даже с обыденной моралью. Помните «золотое правило» довоенной сталинской стратегии: «На удар врага ответим тройным ударом!»

А на удар ниже пояса?

На низость — низостью, на гнусность — гнусностью, на подлость — подлостью?

Нет. Безмерности беззакония противостоит единственно лишь мера закона. Апеллируя к закону, мы тем самым обозначаем грань между местью и возмездием. Правосудие одно — для святых и святош, для убийц и убиенных. Правосудие неделимо, как неделимы истина и справедливость. Иск, вчиняемый именем миллионов, должен быть бесспорным.

Д. Полякова, кандидат исторических наук, доцент,
В. Хорунжий, кандидат исторических наук

Александр Косарев:

«Совесть моя чиста»

«...Нюра, ты должна простить мне, что я так мало тебе писал. Но я ничего не могу поделать — просто нет времени. На заводе все работают сверхурочно — некоторые смены по семнадцать-восемнадцать часов. Общая напряженность достигла предела. Мы с девяти утра до глубокой ночи находимся в заводе».

Знакомые слова, узнаваемые проблемы. Процитированные строки из письма «правдиста» Якова Ильина жене Анне Северьяновой датированы 1931 годом. Именно тогда председатель ВСНХ Г. К. Орджоникидзе обратился к Центральному Комитету ВЛКСМ с просьбой помочь на Сталинградском тракторном.

В Сталинград прибыли две бригады — «правдисты» и комсомольская. Во вторую вошли работники ЦК ВЛКСМ и «Комсомольской правды». Бригадир — генеральный секретарь ЦК комсомола Александр Косарев.

Косарев, тогда уже опытный организатор и комсомольский работник, понимал: главное сейчас — переломить настроение людей. Поднять дух у отчаявшихся, поддержать энтузиастов. 60 процентов тех, кто работал на заводе, — молодежь. Разве это не силища?

Комсомольские собрания, активы Александр Косарев проводит прямо в цехах, общежитиях и даже... в пригородных поездах. Старается разъяснить всем, как важно выдержать график, не сбиться снова на штурмовщину.

27 мая 1931 года трактор-«пятитысячник», подчиняясь Сашиным рукам, сходит с ленты конвейера. Первый круг на заводском дворе.

Александр взволнован и горд. Заводчане подарили новорожденный СТЗ № 5000 с гордым именем «Интернационал» Центральному Комитету ВЛКСМ.

Докладывая Бюро ЦК ВЛКСМ о результатах работы объединенной комсомольской бригады, Косарев скажет, что в

Сталинграде комсомолу открыли кредит доверия. И надо не подвести. Теперь, когда главный вопрос был решен, он уже думал о другом, заглядывал в будущее. На тракторном острейший дефицит технической литературы. Важно побыстрее скомплектовать библиотечки и наладить отправку. Но самое срочное — перевести на русский язык инструкции к американскому оборудованию для основных цехов. Так что придется звать на помощь полиглотов из КИМа.

Горьковский автомобильный, Харьковский тракторный, Магнитогорск, Хибины, Березняки, цветная металлургия Казахстана, уголь и металлургия Сибири, текстильные фабрики Туркестана — страна неудержимо мчит вперед, и стройки требуют новых и новых рабочих рук. Комсомол эти руки дает. Не всегда умелые, чаще приученные к лопате, чем к рукоятке трактора, но жадные до работы.

«А все-таки выдержу» — вот что характеризует крепость комсомола и его поступательное движение вперед», — подчеркнет Косарев на IX съезде ВЛКСМ, рассказывая о бескорыстии и силе духа комсомольцев, которые строили страну и строили себя.

Однако дорога впереди не расстилалась скатертью. Были на ней и ухабы, и рытвины. Была и опасность бюрократизма, формализма.

Бюрократами, «вгоняющими море в сосуд», называл Александр комсомольских работников и активистов, которые рамками — «от сих до сих» ставят рогатки самодеятельности молодежи.

Непримирим Косарев к бумаготворчеству. Вместе с товарищами по ЦК и вожаками местных комитетов комсомола бьется над тем, чтобы стреножить, остановить бумажную карусель. Вот бы и нам, на исходе 80-х, вслушаться в меткое косаревское наблюдение-притчу: «Циркуляр когда-то разгромили, а он, хитрый такой, взял да и принял форму резолюции, а резолюция тоже хитрая: она превратилась в план мероприятий».

Гражданскому темпераменту Косарева ближе всего всегда были замыслы комсомола, обращенные к душе человека.

Гармонь. Этот любимый в народе инструмент переживал в те годы опалу.

Плохую славу создали инструменту пьяные гульбища в рабочих предместьях, крикливые посиделки кулацких сынков, будоражившие деревню вплоть до петушиной побудки. Отчасти поэтому родилось скороспелое мнение о гармони как

спутнице бескультурья. Подлил масла в огонь и пролетарский поэт Демьян Бедный, резко выступавший в печати против «горластой зазывалы».

Но комсомольцы дружно проголосовали за любимую гармошку.

Первый Московский конкурс гармонистов. За час до его открытия 12 декабря 1926 года на улицах, прилегающих к Экспериментальному театру, забурлил песнями упругий молодой поток. Машины останавливались, пропуская вперед смеющихся парней и девчат. Нарком просвещения Луначарский еле протиснулся в зал, увидел Сашу.

— Вы, кажется, уже начали конкурс, — улыбнулся Анатолий Васильевич.

— Неофициально — да, официально — ждем вашего благословения. — Слово — товарищу Луначарскому. — Косарев поднял руку, и стало тихо.

«До крайности важно нам в нашем Союзе — говорил нарком, — с одной стороны, дать лучшие достояния человеческой культуры народным массам, а с другой — распечатать... бурные источники, ...кипучие гейзеры народного творчества...»

«Распечатать кипучие гейзеры народного творчества» — Александр быстро записал понравившуюся мысль в блокнот и, развивая ее в выступлении перед участниками конкурса, подчеркнул: «Именно этому комсомол и будет способствовать».

При МК ВЛКСМ образовалась комиссия по работе с гармонистами — тоже Сашина инициатива. Комсомол привлек к сотрудничеству «на почве гармони» лучшие профессиональные силы. Музыку для нее теперь писали С. С. Прокофьев и А. К. Глазунов. Под переливы ее аккордов пели А. В. Нежданова, И. С. Козловский, М. П. Максакова, танцевала Е. В. Гельцер. В работе жюри на конкурсах гармонистов участвовали композиторы М. М. Ипполитов-Иванов, А. Д. Кастальский, знаменитый режиссер-экспериментатор В. Э. Мейерхольд.

На гармони не сошелся клином белый свет. Вслед за комсомольским поэтом Александром Жаровым, воспевшим гармошку, другой комсомольский поэт Иосиф Уткин прославил гитару. Рабоче-крестьянская молодежь тянулась и к классическим инструментам, симфоническим оркестрам, бетховенским концертам, конкурсам молодых дарований...

Комсомол вырос в те годы в большую политическую силу. Он активно участвует в социалистическом соревновании, развитии стахановского движения. Множатся ряды ВЛКСМ, расширяется сеть его организаций.

Разворачивается шефство комсомола над Военно-Воздушными Силами. Создается Центральный аэроклуб. В содружестве с Осоавиахимом готовятся без отрыва от производства летчики, парашютисты. Вырастить крылатое племя — косаревская мечта.

Но ему самому подрезают крылья.

21 июля 1937 года — беседа у И. В. Сталина. Приглашены секретари ЦК ВЛКСМ А. Косарев, П. Горшенин, В. Пикина. Сталин: «Сейчас Николай Иванович Ежов (тогда нарком внутренних дел. — **Авт.**) ознакомит вас с тем, какую вражескую работу проводят ваши комсомольцы». Ежов берет со стола бумаги и читает «показания» секретаря Саратовского обкома комсомола Михаила Назарова о том, что он якобы завербован в контрреволюционную организацию...

Пикина не выдерживает: «Этого не может быть. Я знаю Мишу Назарова с детства. Мы были соседями по Васильевскому острову. Росли вместе. Месяц назад я ездила в командировку в Саратов. Назаров — энергичный, нормально работает, растит троих детей». Ежов тусклым, еле слышным голосом роняет: «Таковы данные, которыми мы располагаем». Косарев взрывается: «Эти данные неверны. Назаров зарекомендовал себя с хорошей стороны». Сталин: «Мы предъявляем вам факты, а вы нам эмоции».

Упреки посыпались градом: ЦК ВЛКСМ не помогает органам внутренних дел разоблачать врагов народа в комсомоле. А их немало не только среди рядовых комсомольцев, но и в руководстве ВЛКСМ на разных уровнях. От этого намека тянуло холодком. «Косарев, я вижу, вы не желаете возглавить эту работу», — отстраненно бросил на прощание Сталин.

В те годы велик был авторитет Косарева в стране, и не только в молодежной среде. В постановлении Президиума ЦИК СССР (1933 г.) говорилось: «Наградить орденом Ленина А. В. Косарева — испытанного руководителя комсомола, выдающегося организатора комсомольских масс...». На XVII съезде ВКП(б) Александр Васильевич избирается членом ЦК ВКП(б), а позже членом его Оргбюро. В 1937 году он становится депутатом Верховного Совета СССР.

Но в эти же годы прокатывается волна репрессий.

Александр, как мог, спасал товарищей, особенно тех, кого давно и хорошо знал, за кого мог лично поручиться. Если узнавал о наветах на них, всячески старался отвести подозрения, перебрасывал на работу в другие регионы (позже это ему припомнят). Вместе с Валентиной Пикиной ходил к секре-

тарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву вызволять арестованных Сергея Уткина и Зинаиду Адмиральскую — руководителей Ленинградского и Ивановского обкомов комсомола. Им это удалось. Но только на время.

Вот где проявился характер Косарева: в июле 1937 года Сталин поставил Косареву в вину нежелание возглавить «работу» по разоблачению врагов народа в комсомоле. А в октябре, проанализировав материалы августовской командировки в Харьков, Александр Васильевич в своей докладной записке ясно дает понять Сталину, что по-прежнему стоит на своем. Это был вызов, и Сталин запомнит его.

Приближаемся к самым трудным, самым трагичным страницам из жизни комсомольского генсека. Сегодня, когда мы узнаем правду о тех годах, когда заговорили молчавшие до сих пор документы и взволнованно, горячо, порой сбивчиво, редкие свидетели, понимаешь, каким непростым был образ людей, кому выпало жить и работать в 30-е годы.

Всегда ли Косарев решительно выступал против огульного объявления людей «врагами народа»? Ответим прямо: нет, не всегда. Надо знать атмосферу тех лет, уважение молодежи к ветеранам революции, чтобы понять, почему прозрение свершилось не сразу. Слишком долго он и его товарищи безоговорочно верили Сталину, а значит, и его формуле обострения классовой борьбы при социализме. Отчего? Они его младшие современники. При Сталине выдвинуты на руководящую комсомольскую работу, получили от него напутствие. Комсомольские вожаки были настоящими солдатами партии, готовыми умереть за нее. И не только на словах. Сталин в понимании многих олицетворял идеи партии, считался продолжателем дела Ленина. И когда они произносили — «партия Ленина — Сталина», «Ленинско-Сталинский комсомол», то не кривили душой.

Не будем забывать, что в 1929—1938 годы, когда Косарев возглавлял Центральный Комитет ВЛКСМ, происходило нарастание сталинского культа.

Незаметно для непосвященных происходила прицельная канонизация теорий, концепций и лозунгов Сталина. Казалось естественным соседство портретов и «органическое» родство идей «двух вождей». И постепенно вошло в массовое сознание: «Сталин — это Ленин сегодня». Поэтому можно лишь отдаленно представить себе, как сложно было Александру, который считался любимцем Сталина и все-таки посмел не

просто возражать, но и сопротивляться ему. И сейчас, после длительного безмолвия, когда появляется немало публикаций, важно удержаться на стезе объективности. Избежать и «хрестоматийного глянца», и несправедливого, необъективного осуждения.

Косарев был разным в разные годы. Человек ведь не стоячая вода в болоте. Человек — река. Она встречается и с отмелями, и с порогами. Течение бывает то спокойным, то бурным. То стремительным, то неторопливым. Случается, что река, навоевавшись с преградами, устает, истончается до ручья, но, накопив энергию, снова мощно торит путь большой воде. И трудно согласиться с выводом «Московского комсомольца», напечатавшего в августе 1987 года статью об А. Косареве, что «у Косарева наступает процесс личного затухания. Разлад с самим собой. Выступления в печати... не те, что прежде. Нет в них ни «былого задора, ни смелой постановки проблем».

Нет, смелость мысли, новаторский почерк в комсомольской работе остались с Александром Васильевичем до конца. Вот его речь на совещании молодых стахановцев в январе 1938 года. Предчувствие беды незримо висит над ним, и он не может этого не понимать. Но посмотрите: здесь — и актуальнейшие положения о роли молодежи «на социалистической стройке», и проблемы связи коммунистического воспитания с политикой, идеологии — с повседневной практикой, и поучительные наблюдения над рекордоманией в стахановском движении.

Вот чем жил, чем дышал, за что ратовал Косарев. Поэтому не будем делать из него ни ходульного героя, ни пораженца.

Чтобы созреть до мужественной борьбы последних лет, нужно было пройти через многое. Через аресты и смерть друзей, через мучительные вопросы самому себе, через нескончаемые внутренние диалоги со Сталиным.

Перед нами — стенограмма внеочередного пленума ЦК ВЛКСМ — последнего в жизни А. В. Косарева. Три увесистые папки, 500 с лишним страниц. Изобилующий назидательными повторами доклад (с ним выступал М. Ф. Шкирятов). Нашпигованные обидными ярлыками выступления.

— Мотивы для созыва пленума вам известны, — сказал, открывая первое заседание, А. А. Жданов. — Безобразное отношение, проявленное руководством ЦК ВЛКСМ к т. Мишаковой.

Камнепады бичующих слов непрерывно скатывались с трибуны в зал целых четыре дня (с 19 по 22 ноября 1938 г.). Умелые дирижеры сознательно нагнетали атмосферу. Шесть секретарей Центрального Комитета партии (И. В. Сталин, Л. М. Каганович, А. А. Андреев, А. А. Жданов, Г. М. Маленков, В. М. Молотов) — против Косарева и тех, кто остался ему верен.

Коротко история такова. Инструктор ЦК ВЛКСМ Ольга Мишакова в конце сентября 1937 года была направлена в качестве представителя ЦК на отчетно-выборную конференцию в Чувашскую областную комсомольскую организацию. Превысив свои полномочия, она занялась активным разоблачением «врагов народа».

Компрометирующие материалы фабриковались не только на первого и второго секретарей обкома комсомола А. Сымокина и И. Терентьева (их она обвинила в бытовом разложении, связи с буржуазными националистами, шпионаже, а также в насаждении вражеских элементов в комитеты ВЛКСМ), но и на первого секретаря обкома ВКП(б) С. П. Петрова, наркома внутренних дел Чувашии Розанова.

Мишакова не раз телеграфировала и звонила из Чебоксар в Москву. Не добилась поддержки своих действий у Косарева. Но «добро» получила от Г. М. Маленкова. В конце концов провокациями, шантажом и запугиваниями она добилась исключения из комсомола Сымокина, Терентьева и других.

Однако в Москве ее погромные усилия не нашли одобрения.

Докладным запискам Мишаковой, в которых она оклеветала десятки добросовестных тружеников, коммунистов и комсомольцев, указала на множество «исключительно пораженных районов молодежными контрреволюционными группами», Косарев ходу не давал. Самой Мишаковой было отказано в политическом доверии. Бюро ЦК ВЛКСМ освободило ее от занимаемой должности.

В письме И. В. Сталину О. Мишакова пожаловалась на Косарева. «Дорогой т. Сталин! Я прошу Вас проверить, почему не были приняты меры по моим сигналам. По чьей вине враги народа в Чувашии еще на год остались не разоблаченными, не вскрытыми. Почему не была передана моя докладная записка, написанная на имя т. Косарева для т. Ежова».

Эта жалоба и послужила удобным предлогом для созыва пленума ЦК комсомола. Но предлогом формальным. Главное здесь — вопрос о положении в ЦК комсомола. А оно давно

уже не устраивало Сталина. Сам он подавал пример совершенно иных действий. «Т. Сталин, — говорилось на пленуме, — уцепившись за некоторые факты, подвел дело прямо к разоблачению целой банды врагов в руководстве ЦК ВЛКСМ... Затем были разоблачены враги и среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК комсомола нацреспублик».

А. В. Косарев, В. Ф. Пикина, С. Я. Богачев... сняты с работы, исключены из состава Центрального Комитета ВЛКСМ.

...До 28 ноября они ждали дальнейшего решения своей судьбы.

Лишенный любимой работы, познавший отчуждение вчерашних друзей, Косарев метался. Только сейчас притаившиеся в закоулках сознания разрозненные факты выстраивались один за другим в логическую цепочку.

— Саша, мне говорили, ты женился на своей стенографистке.

— Нет, Иосиф Виссарионович, Маруся — студентка Плехановского института.

— Откуда она, из какой семьи?

— Родители — большевики. Отец руководил партийными организациями на Кавказе и в Закавказье. В Астрахани и Азербайджане работал с Кировым. В партии с 1903 года. Кстати, — тоже из Тифлисской губернии. Да, самое главное я и забыл. Вы наверняка помните его по Грузии, товарищ Сталин. Ведь вместе с Вами, Махарадзе, Шаумяном он входил в «Литературное Бюро большевиков». Виктор Иванович Нанейшвили, вспомнили?

— Долго говоришь, Саша. Напрасно фамилию сразу не назвал. Анкету пересказывал. Кому пересказывал? Мне. А я Нанейшвили хорошо знаю. Это мой враг. — Учти. — Сталин скользнул взглядом по окаменевшему лицу Косарева и, довольный произведенным впечатлением, круто изменил тему.

...Позже Косареву стало известно о серьезных разногласиях между Нанейшвили и Сталиным по национальному вопросу. Тем не менее Саша не учел сталинского предостережения, не сделал охранительных для себя выводов. Он преклонялся перед своим тестем и не скрывал этого.

Кто твои друзья, Александр Васильевич? Иных уж нет, а те далече...

Василий Чемоданов. Секретарь Исполкома КИМа. Васю Александр «открыл», когда работал секретарем Бауманского райкома РЛКСМ. Посоветовал ему учиться в советско-партийной школе. Из виду не терял. В 30-е годы комсомол имел

все основания гордиться Чемодановым. Он писал яркие статьи по теории и практике юношеского движения. Достойно представлял ВЛКСМ в Коммунистическом Интернационале Молодежи. Неожиданный отзыв и исчезновение «камрада Чемо» было для молодых интернационалистов ударом и потрясением.

Паша Горшенин. Косарев рекомендовал его на пост секретаря Центрального Комитета ВЛКСМ по военной работе. За Горшениным, строгим, подтянутым, в гимнастерке и поскрипывающих ремнях, стаями бегали мальчишки: «Дяденька, возьми на аэродром». Его книгу «Комсомол и авиация» зачитывали до дыр. Паша первый из комсомольских работников поднял в небо самолет. И, главное, сплотил вокруг ЦК тысячи преданных военному делу парней и девчат... Где он сейчас, Павел Горшенин, тоже арестованный с клеймом «враг народа»?

Многих выдвинул, рекомендовал, предложил Александр Косарев на комсомольскую работу разновеликого масштаба.

Косарев сопротивлялся перерождению комсомола, попыткам превращения его из организации воспитательной в организацию карательную.

Косарев защищал комсомол от наветов. Обратим внимание на то, в чем обвинял Косарева секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев: «...Когда партия уже начала разоблачение врагов на различных участках партийной, советской, хозяйственной работы, приходилось не раз слышать от тов. Косарева (...), что в комсомоле, мол, нет врагов (...). Эта позиция была ложной и т. Косарев неоднократно получал предупреждения от ЦК ВКП(б), в том числе и на пленумах ЦК комсомола, что не может быть такого положения, чтобы в комсомоле не было врагов и всякого рода двурушников (...). Смотрите, т. Косарев, смотрите, руководство ЦК комсомола, в оба, разоблачайте врагов в комсомоле, очищайте комсомол от правотроцкистских шпионов».

В эти трудные дни Косарев вспоминал всю свою жизнь. В 14 лет он впервые громко и без оглядки, во всю силу легких выдохнул из самых глубин души: «Революция! Выходи во двор! Хватит набивать карманы буржуям!» Начиналась февральская, 1917 года, забастовка рабочих Москвы. И дети, подростки с «Трикотажки» ни за что не хотели отставать от взрослых.

...Вглядываться в прошлое помогали фотографии. Он и не представлял, что Маруся, жена, собрала их такое множество. Вот на снимке Мария Ильинична Ульянова. Когда-то от комсо-

мольцев Бауманского района столицы, где работал Саша, протянулась через нее трепетная ниточка к Ильичу. 3 октября 1922 года Александр, учтя мнение большинства активистов, продиктовал постановление райкома РКСМ: «Срочно отправить В. И. Ленину сегодняшнюю газету «Путь молодежи» с пожеланиями скорейшего выздоровления и вручить все Марии Ильиничне Ульяновой» (она работала секретарем «Правды»).

Орджоникидзе... Когда они только знакомились и Григорий Константинович впервые пожимал шершавую Сашину руку, он пошутил: «Косарев, у тебя будто наждак в ладони». Александр смутился, спрятал кулак за спину. «Это от кислоты, товарищ Серго. Зарубки пролетарского детства, как выражаются писатели».

...Саша вдруг рассмеялся. За эти сумеречные дни — впервые.

— Маруся, не пропадем. Руки целы, голова цела, поедем хоть на Дальний Восток. Хоть к черту на рога. Лишь бы работать! — И сорвался с места звонить Сталину. Тот, конечно, трубку не взял. Но в приемной сказали: «Не волнуйся, Косарев. Работа будет».

— Я тебе говорил, Маруся, все обойдется! — Александр закружил жену по комнате.

Нет, не обошлось... Повадки были подлые, бериевские — действовать исподтишка. Какой-то угрюмый человек в форменке, без сапог, в одних носках, крадучись, поднимался по лестнице их двухэтажной дачи. Искал оружие. Все знали, что Косарев заядлый коллекционер. Видимо, в «букете» уже состряпанной клеветы не хватало лишь обвинения в терроризме.

Александр и Мария прощались тихо, без лишних слов, щадя друг друга, понимая, что расстаются навсегда. Саша постоял над Леночкиной постелью. Поцеловать не решился: боялся разбудить. Когда автомобильный дымок закрутился на повороте и исчез, в доме — откуда ни возьмись — появился Берия и небрежно бросил своим: «Ее тоже прихватите». Вторая машина следом за Александром увезла и Марию.

На Лубянке Маша оказалась в одной камере с Екатериной Ивановной Лоорберг — женой М. И. Калинина. Возвращаясь с допросов, она не жаловалась, не стонала. Едва отдышавшись, поворачивала голову к Маше. Пыталась улыбнуться. Вспоминала о своих взрослых детях с нелегкими судьбами. Беспо-

коилась о внуках, о больном уже тогда муже. Говорили о Саше. Давала советы, как выдержать, не сломаться.

Как не задуматься над двойной моралью тех, кто, провозглашая семью основной ячейкой нашего общества, одновременно подрывал ее устои. Чего стоило — поверить в гражданскую и партийную вину дорогого тебе человека и отвернуться, и отлучить его от своего сердца?

А Лена Косарева не отреклась. Ни мыслью. Ни словом. Ни делом. Почти все ее близкие — отец и мать, дед и дядя по материнской линии были арестованы. Ребенком, подростком, девушкой она придерживалась правила молчать. Так научила ее бабушка Александра Александровна Косарева, старая большевичка.

Этой невероятной верой — на пределе отчаяния — она и жила.

Шел 1949 год. Лена закончила школу с медалью. Поступила в Тимирязевскую академию, чем привела в крайнее замешательство бабушку. Александра Александровна растерялась: не подвох ли. Внучка и дочь врагов народа в институт принята? Тебе доверяют — так расценила Лена свой «звездный билет» в студенчество и внутренне распрямилась, готовая доказать, что доверяют не зря. Лене все больше и больше недостает отца и все труднее противиться желанию не таиться, рассказать о нем новым, институтским друзьям...

Развязка наступила быстро. Как-то порог Лениной комнаты перешагнули двое. Один сразу метнулся к изголовью кровати. Подушку зашвырнул на пол, «улику» — на стол. «Ты держишь у себя фотографию врага народа?» — «Так это же мой отец».

Начались допросы, докапывание до «истины». Нежданно-негаданно десять лет ссылки: «За восхваление врага народа».

Александра Александровна послала Марии телеграмму: «Лена заболела твоей болезнью». Мария Викторовна написала А. Н. Поскребышеву и в Красноярский НКВД, хлопотала о разрешении поселиться вместе с Леной. После унизительных мытарств и проволочек они «воссоединились» в Норильске — М. В. Косарева, ее брат Павел Викторович Нанейшвили (до ареста секретарь Копыльского райкома партии Белоруссии) и Лена. Ей теперь предстояло научиться у старших, как жить с вторично оборванной биографией.

Старшие продолжали борьбу.

Председателю Совета Народных Комиссаров
И. В. Сталину
от бывшего депутата Верховного Совета СССР
от Марийской республики Пикиной В. Ф.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

«Считаю своим долгом довести до Вашего сведения о том, что я видела за два с половиной года непосредственно своими глазами... Органами НКВД и, в частности, Особым совещанием, допущены ошибки, в результате чего много честных, преданных партии, Родине людей пострадало... Враги народа, пробравшиеся в органы НКВД, приложили свою руку с целью перебить большевистские кадры и вызвать искусственное недовольство Советской властью. Карьеристы и перестраховщики проявили свою инициативу — одни для повышения в чинах, другие — для наживы себе политического капитала.

Особое совещание при вынесении приговоров осуждало совершенно невинных людей, допуская огульные обвинения, забывая, что за каждым приговором стоит живой человек [...].

В качестве подследственной я прошла суровую проверку, стояла на ногах первый раз 36 часов, второй — 58, была избита в Лефортовской тюрьме [...], сидела в одиночной камере 4,5 месяца, испытала психические атаки. Всего это было более, чем достаточно, чтобы заставить человека признаться, если он виновен. Но все эти методы ни к чему не привели, так как мне признаваться было не в чем [...].

Это письмо — из 1941 года. Доставка его в Москву обеспечивалась не обычной почтовой связью, а живой эстафетой человеческой солидарности. И еще — исключительным мужеством.

В женском лагере на станции Потьма (Мордовская АССР), куда Валентина Федоровна была сослана по решению Особого совещания, она с удивлением обнаружила немало старых знакомых. Жены, дочери, сестры и не столь близкие родственницы наркомов, партийных и комсомольских работников.

Среди них и комсомольская активистка из Ленинграда Аня Рабинович (Розина). Она, работавшая на Потьме в сапожной мастерской, и помогла подруге. Прибегла к старому, дедовскому еще способу конспирации. Получив от Пикиной обувь (будто бы в починку), Аня умело «законопатила» в туфлю между каблуком и подошвой, сложенное в несколько раз опасное письмо.

Долго ждала Валентина Федоровна ответа на свое письмо. Ждала в Потьме. Ждала в селе Казачинское Казачинского района Красноярского края, куда ее отправили уже на вечное поселение. Письмо было доставлено в Москву. Но к адре-

сату не попало. И слава богу. Гуманные, честные люди, которые, к счастью, никогда не переводились на нашей земле, остановили эстафету перед самым финишем. Письмо было спрятано в надежном месте. Иначе бы не дожить В. Ф. Пикиной до дня своей реабилитации.

В 1954 году все вынесенные ей приговоры были отменены, Валентина Федоровна восстановлена в рядах КПСС. Закончила курсы переподготовки партийных, советских и газетных работников в ВПШ, до 1984 года трудилась в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС, являлась членом коллегии КПК.

Чудом оставшаяся в живых, она ринулась в работу, подгоняемая неоплатным долгом перед своими товарищами. После XX съезда ездила по лагерям, опять лицом к лицу соприкасаясь с человеческой болью. Участвовала в подготовке к освобождению невинно пострадавших, возвращению в семьи незапятнанной памяти о близких.

Углубляясь в доступные ей теперь документы, присутствуя на судах над бывшими «законослужителями» из ведомства Берии, Валентина Федоровна как бы заново постигала безмерную чудовищность «дела Косарева». За ним стоял преступный замысел фабрикации «молодежного процесса».

Впервые эти два слова Валя услыхала от самого Берии. Трех секретарей ЦК ВЛКСМ — Косарева, Пикину и Серафима Богачева арестовали одновременно — в ночь с 28 на 29 ноября 1938 года. В пять утра Валю привели в кабинет Берии. Он сидел, развалясь на диване, сверлил ее суженными, прицеленными через стекла пенсне глазами. Мурашки бегали по спине от этого взгляда. Не говорил — хлестал отрывистыми фразами.

— Почему вы на пленуме не разоблачили Косарева? О вас было другое мнение. Девушка из ленинградской пролетарской семьи — и в сговоре со шпионом! Да, да, не делайте возмущенного вида. Косарев — агент иностранной разведки. Его завербовали в Польше, в зоологическом саду. Это установлено точно. И вообще комсомол отличился. Кузница шпионов. Мы выловили уже 500. Что вы себе думаете? Мы готовим молодежный процесс и заставим вас рассказать, как вы были завербованы Косаревым.

Она стояла перед ним тонкой прозрачной свечкой, горевшей тихим, упорным пламенем. Ни Берия, ни его подручные не смогли погасить это пламя.

Думала. Вспоминала. Вот оно что: готовят молодежный процесс. Непостижимо — у юношества непочатый край удар-

ной работы: освоение Арктики, Сахалина, Днепрогэс, «Азовсталь», «Уралмаш», Московское метро. И вдруг — процесс!

Что предпринять? С кем посоветоваться? Где-то рядом, рукой подать, — Александр Васильевич. Но между ними стены. И ему еще тяжелее. Он ведь — главная мишень.

...Косарева бросили в камеру смертников. В один из дней он попросил бумагу, чернила и написал заявление на имя Сталина. Утверждал, что он и арестованные по его «делу» комсомольские работники ни в чем не виновны. Подчеркивал: уничтожать кадры, воспитанные Советской властью, — безумие. Требовал, чтобы создали честную, авторитетную комиссию, которая без предвзятости проверит все материалы и сделает объективные выводы.

Следователь Шварцман отнес заявление Александра своему шефу. Берия выругался и разорвал документ на клочки. Этот факт стал известен в 1956 году в ходе суда над Шварцманом, где присутствовала Валентина Федоровна. Тогда же другой следователь рассказал об обстоятельствах последнего допроса Косарева. Измученный нескончаемыми домогательствами, сознавая, что развязка близка, он больше не мог и не хотел сдерживать возмущения. «Гады, преступники, вы Советскую власть губите! Все равно за все ответите, сволочи!»

Они сопротивлялись до конца. Не дали ошельмовать комсомол. Не позволили спровоцировать конфликт «отцов и детей». И сорвали-таки «молодежный процесс». Пикина — неистребимым спокойствием (чего оно стоило ей!). Косарев — бурным, неистовым протестом. Оба — правотой и неколебимостью. И стойкостью, поддержкой лучших своих товарищей. Таких, как секретарь ЦК ВЛКСМ Серафим Яковлевич Богачев, как секретарь Московского горкома комсомола Владимир Александрович Александров.

23 февраля 1939 года в возрасте 35 лет Александр Васильевич Косарев был расстрелян.

Нам больно оттого, что многих из них нет с нами. Но не только с чувством острой и ничем не оправданной потери мы вспоминаем о них. Безмерна наша благодарность и восхищение теми, кто сделал все, чтобы социализм стал явью. Они не искали рая в чужих пределах. И не приняли бы в готовом виде даже Город Солнца, к которому не приложили рук и души. Вот почему память о них — это память о героических и трагических 30-х, без которых не было бы Великой Победы и нашей сегодняшней перестройки.

Юрий Феофанов

Грузчик Иван Демура в схеме Нины Андреевой

Наверное, десятки миллионов людей посмотрели по телевидению передачу «Учимся демократии». «Круглый стол», посвященный редакционной статье «Правды» «Принципы перестройки: революционность мышления и действий». При этом было упомянуто дело Ивана Демуры, осужденного в 1938 году Военной коллегией Верховного Суда СССР. На приговор по этому делу принес протест председатель Верховного Суда СССР, он был рассмотрен на последнем Пленуме этого суда и единогласно удовлетворен. Иван Петрович Демура, тогда 24-летний парень, имел низшее образование, работал грузчиком Селемджинской транспортной конторы треста «Амурзолото» и обвинялся сразу по пяти пунктам страшной 58-й статьи тогдашнего УК. Эта статья ставила клеймо — «враг народа».

Мы решили более подробно рассказать об этом эпизоде тех лет. За что и почему осужден был Иван? Может, золото? Тогда понятно. Взял тощенький том самого дела. Нет, никакого прикосновения к золоту Иван Демура не имел. То, в чем его обвинили, было куда как серьезнее...

Начато «дело» 4 апреля 1938 года в Благовещенске. Первый документ: Постановление.

Я, пом. Оперуполномоченного III отдела Амуроблуправления НКВД сержант госбезопасности Рябов, рассмотрел материал по делу № 14615 и принимая во внимание, что гр. Демура И. П., 1914 года рождения, беспартийный, русский, грамотный, грузчик Селемджинской транспортной конторы треста «Амурзолото»... изобличается в том, что, являясь участником контрреволюционной повстанческой ячейки, существовавшей в трансконторе, являющейся низовой ячейкой право-троцкистской шпионс-

ко-диверсионной организации, существовавшей в тресте «Амурзолото», совместно с другими участниками проводил контрреволюционную вредительскую работу и готовился для вооруженного свержения Советской власти, а потому привлечь гр. Демуру И. П. по ст. 58-1а, 58-2, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР».

Далее следовало постановление о содержании под стражей, анкета, из коей видно, что до 1930 года Иван жил в деревне, а потом пошел в рабочий класс; женат на Нине Давыдовне и имеет сына Анатолия 1937 года рождения, член профсоюза и военнообязанный. Приложены профбилет с наклеенными по март 1938 года марками и военный билет.

После ареста 4 апреля прошел месяц, никак в документах не отраженный. Можно предположить, что он был употреблен на вылавливание сообщников, добывание улик и разгром шпионско-диверсионной организации правых троцкистов. И, естественно, на разоблачение Ивана Демуры.

Не знаю, как другое, но последнее удалось, что явствует из протокола допроса грузчика от 6 мая того же 1938-го. Он не очень большой, и я процитирую его полностью, исключая повторения.

ВОПРОС: Вы арестованы как участник контрреволюционной повстанческой ячейки. Признаете себя виновным!

ОТВЕТ: Да, признаю. Я являюсь участником контрреволюционной повстанческой ячейки (далее точное изложение постановления сержанта госбезопасности Рябова. — Ю.Ф.). Завербован в феврале 1938 года бывшим заведующим перевалочной базы конторы Поповым Андроном, отчество не помню.

ВОПРОС: Изложите обстоятельства вербовки.

ОТВЕТ: Еще до поступления в контору я встречался с Поповым. Разговоры носили политический характер. Попов доказывал несостоятельность Советской власти, клеветал на политику партии и правительства, этим разжигал во мне ненависть к Советской власти. В одном из разговоров в поселке Попов предложил вступить в ячейку, задачи которой во время войны с Японией поднять вооруженное восстание, уничтожить коммунистов и преданных Советской власти людей, после чего оказать помощь Японии для восстановления капиталистической системы.

ВОПРОС: Какие задания получали от Попова!

ОТВЕТ: 1) Задерживать погрузку и выгрузку продуктов путем разложения дисциплины среди грузчиков.

2) Быть готовым в любой момент для вооруженного восстания.

ВОПРОС: Это все?

ОТВЕТ: Все.

ВОПРОС: Выполнили задания Попова?

ОТВЕТ: Да, выполнил (Больше ничего. — Ю. Ф.).

ВОПРОС: Назовите участников ячейки.

ОТВЕТ: Кроме Попова, я знал как участника Закомарина Федора, отчество не помню, тоже грузчика.

ВОПРОС: Откуда вам известно, что Закомарин участник организации?

ОТВЕТ: Он мне сам сказал.

ВОПРОС: Вы скрываете других участников?

ОТВЕТ: Других я не знаю.

ВОПРОС: Где находится оружие для восстания?

ОТВЕТ: В отношении оружия мне ничего не известно.

Протокол подписал сержант госбезопасности Александров, так и не выяснив ничего насчет оружия. А оружие было! Чуть выше в деле есть протокол обыска, проведенного после ареста Ивана — 8 апреля. Вот он:

«В присутствии понятых сотрудник Мазановского района НКВД (так записано. — Ю. Ф.) Федотов произвел обыск. Изъято:

1. Одноствольное дробовое ружье.

2. Гильз — 20.

3. Профбилет.

4. Военбилет.

5. Справка о сдаче паспорта.

Больше при обыске ничего не обнаружено».

Вернемся, однако, к изобличениям Ивана Демуры. В «деле» нет никакого упоминания о Попове, который завербовал Ивана, ни о Закомарине, который был соучастником по повстанческой ячейке. Откуда же, думал я, вообще всплыл Иван Демура как союзник милитаристской Японии? Ответ в протоколе допроса тоже грузчика Федора Викуловича Метелкина, 1889 года рождения. Его тоже «взяли». А он уже перед тем отсидел 10 лет, был сломлен. Он-то и назвал 15 фамилий будущих повстанцев: двух плотников, бондаря, сторожа, счетовода и несколько грузчиков, среди них и Ивана Демуру.

Сколько я ни листал дело, никаких улик, кроме приведен-

ных, я не нашел. Ну, хоть бы что-нибудь! Пусто. Однако этого вполне хватило, чтобы в обвинительном заключении записать:

«Будучи завербованным Поповым, Демура проводил подрывную работу в тресте, срывал подготовку грузов и разлагал производственную дисциплину среди рабочих, провоцировал недовольство на Советскую власть путем антисоветской агитации и распространения различных провокационных измышлений. На основании... обвиняется... направляется для рассмотрения...» И в конце, после подписей авторов обвинительного заключения — **«Справка: вещественных доказательств по делу нет».**

Все в общем-то шло по заведенному «порядку». Вещественных доказательств нет, это зафиксировали. Но и невещественных не было: хоть бы на анекдотец какой-нибудь сослались для обоснования обвинения, измышленьице какое — ничего! Все, что процитировал, — и ни полслова сверх. Ни одной «повстанческой ячейки», ни единого реального действия не упомянуто.

И вот тут начинаются для меня загадки, которые, сколько ни думаю, разгадать не могу. Ну, если это кому-то было надо, кончили бы с Иваном Демурой приговором «тройки» или «двойки», в «список» бы занесли на ликвидацию — понятно было бы.

Так нет. Дело передали на рассмотрение выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР. Ее состав: диввоенюрист Никитченко И. Т., бригвоенюрист Каравалков Ф. Ф. и военюрист I ранга Климин Ф. А.; при секретаре военюристе I ранга Кудрявцеве Н. Н. и при участии помглавного военного прокурора бригвоенюриста Калугина А. В буквальном смысле «Высокий суд». Над грузчиком Иваном Демурой, «доказательства» вины которого я привел исчерпывающе! Да, все так, все зафиксировано в документах, которые продолжу цитировать:

«15 мая. Протокол подготовительного заседания. Слушали: дело по обвинению Демуры И. П. (Фамилия впечатана синими буквами в стандартку протокола, выполненного на машинке с черной лентой. — Ю. Ф.). Определили: дело заслушать в закрытом заседании без вызова свидетелей и без участия обвинения и защиты».

Упомянутый прокурор участвовал в деле как лицо, осуществляющее надзор за законностью, а не как сторона в процессе.

16 мая 1938 г. Протокол судебного заседания. «Заседание открыто в 14.00». Далее следует ровно 5 фраз, излагающих ход процесса. «Суд удаляется на совещание...» «Приговор оглашен в 14.15. Заседание объявляется закрытым».

Приговор. Он написан от руки размашистым почерком; констатирующая часть уместилась в 19 строк, резолютивная — в семь. Их я приведу:

«Военная коллегия приговорила Демуру И. П. к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и на основании Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. подлежит немедленному исполнению».

Последний документ в деле под грифом «Секретно».

«Справка. Приговор о расстреле Демуры И. П. приведен в исполнение 16 мая 1938 года в г. Благовещенске. Нач. 12 отд. 1 спецотдела НКВД СССР лейтенант госбезопасности Шевелев».

Читаю эти документы, думаю и не могу связать концы с концами. Нет, не только в той загадке — почему персоне Ивана Демуры, грузчика, уделило внимание столь высокое судилище. В конце концов каким способом уничтожить человека — это уже следующий вопрос. Но первый — За что? Почему? Смысл?

Сейчас мы, знакомясь с трагическими документами той поры, внимая рассказам оставшихся в живых, строя свои версии или читая версии, публикуемые в романах и статьях, пытаемся ответить на эти вопросы. Иначе и быть не может — ум и совесть требуют каких-то объяснений тем событиям. Не говорю: оправдывающих объяснений, но хоть каких-то.

Впрочем, многие ищут и оправдывающих. Не хотелось бы упоминать статью Н. Андреевой в «Советской России»: оценка ей дана, на мой взгляд, исчерпывающая. И все же одна нейтральная вроде бы фраза этой статьи не дает покоя — и именно в связи со столь поспешной и жестокой расправой над грузчиком Иваном.

Н. Андреева написала: «Ставшая дежурной тема репрессий гипертрофирована в восприятии части молодежи, заслоняет объективное осмысление прошлого». Давайте же разберемся. Что значит — «тема.... гипертрофирована»? Что заслоняет ее «объективное восприятие»? Смысл этих слегка затуманенных пассажей может быть один. Конечно, репрессии — это нехо-

рошо. Но, во-первых, для того были объективные причины и обстоятельства, надо лишь их правильно объяснить. А, во-вторых, объясняя, не надо ничего преувеличивать; разобраться, мол, надо во всем спокойно, без эмоций, дабы не допустить, не дай бог, гипертрофированного восприятия.

Репрессии периода культа личности объясняют по-разному. Одни говорят, что все же уничтожались оппозиционеры, так сказать, «противники линии». Ну, попадали под каток и не противники, и даже сторонники, но уж такая была обстановка борьбы, в большом деле перегибы и «издержки производства» неизбежны.

Другие все объясняют лишь злой волей творца репрессий, вносят личный момент. Уничтожал-де он тех, кто с ним когда-то спорил; тех, кто мог свидетельствовать о его истинной роли в революции и тем помешать искажению истории; тех, кто поддерживал, но недостаточно рьяно, а заодно и тех, кто попросту чем-то раздражал, или по минутному капризу.

Не высказывается в печати, но ходит в народе третья версия, объясняющая репрессии. Он-де начальство изничтожал, своим «боярам» головы рубил. И правильно делал, потому что от них, «бояр», а не от царя все зло. Не думайте, что в наш просвещенный век наш высоко образованный народ чужд такому объяснению. Поверьте: сам слышал и даже спорил со сторонниками «народной версии».

Все эти версии, логичные или причудливые, пытаются объяснить, почему гильотина опускалась на головы оппозиционеров и соратников, еретически мыслящих ученых и умалчивающих о его величии поэтов, вызвавших неудовольствие командиров производства и вышедших из шеренги военачальников. И ведь получается по этим объяснениям, что что-то все-таки было, где-то реальное, где-то призрачное, однако объяснимое, а значит, и способное быть понятым. Вот ведь как изгибается линия к «объективному восприятию».

А я читаю дело Ивана Демуры и думаю: как бы нам с тов. Андреевой вложить его, Ивана, в придуманную ею схему, как бы объективизировать уничтожение грузчика, чтобы оно не воспринималось гипертрофированно. Думаю и не могу придумать.

Ибо если неведомый не только Сталину, но, наверное, и начальнику местного НКВД грузчик Иван Демура — враг народа, то **кто же тогда народ!**

Мог, конечно, злосчастный Иван попасть и под горячую руку, мог случайно оказаться причисленным к шпионам-дивер-

сантам: «лес рубят — щепки летят». Подразумевается, что щепки — это те самые неизбежные «издержки производства», а лес-то сам рубили правильно. Если бы! Не «боярские» головы рубил 1937-й, предшествующие ему и последующие годы. Рубили по телу народа. Вот в чем «объективное восприятие прошлого», тов. Андреева.

Если бы только грузчик Иван... Приведу письмо, полученное редакцией из Белоруссии от жительницы Бобруйска Франи Федоровны Плотниковой.

«Когда я читаю в газетах о тех далеких временах 1937—1938 гг., я не могу оставаться спокойной и всегда наплачусь вдоволь. Все то прошлое, горькое, несправедливое стоит перед глазами. Мне тогда было 9 лет. Жили мы недалеко от г. Бобруйска, в 20 км. Наша деревушка — 60 домов. И 18 человек погибли от Ежовых рук. 18 человек — молодых, здоровых, честных и добрых, которые так боролись за Советскую власть, за создание колхозов.

Отец наш работал дорожным мастером на участке Речица — Глуск. Помню, как ночью приехали из НКВД. Когда начали делать обыск, рыться везде, мы между собой говорили, что это к папе начальство приехало. Нас у папы было пятеро, и, когда приезжало начальство, привозили нам гостинцы... Но когда мы увидели плачущую мать и дедушку, мы начали тоже реветь... И вот последние слова отца к маме: «Береги детей». Младшая сестренка, которой было 3 года, крепко держала папу за ногу, возле порога только отцепил ее человек, патруль. Это было зимой, в декабре 1937 года. Мы все оделись и пошли по улице ночью к дому, где уже ждала машина, в доме было 10 человек. Крик детей, жен, слезы.

Утром, пойдя в школу, дети, которые стали сиротами, весь день, не поднимая головы от парты, горько плакали. На стене в школе висели плакаты. Большая, сильная рука Ежова сжимала ужа с надписью: «Держать в Ежовых рукавицах!» На втором плакате была надпись: «Искореним врагов народа, троцкистско-бухаринских шпионов, агентов фашизма».

После Нового года, это в 1938 году, забрали еще 8 человек из нашей маленькой деревушки. Один вернулся, когда была реабилитация. Но у этого человека ничего нельзя было узнать. Он был замкнут, неразговорчив. Напрасно добивались у него правды. Он долго не жил, умер. Остальные были расстреляны вблизи Бобруйска».

Если и эти восемнадцать плюс восемь из деревушки в 60 домов — враги народа, то, повторю вопрос, **кто же тогда народ!**

Увы, надо называть вещи своими именами: это было планомерное, запланированное сверху уничтожение людей, должное охватить все отрасли по вертикали и регионы по горизонтали. Ну и, как полагается, стимулированное встречное движение снизу.

В обвинительном заключении по делу Ивана Демуры, в преамбуле записано: «В конце 1937 г. Амурским облуправлением НКВД вскрыта и ликвидирована к/р правотроцкистская организация, действовавшая по заданию японских разведорганов и охватившая своей преступной деятельностью все отрасли народного хозяйства (золото, лес, заводы, колхозы) и партийно-советского аппарата области. Она ставила задачей свержение Советской власти и отторжение Дальнего Востока. Для достижения этих преступных целей за деньги и по заданию японской разведки активно готовила вооруженное восстание, насаждала повстанческие ячейки, занималась подготовкой террористов против руководителей партии и правительства».

Может, потому и «высокий суд» — чтобы придать вес делам, возникавшим буквально из ничего? Скорее всего этих рапортов никто не читал. Но их ждали. И они шли... Сверху директивы — снизу рапорты. А уж грузчик там или плотник попадал, Иван или Федор — какое это имело значение? Их, этих иванов и федоров, никто и не знал, они просто шли в стружку.

Вот это «объективное восприятие прошлого» не заслонилось бы от нас громкими процессами и именами. Преступления и там неискупимые. Но здесь — непростительные во сто крат: преступления против народа...

2 февраля нынешнего, 1988 года младший брат Ивана Демуры — Василий Петрович, член КПСС с 1945 г. — обратился в Комитет госбезопасности Амурской области с просьбой сообщить что-либо о судьбе Ивана, арестованного в 1938 году. Ни он, ни сестра Валентина Петровна ничего не знали о его судьбе. Мне остается сообщить, что Иван Петрович реабилитирован 5 апреля сего года на Пленуме Верховного Суда СССР.

Он не был ни в чем виноват. Ни в чем...

Лев Разгон

Малолетки[1]

Один из самых страшных мифологических образов — Хронос-Время, пожиратель собственных детей.

Боль, испытанная ребенком, — это боль всего человечества. Мы сегодня, пожалуй, чаще, чем когда-либо, вспоминаем горячий протест Достоевского, его высокую скорбь о жизни младенца, принесенной в жертву Истории. Среди многих миллионов жизней, унесенных или вознесенных во славу войнами, беспощадными социальными битвами, природными катастрофами XX века, — тысячи, десятки, сотни тысяч детских жизней! Дети — герои революции и гражданской войны; дети, разделившие судьбу безвинно осужденных родителей в конце тридцатых годов; дети, оказавшиеся, в «сороковых-роковых» на поле брани, на территории, оккупированной врагом, сражавшиеся в партизанских отрядах...

Противостоять жестокому, всепожирающему Времени способна лишь Память. Сказано: «Никто не забыт и ничто не забыто».

В мировой литературе существует классический святочный рассказ про голодного мальчишку, укравшего булку. Попробуем представить себе эту трогательно-драматическую ситуацию, происходящую в ту самую милую зиму 1937—1938 года, когда советским детям были наконец возвращены елка и веселый праздник вокруг нее. Итак, голодный мальчик, которому только что исполнилось четырнадцать лет, ворует бывшую «французскую», а ныне «городскую» булку стоимостью в три копейки. Если мальчишка немного поднаторел в юстиции и правосознание в нем развито достаточно сильно, то он подождет в магазине, пока гражданин или гражданка не

[1] Из книги «От первого лица». Полностью будет опубликована в журнале «Юность».

купят эту булку, а уж затем у них ее сопрет. Попавшись на месте преступления, он в этом случае получит один год тюрьмы по указу «О мелких кражах». Но если молодой преступник не имеет юридического опыта и, движимый нетипичным для нашего общества голодом, эту булку свистнет с прилавка магазина, то уже преступление по-другому называется и карается по-другому. Теперь оно является «хищением социалистической государственной или кооперативной собственности». И как бы судья ни жалел неразумного мальчика, он ему меньше трех лет заключения дать не может. Это при «смягчающих» обстоятельствах. А вообще-то ему за булку положено семь лет. И не приведи бог, чтобы мальчиков было двое! Тогда это «сообщество», «коллективное хищение», и десять лет наказания за булку — вовсе не предел.

Был у нас на лагпункте один молодой человек. Демобилизовавшись, он поступил работать на стекольный завод «Дагестанские огни» возле Махачкалы. Электричества в общежитии не было, жгли керосиновые лампы, и он со своим товарищем по комнате выбрал из огромной кучи стеклянного боя и брака два еще годных ламповых стекла. На проходной их задержали. Каждый получил по пятнадцать лет. Ну ладно, они ведь взрослые, а булку-то украл ребенок! Но, создавая современную модель рождественского рассказа, я сознательно написал, что герою исполнилось четырнадцать лет. Ибо начиная с этого возраста в применении и отбывании наказаний ребенок был полностью уравнен со взрослыми...

Нет, мне не удастся выдержать эту «отстраненную» интонацию в рассказе о детях, попавших под колеса тюремно-лагерной машины. Из всех жестокостей жестокость к детям самая страшная, самая противоестественная в своей античеловечности.

Мне было семнадцать лет. Я делал первые неуверенно-самоуверенные шаги в журналистике, когда «Комсомолка» дала задание написать очерк о тюрьме для детей. Несколько дней я провел за кирпичной оградой бывшего Даниловского монастыря. Потом написал очерк, который я назвал так, как называлась тюремная стенгазета: «Фабрика сознательного гражданина». Все, о чем писалось в очерке, было правдой. Весь очерк был предельно лжив. Да, в этой тюрьме не страдали от голода и холода, там висели стенгазеты и имелись кружки, и кино, и почти чистые простыни на железных койках. Но я ни слова не написал о том, как вздрагивают дети от окрика надзирателя; о том, как старшие избивают младших; о тю-

ремной иерархии, в которой чем ты меньше и слабее, тем тебе хуже. Я не написал о том, что малые дети становятся наложниками старших полубандитов, с чьей помощью тюремная администрация держит в подчинении население тюрьмы. О многом я не написал и всю последующую жизнь чувствую свою ответственность за эту ложь. Самую непростительную из той лжи, что написана и сказана мною.

Но все же это специальные тюрьмы для детей. Мне пришлось увидеть и другое, самое страшное — детей в общих тюрьмах и лагерях.

«Малолетки» — так назывались малолетние арестанты. Они были разные: малолетние городские проститутки и крестьянские девочки, попавшие в лагерь за «колоски», подобранные на плохо убранном поле; профессиональные воры и подростки, сбежавшие из «спецдомов», куда собирали детей арестованных «ответственных». Они вступали в тюрьму и лагерь разными по происхождению и по разным причинам. Но вскоре становились одинаковыми. Одинаково отпетыми и дикими в своей мстительной жестокости, разнузданности и безответственности. Все-таки даже в общем лагере, находясь «на общих основаниях», малолетки пользовались какими-то неписаными привилегиями. Надзиратели и конвой их не убивали. Малолетки это знали. Впрочем, они бы не боялись, даже если бы их и убивали.

Они никого и ничего не боялись. Жили они в отдельных бараках, куда не решались лишний раз заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, жестокое из всего, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если «паханы» кого-нибудь проигрывали и надобно было убить, это делали за пайку хлеба или же из «чистого интереса» мальчики-малолетки. И девочки-малолетки похвалялись тем, что могут пропустить через себя целую бригаду лесорубов. Ничего человеческого не оставалось в этих детях, и невозможно было себе представить, что они могут вернуться в нормальный мир и стать нормальными людьми.

...В сорок втором году в лагерь начали поступать целые партии детей. Все они были осуждены на пять лет за нарушение закона военного времени «О самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности». Это были те самые «дорогие мои мальчишки» и девчонки 14—15 лет, которые заменили у станков отцов и братьев, ушедших на фронт. Про этих детей, работавших по десять часов, стоя на ящиках —

они не доставали до станка, — написано много трогательного и умиленного. И все написанное было правдой.

Не написали только о том, что происходило, когда в силу обстоятельств военного времени предприятие куда-нибудь эвакуировалось. Конечно, вместе с «рабсилой». Хорошо еще, если на этом же заводе работали мать, сестра, кто-нибудь из родных. Ну а если мать была ткачихой, а ее девочка точила снаряды? На новом месте было холодно, голодно, неустроенно. Многие дети и подростки не выдерживали этого и, поддавшись естественному инстинкту, сбегали «к маме». Тогда их арестовывали, сажали в тюрьму, судили, давали пять лет и отправляли в лагерь.

Пройдя через оглушающий конвейер ареста, обыска, тюрьмы, следствия, суда, этапа, эти мальчики и девочки прибывали в наши места уже утратившими от голода, от ужаса, с ними происшедшего, всякую сопротивляемость. Они попали в ад и в этом аду жались к тем, кто им казался более сильным. Такими сильными были, конечно, блатари и блатарки.

На «свеженьких» накидывалась вся лагерная кодла. Бандитки продавали девочек шоферам, нарядчикам, комендантам. За пайку, за банку консервов, а то и за самое ценное — за глоток водки. А перед тем как продать девочку, ощупывали ее, как куру: за девственниц можно было брать больше. Мальчики становились «шестерками» у паханов, у наиболее сильных, более обеспеченных. Они были слугами, бессловесными рабами, холуями, шутами, наложниками, всем кем угодно. Любой блатарь, приобретя за пайку такого мальчишку, мог его бить, морить голодом, отнимать все, что хочет, просто вымещать на нем беды своей неудачливой жизни.

Мы — «пятьдесят восьмая» — ничего с этим не могли сделать. В глазах детей и подростков мы были лагерными придурками, не имеющими никакой власти, никакой силы, никакой привлекательности, которую давало презрение к законам и начальникам. Никто из нас не мог на разводе перед тысячной колонной арестантов сказать начальнику лагпункта: «Мотал я твою работу, твою веру и тебя на общих основаниях», — и спокойно пойти в сторону карцера...

Я был уже «вольным», когда однажды летом пришел на командировку[1], где врачом был Александр Кузьмич Зотов,

[1] Командировка — одно из малых лагерных подразделений **(Прим: автора)**.

успевший освободиться, получить новый срок и снова попасть на одну из командировок нашего лагпункта.

Кузьмич был на приеме, санитар принес мне в кабинку санчасти сытный больничный обед. Есть я не хотел, но и обед было бы глупо отсылать назад на кухню. Опустелый лагерный двор подметала какая-то белокурая девчушка, совсем юная. Было что-то деревенски-уютное в этой девочке, в ее нехитрой работе.

Я позвал ее. Спросил, что она делает на командировке. Ответила: на ошкуровке занозила палец, он распух, его резали, она уже несколько дней освобождена... Я сказал ей:

— Садись к столу и ешь.

Ела она тихо и аккуратно, было в ней еще много ощутимо-домашнего, воспитанного семьей. И была она привлекательна этой домашней тихостью, чистотой выцветшего, застиранного платьица из лагерной бумазеи. Мне почему-то казалось, что моя Наташка должна быть такой, хотя эта лагерная девочка была совсем светленькая, а моя дочь имела каштановые волосы уже десяти дней от роду.

Девочка поела, аккуратно сложила на деревянный поднос посуду. Потом подняла платье, стянула с себя трусы и, держа их в руке, повернула ко мне неулыбчивое свое лицо.

— Мне лечь или как? — спросила она.

Сначала не поняв, а затем испугавшись того, что со мной происходит, также без улыбки, оправдываясь, сказала:

— Меня ведь без этого не кормят...

И убежала. Конечно, истерика, которая случилась со мной, была отпугивающим зрелищем, и теперь, через сорок с лишним лет, я начинаю плакать каждый раз, когда вспоминаю эту девочку, ее нахмуренное лицо, усталые и покорные глаза.

...И вот это я должен забыть? Как там говорится и пишется: «Не ворошить то, что стало прошлым»? А если это не стало для меня прошлым и никогда не станет, как быть? Я должен об этом молчать, придерживаясь мудрой пословицы, что в доме повешенного не следует говорить о веревке? Но я давно услышал страшное и точное обоснование подобной мудрости: в доме повешенного не следует говорить о веревке, потому что в этом доме поселился палач.

Я должен забыть, ибо забвение и прощение почти одно и то же? Но я не забуду. И не прощу. И пусть я буду проклят, и пусть будут прокляты все, кого я люблю, если я это забуду, если я это прощу. Обо всем могу вспоминать. Без всяких усилий. Обо всем, кроме этого.

Но я все же должен был, обязан был сделать это усилие.

Владимир Лакшин

Открытая дверь

Вечер у генерала Горбатова

Когда в компании с Твардовским и еще двумя-тремя новомирцами мы впервые оказались в доме у Никитских ворот, почти напротив Большого Вознесения, и, выйдя из лифта, остановились на лестничной площадке у порога квартиры генерала Горбатова, среди приглашенных, вытиравших ноги о половик, возникло замешательство. Дверь была приоткрыта, и сквозь нее виден пустой длинный коридор. Кто-то нажал кнопку звонка, чтобы известить все же о нашем приходе. Из синей тьмы коридора появился хозяин.

— Что же не входите? Прошу!

— У вас дверь забыли закрыть, — заметил Твардовский.

— Да нет, я держу ее незапертой. Спать ложимся — закрываем.

Мы переглянулись — экое чудачество. Как раз в ту пору москвичей будоражили слухи о квартирных кражах, дерзких грабежах. Рассказывали, что до нитки обобрали квартиру знаменитого скрипача, находившегося на гастролях, а у другого — то ли дипломата, то ли академика — мебель, по слухам, спустили на веревках через окна. Наиболее предусмотрительные хозяева врезали по два-три замка с секретом и щеколдой, а тут двери настежь, и не то чтобы нечего было взять...

В гостиной и просторной столовой, где мы оказались, стояли красивые шкафы с хрусталем и посудой, висели по стенам картины в рамах, стояли плюшевые по моде 40-х годов кресла и возвышался на трофейном приемнике бронзовый бюст Суворова. Ничего особенно примечательного, но просторно, удобно — подобные интерьеры встречались и в других генеральских квартирах после войны... Но почему не запиралась дверь?

Вопрос так и остался висеть в воздухе, а гостей уже

просили пройти к столу, и нас захлестнула теплая волна радушного гостеприимства хозяина и его жены, красивой, видной, ему под стать Нины Александровны.

С генералом Горбатовым все мы, не исключая Твардовского, познакомились впервые пятью-шестью месяцами прежде. Он появился в редакции несколько необычным для военного его ранга образом. Бывало, появлению самого предшествовала вереница адъютантов, порученцев, вестовых, передававших красиво оформленную рукопись. А случалось, знаменитый чинами и заслугами автор так и не переступал порога редакции: подтянутые лейтенанты или аккуратные майоры, отдавая честь, заезжали за версткой, спустя день-два привозили ее назад, а по выходе номера являлись за авторскими экземплярами. Вот и все общение с автором.

Отделом прозы в «Новом мире» в ту пору заведовал Евгений Николаевич Герасимов, сделавший на своем веку не одну генеральскую «литературную запись». Он любил вспоминать, как летал во время войны за линию фронта в партизанский лагерь «авторизовать» записанную им «со слуха», отчасти по документам, но больше по воображению книгу мемуаров прославленного партизанского командира. Дня два его не допускали в блиндаж, наконец разрешили зайти. Его герой и одновременно автор сидел на перевернутом снарядном ящике за дощатым столом, разглядывал штабные карты и выслушивал донесения, отдавал короткие приказания и разносил кого-то, не обращая даже малого внимания на переминавшегося с ноги на ногу писателя с толстенной рукописью в руках. Наконец сдвинул со лба папаху, посмотрел красными, усталыми глазами, спросил коротко: «Тебе чего?» Герасимов, робея, просил познакомиться с написанным и визировать текст. Покосившись на объемистую папку, партизанский командир не выразил никакого желания читать написанное. «Ну, хоть пролистайте! — взмолился Герасимов. — И черкните два слова для издательства, что читали, мол». Командир взял ученическую ручку, умакнул в баночку с чернилами, задумался на мгновение и на первой странице рукописи написал размашисто: «ЧЕТАЛ». И скрепил своей росписью.

Твардовский любил вспоминать этот жизненный анекдот и, упрашивая кого-либо из занятых начальников дать свой отзыв, говорил обыкновенно: «Длинного рассуждения не надо. Напишите только в уголке: «Четал».

С генералом армии Горбатовым все было иначе. Созвонившись с Твардовским, он появился в редакции в разгар ра-

бочего дня. Было это в конце 1963 года еще в старом помещении «Нового мира» на углу Пушкинской площади и улицы Чехова, где у главного редактора, по сути, не было отдельного кабинета. В одной огромной и большую часть года полутемной комнате — зале старого особняка — сидели Твардовский, его заместитель Кондратович и я. У Твардовского был солидный, старинный двухтумбовый стол, стоявший боком к окну; Кондратович сидел за столиком поменьше, приставленным к этому столу короткой частью буквы «Г». У меня же своего места не было, и с кучей рукописей я располагался на краешке длинного полированного стола, предназначенного для заседаний редколлегии и шедшего вдоль стены, противоположной входу. Если у Твардовского предполагался доверительный разговор с автором, он уединялся с ним в соседней каморке ответственного секретаря. Обычно же все встречи, беседы Твардовский вел в нашем присутствии, вовлекая нередко в разговор и нас.

Мне запомнилось, как в нашу сумеречную залу вошел высокий, краснолицый с мороза генерал в долгополой светлой шинели и с крупными звездами на погонах. Сняв папаху, он обменялся со всеми крепким рукопожатием, чуть исподлобья, но неуклончиво глядя в глаза. Пока он разговаривал с Твардовским, сидя боком у его стола, свет падал на его лицо, и я с любопытством взглядывал на не частого у нас посетителя: пожилой человек, но стариком не назовешь — крепкий, спина прямая, кавалерийская посадка, обветренное лицо. Временами он проводил рукой по редким волосам, как бы без нужды приглаживая их. Мне показалось, что в профиль он похож на маршала Жукова: та же скульптурная лепка волевого лица, пристальные глаза. Только то, что в лице Жукова выражено с некоторым нажимом — сильные надбровные дуги, выдающийся тупым углом подбородок, — в лице Горбатова, пожалуй, смягчено: было в нем что-то и от русской деревенской округлости.

В тот день они говорили с Твардовским недолго. Александр Трифонович захватил рукопись домой, а приехав дня через два в редакцию, с порога начал восхищаться: «Вот так генерал! Сразу видно, ему не адъютанты пишут! Да он мне и говорил, что всю рукопись от первой до последней страницы сам проборозднил, и пишет простым карандашом!» (Почему-то именно этот карандаш, как порука подлинности и своеручности записок, особенно подкупал Твардовского). «И еще скажу: это написано нравственным человеком. А какая судьба!»

Судьба Александра Васильевича Горбатова и в самом деле была неординарна: его не обошла ни одна беда, ни одно напряжение народных сил за полвека. Родившийся в конце прошлого столетия в крестьянской семье Горбатов был смелым гусаром-конником в первую мировую войну, красным командиром в гражданскую, комбригом перед Отечественной. В 1938 году он вступился за безвинно арестованного товарища и сам оказался в тюрьме. На первых же допросах заявил, что лучше умрет, чем оклевещет себя или тем более других. Описал он это в своей книге с той строгой сдержанностью, которая сильнее любого яростного крика.

«В четвертый раз меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил: представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли все продумал и оценил? Потом этот начальник сказал следователю: «Да, я с вами согласен!» — и вышел из комнаты.

На этот раз я долго не возвращался с допроса.

Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали:

— Вот! А это только начало...

Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского: «Подпишешь, подпишешь».

Горбатов не подписал. И благодаря исключительному стечению обстоятельств, собственному упрямому мужеству и самоотверженности жены, хлопотавшей за него всюду, где можно и где нельзя — в НКВД, Верховном Суде, военной прокуратуре, Наркомате обороны, Горбатов был освобожден из колымских лагерей в самый канун войны. Он принял участие в первых же боях с немцами и в конце 1941-го получил генеральское звание. А потом воевал под Сталинградом, в 1943 году, уже командующим армией, освобождал Белоруссию. Закончил войну на Эльбе и в Берлине — он был одним из первых советских комендантов немецкой столицы.

Все только что сказанное достаточно, я думаю, поясняет отношение Твардовского к Горбатову. Надо сказать, что среди авторов, привечаемых «Новым миром», Твардовский с подчеркнутым вниманием относился к тем людям, что не принадлежали к собственно писательской среде, не кружили вокруг Дома литераторов, а были как бы сами по себе — имели за плечами профессию, ремесло или самобытный опыт, сообщавший им в глазах Александра Трифоновича силу независимости

и подлинности. Рабочий-монтажник Терентьев, дипломат Майский, сибирский старик крестьянин Бартов, инженер-изыскатель Побожий — всех их журнал печатал. А сколько было еще не напечатанных по разным причинам, но отмеченных вниманием Твардовского рукописей «нелитературных людей»! Среди них, конечно, и военных — адмирала Исакова, начальника фронтового тыла Антипенко и других. Для подготовки и правки таких рукописей незаменимым человеком в редакции считался Игорь Александрович Сац.

Мне уже приходилось писать о нем. Ближайший личный друг Твардовского, один из немногих, с кем тот был на «ты», Сац сам был человеком редкостным и, если бы не его собственное отвращение ко всякой литературной мифологии, я бы сказал, легендарным. Незадолго до своей смерти, держа речь на домашнем юбилее, Сац шутил, что историю своей жизни, как историю старой Польши по «разделам» («Первый раздел Польши», «Второй раздел Польши»...), он мог бы мерить по «разгонам». В 1918 году — попытка разгона за анархизм Богунского полка Щорса, под командой которого он воевал совсем юнцом. В 1929 году — разгон Наркомпроса (Сац был литературным секретарем наркома Луначарского); в начале 30-х годов — разгон Комакадемии, где он был научным сотрудником, в конце 30-х — разгон журнала «Литературный критик», в редакцию которого он входил. Наконец, два разгона «Нового мира» — первый 1954 года и второй 1970 года. В промежутках — красноармейцем на гражданской войне, командиром взвода ближней войсковой разведки на Отечественной — Сац воевал.

Думаю, Горбатову повезло, что Твардовский просил Саца взять его под свою редакторскую опеку: они работали в добром согласии. Сац поразил Горбатова тем, что, пригласив генерала к себе домой, разыскал у себя старые оперативные карты-трехверстки и сверял по ним какие-то подробности боевой дислокации. Я сам слышал, как Горбатов говорил потом, что по военным познаниям дает Сацу чин генерал-лейтенанта. Но литературным редактором Сац был довольно жестким, и он уговорил Горбатова перестроить повествование. Рукопись, принесенная автором, была начата с воспоминаний о Колыме, о лагерной поре, а потом он переносился памятью в свое прошлое, в детство. Сац посоветовал хронологически выпрямить повествование, начать сразу с семьи, с детства... Твардовский обнаружил перемену лишь в корректуре и не одобрил Саца — редчайший случай, когда он оспорил

его как редактора, но, видно, сильно дорога была ему эта рукопись.

— Мне плакать хочется, — говорил Александр Трифонович с версткой в руках. — Какая вещь испорчена! Зачем он выправил по хронологии? Ведь Горбатов инстинктивно сделал художественно — сначала взял круто, с самого трагического момента: арест, тюрьма, а потом на покосе за лагерем, где есть время подумать, припомнил детство, юность, как уходил на мировую войну...

Пришедший на этот разговор Сац резко отстаивал свою правоту. Твардовский, по обыкновению не щадя и обязательств дружбы, со всей жестокостью и не выбирая выражений укорял его в промахе... Ссора казалась неизбежной, споры продолжались и за стенами редакции — до позднего вечера и уже не в кабинетной обстановке. Но на другой же день, как обычно, мир был восстановлен, остался у Твардовского лишь слабый след досады.

Окончательное название мемуаров Горбатова принадлежало Твардовскому. У автора тоже было неплохо: «Жизнь солдата». Но Твардовскому показалось, что для генерала армии в таком самоопределении, в общем-то справедливом, есть легкая тень авторского кокетства. Помню, как все мы, собравшись в редакции вокруг Александра Трифоновича, крутили и перекручивали немногие слова, пытаясь точнее окрестить книгу и легко впадая в пущую банальность: «Война и служба», «Служба и...», «Дружба», что ли?» — сердито перебивал нас Твардовский. И вдруг как выстрелил: «Годы и войны». «Так и назовем. Отвечает содержанию, и можно поручиться, что ни у кого прежде не было». Горбатов без раздумья согласился.

Немало волнений пришлось пережить автору уже при подписании в печать: кроме общей цензуры, его мемуары подлежали ведению цензуры военной. А там в ту пору как раз была образована целая коллегия по мемуарам — воспоминателей развелось среди военных людей немало. Полковники и подполковники, цензуровавшие эти мемуары, жили под гипнозом печатного слова и нерушимо верили в прецедент: если в новом тексте случалось расхождение в трактовке событий или лиц с прежде вышедшими мемуарами военачальников, полагалось усомниться в новом свидетельстве, выбросить или выправить в согласии с тем, что издано прежде, а стало быть, получило одобрение. Тот, кто «вспомнил» нечто первым, получал, таким образом, преимущество, как обладатель исходной истины. Опоздавшим оставалось идти вослед или украшать

уже сложившуюся картину незначащими личными подробностями. Горбатов же по-своему видел войну, наши поражения и удачи, по-своему судил о действиях многих военачальников — и оттого не имел шанса легко получить на верстке одобряющий штамп.

Более всего, разумеется, смущали в его воспоминаниях картины отступления 1941 года, критика грубости и глупых приказов командующего армией М., лагерная эпопея автора. Особенно огорчался Горбатов, что были сняты сказанные им в сердцах, но справедливые слова о своем командующем, возмещавшем военную некомпетентность грубой бранью: «Это не командарм, это бесструнная балалайка». Защищая эту фразу Александр Васильевич наивно настаивал, что слова свои помнит точно. Как же можно их вычеркнуть? Он упрямо сжимал губы, глядел в упор своими строгими глазами и обиженно повторял: «Как же так? Ведь это так и было. Я ему в лицо сказал...» Требование указать, где он взял те или иные факты, подробности боевых действий, возмущало его: «Где-где... Да я был там, я это видел». Полагалось же сослаться либо на документ, либо на предшествующие мемуары, выпущенные в Воениздате. «У вас что напечатано, то свято», — удивлялся генерал. «А если ваш вспоминающий прилгал? А я лгать не умею, я, простите, правду говорю».

Но аргументы такого рода вызывали снисходительную усмешку, а споры заканчивались известно чем — по присказке, любимой Твардовским: «Я его ермолкой, он меня палкой. Я его опять ермолкой, а он меня опять палкой...» Наконец, все же последняя из трех голубых книжек «Нового мира», заключавших в себе «Годы и войны», вышла в свет. Вот тогда мы и отправились к Александру Васильевичу небольшой компанией домой отметить это событие.

Кроме нас, приглашенных в тот вечер, кажется, не было. Не помню только, в этот или в другой раз присутствовал за столом Дмитрий Трофимович Шепилов, как оказалось, член военного совета той самой армии, в которой служил Горбатов. Александр Васильевич ценил его ум и мужество. Имя Шепилова, долгое время не употреблявшееся без липучего и несколько комического определения «и примкнувший к ним», в 60-е годы не упоминалось вовсе. В один день и час 1957 года развенчанный из секретарей ЦК и министров иностранных дел и ставший скромным сотрудником архивного управления, он был из тех низверженных с высот власти людей, которые в самом деле как бы прекращали существовать, сдаваемые в

архив политической современностью. Мы с любопытством поглядывали на него: он держался с достоинством, был немногословен, но сказал, что любимый его журнал, читаемый им от корки до корки, «Новый мир», признание, не скрою, прибавившее тепла нашему общению. Упоминаю обо всем этом потому, что тут тоже черточка Горбатова: в отношении к опальному Шепилову у него сквозила подчеркнутая уважительность — не стал бы он изменять товариществу ни при каких обстоятельствах.

Когда сели за стол, богатый салатами, грибами и иными закусками, невольно вспомнилось одно место из книги Горбатова. Деревенским мальчишкой 16 лет, с отвращением наблюдая пьяные драки, он дал зарок — не пить, не курить и не сквернословить. Это было в 1907 году, и, побывав на трех войнах и в колымском лагере, он зарока того не нарушил, хотя, казалось бы, соблазны окружали его со всех сторон.

Для Твардовского, человека иного опыта, все это казалось каким-то экзотическим чудом, сверхъестественным проявлением воли: он и дивился Горбатову, и восхищался им. «Ну, так-таки ни одной рюмки за всю жизнь?» — допытывался он.

— Ни одной. Ну, если не считать (и хозяин смущенно покряхтел) той, что в Берлине 9 Мая 45-го года офицеры заставили выпить... Один раз, выходит, нарушил зарок.

В этот момент мы сдвинули стопки, ибо, надо признаться, зарок хозяина не сказывался на гостеприимном ассортименте стола — каждый находил на нем то, что хотел. Лишенный всякого ханжества Горбатов чокался с нами серебряной рюмкой, куда исправно подливал из хрустального графина домашнюю вишневую воду «без градусов», как он выразился, и разница в наших напитках никак не сказывалась на оживленности беседы. Скажу более, по мере того как длилось застолье, Александр Васильевич становился словоохотливее, доверительнее: он будто хмелел вровень и заодно с гостями.

Попытаюсь восстановить кое-что из разговоров этого вечера.

Чтобы сделать Твардовскому приятное, Горбатов заговорил о «Теркине» и его меньшом брате — поэме «Теркин на том свете»: эту сатиру, как и эпос про бойца, он высоко ставил. Твардовский, не любивший величаться, обладал умением перевести на шутку лестный и оттого смущавший его разговор. Он тут же рассказал о генерале, командовавшем одним из военных округов, который, залучив поэта к себе на дачу, просил читать за ужином стихи. Твардовский не чинясь прочел не-

давно написанное им стихотворение. «Теркин» выше!» — безапелляционно объявил генерал. Автора это задело, и он прочел другое новое свое стихотворение, которое, по его расчету, должно было уж непременно генералу понравиться... Тщетно. Что бы ни читал, как бы ни старался произвести он впечатление в тот вечер, генерал твердил одно: «Теркин» выше!»

— Теркин выше! — рассмеявшись, повторил и Горбатов.

Любивший соблюдать ритуал застолья и, надо сказать, мастерски это делавший, Твардовский поднял тост за начинающего автора, решившегося отдать свой труд в журнал, который хотя и подвергается критической бомбежке, но обладает глубоко эшелонированной обороной и не намерен сдаваться. Все мы немного мнительны в нелегких обстоятельствах, и Твардовскому могло казаться, что при всем своем здравомыслии и порядочности Горбатов, человек военный и дисциплинированный, вправе был поежиться, наблюдая, как бранят «Новый мир» в печати, как кривятся на него официальные лица: не затаскивают ли, мол, генерала армии в дурную компанию, и он попытался объясниться:

— Вам, конечно, Александр Васильевич, не до наших литературных свар. Но тут, я вам скажу, дело простое: нас укоряют, что мы темные углы, теневые стороны жизни освещаем. Но зачем, скажите, пожалуйста, **освещать свет!** Да по одной лишь солнечной стороне улицы гулять, на теневую не заглядывая, пожалуй, голову напечет. С реализмом воюют посредством высокопарности — всякие там пламенеющие сердца да крылья. Мы уж заметили, когда плохо написано, чтобы оправдать ходульность, говорят: «Ну, это, знаете, романти-и-изм...» — И Твардовский протянул это словечко, издевательски присюсюкивая.

Все рассмеялись.

Я не раз замечал, что в присутствии Твардовского, если вокруг были люди, вызывавшие у него доверие, легкая приятельская беседа неизбежно сворачивала на серьезные сюжеты. Он задавал вопросы, от которых нельзя было отшутиться застольным юмором, и изучающе смотрел на собеседника своими блекло-голубыми глазами.

Почуяв это, и Горбатов разговорился, стал вспоминать войну. В его рассказах о фронте было два пункта, две болевые точки, к которым концентрическими кругами сходились все его думы и воспоминания. Первой больной темой были причины наших поражений в начальный период войны.

«Что вы хотите, если Сталин своими репрессиями парализовал все руководство армией. Я помню, перед войной Якир выдвинул идею создания оборонительного рубежа в западной части Украины. Это должна была быть наша линия Мажино или Маннергейма, но более неприступная. Там уже и земляные работы начали, а после гибели Якира все зто сровняли и велели забыть как вредительство... Но главное — кадры. Армия была обезглавлена, самые способные, самые умные и обладавшие оперативной подготовкой военные были уничтожены. Их место заняли быстро выдвинувшиеся люди, быть может, и неплохие, но часто без малейшего представления о военной науке. В начале войны вчерашние комзски, командиры зскадронов, взводные и батарейные командиры стали командовать полками и дивизиями. А командиры полков возглавили армии и фронты. Но мышление оперативное совсем не то, что полевое. В бою отважные могли быть люди, в атаку ходить умели, но не знали азов военной науки... И гибли сами, и солдат вели на гибель».

— Если бы не разгром военных кадров, мы немца не то что до Волги, до Днепра бы не допустили! — с каким-то скорбным знтузиазмом воскликнул генерал.

— А я еще и о другом думаю, — неожиданно обернул разговор Твардовский. — В сорок втором году мы оказались прижаты к Волге потому, что всего за десять лет перед войной множество семей так называемых кулаков, в действительности же среднее работящее крестьянство, были сорваны со своих мест, высланы, рассеяны по лицу земли. А ведь именно зти люди могли быть лучшими солдатами в войне. Я зто хорошо знаю. Настоящее кулачество разбежалось из деревни само в 1929 году, едва начали его трясти, пошло в города, дети их учились и пополняли слой служилых людей, которые нас же наставляли уму-разуму, руководили и направляли. Я не одну такую семью знал...

Смотрел я на них в те минуты и думал: сидят друг против друга два русских правдолюбивых человека, два крестьянских сына — и один подтверждает другого, понимая его с полуслова, своим опытом и судьбой... Твардовский вспоминал, что на протяжении двадцати пяти лет во всех документах был обозначен как сын кулака, а хозяйство-то у отца было самое скромное и земелька скудная, никудышная: одна слава, что «пан» Твардовский. Лишь лет пять тому, как вызвали Александра Трифоновича в ЦК и сняли зто клеймо.

— В 1938 году, — продолжал Твардовский, — когда я полу-

чил орден Ленина после «Страны Муравии», решил по молодости, что все могу. Кинулся в прокуратуру заступаться за сидевших смоленских друзей — и осекся... Каково было Нине Александровне вас в ту пору из лагеря вытаскивать...

— Да, совсем немногие оттуда перед войной вышли — Рокоссовский, Мерецков, вот я...

И уже Горбатов захватывает внимание за столом. Он рассказывает, как в 1942 году под Сталинградом в тяжелую минуту его разыскал Г. М. Маленков, прилетевший на фронт как представитель Ставки. Он вызвал Горбатова к себе на КП и стал доверительно расспрашивать. Человек всесильный, он показался тогда Горбатову обмякшим, потерянным. Маленков просил откровенно сказать, в чем видит Горбатов причину неудач и как, на его взгляд, можно переломить положение.

— Сказать по совести, я удивился. Так с нами раньше такие люди не разговаривали. Сказал: прежде всего надо вернуть из лагерей арестованных командиров и направить на фронт.

Маленков согласился и просил Горбатова назвать имена тех, кого он лично знал и за кого может поручиться. Горбатов просидел бессонную ночь у коптилки, составляя этот список. Он понимал, конечно, что разыщут не всех, но боялся случайно забыть, пропустить хоть кого-либо из тех комкоров и комдивов, кого встречал на этапе и в лагере. У него было чувство, что им решается в ту ночь судьба многих людей. Маленков с благодарностью принял список, заверил, что эти люди будут на свободе, и улетел в Москву. Ни одного из названных им командиров Горбатов потом на фронте не встречал: повидимому, еще прежде запроса из Москвы (если таковой и последовал) все они были расстреляны.

Чем больше я слушал рассказы Горбатова, тем яснее чувствовал, как сильна в нем совестливость — считавшееся когда-то природным для русского человека, но изрядно порастраченное качество души. Он не принадлежал к числу славолюбцев, которые привыкли на людях кичиться одними победами, упиваться пением фанфар и ликовать. Ему больше помнились тяготы, потери, собственные и других командиров промахи, моменты высшей опасности на войне. И если он чем гордился, то тем, что упрямо преодолевал их.

Вспоминая о сталинградской эпопее, Горбатов замечал, что отчаянное, беспощадное сопротивление врагу началось, в сущности, на последней улице, шедшей вдоль Волги. Тоненькая ниточка отделяла врага от реки, но нить эта оказалась стальной. Тут и жестокая воля Сталина, что говорить, сыграла свою

роль: он велел передать командующему фронтом Еременко и командующему армией Чуйкову, что головы их полетят, если сдадут город. Все поняли: это не пустая угроза. Но как досадно, что важнейшую высоту обороны — Мамаев курган сдавали почти без боя, чтобы потом долгими неделями отбивать его. И сколько людей положили! Сколько солдат!

Второй темой, к которой Горбатов непрестанно возвращался, была боль от зряшных, ненужных потерь — следствие неумения воевать или, что хуже, высокомерного штабного отношения к солдатской массе, арифметического пренебрежения к чужим жизням. Горбатова не отпускало и жгло чувство неопределенной вины перед павшими, так полно и точно выраженное Твардовским:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли
с войны.
В том, что они — кто старше,
кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел
сберечь, —
Речь не о том,
но все же, все же, все же...

— У нас часто говорят: штурм Берлина, штурм Берлина, — рассуждал Горбатов. — Я держусь того мнения, что с военной точки зрения Берлин не надо было штурмовать. Конечно, были и политические соображения, соперничество с союзниками, да и торопились салютовать. Но город достаточно было взять в кольцо, и он сам сдался бы через неделю-другую. Германия капитулировала бы неизбежно. А на штурме, в самый канун победы в уличных боях мы положили не меньше ста тысяч солдат. А ведь они уже радовались, что вот-вот домой... — Глаза генерала увлажнились. — И ведь какие люди были — золотые, столько всего прошли, и уж каждый думал: «завтра жену, детей увижу...»

Слушая его, я опять вспоминал строчки Твардовского:

Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

А Горбатов еще подкреплял свою мысль следующим соображением: надо было уметь не просто уничтожить противника, а, насколько это возможно, взять его в плен. Это

означало, что и с нашей стороны потерь было бы меньше. Умение воевать не в том, чтобы больше убить, а в том, чтобы с наименьшими жертвами выиграть войну.

«Моя армия за время войны, — горделиво замечал Александр Васильевич, — взяла в плен 106 тысяч немцев. А соседние армии — не больше 50 тысяч. И у меня, понятно, убитых меньше. Вот и рассудите, сколько же ненужных потерь мы несли, оттого что некоторые генералы не умели воевать».

— А как Иосиф Виссарионович, вас жаловал ли? — спросил Твардовский.

— Не могу сказать, чтобы плохо относился, хотя очень активно и не продвигал, на армии придерживал. Меня некоторые неуживчивым считали, строптивым. Не знаю, какие уж к нему донесения шли. С «балалайкой бесструнной» я рассорился. И с особым отделом не в большой дружбе был. Однажды, признаться, приколотил в сердцах палкой нашего особиста: он велел крестьянскую избу на бревна раскатать, под блиндаж для своего отдела... И другой случай был...

Горбатов рассказал, что уже когда воевали на земле Польши и Восточной Пруссии, к нему на КП явился посланец из разоренного войной Донбасса, просивший крепежного леса. для восстановления шахт: узнал откуда-то, что армия Горбатова захватила немецкие склады с тесом. Горбатов пожалел шахтеров с безлесной Украины и приказал загрузить трофейным тесом порожняк, отправлявшийся на Восток. Это сочли грубым самовольством, был пущен слушок, что тес отгружен для генеральских дач. Доложили Сталину, он велел создать комиссию и, когда выяснились истинные обстоятельства дела, произнес, ухмыльнувшись, свою опасную шутку, которая потом, через годы, льстила самолюбию Александра Васильевича: «Горбатова могила исправит!»

Генерал разговорился, щеки его порозовели, он стал чертить столовым ножом на скатерти план какой-то боевой операции, пока Нина Александровна, появившись за его стулом, молча не вынула из его руки нож, сочтя это, видно, нарушением этикета.

А Твардовский примолк, обхватил руками голову и глядел влюбленными глазами на генерала. Разошлись в тот вечер поздно.

Эта встреча запомнилась накрепко, хотя много раз мы виделись с Горбатовым и позже. Помню его в парадном мундире и с полной грудью орденов в президиуме собрания в Доме журналиста, посвященного 40-летию «Нового мира». Помню на спектакле «Теркин на том свете» в Театре сатиры, где он, растрогавшись, обнял Твардовского в проходе партера — вечер того дня мы провели в доме у Никитских ворот.

Не раз заходили мы потом и вдвоем с Сацем в эту квартиру с вечно открытой наружной дверью. Как-то, вспоминается,

пришли и застали Горбатова с Ниной Александровной в сумерках: они сидели рядом на диване, не зажигая огня, о чем-то тихо разговаривали и очень обрадовались нашему неожиданному появлению. Шестидесятые годы шли к концу, некоторые темы вновь стали запретными, книгу «Годы и войны», изданную лишь единожды, стали изымать из армейских библиотек.

Когда сели ужинать, Горбатов, как когда-то, стал говорить о бедах 41-го года, о напрасных потерях. Возвращался по стариковски дважды и трижды к уже слышанным нами рассказам. Но я заметил, что, повторяя одно и то же, он — противу обыкновения большинства рассказчиков — ни слова не прибавляет и не убавляет по дороге, точно держится канвы уже известных нам фактов: его щепетильная правдивость подкупала. И снова: «Подумать только — взводные командиры полками командовали, дивизиями в лучшем случае — ротные...» И снова: «Каких ребят положили в последних уличных боях. Окружить бы — немец сам сдался...»

Рассказал, впрочем, и нечто новое. Неожиданно нашелся следователь Столбунский, названный в его книге, — кто-то из читателей сообщил: жив, здоров, живет в проезде Серова. Горбатов потребовал, чтобы человек, вымогавший у него побоями ложные признания, был наказан. Конечно, к уголовной ответственности его не привлекли, даже пенсии не лишили. Но, человек не мстительный, Горбатов побывал все же на собрании в жэке, где Столбунского исключали из партии. Тот, смертельно испуганный, повторял как заведенный: «Горбатова я пальцем не тронул, пальцем не тронул...» Лгал, конечно. Но защищался он, помнится ссылкой на то, что Горбатов так и не подписал на себя вынужденного «признания» в предательстве Родины, а ведь кругом все подписывали...

Разумеется, дело было не в либеральности следователя, а в железном характере, исключительном мужестве и упорстве Александра Васильевича. Человек, давший в шестнадцать лет нравственный зарок и оставшийся верным ему всю жизнь, мог ли он уступить неправде под любыми пытками?

Мы, не ведавшие этих мук, не судьи страдальцам. Но в книге Горбатова отчетливо слышится гордость, что, несмотря на все испытания и нечеловеческие муки в период следствия, он не сломался, не оболгал себя — и вырвал у судьбы шанс вернуться. Была в рассуждении Горбатова даже легкая тень укора другим, более слабым душам, и это уж не вполне справедливо. Но, пожалуй, Горбатов в своих воспоминаниях первый открыл механизм слабости, каким пользовались палачи. В ту пору среди растерянных и несчастных людей, раздавленных совершенной с ними несправедливостью, родилась чудовищная иллюзия, что скорое признание в самых страшных злодеяниях и оговор возможно большего числа невинных заставят

скорее лопнуть чудовищную ложь. Спасались мыслью, что это такая нелепость, в какую уже никто не поверит. Верили. (Вспоминается, замечу в скобках, как на одном совещании в конце 50-х годов ко мне подошел человек и представился: «Резидент негуса абиссинского». Я счел это, нелепой шуткой. Оказалось — точная формула обвинения. Агенты «сигуранцы» и японские шпионы — это уже приелось, казалось пресным, и следователи развлекались экзотическими признаниями жертв). Счастье Горбатова, обладавшего не только физическим здоровьем, но и исключительной моральной стойкостью, что он смог выдержать эти муки и выйти на свободу.

Я с восхищением смотрел на этих двух людей — Горбатова и его жену. Чтобы человек, осужденный в конце 30-х к 15 годам лагеря, уцелел и еще до войны вышел, оправданный, на свободу, такие случаи сравнительно редки и до сих пор встречают порой недоверчивый взгляд: что-то мол, тут не так, либо генерал чего-то недоговаривает, либо его жена имела возможность нажать на какие-то особые пружины. И отчего саму ее не посадили, как многих, чтобы неповадно было хлопотать за арестованного мужа?

Все верно, и железная машина репрессий почти не знала сбоев. И все же уступала порой той стойкости, что была у Горбатова, той беззаветности, какой обладала Нина Александровна. Их урок в том, что нельзя пассивно цепенеть перед непреодолимой силой зла. Надо кричать, звать на помощь, биться во все запертые двери, стоять на своем, не уступать до последнего — даже когда сопротивление, по видимости, безнадежно...

Подбираю оброненную нить воспоминаний. Человек благодарный, Горбатов, встречаясь с кем-либо из нас, новомирцев, не забывал поблагодарить за былое доброе сотрудничество и с особой сердечностью говорил о Твардовском. «Я понял: это удача, что я пришел именно в ваш журнал. Твардовский — смелый человек». В такой скромной похвале из уст генерала, не сорившего словами, заключалось высшее одобрение.

А прощаясь со мной и Сацем в передней, он сказал, отвечая на заданный когда-то и оставшийся без ответа вопрос: «А дверь открытой держу, так это потому, что после одиночки ненавижу, знаете ли, запертые двери».

Горбатов умер в 1973 году, на два года пережив Твардовского, и похоронен на Новодевичьем. Когда я иду в тот угол кладбища, где лежит Александр Трифонович, по дороге делаю крюк и подхожу к надгробию Горбатова. Поясной портрет его из гранита — кавалерийская выправка, грудь вперед, смотрит строго, неуступчиво, будто вот-вот произнесет упрямо: «Не то что до Волги — до Днепра бы не допустили...»

А. Мерцалов,
ведущий научный сотрудник АН СССР,
доктор исторических наук, профессор,
участник Великой Отечественной войны

Миф о великом стратеге

Я был уверен, что такая статья, как «Принципы перестройки: революционность мышления и действий», появится, ведь перемены, начатые в нашем обществе, необратимы. Возврат к командно-административным и бюрократическим методам управления, к апологическим оценкам роли И. В. Сталина уже невозможен.

Но письма защитников Сталина не случайны. Сохраняется сильная устная традиция. Те современники Сталина, которым был выгоден культ его личности, продолжают влиять на общественное мнение. Действуют и способность человеческой памяти забывать все отрицательное, ностальгия ветеранов, чья юность совпала с войной. Большую ответственность несет та историческая литература о войне, в которой господствует парадный стиль. Здесь законная гордость победителей переродилась в опасное самодовольство, фальшивую идеализацию недалеких пропагандистов. Оно сомкнулось с фальшивой идеализацией, которую осудил апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Научные сотрудники, мемуаристы в условиях недостаточной демократичности и гласности обходили молчанием многие острые проблемы истории войны. Часть историков не хотят перестройки знаний о войне. Сказываются их авторитарное мышление, низкая профессиональная подготовка. Они с нескрываемой неприязнью встречают любые попытки восполнить пробелы в освещении прошлого.

В этой связи я выскажу некоторые соображения.

Роль того или иного лица в борьбе за победу непозволительно отождествлять с самой победой. Ее святость не делает

святым любого причастного к ней. Об этой роли нельзя судить, ограничиваясь Днем Победы или Парадом Победы в июне 1945 г. Необходимо брать в целом всю войну и ее непосредственную предысторию.

Всемирно-историческое значение Победы никто из честных исследователей, в том числе и зарубежных, не ставит под сомнение. Земной цивилизации угрожала страшная опасность в лице фашизма. Его разгром обеспечила коалиция государств и народов, но главная роль принадлежала советским людям. Нам пришлось выдержать наиболее жестокие испытания. Борьбу один на один против фашистского блока в 1941 — 1944 годах и позднее при активном участии союзников наш народ под руководством Коммунистической партии вел в условиях культа личности. При этом я решительно отличаю культ от действительно необходимой в тех условиях централизации руководства. Народ и партия победили, несмотря на культ и вопреки ему. Это обстоятельство еще больше подчеркивает величие Победы.

Факты истории поставили под сомнение не только величие Сталина, но и его политическую и стратегическую подготовленность.

Если обратиться к предыстории, то надо сказать, что с конца 1924 г., резко отойдя от политического курса Ленина, Сталин стал отождествлять фашизм, пацифизм, социал-демократизм. Это противоречило интересам рабочего класса и, по существу, интересам всего человечества.

Линия Сталина нанесла серьезный вред деятельности ВКП(б), зарубежных коммунистических партий, Коминтерна. Навредила она и советской внешней политике. Войну не удалось предотвратить, СССР вступил в нее, не имея ни одного союзника. Естественно, здесь действовали и иные факторы, но раскол рабочего и других демократических движений был главным.

По вине Сталина командным кадрам Красной Армии был нанесен огромный ущерб непосредственно перед войной. Враги, полагая, что Красная Армия стала «колоссом без головы», ускорили нападение на СССР. Характерно, что среди ведущих деятелей Красной Армии были репрессированы именно те, которые отстаивали прогрессивные взгляды, выступали за скорейшее оснащение армии, авиации и флота новейшей боевой техникой. Репрессии неизбежно усиливали среди командиров привычку «чутко прислушиваться к мнению начальства», сковывали инициативу, без которой немыслимы успешные военные действия. Армии в определенной степени

удалось восполнить эти утраты. Они, однако, не могли не сказаться на ее боеспособности, особенно в первые месяцы войны. В 1941—1945 годах сложилась новая славная полководческая школа, история которой еще не написана.

Роковым действием Сталина и его советников был грубый просчет в оценке намерений противника накануне 22 июня 1941 г. Многие действительные соображения Сталина или те, которые приписывают ему отдельные авторы, при более глубоком рассмотрении оказываются ошибочными. Надежда на обязательства Германии по пакту 23 августа 1939 г. была наивной.

Уже в 1938—1941 годах фашисты многократно демонстрировали свое полное пренебрежение любыми правовыми и нравственными нормами. Напомню лишь о захвате оставшихся чешских земель вопреки Мюнхенскому соглашению, только что подписанному Германией.

Сталин не хотел дать фашистам «повод» для нарушения пакта о ненападении. Но разве их до того останавливало отсутствие повода? Разве они не фабриковали сами эти поводы при нападении на Польшу и другие европейские страны? Старания «не дать повода» не помешали фашистам сочинить и ложь об «упреждающем характере» нападения на СССР.

С другой стороны, если была уверенность, что фашисты в 1941 г. не нападут, то что могло бы изменить появление повода? Сталина беспокоила, далее, неподготовленность Красной Армии. Но знает ли военная история хотя бы один случай, когда армия имела стопроцентную подготовку? Можно ли было уповать на отличную подготовку в течение совершенно негарантированных нескольких мирных лет и отказаться от немедленного приведения пограничных округов в состояние удовлетворительной готовности? Напомню, что наша партия еще в начале века пришла к выводу, что войны империалистами не объявляются, а начинаются внезапно. Эта идея была отражена в наших армейских уставах, получила теоретическую разработку в трудах советских военных теоретиков уже на опыте агрессивных походов вермахта 1939—1941 годов.

Не может быть принята в качестве «извинительной» и ссылка на возможную неблагоприятную реакцию западных держав в случае мобилизации западных военных округов. Допустим, что это вызвало бы очередную волну антисоветской пропаганды. Но верх очень скоро взяли бы долговременные интересы этих держав.

Пишут о надежде Сталина на то, что Германия не нападет

на СССР, пока не разгромит Англию. Но необходимо было учитывать, что обстановка резко изменилась по сравнению с аналогичной ситуацией 1914—1918 годов. В 1941 г. фашисты не без оснований сочли Англию совершенно безвредной для себя и начали свой восточный поход. Сталин мог надеяться, что для приобретения запасов горючего Германия вначале пойдет на Ближний и Средний Восток. Однако все расчеты фашисты строили исключительно на доктрине скоротечных войн и свой очередной поход считали вполне обеспеченным.

Читатель вправе спросить, располагал ли Сталин этой информацией. Имевшейся информации было больше чем достаточно, чтобы выполнить элементарное требование — постоянная боевая готовность перед лицом агрессивного и опасного противника. Безнравственно скрывать, что фактор внезапности возникает не только вследствие профессионализма и подлости агрессора, но и по вине обороняющегося. Войска Красной Армии не были приведены в непосредственную боевую готовность. Нападение оказалось внезапным, что чрезвычайно усилило противника. Здесь кроется главная, если не единственная, причина поражений в начале войны.

Красная Армия летом и осенью 1941 г. оказалась на краю пропасти. На полях сражений полегли миллионы кадровых военнослужащих — основа армии и авиации, противник взял колоссальное вооружение. Подобное повторилось в 1942 г. Сталинщина, т. е. отсутствие коллегиальности, самовластие и произвол, некомпетентность, отрицательно влияла на ход войны вплоть до ее окончания. Преступные по своим характеру и масштабам просчеты побуждали Сталина к привычной практике: новым жестокостям, нечестным оправданиям, самовосхвалениям. В 1941 г. козлом отпущения стало первое командование Западного фронта. Новые просчеты вызвали печально знаменитый приказ № 227 от 28 июля 1942 г. На этот раз Сталин обвинил, по существу, всех командиров и солдат в «недисциплинированности».

Доводы — «история отвела нам мало времени», «наша миролюбивая страна не могла приложить большие усилия в интересах укрепления обороны» — не имеют реальной основы. «В отведенное нам время» мы могли сделать много больше — и в военной экономике, и непосредственно в вооруженных силах, — если бы не допустили просчетов и самоуспокоенности, если бы следовали рекомендациям передовых ученых, а не заслуженных псевдопрофессионалов. И главное, по всем основным характеристикам вопреки упомянутым

негативным явлениям Красная Армия ни в чем существенно не уступала немецкой. Наоборот, она, безусловно, имела громадные преимущества в идейно-политическом, нравственном отношениях, выгоды обороняющейся стороны.

Ряд авторов сообщают о превосходстве вермахта в боевом опыте. Внешне это так. Но ложная трактовка действительно приобретенного опыта привела вермахт к грубой переоценке собственных сил и, в конечном счете, к краху: Степень же использования опыта современных войн Красной Армией зависела во многом от субъективных, но не объективных условий. Тезис о том, что вермахт при нападении на СССР опирался на военно-экономический потенциал всех стран, захваченных Германией или зависимых от нее, также не является выводом из серьезного научного исследования. В действительности вермахт в июне 1941 г. лишь в незначительной мере использовал некоторые ресурсы этих стран. Когда же Германия привлекла большую часть этих ресурсов, она тем не менее стала безнадежно отставать в военно-экономическом отношении от СССР.

Однолинейность мышления не позволяла Сталину охватить все составляющие сложной военно-политической обстановки в тогдашнем мире.

При нарушении ленинского принципа коллективности руководства другие политические и военные руководители часто оказывались не в состоянии направить события по правильному пути. Тяжелые последствия имела, например, ошибочная оценка намерений противника летом 1942 г. Красная Армия вынуждена была отступить до Волги и Кавказского хребта...

Порой приходится слышать нелепые утверждения, что якобы вообще не было нашей победы, поскольку ее добились такой великой кровью. Прошлого не переделаешь и не отменишь, хотя цена победы и была неимоверной.

Стратег всегда оценивался по тому, сумел ли он победить малой кровью. Слова «пиррова победа» недаром пережили тысячелетия как нарицательные. Сохранить жизни — не только нравственная задача. Люди — главное достояние нации. Ложный авторитет Сталина как «великого полководца» до сих пор держится в основном потому, что не уточнены общие потери СССР и Германии — главных противников враждебных коалиций (20 и 6 млн.), а главное — сведения о безвозвратных потерях Красной Армии (10 млн.) и вермахта (2,8 млн.). В печати приводятся и другие данные. Это имеет прямое

отношение к профессионализму армий. И нуждается в серьезной оговорке. Многие авторитарные решения Сталина фактически способствовали противнику. Таково запрещение привести войска в непосредственную боевую готовность накануне 22 июня 1941 г., продолжение необеспеченного наступления весной 1942 г. и другие.

Одни принимают число 20 млн. погибших как некую данность, не задумываясь над тем, возможен ли был иной исход. Другие вообще категорически отвергают какие-либо исторические альтернативы. Не исследован вопрос, какое влияние, прямое и косвенное, оказали эти неоправданные потери на последующее развитие страны. Замечу, в частности: разве девизы «план любой ценой» и «победа любой ценой» не имеют общей методологической основы? И как долго еще можно следовать ущербному принципу «победителей не судят», не представляя себе, что он мог возникнуть лишь в то время, когда не существовало и зачатков общечеловеческих морали и права, а люди еще не научились соотносить цели и средства, необходимые для их достижения.

Советским людям приходилось воевать не только против внешнего врага, но и внутреннего — сталинизма и его носителей. Так же как сталинщина с ее грубыми искажениями социализма должна быть решительно отделена от марксизма-ленинизма, так должны быть отделены от искажений и героические действия советских патриотов фронта и тыла.

Прошлое жизненно необходимо для нынешнего дня, подчеркивается в редакционной статье «Правды», для решения задач перестройки. И если мы сегодня вглядываемся в свою историю критическим оком, то лишь потому, что хотим лучше, полнее представить себе пути в будущее.

Михаил Томский — каким он был?

Ответ на некоторые вопросы, связанные с судьбой этого человека, даст беседа, которую ведут кандидат исторических наук О. И. Горелов и сын Томского — Ю. М. Томский.

О. Горелов. — Юрий Михайлович, по свидетельству товарищей, хорошо знавших вашего отца, по тем материалам, с которыми я познакомился, изучая его жизнь, Михаил Павлович представляется мне сильным, волевым человеком. Он несколько раз арестовывался царской полицией, сидел в тюрьмах, отбывал пятилетнюю каторгу. Все вынес — побои, одиночки, этапы, голод и холод...

Ю. Томский. — А вот унижений и оскорблений, облыжных обвинений в предательстве партийного дела отец не смог пережить. Мне в 1936 году было 15 лет. Все помню. И особенно — август, тот жуткий месяц, ставший последним в его жизни. Тогда начался процесс над Зиновьевым, Каменевым и другими. После газетной публикации материалов процесса отец позвонил Ежову, который в то время был секретарем ЦК ВКП(б) и председателем Комиссии партийного контроля при ЦК, и сказал ему: «Если всякую грязь и клевету валят на мою голову, то что же мне делать? Сдавать дела? Видимо, я партии больше не нужен». На что Ежов, по словам отца, ответил: «Не говори глупости, все это ерунда. Работай. Мы тебе верим». В ту пору, после снятия с поста председателя ВЦСПС, отец руководил ОГИЗом, ведал издательской деятельностью в стране. 21 августа в ОГИЗе состоялось партийное собрание. Отец вернулся на дачу в Болшево поздно и не спал всю ночь.

Утром 22 августа за ним, как обычно, пришла машина и с ней доставлена газета, в которой был опубликован материал о партсобрании в ОГИЗе. Отец прочел и вышел в сад. Потом позвал меня. Мы ходили по саду. Отец говорил. Я не знал тогда, что это было его последнее напутствие мне, младшему

сыну. Он говорил, что ни в чем не виноват, что без партии жить не сможет. Этим же утром его не стало.

О. Г. — В 1937 году по поводу его смерти писали так: «Запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами, в августе 1936 года кончил жизнь самоубийством». Сейчас даже произносить такие слова как-то неудобно. Но все-таки почему, по вашему мнению, он принял такое решение, чего хотел добиться своей смертью?

Ю. Т. — Причин этого поступка, видимо, много. Не мне судить. Для нас же, его детей, совершенно определенным представляется, что этим отец хотел еще и уберечь нас, семью. В день самоубийства отца у него в кабинете на даче было найдено письмо на имя Сталина, в котором Томский просил не трогать семью. В ОГИЗе, в рабочем кабинете отца, было обнаружено второе письмо, адресованное в ЦК. Это был объемистый пакет, и мы с братом Виктором передали его лично в руки Ежову. Тот прочитал и заявил, что это документ огромной важности и будет жить в веках. Он заверил нас, что ни один волос не упадет у нас с головы и что он постарается заменить нам отца.

О. Г. — Ну а цена этих заверений? Какова дальнейшая судьба семьи Томского?

Ю. Т. — Двое старших братьев — Михаил и Виктор — расстреляны. Мать приговорена к 10 годам, умерла в 1956 году в Сибири. Все они реабилитированы посмертно. Сам я — единственный из семьи, оставшийся в живых. С 16 лет репрессирован — 10 лет тюрьмы и 9 лет ссылки. По возвращении и реабилитации я свыше 20 лет работал в системе Министерства энергетики и электрификации СССР.

О. Г. — Многие историки сейчас сходятся на том, что предложения группы Бухарина, Рыкова и Томского тогда, на рубеже 20-х и 30-х годов, содержали здравые зерна. Были плюсы в их позиции, были, конечно, минусы. Но в стране стала утверждаться командно-административная система руководства, всякий иной взгляд на социализм оказался неприемлем из-за нетерпимости Сталина, а носители этих взглядов — опасны.

Сейчас, когда мы решительно отказываемся от административно-бюрократической системы, включаем экономические рычаги, человеческий фактор, углубляем демократию, нам могут быть очень полезны портреты людей, мысливших в том же направлении. В этом смысле интересно, что собой пред-

ставлял Михаил Павлович Томский как человек? Каким он был?

Ю. Т. — Решительным. Помню, брат мой Виктор рассказывал о случае, который на его глазах произошел в поезде, когда отец ехал с ним и своими товарищами в Париж. Едва состав отошел от какого-то полустанка в Польше, как в открытое окно вагона что-то влетело — все увидели гранату, она волчком вертелась на полу. Оцепенение длилось миг, а потом отец схватил ее и швырнул в окно: взрыв прогремел далеко под откосом...

О. Г. — Профсоюзная биография М. П. Томского началась еще до Октября: в 1905 году он создает в Ревеле профсоюз металлистов, в 1906 году в Петербурге создает профсоюз граверов и хромолитографов, избирается на V (Лондонский) съезд РСДРП в 1907 г., который принял важные решения о профсоюзах. Ваш отец не рассказывал об этом времени?

Ю. Т. — Я был еще подростком. Могу привести две выдержки из воспоминаний отца, опубликованных в 1927 году и неизвестных ныне. Отец размышлял о важности практической, повседневной работы профсоюзов: «У нас был... краткий период между 1907 и 1908 годами, когда... мы не поняли резолюции Лондонского съезда (в резолюции речь шла о признании профсоюзами партийного руководства. — **Ред.**), пришли в профсоюзы и начали: «Вот вы резолюцию Лондонского съезда принимаете или нет?» А те говорят: «Мы не насчет резолюции Лондонского съезда, а вот насчет того, нельзя ли нам, чернорабочим, на 5 коп. добиться повышения зарплаты?!» «Это, — им отвечали, — пустяки, а вот как насчет резолюции Лондонского съезда?» — «Мы этого не обсуждали». — «А мы требуем, чтобы вы обсудили». — «Тогда, — говорили нам, — выйдите за дверь и там обсуждайте». Так было в 1907—1908 гг., когда с этой резолюцией многие не по уму горячие ребята бросились прямо к рабочим. А к концу 1909 г. уже в значительной части московских и петербургских профсоюзов в правлениях сидели большевики. Что они для этого сделали? Они стали резолюцию Лондонского съезда не обсуждать, а проводить на деле».

Вторая выдержка связана уже с периодом реакции, когда перед партией с особой важностью встала задача использования не только профсоюзов, но и других легальных организаций рабочего класса: «В конце 1907 года большевики обсуждали в Териоках, в большевистском Центре, под пред-

седательством Владимира Ильича, вопрос о платформе нашей работы в профсоюзах. И там зашел спор. Владимир Ильич яснее всех нас видел, что наступает полоса реакции, требующая известной перегруппировки сил. Обсуждали вопрос о работе профессиональных и других рабочих организаций, об использовании легальных возможностей и т. д. Причем я, будучи тогда профессионалистом довольно ортодоксальным, все мог перенести, но не мог перенести того, как это мы, большевики, пойдем работать в кассы взаимопомощи, которые я тогда считал архиоппортунистическими организациями, не стоящими нашего внимания. «Вот профсоюзы — это классовая организация рабочих, в ней работать можно, и ее мы должны строить, а кассы взаимопомощи — чепуха». Как один из своих аргументов против Владимира Ильича я — по молодости лет — выдвинул тогда следующее: «Вы что же, хотите нам еще рекомендовать идти работать в кружки балалаечников?» Владимир Ильич сказал: «Если это **рабочие** кружки балалаечников, — я рекомендую вам идти, хотя бы там было 3—5 человек рабочих. Если же они играют на балалайке «Боже, царя храни», то научите их для первого раза играть «Марсельезу».

О. Г. — Февральская революция застала Томского в Сибири, на поселении в Иркутской губернии. В конце марта Томский приезжает в Москву, а после возвращения В. И. Ленина из-за границы едет в Петроград, где после беседы с Ильичем начинает работать в ПК РСДРП.

После Октября Томский работает в Московском совете профессиональных союзов, где в декабре избирается председателем. На I съезде профсоюзов в январе 1918 года выступает с заключительным словом по докладу о задачах профсоюзов. Вскоре он становится руководителем профсоюзного движения страны. В чем было его кредо?

Ю. Т. — Отец неоднократно говорил о том, что работа профсоюзника складывается из массы мелких, порой незаметных дел. Профсоюзник, по его словам, всегда должен быть в массе, чувствовать ее интересы, знать чем она живет, что ее волнует. Говоря о задачах коммунистов в области профсоюзного движения, Томский так определил свою позицию на пленуме Исполкома Коминтерна 2 марта 1926 года: «Могут ли коммунисты недооценить роли и работы профсоюзов? Откровенно говоря, для литераторов, привыкших писать пышные статьи на отвлеченные темы об очень важных мировых вопросах, для агитаторов, которые считают единственно важ-

ным выступлением на больших митингах и произнесение, под гром аплодисментов, звонких речей о мировых задачах, — работа профсоюзов, которая иногда сводится к борьбе за пяти- или семикопеечную прибавку рабочим или к отстаиванию требования о кипяченой воде, — кажется будничной, серенькой работой. Чтобы борцу за революцию важно было бы разбираться в каких-то пятаках, — не стоит пачкаться! Вы помните, что величайший вождь рабочего класса В. И. Ленин в одном из своих первых произведений написал о требовании кипяченой воды, умывальников и т. п. Вот подход к массе, вот человек, который с первых шагов понял, как нужно подходить к массе».

Выступая на траурном заседании II съезда Советов в Большом театре 26 января 1924 года, отец так сформулировал ленинские заветы в области профдвижения: не отделять политики от экономики; не противопоставлять профессиональное движение политическому движению пролетариата; приносить в жертву, если этого требуют интересы класса, все личное, все групповое, все цеховое; неустанно воспитывать новые сотни тысяч рабочих, вливая их в госаппарат для его оздоровления, перестройки, укрепления и приближения к массам; союзы должны быть «ближе к массам», должны стать «школой коммунизма» для широких масс.

О. Г. — Томский был ярый противник методов администрирования и командования в профсоюзах. Именно он первым забил тревогу, когда в ноябре 1920 года с лозунгами «перетряхивания» профсоюзов выступил Троцкий.

Ю. Т. — Он был против бюрократизма в профсоюзах. Так, на VI съезде профсоюзов он поднял вопрос об излишнем количестве циркуляров профсоюзов. Томский всегда говорил, что если не начать вовремя лечить такие, казалось бы, безобидные болезни, то дело может для больного кончиться плохо. Он говорил, что подобного рода зачатки болезней союзного аппарата могут вылиться «...в окостенение аппарата, в создание касты, стоящей над массой, в создание рабочей аристократии, касты профчиновников, для которых работа в рабочих организациях является не делом классового долга, а средством к существованию, — профессией...»

О. Г. — Вы сказали о циркулярах и о речи Томского на VI съезде профсоюзов, а мне вспомнилась карикатура в «Крокодиле» за 1924 год: «Читали вы, — гласит подпись под рисунком, изображающим двух профсоюзников, — как Томский-то, на съезде, насчет циркуляров? Циркуляр, говорит, —

это враг профдвижения!» — «Да, да, замечательно, верно! Надо будет обязательно разослать циркуляр».

Ю. Т. — Это очень показательно. Тогда действительно с критикой вопрос стоял как-то проще, демократичнее. И критика воспринималась нормально. Мать, например, рассказывала, что отец приходил иногда и без всякой трагедии говорил: «Ну, Ильич меня сегодня хорошо побил, положил на обе лопатки!».

О. Г. — Да, Ленин не раз критиковал Томского. Но как на крутом переломе, в пору профсоюзной дискуссии, когда решался вопрос о политике партии в отношении профсоюзов, Томский стоял на последовательно большевистской позиции. Ленин поддержал его. Когда у Томского произошло столкновение с Троцким по вопросу «перетряхивания» профсоюзов, Михаил Павлович пришел к Ленину и, по словам Ильича, стал возбужденно рассказывать о том, как Троцкий говорил о «перетряхивании» и как он, Томский, с этим полемизировал. «...Когда это произошло, —продолжает В. И. Ленин, — я сразу и бесповоротно решил для себя... что в корне не прав в этом споре т. Троцкий со своей политикой «перетряхивания» против т. Томского».

Защищая Томского от критики его якобы серьезных теоретических ошибок, В. И. Ленин отметил: «Я никогда не слыхал, чтобы в Томском преобладал теоретик... может быть, это его недостаток, это другой вопрос. Но что Томский, сработавшийся с профессиональным движением, должен отражать... этот сложный переход, и если у массы что-то болит и она сама не знает, что болит, и он не знает, что болит, если он при этом вопит, то я утверждаю, что это заслуга, а не недостаток. Я совершенно уверен, что частичных теоретических ошибок у Томского найдется много. И мы все... все поправим, а может быть и поправлять не станем, ибо производственная работа интереснее, чем исправление мельчайших теоретических разногласий».

Если продолжать говорить об ошибках Томского, то они в основном имели место в начальный период его деятельности на посту руководителя советских профсоюзов. Резкой критике со стороны В. И. Ленина, например, подверглось поведение Томского весной 1921 года на IV съезде профсоюзов. ЦК партии создал специальную комиссию и поручил ей подготовить проект резолюции съезда о деятельности ВЦСПС. Томскому, как члену комиссии, поручалось внести этот проект на рассмотрение коммунистической фракции съезда, а затем отстаи-

вать его на съезде. Но он этого не сделал, в результате чего была принята ошибочная резолюция, предложенная Рязановым. Пленум ЦК отстранил Томского от руководства работой съезда и от дальнейшей работы в ВЦСПС. Некоторое время, до января 1922 года, Томский работал председателем Комиссии ВЦИК по делам Туркестана, после чего вновь возвратился на профсоюзную работу. Серьезных ошибок после этого в работе председателя ВЦСПС уже не было.

Ю. Т. — Ошибки Томского, явные и мнимые, были поставлены ему в вину в августе 1936 года, спустя многие годы после того, как он отошел от профсоюзной деятельности. Сталин ничего не забывал.

О. Г. — В каких взаимоотношениях был Томский со Сталиным?

Ю. Т. — В годы становления Советской власти отец со Сталиным нередко бывали друг у друга. У нас хранилась фотография Сталина, датированная 26-м годом с надписью: «Моему дружку — Мишке Томскому. И. Сталин». В 1927—1928 годах мы семьей бывали у Сталина в Сочи на Пузановке. Там жил и А. Рыков, приезжал Н. Бухарин. Помню, был чей-то день рождения. Мама со Сталиным готовили шашлык. Сталин сам жарил его на угольях. Потом пели русские и революционные песни и ходили гулять к морю.

О. Г. — С кем дружил Томский, о ком он рассказывал?

Ю. Т. — Рассказывал отец о С. М. Кирове. Он и отец в 1929 году вместе занимались апатитовыми разработками в Хибинах, когда после ВЦСПС отец работал во Всехимпроме. Киров резко выступал против правого уклона, против взглядов отца. Но дружба между ними никогда не прерывалась. Отец бывал у него в Ленинграде, вместе охотились. Он называл Кирова замечательным человеком.

В 1934 году, осенью, Киров приехал в Москву, кажется на пленум ЦК ВКП(б) и ночевал у нас. Убийство Кирова потрясло отца и сильно повлияло на его здоровье.

Много теплых слов слышал я от отца о Михаиле Васильевиче Фрунзе. В 1921 году отец был послан в Туркестан. Там тогда были Рудзутак и Фрунзе. Отец и Фрунзе очень дружили.

О. Г. — Какие у Томского были увлечения?

Ю. Т. — Отец хорошо рисовал — углем, акварелью, маслом. Увлекался фотографией, коллекционировал оружие. Помню, например, что ему дарили оружие Рудзутак, Орджоникидзе, Фрунзе, Дзержинский, Блюхер, Сталин, тульские рабочие. После нашего ареста коллекция пропала.

О. Г. — Где захоронен Томский?

Ю. Т. — В ночь на 23 августа на дачу в Болшево приехал Ежов. Он долго беседовал с матерью и сказал ей, что захоронение предполагается у Кремлевской стены. Утром 23 августа матери передали по телефону, что захоронение произойдет на кладбище Новодевичьего монастыря. Через некоторое время было сообщено, что захоронение будет произведено временно на Болшевском кладбище. Тело отца было забальзамировано. В день похорон у дачи скопилось очень много народу. Срочно кем-то было принято решение о захоронении Томского на территории дачи. Позже его тело ночью было вырыто. Имеется ли где-нибудь его захоронение, мне узнать не удалось...

О. Г. — Спасибо за беседу. Сегодня мы вновь и вновь обращаемся к непростой истории профсоюзов, учимся на ее уроках. М. П. Томский был заметной фигурой в профсоюзном движении, и подробности о его жизни будут интересны читателям.

А. Афанасьев

Победитель

В январе 1945-го года он был избран первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. Это, по сути, явилось признанием его роли в обороне города, в прорыве блокады, в победе над врагом. Через четыре года А. А. Кузнецов был репрессирован по «ленинградскому делу»...

Как раз в эти тяжкие для всей семьи Кузнецовых месяцы дядя Сима привез в Москву из Ленинграда очень модную игру «джекинс». Семья садилась за обеденный стол, делилась на две команды. Одна команда вытягивала на столе руки. Другая должна была угадать, у кого и под какой рукой монета или кусочек бумаги. Гипнотизируя по очереди взглядом игроков, капитан второй команды громко кричал: «Снять!» Руки поднимались. Бумаги (или монеты) не было. Все участники игры весело смеялись. А капитан кричал вновь: «Снять!»

И опять повторялось все.

Семья не знала, не могла знать, что в те же месяцы другие игроки и за другими столами разыгрывали иную игру — не столь невинную.

15 февраля 1949 года секретарь ЦК ВКП(б) Алексей Александрович Кузнецов пришел, как всегда, на работу и обнаружил на своем столе бумагу, из которой явствовало, что он от занимаемой должности освобожден.

В этот день, 15 февраля, преемник А. А. Кузнецова в Ленинграде, первый секретарь обкома и горкома Петр Сергеевич Попков был вызван в Москву, на заседание Политбюро, откуда возвратился в совершенно разбитом, подавленном состоянии.

На этот же день, 15 февраля, у Кузнецовых был назначен праздник. Праздник не отменили. Был накрыт большой нарядный стол: старшая дочь Кузнецовых, Алла, выходила замуж за Серго, сына Микояна. Приехал Алексей Александрович. Выглядел он обычно: весел, энергичен, подтянут.

Трагедии не чувствовалось.

Трагедии не чувствовалось и на следующий день, когда гости уехали и жена Алексея Александровича, Зинаида Дмитриевна, собрала детей и тихо сказала: «Ребятки, папу сняли. Все, конечно, разъяснится...»

Трагедии детям не дали почувствовать и все последующие шесть месяцев.

Алексей Александрович стал много читать. Представлял ли он, что уже происходило там, в Ленинграде? По его глазам было заметно: он что-то взвешивал, сопоставлял, продумывал. И оставался уверенным, собранным. Или просто своим видом показывал тем, кто его в эти дни наблюдал: Кузнецов уверен, не боится и, стало быть, никакой вины за собой перед народом и партией не чувствует?

21 февраля (назавтра после дня рождения Алексея Александровича) второй фактически человек в партии Георгий Максимилианович Маленков был в Ленинграде. 22-го Маленков выступил на объединенном пленуме обкома и горкома с сообщением об антипартийных действиях члена ЦК тов. Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК тт. Родионова М. И. (председатель Совмина РСФСР) и Попкова П. С.

25 февраля прямо из президиума партконференции бывший ленинградец первый секретарь Ярославского обкома Иосиф Михайлович Турко был отозван в распоряжение ЦК... Маленков вышел из-за стола, встретил Турко, заложив руки за спину: «Не хитрите с Центральным Комитетом партии. Скажите, группа у вас была?..»

В марте сняли еще одного ленинградца, академика Николая Алексеевича Вознесенского. Его вывели из состава Политбюро, освободили от обязанностей заместителя Председателя Совета Министров СССР и председателя Госплана СССР.

Шесть месяцев, с 15 февраля по 13 августа, — как шесть часов. Шесть часов рассказа дочери Кузнецова, Галины Алексеевны.

Через некоторое время Алексея Александровича вызвали в ЦК. Это было в марте... Нет, наверное, попозже. 8 марта в их девчачью школу (тогда обучали раздельно) разрешили пригласить ребят. Галя собралась на вечер. Мама осторожно спросила: «Может, не надо?» Галя удивилась: «Почему?!»

Трагедию семье давали почувствовать постепенно. Папу направили в Перхушково. Папа пришел радостный, принялся собирать вещи: «Сбылась моя мечта. Я буду учиться!..»

Семья приезжала к нему на такси. Запомнилось: поместили папу на втором этаже в узкой, как камера, комнате с же-

лезной кроватью. Запомнилось: там в это время обучались почему-то в основном пожилые генералы. Они очень хвалили Алексея Александровича за проведение сложнейшей игры.

Только потом, говорит Галина Алексеевна, выяснилось: почти все обучавшиеся были арестованы.

21 июля министр МГБ Абакумов (правая рука Берии) сообщил Сталину, что снятый еще в феврале с должности второго секретаря Ленинградского горкома Яков Федорович Капустин — не кто иной, как английский шпион. Основание? Еще в 30-х годах Капустин, будучи старшим мастером на Кировском заводе, ездил в Англию, изучал производство паровых турбин.

10 августа Галя приехала в Перхушково на такси за отцом: обучение в Перхушково завершилось. Папа, не скрывая радости, говорил: «Ребятки, я оправдал ваши надежды! Я не получил ни одной «четверки»!» Показывал с удовольствием выданную ему амуницию. Значит, не игра? Следовательно, все всерьез? Выходит, все должно действительно разъясниться?

Адам Осипович Каршеник, член ВКП(б) с 1904 года, давший Алексею Кузнецову рекомендацию в партию, выделял в его характере постоянное стремление к ясности. Лишь спустя годы, сквозь призму трагической судьбы видишь: из этого качества прорастет, как из зерна, его сила, а значит, и его гибель...

К середине августа, вероятно, завершилось обучение не только в Перхушково. 13-го, взяв младших детей, Алексей Александрович пошел гулять по Москве. Выглядело это так, как описывал позднее дядя Сима: впереди идет смеется Кузнецов с детьми. В нескольких шагах, ненавязчиво — кто-то из двоих охранников.

Домой вернулись к обеду. Алексей Александрович пошел мыть руки. А Зинаида Дмитриевна негромко сказала: «Ленюшка, тебе звонил...» (и она назвала фамилию человека, работавшего в ту пору в КПК). Алексей Александрович вышел из ванны заметно бледным. Быстро собрался. В прихожей поцеловал жену и детей. Закрылась дверь.

Улыбаясь, помахал рукой с улицы. Вот и все, кажется?

Ожидали его возвращения, накрывали на стол. Мама повторяла, как заклинание: «Ничего-ничего, ребятки. Все разъяснится». К вечеру под окнами остановилась странная машина. Было светло. И потому увидели: из машины вышли энергичные мужчины в черных костюмах и черных шляпах.

И вот уже позвонили им. И вот уже распахнули их дверь.

Первый (значит, самый важный?) с порога вопрос:

— Где письмо?!.

Мы сидим с Галиной Алексеевной за большим обеденным столом, покрытым белой скатертью. Это, конечно, другой стол. И совсем другая квартира. Смотрим фотографии: «Вот папа еще в Боровичах. Он четырнадцати лет поступил на лесопильный, где и его отец работал... Вот он секретарь укома комсомола... А это они с мамой, молодожены, и у них родилась Алла... А потом, в Луге, секретарем окружкома комсомола... Знаете, сколько ему было, когда его избрали вторым секретарем Ленинградского горкома партии? Тридцать три года!..» Блестящая, стремительная карьера. Вся она — в паре фотоальбомов. В двух военных тетрадях маминого брата — дяди Симы (в блокаду Серафим Дмитриевич Воинов у члена Военного Совета Ленфронта Кузнецова был военным порученцем — имелась в те годы такая должность).

Рядом толстая пачка описей и актов, оставленных семье после арестов и обысков — папиного и маминого. И еще несколько писем. Вот и весь архив. Письма папины? Нет, папа без права переписки. Мамины: из Владимира, из бывшей царской каторжной тюрьмы. После папы остались только описи. При обыске все его бумаги рвали. Разорвали даже коробку из-под папирос «Герцеговина Флор». Коробку Алексей Александрович хранил с 1940 года. Ее подписал и подарил Кузнецову с а м. А т о письмо? Письмо Сталина?

Того письма здесь нет...

Листаю тетради Серафима Дмитриевича Воинова. Слушаю Галину Алексеевну. И одолеваю первый пласт «ленинградского дела». Первый пласт сшит белыми нитками. Но сшит мастеровито.

Воинов, проходивший по тому же «делу», описывал, по каким правилам разыгрывалась обычно игра: «Подозреваемый должен был почувствовать себя в пустоте. Для него изменялась атмосфера в учреждении, на заводе. Попавший в список ощущал, что чья-то рука организует для него служебные неприятности. Но догадаться о действительных причинах не мог. Он становился нервным, терял деловые качества и уже сам прибавлял просчеты... Я проходил по списку тех, кого следовало чернить любыми способами. Я шел вместе с теми, кто перед трибуналом должен был предстать ошельмованным, с клеймом антиобщественного человека или пьяницы, морально неустойчивого, нравственно опустившегося. В это число включались и те, кто, п о п а д а я с ь в п о д г о т о в-

ленные капканы служебных нарушений, оказывался не только оклеветанным, ошельмованным, но и ответственным перед законом и людьми» (выделено мной. — А. А.).

Значит, не просто брали и хватали. «Дела» готовились тщательно, долго, иногда годами. Кузнецова «готовили» по меньшей мере полгода. Воинов — тот даже считал, что «ленинградское дело» вообще уходит корнями... в 41-й, в блокаду. Формальное же его начало: январь 1949 года.

В декабре 48-го в Ленинграде провели областную и городскую партконференции. Там было объявлено: секретари обкома и горкома переизбраны единогласно. Вскоре в Москву ушло анонимное письмо: члены счетной комиссии видели, что «фамилии Попкова, Капустина и Бадаева во многих бюллетенях вычеркнуты». И это действительно имело место: больше всех, 15 голосов против, получил будущий «английский шпион» Капустин. Что заставило пойти на подлог? Самостоятельное желание не испортить радужной отчетности? Или тот самый капкан сработал? Достаточно ведь, кому надо, просто намекнуть: к чему ронять репутацию колыбели революции! А чуть позже вытащить свежеиспеченный факт на всеобщее обозрение...

Нет, не будем утверждать, что это было так. Кто автор подлога и каковы его мотивы — теперь сложно выяснить. Во всяком случае история с голосованием послужила основательным поводом. Хорошо отлаженная машина сделала первый оборот. Второй: в январе 1949-го в Ленинграде провели всероссийскую оптовую ярмарку. В ней участвовали и союзные республики. Значит, уже получается, всесоюзная? А санкционировано ли это центральными органами? Нет. Следовательно, тут можно усмотреть факт разбазаривания, а также еще более серьезный факт: групповщины, противопоставления себя Центральному Комитету. Третий оборот: П. С. Попков, абсолютно неопытный партийный работник, оказавшись на ответственных постах, подвергался, вероятно, обработке так же, как и Кузнецов. Но с другим результатом.

Читаю в записках Воинова: «Незадолго до января 1949 года... увиделся с Попковым. Это произошло в Смольном, в столь хорошо знакомом мне кабинете Кузнецова. Попков поразил меня своим видом. За столом Кирова и Кузнецова сидел больной человек. Особенно поразили меня его бегающие глаза и какая-то жалкая, вызывающая к снисхождению улыбка потерянного человека. Что и кому Петр Сергеевич

говорил в том состоянии — помнил ли он сам? Во всяком случае из его выступлений и бесед выудили третий факт: будто бы Кузнецов и Попков «вынашивали» идею создания компартии России».

На этих трех фактах первый кон был отыгран. Теперь следовал кон второй. Следствие. Подключился игрок — ни больше ни меньше — в ранге министра МГБ. Как велось следствие? А как оно могло вестись, ежели ни одна сила в мире не могла его объективно проверить? Чем способно было завершиться, если поверх писаных законов действовали железные правила: царица улик — признание самого обвиняемого; главное — внутренняя убежденность следователя; враг народа не стоит того, чтобы с ним обращаться как с товарищем по партии...

Только еще подозреваемому Турко следователь, то ли шаманя, то ли гипнотизируя, кричал: «Если ты не признаёшься, то ты тем самым ведешь борьбу с Центральным Комитетом партии...» Вдумаемся: подозреваемых и не могло быть. Были заранее автоматически виноватыми в принципе все: ты есть враг, хотя бы потому, что не признаёшься в этом!

Итог: приговорены к высшей мере А. А. Кузнецов, Н. А. Вознесенский, М. И. Родионов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин. Чуть позже в Ленинграде — второй секретарь обкома Г. Ф. Бадаев, председатель облисполкома И. С. Харитонов, уполномоченный МГБ по Ленинградской области П. Н. Кубаткин, секретарь горкома П. И. Левин... По всей стране бывшие ленинградцы: председатель Госплана РСФСР М. В. Басов, второй секретарь Мурманского обкома А. Д. Вербицкий, первый секретарь Крымского обкома Н. В. Соловьев... Всего по «ленинградскому делу» репрессировано более двухсот человек. За три года снято с работы свыше двух тысяч руководителей (подробнее документальная сторона «дела» — по материалам партархива — изложена в ленинградском «Диалоге», №№ 18—19 за 1987 год).

Машина, запущенная на полный ход, подминала оставшиеся священные аксиомы, признанные юристами всего мира. Вслед за презумпцией невиновности под жернов отправилась первейшая заповедь законника: «Закон обратной силы не имеет». А дело в том, что Кузнецов и другие казненные были арестованы в момент, когда в стране отменяли смертную казнь, а в соответствии с названной цивилизованной нормой их должны были судить по закону, действовавшему в момент ареста. Но... восстановили смертную казнь. И казнили.

Владимир Николаевич Базовский, ныне начальник Главного управления государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР, а тогда секретарь одного из райкомов комсомола в Ленинграде, мне рассказывал, как снимали за «неправильное воспитание» молодежи комсомольских секретарей, чуть ранее награжденных орденами за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи...

От Владимира Николаевича я впервые и узнал, что Кузнецова, избрав секретарем ЦК партии, оказывается, «поставили на кадры». А до Кузнецова кадрами (в том числе и по ведомству Берии) занимался самолично Георгий Максимилианович, избранный теперь членом Политбюро. Другими словами, Кузнецовым Маленкова «с кадров» как бы вытеснили...

Кузнецов это знал. Видел. Просто не мог не знать и не видеть. И вместо того, чтобы максимально позаботиться о безопасности, он, по воспоминанию Турко, став секретарем ЦК и занявшись кадрами, критиковал... Маленкова. Причем не в закрытом помещении (и этого было бы достаточно). А открыто, как бы мы сейчас сказали, гласно. И мало того, по воспоминанию уже Базовского, начал всерьез интересоваться ведомством Абакумова.

Что же происходило с ним, в самом-то деле? Неужели он был просто наивен?

После ареста Алексея Александровича Кузнецова прошло некоторое время. И вот уже осенью 1949-го в МГБ какой-то материал на него был готов. С одной стороны, почувствовалась необходимость объяснить хоть как-то создавшуюся абсурдную ситуацию. С другой, вероятно, появилась возможность «проверить» не только Кузнецовых, но и семью Микоянов. И вот осенью, рассказывает Серго Анастасович, отец усадил меня напротив за столом. Вполне отдавая себе отчет, что разговор может подслушиваться, с совершенно каменным лицом, отец стал зачитывать показания, будто бы данные Кузнецовым следователю...

В «признаниях» речь не шла ни о терактах, ни о «принадлежности» к иностранной разведке — как зачастую было в делах 37-го года. Самое, пожалуй, тяжелое по тем временам «признание»: «Мы не любили Сталина...» И тогда Серго спросил отца: не допускает ли он, что все придумано следователем? Отец ему ровным голосом объяснил: нет, под каждой страницей стоит подпись. И, кроме того, встречаются такие выражения, которые вряд ли следователи употребляют. Отец говорил убедительно. Но по лицу можно было догадаться,

что сам он вряд ли верит. Ну хорошо, сказал сын, однако ведь здесь в худшем случае одни мысли, высказанные вслух. Где же факты? Алексея Александровича наверняка оправдают! В ответ на что отец, естественно, ничего не сказал. Только удивленно приподнял брови. И сын понял: приговор в принципе вынесен. А отец добавил: бывать в семье Кузнецовых я тебе не могу запретить. (Еще бы! — подумал сын. — Так бы я тебя и послушал!). Но в разговорах с Зинаидой Дмитриевной надо быть осторожным... Серго расценил это сначала лишь как совет не травмировать ее лишний раз разговорами о муже. И только когда Зинаиду Дмитриевну арестовали, он предположил: может, уже тогда отец знал об этом?

Я слушаю Серго Анастасовича. И простодушно спрашиваю:

— Почему он в квартире заговорил? Почему не подобрал более подходящую обстановку? В саду, например, там бы и рассказал все подробно!

— А вы представьте его ситуацию, — грустно улыбается Серго Анастасович. — Я студент, мне девятнадцать лет. Я человек молодой, неопытный. Скажи мне отец откровенно все, что думал, я — еще кому-то, в горячке, в споре. Следовательно, он бы тем самым подвергал всех нас смертельной опасности!..

Видимо, разумнее было говорить как раз там, где подслушивали...

Этот эпизод хорошо иллюстрирует атмосферу, время и то положение, в котором находились люди, даже занимавшие высокие посты в государстве. Нам трудно представить, какова была цена самых простых душевных человеческих движений. Накануне свадьбы Серго и Аллы, как мне рассказывали, с Микояном говорил Каганович: ты что делаешь, там все решилось!

Но свадьбу не отменили.

Когда начались аресты и расстрелы, в спецдетдомах оказались сыновья многих репрессированных. Сына Кузнецова прятали на даче у Микояна. Когда арестовали Зинаиду Дмитриевну, детей не тронули — говорят, благодаря тому, что Микоян просил Сталина...

Я думаю обо всем этом. И тем невероятнее представляются мне поступки самого Алексея Александровича. Откуда это у него? Чем объясняется? Чтобы понять, надо присмотреться повнимательнее к его внутренней, душевной биографии.

22 июня 1941 года. Жданов в отпуске, отдыхает на юге. Вся тяжесть ответственности за судьбу Ленинграда ложится

на 36-летнего второго секретаря горкома. Далее. Строительство оборонных укреплений и быт горожан. Формирование народного ополчения и подбор военных кадров. Создание партизанских отрядов и руководство политуправлениями фронта и флота — всем этим каждый день занимался Кузнецов.

А Сталин совершает беспрецедентный поступок. В присутствии приближенных лиц пишет собственноручно письмо. И кому? Второму секретарю горкома! Суть письма: Ворошилов и Жданов устали, издергались... Им нужно дать выспаться, отдохнуть... Во всем, что касается организации обороны, мобилизации всех сил, я могу полагаться только на тебя...

Это было признание истинной роли Кузнецова в той ситуации. Письмо доставил в Ленинград генерал НКВД. И вручил, минуя Ворошилова и Жданова, Кузнецову. Естественно, о письме знали многие. По тем временам такое письмо давало колоссальную власть. Это была своего рода верительная и охранная грамота. Имелся, кажется, и еще один дальний смысл. Такое письмо могло вбить клин между Кузнецовым и Ждановым. Тем более, поводов для того находилось достаточно. Мучительной зимой 1942-го у Жданова началась болезнь. Кузнецов поставил перед его домом охрану: в тот момент ни один ленинградец не должен был заметить у руководителей проявления слабости. Кузнецов вел бюро горкома и обкома — от имени Жданова. Звонил и разговаривал со Сталиным — от имени Жданова. Сталин понимал значение этой ситуации. Понимал и Жданов.

Надо думать, не проходило все это и мимо ведомства Берии. Его глаза и уши не могли пропустить: со стен исчезали портреты вождя. Ленинградцы стали реже употреблять его имя — и устно, и письменно. Воинов подмечает: «Время голодной блокады было временем перелома в общественном сознании».

По существу, сами уникальные условия города, оказавшегося на грани смерти, ускорили процесс нравственного очищения и переосмысления ценностей. Культ, казавшийся незыблемым и неизбежным, угасал сам собой. Город явственно выдвигал из глубин иной идеал и противопоставлял его официальному. Поэт по тем временам просто кричаще подчеркивал самим названием поэмы: «Киров с нами»!!! В железных ночах у поэта Тихонова шел с ленинградцами не Сталин, но Киров.

Мог ли этого не видеть Кузнецов? А если видел, то что предпринимал? Попробуем представить себе тогдашнее его состояние... По идее, в его ситуации следовало ежели не под-

держивать, то хотя бы делать видимость неизменности положения вещей.

Однако не забудем: постоянное стремление к ясности. Не забудем и другое: уникальные блокадные обстоятельства, перестраивая общественное сознание, позволяли проявиться и окрепнуть независимому, побеждающему, сильному характеру. Он и был нужен, такой характер в тех обстоятельствах. Нужна была личность, умеющая принимать решения, независимо от авторитетов, расклада мнений и расстановки сил в верхах. (Собственно, лишь это и обеспечивало сохранение авторитетов и самих верхов!)

Если мы этого не забудем, то уже станет понятнее, почему Кузнецов, имевший прямой провод со Сталиным, как все, перестает упоминать его имя. Почему прекращает ссылаться на него. Почему это имя пропадает из официальных выступлений в газетах и с трибун. И почему Кузнецов цитировал Кирова. И почему в семье Кузнецовых всегда хранились фотографии Сергея Мироновича (отношение Сталина к нему для многих и тогда не было большим секретом).

Понятнее, почему. И все-таки: почему?

В нынешних публикациях о людях, так или иначе пострадавших во времена культа, по какой-то необъясненной пока причине настойчиво подчеркивается одна мысль: они были невинными жертвами произвола. В этом есть правда. Но задумаемся: доказываем с таким завидным упорством, как будто степень невинности их несколько уменьшилась после XX съезда партии.

Чего мы хотим: доказать доказанное? Совместить несовместимое?

Наверное, нет. Конечно, нет!

Ну а коли так, то не время ли прояснить, перед кем они были невинны? Перед партией и народом? Да! А перед преступниками, авантюристами и карьеристами, творившими произвол? Перед ежовыми, бериями, абакумовыми? И разве отсутствием вины исчерпывается трагизм и правда того времени.

Ведь наверняка были и те, кто не принял культ на веру? Кто не смирился с ним? Кто, наконец, сопротивлялся?

Смею думать и утверждать: Алексей Александрович Кузнецов не был невинной жертвой.

Стало быть, что же — правы авторы «ленинградского дела»? Нет, ситуация сложнее и тоньше. Он не был врагом

народа. Но он не был, судя по всему, и наивным человеком, призванным послушно сыграть эту роль.

«Вот что необходимо учесть, — пишет очевидец и участник событий С. Д. Воинов, — для понимания причин «ленинградского дела». Ведь его главными пунктами были: «противопоставление» Кузнецовым себя ЦК (читай — Сталину); требование большей самостоятельности в хозяйственных делах для каждой области, края; признание больших заслуг Российской Федерации; устройство выставки достижений, первых достижений восстановленного Ленинграда; а главное то, что вновь назначенный секретарь ЦК проявил самостоятельность и по-серьезному отнесся к задаче проверки бериевского министерства...

А в целом, что такое «ленинградское дело», каковы еще более глубокие причины возникновения этого и подобных «дел»? Если меня спрашивают об этом, я отвечаю: нужно было скрыть от народа истинных виновников нашего военного поражения 1941 года, когда немцы, как нож в масло, врезались в территорию нашей страны? Нужно было скрыть виновников перегибов в сельском хозяйстве, приведших к тому, что крестьяне разбегались из колхозов от нужды, от того, что продукт их труда ценился ниже его действительной стоимости? Нужно было, наконец, скрыть истинных виновников беззаконий и произвола, жертвами которого становились тысячи и тысячи людей? Вот поэтому и фабриковались такие «дела», как «ленинградское дело», «дело врачей» и еще многие другие, не получившие своих названий, которые можно назвать как «краевые», «областные», иногда даже и «районные»...».

Думается, имелась и еще одна причина. Появилась не только настоятельная необходимость переключить общественное внимание, сбросить «пар», переложить в очередной раз ответственность на плечи невинных. Появилась жгучая потребность «поставить на место» целое фронтовое поколение, вышедшее из войны победившим и прозревшим. Поколение, ценою огромных жертв обретшее нравственную силу. Поколение, предопределившее, по сути, феномен XX съезда.

Впрочем, все по порядку...

В марте 1946 года, избрав секретарем ЦК ВКП(б), нарушив традицию, Кузнецова не оставляют первым секретарем горкома и обкома, как было в случаях с Зиновьевым, Кировым, Ждановым. Одно это должно было Кузнецова насторожить (и он, как свидетельствуют очевидцы, без радости принял

такое решение). А имелся и другой нюанс, который мы уже называли: Кузнецова, без опыта работы в аппарате ЦК, сразу же поставили курировать кадры МГБ и МВД.

Это был второй факт, поразивший, как говорят, Анастаса Ивановича Микояна (первый — письмо Сталина, написанное «блокадному» Кузнецову). Третий факт из того же поразительного ряда: однажды, отдыхая на озере Рица, Сталин неожиданно для своего окружения поделился. Я стал стар, будто бы сказал он в приливе откровенности. И думаю о преемниках. Наиболее подходящий преемник на посту Председателя Совета Министров — Николай Алексеевич Вознесенский. А на посту Генерального секретаря — Алексей Александрович Кузнецов... Как, не возражаете, товарищи?

Никто, как говорят, не возразил. Но, надо думать, всяк, узнавший о сенсационном замысле, немедленно и догадался о его втором плане: неспроста такую идею этот скрытный человек решил обсудить гласно. По сути, если поразмыслить, назывались и объединялись имена действительно наиболее достойных и подходящих. И именно потому наиболее опасных конкурентов тем, для кого это было сознательно вслух сказано. Результат, исход был уже предсказуем. Однако не эта ли предсказуемость и укрепила дополнительно Алексея Александровича?

Получив столько подспудных предостережений, Кузнецов не стал осторожнее. Не изменил прежних привычек, даже не попробовал переломить независимый характер. Сверх того: фактически протестовал против общепринятой тогда культовой нормы. Имени Сталина в его послевоенных выступлениях не прибавилось. По-прежнему ссылался на Кирова. После войны открыто навещал тяжелобольную вдову Сергея Мироновича (это были нелегкие свидания с женщиной, потерявшей в результате смерти мужа разум). Словно демонстративно встречался с инструкторами, разрабатывал их командировки. Однажды, проводя Секретарнат, с ходу разжаловал генерала, уличенного в обворовывании лагерей.

Он прослыл белой вороной. Невооруженным глазом, уже не на расстоянии, всем, кому надо, стало видно: в Москве появился настоящий кировец. Причем какой! Руководитель блокадного города, фронтовик, победитель. Продолжал укреплять свою репутацию.

Да что там репутация! Провел, как куратор, совещание работников госбезопасности, где их (!) критиковал и ставил

перед ними (!) новые задачи. Впечатление очевидца: совещание это было как гром среди ясного неба.

И, наконец, последняя капля. В ту пору было принято работать и по ночам, и по воскресеньям. Так вот Алексей Александрович приказал министру МГБ Абакумову привозить ему судебные дела по воскресеньям на дачу. И Абакумов возил. Возил дела пачками.

Что за дела были? По «врагам народа». В частности, 37-го года. Говорят, Кузнецов ставил перед собой цель: разобраться и с запутанной историей убийства Кирова.

Подчеркивал независимость? Стремился выяснить все, хотя бы для себя, до конца? Или уже начал бороться?

Не успел. Его противники, его враги раньше успели.

Он целует на пороге жену и детей (тут нет знака судьбы. Так они всегда делали). И, прежде чем выйти, говорит: «Сходите за мороженым. Накрывайте на стол. Я вернусь к обеду».

Он не вернулся к обеду. Он вообще не вернулся... «Согласно ордера арестован Кузнецов А. А., 1905 г.р. ...» Когда семье дали подписать опись, Галя увидела в первый раз слово «арестован» и поседела. А мама подписала демонстративно не глядя: «При обыске от арестованного и других присутствующих лиц (указать, от кого именно) жалоб не заявлено». Жаловаться некому и не на кого. Форма правильная. И соблюдена с доскональностью дьявольской: «Изъято для доставки в МГБ СССР следующее:

Ордена Ленина — 2;
Орден Красного Знамени — 1;
Орден Кутузова I степени — 1;
Орден Кутузова II степени — 1;
Орден Отечественной войны I ст. — 1;
Медали «За оборону Ленинграда» — 2;
Медаль «Партизану Отечественной войны» — 1;
. . . .
Погоны генеральские — 7 пар;
Сапоги мужские хромовые — 1 пара;
. . . .
Зубной порошок — 1 короб.;
Зубная щетка — 1 шт.»

От вида этого удручающего списка что-то внутри содрогается. Нет, не просто человека забирали. Уничтожали всяческий след его существования. Знак его присутствия в этой жизни, на этой земле.

Когда их судили, Кузнецов не каялся, и не просил прощения. Уходя, он мог чувствовать себя победителем. В последнем слове, как свидетельствует очевидец, Алексей Александрович сказал: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает...»

А потом... Потом, ровным голосом говорит Галина Алексеевна, увозили маму. Обыск был еще более унизительным: ворошили даже детские вещи. Семья осталась с парализованной бабушкой. Как они жили и выжили, это отдельный рассказ. Искали. Писали. Ходили. По указанному в описи адресу («за всеми справками обращаться... Кузнецкий мост, 24, вход со двора»). Наконец, мама прислала письмо, другое, третье... Ни слова, как и что с ней.

Умер Сталин. Арестовали Берию.

Анастас Иванович Микоян дважды спросил Аллу: не вернулась ли мама? Вернулась она ночью, 10 февраля 54-го. Вес 48 килограммов. Белая. Шатается. Галя позвонила Микоянам. Прибежала Алла. И только в подъезде Гале призналась: «Маме не говори. Но папа у нас погиб...» Когда? Где? Галя хотела искать, Анастас Иванович не посоветовал: «Если не хочешь потерять здоровье, не делай этого. Ты его не найдешь».

Мама заговорила только после XX съезда. Рассказала... Как сидела сначала в одиночке. В кандалах.

И как потом сидела в одной камере с Галиной Серебряковой и Лидией Руслановой. Они имели право получать хоть небольшие, но посылки. Поддерживали ее, как могли, плавлеными сырками.

Потом вызвали двоих, двух жен — Вознесенскую и Кузнецову. Они шли и не знали, что уже не жены, а вдовы... Им сказали про освобождение. Правда, они это вначале как дежурное издевательство приняли. Но стали собираться...

Хотя, конечно, там люди были разные. Один следователь орал на нее на допросе, делал все, как полагалось. А потом включал радио на полную громкость и говорил: «Зинаида Дмитриевна! Не верю я в то, о чем вас спрашиваю!» А еще был надзиратель, много лет спустя бросился он радостно к ней из троллейбуса. Хотела остановиться. Заговорить. Но не смогла. Прошла. Только поздоровалась.

О муже всегда повторяла, как заклинание: «Я Ленюшку не хоронила. Нет.» Или еще: «Мне все время кажется, что ему дали просто какое-то большое задание... Вот зазвенит когда-нибудь звонок. И он придет...»

Когда умер Сталин, Галя плакала навзрыд. А ей говорят: чего ты ревешь? Теперь, глядишь, все разъяснится! И действительно, Анастас Иванович собрал их на даче и сказал: ваш отец никакой не враг народа. Это вы знайте!

Вот так все и разъяснилось.

Пройдет время и Кузнецова официально реабилитируют. И установят мемориальную доску в Москве, на доме по улице Грановского, где Алексей Александрович жил последние годы.

Галина Алексеевна держит в руках описи. На них, четкими цифрами, номер ордера на арест отца. А мне кажется, она думает сейчас и о тех, кто был до этого номера — 1075 и после него...

А еще я вспоминаю последнюю фразу из знаменитого письма. Знал ли многоходовый ум, какую пронзительно-правдивую мысль он тогда выговаривал? Ведала ли начинавшая очередную игру беспощадная рука, какие пророческие горькие слова она выводила? Эти слова, равно как и цифра 1075, врезаны, вколоты, врублены в семейную память навеки.

— Алексей, Родина тебя не забудет! — написано было в письме рукою Сталина. И этот след из памяти, и это свидетельство из истории не изъять. Оно не подлежит изъятию.

Леонид Сотник

Когда такие люди...

...Я знаю —
город будет,
Я знаю —
саду цвесть,
Когда такие
люди
В стране
в советской
есть!

Трудно встретить человека, который не помнил бы и не любил эти звонкие строки поэта. И все же, несмотря на огромную популярность стихотворения, едва ли десять человек из ста знают его точное название. Их было два — старое и новое, точное и приблизительное. Под новым названием оно вошло в школьные хрестоматии, в полное собрание сочинений Маяковского, вышедшее в свет в 1940 году, и только после XX съезда КПСС ему было возвращено прежнее.

Судьба стихотворения чем-то сходна с судьбой человека, чья фамилия вынесена поэтом в заголовок. О нем стоит рассказать особо.

Шел 1929 год — самый противоречивый год нашей истории. Росли леса новостроек, тарахтели трактора, распахивая столетние межи. Реальный энтузиазм народа еще не успел вступить в конфликт с реальной политикой сталинской диктатуры.

Маяковский был захвачен общим энтузиазмом. Он много ездил по стране, и каждая такая поездка рождала десятки новых произведений.

И все же публикацию в ноябрьской книжке журнала «Чудак» за 1929 год стихотворения «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» можно было бы истолковать как отступление поэта от утвержденной им самим же традиции: он описывал город, в котором не был, события, свидетелем которых ему не довелось стать. Поэт даже не пытается скрыть это, вынеся в заголовок фамилию человека, поставившего «литературное сырье». На самом же деле никакой ломки традиции не произошло. Просто сказалась одна из черт поэ-

тического дарования Владимира Маяковского, подмеченная литературоведом В. Катаняном: «...сила воображения, восприимчивости, заинтересованности, творческого темперамента была так огромна, что и услышанное или прочитанное тоже подчас вызывало самые подлинные молнии в вечно насыщенном электричеством творчества воздухе.

Поразительный пример тому, — продолжает В. Катанян, — стихотворение, которое называется «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», целиком написанное, что называется, с чужих слов.

Помню этот житейский рассказ только что приехавшего из Сибири товарища И. П. Хренова (одного из работников Кузнецкстроя) за обеденным столом в Гендриковом переулке, рассказ о трудностях, мокром хлебе, простейшей крыше над головой, о миллионе вагонов стройматериалов, которые будут превращены в город... И помню потом свое безграничное удивление, когда вдруг увидел в журнале, как горячо сплавились эти детали с чувством и воображением поэта, какую новую бессмертную жизнь обрели они в лирическом стихотворении».

Фамилия Хренова после тридцать седьмого года из заголовка была изъята. Но после того, как стихотворению было возвращено его подлинное имя, в начале шестидесятых годов мы вместе с библиографом Александром Зелепугиным решили узнать побольше о человеке, которого Маяковский сделал своим соавтором, и начали поиск документов и свидетельств о нем — от Прибалтики до Чукотки.

Часть материалов нам удалось опубликовать тогда же, но многое, самое интересное и значительное, осталось в архиве — ни одно издательство не взяло на себя смелость издать книгу о связях великого пролетарского поэта с «репрессированными». Рукопись была утеряна.

И все же попытаемся восстановить то, что можно. Судя по архивным данным, Иульян (Ян) Петрович Хренов родился в 1901 году в текстильном поселке Лежнево. В 1917 году возглавлял молодежную большевистскую организацию в Коврове. В 1918 году его приняли в партию. В семнадцать лет он становится секретарем Лежневской райпарторганизации. В годы гражданской войны — на партполитработе в 13-й и 14-й армиях. В 1921 году участвовал в подавлении кронштадтского мятежа, служил порученцем у Павла Дыбенко.

В 1922 году работал секретарем президиума союза металлистов, а затем был призван в Красный Флот, на Балтику.

После учебы в Высшем инженерном морском училище демобилизовался и вернулся на работу в союз металлистов. Оттуда часто выезжал в Кузнецк, в командировки. А одно время в качестве экономиста работал на Кузнецкстрое постоянно.

Из письма жены Хренова Марии Ильиничны Хреновой (6 июля 1964 г.):

«С Маяковским и Бриками Ян Петрович познакомился в 1926 году в Москве, куда он приехал из Ленинграда после его демобилизации с флота за голосование за оппозицию.

Владимир Владимирович и Брики очень хорошо относились к Яну Петровичу. Он был человеком большой воли и большого ума. Не представлял себе жизни без партии. Узнав, что члены оппозиции ведут недостойную борьбу с партией, группа товарищей, в том числе и Ян Петрович, подали заявление, что они отказываются поддерживать оппозицию. За это их объявили предателями.

Ян Петрович был просто влюблен в Маяковского. Часто бывал в гостях в Гендриковом переулке... Владимир Владимирович с большим интересом относился к его рассказам о строительстве этого гиганта. Вот так после одного из приездов родилось стихотворение «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое».

В донецком партархиве нам удалось разыскать «Дело Хренова». Из него мы узнали многое. От первых шагов по земле донецкой до последних... В постановлении бюро Сталинского обкома КП(б)У от 19 июля 1932 года есть краткая запись: «Утвердить т. Хренова помощником секретаря обкома т. Акулова». А пролить свет на то, как Акулов и Хренов оказались в Донбассе, помогла все та же Мария Ильинична:

«Об отношениях Яна Петровича с Акуловым могу рассказать вам следующее. Акулов был направлен Центральным Комитетом партии для работы в НКВД СССР в 1931 году, и через ЦК были ему направлены в помощь несколько товарищей, в том числе и Ян Петрович. Ян Петрович работал в экономическом управлении НКВД. Это, наверное, записано в его деле.

В 1932 году Ивана Алексеевича Акулова направили на работу в Донбасс первым секретарем обкома, и он, естественно, захотел взять с собою людей, с которыми работал и которым доверял. Знакомство Хренова с Акуловым началось с работы в НКВД».

В 1933 году Хренов был назначен заместителем директора строящегося машиностроительного гиганта — Краматорского машиностроительного завода.

Об административной деятельности, как теперь принято говорить, этого удивительного человека нам удалось собрать немало сведений. Тридцать лет прошло после ареста Хренова, а люди помнили о нем с чувством благодарности и боли. Перебирая сейчас наши записи шестидесятых годов, даже затрудняюсь решить, что именно, какой документ стоит предать гласности. Ну вот хотя бы рассказ кузнеца П. Романенко:

«Среди тех, кто особенно заботился о культуре производства и быте рабочих, хочу назвать Хренова. Его усилиями был перепланирован и посажен парк имени Пушкина, открыты новые и окультурены старые сады социалистического города. Началось озеленение улиц, разбивались цветники.

Хренов чутко относился к просьбам застройщиков. По характеру он был добр. Умел слушать посетителей и всегда делом отзывался на их просьбы.

Как-то на собрании зашел разговор о бюрократизме и его ликвидации в управлении нашего завода. Обращаясь к работникам, он сказал примерно так: «Смелее откликайтесь на все обращения рабочих. Просто от ничего трудящиеся на приемы не ходят. Если рабочий идет на прием в управление завода и часами ждет своей очереди, значит, он нуждается в помощи, она ему нужна и ее следует оказать».

Рабочие уважали его как чуткого и внимательного товарища. Он был всегда в гуще народа. Часто приходил и к нам в кузнечный цех. Изучал наши условия труда. Гонял снабженцев за несвоевременную выдачу спецовок и особенно рукавиц. Много помогал молодым кузнецам. По его предложению были открыты четырехмесячные курсы кузнецов паровых молотов. Для молодых рабочих он организовал хорошее общежитие. Следил и требовал хорошей организации общественного питания. Мне приходилось к нему обращаться из массы, и он всегда откликался делом».

Мне думается, найдется немало руководителей, которые позавидуют такой характеристике из уст рабочего.

В феврале 1935 года И. П. Хренов был назначен директором Славянского изоляторного завода.

Из письма М. И. Хреновой:

«Какие ему были предъявлены обвинения при исключении из партии, я знаю. Хочу вам сообщить (и это верно), что арестован он был по заявлению секретаря Славянского райкома партии Емельянова. Мне об этом сказали в Наркомтяжпроме. Там была копия заявления, которую Емельянов писал на имя Ежова.

В мае 1956 года меня вызвали в МВД СССР и спросили, почему я не хлопочу о реабилитации мужа. Следователь, который работал над архивом НКВД, разобрался в деле и убедился, что Хренов честный человек. Через две недели он был реабилитирован. Следователь подтвердил, что заявление Емельянова с резолюцией Ежова есть в деле.

Завод, на который пришел работать Ян Петрович, был в ужасном состоянии. В течение года он стал краснознаменным.

И вдруг почему-то испортились отношения с Емельяновым... Испортились они после того, как тот весьма прозрачно намекнул, что ему нужно пианино для дочери. Хренов удивился, но Емельянов сказал: у тебя большой директорский фонд, это не будет чувствительно для завода. Ян Петрович категорически отказался, и отношения резко изменились.

После ареста Хренова я с детьми вернулась в Москву. Очень тепло меня принял Акулов. Успокаивал, говорил, что Ежов разберется в этом деле, что уверен в невиновности Яна Петровича. Но не прошло и двух недель после моего визита, как был арестован сам Акулов. И больше о нем я ничего не слышала, так как жену его тоже арестовали».

В архиве сохранились документы, проливающие свет на так называемое «дело Хренова». Есть в нем и донос Емельянова, и постановление бюро Славянского горкома партии об исключении из партии Хренова, как «врага народа». Есть письмо Хренова на имя первого секретаря обкома партии С. Саркисова, в котором Ян Петрович доказывает свою невиновность, и равнодушная резолюция Саркисова: «Оставить без внимания». Есть и другие документы той страшной поры и среди них... покаянные письма клеветника Емельянова и старого большевика Саркисова с резолюциями на них: «Оставить без внимания». Оба вскоре были арестованы и в тридцать восьмом году расстреляны.

В чем же обвиняли Яна Петровича Хренова? Да в чем угодно. Даже в том, что ссужал деньгами из своей зарплаты заболевших рабочих. Некий Красюк, выступая на партсобрании, жаловался, что «вскрытие личности Хренова представляло довольно трудную задачу. В то время Хренов, стремясь создать себе дешевый авторитет, часто давал сам лично взаймы рабочим денег до получки, чем подрывал авторитет завода». Всякое лыко шло в строку. Вспомнили, конечно, и ленинградскую оппозицию, и связь с «врагами народа».

Из решения бюро Сталинского обкома КП(б)У от 7.10.1936 г.:

«За время работы в Славянске с апреля 1935 года по август 1936 года Хренов несколько раз ездил в Москву и Ленинград. Во время этих поездок он встречался с контрреволюционером Примаковым».

Из объяснительной записки И. П. Хренова:

«В декабре 1935 года ездил на фарфоровые заводы Ломоносовский и Пролетарий, где находился в порядке обмена опытом — был три дня.

В то же время был на квартире у Примакова, вернее у Бриков, которые живут вместе с Примаковым. Семью Бриков я знаю свыше девяти лет, и с Примаковым познакомился в 1931 году у Бриков в Москве.

Будучи в Ленинграде, я пришел к ним. Также бываю у них в Москве, когда они там живут».

Последнее архивное свидетельство о Хренове — это сообщение о том, что Особым совещанием при НКВД СССР от 7 июня 1937 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы. И краткая приписка: умер в заключении.

Ну что ж, бывает, что ошибаются и архивы. И. П. Хренов был действительно осужден, но пробыл в заключении в два раза больше положенного срока. А умер, можно считать, почти на воле.

Так уж сложилось у нас, то ли в застойные времена, то ли до них, что рассказ об очередной жертве сталинских репрессий обычно обрывался на дате ареста. Дескать, раз человека арестовали, то дальше и говорить не о чем. Лагерная жизнь — дело известное, для всех одинаковое. Ничего в ней не может быть ни интересного, ни поучительного, ни, тем более, героического. Мне хочется нарушить эту заповедь. В моих руках 30 тетрадочных страничек, исписанных крупным, уверенным почерком, — примечательный и замечательный документ не только своего, но всех времен. И особенно времени нашего — времени возрождающейся из пепла правды, времени раздумий о нравственных началах, о силе духа, о богатствах человеческой души. Ценен этот документ еще и тем, что проводит жесткий водораздел между сталинским произволом и подлинным духом большевизма. Автор этих воспоминаний — Михаил Евсеевич Выгон, отбывавший вместе с Хреновым заключение. В шестидесятых годах он возглавлял в Магаданской области знаменитый Билибинский золотой прииск.

«С Иулианом Петровичем Хреновым я познакомился в июле месяце 1937 года в пересыльной камере Бутырской тюрьмы (Москва). За полчаса до этого расписался в ведомости, что мне

объявлено: решением Особого совещания за антисоветскую агитацию и неверие в правильность действий органов осужден на 5 лет с отбыванием в режимных лагерях. И когда я с молодой наивностью (мне тогда было 22 года) спросил, за что, ведь я же за Советскую власть готов жизнь отдать, надутый и уверенный в своей важности лейтенант (примерно моего возраста) ответил: «Расписывайся, паразит, и не выкобеливайся. Ты не у следователя на допросе». Подавленный несправедливостью, я вошел в битком набитую камеру и прислонился к закрывшейся за мной двери. Сколько так простоял — не помню, очнулся от мягкого, полного сердечности возгласа: «За дверь не удержишься. Пропустите ко мне молодого товарища». Меня подталкивали к бледному, красивому, улыбающемуся, среднего роста человеку, который с трудом поднялся с нар мне навстречу. Мне шепнули: «Это наш староста».

Так мы познакомились и впоследствии стали друзьями одной беды и одной веры.

В камере мы прожили 9 дней. Он много рассказывал о себе... У Яна Петровича было больное сердце, и он удивлялся, что его сердце стойко держалось во время диких допросов, но оно не выдержало при известии о смерти обожаемого им Орджоникидзе. Он вспоминал, что Серго превратил здание Наркомтяжмаша в неприступный уголок Москвы от ОГПУ и старался задерживать в этом здании крупных хозяйственников.

Второй сердечный удар был при известии о расстреле группы маршала Тухачевского. Был арестован и уничтожен друг Хренова талантливый военачальник, настоящий герой-коммунист Примаков. Это были черные, мрачные дни. Что делается? Куда смотрит Сталин?

И в это время в камере Хренов прочитал цикл лекций о легендарных стройках пятилетки — Магнитострое, Кузнецкстрое, Новокраматорском машиностроительном заводе в Донбассе. Страна под руководством партии строила социализм, трудовой героизм народа был необычаен, и активный строитель коммунист Хренов читал в прозе поэму о превращении своей страны в индустриальную державу. И мы забывали в эти часы о своем горе. Это были славные годы первых пятилеток.

На девятый день пребывания в камере пересыльной тюрьмы при утренней проверке был зачитан список человек на пятьдесят и велено было приготовиться с вещами. Значит, этап. Но куда? Никто не знал. Однако все оживились, а Хренов воскликнул: «Не унывайте, ведь мы едем на работу».

Не стану описывать трудный, полный унижения этап. Останов-

люсь только на одном незабываемом моменте. Темной дождливой ночью наш товарный состав, состоящий из 30 вагонов, битком набитых людьми, остановился на большой станции в глухом тупике. Когда рассвело, примерно в пять утра, открыли вагоны и приказали выходить. Шел мелкий дождик. Под строгим контролем с большой сворой собак нас повели. На подходе к станции прочитали — «Красноярск». Прошли не на вокзальную площадь, а каким-то переулком, и вдруг команда: «Остановись!» Мы не верили своим глазам: впереди, по обе стороны дороги молчаливо стояло огромное количество людей. Конвой растерялся, но так как середина улицы была пустой, нас повели. А с тротуаров в нас летели пачки папирос, буханки хлеба, куры, свертки с продуктами... Это был настоящий шквал сочувствия, причем все делалось молча, без единого возгласа. Кричал только конвой и лаяли собаки. Так продолжалось до самой бани, причем, заметьте, в седьмом часу утра. Эта молчаливая демонстрация ошеломила нас. Шедший рядом со мной Хренов ничего не ловил, что бросали из толпы, молчал и все время смотрел на людей. В бане он мне сказал: «Пойми, мы не враги народа и никогда ими не будем. Где бы мы ни были, в каких бы условиях ни были, будем трудиться».

На 33-й день мучительного пути мы прибыли во Владивосток. Нас привели в палаточный городок, расположенный в сопках, огороженный несколькими рядами колючей проволоки, с вышками через 50 метров. Тут нам такая была встреча... Начиная от ворот, большие толпы «друзей народа» (бандиты, воры, уголовники всех мастей) с воплями: «Бей троцкистов, шпионов, врагов народа», с матерной руганью проводили нас до бараков. Эта дикая глупо организованная инсценировка даже развеселила нас. Ян Петрович перефразировал выражение Ленина, что если тебя ругает враг, значит, ты прав. Помню, говорил: «Ну, если нас ненавидит такая шпана, значит, те, кто ее учит этому, не на высоте». И он предложил организовать группу из самых физически сильных молодых людей для внутренней охраны барака от этих подонков. Ночью непрошенные гости пришли, были достойно встречены и, будучи по натуре трусливыми, оставили нас в покое. Многие из них впоследствии были в бригадах Хренова, моей и других и стали порядочными людьми, настоящими тружениками.

В пересыльном лагере мы иногда имели возможность читать газеты и вместе со всеми радовались большим успехам в промышленном строительстве и с тревогой и возмущением следили за действиями немецких фашистов. Было грустно чи-

тать в газетах о непрерывных разоблачениях «врагов народа». Неужели Сталин не понимал, что не могли все секретари обкомов и горкомов, председатели исполкомов, командиры воинских частей, директора заводов и фабрик, сотни тысяч коммунистов и беспартийных быть врагами партии и Советской власти?

В августе 1937 года нас погрузили в трюмы корабля «Кулу», и мы поплыли на неведомую, страшную по рассказам, необжитую Колыму — край, где героическими усилиями геологов экспедиции Билибина, Цареградского, Раковского и других было найдено несметное богатство — золото. После 11-дневного плавания корабль пришвартовался к примитивному пирсу бухты Нагаева. Нас выгрузили и повели вдоль скалистого крутого берега вверх, к будущему городу Магадану.

Магадан — это вечный памятник его первым строителям — заключенным, коммунистам и беспартийным мрачных 1937 — 1938 годов. Здесь нас встретили как рабочих, нужных людей для большой стройки и для добычи крайне нужного стране золота.

Дальстроем в то время руководил несгибаемый большевик, легендарный командир латышских стрелков, один из первых комендантов Кремля, человек большой души и сердца Эдуард Петрович Берзинь. Собравшаяся вокруг Яна Петровича группа обратилась с просьбой к командованию лагеря направить нас всех вместе, как целую бригаду, на один из новых приисков. Бригадиром мы избрали Хренова.

На прииске «Партизан» мы выгрузились из открытых автомашин... Зачислили нас в седьмую роту, где командиром был уголовник-рецидивист. Окружившие нас старые лагерники настойчиво стали расспрашивать о новостях с «материка». И тут я впервые увидел настоящих троцкистов. Их было четыре человека, стояли они особняком. Один из них вплотную подошел к нам и громко с издевкой спросил: «Что, товарищи сталинцы, получили от своего мудрого бати благодарность за верность и преданность? Так вам и надо». Мы были ошеломлены, но тут послышались возгласы: пошлите их... Нам объяснили, что это настоящие троцкисты из пятого барака. Пишу об этом штрихе потому, чтобы бытующее сейчас мнение, что 100 процентов арестованных в те годы были невиновны, неверно. Были тогда и настоящие враги нашего социалистического строительства. Они и в лагере вели антипартийную работу, стремясь поколебать ленинскую убежденность. Но их было мало, очень мало по сравнению с подавляющим большинством невинно

осужденных — коммунистов, комсомольцев, беспартийных советских людей.

Для нас само собой разумеющимся было то, что отвечать на все вопросы товарищей будет Ян Петрович Хренов. Никогда не забыть эту импровизированную беседу-доклад. У меня было впечатление, что выступает докладчик ЦК партии. Он говорил о самоотверженном труде советских рабочих, о преданности партии и Сталину... Да, и Сталину. Он и все мы, несмотря на обрушившиеся на нас несчастья, продолжали его боготворить. На наших глазах этот диктатор с замашками восточного злодея прямой наводкой с мстительной жестокостью стрелял по своим, злодейски уничтожал лучшие кадры партии, Красной Армии и всего народа, а мы продолжали верить в его непогрешимость, прозорливость, мудрость и верность ленинизму. Мы продолжали писать ему непрерывным потоком письма и жалобы, рассказывали правду о засевших в органах негодяях и предателях, пытались раскрыть глаза своему вождю.

Разве могли мы знать, что осуществлялась его идея расправы. Одно было ясно и непререкаемо: продолжала существовать и руководить страной многомиллионная Коммунистическая партия. Наша Родина успешно двигалась вперед по пути к социализму. И это историческое движение ничто не могло остановить. Были ослаблены только темпы этого движения.

Благодарные слушатели в лагерной среде готовы были носить Хренова на руках. Перед ними появился человек, такой же, как они, но не убитый, не опустошенный, а полный веры в жизнь. И он призывал здесь со всем советским народом строить социализм. Он так и говорил: «На любом клочке земли мы остаемся советскими людьми».

Никто не заметил подошедшего человека с палочкой в руке. Он стоял и вместе со всеми слушал Хренова, а потом воскликнул: «Ну, комиссар, говоришь хорошо. Вот и поведешь завтра свой отряд в бой». Это был, оказывается, начальник прииска Рябов (он впоследствии дорого заплатил за свое гуманное отношение к заключенным и понимание истинного положения вещей, разделив участь осужденных).

До глубокой ночи продолжалось сооружение примитивных палаток, на 100 человек каждая. Доски, предназначенные для нар, мы разместили на земле и улеглись на них.

В 6 часов утра был дан сигнал подъема, примерно через полчаса пришел наш «командир» роты и повел на завтрак. Затем строем пошли к трибуне. На ней стояло все начальство.

Начальник прииска произнес напутственную речь, начав ее словами:

— Рабочие, для завершения годового плана по металлу не хватает девяти процентов. Остались считанные дни до зимы. Необходимо как следует поработать.

Мы поняли слово «рабочие», как слово «товарищи». Ни разу в своей речи Рябов не упомянул слово «заключенные» и дал отчетливо понять свое отношение к нам.

После развода начальник оперативного отдела лагеря (ему, очевидно, доложили о беседе Хренова) дал приказ: «Хренов, останься», и Яна Петровича с нами на работу не пустили.

Свою палатку мы обустраивали после работы без него. На вопросы, где он, нам отвечали, что политруки в лагере не нужны. Хренов был направлен в роту усиленного режима, и больше месяца мы о нем ничего не знали. Затем лагерная сенсация. Все удивлены, и прежде всего начальство: РУР (рота усиленного режима) впервые почти в полном составе вышла на работу. Здесь нужно учесть, что в РУРе находились отъявленные бандиты, воры «дворянского происхождения», короли блатного мира, которые считали, что работа — удел только «фраеров». Да, выход на работу этой банды был действительно исключительным событием.

Хренова посадили туда с одной целью: отдать на растерзание «врага народа», а этот человек своим обаянием, силой воли, убежденностью, тактом и культурой сумел подчинить себе анархический сброд. То, что не удавалось никому, удалось Хренову. Он вывел их на работу, и, к изумлению всех, они выбрали его, а не короля «блатарей», своим бригадиром.

За этот подвиг Хренова освободили из РУРа и дали индивидуальную работу — машиниста небольшого парового котла (с помощью пара проходили скважины в горных породах).

Начались холода. Палатка наша укрывала только от снега. Круглосуточно топили четыре бочковых печи, но они, конечно, не могли спасти от 50-градусных морозов. Мы группировались возле них и сидя спали. Очень многие не выдерживали, заболевали, плюс свирепая цинга...

Смертность была ужасная, нужно было что-то немедленно делать. Лес был в 10—15 километрах от лагеря. Хренов уговорил Рябова нарушить инструкцию и пустить нас после работы на заготовку леса. И вот наш лагерь превратился в стройку при свете костров. Новый год мы встречали в утепленных бараках.

1938 год был самым мрачным и жестоким для Колымы.

Начальник Дальстроя Берзинь, ряд руководящих партийных работников были оклеветаны и обвинены как японские шпионы. Берия сфабриковал повстанческую организацию на Колыме. Берзинь и другие руководители Дальстроя были уничтожены. Начальником Дальстроя был назначен комиссар госбезопасности Павлов, начальником лагеря — палач, настоящий убийца Гаранин. Весь 1938 год известен на Колыме под черным названием гаранинщины. Все заключенные по статье 58-й были взяты на строгий режим, материальное стимулирование отменено. Начало поощряться самое жестокое обращение. В лагерях были созданы тюрьмы.

Гаранин взял курс на физическое уничтожение коммунистов. Немало расстрелял он лично, как садист и изувер. На разводах ежедневно зачитывались списки расстрелянных, так называемых участников колымской повстанческой организации.

В то время дикого произвола надо было иметь нечеловеческую выдержку, неиссякаемую веру в победу ленинской правды, чтобы не поддаться чувству озлобленности против самой Советской власти. Велика заслуга Яна Петровича Хренова, что сотни советских людей сохранили веру. Он убеждал: все творимое здесь — чуждо социалистическому строю, противоречит политике Коммунистической партии. Это дело рук истинных врагов народа, и они будут разоблачены.

В январе 1939 года меня, бригадира лучшей бригады забойщиков (план мы выполняли на 200 процентов), арестовали вместе с лучшими рабочими и посадили в тюрьму смертников под названием «Серпантинная». Нас обвинили в том, что якобы мы хорошей работой прикрывали свои враждебные взгляды и подготовку к бунту. Все старые колымчане хорошо знают этот мрачный каземат, откуда, как правило, не возвращались. Гаранинская банда уничтожила там много тысяч преданных Советской власти людей. Спаслись мы только потому, что арестовали самого Гаранина как «подосланного диверсанта». Начальника нашего расстреляли, нам в порядке профилактики добавили еще по 10 лет.

С тех пор я с Хреновым расстался до 18 июня 1944 года, но знаю, что в годы войны он жил и работал на прииске «Туманный».

В 1941 году, в начале войны, на прииске «Туманный» создали особо режимный лагерь. Там собрали всех осужденных Особым совещанием по литеру КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) и лиц немецкой национальности. Культурно-воспитательный отдел северных лагерей издавал

один раз в неделю печатную многотиражку для заключенных. Из этой газеты я узнавал о жизни и деятельности Яна Петровича Хренова. Его бригада работала в шахте, проходящей под руслом речки (об условиях работы в этой шахте я узнал подробно, когда прибыл на прииск «Туманный» в 1944 году уже вольнонаемным начальником смены). Хренов — человек с большим сердцем, прошедший через горнило немыслимых испытаний, пошел на самый трудный участок, где разрабатывалось месторождение с самым богатым содержанием золота, организовал бригаду и под сплошными потоками ледяной воды вместе со всем народом ковал победу. Его бригада была инициатором трудового соревнования. На протяжении двух лет занимала первое место в этом соревновании и прославилась на всю Колыму. О нем писали очерки в лагерной печати, как о герое труда, и фамилию этого большевика с ярлыком «врага народа» знали многие тысячи людей и следовали его примеру.

В мае 1944 года, несмотря на категорический запрет Берии освобождать лиц с литером КРТД, Хренова освободили, как отмечалось в приказе, за трудовую доблесть и выдающийся личный вклад по добыче золота в годы Великой Отечественной войны.

Надо отдать должное тогдашнему начальнику Дальстроя генерал-лейтенанту Никишову за этот благородный приказ, за то, что поверил Хренову и потом, предоставив ему возможность проявить свой талант организатора на руководящей хозяйственной работе на приисках «Штурмовой» и «Туманный».

На этом заканчивается письмо Михаила Евсеевича Выгона, присланное автору этих строк в 1965 году. Думаю, что этот честный и безыскусный рассказ ни в каких журналистских комментариях не нуждается. Правда, иной раз Михаилу Евсеевичу изменяла память, и он неточно указывал имена и даты. На самом деле Хренова освободили немного раньше, чем считал М. Выгон. Об этом свидетельствует его последнее письмо.

«Колыма, ночь с 17 на 18 декабря 1943 года.

Дорогая Леночка!

Сегодня, вернее час тому назад, мне сообщили, что приказом по Дальстрою я освобожден.

Доченька моя, родная, я получил твое письмо. Спасибо тебе за твою учебу и работу. Я знаю, что трудно вам сейчас без меня, но сейчас трудно всей нашей Родине. Это тяжелое время переживем. Мне, родная, было очень тяжело и физически

и, особенно, морально, но я старался трудом и упорством пробить путь к своему освобождению. Было очень трудно и тяжело, были минуты, когда я опускал в отчаянии руки, в сплошной темноте совершенно теряя перспективу, но я перебарывал эти настроения, брал себя в руки и опять старался вновь и вновь доказать, что я не чуждый человек, что я верный сын своей Родины и что все свои силы и умение в пределах возможного я отдаю делу Родины.

Что бы я ни делал, я всегда думал о вас, мои любимые, зная, что вы там, далеко-далеко, также думаете обо мне, любите меня. Вот те невидимые нити, связывающие меня с вами за тысячи километров. Всегда поддерживали меня письмо, телеграмма, придавали мне больше бодрости и силы.

Ленуся! Где я буду работать и кем, я не знаю, но все, что смогу, будет мною для вас сделано. Мне писали бабушка и Таня, что ты очень плохо себя чувствуешь. Береги себя, родная. Тяжелое время позади, впереди ждут лучшие времена.

Обо всем буду писать подробно.

Целую крепко, крепко,

твой папа».

Это его последнее письмо. Через три года он умер — сердце не выдержало. Умер на руках у Марии Ильиничны. Последние годы они жили вместе. Мария Ильинична не долго раздумывала после освобождения мужа: связала узлы, подхватила детишек и отправилась на Колыму.

Олег Темушкин,
доктор юридических наук,
заслуженный юрист РСФСР

На кого они равняются?

**Знамя консерваторов.
Правосудие без правосудия.
Преодолеть отжившие стереотипы!
Гарантии: демократия, гласность, верховенство закона.**

Сейчас часто можно услышать: «альтернативы перестройке нет». Действительно, она и только она способна разобрать завалы, образовавшиеся на историческом пути социализма вследствие его деформации и извращений. Чем больше людей осознает это, тем динамичнее, эффективнее пойдет намеченный партией процесс.

Но многих и многих от реального участия в ней отпугивает пока отсутствие надежных гарантий необратимости этого процесса. Для общественного сознания таким гарантом мог бы стать закон, который обезопасит нас от бюрократа, зажимщика критики, чинуши и мстительного начальника.

Но, увы, никакой, даже самый хороший закон не в состоянии обеспечить желаемого, если исполнять его и следить за его исполнением будут непригодные к тому люди с отсталым, консервативным правосознанием. Люди, психология которых была взращена и сформировалась во времена беззакония и произвола, правового нигилизма, а если говорить о правосудии, то и обвинительного уклона.

Поэтому мне представляется необходимым поразмышлять о ряде волнующих общество правовых проблем.

Три года перестройки потребовались нам, чтобы понять: намеченные реформы невозможны без преодоления идеологии, политики, социальных стереотипов, связанных с культом личности. Точнее, культом Сталина. А это не одно и то же.

Ведь речь идет не просто о возвеличивании той или иной фигуры, а о присущих Сталину коварстве и мастерстве интриги, патологической подозрительности и жестокости. Культ Сталина связан не только с физическим уничтожением тысяч и тысяч людей, но и с отравлением сознания народа, внедрением самых отрицательных качеств, не свойственных ему: подозрительности, страха, чувства безысходности, а отсюда — равнодушие к делу, бездумное повиновение командному окрику, неуверенность в себе, то есть те пороки, которые питают ныне механизм торможения.

Культ Сталина явился трагедией для истории нашей страны. А когда 11 лет спустя его пост занял другой «верный ленинец» — Л. И. Брежнев, трагедия превратилась в фарс.

Противники перестройки видеть всего этого не желают и, как бы они свою позицию ни объясняли, продолжают быть единодушны в своей приверженности к сталинизму, пусть и с оговорками — поклоняются своему идолу.

Вот почему так жизненно необходимо преодоление тех установок, стереотипов, которые сформировались при Сталине и напрямую связаны с его именем.

Что это означает применительно к праву?

Культ личности, как явление реакционное, антидемократическое, мог существовать и даже процветать только в условиях полнейшего беззакония и произвола, удушения прав и свобод человека, низведения его до уровня безгласного «винтика», лишенного какой бы то ни было инициативы, исполнителя чужой злой воли.

Сталин отлично понимал, что сохранение такого противного человеческому естеству режима, тем более в обществе, где почти все искренне верили в то, что строят социализм, возможно лишь методами ничем не ограниченного произвола, отказа от демократических гарантий. Иначе говоря, полного бесправия, концентрации всех видов государственной власти, в том числе законодательной, исполнительной, судебной, в руках командно-административной системы, во главе которой стоит самодержавный владыка, «вождь всех времен и народов».

Действенным инструментом, с помощью которого столько лет поддерживался созданный Сталиным антидемократический режим, стали карательные органы. Те самые органы, которые мы теперь привычно называем правоохранительными. Но они не охраняли закон и права человека, не обеспечивали строжайшее соблюдение социалистической законности, а карали! Ко-

го? Того, на кого укажет перст вождя, его ближайшего окружения, многочисленных приспешников на местах.

Сталинизм отбросил такие демократические принципы уголовного судопроизводства, как состязательность сторон, гласность и непосредственность, объективность и всесторонность расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, право обвиняемого на защиту, наконец, презумпция невиновности — это подлинно животворное достижение передовой мысли, выстраданное человечеством, завоеванное в кровавой борьбе со средневековым произволом и беззаконием, знаменующее собой веру в добропорядочность человека. То, без чего правосудие есть просто фикция.

Страшную роль в этом деле сыграло, в частности, постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов», согласно которому срок следствия сокращался до 10 дней, обвинительное заключение обвиняемому положено было вручать за один сутки до суда, в котором дела рассматривались без участия сторон (то есть без адвоката и прокурора). Обжалование приговора и подача ходатайства о помиловании не допускались, приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно. Аналогичный порядок вводился 14 сентября 1937 года и по делам о вредительстве и диверсии.

Был реанимирован и принят на вооружение карательных органов давно забытый в цивилизованном мире принцип «признание вины — царица доказательства».

«Теория» ярко осветила путь следственной практике, обосновав применение физических и психических методов воздействия на арестованного, в том числе пыток, провокаций, всякого рода изощренных издевательств, унижающих человеческое достоинство, убивающих волю к сопротивлению.

Самым сокрушительным ударом по правовой системе было низведение суда до положения бесправного придатка предварительного следствия. Ему было доверено лишь скреплять своей подписью произвол, творимый «органами», тем самым легализуя его. Ведь «органы не ошибаются».

«Главной обязанностью суда при рассмотрении уголовных дел, — пишет Председатель Верховного Суда СССР В. И. Теребилов, — стало не самостоятельное и независимое исследование предъявленного человеку обвинения, а лишь определение размера наказания. Оправдание или возвращение дела на новое расследование в те годы расценивалось как чрезвычай-

ное событие. Обвинительный приговор выносился по 99 % всех уголовных дел».

Здесь нелишне вспомнить, что при В. И. Ленине в период гражданской войны и послевоенной разрухи даже революционные трибуналы, не говоря уж об общих судах, не «пекли» так приговоры. Оправдательный приговор был нередким явлением — без этого правосудие просто немыслимо.

В период культа Сталина пренебрежение судом выражалось и в том, что в стране широко применялись методы внесудебных репрессий. Так называемые «тройки», «двойки», Особое совещание при НКВД СССР принимали постановления, заменявшие приговоры. На их основании сотни тысяч осуждались и наказывались заочно и без приведения мотивов и доказательств. Просто по списку. Материалы XXII съезда КПСС свидетельствуют, что по инициативе Кагановича эти несудебные органы получили право применять к обвиняемым смертную казнь. Учитывая большое количество дел о так называемых государственных преступлениях, по предложению Молотова наказание производилось по спискам.

Еще большим издевательством, но уже не только над правосудием, а и над здравым смыслом, общечеловеческой моралью и нравственностью, над самой идеей законности было игнорирование и злостное неисполнение вынесенного судом и обретшего силу закона оправдательного приговора.

24 июля 1941 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР в составе председательствующего диввоенюриста М. Р. Романычева и военюриста I ранга А. А. Чепцова и В. Д. Буканова (мы должны знать эти имена — ведь судьи совершили акт гражданского мужества, что было далеко не безопасно по тем временам) вынесла оправдательный приговор в отношении Михаила Сергеевича Кедрова, старого большевика, соратника В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского, бывшего члена Коллегии ОГПУ. Суд признал, что выдвинутые против Кедрова обвинения во враждебной деятельности, измене Родине вздорны и необоснованны. Согласно закону Кедров подлежал немедленному освобождению из-под стражи, что, однако, не произошло. Меркулов, тогдашний нарком внутренних дел, обратился к председателю Верховного Суда СССР И. Т. Голякову с требованием опротестовать неугодный НКВД приговор. Последовал мотивированный отказ. Но и это не спасло Кедрова. 25 октября 1941 г. он был расстрелян по личному указанию Берии, у которого были старые счеты с Кедровым. Еще в двадцатые годы, будучи членом Коллегии ОГПУ и помогая че-

кистам Закавказья, Кедров уличил Берию, работавшего тогда в ЧК, в беззакониях и поставил вопрос о его отстранении. Увы, Берия остался тогда на месте. А обид, как известно, он не забывал. Мстил жестоко.

Одновременно с Кедровым вообще без всякого приговора были расстреляны еще 24 человека, незаконно арестованных и находившихся под следствием. Имена их уже были названы мною по телевидению, в печати. Но я вновь назову отдельных из них, видных военачальников, павших не на поле брани при защите Родины (вспомним — враг стоял под Москвой), а от рук сталинских палачей: среди убитых дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Я. В. Смушкевич, Герой Советского Союза, генерал-полковник Г. М. Штерн, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации П. В. Рычагов, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации И. И. Проскуров, заместитель наркома обороны, командующий войсками Прибалтийского Особого военного округа, генерал-полковник авиации А. Д. Локтионов, заместитель начальника Главного артиллерийского управления НКО СССР, генерал-майор Г. К. Савченко, начальник Военно-воздушной Академии, генерал-лейтенант авиации Ф. К. Арженухин.

Размышляя о перестройке правовой системы, при которой полностью исключались бы не только подобные вопиющие факты, но и вообще случаи любого отступления от закона, перестройке, которая обеспечит реальные гарантии защиты прав и свобод личности, мы в первую очередь должны все поставить на свои места. Суд, который в силу самого своего устройства — коллегиальности, выборности, гласности — является наиболее демократичным органом, должен занять принадлежащее ему по праву положение на вершине пирамиды правоохранительной системы. Ведь только суд правомочен вершить правосудие: признавать человека виновным или невиновным, назначать наказание или объявлять оправдательный приговор.

Что же касается предварительного следствия, то оно потому так и называется, что выводы его о виновности лишь предварительны. Его задача — собрать материалы, имеющие отношение к расследуемому преступлению, соблюдая при этом объективность и всесторонность, а затем, при наличии оснований, передать эти материалы на рассмотрение суда.

Об этом приходится говорить вновь и вновь, поскольку не всем это нравится, и, более того, мы продолжаем встречаться с попытками прямого противодействия возвращению

«пирамиды» в нормальное положение. Чем не механизм торможения в правовой сфере?

Напомню опубликованную в «Советской культуре» за 29 марта с. г. статью «Коллекционеры и милиционеры». В ней рассказывалось о произволе и беззаконии, допущенных отдельными работниками московской милиции. При расследовании уголовных дел на коллекционеров антиквариата ими применялись недозволенные методы, воспринятые из арсенала тридцатых годов: необоснованные задержания, незаконные обыски, всякого рода провокации. Невиновные люди длительное время незаконно содержались под стражей. И что характерно: наиболее ретивый исполнитель всех этих «художеств», капитан милиции М. Хоркин, творил беззаконие под портретом Сталина, который красовался в служебном кабинете ГУВД Мосгорисполкома. Я уверен, что бравый капитан милиции под сенью вождя ощущал себя, конечно, не работником советской милиции, а «сотрудником органов» образца тридцатых годов, чем, видимо, и вдохновлялся.

Что Хоркин, к сожалению, не одинок, видно хотя бы из недавно изданного приказа Генерального прокурора СССР «О строжайшем соблюдении законности при применении ареста в качестве меры пресечения и продления сроков содержания под стражей на предварительном следствии».

«Некоторыми недобросовестными следователями, — говорится в этом документе, — задержания и аресты используются как средство незаконного воздействия на граждан с целью получения нужных локазаний, так называемых «явок с повинной», не имеющих ничего общего с предусмотренными законом случаями добровольного обращения граждан о совершенных ими преступлениях...

Некоторые лрокуроры лично не допрашивают подозреваемых, обвиняемых леред дачей санкции на арест, когда того требует закон.., не проверяют возможности самооговора... Некритическая оценка материалов следствия, данных о личности лодозреваемого, обвиняемого слособствует лринятию незаконных решений об аресте невиновных лиц».

Откуда все зто? Не из тех ли времен, когда приговор выносился по списку, когда данные следствия сомнению не подвергались, а главным способом изобличить подозреваемого были незаконные аресты?

От всего зтого перестройка начала очищать правоохранительные органы. В частности, в упомянутом приказе объявлена бескомпромиссная война всем этим беззакониям. Всерьез

ведется работа по подготовке субедно-правовой реформы. Сформулированы предложения о месте предварительного следствия, выведении его из-под административного подчинения прокуратуре, дабы обеспечить бескомпромиссный прокурорский надзор за законностью при производстве расследования, о существенном расширении функций защиты путем допуска адвоката на предварительное следствие.

Необходимо разработать и дополнительные правовые гарантии, служащие повышению авторитета суда, обеспечению его полной независимости. В частности, подумать о том, чтобы суд, поскольку он независим и подчиняется только закону, обладал правом оценки и признания незаконными актов, ведомственных инструкций, приказов и соответствующего реагирования на те из них, которые противоречат закону и даже препятствуют его реализации.

Но, вернувшись к той мысли, которую я высказал в начале этих заметок, напомню: никакой, даже очень хороший, закон не в состоянии защитить права граждан, если применять его будут негодные люди. Намечаемые изменения в правовой системе должны, разумеется, поднять как авторитет, так и ответственность кадров правоохранительных органов — судей, прокуроров, следователей, обеспечить создание необходимых условий для их работы, исключающих неправомерное вмешательство в их деятельность, особенно в деятельность судей.

Об этих переменах, которые, надеюсь, коснутся всех уровней правовой системы, и надо вести разговор. О человеческом факторе следует помнить всегда: консервативные силы, противящиеся перестройке, выбрали себе в качестве знамени Сталина.

Противостоять их идеологии, преодолеть ее можно, лишь раскрыв всю правду о преступлениях и беззакониях сталинизма.

Пусть все знают: **к чему** зовут консервативные силы, **к какому** времени обращают они свои восторженные взгляды, **на кого** равняются!

РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО

Аркадий Ваксберг

Как живой с живыми

В огромном потоке откликов, пришедших после публикации «Царицы доказательств» («Литературная газета» от 27 января 1988 г.), «Тайны октября 1941-го» («Литературная газета» от 20 апреля 1988 г.) и «Процессов» («Литературная газета» от 4 мая 1988 г.), не затерялось лисьмо ленинградки Юлии Захаровны Жуковской: «Пусть, читая о страшных событиях недавнего лрошлого, люди плачут, гневаются и еще сильнее любят свою многострадальную родину. Я почему-то вижу ее в облике своей бабушки Евдокии Михайловны, коренной сибирячки, безграмотной крестьянки. Она умерла в лагере лод Карагандой. Когда ее арестовали, ей было 47 лет. Она была женой «врага народа». Врага, удостоившегося чести лопасть даже в «Краткий курс». Не каждому из миллионов жертв это досталось...»

«Краткий курс» давно уже никто не читает, да и те, кто читал, забыли, наверно, имя деда Юлии Захаровны, померкшее среди более звонких, многократно и громогласно проклинавшихся имен. Совсем недавно в одной высокотворческой и очень эрудированной аудитории я назвал это имя, и не нашлось никого, кто знал бы, о ком идет речь. Так осуществлялась одна из главных сталинских задач: не только унизить, растоптать, уничтожить, но и вычеркнуть из памяти, стереть все следы присутствия неугодного человека на этой земле...

Но историю не перехитришь. Следы остаются.

21 августа 1932 года на квартире одного скромного служащего, Петра Афанасьевича Сильченко, собрались человек десять — двенадцать — рядовые партийцы. Ни один из них не занимал сколько-нибудь большого государственного или общественного поста: руководитель группы народного контроля РКИ РСФСР М. С. Иванов, директор типографии П. А. Галкин, профессор горной академии П. П. Федоров, работник Центро-

архива В. Н. Каюров и другие. Они пришли, чтобы обсудить, отредактировать и одобрить текст документа, написанного их товарищем и единомышленником.

Имя этого человека, отстраненного к тому времени от какой бы то ни было активной работы, но не смирившегося и не обрекшего себя на покорное прозябание, знала тогда вся страна. Его звали Мартемьян Никитович Рютин.

Из биографической справки

Родился в 1890 г. Уроженец села Верхнее Рютино бывшей Усть-Удинской волости Иркутской области. Член ВКП(б) с 1914 года. Сын крестьянина. Окончил учительскую семинарию. Специальность: народный учитель, публицист. Участник гражданской войны в Забайкалье. Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов в Харбине (1917 г.), затем командующий войсками Иркутского военного округа, заместитель председателя губисполкома и секретарь Иркутского губкома РКП(б)... В 1923 г. — секретарь Дагестанского обкома партии...

К этому времени относятся такие характеристики, сохранившиеся в его личном партийном деле:

«Крупный теоретический и газетный работник, обладает солидной марксистской подготовкой, прекрасный докладчик... Может быть использован на любой ответственной партийной работе... Морально безупречен...»

И — другая характеристика: «В коммунистической этике безупречен...»

Видный партийный деятель О. Я. Карклин докладывал Центральному Комитету о результатах своей поездки в Дагестан: «С кем бы я здесь ни говорил, о Рютине отзываются очень хорошо». Эта оценка послужила для перевода Рютина на работу в Москву, хотя Юго-Восточное бюро ЦК приняло беспрецедентное решение: «против перевода т. Рютина... категорически возражаем. Поручить т. Микояну при поездке в Москву настоять в ЦК на пересмотре этого решения».

Настоять не удалось: партработники столь высокого класса были нужны для работы в столице. Но на XII съезде партии Рютин все же представлял Дагестан, как на X — Иркутск. Он избирался потом делегатом XIII, XIV, XV и XVI съездов, нескольких Всесоюзных партконференций. Был всегда в самой гуще. Знал реальность не понаслышке.

Вот что писал он в 1932-м — в документе, который собрались обсудить его друзья (эта встреча уже через несколько недель будет названа «тайным сборищем заговорщиков» и определит его судьбу):

«Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его свитой заведены в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана и клеветы, с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола...»

Сегодня, обогащенные горьким и убедительным историческим опытом, зная достоверно, а не предположительно, чем обернулся сталинский курс, подводя итоги, а не прогнозируя, мы можем со всей достоверностью судить о том, какую цену заплатила страна за властолюбие и жестокость одного человека, которому услужливо поддакивали и помогали несколько «поставивших на вождя» политических игроков. Рютин не знал и не мог знать всего, чтó нам предстоит, но точность его анализа поражает: иные положения «документа» кажутся написанными сегодня, достаточно лишь настоящее и будущее время в тексте заменить прошедшим. Из более чем полувековой дали он говорит с нами, как живой с живыми:

«...Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное снижение реальной заработной платы рабочих и служащих, непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляцию, рост цен и падение стоимости червонцев; авантюристическая коллективизация с помощью раскулачивания, направленного фактически главным образом против середняцких и бедняцких масс деревни, и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода поборов и насильственных заготовок, — привели страну к глубочайшему экономическому кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду... В перспективе — дальнейшее обнищание пролетариата... Всякая личная заинтересованность к ведению сельского хозяйства убита, труд держится на голом принуждении и репрессиях... Все молодое и здоровое из деревни бежит, мил-

лионы людей, оторванных от производительного труда, кочуют по стране, перенаселяя города, остающееся в деревне население голодает... В перспективе — дальнейшее обнищание, одичание и запустение деревни...»

Секретарь райкома партии Красной Пресни, редактор «Красной звезды», член Президиума ВСНХ СССР, наконец, председатель Управления фотокинопромышленности, Рютин имел возможность близко наблюдать за жизнью страны, за настроением людей, отличать реальность от лозунга и истину — от демагогии. Он сблизился с молодыми философами и социологами Института красной профессуры — талантливыми воспитанниками бухаринской школы А. Н. Слепковым, Д. П. Марецким, Я. Э. Стэном и другими, оказавшими большое влияние на его мировоззрение и укрепившими принципиальные и честные позиции, которые он занимал.

Иные (не позволим себе после трагедии, их постигшей, из сострадания изменить правде), даже будучи правыми в споре, даже не совершая никаких преступлений, боролись, скорее, за власть, за место у партийного и государственного руля. Рютин, никогда не поднимавшийся по кадровой лестнице выше среднего уровня, — только за идею, только за истину, только за благо Отечества. Только за это — и ни за что больше.

«На всю страну надет намордник, — читаем мы дальше в этом манифесте «Ко всем членам ВКП(б)» — обращении, так и не дошедшем до партии за 56 лет, — бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят над головой каждого рабочего и крестьянина. Всякая революционная законность попрана!.. Учение Маркса и Ленина Сталиным и его кликой бесстыдно извращается и фальсифицируется. Наука, литература, искусство низведены до уровня низких служанок и подпорок сталинского руководства. Борьба с оппортунизмом опошлена, превращена в карикатуру, в орудие клеветы и террора против самостоятельно мыслящих членов партии. Права партии, гарантированные Уставом, узурпированы ничтожной кучкой беспринципных политиканов. Демократический централизм подменен личным усмотрением вождя, коллективное руководство — системой доверенных людей».

Наверно, не в таких бескомпромиссных и уничтожающих выражениях, не с такой чеканной формулировочностью, но то же самое (то же самое!) он сказал прямо в глаза вож-

дю — двумя годами раньше. Прямо в глаза! Он был тогда кандидатом в члены ЦК, членом горкома партии, несравненным оратором-пропагандистом, которому бурно рукоплескал партактив Москвы.

Прямо в глаза!..

Результат не замедлил сказаться. По требованию Сталина президиум ЦКК ВКП(б) «за двурушничество», «за дискредитирование партийного руководства» исключил Рютина из партии. Через месяц — по тому же высокому распоряжению — его арестовали. Но ягодо-ежово-вышинский террор еще не начался. Время пока что было иным. Постановлением коллегии ОГПУ от 17 января 1931 г. Рютина оправдали «за недоказанностью предъявленного ему обвинения» (организация контрреволюционной группы и антисоветская агитация). Более того — вернули партийный билет. Легко представить себе, сколь добрые чувства к нему сохранил «учитель и вождь».

Извлек ли Рютин урок? Да, безусловно. Только не тот, который в подобных случаях извлекают. Совершенно иной.

Времена стремительно менялись. Об открытых и свободных дискуссиях уже не могло быть и речи. Споры с вождем исключались. Трибуны для изложения своих взглядов ни Рютин, ни кто бы то ни было из хоть в чем-либо «несогласных» уже получить не мог. Оставалось только одно: «Прочитав, передай другому. Размножай и распространяй».

«Всякая живая, большевистская партийная мысль угрозой исключения из партии, снятием с работы и лишением всех средств к существованию задушена; все подлинно ленинское загнано в подполье; подлинный ленинизм становится в значительной мере запрещенным, нелегальным учением.

Партийный аппарат в ходе развития внутрипартийной борьбы и отсечения одной руководящей группы за другой вырос в самодовлеющую силу, стоящую над партией и господствующую над ней, насилующую ее сознание и волю. На партийную работу, вместо наиболее убежденных, наиболее честных, принципиальных, готовых твердо отстаивать перед кем угодно свою точку зрения членов партии чаще всего выдвигаются люди бесчестные, хитрые, беспринципные, готовые по приказу начальства десятки раз менять свои убеждения, карьеристы, льстецы и холуи».

Узна́ем ли мы когда-нибудь, кто именно поспешно выдал участников встречи и сам текст «Обращения». Впрочем, мож-

но ли было этого избежать? Конспирация в своем государстве и от своего народа была Рютину совершенно чужда. Сама суть «Обращения ко всем...» предполагала отнюдь не тайну...

20 сентября 1932 г. на квартире Сильченко состоялся обыск. Пришельцы точно знали, где хранятся «Обращение» и написанная ранее работа Рютина «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» (возможно, она еще найдется в архивных завалах). Тремя днями позже Рютин был исключен из партии и арестован. Еще через две недели президиум ЦКК собрался на внеочередное свое заседание.

Из протокола

«...Присутствовали: Рудзутак, Енукидзе, Шкирятов, Ильин, Кривов, Ройзенман, Ульянова, Криницкий, Горчаев, Беленький, Арнштам, Петерс, Догадов, Антипов, Сахарова, Анцелович, Сольц, Ярославский. Члены ЦКК Дирин, Мальцев, Стасова, Балицкий, Рыскин. От ОГПУ Молчанов.

Слушали: О контрреволюционной группе Рютина, Галкина и др.

Постановили: исключить из членов партии как разложившихся, ставших врагами коммунизма и Советской власти, предателей партии и рабочего класса, пытавшихся создать подпольным путем под обманным флагом марксизма-ленинизма буржуазную кулацкую организацию по восстановлению в СССР капитализма и, в частности, кулачества...»

Затем следует список из 20 фамилий. Среди них Зиновьев и Каменев: к ним тоже попал текст «Обращения», но они не донесли... Постановление завершается указанием ОГПУ: привлечь всех исключенных к уголовной ответственности, «отнесясь к ним со всей строгостью революционного закона».

В основном и дополнительном списках подлежащих наказанию «заговорщиков» мы встретим еще несколько знакомых фамилий: сына Г. И. Петровского — Петра Петровского, уничтоженного девятью годами позже; расстрелянного вместе с Зиновьевым и Каменевым философа и историка Вагаршака Тер-Ваганяна; Сергея Кавтарадзе, которому выпал счастливый билет — по прихоти Сталина из арестанта он превратился потом в заместителя наркома иностранных дел и посла в послевоенной Румынии; писательницу Полину Виноградскую, автора повести о Женни Маркс и других произведений...

Все они разделяли «рютинскую платформу», то есть, иначе сказать, не заблуждались, кто есть кто...

Сталин потребовал для Рютина расстрела. Воспротивились Киров, Орджоникидзе, Куйбышев и некоторые другие члены Политбюро. Поэтому приговор — уже через две с половиной недели! — был гуманным: 10 лет тюрьмы. Газеты, не вдаваясь в подробности, сообщали о разгроме «контрреволюционной банды». Не менее пятнадцати из перечисленных выше участников ее разгрома, в том числе и «представитель ОГПУ», уже через несколько лет окажутся сами среди расстрелянных «бандитов».

«Печать, — говорилось в «Обращении», которое ЦКК объявила лредательством, — могучее средство коммунистического вослитания и оружие ленинизма, в руках Сталина и его клики стала чудовищной фабрикой лжи, надувательства и терроризирования... Ложью и клеветой, расстрелами и арестами... всеми слособами и средствами они будут защищать свое господство в лартии и в стране, ибо они смотрят на них как на свою вотчину...

Ни один самый смелый и гениальный лровокатор для гибели лролетарской диктатуры, для дискредитации ленинизма, социалистического строительства и социализма, для взрыва их изнутри не мог бы лридумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики...

Позорно и лостыдно для лролетарских революционеров дальше терлеть сталинское иго, его лроизвол и издевательство над лартией и трудящимися массами. Кто не видит этого ига, не чувствует этого лроизвола и гнета, кто не возмущается им, тот раб, а не ленинец, холол, а не лролетарский революционер...

Оласения Ленина в отношении Сталина, о его нелояльности, нечестности и недобросовестности, о неумении пользоваться властью целиком оправдались. Сталин и его клика губят дело коммунизма, и с руководством Сталина должно быть локончено как можно скорее».

Покончили, однако, отнюдь не со Сталиным: автор явно недооценивал его реальную мощь. Уже лриближался XVII съезд, лосле которого «вождь» созрел для лерехода к решительным действиям. «Устранив» солерника, сласшего Рютина от расстрела, и развязав кровавый террор, Сталин вспомнил о

том, кто томился в «Суздальской тюрьме особого назначения».

Сохранился «совершенно секретный» приказ заместителя начальника одного из отделов Главного управления Госбезопасности НКВД СССР Люшкова о доставке «политзаключенного Рютина» в Москву. И рапорт начальника Суздальской тюрьмы Аллилуева о том, что Рютин ехать не хочет, в связи с чем к нему «пришлось применить физическую силу».

Доставленному «в отдельном купе вагонзака под усиленным спецконвоем» (так в рапорте) Рютину другой заместитель начальника того же отдела, Берман, предъявил обвинение в терроризме. Все эти годы Рютин провел в тюрьме, поэтому под террором подразумевались не какие-то его новые акции, а все те же слова «Обращения», за которое он уже был осужден: «...с руководством Сталина должно быть покончено как можно скорее».

Рютин потребовал чернил и бумаги. После долгих препирательств ему дали три обрывка желтого оберточного картона с жирными разводами. На них он и написал свое заявление в Президиум ЦИК, которое Ежов за номером 58562 тотчас препроводил Сталину. Вот отрывки из этого заявления:

«Я не признаю себя виновным ни в чем... Я никогда террористом не был, не являюсь и не буду... Ни одно уголовное законодательство, начиная с римского права и до наших дней во всех странах, в том числе и советское уголовное законодательство, не допускает привлечения к ответственности и наказания два раза за одно и то же... История судебных процессов и карательной политики Европы и Америки в течение последних столетий, насколько мне известно, не знает подобного чудовищного случая.

...Будучи глубочайше убежден в своей невиновности, находя это обвинение абсолютно незаконным, произвольным и пристрастным, продиктованным исключительно озлоблением и жаждой новой, на этот раз кровавой, расправы, я, естественно, категорически отказался и отказываюсь от признания предъявленных мне обвинений, я не намерен и не буду говорить на себя неправду, чего бы мне это ни стоило.

Ко всему сказанному считаю необходимым добавить, что сами методы следствия, применяемые ко мне, являются также совершенно незаконными и недопустимыми. Мне на каждом допросе угрожают, кричат, как на животное, меня оскорбляют, мне, наконец, не дают даже дать мотивированный отказ от дачи показаний...

...Я, само собой разумеется, не страшусь смерти... Я заранее заявляю, что не буду просить даже о помиловании, ибо я не могу каяться и просить прощения или какого-либо смягчения наказания за то, чего не делал и в чем абсолютно не повинен. Но я не могу и не намерен спокойно терпеть творимых надо мной беззаконий и прошу меня защитить от них. В случае неполучения этой защиты я еще раз буду пытаться защитить себя теми способами, которые в таких случаях единственно остаются у беззащитного, бесправного, связанного по рукам и ногам, наглухо закупоренного от внешнего мира и невинно преследуемого заключенного.

М. РЮТИН

4 ноября 1936 г. Москва. Внутренняя тюрьма особого назначения НКВД».

Что происходило в течение следующих двух месяцев — материалами «дела» не отражено: сразу же после сопроводительного письма Ежова Сталину подшит «протокол № 00111 подготовительного заседания Военной коллегии Верхсуда СССР от 9 января 1937 г. в составе Ульриха (председатель), Матулевича и Рычкова, с участием прокурора СССР тов. Вышинского». Судьи, трижды услужливо помянув «тов. Вышинского», сообщают, что они полностью согласны с обвинительным заключением, текст которого занимает три четверти одной машинописной страницы, и готовы судить Рютина с применением чрезвычайного закона от 1 декабря 1934 г., то есть без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей.

Этот «процесс» состоялся на следующий день. Его протокол занимает тоже одну страницу (плюс шесть дополнительных строк на второй), а приговор — меньше страницы с большими пробелами и полями.

«Судебное заседание» состоялось на следующий день, 10 января. Началось в 11.35 и закрылось в 12.15: длилось долго по тем временам — целых 40 минут. В протоколе записано: «Подсудимый заявил, что ответ на вопрос, признает ли себя виновным, он дать не желает и вообще отказывается от дачи каких-либо показаний по существу предъявленных ему обвинений... Подсудимому предоставлено последнее слово, в котором он ничего не сказал». Приговор очевиден. Через несколько минут Мартемьяна Никитовича Рютина не стало: об этом свидетельствует подшитая к делу справка.

Из письма Ю. З. Жуковской

«Сразу же вслед за дедом погибли его сыновья Василий (инженер туполевского КБ), Виссарион, тоже авиаинженер, сошла с ума жена одного из сыновей, а бабушку арестовали. Еще в 1932 г., после первого ареста деда, мама (ей было тогда 20 лет) пошла к Вышинскому. Он знал ее, бывал в доме на пельменях. Раньше он звал ее Любочкой, а тут сказал: «Ничем не могу вам помочь». Даже голову не поднял. Выбросили нас на улицу без вещей (мы жили на Грузинском валу)... Часто не сплю ночами, все глажу, закрыв глаза, голову бабушки, что писала нам печатными буквами сперва из Тайшета, потом из Керлага, а мама ей не отвечала, боялась за нас. Грех-то какой! А что было делать?»...

В 1956 г. Любовь Мартемьяновна Рютина обратилась в прокуратуру с просьбой о реабилитации своего отца. Она сообщила, что видела его последний раз на свидании в 1932 г., после первого осуждения. Он сказал ей: «Перед народом и партией я чист. Остаюсь коммунистом. История докажет мою правоту».

Но время полного, безоглядного раскрытия правды тогда еще не настало. Даже формально-правовая, а не только политическая мысль, задавленная грузом сложившихся стереотипов, не могла пока отделить идею от поступка, позицию от уголовно наказуемого деяния, «вождя» от страны. Продолжала существовать в сознании и в юридической практике, даже после разоблачения его культа, очень ловко осуществленная Сталиным подмена понятий: несогласие с ним, со Сталиным, приравнивалось к несогласию с советским общественным строем, критика Сталина — к измене своей стране.

Два года велась прокурорская проверка, но сил признать очевидное тогда не хватило: в реабилитации было отказано. Упрекать некого и не за что: ведь шпионами, диверсантами, террористами, агентами всех возможных и невозможных разведок продолжали оставаться Бухарин и Рыков, Зиновьев и Каменев, Раковский и Пятаков.

Прошло тридцать лет. Еще тридцать лет... Как ужасающе долго раскручивался маховик истории! И, однако же, раскрутился. «История докажет мою правоту»...

13 июня 1988 г. Пленум Верховного Суда СССР снял с честного имени бесстрашного борца со сталинщиной все об-

лыжные обвинения, которые на него возвели продажные «законники» тех ужасающих лет.

Совершенно очевидно, что Рютина в любом случае ждала бы одна и та же судьба, был бы он автором «Обращения», не был бы... Кровавая та мясорубка одинаково обрекала всех. И все достойны памяти и сострадания. Но сегодня мы сознаем, что иные встретили смерть стоя, а не на коленях, не ждали ее, а шли ей навстречу. Дрались, а не искали спасения любой ценой.

Имя Рютина возвращено народу. Имя человека, своим мученическим примером доказавшего, что даже в самые отчаянные времена остаются те, кто верен принципам и идеям, те, для кого они не стали разменной монетой в борьбе за выживание. За карьеру — тем паче. И что не все тогда были слепцами, не все поддались миражам, не все подверглись затмению, понудившему их принять козлищ за овец. Не все впали в маразм и экстаз, вообразив Сталина солнцем и богом. Не все предали традиции великой страны, великой культуры, традиции подвижничества, самоотдачи и мудрости. Не все превратились в «винтики» и рабов.

Не все!..

Убежден: очень скоро именем Рютина, проявившего истинное достоинство человеческой личности, назовут улицы в Сибири, в Дагестане, на Пресне. Именем человека, который, отвечая на вопрос одной из анкет о своем социальном статусе, записал гордо и точно: «интеллигентный пролетарий». Таким он был, таким и остался.

«Медицинская газета» 1988
15, 17, 22, 24, 29 июня

Полковник юстиции
Б. Плеханов,
А. Манн

Процесс 38-го: три судьбы

Как рассказать о том времени, о процессе, о людях, без вины виноватых! Наверное, лучше всего так: пусть говорят современники тех событий, полистаем газеты марта 1938 года, обратимся к документам. И прежде всего — к уникальному сегодня документу — отчету о судебном процессе. С первого дня заседания и начнем.

Начало

2 марта 1938 года. На скамье подсудимых Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и др. Всего 21 человек, в том числе три врача: Л. Г. Левин, Д. Д. Плетнев, И. Н. Казаков.

Председательствует на суде председатель Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР В. В. Ульрих, государственный обвинитель — прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский.

Врачи обвинялись в том, что «путем заведомо неправильного лечения» умертвили А. М. Горького, его сына — М. А. Пешкова, а также В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского.

Якобы руководил этими акциями непосредственно Г. Г. Ягода, также находящийся в зале суда в качестве обвиняемого. Грозный Ягода, превративший еще недавно возглавляемый им огромный аппарат НКВД в хорошо отлаженный карательный механизм, отправивший на муки и смерть тысячи безвинных, свою роль выполнил. И надо было убрать главного свидетеля-палача. Теперь он давал «показания», как вербовал, в частности, Левина, Плетнева, Казакова. Взятый в «ежовые рукавицы», он «признался», что «по прямому сговору с японской и германской разведками и по заданию «врага народа» Л. Троцкого, «право-троцкистский блок» организовал и совершил ряд террористических актов против лучших людей нашей родины».

Праздник после трагедии

Появление медиков в политических процессах ознаменовало новую стадию сталинской карательной политики. Прежде всего оно должно было подчеркнуть коварство «врага», подлую изобретательность членов этого самого «блока». Все должны были увидеть, сколь широки сети, расставленные «шпионами и диверсантами». Соответственно и волна ненависти «к врагам народа» должна была достигнуть чуть ли не кульминационной точки: для человека нет ничего дороже, чем его здоровье и жизнь, какие же чувства вызывают те, кто под видом лечения калечит и убивает! Сталинский расчет был примитивен и неотразим.

Другая особенность «режиссуры» состояла в том, что задуманный процесс должен был накладываться на события совсем другого толка, и это сочетание парализовало способность к критическому суждению, оглушало и опьяняло. Люди старшего поколения, вспоминая о той страшной поре, нередко говорят о ее мажорной, праздничной окраске. Нет, не столько потому, что радовались возмездию, которое считали справедливым и которое неминуемо надвигалось на «врагов народа». В эти дни страна напряженно и радостно следила за подвигом папанинцев. Их портреты то и дело появлялись на газетной полосе рядом с передовой статьей типа «Смерть фашистским наймитам!», рядом с обличительными памфлетами Михаила Кольцова, которого, кстати, через два года, 2 февраля 1940 года, самого расстреляли. (И трудно, очень трудно судить Михаила Кольцова нашими сегодняшними мерками, мерить нашей сегодняшней степенью понимания. Лишь единицы способны были не поддаться всесокрушающей волне. Известно, например, что в 1937 году Б. Пастернак был единственным писателем, который не подписал письмо, одобряющее смертный приговор Якиру, Тухачевскому и другим)...

Народ готовили к празднику: к встрече с папанинцами и к расправе над коварными «врагами», которая тоже должна была вылиться во всенародное торжество. Сочетание гневно-обличительной и торжественной нот звучит на сегодняшний слух дико и зловеще, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Народный певец Казахстана, орденоносец Джамбул опубликовал стихотворение, даже название которого буквально клокотало от ненависти: «Уничтожить!»

Очень хотелось бы привести данный шедевр полностью, но за неимением места хотя бы несколько строк:

Попались в капканы
кровавые псы,
Кто волка лютей и хитрее
лисы,
Кто яды смертельные сеял
вокруг,
Чья кровь холодна, как
у серых гадюк...
Презренная падаль,
гниющая мразь!
Зараза от них, как от
трупов, лилась.
С собакой сравнить их,
злодеев лихих?
Собака, завыв, отшатнется
от них...
Сравнить со змеею
предателей злых?
Змея, зашипев,
отречется от них...
Ни с чем не сравнить их,
кровавых наймитов,
Фашистских ублюдков,
убийц и бандитов.
Скорей эту черную сволочь
казнить
И чумные трупы, как
падаль, зарыть!

Но не только бранился поэт, он в полный голос пел героя тех дней:

Кто барсов отважней
и зорче орлов, —
Любимец страны,
зоркоглазый Ежов!

Через несколько дней уже другое стихотворение читали все в «Правде» — «Песню о папанинцах» М. Исаковского. «Слава героям!» — восклицали теперь заголовки передовиц.

«Папанинцы выглядят прекрасно», — радостно сообщал врач ледокола «Ермак» Чечулин со страниц «Медицинского работника» (наша газета, кстати, родилась именно в тот год и молодым звонким голосом сразу же начала вместе со всеми

требовать «беспощадной расправы над наймитами фашизма»).

Едва закончился процесс, читателя буквально оглушили криками по случаю встречи «четырех отважных победителей арктических льдов, завоевателей Северного полюса, замечательных сынов социалистического государства». Газеты ярко подали телеграмму зимовщиков станции «Северный полюс» товарищу Сталину, публиковали целые полосы откликов-приветствий... Ничто уже не напоминало о «деле право-троцкистов»...

И когда сегодня листаешь газеты, то не можешь избавиться от горького ощущения, что суд над «блоком» и действительный подвиг папанинцев являются как бы двумя отделениями одного спектакля... И угадывается рука постановщика.

Яростно бились газеты во время суда за вынесение «справедливого приговора». Еще только начинался допрос свидетелей, а людям все уже было ясно: они требовали, чтобы «советский суд выполнил волю народа». Воля была одна: «уничтожить!»

Генеральная репетиция

Была еще одна причина, по которой в «деле» появились «медики-убийцы».

Известно, что Сталин никому не доверял. Но особенно не любил он врачей. А точнее: панически боялся людей в белых халатах, которым, как, очевидно, представлялось Сталину, человеку коварному и жестокому, ничего не стоит «залечить» любого больного, отправить его на тот свет.

На страницах нашей газеты в прошлом году Е. И. Смирнов, снятый в 1953 году с поста министра здравоохранения СССР за «дело врачей», вспоминал примечательный разговор со Сталиным. Этот разговор предшествовал сообщению ТАСС об аресте «группы врачей-вредителей». Сталин, услышав от Смирнова, что его любимца Жданова и Димитрова лечил один и тот же врач, произнес тихим голосом, в котором чувствовалась ярость от подтвердившегося подозрения: «Странно. Один врач лечил, и оба умерли». Неумолимая логика корифея всех наук!

И нет никаких оснований полагать, что сам Сталин не верил в это: врачи способны умертвить кого хочешь... По себе ведь судил. Имея неограниченную власть над людьми, он, вероятно, с ужасом думал о том, что может заболеть и оказаться во

власти другого... И тогда его могущество окажется пустым звуком перед силой иного человека. Если даже и не верил в конкретную вину данного врача, то считал вполне логичным наказать его в виде острастки всем последующим медикам...

В обвинительной речи Вышинского на процессе 1938 года тема врачебного коварства была разработана в историческом аспекте, от седой древности. Приводя примеры из Тацита, вспоминая Филиппа II, который «широко пользовался для отравления ядом», Иоанна Кастильского, который «был отравлен при помощи отравленной обуви», папу Климента II, который «был убит при помощи дыма от отравленной свечи», Вышинский со знанием дела замечает: вовсе не обязательно пользоваться тем, что «специально называется ядом. Ведь целый ряд лекарственных средств по самой своей природе и характеру годится для этого, и этим часто пользуются преступники».

Разумеется, к доказательствам вины подсудимых это не имело никакого отношения. С таким же успехом можно было обвинить в смерти Горького, скажем, прохожего, случайно оказавшегося около его дома, или воробья, который сел на соседнюю крышу...

Но ведь ни прокурору, ни судьям настоящие доказательства были не нужны. Их заменяли риторика и ни на чем не основанные озарения. «Нет, очень часто убийцы, — утверждал Вышинский, — используют врачей и медицинскую систему якобы для лечения, а на самом деле для того, чтобы добиться своей преступной цели».

...Строго говоря, уже в двадцатые — тридцатые годы были примеры осуждения врачей по политическим мотивам, — считает Я. Л. Рапопорт. В «Воспоминаниях о «деле врачей», опубликованных в «Дружбе народов» (1988, № 4), автор приводит интересный факт.

«В хронологическом порядке первым такого рода делом было, — пишет Рапопорт, — вероятно, дело хирурга Холина, внезапно изчезнувшего в конце двадцатых годов. Мне рассказывали, что он был арестован в связи с операцией М. В. Фрунзе, в которой он принимал участие. Ходили слухи, что эта операция по поводу язвы двенадцатиперстной кишки была сделана по настоянию Сталина».

31 октября 1925 года, через двое суток после операции, проведенной крупнейшими хирургами во главе с профессором

И. И. Грековым, М. В. Фрунзе скончался, по-видимому, отмечает Рапопорт, от перитонита.

Таким образом, исчезнувший после этого Холин был едва ли не первым, кто стал жертвой обвинения в использовании профессии медика в политических целях...

Начало было положено, репетиция, судя по всему, удалась. Спустя тринадцать лет состоялась громкая премьера.

Учитель и ученик

7 марта, в конце утреннего заседания, очередь, наконец, дошла и до медиков. Впрочем, допрос Левина состоится в день праздничный — 8 марта (суд работал так увлеченно, что и о праздниках забыл), а Плетнева и Казакова и того позже — 9-го. Но пока Вышинский приготовил сюрприз. Он зачитал заявление некоего доктора М. Ю. Белостоцкого, который, подобно «народной героине» начала 50-х годов Л. Ф. Тимашук, вдруг «прозрел». Так осуществлялась «связь времен»: 1938 и 1953 годов.

Белостоцкий, врач Санупра Кремля, был командирован во время последнего заболевания А. М. Горького к нему на дачу «для производства внутривенных вливаний».

От его бдительного ока не ускользнуло даже то, что лекарство, которое, по его мнению, особенно любили назначать Плетнев и Левин, являлось немецким. Немецкий — значит фашистский...

В тот же день по предложению Вышинского была назначена медицинская экспертная комиссия. Горько, но в этой комиссии оказался и Владимир Никитич Виноградов — замечательный врач, ученик Дмитрия Дмитриевича Плетнева. Они дружили домами. А сейчас ученик подписывал бумаги против своего учителя...

Впрочем, самый большой друг и учитель в то время у всех был один. Виноградов помнил об этом и постоянно напоминал его имя своим студентам. В конце лекций Виноградова всегда раздавался гром аплодисментов. Но не за качество лекций (хотя оно было высоким). Он умел так повернуть выступление, что аудитории становилось очевидно: своими успехами, скажем, гастроэнтерология обязана гению Иосифа Виссарионовича Сталина. И все: овация!..

Через два года после процесса Виноградов стал заслуженным деятелем науки РСФСР, в 1944 году был избран в АМН СССР.

Через некоторое время Виноградов стал личным врачом Сталина. Но это не спасло его в 1952 году от ареста по уже упоминавшемуся «делу врачей».

...Меньше всего хотелось бы сегодня осуждать и поучать тех, кто жил в то трудное время. Нам, понятно, говорить легко. Но к волнующей всех нас теме будущего этот разговор об учителе и ученике имеет прямое отношение. Вспомним, как Ю. Трифонов обращался в неизвестное ему завтра из 1980 года. Тогда он написал статью по случаю годовщины Куликовской битвы — «Триэна через шесть веков».

Он задавал вопрос: чему нас учит история? И отвечал: прежде всего тому, что победить рабство сумело только то поколение, которое не знало страха. Оно народилось после 1328 года, когда хитроумный Калита возвратился из Орды, выпросив послабления для Руси. И после этого потребовалось еще несколько десятков лет, чтобы укоренилось в народной душе горделивое сознание победы и будущего величия Москвы...

Вопросы экспертизе

Вопросы были поставлены и оглашены Вышинским заранее. Они касались назначения лекарств, режима дня пациентов и т. д. А чтобы эксперты не сомневались, каким образом и что́ надо отвечать, вопрос под номером семь был сформулирован так: «Возможно ли допустить, чтобы врачи достаточной квалификации могли применить такой неправильный метод лечения без элого умысла?»

Очень характерно! Если уже ясно, что был «неправильный метод», и почти ясно, что налицо «злой умысел», то зачем, спрашивается, вся эта кутерьма с экспертизой?

Характерны и те ответы, которые дали эксперты на три вопроса, поставленные государственным обвинителем: «Можно ли считать установленным, что метод лечения А. М. Горького (В. В. Куйбышева, В. Р. Менжинского) был заведомо вредительским, направленным к ускорению его смерти?»

Все три ответа прозвучали одинаково: «Да, безусловно можно считать установленным».

Правда, странно, что эти слова произнесены медицинскими экспертами. Всегда считалось, что вопросы установления юридического факта — прерогатива суда, и только суда.

Но кто обращал на подобную мелочь внимание? Тем более, что и не такое приходилось слышать на суде.

Доктор Левин

На утреннем заседании 8 марта Вышинский приступил к допросу Л. Г. Левина.

Суду Левин сообщил о себе следующее:

«Родился в 1870 году, в бедной мещанской семье. С 14 лет должен был зарабатывать уроками, будучи гимназистом, деньги, чтобы продолжать свое воспитание и помогать семье. Окончил естественный факультет в Одессе, после этого медицинский факультет в Москве, с 1896 года работаю врачом. Таким образом, я работаю врачом 42 года. В течение этих лет я до революции все время работал в больницах, работал в московской рабочей больнице, одновременно на фабриках и заводах в качестве врача. С самого начала революции я немедленно включился в работу Наркомздрава...»

И вот теперь, на 68-м году жизни Л. Г. Левин обвинялся в том, что участвовал, в частности, в умерщвлении А. М. Горького.

— Какая же это подлая клевета! — восклицает Е. Л. Левина, невестка доктора Левина. Она была замужем за его старшим сыном, жили они вместе с семьей Льва Григорьевича в одной большой квартире. Ева Лазаревна хорошо помнит те дни. Отношения Левина и Горького вовсе не были «официальными», насколько бывают официальными отношения врача и пациента. Левин любил Горького. И Горький любил и ценил Льва Григорьевича.

Левин неоднократно приезжал к Горькому в Италию, наблюдал за его здоровьем, жил у него и на подмосковной даче.

...За ним пришли часа в три ночи. Все спали. Левин хотел позвонить Ежову, которого знал лично, но ему не разрешили: «Там разберетесь».

Потом действительно разобрались: «Ежов, оказалось, сам чуть было не «пострадал». На суде прозвучало, что и его «заговорщики из право-троцкистского блока» пытались отравить. И ведь что придумали! Проницательные эксперты показали: «На основании предъявленных материалов химических анализов крови, гардин, обивки мебели и воздуха рабочего кабинета товарища Н. И. Ежова, а равно и анализов его мочи и характера возникших у него болезненных проявлений, следует считать абсолютно доказанным, что было организовано и выполнено отравление товарища Н. И. Ежова ртутью через дыхательные пути...» (В постановлении Пленума Верховного

Суда СССР от 4 февраля 1988 г. отмечено, что «террористический акт в отношении Ежова» был сфальсифицирован им самим и бывшим начальником отдела НКВД Николаевым. Из показаний Николаева следует, что работник НКВД Савολайнен в результате систематического избиения «сознался» в подготовке отравления Ежова ртутью.)

— После ареста Льва Григорьевича к нам домой несколько раз приезжали из того зловещего места, — рассказывает Е. Л. Левина. — Нет-нет, нас не допрашивали, только требовали, чтобы мы передали в тюрьму письмо: все, мол, в порядке. Хотя бы несколько строк, но непременно собственноручно. И чтобы обязательно пятилетний внук Льва Григорьевича, то есть мой сын, «расписался» — хоть крестик, хоть палочку поставил...

«Господи, почему они признавались?!» — восклицает герой читаемого сегодня всеми романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

Почему? Да потому и признавались, что не только жестокими пытками вырывали нужные «показания», но и угрозами расправиться с семьей. Пожертвовать собственной жизнью, претерпеть муки — одно. Но своей волей отдать на заклание близких, включая детей малых, — другое. Тут и сильный не выдерживал...

С допрашиваемыми нередко беседовал сам Ежов. По показаниям бывшего заместителя наркома внутренних дел СССР Фриновского, Ежов убеждал арестованного, что суд сохранит ему жизнь, если он признает свою вину...

Не знал доктор Левин, что его младший сын Владимир уже арестован (старший сын, муж Е. Л. Левиной был, как и отец, врачом, стал, как и отец, «врагом народа». Но его взяли позже — после войны, в конце 40-х. Отправили в Норильск. В 1954, после реабилитации, он возвратился в Москву).

Владимир работал в Наркомате иностранных дел. Когда забрали отца, он отдыхал вместе с женой в Мисхоре. Ему послали телеграмму. Тут же приехал, написал письмо Молотову. Утром опустил в ящик, а вечером его забрали. Потом стало известно, что Молотов наложил на письмо резолюцию для Ежова: мол, почему этот Левин еще в Наркоминделе, а не в НКВД? Судьба заявителя была решена... Расстреляли его вскоре после казни отца — в сентябре 1938 года.

А жену Левина-старшего сослали в Джамбул. В город, названный именем того человека, который, мы помним, требовал расправы над «врачами-убийцами»:

Скорей эту черную
сволочь казнить
И чумные трупы,
как падаль, зарыть!

Одно из зловещих совпадений, которые, увы, нередко случались в те страшные годы.

Оставшихся членов семьи выселили из квартиры, провели основательную конфискацию имущества. Брали все, что хотели. Картины, которые собирал еще отец Евы Лазаревны. Да и сам Лев Григорьевич разбирался в искусстве, при возможности пополнял коллекцию. В ней были работы Левитана, Коровина, французских, голландских мастеров... Чудом до сегодняшнего дня у Е. Л. Левиной сохранилось лишь несколько работ.

— Вот этот мальчик — мой муж. Портрет писал Леонид Пастернак, отец знаменитого поэта, — рассказывает Е. Л. Левина. — Когда рисовал, часто повторял: «Только бы пробор получился, очень уж он хорош своей прямизной...» Лев Григорьевич дружил с этой семьей... Он хорошо знал Шаляпина, Качалова... Лечил В. И. Ленина, К. Цеткин, Р. Роллана... Узнав об аресте моего свекра, Роллан написал письмо Сталину, в котором ручался за доктора Левина... Но письмо, конечно, осталось без ответа... А вот эту вазу подарил на нашу свадьбу Собинов. Кстати, когда в газетах опубликовали сообщение о реабилитации Льва Григорьевича, позвонила дочь Собинова: «Хочу вас поздравить — дядю Леву реабилитировали. Мы так счастливы...»

Истоки ненависти

О том, почему Левин попал на скамью подсудимых, Ева Лазаревна рассказывает так:

— На Льва Григорьевича Сталин имел «зуб». Наверное, первая их встреча произошла, когда заболел Яков, сын Сталина от первого брака. Вторая жена — Надежда Сергеевна Аллилуева — вызвала Л. Г. Левина. Оказалось, что у Яши тяжелое воспаление легких. Лев Григорьевич без ведома Сталина остался на ночь — дежурить. Утром в дверях они столкнулись.

— Это еще кто?! — рявкнул Сталин.

— Доктор Левин, он дежурил у Яши... — начала было объяснять Аллилуева.

Сталин зло прервал:

— Зачем нужен доктор! Что за глупости!!!

Сам он врачей не признавал, если простужался, укутывался в бурку, потел...

Второй раз свекор, очевидно, разгневал Сталина, когда застрелилась Аллилуева. Нам позвонил Поскребышев и предложил Льву Григорьевичу срочно приехать. Надо было подписать заключение о смерти, где бы говорилось, что Аллилуева умерла от аппендицита. Но Левин отказался подписывать подобную бумагу. Кстати, отказался подписывать ее и Плетнев...

В данном случае, возможно, Е. Л. Левина не совсем точна. Есть версия, что Сталин вовсе не хотел фальсифицировать заключение о смерти жены. В недавно опубликованных воспоминаниях («Юность», 1988, № 5) Л. Э. Разгон рассказывает: «Когда Сталина и Авеля (Енукидзе — **прим. ред.**) вызвали с гульбища, где они предавались изнеженности нравов, Енукидзе предложил составить акт о скоропостижной смерти от сердечного припадка. На что мудрый Сталин ответил: «Нет, будут говорить, что я ее убил. Вызвать судебно-медицинских экспертов и составить акт о том, что есть на самом деле — о самоубийстве».

И все-таки звонок Поскребышева Левину и Плетневу вероятнее всего был. Это подтверждает и Я. Л. Рапопорт в упоминавшейся уже публикации в «Дружбе народов». По его сведениям, медицинский бюллетень о смерти, последовавшей от аппендицита, было предложено подписать троим: А. Ю. Канель, главному врачу Кремлевской больницы, ее заместителю Л. Г. Левину и профессору Д. Д. Плетневу. Все трое отказались. Строптивость Левину и Плетневу обошлась дорого, что же касается Канель, то она избежала их участи, очевидно, только потому, что «успела» умереть в 1936 году...

Какое из свидетельств ближе к истине — кто сейчас это знает? Но может быть и так, что правы все. Что Сталин, возможно, действительно не хотел писать в заключении о смерти неправду — просто его «лакеи» решили забежать вперед. Зная методы хозяина, проявили, так сказать, инициативу. Идею эту Сталин не одобрил, но ослушавшихся не простил.

— И, вероятно, в третий раз Лев Григорьевич рассердил Сталина, — продолжает Е. Л. Левина, — после того, как застрелился Орджоникидзе... Или его убили? Есть ведь версия, что те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе, подписали себе смертный приговор. Они составили акт о том, что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой гари в

стволе не было... Их через неделю расстреляли. Впрочем, и послушного наркомздрава Каминского, подписавшего тот бюллетень о смерти, который требовался, — о смерти Серго от «паралича сердца», тоже расстреляли...

Хорошо помню, что Лев Григорьевич настаивал тогда на вскрытии, а Сталин не соглашался: «Зачем вскрытие? Не будем огорчать вдову — она против...»

— Ну вот и все, — вздохнула Ева Лазаревна. — А потом был этот страшный процесс, на который нас не пустили...

Е. Л. Левина перебирает старые семейные фотографии.

— К сожалению, не дожил до дня реабилитации мой муж, всего два месяца не дожил мой сын... У него были какие-то бумаги, записи о деде, но он их в отчаянии сжег — к кому бы он с ними не приходил, его даже не хотели слушать... Спасибо, хоть я дожила до этих дней. И сохранила память. Лев Григорьевич был добрым, умным, простым. Прекрасный клиницист, эрудированный человек, он свободно разговаривал на трех языках. И очень любил свою семью. Вот и все.

...В печати уже отмечалось, что в последнем слове Н. И. Бухарин, заявив в общей форме о признании своей вины, фактически так изложил обстоятельства дела, что они свидетельствовали о его невиновности (как, впрочем, и о невиновности других подсудимых). Л. Г. Левин тоже: общей фразой признав вначале свою вину, он затем фактически опровергал обвинение.

Из последнего слова Л. Г. Левина на процессе:

«Граждане судьи! В своем последнем слове я хочу еще раз подтвердить свою вину...

Но с особой остротой я пережил все только в самые последние дни, в тюрьме еще, за короткое время до начала процесса, когда я впервые имел возможность ознакомиться с обвинительным заключением, когда я впервые из этого обвинительного заключения узнал то, чего я никогда не знал, не предполагал, не мог предположить, не мог себе представить.

Сидя здесь на скамье подсудимых, слушая все те страшные рассказы, которые здесь произносились живыми людьми, слушая рассказы о разных генералах, сектах, о Троцком, о японцах, о немцах, англичанах, поляках, которым пересылаются секретные сведения, которым продаются наши богатейшие области и республики в обмен на какие-то будущие услуги, слушая страшные рассказы о стекле в масле, об уничтожении скота, об уничтожении необходимейших продуктов питания

для населения, о подготовке поражения в предстоящей и провоцируемой ими же войне, слушая весь этот ужас, и представляя себе все это, как какую-то сатанинскую пляску...

И мне лично самостоятельно... не могла бы прийти дикая, совершенно нелепая, кошмарная мысль о причинении какого-нибудь самого малейшего вреда кому-нибудь из руководителей партии и правительства, большинство которых я ведь имел счастье лично знать. Мне никогда не могла бы прийти в голову такая же дикая, такая же кошмарная мысль о причинении какого-нибудь вреда, а не то что смерти Алексею Максимовичу Горькому, которого я горячо любил, это все знают, с которым был близко связан, которого я высоко ценил как одного из величайших писателей нашей страны и всего мира.

УЛЬРИХ. Нельзя ли не кощунствовать в последнем слове.

ЛЕВИН. Простите... В эту минуту можно говорить только правду. И я скажу неправду, если скажу, что я легко и спокойно сейчас, в этот момент, смотрю в глаза смерти. Легко можно умереть политическому бойцу, который умирает за свои идеи, который с гордо поднятой головой идет на плаху, на гильотину. Но умереть позорной смертью, конечно, тяжело. И я не скрою от вас, граждане судьи, что мысль о смерти, конечно, для меня тяжела. Мне, как я уже говорил, 68-й год. Жить мне остается так или иначе недолго, и если вы найдете возможным согласиться с... теми словами, которые я здесь сказал, может быть, вы дадите возможность мне остаток своей жизни посвятить еще своей Родине... и окончить эту жизнь в своей хорошей, трудовой, советской семье».

Суд не счел возможным согласиться...

Почерк прокурора

Для того, чтобы доказать вину, нужны доказательства. А если их нет? Тогда доказательства надо заменить напором фраз, дешевой риторикой, грубой бранью. Именно таким был почерк Вышинского.

Из обвинительной речи А. Я. Вышинского:

«Когда погиб от руки Левина Алексей Максимович Горький, Левин, доктор медицинских наук, опубликовал в газетах некролог — «Последние дни Алексея Максимовича Горького». В этом некрологе он писал, вздыхал, стонал о гибели великого человека... «Великие люди, — писал он фарисейски, лицемерно, двурушнически, — живут и умирают, как великие люди».

«Живут и умирают, как великие люди!». Левин не добавил — «от руки автора этого некролога, одного из подлых убийц!»

Нет, не просто так вспомнил государственный обвинитель некролог. Даже не для того, чтобы лишний раз обругать подсудимого. Некролог, оказывается, — ценнейший документ в рассматриваемом деле! Следите за ходом мысли.

Левин-то писал: «За десять лет моего врачебного наблюдения за Алексеем Максимовичем это было шестое заболевание гриппом. Каждый раз грипп неизменно осложнялся бронхитом и катаральным воспалением легких».

Какой вывод из этого следует? По мнению Вышинского, только такой: «Значит, Левин уже знал хорошо, в каком направлении можно искать осложнений в этой борьбе Алексея Максимовича Горького с болезнью. Убийца выбалтывает тайну убийства».

Даже в страшном, ирреальном сне не придет в голову подобный логический ход.

Изощренное издевательство Вышинский совмещал с примитивом до того незатейливым, что иные места судебной стенограммы могли бы показаться сегодня детской игрой в обвиняемого и обвинителя, если бы за всем этим не вставала жуткая реальность.

ВЫШИНСКИЙ. (Плетневу). Как вы характеризуете свои настроения в то время, когда были приглашены Ягодой для сговора об убийстве Куйбышева и Горького? Были у вас тогда антисоветские настроения?

ПЛЕТНЕВ. Были.

ВЫШИНСКИЙ. А вы маскировали эти настроения?

ПЛЕТНЕВ. Да.

ВЫШИНСКИЙ. Каким образом?

ПЛЕТНЕВ. Неоднократно говорил о полной поддержке всех тех мероприятий, которые проводились Советской властью.

ВЫШИНСКИЙ. А в действительности?

ПЛЕТНЕВ. Я был несоветским человеком.

ВЫШИНСКИЙ. Антисоветским?

ПЛЕТНЕВ. Да.

ВЫШИНСКИЙ. Маскировались?

ПЛЕТНЕВ. Да.

ВЫШИНСКИЙ. Двурушничали?

ПЛЕТНЕВ. Да.

ВЫШИНСКИЙ. Лгали!
ПЛЕТНЕВ. Да.
ВЫШИНСКИЙ. Обманывали!
ПЛЕТНЕВ. Да.

Читая подобное, думаешь: что же пришлось пережить профессору Плетневу, прежде чем заставили его играть в эту примитивную игру в поддавки! Прежде чем заставили отречься от самого себя...

Надо сказать, у Вышинского была особая ненависть к Плетневу, свой счет к нему. Ведь на суде встретились старые знакомые.

Доктор Плетнев

В изданном в 1933 году томе Большой медицинской энциклопедии он еще есть. И назван выдающимся профессором-терапевтом. Сказано, что родился в 1872 году, а в 1896 году окончил Московский университет, работал в клинике, защитил диссертацию об аритмиях сердца. Два года провел за границей (в Берлине). С 1917 по 1929 год — директор факультетской, затем госпитальной терапевтической клиники Московского университета, ректором которого был Вышинский. Он-то, судя по всему, и «выжил» Плетнева из университета.

Из воспоминаний профессора В. Г. Попова, Героя Социалистического Труда: Плетнев ушел после того, как Вышинский затеял очередную политическую «чистку». Он любил такие акции — во время них проверялись не профессиональные качества сотрудников, а «политическая благонадежность». Разумеется, не тех, кого наметили жертвой (судьба таких была уже предрешена), а всех остальных. Становилось ясно, кто чем дышит: кто кипит «благородной ненавистью» к «врагам», кто отмалчивается, а кто и не согласен. К последним — немногим смельчакам — принадлежал и Плетнев. Он просто отказался участвовать в этой «аттестации».

Еще работая в университете, он руководил терапевтической клиникой Московского областного клинического института (ныне МОНИКИ), которая в 1932—1937 гг. носила имя Д. Д. Плетнева. В 1932 году возглавил Институт функциональной диагностики и экспериментальной медицины, куда взял меня на работу. Так что считаю его своим учителем...

Незадолго до ареста он пригласил меня, Сперанского,

Черногорова к себе домой. Говорили о делах, но в самом конце, когда прощались, Плетнев вдруг произнес:

— Даю вам честное слово, что я никогда не был членом каких-либо антисоветских организаций...

И вот с тех пор думаю: наверное, только ради этой одной фразы и устроил тогда нашу встречу. Он видел, что над ним вновь сгущаются тучи, чувствовал, что теперь дошла очередь и до него...

Именно «вновь», поскольку незадолго до ареста ему уже пришлось испытать на себе все прелести общения с судебно-следственными органами; с удовольствием лощилала его и газетная братия. Собственно с публикации летом 1937 года письма в «Правде» некоей истеричной особы все и началось. Пациентка Плетнева утверждала, что профессор во время осмотра... укусил ее за грудь. Конечно, много разного приходилось нам читать в газетах в то время, всему мы верили, но, признаться, такое встречать еще не приходилось... Однако комментарий в «Правде» требовал от его коллег принять самые суровые меры к насильнику и садисту, что и было сделано незамедлительно.

Началось публичное осуждение Д. Д. Плетнева. Были те, кто получил от кампании травли особое удовольствие. В частности, очень старался профессор Д. А. Бурмин, в свое время он учился вместе с Плетневым. Рвение Бурмина было замечено: вскоре он стал заслуженным деятелем науки, а на процессе 38-го ему было доверено войти в экспертную комиссию.

По меркам того времени первая кампания против Плетнева получила довольно скромное завершение: суд определил профессору всего-то два года лишения свободы, да и то условно. Но перед Вышинским и другими организаторами разнузданного представления цель, очевидно, стояла другая. Они смотрели в будущее. И в этом смысле достигнутый результат нельзя считать таким уж малым: грубую нелепицу народ «проглотил» с удовольствием, на волне травли поднялись определенного сорта люди, хорошо зарекомендовали себя... Да и имя Д. Д. Плетнева, выдающегося деятеля науки, популярного не только в медицинских кругах, оказалось скомпрометированным. Положительно, то была выборочная пристрелка перед массированным наступлением 38-го...

Конечно, на процессе «право-троцкистов» Вышинский вспомнил о деле пациентки, над которой Плетнев якобы учинил насилие (правда, на прокурора напала не свойственная

ему стыдливость — он почему-то обошел пикантные подробности). Характерно, что на вопрос Вышинского, порочит ли его безупречную 40-летнюю врачебную деятельность та история, Плетнев подчеркнул: «Приговор, да...» Не преступление, которого, очевидно, не было, а именно приговор...

Желая подчеркнуть неблагонадежность Плетнева, Вышинский вспомнил на процессе и о его знакомстве с Д. В. Никитиным — домашним врачом Л. Н. Толстого. В свое время Никитин и Плетнев работали вместе. Как рассказал нам доктор медицинских наук Б. С. Свадковский, давно изучающий жизнь и творчество великого писателя, написавший о нем книгу, они могли встречаться и в Крыму, где в 1902 году жили Л. Н. Толстой и А. М. Горький. Кстати, Никитин наряду с медицинской деятельностью выступал в печати, критикуя бесправие и жестокую эксплуатацию рабочих. Общественная деятельность, а также работа домашним врачом навлекли на Никитина репрессии царских властей. Он находился под надзором полиции, в 1904 году Тульское губернское жандармское управление затребовало от губернатора сведения о благонадежности врача. Ответ, по-видимому, был отрицательный. Никитин не был утвержден врачом в земскую больницу, что было равносильно уходу от Толстого.

Когда Горький был на о. Капри, он, очевидно, с симпатией вспоминая врача Никитина, пригласил его к себе. Через некоторое время врач был неожиданно вызван на Родину и... в начале 30-х сослан в Архангельскую область. Вот об этом «никитинском деле» и вспомнил Вышинский. Возвратился Никитин в Москву уже пожилым человеком, умер в 1960 году...

— Плетнев был невысокого роста, — вспоминает В. Г. Попов. — Пожалуй, франт — костюмы шил на заказ, любил белые стоячие воротнички с отложенными углами. Женился на купчихе, женился поздно, лет в 37, своих детей так и не завел.

Едкий на словцо, он конфликтовал с профессором Кончаловским и однажды, весьма кстати, заметил: «Если хотят показать больного профессору — показывают Кончаловскому, а если хотят показать врачу — то идут ко мне, Плетневу».

Между прочим, в 1921 году по просьбе В. И. Ленина к серьезно заболевшему П. А. Кропоткину, ветерану русской революции и выдающемуся ученому, выехали для консилиума лучшие московские врачи, среди них — и Кончаловский, и Плетнев, и Левин...

Еще об одном факте не могу промолчать. Да, Кончалов-

ский и Плетнев конфликтовали, возможно, не любили друг друга. Но всегда оставались интеллигентными, порядочными людьми, для них слово «честь» не было, как говорит сатирик сегодняшнего дня, словом «греческим», непонятным по смыслу... В роковом 1938 году тот же Кончаловский не побоялся положить к себе в клинику заболевшую родственницу Плетнева. О том, как он рисковал, говорить, думаю, не нужно...

Лекции читал блестяще. Это говорил нам другой его ученик, недавно ушедший из жизни профессор И. С. Шницер.

Требовательность Плетнева он подчеркивал особо, доклады о больных надо было делать, не заглядывая в истории болезни, клинические анализы следовало помнить наизусть... Плетнев держался просто. Шницер вспоминал, что в праздничные дни они, бывало, совершали всей клиникой прогулки за город. Плетнев принимал в них живое участие...

Следует отметить, что Плетнев был реабилитирован раньше, чем Левин и Казаков. Во многом благодаря усилиям профессора В. Г. Попова, члена-корреспондента АМН СССР Н. Р. Палеева и академика АМН СССР А. Г. Чучалина. Дело его было пересмотрено Верховным Судом СССР 5 апреля 1985 года и отменено за отсутствием состава преступления.

Потому и возвращение к нам Д. Д. Плетнева началось раньше.

Рассказывает Н. Р. Палеев, главный редактор издательства «Медицина»:

— Сейчас мы готовим сборник работ Д. Д. Плетнева, книга выйдет в будущем году. Конечно, многие его конкретные трактовки и рекомендации по частным вопросам кардиологии устарели. Но методологические подходы Плетнева не потеряли своего значения и в наши дни.

Работы ученого, посвященные прижизненной диагностике инфаркта и аневризм сердца, патогенезу грудной жабы, лечению сердечной недостаточности (среди советских клиницистов он первым стал пропагандировать метод непрерывного назначения поддерживающих доз дигиталиса в течение многих месяцев и лет), вошли в золотой фонд нашей науки. Они дают право называть Д. Д. Плетнева классиком советской кардиологии.

...Он и в тюрьме работал. Обратился к руководству НКВД с просьбой дать книги. Ему доставили 20 названных им книг

на четырех языках. Находясь в заключении, он написал монографию в 10—12 листов, судьба ее, к сожалению, неизвестна...

Плетнев не был расстрелян сразу — вместе с Левиным и Казаковым. Его приговорили к тюремному заключению на 25 лет «как не принимавшего непосредственно активного участия в умерщвлении В. В. Куйбышева и А. М. Горького, хотя и содействовавшего этому преступлению».

Он был расстрелян 11 сентября 1941 года в орловской тюрьме, уже без всякого суда. Фашисты рвались к Москве. Был составлен особый список НКВД — заключенные, подлежащие уничтожению...

А до этого дня Плетнев писал письма. Писал о том, что оговорил себя, потому что применяли к нему физическое и психическое насилие... К кому он только ни обращался — доведенный до отчаяния, даже к своему злейшему врагу Вышинскому. Он взывал к справедливости: «Покажите, пожалуйста, что добиться истины у нас в Союзе так же возможно, как и в других культурных странах»...

Реабилитация Левина, Плетнева, Казакова не являлась пустой формальностью. Была проведена тщательная медицинская экспертиза.

Правильно ли лечили М. Горького?

Вопрос этот потребовал сегодня глубокого и тщательного изучения.

Медицинскую экспертизу проводила комиссия врачей под председательством начальника Центральной судебно-медицинской лаборатории Министерства обороны СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора генерал-майора медицинской службы В. В. Томилина. Он сказал категорично:

— Горького, Куйбышева, Менжинского врачи лечили правильно. В действиях Левина, Плетнева и Казакова мы (имеются в виду прежде всего профессор В. Г. Попов, академик АМН СССР А. Г. Чучалин) не обнаружили каких-либо «неверных назначений». Кстати, ведь не только эти трое медиков делали назначения больным. В лечении, скажем, М. Горького, принимали участие также Г. Ф. Ланг, М. П. Кончаловский, А. Д. Сперанский... Но их даже на процесс не пригласили. Сперанского, правда, уже после суда над «право-троцкистами» заставили публично каяться...

Обвинения были самые нелепые. Лекарства, мол, давали не те и не в том сочетании. Проверили: лекарства были самые лучшие для того времени (например, немецкий строфантин), дозы врачи выбирали совершенно верно. И даже костры, на которые Горький очень любил смотреть (часами просиживал он около огня), поставили медикам в вину: дымом якобы заставляли его специально дышать... Чушь какая-то!

По заключению о смерти Менжинского и Куйбышева у нынешних экспертов особых вопросов не возникло. Причиной смерти Куйбышева, страдавшего ишемической болезнью сердца, явилась закупорка тромбом правой коронарной артерии сердца. Как справедливо отметил в очерке о Плетневе В. Тополянский («Литературная газета» от 15 июня 1988 г.), «только оголтелое невежество могло связать внезапную смерть человека от инфаркта миокарда с каким-то длительно существующим злым умыслом».

В лечении Менжинского, человека тучного (его вес был более 100 кг), имевшего целый «букет» болезней (тут и бронхиальная астма, и тяжелая эндокринная недостаточность), эксперты также не обнаружили злого умысла.

Сложнее обстояло дело с Горьким. Всегда считали, что у него был туберкулез. Однако на его наличие проводивший вскрытие профессор И. В. Давыдовский в своем заключении не указал.

Подробно и убедительно этот случай разбирает академик Е. И. Чазов в книге «Очерки диагностики» (М., «Медицина», 1988). Есть смысл попытаться восстановить истину с его помощью.

Прежде всего Е. И. Чазов отмечает, что и «при современных методах лечения, не говоря уже о возможностях 1936 г., та патология, которая описана даже в коротком заключении, — нижнедолевая левосторонняя геморрагическая пневмония на фоне хронического процесса в легких — бронхоэктаза, склероз, эмфизема, полное зарастание плевральных полостей — как правило, приводит к летальному исходу».

Далее автор обращает внимание, что «клиницисты достаточно точно диагностировали нижнедолевую левосторонюю пневмонию, с которой начинался клинический диагноз. Установили наличие бронхоэктазов и эмфиземы легких».

Да, те, кто стоял в 20—30-е годы у постели А. М. Горького, считали, что в основе болезни — туберкулезный процесс. Но ведь у них на то были веские основания. «Характерный анамнез — мать, страдавшая открытой формой туберкулеза,

появившееся в молодые годы кровохарканье, изменения в легких — все это давало возможность не только русским, но и ведущим европейским специалистам расценивать заболевание как туберкулез. Успехи климатолечения в Италии утверждали врачей в тот период в правильности диагностики.

Действительно, в пожилом возрасте большинство объективных и субъективных данных можно было трактовать не только в связи с туберкулезом, но и с хроническим неспецифическим процессом в легких. Кстати, этот вопрос неоднократно обсуждался, тем более, что в последние годы не было бацилловыделения. И все-таки аускультативная картина с локализацией изменений в верхних отделах грудной клетки не позволяла исключить туберкулезный процесс... И самое главное. И. В. Давыдовский, будучи прекрасным патологоанатомом, в описании картины поражения легких указал наличие каверн в верхушках легких, но никак не отразил этого в своем заключении. Кстати, через 2 года, трудно сказать, находясь ли под впечатлением того, что он видел, или исходя из своих всегда оригинальных взглядов, И. В. Давыдовский выдвинул концепцию о возможном существовании «неспецифической легочной чахотки». С этих позиций болезнь А. М. Горького могла укладываться в подобные представления, но жизнь, развитие медицинской науки, новые методы диагностики разрушили эту концепцию. Вновь как бы сопереживая с корифеями терапии 30-х годов диагностику заболевания А. М. Горького, мы должны отдать должное их знаниям, эрудиции, их врачебному мышлению».

Сегодня мы отдаем им должное, трудно и долго ищем истину. Тогда, в 38-м, «истину» находили легко и быстро: на утреннем заседании 9 марта сумели разобраться сразу с двумя подсудимыми: и с Плетневым, и с Казаковым.

Доктор Казаков

Игнатий Николаевич Казаков был человеком в высшей степени оригинальным.

Американский профессор истории медицины в университете Джона Гопкинса писал о нем так: «В 1935 г. я провел целый день с профессором И. Казаковым в его клинике. Это был человек высокого роста, с пышной шевелюрой, которого скорее можно было принять за деятеля искусства, чем за ученого, по виду он больше всего напоминал оперного певца.

От разговора с ним создавалось впечатление, что он либо гений, либо шарлатан. Он уверял, будто открыл новый метод лечения, который называл лизатотерапией...»

Казаков не был ни гением, ни шарлатаном. Лизаты, в которые он верил, это продукты кислотного или ферментного гидролиза органов и тканей. Он использовал их как органопрепараты при заболеваниях соответствующих органов. Смысл применения лизатов, по мнению ученого, в том, чтобы вызвать усиление деятельности той или другой железы или органа и обеспечить тем самым как бы его реставрацию...

Возлагавшиеся на них надежды лизаты не оправдали, но, как подчеркнул Томилин, они отразили уровень развития своего времени. И уж точно: вреда от них не было никакого. Кстати, сейчас вновь наблюдается интерес к лизатам со стороны некоторых ученых...

Вообще, страстное желание в ту эпоху найти универсальный метод лечения, «средство от всех болезней», объяснимо. Как справедливо замечает Л. Разгон, подобные идеи полностью совпадали с желанием Сталина, который предпочитал идти напролом, не считаясь ни с объективными условиями, ни с законами природы, и не мог примириться с существованием чего-то, над чем он не властен. Не случайно был проявлен такой интерес со стороны властей к Всесоюзному институту экспериментальной медицины, создатели которого — врачи Л. Н. Федоров, А. Д. Сперанский и другие, а также журналисты, писатели (даже Горький оказался в плену новых идей) — обещали, что советская медицина в скором времени добьется необыкновенных результатов в управлении человеческим организмом...

Доктор Казаков тоже пользовался до некоторых пор официальной поддержкой. Он возглавлял в тридцатые годы Институт обмена веществ и эндокринных расстройств. Но у него были сильные враги, и прежде всего профессор-эндокринолог Н. А. Шерешевский. На Казакова начались гонения, на научных съездах его громили, порой не выбирая выражений. Об этом Казаков даже рискнул вспомнить на суде...

ВЫШИНСКИЙ. Как же вы осмеливаетесь говорить, что у вас не было возможности свободно работать!

КАЗАКОВ. Но печатать мои труды...

ВЫШИНСКИЙ. Правительство приказать печатать ваши труды не может, это вы должны понимать. А я вас спрашиваю, институт был дан!

КАЗАКОВ. Был.

ВЫШИНСКИЙ. Лучший в Союзе!

КАЗАКОВ. Лучший.

ВЫШИНСКИЙ. Работники были даны!

КАЗАКОВ. Да.

ВЫШИНСКИЙ. Средства были даны!

КАЗАКОВ. Да.

ВЫШИНСКИЙ. Какие средства!

КАЗАКОВ. Большие.

ВЫШИНСКИЙ. Большие, гигантские. Как же вы осмеливаетесь говорить то, что вы сейчас сказали! Вы и здесь думаете клеветать! Продолжайте ваши объяснения.

КАЗАКОВ. Были моменты тяжелого личного переживания. Действительно, я все-таки должен сказать, что на съездах мне даже заключительного слова не давали. Я был программным докладчиком, и здесь многие присутствуют, которые знали об этом. Мне заключительное слово не дается, первый раз в истории медицины! Против меня выступают мои оппоненты, а мне заключительного слова не дают.

ВЫШИНСКИЙ. Вы в историю медицины вошли достаточно крепко своими чудовищными преступлениями, поэтому говорите о преступлениях.

Добавим к тексту стенограммы, что в экспертную комиссию был включен и Шерешевский, он, очевидно, с радостью давал против своего врага нужные показания. Еще одна зловещая черта процесса 38-го: его организаторы охотно использовали личные антипатии и расхождения взглядов ученых для их политической компрометации и взаимоуничтожения. Послушание не спасло Шерешевского от ареста в 1952 году по «делу врачей»...

В Саратове живет сын И. Н. Казакова — Борис Игнатьевич. С ним удалось побеседовать, он рассказал:

— К тому времени отец уже развелся с моей матерью, мы жили в Саратове, он — в Москве. В конце 1937 года я вдруг получил телеграмму от мачехи. Она сообщала, что с отцом случилась беда... Я срочно взял отпуск в университете, где учился, и выехал в Москву. Оказалось, отца арестовали. На другой день мы с мачехой пошли в тюрьму, но там нам толком ничего не объяснили, только приняли передачу. Так ни с чем и возвратился в Саратов. В спецчасти университета пришлось отчитаться о поездке. Мне ответили, повторяя лицемерную фразу Сталина: «Сын за отца не отвечает, учись...»

А 2 марта услышал по радио о начавшемся процессе, узнал о том, что отец обвиняется в убийстве бывшего председателя ОГПУ Менжинского. Первая реакция была по тем временам просто безрассудной: в узком кругу я заявил, что не верю в такую глупость, в сердцах сказал, что это проделки Ежова. Кто-то на меня донес...

Уже 3 марта меня арестовали. Обвинили в... подготовке террористического акта протнв Ежова. Дали 10 лет, которые я отбыл день в день на Севере. Потом, после отбытня срока, меня держалн на «поселеннн». Вернуться в Саратов для продолжения учебы, о чем мечтал, не мог... Так уходилн годы. Наконец, в 1954 году мне разрешили вернуться домой. Добнлся восстановлення в университете. Затем стал преподавателем хнмнн в педагогическом институте, защитнл кандидатскую диссертацию...

Круг знакомых, друзей у отца был широк. У отца была частная практика — н кто только к нему ни обращался за помощью — артисты, писатели, полнтнческие деятелн... Помню, в дом прнходилн н Н. А. Семашко, и участник трех революций, видный деятель партин П. А. Краснков, и один из руководнтелей Октябрьского вооруженного восстання Н. И. Подвойский, н Х. Г. Раковский. С Раковским, как вы помните, отец вместе сидел на скамье подсудимых...

Христиан Раковскнй — один из пионеров социалистнческого движения в Болгарии. Он сотрудничал с леннноской «Искрой», Плеханов считал его своим любнмым учеником. Жил в нашей стране. Был членом ЦК большевистской партни, Председателем Совнаркома Укранны, полпредом в Лондоне и Париже. В 1934 году назначен председателем Всесоюзного Красного Креста. На процессе 38-го был осужден как «английский н японский шпион», приговорен к 20 годам тюрьмы. В 1941 году расстрелян вместе с Плетневым...

Продолжение последует

Через 50 лет стало возможным сказать правду о тех людях, без вины виноватых, о том временн. На Западе с самого начала ставилась под сомнение справедливость решения суда, разбиравшего «дело» «право-троцкистов», н, в частности, говорилось о невиновности врачей. Но наша пресса давала подобным попыткам «гневный отпор». Публиковались письма с подписями видных ученых, деятелей культуры, искусства.

И герой романа В. Гроссмана, видный физик, сам переживший незадолго до этого травлю, но не потерявший чувство собственного достоинства, не пошедший тогда на компромисс со своей совестью, теперь, став известным и обласканным самой высшей властью, подписывает абсурдное опровержение, осуждающее тех, кто берет под защиту «выродков и извергов рода человеческого Плетнева и Левина...» Что заставило его? Почему он находил в себе силы рисковать свободой и жизнью, но не смог отказаться от пряников и леденцов? Все непросто... Гроссман пишет: послушное чувство закормленной скотины, страх перед новым разорением жизни, страх перед новым страхом... И ведь понимал, что средневековой тьмой дышали обвинения медикам. «Врачи-убийцы! Врачи убили великого писателя, последнего русского классика. Кому нужна эта кровавая клевета? Процессы ведьм, костры инквизиции, казни еретиков, дым, смрад, кипящая смола. Как связать все это с Лениным, со строительством социализма?..»

Сталин, чей мозг, как отмечает Д. Волкогонов, оказался не подготовленным к восприятию столь сложного материала, как труды Гегеля, Канта, Фейербаха, Фихте (одно время его безуспешно пытались ознакомить с классической философией), прекрасно овладел примитивными методами управления толпой. Кнутом и пряником насаждал он свой культ, заставляя боготворить само зло...

И те, кто пытался купить свое благополучие, жизнь холуйским служением произволу, непротивлением злу, не могли знать, что их «заслуги» не гарантируют им собственной безопасности. Истории Виноградова и Шерешевского подтверждают это...

Он ненавидел интеллигенцию, с жуткой методичностью уничтожал самых образованных, умных, благородных, свободно мыслящих. И в этом смысле появление на суде Левина, Плетнева, Казакова нельзя назвать случайностью. Истреблялись целые семьи, вслед за Л. Г. Левиным был расстрелян его сын, отправлены в ссылку жена и другой сын... Вслед за Казаковым арестовали его сына...

Вдумываясь в эту неумолимую логику уничтожения, невольно приходишь к выводу, что Сталину и его аппарату важно было не только убрать свидетелей преступлений, а также потенциально недовольных, какими могли считаться родные и близкие жертв, но и чудовищно понизить интеллектуальный и нравственный уровень всего народа.

Понятно и то, что Сталин, обезличивая толпу, играл на

самых низменных чувствах. Издавна известно, что в роковые дни, в лихолетье темная толпа в России готова была видеть виновников бедствия в своих же друзьях и спасителях. Так, в страшную холерную эпидемию 1830—1831 гг., по свидетельству современника, «невежды распространяли слухи, будто отравляют колодцы, реки и даже яства... преимущественно доктора» («Вестник Европы», 1881, № 9).

Сталин прекрасно учитывал возможность подобных настроений и умел ими манипулировать. Он знал, что, выставляя врагом медика, он особенно легко найдет путь к сердцу одурманенной толпы. Каждый должен был почувствовать смертельную опасность, нависшую над ним: все беззащитны перед врачами, которые могут «залечить» любого. Но, слава богу, есть он, бдительный гений, сумевший «раскрыть» коварный замысел врага, сумеющий и в будущем защитить от «подлых отравителей» свой народ...

И он создал механизм с такой «программой действий», который, будучи включенным, мог затем работать самостоятельно и даже проявлять инициативу. Если на процессе 38-го врача-доносчика Белостоцкого нашел, очевидно, Вышинский, то в 50-е годы Тимашук, как теперь стало известно, написала донос по личному побуждению... Хотя, конечно, эта инициатива совпала с «социальным заказом».

И, поднявшись на новую ступень развития, новое дело — «дело врачей» — значительно выросло количественно, изменилось и качественно: в частности, оно уже яростно разжигало шовинистические, антисемитские настроения. Несомненно, «дело врачей» 50-х обещало превратиться в еще более грандиозный и страшный спектакль, нежели суд над врачами в 38-м.

Но это — отдельная история.

О. Темушкин,
доктор юридических наук,
заслуженный юрист РСФСР

«Одна неправда нам в убыток»

Автор этой статьи Олег Петрович Темушкин, работая в органах Прокуратуры СССР, в пятидесятых годах принимал непосредственное участие в деятельности по реабилитации лиц, незаконно репрессированных в годы культа личности Сталина.

Заслуживает всяческой поддержки стремление нашей печати рассказать правду о временах беззакония, воздать должное его жертвам. Ибо преступления, совершенные во времена Сталина, не только не свойственны социалистическому строю, но более того, они были преступлениями именно против социализма! А между тем иногда приходится встречать весьма нечеткие суждения по этому поводу. Хочу остановиться на одном конкретном примере. Я имею в виду спор писателя И. Стаднюка с академиком А. Самсоновым на страницах газеты «Социалистическая индустрия».

У тех, кто прочитал статью И. Стаднюка в газете «Социалистическая индустрия» (14 июня 1987 г.), может сложиться убеждение, что Д. Павлов и его ближайшие помощники являются главными виновниками тяжелых поражений, постигших наши войска в первые дни войны.

Следуя уроку правды, преподанному XXVII съездом КПСС, необходимо, ссылаясь только на факты, рассказать о трагическом эпизоде, связанном с гибелью генерала Д. Павлова и его соратников — генералов В. Климовских (начальник штаба фронта), А. Григорьева (начальник связи фронта), Н. Клыча (начальник артиллерии фронта), А. Коробкова (командующий 4-й армией). Уже хотя бы во имя того, чтобы восстановить их добрые имена!

Приведенная И. Стаднюком выдержка из его же романа говорит скорее о том, что расправа над командованием фронта была предопределена полученной Сталиным необъективной информацией. Так, Стаднюк пишет: «Как известно, Д. Г. Павлов и его соратники были преданы суду военного трибунала по предложению приехавшего в Каспю 2 июля

1941 г. Мехлиса... и получил ли такое поручение Мехлис от Сталина, не знаю».

С мнением о том, что и в массовых репрессиях, и в беззакониях, допущенных в отношении виднейших политических и военных деятелей, выдающихся ученых, писателей, конструкторов оборонной техники, виновны Ежов и Берия, Мехлис и Лысенко, Каганович и Шкирятов — словом, кто угодно, только не лично Сталин, мне приходилось и приходится встречаться часто. Но как же Сталин мог допустить, чтобы политический, оборонный и моральный потенциалы страны в канун предстоящей смертельной схватки с фашизмом понесли такой страшный урон? И не только не воспрепятствовать этому, но даже ничего об этом, оказывается, «не знать»...

В том, почему Сталин расправился с Павловым, загадки нет: это присущий ему стиль, метод его руководства страной, четко отработанный и безотказно действовавший на протяжении десятилетий его правления. Допуская промахи, которые очень дорого обходились народу и государству, акты прямых беззаконий и произвола, Сталин со свойственным ему коварством умело искал и находил вину других лиц, а затем жестоко их карал, сам оставаясь в глазах народа в ореоле непогрешимости.

При проведении в стране коллективизации было допущено отступление от ленинской политики по отношению к крестьянству. Это повлекло, в частности, необоснованное раскулачивание крестьян, которые кулаками никогда не были, последовали репрессии, что принесло неисчислимые беды массе людей, серьезно подорвало экономику страны. Когда все уже было совершено, и именно так, как замыслил Сталин, он выступил со статьей «Головокружение от успехов» и свалил всю вину за беззакония на излишне ретивых исполнителей. Кстати, автор романа «Люди не ангелы» И. Стаднюк все это в свое время художественно убедительно и показал...

Массовые репрессии тридцатых годов осуществлялись на базе выдвинутой Сталиным идеи о неизбежности обострения классовой борьбы по мере того, как будет укрепляться социалистический строй.

В нужный момент ответственность за все беззакония была последовательно свалена на исполнителей злой сталинской воли, сначала на Ягоду, а затем на Ежова. Они были расстреляны, а Сталин опять чист, да к тому же в образе высшего, справедливого судьи.

Как никто лучше сказал об этом А. Твардовский:

**Да, он умел без оговорок,
Внезапно — как уж припечет —
Любой своих просчетов ворох
Перенести на чей-то счет;
На чье-то вражье искаженье
Того, что возвещал завет,
На чье-то головокруженье
От им предсказанных побед.**

Что касается Д. Павлова и его соратников, то приговор по их делу определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 31 июля 1957 г. был отменен и дело прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. Таким образом, все они посмертно реабилитированы.

И очень важно сейчас показать, кто был действительным виновником этой трагедии, и восстановить, в том числе и средствами искусства, попранную честь и доброе имя невинно пострадавших людей, ставших жертвами непомерных сталинских амбиций и просчетов.

Заслужил ли Д. Павлов упрек за неумелое командование войсками фронта? Думаю, что в этом не вина, а беда Павлова. Он принял Округ, ставший вскоре фронтом, да к тому же одним из ответственнейших, незадолго до начала войны. Опыта командования крупными войсковыми соединениями не имел. В Испании, а затем во время финской кампании командовал танковым корпусом, за проявленный героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. Но для руководства фронтом он еще явно не созрел. Симптоматичны объяснения Павлова суду: «Мы в данное время сидим на скамье подсудимых не потому, что совершили преступление в период военных действий, а потому, что недостаточно готовились в мирное время к этой войне».

Возникает вопрос: как Павлов оказался на таком ответственном посту при отсутствии для этого достаточных данных? Ответ однозначен: «В 1937—1938 гг., а также и в последующее время в результате необоснованных массовых репрессий погиб цвет командного и политического состава Красной Армии, говорится в книге «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история». Как «агенты иностранных разведок» и «враги народа» были осуждены и уничтожены три Маршала Советского Союза (из пяти имевшихся в то время) — ...погибли все командующие войсками военных

округов... Из армии были устранены все командиры корпусов, почти все командиры дивизий, командиры бригад; около половины командиров полков... Всего за 1937—1938 гг. репрессиям подверглась одна пятая часть офицерских кадров».

Избиение военных кадров продолжалось вплоть до начала войны. Жертвами незаконных репрессий пали генералы Рычагов П. В. — командующий ВВС Красной Армии, Штерн Г. М. — командующий противовоздушной обороной страны, Смушкевич Я. В. — главный инспектор ВВС, дважды Герой Советского Союза.

Были репрессированы, но затем освобождены Мерецков К. А. — начальник Генерального штаба Красной Армии, Ванников Б. Л. — нарком вооружения.

К чему привели массовые репрессии, видно, в частности, из следующего. Выступая на заседании Высшего военного совета в ноябре 1937 г., командующий Закавказским военным округом Н. В. Куйбышев (вскоре также необоснованно репрессированный) признал боевую подготовку войск неудовлетворительной. «Основная причина этого в том, — сказал он, — что округ в кадровом отношении сильно ослаблен».

...Последовала реплика наркома: «Не больше, чем у других». «На сегодня, — продолжал командующий, — у нас тремя дивизиями командуют капитаны как старшие по званию...»

В непосредственной связи с обсуждаемым вопросом находится и характеристика поведения Сталина в последующий период Отечественной войны. Ряд авторов, в том числе и мемуарной литературы, военных историков, оценивает его роль в этот период положительно. Отмечает проявленную им политическую волю, целеустремленность и настойчивость, умение организовать и дисциплинировать людей.

Я коснусь этой проблемы лишь в части, относящейся к области, близкой мне как юристу. В период войны актов массовых репрессий, произвола и беззаконий, заметно убавилось. Более того, был освобожден из заключения и возвращен в строй ряд крупных командиров. В том числе генералы К. Мерецков, К. Рокоссовский, А. Горбатов, комкор Л. Петровский, героически погибший в 1941 г., и многие другие, вскоре же возглавившие крупные воинские соединения.

Какие еще нужны доказательства в подтверждение того, что репрессиям в свое время подверглись заведомо невиновные лица?

Логичен и такой вывод. Когда судьба самого Сталина напрямую оказалась зависимой от того, быть или не быть соци-

алистической державе, он резко изменил свою тактику по отношению к людям.

Но стоило отгреметь последним залпам войны, как Сталин возвратился к испытанным методам «правления». Необоснованные репрессии возобновились с прежней силой. Жертвами их стали: командующий ВВС страны главный маршал авиации А. Новиков, заместитель министра обороны, маршал артиллерии Н. Яковлев, старейший флотоводец адмирал Л. М. Галлер, командир механизированного корпуса Герой Советского Союза генерал-лейтенант В. Крюков и его жена Л. Русланова, любимая и популярнейшая певица, исполнительница русских народных песен, был фактически отставлен Маршал Советского Союза Г. Жуков, репрессирован командующий воздушной армией (в период войны — начальник штаба ВВС страны) маршал авиации С. Худяков.

О нем поведаю несколько подробней.

Худяков С. А. был арестован 14 декабря 1945 года без санкции прокурора и при отсутствии каких-либо данных о его «преступной» деятельности. Лишь 22 августа 1947 года ему было предъявлено обвинение в том, что он в 1918 году, т. е. в возрасте 16 лет, находясь на военной службе в составе Красногвардейского отряда в городе Баку, был завербован английским офицером для шпионской деятельности. Нелепость и смехотворность обвинения очевидны: данными о занятии какой-либо враждебной деятельностью Худяковым обвинение не располагало. Было другое: Худяков 25 лет безупречно прослужил в Советской Армии, прошел путь от рядового бойца до маршала авиации, за боевые заслуги был награжден семью орденами.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 18 августа 1954 года по заключению Генерального прокурора СССР дело Худякова С. А. прекращено за отсутствием состава преступления в его действиях, а сам он реабилитирован посмертно.

«Иногда утверждают, — подчеркнул М. С. Горбачев, — что Сталин не знал о фактах беззакония. Документы, которыми мы располагаем, говорят, что это не так. Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех поколений».

И. Стаднюк предъявил претензии академику А. Самсонову в непоследовательности, так как ранее А. Самсонов давал иную, т. е. положительную, оценку Сталину. Упрек серьезный.

Но объективность требует учитывать, что ошибочные суждения А. Самсонова имели место до XX съезда КПСС, когда многое еще было неясно. Многие честные и достойные люди в былое время, до XX съезда партии, искренне верили и возвеличивали Сталина. Убедительное объяснение такой ситуации находим у К. Симонова. В письме Шапашковой (18 мая 1964 г.) он оценивает свое стихотворение «Суровая годовщина», в котором есть хвалебные в адрес Сталина строки. Поэт пишет: «Стихотворение «Суровая годовщина» было написано в тяжелое время — осенью сорок первого года... написал его от всей души, выразив свое тогдашнее отношение к Сталину...

Но когда во время XX съезда и после него я узнал — постепенно — ту правду о Сталине, которой я раньше не знал, о которой, может быть, в какой-то мере догадывался, но старался оттолкнуть от себя эти мысли, старался не дать себе в них поверить, когда я узнал, как все это обстояло на самом деле, — мое отношение к Сталину резко переменилось». Поэтому, размышляет далее К. Симонов, «...люди, которые неправильно в свое время оценивали Сталина, не понимали многих сторон его деятельности — отрицательных, тяжелых, принесших нам трудно исправимые беды, стоивших нам миллионов жизней людей, что люди, которые поняли теперь, как все обстояло в действительности, они обязаны писать о Сталине и об этой эпохе так, как им подсказывает совесть, обязаны рассказать всю ту правду, которую они теперь постепенно узнали... Надо помнить, что армия, руководящие кадры которой он перебил в тридцать седьмом и в тридцать восьмом году, пришла к войне ослабленной по его вине. Надо помнить, что многие люди, жертвуя жизнью, доносили о том, что немцы вот-вот начнут войну, а он, высокомерно считая, что он все знает, что он непогрешим, не принял во внимание всех этих сигналов, и для нас война в итоге оказалась неожиданной, и это стоило нам миллионов лишних жертв. Эти жертвы лежат на его совести».

Опыт, накопленный после XX съезда, показывает, что перестройка в сознании возможна лишь при условии полного преодоления идеологии, стереотипов, связанных с культом личности именно Сталина. Культ Сталина связан не только с физическим уничтожением огромной массы людей, но и с внедрением в общественное сознание самых отрицательных качеств, не свойственных народу, — подозрительности, страха, чувств безысходности, бездумного повиновения командному окрику, безынициативности, неуверенности в себе.

Было бы наивным прекраснодушием полагать, что в стране не осталось людей, которые по-прежнему поклоняются своему прежнему идолу. Речь, конечно, отнюдь не только о тех, кто выставляет его изображение на ветровых стеклах автомашин. Это скорее смешно, чем опасно. Тревожат те, кто, обладая авторитетом, а иной раз властью и влиянием, всячески сопротивляются разоблачению культа личности Сталина, в том числе и выплескивая свои эмоции на этот счет на страницы печати. При этом они камуфлируют свою позицию утверждениями о том, что, разоблачая культ личности, мы якобы принижаем достижения народа, подрываем авторитет социализма. Неужели не понимают, что беззакония во времена Сталина не только не свойственны социалистическому строю, но, более того, они были преступлениями именно против социализма! Неужели не понимают, что, рассуждая так, невольно солидаризируются с нашими идейными противниками, пытающимися доказать недоказуемое: что культ личности и связанные с ним беззакония неизбежны для социализма, свойственны ему?

В связи со сказанным хотелось бы еще раз вернуться к посвященному 70-летию Октября докладу М. С. Горбачева и привести в заключение такие слова из него: «...и сейчас еще встречаемся с попытками отвернуться от больных вопросов нашей истории, замолчать их, сделать вид, будто ничего особенного не произошло. С этим мы не можем согласиться. Это было бы пренебрежением к исторической правде, неуважением к памяти тех, кто оказался невинной жертвой беззакония и произвола. Не можем еще и потому, что правдивый анализ должен помочь нам решать сегодняшние наши проблемы: демократизации, законности, гласности, преодоления бюрократизма — словом, насущные проблемы перестройки. Вот почему нам нужны и здесь полная ясность, четкость и последовательность».

Публикация подготовлена
слушателем Высшей комсомольской
школы при ЦК ВЛКСМ
Натальей Мильчаковой

«Писать все-таки надо!..»

Александр Мильчаков. В четырнадцать лет — член Социалистического Союза рабочей молодежи. В шестнадцать — большевик. В 1919-м его избрали секретарем Пермского губкома комсомола, а вскоре секретарем Сиббюро ЦК РКСМ. Популярность Мильчакова среди молодежи росла с каждым годом. В 1928 году его избирают Генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. С 1931 года он на ответственной партийной работе в аппарате ЦК ВКП(б). С 1932-го по 1938 — на руководящей работе в золотодобывающей промышленности СССР. В конце 1938 года он арестован по клеветническому обвинению. Почти шестнадцать лет — в Норильском и Магаданском лагерях... В 1954 году А. И. Мильчаков полностью реабилитирован.

...Я часто просматриваю большой семейный архив, сохранившийся у нас в доме после дедушкиной кончины. В ящике письменного стола среди других документов хранится толстая общая тетрадь в коричневом переплете. Это неопубликованная рукопись Александра Ивановича, над которой он работал в 60-х годах. На одной из страниц такая запись: «Когда приходится иной раз поделиться с близкими товарищами или родными людьми кусочками воспоминаний о пережитом, слышишь замечания: «Тебе подобные сцены, события, встречи надо записать...» — «Но ведь они не будут опубликованы!» — «Пусть. Оставь их для будущих исследователей, для внуков...» — «Значит, писать все-таки надо!..»

С разрешения семьи я подготовила публикацию из неизвестных записей Александра Ивановича Мильчакова.

Наталья Мильчакова

24 апреля 1954 года я был полностью реабилитирован и смог вернуться в Москву. С тех пор, как я ее «покинул», минуло без малого 16 лет. Я был арестован в день рождения Сталина в декабре 1938 года по ордеру, подписанному Берия и Вышинским и по официальной санкции Л. Кагановича, бывшего тогда народным комиссаром тяжелой промышленности и секретарем ЦК партии.

Военной коллегией Верховного Суда СССР я был осужден сроком на 15 лет заключения с последующим поражением в правах на 5 лет. После осуждения в мае 1939 года этапирован в Норильский заполярный лагерь. Во время этапа два месяца мы находились под Красноярском на пристани в Злобине, где загружали баржи грузами для Норильского строительства. Осенью работали грузчиками в порту Дудинка. В октябре нас перевели в Норильск, где я попал в бригаду подземных рабочих на угольную шахту «Шмидтиха» откатчиком.

5 ноября нас в числе 20 человек, в морозный день, пешком отвели в штрафной лагерный пункт «Коларгон», находившийся в тундре в 18 километрах от Норильска, чтобы там расстрелять.

В числе обреченных на казнь были: сопроцессник Димитрова по Лейпцигскому процессу, бывший секретарь ЦК Болгарского комсомола и член Политбюро Болгарской компартии Благой Попов, заместитель наркома пищевой промышленности СССР Чигринцев, член коллегии Наркомфина СССР Петр Четвериков, начальник Главного управления соляной промышленности СССР Никита Куликов, посол СССР в Румынии Островский, консул в Скандинавских странах, бывший ранее секретарем губкома комсомола на Волге Владимир Фишер, бывший первый секретарь Ереванского горкома партии Абел Ордуханян, бывший секретарь Казанского горкома партии Абдулла Юнусов, профессор истории Сергей Дубровский, профессор права Леонид Гинзбург, профессор права Петр Климов и другие.

Две недели мы ждали расправы. От нас этого особенно и не скрывали. У нас отобрали одежду, одели в тряпье. Нам предложили заказать перед смертью «пожрать и накуриться вдоволь», послав в Норильск подводу за продуктами и табаком. У меня и Куликова личных денег нашлось только на пачку махорки и пачечку курительной бумаги... Приставленный к нам в помощь охране и лагерной администрации комендант из уголовников узнал меня. Он был в Невьянске на Урале старостой старательной артели, когда я в 1937 году посещал

невьянские золотые прииски. Комендант сказал мне на ухо: «Батя, вас привезли «на шлепку», мне это точно известно...» И сунул мне в карман бушлата пачку папирос.

Спас нас начальник Норильского строительства и лагеря А. П. Завенягин. Он выждал две недели, а потом вразрез с «директивой центра», под свою ответственность приказал вернуть нас в Норильск. Эта готовившаяся бессудная расправа над нами вызвала много разговоров в лагерях, производительность труда в бригадах заключенных упала.

В Норильске с конца ноября нашу бригаду бросили на земляные работы — копать котлованы под фундаменты большого металлургического завода. Многие товарищи погибли в Норильске от аварий, цинги, абсцесса легких, от непосильного физического труда...

В 1948 году из Норильска (через Москву) я был переброшен в Магадан.

Об этой поездке — самолетом и в мягком вагоне — в дальнейшем я расскажу подробно. Привезли меня тогда в Москву по велению Сталина. И увезли через три месяца в Магадан тоже по взмаху сталинской руки. Берия доложил Сталину, что Мильчаков «ничего не понял, хотя и отсидел десять лет, — себя считает ни в чем не повинным, а виноватыми посадивших его». Сталин тогда махнул рукой...

В Магадане я попал в лагерь для каторжан. Заключенные в этом лагере находились на тюремном режиме, на одежде носили номера: на спине, на ноге, выше колена, на головном уборе, на лбу. Там меня «стукнул» первый инфаркт.

Работал я там, перед выходом «на вечное поселение», бригадиром бригады землекопов.

На почте пришли в замешательство: вручать ли мне телеграмму о моей реабилитации, полученную в Магадане открытым текстом. «Этакий случай впервые». Затем состоялся мой разговор по телефону с Москвой, с семьей. Волнение мое и семьи описать трудно. Разговору участливо помогали две телефонистки, московская и магаданская.

Последнее посещение спецкомендатуры Министерства госбезопасности в Магадане. И физиономии спецкомендантов выглядят иначе, и разговор ведется на «вы». Начальник Дальстроя «всесильный» чиновник Митраков говорит о готовности содействовать моему скорейшему выезду в Москву, тогда как до этого он заботился о превращении меня в безработного, как только ему становилось известно, что я устроен в какой-либо цех экономистом, нормировщиком или калькулятором...

Я получаю вне очереди билет на прямой рейс самолета Магадан — Москва, а через два дня семья встречает меня на Внуковском аэродроме.

Семья была выселена из дома на ул. Серафимовича в маленькую комнату в Малом Харитоньевском переулке. Сюда меня не прописывали «на площадь жены», так как, по обычаю многих в начале двадцатых годов, мы с Марусей не регистрировали брака. Пришлось нам пойти в загс и оформить брак.

В парткомиссии Московского Комитета партии, куда мы с Марусей пришли с заявлением о восстановлении меня в правах члена партии, мне предложили принести отзывы хотя бы от двух или трех знающих меня старых членов партии. Через два дня я принес в парткомиссию пятнадцать отзывов коммунистов и спросил: «Надо ли продолжать эту кампанию по сбору рекомендаций?»

Я был восстановлен членом партии со стажем с 1919 года, но с указанием перерыва: «с 1942 года по 1954 год». Почему с 1942 года? Выходит, в лагере я был членом партии? Меня «догадались» исключить из партии только в 1942 году, хотя партийный билет изъяли при обыске и аресте в декабре 1938 года.

Потом мне вернули орден Ленина. На ордене — старый номер: 942. Мне передавали, что Ворошилов, подписывая Указ о возвращении мне ордена, уронил старческую слезу: «Жив, оказывается, Мильчаков-то!»

Управление делами ЦК партии предоставило мне и моей семье квартиру в новом доме, выдало пособие на лечение и отправило меня и Марусю в санаторий.

В Комитете партийного контроля при ЦК КПСС со мной подробно беседовали товарищи Разуваев и Алексеев. Они попросили меня передать Марусе привет как «настоящей коммунистке, которая не отреклась от мужа, а открыто боролась за его реабилитацию и всегда не скрывала своей связи с ним и веры в его невиновность».

А лечиться нам обоим было очень нужно. Что касается моих хворей, то нервы были истрепаны, сердце пережило инфаркт, и кровяное давление было последние годы очень высоким.

После длительного лечения, через семь месяцев, меня пригласили в Центральный Комитет партии и спросили: готов ли я приступить к работе? Я ответил: «Конечно, да». Мне предложили сперва работу заместителя начальника Главзолота или заместителя начальника Главникелькобальта.

В Главзолоте начальником работал Воробьев, бывший в годы моей работы в главке беспартийным экономистом планового отдела. Он был смущен предложением о моем возвращении в золотую промышленность. Я и не стал его «смущать», да и «в комнате повешенного не говорят о веревке»...

А в Главникелькобальт получили назначение Панюков и Зверев, работавшие в Норильске, когда я там сидел в лагере. «Зачем мне идти в главк, где будут хозяйничать начальники лагеря, в котором я сидел долгие годы?»

В ЦК со мной согласились. И по моей просьбе дать мне работу, связанную с воспитанием молодежи, направили в Главное управление трудовых резервов при Совете Министров СССР на должность начальника Управления политико-воспитательной работы, где я и проработал год. Много ездил, посещал учебные заведения, страшно волнуясь, заново привыкая к трибуне, к публичным выступлениям.

Как-то днем раздался телефонный звонок:

— Здравствуй, Саша! Говорит Фадеев.

— Какой Фадеев?

— Нехорошо, друг, не узнавать. Как-никак я отгрохал «Молодую гвардию»...

— А, здравствуй, дорогой. Рад слышать твой голос. Откуда?

— Из бюрократической канцелярии Союза писателей. Приехал на заседание секретариата. На днях заеду за тобой. Мы уедем ко мне за город и хорошо поговорим. Ох, есть о чем поговорить, милый ты человек!

— Я очень, очень рад, Саша, быть твоим гостем...

— Я звоню тебе, чтобы сказать: это — счастье, что ты жив. Недавно за городом я встречался с Молотовым и Ворошиловым. Заговорили о тебе. Отзывались с похвалой. Ворошилов рассказал, что ты вернулся, что он подписывал Указ о возвращении тебе ордена. Молотов вспоминал, как при поездке на Урал в 1938 году играл с тобой в вагоне в домино и ты не раз выигрывал... Вспоминать-то вспоминали и отзывались с похвалой, а встретиться до сих пор не удосужились. Ты бы им рассказал «почем фунт лиха». Стыдно им должно быть, если стыд они вовсе не утратили...

— Саша, дорогой! Встретимся, поговорим...

— Обязательно встретимся. Мне надо видеть тебя, слушать тебя и самому выговориться. А они, вожди, с позволения сказать, так и не пожелали встретиться, а ведь отлично знают,

что ты вернулся, лечился и стал теперь работать где-то с ремесленниками и фабзавучениками.

Фадеев прибавил к этим словам резкую характеристику поведения Молотова и Ворошилова, что им, видно, не по душе возвращение людей «с того света», людей, к расправе над которыми они приложили руку.

Не пришлось нам с Фадеевым встретиться. В марте 1956 года я лежал пластом в Кремлевской больнице после повторного инфаркта. Оказывается, этажом ниже лежал Фадеев. Я пробыл в больнице до июня. Фадеев оборвал свою жизнь сам...

В начале февраля 1956 года меня пригласил в Кремль А. И. Микоян.

Около шести часов. Иду по коридору резиденции правительства. Прохожу мимо двери с дощечкой: «Л. М. Каганович». Мелькнула мысль: вот бы отворить дверь и сказать этому трубадуру культа личности, этому иезуиту и политикану, пославшему на пытки и казни тысячи честных людей: «Вернулись с того света жертвы произвола, они станут твоими обвинителями...»

Вхожу к Микояну. Анастас Иванович устремляется навстречу, крепко обнимает, целует.

— Мы запрашивали чекистов, нам сказали — ты расстрелян, тебя давно нет в живых. А вчера у меня были товарищи, сказали: Мильчаков вернулся из заключения и работает где-то нормировщиком на стройучастке...

— Это в Магадане я был нормировщиком на стройучастке, а здесь — я начальник Управления воспитательной работы в Главке трудовых резервов...

— Сколько человек в твоем управлении?

— Двадцать вместе со мной.

— Нашли работу для Мильчакова, — рассмеялся Микоян.

— Мы говорили с Хрущевым о твоем возвращении. Почему сразу, как вернулся, не пришел к нам в ЦК, даже не позвонил?

— После всего происшедшего не хотел быть навязчивым. А сейчас вдвойне рад вашему приглашению встретиться.

— Чем тебе помочь? Как семья, все ли живы, здоровы? Как здоровье жены? Я ее помню еще по Ростову, когда вы поженились.

— Ничего не надо, все в порядке, мне вернули партбилет, орден, дали квартиру, помогли с лечением, теперь я работаю.

И тут я перешел к главному в нашей беседе:

— Скажите, с чем вы, ЦК, идете на партийный съезд? Будет ли опубликовано «Завещание Ленина»? Сталин спрятал «Завещание Ленина», неужели вы не скажете съезду обо всем?

— Это не так просто. При Сталине было принято решение, по которому сейф, где хранится «Завещание Ленина», может быть вскрыт при условии единогласного об этом решения ЦК. Хрущев поставил этот вопрос. Пока единогласия не получилось. Есть в президиуме ЦК люди, которые как огня боятся правды о Сталине...

— Вместе с вами, Анастас Иванович, я был на XIII съезде партии. Дальше откладывать оглашение завещания Ильича было нельзя. И тогда «Завещание Ленина» читалось на собраниях делегаций. Помните, как это было?

— У тебя хорошая память, — заметил Микоян. — Но учти, на съезд соберутся люди, в большинстве воспитанные и выдвинутые при Сталине. Это не ты и не я. Подавляющее большинство ленинских кадров партии уничтожены при Сталине...

— А вопрос о произволе и попрании ленинских принципов Сталиным и его приспешниками все равно ставить надо. Без этого не может быть движения вперед. Я работаю всего один год, а ездил во многие города и встречался со многими людьми. Речь идет о том, что надо заново восстановить доверие к руководству...

— Восстановить доверие? Ты так ставишь вопрос? Разве массы нам не доверяют? — быстро реагировал Микоян.

Мне не хотелось нарушать установившийся контакт и взаимное понимание в беседе. Я поспешил поправить себя:

— Ну хорошо. Пусть не восстановить, а вновь укрепить доверие к руководству. Ведь неоспоримо, что в тяжкие годы сталинского культа и бесконечного произвола доверие к руководству было подорвано. Сталин держал массы в страхе и трепете. А сам создавал себе опору в выдвинутых им кадрах, задаривал их премиями, постами, наградами, подкупал их материальным благополучием — дачами, автомашинами, роскошными квартирами, непомерно высокой заработной платой. Ну к чему теперь, к примеру, сохранять эти «сталинские конверты» со второй зарплатой, с которой даже партийные взносы не берутся?

Есть у нас Молдавское управление трудовых резервов. В нем всего тринадцать учебных заведений. А заместитель начальника по воспитательной работе, кроме оклада, который и без того превышает размер зарплаты квалифицированного

инженера, получает еще «конверт», еще второй оклад, так заведено. Зачем?

Микоян рассказал, что Хрущев собрал высокое совещание и поставил вопрос о ликвидации «конвертов» и высоких окладов.

— Ты бы видел, какую бучу подняли высокопоставленные деятели! Они видишь ли, считают, что Хрущев идет в хвосте «отсталых настроений масс». Сталин дал, а Хрущев хочет отнять. Но должен тебе сказать, Хрущев — очень упорный человек. Все равно этот вопрос будет решен. Для начала мы срежем «конверты» наполовину, а потом отбросим совсем.

Микоян рассказал о ряде мер, получивших после съезда свое решение. Речь шла о подтягивании заработной платы низкооплачиваемых тружеников, о сокращении рабочего дня, о прекращении выпуска займов за счет средств трудящихся, о постепенном снижении налогов. Затем Микоян остановился на вопросе о ликвидации последствий беззаконий и репрессий, творившихся при Сталине.

— Президиум ЦК создал комиссию для выяснения вопроса: куда девался съезд победителей, Семнадцатый съезд партии? Ведь не случайно две трети делегатов съезда и Центрального Комитета были перебиты Сталиным. Я возглавляю еще одну комиссию по ускорению процесса реабилитации людей, томящихся до сих пор в лагерях и в ссылке. Мы решили послать во все лагеря комиссии центра. Пусть быстро рассмотрят на месте дела всех живых, пусть освободят всех невиновных. А чтобы сделать это вернее, включим в каждую комиссию по одному реабилитированному товарищу. Как ты, войдешь в такую комиссию? Вас уж никто не обманет!

Микоян упомянул, что ЦК создавал комиссию по вопросам реабилитации некоторое время тому назад. Комиссия не выполнила поручения, в ней были люди, заинтересованные не в реабилитации невинных людей, а в замазывании преступлений прошлого.

Тут я поднял вопрос, который меня мучал:

— Вы сами сказали, Сталин сколачивал свои кадры, свою опору. Эти кадры остались, они сидят в аппаратах в центре и на местах. Они будут саботировать новое, сопротивляться, мешать скорейшему восстановлению ленинских норм жизни партии и государства...

Микоян поспешил заявить: «Это не страшно. Преодолеем. Ты не знаешь, а мы выгнали из МГБ и МВД ряд генералов и

полковников, бериевских последышей, некоторых исключили из партии, отдали под суд».

Мне до сих пор кажется, что Микоян понял меня, но не стал углублять этот больной вопрос. Тем более тогда и Хрущев, и Микоян не отважились на смелое и последовательное обновление и омоложение кадров, прежде всего партийного аппарата.

— Скажи, тебе партийный стаж восстановили с указанием перерыва? — спросил Микоян.

— Да, с перерывом, — ответил я.

— Это же неправильно! — воскликнул Микоян.

— Конечно, неправильно, но так велели вы сами, Президиум ЦК. Хотя эту установку вы сами и нарушаете. Вы велели не указывать перерыва в стаже двум моим хорошим знакомым — Снегову и Шатуновской. Между тем они, как и я, как и другие реабилитируемые товарищи, не по своей вине были оторваны от партии и находились в этом отношении совершенно в одинаковых условиях с другими.

Микоян предложил мне завтра же дать ему заявление в ЦК по этому вопросу, адресованное Н. С. Хрущеву, что мною и было выполнено.

Говорили мы еще о воспитании молодежи, о том, что культ Сталина тяжело отразился на работе комсомола.

Анастас Иванович очень тепло отозвался о Хрущеве, его энергии и желании отдать все силы восстановлению ленинских норм партийной жизни.

Микоян вернулся к вопросу о моей работе в Главном управлении трудовых резервов, со смехом спрашивая:

— Так ты, стало быть, и художественной самодеятельностью фабзавучеников тоже занимаешься?

Я ответил, что с охотой занимаюсь и этим делом.

— Пройдет съезд, встретимся снова. Мы с Хрущевым уже говорили об этом. Решим вопрос о настоящей работе. А на съезде ты будешь...

Он позвонил. Явился его главный секретарь Барабанов.

— Узнаешь Барабанова? Седой стал совсем. Барабанов — единственный уцелевший референт у членов Политбюро ЦК. Пережил все невзгоды. Видишь какой.

Микоян ласково улыбался.

Когда мы расставались, он передал привет Марусе.

Недели через две я был вызван в ЦК, в организационную комиссию по подготовке XX съезда. Мне было сказано, что я получу билеты на все дни съезда. Билет на первый день был

вручен тут же. Расписался в получении билета я в отдельном списке. Там было только пять фамилий реабилитированных товарищей: Шатуновская, Чудинова, Осипов, Снегов, Мильчаков. Вскоре настали волнующие дни съезда.

Микоян был прав: на съезде из 1200 делегатов только человек восемьдесят были со стажем до 1920 года. Я как-то сиротливо смотрел по сторонам. Это хорошо, когда растут новые кадры партии. Но как же выкосил Сталин старую ленинскую гвардию!

В перерыве встретился с Артюхиной, Гопнер и Вишняковой. Растроганно обнялись, расцеловались. Вижу бывших членов ЦКК Ростопчина, Кривова, Богданова. Мало, мало.

Ночью, перед последним днем съезда, меня «хватил» второй инфаркт. О предстоящем докладе Хрущева я знал. Знал, что он будет говорить специально о культе личности Сталина и о ликвидации последствий культа. Рассказывали мне потом, какое потрясающее впечатление произвел доклад Хрущева и оглашенные им документы. А ко мне уже являлись только врачи.

В больнице меня навестила Оля Шатуновская, рассказывала о докладе Никиты Сергеевича.

Алексей Снегов притащил красную книжечку с докладом Хрущева, и я с несказанным волнением читал стенограмму, пряча ее от врачей и от Маруси, которые знали одно: «больного нельзя волновать». Я читал, волновался и радовался торжеству справедливости и развенчанию неслыханного злодейства.

С осени 1956 года я был вынужден по совету врачей оставить работу и уйти на пенсию. Тогда же и Марусе, как и мне, установили персональную пенсию. 1957 год я целиком посвятил созданию книги «Первое десятилетие». До выхода книги в 1959 году ее основное содержание было напечатано в журнале «Юность» в №№ 4, 5, 6 за 1958 год. Книгой своих воспоминаний о комсомоле первого десятилетия я хотел выполнить свой партийный долг — воздать должное памяти моих погубленных в годы сталинского произвола товарищей и вместо безликой истории, писавшейся в угоду Сталину, дать очерк правдивой истории комсомола. В моей книге названа не одна сотня имен, среди которых девяносто реабилитированных, имена которых замалчивались. Это и Постышев, и Косиор, и Якир, и Гикало, и Калмыков, и Такоев, это целая плеяда славных имен деятелей юношеского движения, ставших достоянием подлинной истории комсомола: Рывкин, Смородин,

Чаплин, Косарев, Тарханов, Шохин, Юровская, Хитаров, Чемоданов, Голуб, Холохоленко, Курганов, Евсеев, Салтанов, Лукьянов, Файнберг, Андреев, Иванов и многие другие.

В эти годы в связи с сорокалетием комсомола я писал много статей и очерков в газеты и журналы, выступал на собраниях.

3 января 1961 года отнес в Центральный Комитет партии заявление, передав его члену Комитета партийного контроля О. Г. Шатуновской.

В заявлении я писал следующее:

«XX съезд партии, заслушав доклад тов. Хрущева Н. С. о культе личности и его последствиях и одобрив доклад, поручил ЦК последовательно обеспечивать полное преодоление последствий культа личности.

В постановлении ЦК от 30 июня 1956 года сказано, что большой вред делу социалистического строительства нанесла ошибочная формула Сталина о том, будто по мере продвижения Советского Союза к социализму классовая борьба будет все более и более обостряться. Эта формула была выдвинута на первый план в 1937 году и послужила на практике обоснованием грубейших нарушений социалистической законности и массовых репрессий, в результате чего были оклеветаны и невинно пострадали многие честные коммунисты и беспартийные советские люди.

Партия разоблачила и покарала преступную банду Берия — проводника линии Сталина, лично контролировавшего органы госбезопасности.

Но партия не сказала своего осуждающего слова о некоторых прямых и злонамеренных пособниках Сталина, Ежова и Берии, — писал я, — о тех, кто восхваление Сталина и раздувание культа его личности сделал в свое время основным принципом своей деятельности.

Я имею в виду зловещую фигуру Л. Кагановича. Не случайно Л. Каганович вместе с другими участниками антипартийной группы выступил против линии партии, определенной XX съездом. Пленум ЦК в июне 1957 года отметил противодействие курсу на устранение тяжких последствий культа личности, проводимое этой группой. Л. Каганович упорно сопротивлялся мероприятиям ЦК по устранению допущенных в свое время нарушений революционной законности. Он боялся дальнейших разоблачений его собственной преступной деятельности. Он не хотел видеть новой обстановки и остался реакционером, вставшим на путь интриг, тайного сговора против

ЦК, смены руководящих органов партии, возврата к старому, к методам и приемам, осужденным XX съездом.

На пленуме ЦК его участники единодушно требовали исключения членов фракционной группы Л. Кагановича, Г. Маленкова, В. Молотова и др. из партии. Тогда пленум ЦК ограничился выводом их из ЦК.

Выражая мнение многих партийных товарищей, я ставлю вопрос о привлечении Л. Кагановича к партийной ответственности за злонамеренные нарушения им революционной законности, за оклеветание и уничтожение честных коммунистов и беспартийных работников.

В 1937—1938 гг. я работал начальником Главзолота Наркомтяжпрома. Л. Каганович тогда был наркомом. Он вел себя невероятно развязно, постоянно подчеркивая при встречах с работниками: «Я не только нарком, я — секретарь ЦК партии».

Излюбленным методом «руководства» Л. Кагановича были вопли о вредительстве, сеяние недоверия к советским людям, запугивание работников угрозой ареста. Он не стеснялся высказывать такие мысли: «Уж если мы (то есть он, Каганович) лишим работника своего доверия, мы его передадим в НКВД, а там его следователи быстро прихлопнут»... Каганович, конечно, знал, как это делается.

Раздувая формулу Сталина об обострении классовой борьбы, Л. Каганович «конкретизировал» это положение своим «теоретическим» перлом: «Каждая авария на производстве имеет свое имя, отчество и фамилию. Это — вредительство».

В архивах судебных учреждений немало списков лиц, арест и уничтожение которых санкционировал Л. Каганович. В списках этих ни в чем не повинных людей тысячи фамилий. Тут и научные работники: профессор Горностаев, профессор Пазухин, тут и управляющие золотопромышленными трестами: Рыбаченко, Краукле, Ганин, Абрамович, тут и работники предприятий.

Л. Каганович усердствовал перед Сталиным, Ежовым и Берия в раздувании массовых репрессий.

Раз ночью Л. Каганович вызвал меня, чтобы сообщить: «Арестован ваш Петр Смородин». На мое замечание: «Смородин никогда не выступал против партии» — Каганович ответил: «Будучи арестованным, он признал, что был связан с Бухариным»... Значит, «следователи НКВД быстро прихлопнули» Смородина, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ, кандидата в члены ЦК партии, первого секретаря Сталинградского обкома партии! В другой раз Л. Каганович не без злорадства

мне сообщил: «Арестован Николай Чаплин. Незадолго перед этим я его вызвал, спрашивал, нет ли у него камня за пазухой против партии? Чаплин плакал, клялся в верности партии. А теперь, в НКВД, и этот признался в связях с врагами».

Значит, и тут «следователи быстро прихлопнули» Чаплина, бывшего первого секретаря ЦК комсомола, четырежды избиравшегося в состав ЦК партии!

Л. Каганович однажды завел такой разговор: «Перечислите мне всех первых секретарей ЦК комсомола, где они?»

Я сказал: «Раз вы спрашиваете, стало быть, знаете, где они». Последовал перечень фамилий, оказалось, что все они арестованы — Рывкин, Шацкин, Цейтлин, Смородин, Чаплин...

«Только вы не арестованы», — сказал этот двуличный человек, иезуит, безжалостный истребитель большевистских кадров.

Я взволнованно ответил: «Что ж, запишите этот факт в историю, что я один не арестован».

После такого ответа Каганович начал льстиво говорить, что я добросовестно работаю, что ЦК мне доверяет и т. п. Это не остановило Кагановича от такой выходки. Он предъявил мне фотографию группы работников золотой промышленности, сделанную после награждения нас орденами в начале 1935 года. На фотографии почти все были отмечены «крестиками»: арестован. Один человек помечен значком: будет арестован. Около моего изображения пометок не было.

— Вот, полюбуйтесь, — сказал Каганович. — Только вы один не арестованы из всей этой компании. Снимок прислан из НКВД. Что вы на это скажете?

А в НКВД в это время подбирались «показания» на меня.

Л. Каганович предъявил мне эти клеветнические обвинения, чтобы я их опроверг, как вздорные? Нет. Накануне моего ареста он слушал мой подробный доклад о двухмесячной поездке по приискам, одобрял его, приговаривая: «Вот теперь вы сможете конкретно руководить приисками, зная их нужды и обстановку на местах».

Расточая похвалы, Каганович уже дал санкцию Берия на расправу со мной. Презренный Мешик в следственной части НКВД ткнул мне в нос «меморандум» Кагановича о моем аресте.

— Каганович еще не ЦК, — сказал я.

— В данном случае он не мог не доложить Сталину об аресте начальника Главзолота, назначаемого Политбюро, — ответил Мешик. — Песня твоя спета...

Упиваясь своей властью над людьми, Каганович безжалостно и преступно играл судьбами людей и их семей, отдавая тысячи невинных на растерзание бандам Ежова и Берия.

Помню, как на заседании коллегии Наркомтяжпрома Каганович обрушился на тов. Мирошникова, проработавшего начальником Главалюминия месяца три или четыре. Он ни в чем конкретно его не обвинял. Он только кричал общие фразы, угрожающе двусмысленные. Все расходились после заседания подавленные: «Значит, Мирошникова он посадит». Так и вышло. Мирошников был арестован по прямому требованию Кагановича.

В Главзолото прислал письмо Д. Булатов, за месяц до этого снятый с поста первого секретаря Омского обкома партии. Булатов просил меня дать ему хотя бы небольшую работу где-нибудь на прииске. Я хорошо знал Булатова, работал его заместителем в оргинструкторском отделе ЦК партии. Булатов избирался в состав ЦК и КПК ВКП(б). Я пошел с письмом Булатова к Кагановичу. Каганович раздраженно взял письмо: «Не ставьте передо мной таких вопросов!» Булатов завтра же был арестован.

Управляющий трестом «Алтайзолото», бывший комсомольский работник, лично принятый и утвержденный Кагановичем, не проработал и месяца, как был арестован. Он успел прислать письмо Кагановичу, молил его спасти от ареста, как ни в чем не повинного. Я обратился к Кагановичу. Он опять с раздражением прикрикнул: «Что вы хлопочете? Арестован, и все, НКВД знает, что делает».

Мною названы отдельные имена. Теперь эти товарищи реабилитированы полностью. Но большинство реабилитированы посмертно. Их семьи автоматически преследовались, ссылались, выбрасывались из квартир, лишались работы, дети превращались в бесприютных запуганных сирот, хворали, умирали...

Можно ли пройти мимо загубленных жизней, слез и крови тысяч советских людей, преданных большевиков, создававших партию и комсомол, строивших и защищавших Советскую власть, всегда верных знамени Ленина, — пройти мимо и не покарать виновников этих ужасов произвола и самовластия?

Наш долг состоит в том, чтобы сделать все исключающее повторение подобных преступлений. Не могут виновники оставаться безнаказанными. Виновны не только Сталин, Ежов, Берия и следователи, умевшие «быстро прихлопнуть» жертву. Виновен и Л. Каганович, и не только косвенно, но и прямо.

И не прикрыть ему своих преступлений в период расцвета культа Сталина и массовых репрессий какими-то позднейшими принципиальными разногласиями. Рядом со Сталиным, в тесном сотрудничестве с Ежовым и Берия Л. Каганович давно стал беспринципным политиканом, двуличным человеком, интриганом и фракционером.

Вот почему я считаю необходимым поставить перед ЦК вопрос о привлечении Л. Кагановича за его злодеяния к партийной ответственности».

На XXII съезде партии делегаты выразили волю коммунистов, волю народа, потребовав изгнания из рядов партии тех, кто виновен в злодейском истреблении ленинских кадров коммунистов.

В преддверии XIV съезда ВЛКСМ мне довелось совершить увлекательное, романтическое путешествие в свою комсомольскую юность. По приглашениям областных и городских комитетов ВЛКСМ я побывал в Перми, Свердловске и Кирове, где проходили первые годы моей работы в комсомоле. Затем поехал в Ленинград, где часто бывал в годы своей работы в ЦК комсомола.

Я видел внимательные молодые лица — и славная, милая, светлая комсомольская юность вновь возвращалась ко мне. Обращаясь к молодым слушателям, я не мог не сказать: «Это же счастье для коммуниста — шагать в рядах первых комсомольцев в боевом восемнадцатом году и сегодня, в 1962 году, спустя более сорока лет, участвовать в работе комсомольских конференций!..»

Где бы мне ни приходилось выступать во время этих поездок, всюду молодежь живо интересовалась материалами XXII съезда партии, забрасывала вопросами о культе личности.

В многочисленных записках, полученных во время выступлений, меня просили: «Расскажите о «деле» Косарева, о Смородине и Чаплине». «Верно ли, что вы находились в заключении шестнадцать лет?»

Я рассказал, что в 1938 году проходил пленум ЦК комсомола. На пленум явились Сталин, Молотов, Жданов и Шкирятов. Секретарей и членов ЦК комсомола обвинили во вражеских замыслах, а они были честными коммунистами. Никакие объяснения оклеветанных товарищей во внимание не принимались. Торжествовала черная клевета и всеобщая подозрительность.

Тотчас после пленума были арестованы не только секретари ЦК ВЛКСМ, но и почти все члены ЦК комсомола, многие

секретари областных и краевых комитетов, почти все участники пленума.

В период культа личности Сталина были репрессированы все первые секретари ЦК комсомола двадцатых—тридцатых годов: Оскар Рывкин, Лазарь Шацкин, Петр Смородин, Николай Чаплин, Александр Косарев, секретари ЦК ВЛКСМ Тарханов, Юровская, Фейгин, Цейтлин, Шохин, Иванов, Шаровьев, Рахманов, Файнберг, Андреев, Салтанов, Лукьянов, Пикина, Матвеев, Соболев.

Все они — честные большевики, выдающиеся работники, имена которых вошли в историю комсомола, теперь реабилитированы, большинство посмертно.

Молодежь спрашивала меня: «Как отразился культ личности на комсомоле?»

В годы распространения культа личности был нанесен тяжелый ущерб делу ленинского воспитания молодежи. Массовые репрессии вели не только к физическому уничтожению или заточению в тюрьмы одних, но и преследовали цель запутать, застращать остальных. В повседневной работе комсомола укоренялись такие методы, как голое администрирование, чрезмерная регламентация деятельности низовых организаций, замазывание недостатков, парадность и шумиха. Умалялась роль актива и значение организаторской работы в массах молодежи, порождались отвратительные явления угодничества, карьеризма, бюрократизма. Пропагандистская работа в комсомоле сводилась в значительной степени к заучиванию сказанного или написанного Сталиным, к бесконечному его восхвалению.

Культ личности гасил живую мысль и сковывал самодеятельность молодежи; это противоречило ленинскому подходу к организациям молодежи, ленинским принципам руководства юношескими массами...

...Комсомолом немало сделано для ликвидации последствий культа личности. Активность и творческая инициатива молодежи возросли. Но последствия культа, так тяжело отразившиеся на жизни и деятельности комсомола, не изживаются сразу. Они живучи. Они кроются в еще сохранившихся, чуждых духу ленинизма формально-бюрократических методах работы, в принижении роли масс комсомольцев и молодежи, в слепой вере во всесилие хороших резолюций.

И вот тогда, как комсомольцы жадно слушают правдивое слово, они не хотят фальши, некоторые руководящие работники продолжают замалчивать больные вопросы, уклоняются

от ответа на них, страдают противной болезнью трусливой перестраховки.

На собраниях и в беседах комсомольцы спрашивали: «Знали ли вы, старые коммунисты, о «Завещании Ленина»? Как вы голосовали за Сталина? Когда начался культ личности Сталина?»

Ленин написал свое «Завещание» в декабре 1922 года — январе 1923 года, за три с половиной месяца до XII съезда, открывшегося 17 апреля 1923 года, и адресовал свои письма «Очередному съезду партии». До сведения делегатов XII съезда воля Ленина доведена не была. (Я был делегатом XII съезда РКП(б), больше того, я не верю, чтобы Ленин писал свои рекомендации очередному съезду партии и сопроводил конверт своей надписью: «Вскрыть после моей смерти».)

Сталин оттягивал оглашение воли Ленина и хотел спрятать «Завещание». Но так как об этих письмах знали другие члены Политбюро ЦК и Н. К. Крупская и требования объявить волю Ленина раздавались все настойчивее, Сталин был вынужден пойти на обнародование «Завещания» на XIII съезде партии, созванном в мае 1924 года, спустя четыре месяца после смерти Владимира Ильича.

Я был также делегатом и XIII съезда РКП(б).

«Завещание» Ильича оглашалось на собраниях делегаций съезда. В одном из малых залов Кремлевского дворца состоялось собрание нашей делегации Северного Кавказа вместе с закавказцами. За столом президиума — Микоян, первый секретарь Северокавказского крайкома партии, Орджоникидзе, первый секретарь Закавказского крайкома, и Ворошилов, член ЦК РКП(б), командовавший тогда военным округом в Ростове-на-Дону. Председательствовавший Г. К. Орджоникидзе предоставил слово Ворошилову для оглашения последних писем Владимира Ильича.

Ошеломленные слушатели внимают ленинскому предостережению:

...«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью.

Сталин слишком груб, и этот недостаток... становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека...»

...Прочитаны последние слова ленинского письма, ставшего известным как «Завещание». Гробовое молчание. Серго спра-

шивает: «Вопросы есть?» Все молчат. А какие будут вопросы, когда мудрый вождь и учитель покинул нас, и невозможно его переспросить?

Орджоникидзе страдальческим голосом обращается к Ворошилову: «Климент Ефремович, читай снова!..»

Мы прослушали «Завещание» вторично. Потом выступили три оратора, три цекиста: Микоян, Ворошилов, Орджоникидзе. Они говорили о том, что Сталин подал в отставку с поста Генерального секратаря, что он обещал учесть замечания Ленина. Они говорили, что вокруг Сталина сплотилось большинство Центрального Комитета, подавляющее большинство коммунистов, что Сталин у гроба Ленина от имени всей партии дал клятву свято выполнять ленинские заветы, что оппозиционеры, и прежде всего Троцкий, травят Сталина. Но Троцкий, по утверждению Ленина, никогда не был большевиком, его Ленин называл «Иудушкой». Троцкий всегда боролся с Лениным, и Сталин ему ненавистен, как продолжатель дела Ленина.

Орджоникидзе, Микоян и Ворошилов призвали нас присоединиться к решению пленума ЦК, отклонившего отставку Сталина.

Так мы проголосовали за Сталина...

Некоторые утверждают, что Сталин возомнил себя всесильным «божеством» в последние годы своей жизни, что культ личности Сталина характерен для последнего периода его руководства.

Неверно. Еще в 1923 году, в начальный период работы Сталина на посту Генерального секретаря, Ленин увидел опасность самовластия Сталина и дал ему характеристику: сосредоточение в руках Сталина необъятной власти, опасность злоупотребления этой необъятной властью, нетерпимая грубость Сталина, нелояльность его к товарищам, капризность и пр.

Ленин так и предлагал: «назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю... это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

Так, к нашему общему горю, и вышло: **получила решающее значение.**

К этому году, первому году без Ленина, относятся факты,

когда Сталин постепенно подчинял своему влиянию окружающих, исподволь готовясь к расправе над несогласными. Укрепление своей власти Сталин хитро маскировал именем Ленина, выставляя себя верным и скромным ленинским учеником.

Весной 1924 года я был у Микояна. Анастас Иванович рассказывал об усилиях Сталина сплотить большинство в Центральном Комитете, резко отзывался о враждебном к Сталину и большинству отношении Троцкого и троцкистов. Только что отгремела дискуссия в партии и в комсомоле по поводу «нового курса» Троцкого. Троцкий пытался натравить «молодежь» на «стариков», обвинил старые большевистские кадры в буржуазном перерождении, провозгласил свободу фракций и группировок, утверждал, что «барометром» партии является учащаяся молодежь.

В «Правде» была напечатана статья членов ЦК комсомола Смородина, Леонова и других «К вопросу о двух поколениях». В ней говорилось: «Провести грань между молодежью и стариками в нашей партии — это значит сказать, что нашей Коммунистической партии будущее уже не принадлежит, подобно тому, как оно не принадлежит Каутскому, русским меньшевикам. Только там всплывает проблема «отцов и детей», где отцы стоят уже одной ногой в гробу. Мы хотели бы рассматривать рабочую демократию, новый курс партии не как замену влияния старых кадров партии взаимодействием самых различных влияний, но как еще большее по объему и еще более глубокое втягивание всей молодежи под руководящее влияние большевистских кадров партии».

Небольшая группа бывших комсомольских работников выступила в «Правде» с защитой взглядов Троцкого, но группа эта не встретила поддержки в комсомоле, да и сами эти товарищи вскоре отказались от своих заблуждений.

В Ростове мы выступили с открытым письмом, осуждающим троцкизм. Письмо подписали члены краевого бюро комсомола и активисты Ростовской организации. Письмо было опубликовано в газетах края и в «Правде». Наше ясное и решительное выступление в защиту линии партии получило одобрение партийного руководства...

Итак, в беседе о внутрипартийных делах Микоян сказал мне о раздражении Сталина поведением Н. К. Крупской после смерти Владимира Ильича.

«Крупская вздумала не отдавать Сталину, Генеральному

секретарю ЦК, какие-то документы, письма Ленина», — сообщил Микоян.

«Сталин считает, она много себе позволяет. Тот факт, что она — жена Ленина, не дает ей права монопольно владеть ленинскими документами, которые являются достоянием партии, даже если, как уверяет Крупская, речь идет о чисто личных письмах Ильича».

Микоян, как и многие цекисты, находился под сильнейшим и бесспорным влиянием Сталина и безоговорочно воспринимал его оценки людей и событий.

Сталин же, как видно, проявлял обостренный интерес ко всему, написанному Лениным, особенно в последнее время жизни Ильича, когда Ленин очень много думал о судьбах партии и продиктовал свое «Завещание» и другие письма.

6 апреля 1925 года я делал в Оргбюро ЦК РКП(б) доклад о работе комсомола в деревне. По докладу выступил Сталин с речью «О комсомольском активе в деревне» и предложил для воспитания молодого актива выпустить серию популярных брошюр по вопросам политики партии в деревне, об основных вопросах ленинизма, по советскому строительству, по агрономии, о работе комсомола, по вопросам кооперации.

ЦК комсомола очень быстро создал серию книжек, написанных известными партийными товарищами. Первой книжкой этой «библиотечки» мы дали выступление В. И. Ленина на III съезде РКСМ, назвав ее «Заветы Ленина молодежи».

И вот я снова докладываю на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) о выполнении поручения ЦК партии. Участникам заседания представлены книжки, объединенные общей папкой. Наше издательство «Молодая гвардия» быстро и хорошо оформило библиотечку.

На заседании присутствовал Сталин, председательствовал Молотов. После разговора со Сталиным Молотов уводит меня в угол комнаты и говорит:

— Вся библиотечка составлена хорошо. Только в первой книжке уберите название «Заветы Ленина молодежи». При чем тут «Заветы», что значит «Заветы»? У комсомола есть партия, ее Центральный Комитет. Зачем речь Ленина, произнесенную в двадцатом году, преподносить как «заветы», словно она какое-то «завещание» молодежи. Ленин никаких «завещаний» комсомолу не оставлял...

— Позвольте, товарищ Молотов, речь Ленина на III съезде РКСМ «О задачах союзов молодежи» мы рассматриваем как

заветы Ильича молодежи, потому что она носит перспективный, программный характер.

— Кто это мы? — сухо осведомляется Молотов.

— Мы — бюро Цекамола.

— Я вам передаю пожелание Сталина.

— Сейчас мы посоветуемся.

— С кем?

— С Чаплиным.

— Пожалуйста. И внесите предложение о замене заглавия «Заветы Ленина» словами «О задачах союзов молодежи».

Чаплин, первый секретарь ЦК комсомола, был на заседании. Я уединился с ним в углу зала. Сталин хмуро посматривал в нашу сторону, посасывая трубку. Молотов вернулся на место председателя.

Разговор с Чаплиным был недолгим. «Если хотят изменить данное нами наименование ленинской книжки, пусть это делают сами».

Мы с Чаплиным поняли неприязненное отношение Сталина к словам «заветы», «завещание Ленина».

В заключительном слове я не предложил замены наименования книжки Ильича. Не предложил этой замены и Молотов, переглянувшийся со Сталиным.

Наша «библиотечка» открывалась книжкой «Заветы Ленина молодежи» — речью В. И. Ленина на III съезде комсомола. Эта речь вошла в историю ВЛКСМ как ленинские заветы комсомолу.

В 1925—1927 годах членом бюро ЦК комсомола и членом президиума Исполкома Коминтерна молодежи работал Бесо Ломинадзе. До этого он был первым секретарем ЦК партии Грузии.

Бесо был близок к Орджоникидзе и Микояну. В те годы он нередко бывал у Сталина. В 1938 году Ломинадзе покончил с собой, узнав, что в НКВД сфабриковано на него «дело» и Сталин фактически дал уже санкцию на его арест, лицемерно предложив предварительно потребовать от Ломинадзе письменные показания по поводу заведомо клеветнических обвинений.

Ломинадзе был вызван в Челябинск первым секретарем областного комитета партии Рындиным. Бесо был тогда первым секретарем Магнитогорского горкома партии.

Ломинадзе написал письмо в Центральный Комитет, записки членам бюро Магнитогорского горкома и жене, а подъезжая в автомашине к Магнитогорску, застрелился...

Возвращаюсь к двадцатым годам. Раз Бесо зашел ко мне в ЦК комсомола.

— Я был у Сталина, — сказал он. — У него лежит на столе изданная в Тбилиси брошюра Берия «К истории закавказских коммунистических организаций» — доклад на собрании местного актива. Сталин иронически показал пальцем на брошюру: «Вот полюбуйся, новоявленный историк объявился. Известно, что работа эта составлена молодыми историками Грузинского филиала Института Маркса — Энгельса — Ленина. Авторы, естественно, принесли свой труд до его опубликования секретарю крайкома партии. А этот последний созвал актив, прочел на активе чужой труд и опубликовал его от своего имени. Как тебе нравятся такие нравы?» — И Бесо показал, как Сталин брезгливо взял двумя пальцами эту книжонку и отшвырнул на край стола. — Ты понимаешь, Сталину претит подхалимство Берия, он видит этого карьериста насквозь, он хочет быть выше подобных приемов восхваления его личности.

Ломинадзе, как и многие, желаемое выдавал за действительное. Сталин же был коварным, лицемерным и беспринципным.

«Без него» и «за него» Молотов и Каганович дали указание заведующему Партиздатом Бройдо переиздать книжонку Берия извращавшую исторические факты в угоду Сталину.

На заседании Секретариата ЦК партии я увидел у Бройдо сигнальные экземпляры книжки.

— Сталину же не понравилась эта книжка, мне говорили об этом со слов Сталина, — сказал я Бройдо.

Бройдо посмотрел на меня, насмешливо улыбнулся и не ответил...

Вспоминается такой случай. Поздно вечером Сталин позвонил мне домой. Сказал, что утром у меня будет Харитонов — первый секретарь Уральского обкома партии, член ЦК РКП(б). Он приехал в Москву протестовать против смены пленумом областного комитета комсомола секретаря обкома комсомола, сторонника взглядов Зиновьева. Мы в ЦК комсомола одобрили эту замену. Сталину это было известно.

Сталин сказал мне по телефону: «Не обращайте внимания на настояния Харитонова. Ваши действия правильные. Не удивляйтесь ссылкам Харитонова на меня, Сталина. Повторяю, не удивляйтесь. Понятно?»

Утром Харитонов бушевал у меня в комнате. (Чаплин был где-то в отъезде.) Я объяснил ему, что пленум областного комитета комсомола по уставу правомочен сменить своего

секретаря. Новый товарищ способен лучше сплотить актив комсомола вокруг линии партии. И я, и другие секретари ЦК комсомола одобряют решение уральских комсомольцев.

Тогда Харитонов заявил, что он вчера был у Сталина. Сталин считает протест Харитонова основательным, сказал, что ничего не знает о позиции секретариата ЦК комсомола, сожалеет, если секретариат Цекамола одобрил решение уральских комсомольцев и не посчитался с мнением, высказанным первым секретарем Уралобкома Харитоновым. Сталин предложил Харитонову пойти в Цекамол и переговорить со мной.

Харитонов бушевал, называл мою позицию безответственной, мальчишеской. А меня не покидала мысль — Сталин предупредил вчера: «Не удивляйся». Но надо ли было ему отрекаться от того, что он сам знал и одобрил?

Разъяренный Харитонов снова помчался к Сталину. А ко мне вскоре пришел Ломинадзе. «Встретил Харитонова. Ругает тебя, ссылается на Сталина, говорит, что Сталин удивлен твоей безответственностью. Харитонов тебе передал указание Сталина, а ты в ответ лишь усмехнулся. Неужели правда? Что это значит?»

Я «сразил» Ломинадзе рассказом о предупреждении Сталина — не обращать внимания на крики Харитонова и не удивляться ссылкам Харитонова на беседу его со Сталиным. Бесо широко раскрыл глаза и пробормотал: «Не понимаю, зачем ему надо прибегать к подобным методам».

Спустя полчаса раздался телефонный звонок. Я услышал голос Сталина: «Молодец, Мильчаков! Харитонов прямо бесился... Вы оказали большую услугу Центральному Комитету».

Я положил трубку и задумался. От всей этот истории осталось какое-то смешанное чувство...

...В 1939 году в этапном лагере под Красноярском неожиданно встретился я с Харитоновым. Было это возле крайнего барака, на «площади слез наших матерей», как с горькой иронией назвали эту площадку заключенные. Харитонов устремился ко мне:

— А ведь я тогда понимал, что Сталин одобрил твое поведение и только себя хотел изобразить сторонником единства, «апостолом в белых одеждах». Руками одних он устранял других. Вашими руками он уничтожал всяческие оппозиции, а теперь дошла очередь и до вас. Вы ему не нужны, слишком много знаете. И стали «ненадежными», развенчавшими в душе кумира своего...

Я ушел от кричавшего Харитонова. На сердце давно лежал камень. Боль он причинял нестерпимую...

В разгар борьбы с зиновьевцами и троцкистами накануне XIV съезда партии, когда комсомол и его актив играли немалую роль во внутрипартийной борьбе, Сталин особенно часто беседовал с нами, секретарями ЦК комсомола.

Раз он пригласил Николая Чаплина и меня к себе домой. В назначенный час мы стояли у дверей сталинской квартиры. Позвонили. Дверь открыла Аллилуева, пригласила войти, а сама ушла в другую половину квартиры.

Мы оказались в комнате, уставленной книжными полками. В глубине через раскрытую дверь виден кабинет, письменный стол, лампа. Сталин стоя разговаривал по телефону. Он вышел к нам, поздоровался, пригласил сесть: «И курите, не стесняйтесь».

Сталин решил в домашней обстановке, спокойно и неторопливо поговорить с нами о положении в партии и расспросить об обстановке в комсомоле.

Он подробно говорил об оппортунизме Зиновьева и Каменева, об их «штрейкбрехерстве» в октябре, брал с полки книги Ленина, зачитывал ленинские характеристики Зиновьева и Каменева. Останавливался на последних ошибках зиновьевцев, на их «вылазках» в ленинградской печати. (Разговор происходил накануне XIV съезда партии.) Он едко высмеивал их отрыв от практики, от жизни, называя их интеллигентами, вельможами, ничего не смыслящими в деревенской жизни.

Далее Сталин раскритиковал Бухарина, снова привлекал ленинские оценки теоретических заблуждений Бухарина. «Досталось» Бухарину и за правый уклон, и за «всегдашнее трусливое примиренчество», и за совпадение его взглядов с настроением Н. К. Крупской, «которая скатывается в объятия оппозиции»...

Казалось, все на своем месте; секретарь партии учит уму-разуму молодых коммунистов, секретарей комсомола. Но Сталин не мог скрыть да и не скрывал своей личной неприязни к названным лицам. Он говорил о них с раздражением. Получалось, что лидеры оппозиции и «примиренцы к ним» — люди конченые, отпетые враги. Сталину заранее известно, что в лоно партии они не вернутся, вопрос их отсечения — лишь дело времени.

Поразил нас заключительный штрих в беседе. Сталин прошел в кабинет, взял со стола картонку, как оказалось, со списком членов и кандидатов ЦК и показал ее нам:

— Абсолютное большинство в ЦК — за генеральную линию партии, оппозиционеров всех мастей — меньшинство. Есть еще незначительная кучка людей, представляющих «болото». Таким образом — все ясно. Оппозиционерам — крышка.

Когда мы собрались уходить, Сталин сказал:

— Я провожу.

Он накинул на плечи меховой пиджак, надел на голову шапку-ушанку и вышел с нами.

Часовому, кремлевскому курсанту, он показал книжечку члена Президиума ЦИК СССР и промолвил:

— Пропустите товарищей, они были у Сталина.

Медленно шли мы домой, в гостиницу «Париж» в Охотном ряду, именовавшуюся тогда Домом Советов.

— Ну как, что скажешь?

— Все бы хорошо, да уж больно он злой...

— Да, их он ненавидит.

— Он для себя, как видно, давно решил вопрос об их судьбе, из ЦК их уберут...

— А список цекистов с пометками: «за», «против», «болото»?.. Организатор он отменный, у него все подсчитано...

— Но Ильич не хотел, чтобы лидер партии обладал такими чертами характера, как грубость, нелояльность к товарищам...

— Он их давно не считает товарищами, он и нам внушает: это — враги, враги, враги...

* * *

26 января 1934 года в Кремле открылся XVII съезд ВКП(б), вошедший в историю партии как «съезд победителей».

Социалистическое хозяйство и культура достигли больших успехов. Любимец партии Киров произнес на съезде вдохновенную речь и воскликнул, говоря о нашем богатырском росте, что хочется жить и жить, радостно строя коммунизм.

Я живо помню, будучи делегатом съезда, атмосферу подъема, царившую на съезде. И все взволнованно приветствовали Кирова, выразившего общее настроение.

Все оппозиции были давно разбиты и лидеры оппозиций признали свое полное поражение и склонили повинную голову перед волей партии и ее дисциплиной, перед единодушием «съезда победителей».

Бухарин говорил о «замечательно правильной генеральной

линии партии» и признал полностью оправданным и неизбежным «беспощадный разгром всех оппозиций и правой оппозиции как главной опасности, т. е. той самой группировки, к которой я когда-то принадлежал».

Он восхвалял руководство «славного фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших — товарища Сталина».

Зиновьев клялся: «Я изжил полностью, до конца, всю ту свою антипартийную полосу, которая привела меня в такое положение отчуждения от партии, в котором я был целый ряд лет. Я понял полностью и до конца те гигантские ошибки, которые я совершил. Это была целая цепь ошибок... особенно в свете моих октябрьских ошибок».

О съезде Зиновьев сказал: «Настоящий съезд есть триумф партии, триумф рабочего класса».

Каменев с трибуны съезда твердил об «эпохе Сталина» и приветствовал его, как «нашего вождя и командира». Свое положение Каменев заклеймил определенным образом: «Я считаю того Каменева, который боролся с партией и ее руководством, с 1925 года по 1933 год, политическим трупом»...

Ломинадзе охарактеризовал Сталина как «великого преемника Ленина».

Преображенский призывал: «Голосуй с товарищем Сталиным — не ошибешься». Осинский пел дифирамбы Сталину — «вождю мирового коммунизма, организатору великих побед».

Томский уверял, что он «готов защищать от начала до конца всю линию партии, каждый ее практический шаг», а о Сталине славословил: «Сталин — великий инженер социалистического строительства, вождь всего рабочего класса».

Киров очень метко отозвался о положении бывших оппозиционеров: «Им очень трудно стать на партийные позиции... Еще некоторое время пройдет, пока вся эта обозная рать вольется в нашу победную коммунистическую армию».

И Сталин мог торжествовать победу. Мог бы...

Но он не чувствовал себя спокойным, пока были физически живы его противники («соперники»), пока жили те, кто работал с Лениным и знал о настороженном, а потом и отрицательном отношении Ленина к Сталину, пока оставались живы старые большевики, которым были ведомы антиленинские ошибки Сталина еще в дооктябрьский период истории партии и которым претило нараставшее восхваление Сталина и безудержно раздувавшийся культ его личности. Он не чувствовал себя спокойным, потому что слишком многим был известен и очевиден

его моральный облик, политическая беспринципность, грубость и жестокость. У Сталина, по-видимому, созрел план последовательного беспощадного уничтожения всех, кто мог помешать его неограниченной власти, кто сомневался или мог сомневаться в правильности его действий, с тем чтобы запугать остальных.

Между тем именно на «съезде победителей» при тайном голосовании нового состава Центрального Комитета фамилия Сталина была зачеркнута бóльшим числом делегатов, чем на предыдущих съездах. Прежде, тем более при Ленине, результаты голосования оглашались на съездах. Теперь завели порядок называть только фамилии избранных.

Члены счетной комиссии, выбранной съездом, видели, как Ежов угодливо потащил к Сталину все бюллетени, отмеченные вычеркиванием его имени. Сталина охватила ярость. Ежов учинил тщетный розыск: кто, кто? А раз невозможно установить кто, под подозрение попадают все делегаты съезда. Кстати, в числе делегатов не было представителей разгромленных оппозиций. Их давно никуда не выбирали.

Тот же Ежов делал на съезде доклад мандатной комиссии. На съезде было 1225 делегатов с решающим голосом и 736 делегатов с совещательным голосом. В числе делегатов с решающим голосом восемьдесят процентов были товарищи, вступившие в партию в годы подполья и гражданской войны (до 1920 года), семьдесят пять процентов делегатов являлись участниками гражданской войны. Подпольщики и члены партии с 1917 года составляли сорок процентов делегатов. Удельный вес коммунистов-подпольщиков и со стажем до 1920 года равнялся десяти процентам, тогда как на съезде эти коммунисты, подпольщики и вступившие в партию в годы гражданской войны составляли восемьдесят процентов и определяли лицо съезда.

И вот во время «съезда победителей» и последовавших за съездом пленумов Центрального Комитета среди части видных деятелей партии и руководителей местных организаций началось обсуждение вопроса о формах освобождения Сталина от поста Генерального секретаря ЦК, о запоздалом выполнении рекомендации В. И. Ленина, данной в «Завещании». Высказывалось предположение сделать Сталина главой правительства — председателем Совнаркома, упразднив пост Генерального секретаря ЦК. В ЦК же создать нормально действующий секретариат, как коллективный руководящий орган, избрав одного секретаря первым секретарем ЦК. В качестве первого

секретаря Центрального Комитета партии дружно называлась кандидатура С. М. Кирова.

Сталин узнал об этих разговорах и предположениях.

Кристально чистый человек, истинный коммунист-ленинец Киров сам честно и доверчиво рассказал ему все. Киров не мог не напомнить Сталину о завещании Ильича, о том, что Сталин не выполняет «завещание», хотя и обещал Центральному Комитету свято следовать указаниям Ленина.

Потрясенный Сталин лицемерно поблагодарил Кирова за информацию.

— Ты оказываешь партии великую услугу, я этого никогда не забуду, — сказал Сталин.

Почти три десятилетия отделяют нас от середины тридцатых годов. Остались в живых немногие участники и свидетели минувших событий.

Весной 1962 года я был в Ленинграде и встречался с товарищами, выжившими после ужасов репрессий, многолетнего пребывания в тюрьмах и лагерях. Репрессии превратили их в преждевременно состарившихся, физически искалеченных людей. Но дух их не сломлен. Они сочли своим долгом довести до сведения Центрального Комитета партии все, что знают об обстоятельствах, предшествовавших убийству Кирова.

Сталин послал в Ленинград некоего Запорожца, назначенного заместителем начальника Ленинградского управления НКВД, и предложил Кирову назначить Запорожца начальником Управления НКВД в Ленинграде. Киров решительно воспротивился:

«Пока я секретарь Ленинградского губкома — этого не будет!»

Запорожец остался заместителем.

А в Москве на заседании Политбюро ЦК Сталин обрушился на Кирова, едва дослушав его сообщение о работе Ленинградского губкома. Сталин обвинил Кирова в «гнилом либерализме» и отсутствии бдительности по отношению к зиновьевцам.

— По данным НКВД, — сказал он, — зиновьевцы ведут подпольную подрывную деятельность. Среди них культивируются и зреют террористические настроения. Зиновьев возглавляет штаб заговорщиков и террористов...

— Неправда, нет этого! — протестовал Киров.

— Если нет, так должно быть так! — отрезал Сталин.

Произошел крупный разговор. Киров подал заявление, по-

ставив вопрос о созыве Пленума Центрального Комитета для обсуждения доклада Ленинградского губкома.

— Если Пленум Центрального Комитета не одобрит линию и деятельность губкома, я не смогу оставаться секретарем Ленинградской организации, — сказал Сергей Миронович.

Вернувшись в Ленинград, Киров информировал о случившемся и о своем заявлении членов и кандидатов ЦК, работавших в Ленинграде.

Ко всем этим членам и кандидатам ЦК по указке Сталина посылаются ответственные работники НКВД с ловко подобранными «фактами» подрывной деятельности оппозиционеров-заговорщиков.

В кабинете Петра Смородина, секретаря Петроградского райкома, члена бюро губкома и кандидата в члены ЦК, произошла характерная сценка.

— Что ты мне подсовываешь пинкертоновщину какую-то! Разве у вас нет другой работы, что вы стали заниматься всякой ерундой?

— Полегче в выражениях, — надулся представитель НКВД. — Нам известно, какое значение сам товарищ Сталин придает нашей работе и нашей информации.

— Ну, значит, и Сталин занялся пинкертоновщиной! — прервал разговор Смородин.

В роковой день 1 декабря 1934 года Киров заехал в Смольный перед тем, как идти на собрание актива во дворец Урицкого. Смородин, шедший к Кирову, как и другие члены бюро губкома, до начала заседания, услышал выстрел, за ним — другой, помчался к кабинету Мироныча. Он застал группу в несколько человек и схваченного Николаева, исполнителя злодеяния, симулировавшего вторым выстрелом попытку самоубийства.

Кирова положили на письменный стол. Он был мертв...

Со стесненным сердцем смотрел я в квартире-музее Мироныча на фуражку, пробитую, опаленную пулей, со следами крови незабвенного любимца партии и народа...

Организаторам убийства понадобилось убрать свидетелей: сначала убили начальника охраны Кирова, потом уничтожили тех, кто убил начальника охраны. Что касается «главного свидетеля» — самого Николаева, то, когда ему объявили приговор о расстреле, он истошным голосом завопил: «Обманули, обманули!..» Понятно, не расстрелом прельщали этого мерзавца злодеи, пославшие его на убийство.

Арестованный и обвиненный в связи с Николаевым зиновь-

евец Катальнов, бывший член бюро ЦК ВЛКСМ, на следствии и при объявлении приговора неизменно твердил, что Зиновьев и зиновьевцы никакого отношения к убийству не имели и он отвергает всякую вину зиновьевцев.

— Не виновны, не убивали, не замышляли! — кричал Катальнов.

Сталин открыл страшную полосу массовых расправ над ни в чем не повинными людьми, терроризируя партию и страну. Приходилось слышать: убийство Кирова толкнуло Сталина на репрессии. Определенные ответные меры были бы, естественно, приняты по отношению к действительным виновникам, причем если бы это были зиновьевцы. И при этом — в рамках возмездия и кары к действительным виновникам.

Но Сталин инсценировал убийство Кирова зиновьевцами и затем использовал им же инспирированное злодеяние как предлог для массовых арестов. Гнев и возмущение масс, ошеломленных преступлением, Сталин очень хитро и коварно использовал, направив негодование масс на «врагов народа», которых «для удобства» в дальнейшем объединили общей вывеской — «правотроцкистские заговорщики».

Шагая по трупам жертв собственного произвола, Сталин, этот искусный актер, разыгрывал роль скорбящего об утрате друга, точно так же как он шел пешком по улицам Москвы до кладбища за гробом своей жены Аллилуевой, которую сам довел до самоубийства...

В Ленинграде началась «чистка от зиновьевцев». Тюрьмы были переполнены. Начались расстрелы... Не отдельными вагонами, а целыми эшелонами отправлялись невинные жертвы в наспех создаваемые лагеря и на поселение в отдаленные районы страны. Осиротевших детей, безжалостно лишенных родителей, посылали в детские дома.

Как и кто определял эти контингенты гонимых и несчастных, зачисляя их без всяких оснований в разряд «врагов народа»? Только и монопольно — аппарат НКВД, поставленный Сталиным над партией и над народом и превращенный в гонителей и палачей народа.

Масштабы репрессий становились огромными и повсеместными, работники НКВД, поощряемые Ежовым, а за ним — Берией, «соревновались», кто больше посадит людей в тюрьмы и лагеря, наконец, аресты приняли такие размеры, что и сейчас недостает решимости назвать вслух астрономические цифры...

Последовавшие затем годы отмечены политическими про-

цессами против бывших лидеров различных оппозиций. Режиссером всех процессов был Сталин, практическими выполнителями его замыслов — Ежов и Вышинский.

Ежова я наблюдал ряд лет, когда работал секретарем Центрального Комитета комсомола и в аппарате Центрального Комитета партии заведующим сектором партийного строительства. Это были годы 1925—1931.

Ежов не раз хвастался в узком кругу, что обратил на себя внимание Сталина тем, что во время дискуссии с троцкистами ударил по лицу члена ЦК Сокольникова. Подобный «радикализм» местного семипалатинского работника из далекого Казахстана пришелся по душе Сталину. Ежов был взят в аппарат ЦК партии и скоро стал всесильным в подборе и расстановке руководящих кадров как заведующий отделом ЦК и самый близкий к Сталину деятель аппарата. Морально это был опустошенный человек, пьяница и наркоман, читавший только служебные бумаги, и то лишь самые важные и адресованные Сталину.

Вышинский был карьеристом и политическим приспособленцем, сделавшим карьеру на смертных приговорах и политических процессах. Мне пришлось ездить с ним в Среднюю Азию в составе бригады Центрального Комитета партии по заготовкам хлопка в 1931 году. И в пути, и на месте его облик стал нам быстро очевидным: барин и демагог.

Р. С. Землячка, легендарная большевичка, член Президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б), на заседании Оргбюро ЦК партии, кивая в сторону Вышинского, сказала мне: «Не могу равнодушно видеть этого мерзкого меньшевика! Почитайте, Мильчаков, в историческом журнале (она назвала точно в каком) документы об Октябрьской революции в Ташкенте. Этот член ЦК меньшевиков, будучи их представителем в Ташкентском городском Совете, с пеной у рта выступал против большевиков. Вряд ли он доволен поручением поехать сейчас в Ташкент...»

Вышинский был тогда ректором Московского университета.

«На ловца и зверь бежит». Надо же было именно Вышинского поставить на высокий пост Генерального прокурора СССР!

Сталину был нужен именно такой прокурор для задуманных им черных дел и для серии сфабрикованных политических процессов.

Не просто политический хамелеон, а первоклассный дема-

гог, выдающийся казуист, личность, лишенная всяких моральных принципов.

Все процессы были состряпаны по одному шаблону. Получить (и выбить) «признания» подсудимых, заставить их «полностью разоружиться», расписаться в преступлениях, им приписанных, обещать «за эту цену» не лишать их жизни, а затем все-таки расстрелять.

В архивах обнаружены документы, написанные лично Сталиным. Сталин сам «формировал» оппозиционные центры, по своему усмотрению вписывал в число членов этих центров одни фамилии, вычеркивал другие, отдавал приказания, кого из подсудимых «бить и бить», у каких лиц «получить показания во что бы то ни стало»... А сколько аналогичных указаний отдавалось им устно! Он определял, какие вымышленные обвинения приписать подсудимым, Ежов и Вышинский, его способные ученики и подручные, лихо перевыполняли задания.

Так называемое «дело Косарева» является также клеветническим процессом, устроенным над руководителями комсомола.

«Технология» процесса шла по одной и той же схеме. Сначала были арестованы два секретаря ЦК ВЛКСМ — Салтанов и Горшенин, а в ряде областей — секретари областных комитетов комсомола, например, в Ростове-на-Дону — член ЦК ВЛКСМ Ерофицкий.

Часть из них, в том числе Горшенин, не выдержала избиений и подписала угодные «следствию» показания. Эти заведомо неправильные, вымученные показания и легли формально в основу обвинения Косареву и секретарям ЦК комсомола. Следователи НКВД настолько уже не стеснялись, что заставляли избитых арестованных подписывать всякую нелепицу, лишь бы было «похлестче»: «сеть террористических троек» в ЦК и обкомах комсомола, возглавляемая первыми секретарями комсомольских комитетов, «подготовка взрыва на трибуне Мавзолея, когда там будет Сталин» вместе с секретарями ЦК комсомола во время юношеского праздника и т. д. Бредовый характер, нелепость подобных обвинений очевидна всякому умственно не поврежденному человеку. Тем не менее эта дикая галиматья с серьезным видом оглашалась на пленуме ЦК комсомола.

Пленум Цекамола был созван в конце ноября 1938 года.

На пленум явились Сталин, Молотов, Жданов, Шкирятов, Мехлис, Поскребышев. Открыл пленум секретарь ЦК партии Жданов, чем было уже заранее подчеркнуто политическое

недоверие секретарям ЦК комсомола. С докладом «о вражеской деятельности в комсомоле» выступил руководитель Комиссии партийного контроля недоброй памяти Шкирятов, усердный штамповщик всех беззаконий.

Затем слово взял Жданов, оглашавший материалы НКВД и «показания» арестованных.

Определенную гнусную роль сыграли отвратительные кляузы карьеристки Мишаковой, инструктора ЦК комсомола, ставшей после пленума секретарем Центрального Комитета ВЛКСМ. Мишакова потом афишировала свою близость к Берии и долгое время держала в страхе работников Цекамола, пока они не избавились от нее под предлогом несработанности. Сталин предложил назначить ее ответственным инспектором ЦК партии и изрек при этом, в назидание цекамольцам: «Мишакова оказала большие услуги Центральному Комитету партии, она — лучшая комсомолка СССР»(!).

После XX съезда эту «лучшую комсомолку» исключили из партии за клевету.

Но вернемся к пленуму ЦК ВЛКСМ.

Жданов, Шкирятов и ряд выступавших комсомольских работников требовали от Косарева и других секретарей Цекамола:

— Расскажите, как вы потеряли бдительность, якшались с врагами, секретарями областных комитетов, рекомендовали врагов, вскоре разоблаченных и арестованных органами НКВД, зажимали критику, политически разложились. Кайтесь, мы вам не верим, признайтесь, что у вас камень за пазухой против партии и ее руководства...

Косарев выступал дважды, клялся в верности партии, отвергал обвинения во вражеских замыслах и вражеских действиях. Но на пленуме царила всеобщая подозрительность и самая безответственная черная клевета. Объяснения подозреваемых во внимание не принимались, их просто не хотели слушать. К тому же Сталин всем своим видом и репликами дал ясно понять присутствующим, что он пришел на «похороны» Центрального Комитета комсомола данного состава. Судьба руководителей комсомола была предрешена.

Во время выступления одного секретаря местного комитета, сказавшего, что «Косарев до сих пор не может понять всей глубины своих ошибок», Сталин небрежным тоном бросил реплику:

— Не не может, а не хочет!

Следует сказать и о неслыханной, бесстыдной обстановке

на пленуме центрального органа молодежной организации.

Вторая половина присутствовавших на пленуме состояла из агентов Берии. К каждому комсомольскому работнику был приставлен соглядатай, следовавший по пятам и не спускавший глаз с подопечного. Ребята это поняли, говорили друг другу...

Охваченный нетерпением и лихорадкой массовой расправы над комсомольскими работниками, проголосовавшими на глазах «судей» за снятие с постов Косарева и других секретарей и членов бюро ЦК ВЛКСМ, палач Берия начал «хватать» несчастных, не дожидаясь закрытия пленума. Так было с заведующим оргинструкторским отделом ЦК Герцовичем и другими.

После окончания пленума были арестованы секретари ЦК Косарев, Андреев, Файнберг, Лукьянов, Пикина, Чемоданов и почти все, за единичными исключениями, члены и кандидаты ЦК ВЛКСМ и многие секретари областных, краевых и республиканских комитетов комсомола.

Все произошло «в манере Сталина» — уничтожить вместе с секретарями Цекамола и тех, кто голосовал за их снятие, убрать побольше свидетелей, а в оставшихся вселить страх и трепет.

Знал об этом Сталин? Конечно, знал. Больше того, он утвердил эту массовую акцию. Да Берия в таком масштабе ее и не проводил бы, не получив одобрения Сталина.

В канун 1 мая 1939 года я в качестве арестанта оказался в Бутырской тюрьме. Надзиратель втолкнул меня в большую камеру, в которой копошилось более ста человек на нарах, на полу, в проходах. Я остановился в нерешительности, куда податься, где присесть.

Ко мне подошел молодой человек, небритый, беспоясый, в каких-то шлепанцах.

— Саша, проходи в наш комсомольский угол, — сказал он. — Разреши представиться: староста камеры, бывший заместитель заведующего оргинструкторским отделом ЦК ВЛКСМ.

Я повеселел. И тут своя среда, свои люди. Навстречу с нар глядели на меня двадцать юношей — «однодельцы Косарева».

Среди товарищей были члены ЦК и ревизионной комиссии, работники ЦК комсомола и «Комсомольской правды»: Диментман, Егорушкин, Ежов, Борзов, Вольберг, Тетерин, Андреев, Гольдфарб, Огненный, Буденный, Коваленко, Козлов, Захаров, Москаленко, Румер, Перельштейн...

Устроили меня ребята поудобнее, чтобы не было видно головы «в глазок», к которому постоянно прижимался надзиратель, — и начались нескончаемые разговоры.

За период следствия (декабрь—апрель), попадая в разные камеры, ребята смогли установить, кто из участников пленума арестован. Выходило: почти все...

Через полгода, в промозглый день, типичный для поздней осени в Норильской тундре, встретился я на угольной шахте «Шмидтиха» с женой Косарева — Марией Нанейшвили. Ее в группе заключенных-женщин пригнали на углесортировку. Я надрывался тогда откатчиком в штольне. Мария Викторовна рассказала, как арестовывали Косарева и ее. С вечера в квартире шел обыск. К ночи приехал Берия, стал торопить сотрудников, предложил Косареву «собираться», сказал Марии Викторовне, что можно взять с собой арестованному.

Обезумевшая от горя бедная женщина обняла своего мужа, стала кричать:

— Не пущу, не дам! Лаврентий Павлович, он же ни в чем не виноват!

Мерзкий палач, поблескивая стеклами пенсне, тут же нашелся:

— Что ж, поедем с нами, я при тебе выясню, в чем его обвиняют.

Обрадованная женщина быстро оделась. Берия уехал первым. Потом увезли Косарева. В третьей машине поехала Мария Викторовна с агентом.

...Ее втолкнули в комнату, сразу сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Очнулась она в тюремной камере. На седьмой день «догадались» взять ее подпись в ордере на арест, «оформили» еще одну заключенную.

— Представьте, Саша, голова идет кругом, — говорила мне на шахтном дворе черная от угольной пыли Мария Викторовна, вытирая слезы, оставлявшие светлые бороздки на лице. — Следователь меня донимал: расскажи, как Косарев боролся против правильной линии Мильчакова в Центральном Комитете ВЛКСМ, напоминая речь Сталина на VIII съезде комсомола, когда тот сказал, что «косаревцев» и «соболевцев» в комсомоле сколько угодно, а марксистов приходится днем со свечкой искать»... А в это время и вы были уже арестованы. В НКВД уже не успевают следить за арестами, вот мой следователь и зарапортовался...

— Скажите, Саша, — спешила она спросить, — как, по-вашему, жив мой Саша или нет?

У меня не повернулся язык высказать предположение о конце...

Косарев был расстрелян сразу после смертного приговора. Он использовал право осужденного обратиться в ЦИК СССР с просьбой о помиловании. Его заявление Берия даже не счел нужным пересылать в правительство и отдал приказание привести приговор в исполнение.

Заявление Косарева найдено в архиве Берии. Об этом сообщили Марии Викторовне в Прокуратуре Союза в 1954 году, когда она вернулась в Москву и ее известили о посмертной реабилитации мужа.

Несколько позднее пленум Центрального Комитета ВЛКСМ отменил решение ноябрьского пленума Цекамола (1938), возводившее на Косарева и других товарищей поклеп, продиктованный Сталиным по сфабрикованным в НКВД «материалам».

Я стою столбом в комнате помощника начальника следственной части НКВД Мешика. Глубокая ночь. Мешик часто выходит, тогда в дверях появляется молодой чекист — практикант, слушатель курсов НКВД. Нестерпимо хочется спать. Вот Мешик снова вернулся. Курсант исчез.

Лейтенант Мешик развалился в кресле, задрав ноги на стол. Рядом с письменным прибором удобно пристроена резиновая дубинка, заимствованная у берлинской полиции. Недавно туда ездила делегация сотрудников НКВД, видимо, «для обмена опытом». Мешик время от времени берет в руки дубинку и играет ею. Она такая гладкая, отполированная, с удобной рукояткой.

Мешик сделал понюшку из маленького флакончика. Глаза его заблестели. Он даже громко чему-то рассмеялся.

Сегодня Мешик «философствует»:

— Такие, как ты, отжили свой век, хоть ты и не старый. Вы цепляетесь за жалкие побрякушки советской и партийной демократии, самокритики. Кому, к черту, они нужны? Вы не поняли изменившейся обстановки. Нужен обновленный, новый режим и прежде всего твердая власть, возглавляемая сильным «хозяином». Пришла эпоха Сталина, а с нею — и новые люди, занимающие все позиции в аппарате. В авангарде новых кадров идет гвардия Сталина, чекисты. И мы сметем всех, кто нам мешает или может стать помехой.

Я вглядывался в самодовольное, возбужденное лицо лейтенанта, вслушивался в его речь. Становилось жутко. Такой не дрогнет «убрать помеху», убить кого угодно...

— Если хочешь знать, мы, чекисты, — партия в партии. Мы

вычистим из рядов партии половину всякого хлама, вроде так называемой «старой гвардии» и лиц, связанных со стариками, со взглядами вчерашнего дня. Около миллиона людей, состоявших в партии, мы уже, наверно, вытряхнули. Об этом на днях будет сказано в отчете Центрального Комитета XVIII съезду партии. А остальные будут перевоспитаны. Они пойдут за нами, за Сталиным, как миленькие. Они займут ваши места во всех аппаратах и будут дорожить оказанным им доверием.

Мешик вызвал сотрудницу. Она принесла ему чаю с лимоном. Позвякивая ложечкой, он продолжил свои «поучения».

— Вот ты сидишь в тюрьме, будешь расстрелян или сгниешь в лагере. По директиве Инстанции вашему брату Военная коллегия лепит кругленькие приговоры: пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет. Трижды можно подохнуть, не на курорт поедете... Ты твердишь: «Я ни в чем не виноват». И я знаю, ты не совершал никаких преступлений. Но тебя надо убрать, ты нам не нужен. И я никогда не скажу, что ты не виновен, так как не хочу сесть на твое место. К тому же Каганович, да что Каганович, — сам Сталин благословил твой арест. Тут уж железная логика: либо ты, либо я. Понял? Песня твоя спета. Аминь. Можешь поблагодарить меня за ночку...

— То, что я слышу, кощунство! Так не будет! — протестую я.

Мешик нажал кнопку. Меня грубо взял за руку появившийся надзиратель внутренней тюрьмы НКВД.

— Уведи этого дурака, — захохотал Мешик.

Этот лейтенант сделал при Сталине блестящую карьеру, стал правой рукой Берии, министром госбезопасности Украины, получил несчетное количество орденов, дослужился до чина генерал-лейтенанта.

В заявлениях же из лагеря, посылавшихся в течение долгих шестнадцати лет заключения в Центральный Комитет партии, в Верховный Совет, в Прокуратуру и Верховный Суд, я ссылался на эти слова Мешика: «Мы, чекисты — партия в партии», «Знаю, ты ни в чем не виноват, но тебя надо убрать», «Не хочу сесть на твое место...» Результат всегда был неизменным, вплоть до 1954 года: «Оснований к пересмотру дела нет», «Жалоба оставлена без удовлетворения...»

Чего добился Сталин, поставив НКВД над партией и народом?

Он задушил свободное волеизъявление в партии и до конца своих дней на земле утвердил свою личную диктатуру в стране.

Только «после смерти Сталина... сложившееся внутри Центрального Комитета партии ленинское ядро руководящих деятелей, которые правильно понимали насущные вопросы как внешней, так и внутренней политики... повело решительную борьбу с культом личности, с тем, чтобы ликвидировать его тяжелые последствия и расчистить путь для быстрейшего продвижения нашей страны к коммунизму». («Правда», статья к 80-летию со дня рождения Сталина.)

Он утверждал свою необъятную власть, опираясь на берия и мешиков всех рангов, а также на своих оруженосцев и трубадуров в лице Кагановича, Маленкова, Молотова и других.

До какой грани политического падения надо дойти, чтобы угодливо предложить заменить ленинизм «сталинизмом» как теоретическим учением. Это предложение хамелеона Кагановича даже Сталин отверг. Сталин понимал, что ему приходится прикрывать свои действия знаменем Ленина.

Именно Каганович старался первым крикливо возглашать: «Сталин — корифей наук», «Сталин — великий машинист локомотива революции» и т. п.

Всякие события, в том числе даты возраста Сталина, являлись поводом для безудержного его восхваления. Тут уж прямо «соревновались» в расточении льстивых эпитетов!

Сверху вниз, по команде, шли шпаргалки: как выступать, как начинать речи и доклады, как их заканчивать.

В этой обстановке раздолье было подхалимам и карьеристам, чиновным душам и перестраховщикам. «Ах, его арестовали? Значит, так и надо. НКВД борется с врагами, НКВД знает, что делает. Если арестованный сам не враг, значит, запутался в связях с врагами или сболтнул что-нибудь лишнее...»

Сочинители доносов прикрывали свою мерзость словами о том, что «всякий коммунист должен быть чекистом», сказанными в первые годы революции, когда чекисты Дзержинского боролись с действительными врагами.

Партийная дисциплина стала средством голого принуждения, независимо от того, правильно или нет действие бюрократа, сидящего на руководящем посту. Политическая бдительность обращалась не по отношению к врагам, а по отношению к товарищам по партии, к советским людям.

Партийной непримиримостью прикрывались репрессии к допустившим случайную ошибку или даже обмолвку. Появилось ходкое выражение: «Его проработали». И опять подобные действия получали этикетку «борьбы за большевистскую запятую...»

Работники разных аппаратов стали говорить о Сталине — «хозяин». Им нравилось, щекотало мещанское самолюбие, когда их самих в их вотчине тоже величали: «хозяин», «так велел хозяин».

По примеру Сталина грубый окрик и командование ввели в оборот многие деятели в центре и на местах. Грубость даже стали восхвалять, грубостью и унижением достоинства людей принялись прямо «кокетничать». Грубая брань, хамство стали стилем поведения многих бюрократов.

Работе людей стал сопутствовать страх. «Не смей критиковать начальство, держи язык за зубами и проживешь благополучно».

Сталин, конечно, сознательно подкупал и развращал руководящие кадры. Он одаривал их крупными денежными окладами, премиями, бесстыдными подачками — так называемыми «конвертами» со вторыми окладами, персональными машинами, роскошными квартирами и дачами, привилегированным снабжением в «закрытых» магазинах и столовых, бесплатными путевками в санатории-дворцы и т. п.

Это углубляло разрыв между руководителями, большими и маленькими, и народом. Это ставило работников в зависимость не от народа, не от коллектива, избирающего своих вожаков, а от «хозяина» сверху, от его произвола. Поэтому угождай начальству. Ты же не хочешь лишиться всех, связанных с руководящим положением, привилегий.

Так создавалась «номенклатурная знать».

Знай Ленин о таких фактах, он с негодованием обрушился бы на «совбуров», усвоивших замашки бар и оторвавшихся от простых людей.

Разве терпимо в рядах партии, ведущей страну к коммунизму, иметь рядом людей с немыслимыми, более чем тысячными ставками заработной платы и работниц-матерей, зарабатывающих сорок рублей в месяц!

Многие отвратительные явления — наследие нравов сталинского времени — бытуют еще и теперь в нашей жизни. Партия не может ослаблять борьбу с последствиями культа личности, развратившего умы многих...

В 1930 году я ездил по поручению ЦК партии в Каракалпакию, провел там несколько месяцев. Любопытно, что впервые приехал в эту забытую область представитель ЦК из Москвы. Вернулся, внес в ЦК на имя Сталина записку «О хозяйственном и культурном отставании Каракалпакии». Докладывал Сталину. Он распорядился посвятить заседание Оргбюро

ЦК моему докладу о Каракалпакии. Тогда же было решено построить в этой далекой окраине ряд предприятий, открыть медицинское и педагогическое училища для подготовки местных кадров, улучшить судоходство на Амударье, преобразовать область в автономную республику, перенести ее столицу из разрушаемого Амударьей Турткуля в новое место — Нукус.

В 1932 году в составе комиссии ЦК вместе с заместителем наркома тяжелой промышленности Серебровским и членом ЦКК ВКП(б) Араловым я объехал золотые прииски Урала, Сибири и Дальнего Востока, включая Лену и Алдан, изучая состояние добычи золота на местах и разрабатывая меры по подъему золотой промышленности для внесения их в ЦК и правительство.

Здесь мы сблизились с замечательным большевиком-ленинцем Г. К. Орджоникидзе, командармом индустрии, как его часто называли. Конечно, мы встречались и раньше, когда я работал в ЦК комсомола и в ЦКК.

Я опять докладывал о делах Сталину, на этот раз в присутствии Серго. Орджоникидзе выступил инициатором привлечения молодых партийных работников к хозяйственной деятельности. Так и я на ряд лет стал хозяйственником.

После годичной работы в Иркутске, где было создано всесоюзное объединение «Востокзолото», наступил трехлетний период моей работы директором золотопромышленного комбината в Забайкалье — «Балейзолото».

На заседании Политбюро Сталин предложил мне на выбор — стать директором «Лензолото» или «Балейзолото». Там — золотые прииски, разрабатываемые сто лет, тут — рудники, недавно открытые советскими геологами. Я выбрал Балейские рудники, к этому же склонял меня старый товарищ, секретарь крайкома партии в Иркутске Ф. Леонов. (Погибший, как и все секретари крайкомов и обкомов, в тюрьмах НКВД.)

Серго был очень доволен, что я иду директором предприятия.

— Начинай, голубчик, управлять хозяйством снизу, — говорил он, — поработай засучив рукава. Дело пойдет.

Серго, как, впрочем, и Сталин, знал, что в кремлевской больнице третий месяц лежит моя Маруся, только-только начавшая выкарабкиваться из смертельно опасного положения «приговоренной» туберкулезницы. Детей вместе с няней Серго распорядился поместить на дачу Наркомтяжпрома в Томилино.

...Я поехал в Забайкалье. Через два года, к началу 1935

года, добыча золота на Балее была учетверена, две действовавшие золотоизвлекательные фабрики расширены, вошла в действие новая большая фабрика. Добыча руды была целиком механизирована. Рабочий поселок Балей решением ЦИК СССР был преобразован в город, в нем было уже около сорока тысяч жителей.

Серго представил меня к ордену Ленина и затем поздравил с наградой.

Я регулярно приезжал в Москву на пленумы ЦК и ЦКК, на партконференции и съезды, на совещания в Главзолото и Наркомтяжпром. И неизменно встречался с Серго. Он всегда ласково принимал, терпеливо выслушивал и оказывал предприятию самую различную помощь. Так, например, он «сосватал» труппу театра Вахтангова поехать летом на Балей, и у нас выступала эта прекрасная труппа во главе с замечательными артистами Щукиным и Захавой.

Осенью 1935 года Серго помог получить согласие Сталина на мое поступление в Промышленную академию, так как, продолжая работать в хозяйстве, нужно было получить инженерно-техническую подготовку. Сталин при этом сказал: «Долго не проучитесь. Заберем на работу».

Так и вышло. В 1937 году я был назначен начальником Главзолота вместо арестованного Серебровского. Но об этом — после. Сейчас разговор о незабвенном Серго.

Итак, я усердно учусь, веду партработу в академии, избран парторгом факультета, членом парткома и Бауманского райкома партии. А время было напряженное, начались аресты деятелей оппозиции, видных хозяйственников, поползли разговоры о вредительстве.

Раз позвонил мой друг, организатор Якутского комсомола, бывший член ЦКК ВКП(б), работник РКИ Степан Васильев. Он был в числе первых молодых революционеров — якутов, привлеченных в партию товарищами Ярославским и Орджоникидзе, отбывавшими ссылку в Якутске.

Васильев предложил мне поскорее приехать к нему. Приглашение прозвучало необычно. Степан отличался спокойствием и выдержкой.

В тот же вечер я был у него дома. Степан позаботился, чтобы нам никто не мешал, и приступил к рассказу.

Некоторое время тому назад вызвал его Сталин, предупредил, что дело сугубо важное.

— Вас любит Серго еще со времен его ссылки, я знаю — сказал он. — Так вот, пойдите к Серго, почитайте ему мате-

риалы НКВД о вредителях, о Пятакове, Ратайчаке и других и убедите подписать санкцию на их суд и расстрел.

— Мне известно, Серго болен,— ответил Васильев.— Есть указание не тревожить его.

— Вам можно. У вас может возникнуть вопрос: почему сами члены Политбюро его не убедят? Мы с ним говорили. Скажу по секрету: он упрямится. Но он же нарком тяжелой промышленности, Пятаков — его заместитель. Без подписи Серго наше решение не может состояться.

— А если Серго меня прогонит, не захочет слушать?

— Не прогонит, зачем пустяки говорите? Наоборот, он задумается. То члены Политбюро его убеждали, а тут пришел партийный работник, в прошлом его ученик, по долгу службы своей в Комиссии советского контроля изучивший материалы о вредителях, и от себя говорит ему: мало расстрелять таких мерзавцев! Поняли? От себя, без ссылок на нас.

— Серго догадается, спросит: «Сталин тебя послал?» Как отвечать?

— Подумайте, как ответить. Важен сам разговор. Нажимайте на Серго от себя, как партиец, как государственный контролер, наконец...

После дополнительного инструктажа, получив у Сталина папку с материалами НКВД, Васильев отправился к себе, изучил материалы и пошел к Орджоникидзе. Больной Серго приветливо принял Степана. Когда Васильев начал говорить о вредителях и читать материалы НКВД, Серго помрачнел, потом перебил его:

— Не верю! Чувствую, тут что-то не так. Не верю. Выходит, мы забыли все, чему учил Ленин, не умеем распознать врагов, пригрели на своей груди змею? Как же я работал рядом с Пятаковым, ежедневно встречался и не разглядел, как он подкапывается под Советскую власть! Не могу понять, не может быть. Я не увидел, не почувствовал чутьем большевика, а Ежов и его агенты узнали и разоблачили? Да как же я в глаза людям смотреть стану, старый я тюфяк, черт возьми! Не могу подписать, не верю. Не так это просто!

Васильев видел слезы на глазах Серго, понял, как он страдает, переживая случившееся. Васильев ушел, не добившись успеха в выполнении сталинского поручения.

Сталин молча выслушал сообщение Васильева, сухо его поблагодарил. Через несколько дней заставил Васильева вторично пойти к Орджоникидзе с той же миссией и с дополнительными материалами НКВД в виде показаний арестованных...

Вскоре все мы были потрясены сообщением о смерти Г.К. Орджоникидзе. В группе товарищей стоял я у гроба Серго. Мы не знали тогда, провожая умершего, что он сам ушел из жизни. Мы верили официальному сообщению.

Да, Серго сам оборвал свою жизнь: не вынес самовластия Сталина. Он видел и осуждал культ его личности и творившиеся беззакония, понимал, что Сталин грубо надругался над ленинскими заветами, что никакого действительно коллективного руководства в ЦК нет и в помине.

Перед Орджоникидзе были два пути. Первый — открыто выступить против Сталина на пленуме ЦК. Такой пленум предстоял. Сталин навязал Серго доклад на пленуме о ликвидации последствий вредительства в тяжелой промышленности. Серго готовился к пленуму, будучи больным, делал наброски своих соображений.

Зинаида Гавриловна, его жена, помнила, что на столе в комнате Серго лежали исписанные им листы бумаги.

Словом, первый путь заключался в открытом выступлении против Сталина. Серго отдавал себе отчет в том, что при необъятной власти Сталина и НКВД он был бы схвачен немедленно, тут же, на пленуме, «предан анафеме» и уничтожен.

Серго стоял перед выбором: пусть был бы уничтожен только он, успевший сказать свое слово. Но ведь Сталин, Ежов, Берия устроят новую «Варфоломеевскую ночь» и растерзают многие тысячи невинных по признакам близости и солидарности с Орджоникидзе. Они изобразят еще один вражеский заговор против Сталина и еще больше терроризуют народ...

Оставался второй путь: уйти из жизни, не желая нести ответственность за злодейства Сталина, выразить самоубийством протест против политики Сталина и зловещего культа его личности.

В последние дни перед смертью Серго поведал свои мысли верному другу. Друг удерживал его от «крайностей»...

Серго выбрал второй путь. Он застрелился.

По звонку Зинаиды Гавриловны, сообщившей о смерти, в комнату Серго пришел Сталин вместе с членами Политбюро ЦК. В квартире сновал Ежов. Была продиктована версия о причинах смерти вследствие обострившейся болезни. Вызвали врачей.

Когда все ушли, листки с записями Серго исчезли — стол был пуст.

В траурные дни гроб с телом Серго находился в Колон-

ном зале Дома союзов. Зинаида Гавриловна была там же. В ее отсутствие в квартире был проведен тщательный обыск, ищейки Ежова изымали любой листок с пометками рукой Орджоникидзе.

Потом и сама Зинаида Гавриловна, как и другие родственники Г. К. Орджоникидзе, пострадали. Что касается судьбы Степана Васильева, скромнейшего и честнейшего коммуниста, то о ней я узнал много позднее, в 1954 году, когда вернулся в Москву из Магадана. Жена друга Васильева — Ивана Ивановича Короткова, бывшего члена ЦК и Президиума ЦКК, рассказывала Марусе, как плакал Иван Иванович, бессильный протянуть руку Степану, сумевшему переслать Короткову записку — мольбу из лагеря:

«Меня били, издевались надо мной, растоптали мои очки, я почти ослеп и совсем ослабел. Помогите, помогите»...

Я встретился с женой Степана. Она стала психически больным человеком.

Массовые аресты в стране продолжались. Я сообщал райкому и парткому об арестах друзей и товарищей, с кем работал: членов ЦК ВКП(б) Леонова и Разумова, секретарей областных комитетов партии Курганова, Голуба, Холохоленко, секретаря Московского комитета Корытного и других. На Балее арестовали группу работников. Секретарь райкома оттуда прислал в Москву письмо о том, что я работал с арестованными «вредителями», значит, их «покрывал». Директор комбината, сменивший меня на Балее, счел нужным прислать в НКВД и в Московский комитет пространное послание, обвиняющее меня во «вредительском хищничестве» при разработке месторождения.

Секретарь Бауманского райкома Зодионченко (приставивший к своей фамилии «украинское» окончание, за что потом получил выговор) делал тогда, как и многие, карьеру на травле честных коммунистов. Он быстро внес на пленум райкома требование вывести меня из состава членов райкома, как «потерявшего доверие»... Вывели, конечно, хотя многие недоумевали, переглядывались, многие опускали глаза.

Потом второй секретарь райкома Гутин (начинавший работать в комсомоле, когда я был секретарем Цекамола) явился на заседание парткома Академии, чтобы вывести меня из состава парткома. Вывели, конечно, хотя товарищи вслух высказывали свое недоумение. Сомневавшихся вызывали в райком поодиночке и говорили по секрету: «Его надо исключить из

партии, а то он будет арестован с партбилетом». При этом многозначительно покачивали головами.

На партийном собрании Академии секретарь райкома, увидев, что мое выступление произвело впечатление на товарищей и за исключение меня из партии поднимается не так уж много рук, попросил переголосовать и сам принялся подсчитывать голоса, подгоняя: «Смелее, смелее голосуйте!» Исключили.

Поздним вечером пешком возвращался домой. Подхожу к дому, издали вижу в освещенном окне фигуру Маруси. Ждет. Она уже пришла с собрания своей институтской парторганизации. Ее исключили «за связь с мужем, разоблаченным и исключенным из партии»... Оперативно!

Маруся боялась не дождаться. Думала: арестуют по дороге.

Бессонная ночь. Пишу заявление в ЦК, в Московский комитет, пишу и о себе, и о Марусе.

Заболела дочка. Отправился утром за лекарством в кремлевскую аптеку, к которой был прикреплен. Лекарство не дали: «Вас открепили»... Дичь какая! Ну, нравы! Горько было сознавать, что всего этого не должно быть, что ты беспомощен.

Райком же торопится утвердить исключение из партии на заседании бюро. Вызван. Прощаюсь с Марией.

В приемной райкома сидят уже десятка три скорбных фигур, с тоской в глазах. Они будут с мольбой говорить о своей честности и невиновности. Их холодно выслушают и все равно исключат. Автоматически. Не вникая в существо дела, не задумываясь над судьбой коммуниста. «Проявляя бдительность». Вот что ужасно! Вот к чему привели культ личности и политика массовых репрессий!

Я сел с краю. Вдруг какая-то беготня, суматоха прервала заседание. Меня зовут к телефону в кабинете секретаря, откуда удалились заседавшие. У телефона Каганович:

— Вас уже вызвали в райком? Поспешили. Прошу приехать ко мне сейчас же.

Еду в машине с секретарем парткома Академии Козловым и директором Коробовым. Ставший первым секретарем райкома Гутин поехал отдельно. Зодионченко уже в Кремле — заместитель председателя Совнаркома РСФСР.

У Кагановича произошел интересный диалог, часть которого стоит воспроизвести.

— Когда нам, секретарям ЦК, стало известно, что в Ака-

демии исключен из партии Мильчаков, товарищ Сталин предложил немедленно выяснить в чем дело. — Каганович повернулся к Гутину и Козлову. — Мильчакова отлично знает ЦК. Вам известно, что он был членом ЦКК ВКП(б), секретарем ЦК ВЛКСМ? Как же вы могли его исключить, не посоветовавшись с ЦК?

— Он сам признал, — пробормотал Гутин, — что его другом был арестованный и разоблаченный враг народа Корытный...

— Мильчаков встречался с Корытным, а Корытный был секретарем Московского комитета партии, — ехидно заметил Каганович. — Вот если я приглашу вас, Гутина, к себе в гости, вы пойдете или вместо принятия приглашения напишите заявление в НКВД?

Гутин смущенно молчал. Каганович продолжал разглагольствовать:

— Ведь нет же на Мильчакова никаких показаний Корытного и других. Если бы мы лишили Мильчакова своего доверия, то отдали бы его следователям НКВД, а там его быстро бы «прихлопнули»...

Поиздевавшись над Гутиным, Каганович отпустил его и представителей Академии. В кабинет вошли работники ЦК ВКП(б) Целищев и Ильин, только что назначенные вместе с Кагановичем в Наркомтяжпром: Каганович сообщил мне, что Сталин и он выдвигают меня на пост начальника Главзолота, и вздумал порисоваться знанием людей и памятью. Он дал Целищеву мою анкету, а сам по памяти отвечал на вопросы, рассказывая мою биографию.

Взбудораженный происшедшим «зигзагом» в моей судьбе, шел я снова пешком, вдоль набережной к Дому правительства у Каменного моста. А там, едва вошел во двор, снова увидел фигуру Маруси в окне квартиры. Ждет.

Когда я вошел, Маруся, обессилев, повисла у меня на руках. Вгляделся, понял: заболела. Уложил ее на диван. Принялся рассказывать, Маруся плакала.

А потом я повторял, припоминая детали, все снова. И мы наперебой говорили друг другу:

— Значит, в ЦК поняли: хватит репрессий!.. Наконец-то!

— Если продолжать исключать вот так, за здорово живешь, за простое знакомство с арестованным человеком, где же предел?

— Как зто жутко звучит: на него нет показаний... А если бы были, выходит, пропал человек, сажай его?

— А знаешь, им, наверно, известно, что в НКВД бьют арестованных. Как же иначе понять слова: «Следователи быстро прихлопнут»... Значит, из НКВД нет возврата, там ничего не докажешь, «советская разведка не ошибается»?

...Звонок у двери. Открываю. Фельдъегерь с красным пакетом. Расписываюсь. Иду к Марусе, читаю решение Политбюро ЦК, подписанное Сталиным, о назначении меня начальником Главзолота Наркомтяжпрома СССР.

Мне предложили принять дела Главзолота безотлагательно.

— После ареста Серебровского там временно сидит Перышкин, он тоже будет арестован, — сказал Каганович.

Иду в Главк. У Перышкина совещание. Извещенный о моем приходе, он отпустил собравшихся. Пытаясь справиться с охватившим его волнением, Перышкин спросил:

— Обо мне не было разговора?

Я мог отговориться только незнанием:

— Не было, Григорий Иванович.

И тут старик заплакал:

— Значит, арестуют, не нужен, конец... Я же не виноват ни в чем! Кому об этом скажешь, кто выслушает старика, бывшего паровозного машиниста? Хоть в беседе с вами напоследок душу отвести...

Мы долго говорили о скромной жизни машиниста, ставшего крупным хозяйственником, об установлении Советской власти в Сибири в двадцатом году, когда там работал Перышкин и там же я был секретарем Сибирского бюро комсомола, вспоминали общих знакомых-«золотарей», получивших ордена по представлению Серго Орджоникидзе, — бодайбинцев Ганина и Селиховкина, алданцев Щербинина и Куприянова и других.

Беседа прерывалась, когда Перышкин глухо бормотал:

— Арестовали его, арестовали...

Самого Перышкина взяли ночью на квартире, как только был подписан акт сдачи-приемки дел Главзолота.

Каганович вручил мне для прочтения разосланный Ежовым членам Политбюро ЦК толстый том «показаний» Серебровского, увезенного во внутреннюю тюрьму на Лубянке прямо из Кремлевской больницы.

В показаниях — «признания» Серебровского и в том, что он якобы состоял агентом царской охранки, и был на службе английской контрразведки, и занимался много лет вредительством в золотой промышленности. Названы многие десятки лиц, будто бы выполнявших его вражеские задания.

Становилось жутко. Я успел поработать в золотой промышленности около пяти лет, знал многих товарищей, разбирался в некоторых вопросах ведения хозяйства и видел, что «показания» шиты белыми нитками. А Каганович требует: «Давайте мероприятия по ликвидации последствий вредительства».

Произошел такой курьез. В показаниях Серебровского сказано, что в тресте «Якутзолото» работает инженер-геолог, коммунист, якут Лебедкин. Он мешал вредительской установке на косервацию рудника Лебединого и всячески старался форсировать рудную разведку. Каганович предложил вызвать Лебедкина в Москву: «Его место в Главке, в «Золоторазведке».

Из «Якутзолото» пришел ответ на мою телеграмму: «Лебедкин арестован». Я доложил Кагановичу, заикнулся:

— Может быть, это ошибка? Запросим Ежова.

— Нет. НКВД знает, что делает. Наверно, Лебедкин — якутский националист, — ответил Каганович.

В эти же дни от Сталина прислали мне материалы НКВД с показаниями «вредителей» на приисках Урала. Сталин лично написал: «Тов. Мильчакову — для сведения. И. Сталин».

В показаниях директора «Миассзолото» Чухриты (кстати сказать, бывшего заместителя наркомпрода РСФСР, председателя краевого исполкома в Архангельске) написано, что они хотели взорвать электростанцию, затопить шахты, вызвать голод на приисках — целое «сочинение», могущее вызвать недоумение.

И подобными «романами» взвинчивали себя руководители огромной страны, первого в мире социалистического государства!

От наркома (Кагановича, он тогда был в трех лицах — секретарь ЦК, нарком путей сообщения и наркомтяжпром) пришла пачка представлений на арест десятков работников дальневосточных приисков с предложением дать санкции на «изъятия» названных людей.

Целый день лежали бумаги на моем столе. Мысль все время возвращалась к этим документам: «Приложить руку к арестам? Не могу». Вечером пошел к первому заместителю наркома А. П. Завенягину.

— Не могу я давать санкции на аресты! Да и как я их, вообще говоря, мог бы дать, коли людей этих я не знаю. А если бы и знал, так я же их не выслушал, объяснений от них не брал. Виноваты они или нет?

Серьезный и вдумчивый А. П. Завенягин взял у меня бумаги.

— Их небось и без наших санкций арестовали. А ты не волнуйся. Я скажу Кагановичу, чтобы тебе таких бумаг больше не посылали.

Я облегченно вздохнул.

На заседании правительства я и Каганович докладывали о насущных нуждах золотой промышленности. Председательствовал Молотов. Запомнилась приветливая улыбка Микояна, его вопрос:

— Трудно тебе?

— Трудно.

— Ничего. Всем теперь трудно, — вздохнул Микоян.

Наркомвнудел Ежов на этом же заседании докладывал о добыче золота на Колыме, находившейся в ведении НКВД. Молотов бросил реплику:

— Товарищ Мильчаков! У Ежова золото добывается дешевле, себестоимость вдвое ниже, чем у вас, в Главзолоте.

— Товарищ Молотов! У Ежова работают заключенные, а на содержание их в лагерях он получает деньги от вас, по бюджету.

Наступила неловкая пауза.

Ежов отвел меня в угол, стал убеждать:

— Возьми у меня рабочую силу, и у тебя будут трудиться заключенные, я мигом на Лене, на Алдане, на Балее, на Енисее — где хочешь, организую большие лагеря. По рукам?

Страшный карлик захохотал. Меня передернуло.

— Нет, не надо, Николай Иванович! — сказал я. — Пусть уж я останусь с рабочими и старателями, без арестантов...

В разговор включился подошедший Каганович, требовательно спросил:

— Почему отказываетесь? Вы же жаловались на нехватку рабочей силы. Николай Иванович даст вам для начала тысяч пятьдесят лагерников из числа здоровых. Напрасно не решаетесь взять. Чего боитесь?

— Нет, не согласен. Тогда два хозяина будет на приисках: директор и начальник управления НКВД. Ничего хорошего это не сулит.

Так при мне и не работали на приисках Главзолота заключенные. Потом, после моего ареста, лагеря создали повсюду да и золотую промышленность целиком отдали в ведение НКВД. И впрямь это не принесло и не могло принести ничего хорошего. Добыча золота упала...

На следующем заседании правительства Ежов снова вернулся к этому вопросу. Он привел пример:

— На Индигирке открыли богатое золото. Далеко от Магадана, в глубь якутской тайги по бездорожью еще восемьсот километров. Я послал туда лагерь в несколько тысяч. Не все дошли. Многие уже там померли. Но цель достигнута. Дорога пробита, несколько поселков выстроено. Я обещал Сталину через год дать с Индигирки первые тонны золота. Теперь туда пойдет людей побольше.

— Пешком?

— Пешком, конечно, — сделал гримасу Ежов.

Потом, когда арестантская участь забросила меня на Колыму, я наслушался горестных рассказов об этих трагических походах на Индигирку, о таежных дорогах и колымских приисках, где костьми легли многие тысячи заключенных...

Бывал я в числе званых на кремлевские банкеты с участием Сталина. Собирали металлургов, угольщиков. «Тамадой» оба раза Сталин назвал Кагановича.

Столы ломились от вин и яств. Тосты звучали один за другим, и прежде всего в честь Сталина. Сталин много пил, впрочем, он пристрастился к вину давно. Заказывал выступавшему для развлечения пирующих Ансамблю песни и пляски Красной Армии русские и украинские песни. Поручения его дирижеру передавали Ворошилов и Ежов. Последний жевал папиросу за папиросой, поглядывая на своих агентов, посаженных за каждый стол. Внимательному глазу нетрудно было отличить их от остальных приглашенных.

Сталин заставлял сидящих за его столом чле́нов Политбюро пить водку стаканами. Вот он ухватил М. И. Калинина за бороду, заставляет опорожнить стакан, острит при этом:

— Ты всесоюзный староста, тост — за великий русский народ. Пей до дна!

Молотов под шумок подменил стаканы, взял другой, с нарзаном.

Сталин пил и пил.

Уходили с банкета первыми, конечно, руководители. Чтобы как-то скрыть опьянение Сталина, Ворошилов и Маленков шли вплотную по бокам, сзади подпирал Каганович, а спереди прижался гном Ежов. Так и «поплыли», тесной кучкой... Гости провожали аплодисментами.

...А там, на краю земли, на Колыме, в это время шли к Индигирке колонны заключенных. Одуревшие конвойные кричали, собаки надрывались в лае. Я случайно еще не шел в

числе обреченных. Для меня муки «этапов» придут через два года...

Каганович усердно разрушал то, что было достигнуто в годы руководящей деятельности в тяжелой индустрии Серго Орджоникидзе.

В хозяйстве все более отрицательно сказывалось грубое администрирование, планы срывались, в снабжении царила кутерьма, безудержный разгон кадров и сплошные аресты усугубляли неразбериху, неуверенность в завтрашнем дне. Кверху лезли наглые приспособленцы, карьеристы, крикливые перестраховщики.

Мне вспомнились две картинки.

Серго проводит Всесоюзное совещание хозяйственников. На трибуне — всем известный директор Днепродзержинского металлургического завода Манаенков. Он критикует отстающих, воюет с консерваторами. Из зала летят реплики: «А ты не боишься, что тебя самого раскритикуют?»

— Чего мне бояться, стегайте, если заслужил. К вашему сведению, я ничего и никого не боюсь. В самом деле, чего мне бояться, если сам я честно работаю, если со мной дружный коллектив рабочих и сплоченная заводская партийная организация, если за спиной всех нас стоит товарищ Серго, который всегда поддержит, подбодрит, воодушевит на новые успехи...

Зал грохотал от оваций по адресу Серго. Манаенков добродушно улыбался.

Прошло всего года три.

Каганович проводит Всесоюзное совещание металлургов. На трибуну выходят ораторы, произносят однообразные казенные речи. Среди участников совсем не видно старых директоров, которых Серго знал поименно, с которыми советовался.

Вдруг срывается Каганович:

— Почему Манаенков не выступает?

— Я записался, — отвечает с места Манаенков.

— Что значит «записался»? Вам давно надо было выйти на трибуну и рассказать, как вы работали вместе с вредителями.

— Я выступлю, Лазарь Моисеевич!

— Что значит «выступлю»? Вы прячетесь, у вас, видимо, нечистая совесть...

— Что вы, Лазарь Моисеевич, какая нечистая совесть, я скажу, как мы работаем.

— Вот и скажите, нечего прятаться за список ораторов, выступайте сейчас.

— Хорошо, Лазарь Моисеевич, слушаюсь, — как-то потерянно проговорил Манаенков и пошел к трибуне.

Бледный, невероятно волнуясь, начал он свою последнюю речь. Каганович демонстративно отвернулся. Он знал о предстоящем аресте Манаенкова...

В эти полтора года я ездил на прииски Урала, Забайкалья, Дальнего Востока, был снова на Лене и Алдане.

Самое тягостное впечатление оставлял молчаливый испуг людей перед органами НКВД. На руководящие посты многие шли неохотно, после долгих уговоров и настояний партийных комитетов.

В памяти оживает такая сценка.

Я участвую в заседании бюро Алданского райкома партии. Стоят важные вопросы организации добычи золота и обеспечения района техническими и продовольственными грузами.

На заседание приглашены ответственные работники треста «Якутзолото» и приисковых управлений. Для встречи с начальником Главзолота приехал из Якутска первый секретарь областного комитета партии Певзняк. (О его смерти в лагере мне рассказывали потом заключенные в Магадане.) Словом, большой день в жизни района.

В конце заседания обсуждается вопрос о новом начальнике треста «Золотопродснаб», вместо недавно репрессированного работника. (В тресте и на предприятиях «Якутзолото» было арестовано более сотни сотрудников. Часть из них, человек десять, осудили к расстрелу.)

Я внимательно вместе с руководителями района подбирал новых управляющих и главных инженеров приисков, начальников отделов треста.

Итак, на обсуждение поставлен вопрос о выдвижении нового работника на пост начальника «Золотопродснаба», который должен быть одновременно заместителем управляющего треста «Якутзолото». Накануне мы нашли подходящей одну кандидатуру, согласовали ее с приехавшим секретарем обкома партии.

Наш выдвиженец, старый алданец, выходец из рабочих, проверенный коммунист с солидным стажем, долго не соглашался: «Боюсь, ответственность-то какая, не справлюсь». Уговорили.

На самом заседании члены бюро райкома поддержали из-

вестного им кандидата. Как будто ясно. Осталось записать решение в протокол. Тут из кресла, в котором, покачивая ногой, сидел самодовольно ухмылявшийся молодой человек в форме, послышалась небрежно брошенная реплика:

— По нашим данным — утверждать кандидатуру не следует.

Словно мороз всех охватил. Председатель поперхнулся, беспомощно оглянулся на Певзняка. Тот молчал, уставясь в пол. Наш выдвиженец сидел ни жив, ни мертв. Я предложил не снимать кандидатуру, а согласовать ее с «молодым человеком» и секретарем обкома в двухдневный срок.

У начальника районного отдела НКВД не было никаких серьезных «наших данных», кроме того, что этот товарищ работал в подчинении у репрессированного предшественника. И хотя я и Певзняк всячески успокаивали выдвиженца, можно себе представить, с каким настроением он приступил к работе, и не раз, наверно, ночами просыпался в испуге от случайного стука под окнами...

Вернувшись в Москву, я рассказывал Кагановичу и об этой характерной сценке. Я вздумал доказывать ему ненормальность и вред положения, когда НКВД поставлено над хозорганами, над партийными организациями. Каганович не реагировал на мой «выпад». Он, пожалуй, даже удивился моей «бестактности»...

...Несколько лет я не раскрывал эту тетрадь. Поймет ли кто-нибудь, кроме пострадавших, что нелегко вернуться к пережитым страданиям!.. Сердце щемит, бьется учащенно, создается настроение взвинченное. В памяти всплывают картины тяжелых дней и нравственных мук. И все время мысль: Ленин не допустил бы, Ленин рано от нас ушел. Ленин не смог дожить, проследить за исполнением его совета, ставшего «завещанием», — убрать Сталина с поста Генсека, на котором он сосредоточил в своих руках необъятную власть и способен ею злоупотребить во вред партии, государству и народу.

В тюрьмах и лагерях многие заключенные считали так: всякие жалобы и заявления посылать в Москву незачем, бесполезно, Сталин и его окружение расправились с людьми не случайно, мы обречены, во всяком случае, до той поры, пока жив Сталин...

Я оспаривал взгляды таких товарищей. Я считал, что писать надо для того, чтобы будущие поколения знали, что их отцы и деды даже в застенках кричали о своей невиновности. Хватит упреков, которые потом мы, оставшиеся в живых, и

услышали от наших детей: как же вы допустили такой разгул сталинской диктатуры, почему не протестовали, не выполнили завещания мудрого Ленина.

И я обращался из лагерной тьмы с безответными заявлениями в Центральный Комитет партии, в Верховный Совет СССР, в Прокуратуру и Верховный Суд Союза. Потом, когда вернулся в Москву реабилитированным, я видел в моем «личном деле» часть этих заявлений, писанных на разной бумаге, в том числе от цементных мешков и от мыльных оберток.

Когда приходится иной раз поделиться с близкими товарищами или родными людьми кусочками воспоминаний о пережитом, слышишь замечания: «Тебе подобные сцены, события, встречи надо записать». — «Но ведь они не будут опубликованы!» — «Пусть. Оставь их для будущих исследователей, для внуков в архивах нашей партии».

Значит, писать все-таки надо!..

Евгения Альбац

Прощению не подлежат

Заметки человека, родившегося после XX съезда

«...преступления сталинско-бериевских палачей неисчислимы, они нанесли огромный, невосполнимый урон народу и стране. Но наказан ли хоть один из этих палачей! Для их преступлений нет срока давности. Я требую привлечь к ответственности и судить одного из них — следователя по делу академика Н. И. Вавилова Хвата, о котором писали «Московские новости» в № 46 от 15.XI.87 г.»

Л. КОВАЛЕНКО, Ленинград.

Вижу эту «картинку» — вижу, хотя видеть ее не могу: меня тогда не было на свете. Вижу, как к этому большому мрачноватому дому на улице Горького — тогда ведомственному дому НКВД — в предрассветном сумраке утра подъезжали черные машины, из которых выходили уставшие, но хорошо и трудно поработавшие люди — следователи возвращались после ночных допросов. Вижу, как отворяли они двери своих квартир, как на цыпочках прошмыгивали на кухню, где их ждал то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак; как потом — заглядывали в детскую, потом входили в спальню. И на вопрос жены: «Устал?» — «Тяжелая выдалась ночка...» А может, кто-то отвечал и по-другому? Может, кто-то каялся, кто-то метался от страха: а что если... не ровен час... и меня вот так же... свои же... вдруг окружат и?.. Кто-то обкусывал губы до кровоточин — от невозможности завтра идти туда и выполнять то же и от невозможности не идти.

Я поднялась на третий этаж этого дома, позвонила — дверь открыла женщина средних лет.

— Здесь живет Александр Григорьевич Хват?

— Папа, — закричала она куда-то вглубь квартиры.

Он профессиональным жестом раскрыл мое удостоверение, внимательно прочитал, сверился с фотографией.

— По какому вопросу? — спросил.

Передо мной стоял старик. Просто старик. Старик, который

не сумеет сдержать слез, когда будет рассказывать мне, как его исключали из партии за нарушение социалистической законности в годы работы в НКВД.

Как же все было бы просто, и не стоило бы об этом писать, если бы они были палачами по характеру, по складу души. Так ведь нет — нормальные советские люди. Тот же Хват вырос в большой бедняцкой крестьянской семье, потом школа, совпартшкола, райком партии, ленинградский комсомол, псковский, Москва — Центральный совет Осоавиахима. В 1938-м сказали: вас отобрали для работы в органах. Пробовал отказаться. «Надо», — говорили. Пошел. С чем? Что он знал? «Их (врагов в деревне — **Е. А.**) не нужно искать далеко от колхоза, они сидят в самом колхозе и занимают там должности». Сталин, Генеральный секретарь ЦК. «Вредители, диверсанты и шпионы прикидываются коммунистами, горячими сторонниками Советской власти». Молотов, Председатель Совета народных комиссаров. «Во все советские учреждения и организации проникло много врагов, они замаскировались под советских служащих, рабочих, крестьян, ведут жестокую и коварную борьбу против советского народного хозяйства, против Советского государства». Вышинский, Прокурор СССР. Таковы были его, Хвата, «университеты». И из всех репродукторов, со всех газетных страниц — везде: враги, враги, враги... А что близких и друзей чаша горькая не минула? Так ведь «лес рубят — щепки летят» — эта формула была не для «служебного пользования» — для общественного сознания, и что «лес» рубить надо — тоже...

Вот с таким богажом Хват пришел в НКВД. А это ему предстояло узнать уже там: «Следствие в условиях работы органов НКВД ведется с соблюдением норм УПК[1]. Но основания для возбуждения уголовного дела н е с к о л ь к о ш и р е (выделено мною. — **Е. А.**), чем в УПК». И это усвоить: «Нельзя дать обвиняемому превосходство над собой... Нужно в ходе следствия обвиняемого держать в руках». И об этом — если сам на тюремные нары не торопишься — не след забывать: «Отказы от показаний (ранее полученных от обвиняемого. — **Е. А.**) показывают п л о х у ю р а б о т у (выделено мною. — **Е. А.**) следователей над арестованными». Все эти цитаты — из учебного пособия для сотрудников НКВД, написанного следователями Влодзимирским, Ушаковым, Шварцманом еще по заказу Ежова, но утвержденного уже Берией. Что имелось

[1] Уголовно-процессуальный кодекс.

в виду под работой х о р о ш е й, догадываться теперь не приходится. Нет, конечно, в этом учебнике многодневные допросы и избиения не предлагались как методики для работы, но и отношение к ним, к этим методикам, было известно. «...Иногда наши работники, — писал Сталин Шолохову в 1933 году в ответ на письмо писателя о том, что к невинным людям применяются «омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств», — желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма». С друзьями, стало быть, садизм — нехорошо, а с врагами? Неудивительно, что к следователям, которые позволяли себе вежливость обращения с арестованными, относились с подозрением: уж не сочувствуют ли врагу... Таковы были п р а в и л а. Ими и только ими руководствовался Хват.

Закон? О каком законе может идти речь? Нет, дело не в том, что Хват, как и большинство его коллег, по причине отсутствия какого-либо юридического ликбеза законов просто не знал. (Хотя, как говорил он мне, если дело направлялось на Особое совещание, следователь в обвинительном заключении предлагал меру пресечения. «А как же вы работали?» — довольно наивно спросила я его. «Насколько разумел, так и вел дела».) Ну, а если бы и знал, что с того? Ведь в ранг закона совершенно официально было возведено беззаконие. «Предоставить право ОГПУ, — говорилось в постановлении Президиума ЦИК СССР от апреля 1927 года, — рассматривать **во внесудебном порядке**, вплоть до применения высшей меры наказания и опубликования в печати дела по диверсии, поджогам, пожарам, порче машинных установок как со злым умыслом, также и без оного...» «Дела, по которым нет **достаточных документальных данных для рассмотрения в судах**, — указывала директива Прокуратуры Союза 1935 года, — направлять для рассмотрения Особым совещанием при НКВД СССР». Особое совещание «судило», как правило, без обвиняемого, без изучения уголовного дела, без вызова свидетелей, без заключения прокурора и без права защиты... «Надо помнить указание тов. Сталина, — провозгласил в 1937 году Вышинский, — что бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей, в частности, когда законы оказываются устаревшими и их **надо отложить в сторону**». Так законы были отложены: вплоть до сентября 1953 года в стране, сменяя друг друга или действуя вместе, царствовали различные «спецколлегии», «особые совещания», «тройки», «двойки» (только за один день, 18 октября 1937 года, «двойка»

в составе Ежова и Вышинского «рассмотрела» материалы в отношении 551 человека и всех их приговорила к расстрелу), «специальные присутствия». Они законов не ведали. Не ведал их и Хват.

Ну и, наконец, собственные нравственные барьеры — они-то должны быть? Должны, если есть откуда им взяться... Хвату было семь лет, когда разразилась первая мировая война, одиннадцать — когда началась гражданская, когда брат пошел на брата, а сын — на отца, когда был потерян всякий страх перед чужой кровью и чужой смертью. Вероятно, понимая эту страшную, разрушительную силу разливанного моря крови, Ленин на заседании Политбюро в 1921 году предлагает (безуспешно) сузить компетенцию ВЧК, а годом раньше, пусть всего на несколько месяцев, но был отменен расстрел... Хвату было двадцать два, когда великим стоном по деревням и селам пошел «великий перелом»...

Но ведь были же те, кто беззаконию сопротивлялся? Были же и в органах НКВД люди, которые отказывались выбивать показания, отказывались «лепить» дела, отказывались в этом участвовать. Были! Начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю (член партии с 1903 года) Т. Д. Дерибас. Расстрелян. Прокурор города Витебска С. Т. Нускультер. Расстрелян. Следователь Глебов — он отказался «брать» показания на командарма Якира. Расстрелян. Начальники областных УНКВД Капустин и Волков[1]. Оба застрелились... Да, по чекистам пришелся один из первых — и жесточайший! — удар репрессий. Но только ли страх — причина того, что тех, кто не отказался, в конечном счете было большинство? А может быть, все дело в общей атмосфере? В том, что она признавала: кругом враги, что она оправдывала: с врагами все средства хороши... Но извиняет ли это Хвата?

Вопрос о вине — есть ли вопрос труднее, и можно ли найти на него исчерпывающий ответ в газетном очерке? Вопрос о вине человека, выполнявшего приказ, сложен, наверное, вдвойне и, как говорили мне юристы, однозначного ответа не имеет. И действительно: за разрешением на арест Вавилова Берия обращался в свое время к Молотову. Санкцию на арест высших командиров Красной Армии давал Ворошилов. Наконец, «аресты многих людей, — читаю я в книге Н. Миронова «Укрепление законности и правопорядка — программная задача партии», — производились по спискам, составленным в

[1] К сожалению, я не знаю имен и отчеств этих достойных людей.

НКВД и доложенным Сталину, который крестиками, стрелками и всякими другими знаками отмечал фамилии, кого надо арестовать, и нередко давал указания, в каком направлении нужно вести следствие...» Но ведь никто из тех, кто давал разрешения, судил, голосовал на Политбюро за арест жен «врагов народа», — никто за исключением Берии и с известными оговорками Сталина не назван именем, которого заслуживает...

Так что же, оправдываю я всем этим Хвата? Да нет, конечно. Но мне претит упрощение, которое позволяет подменить причины — в том числе и причины того, почему сотни нормальных людей становились палачами, — следствиями этих причин.

Хват безусловно виновен. С позиций морали — виновен. Виновен даже в том случае, если уголовное дело против него, как он утверждает, было закрыто в 1957 году «за отсутствием состава преступления», даже если действительно ответственность за кровавые допросы Н. И. Вавилова несет не он, а второй следователь Албогачиев, — даже если это так, он все равно виновен. Не говоря уже о том, что будь он агнец божий, не сделать ему карьеры, и не стать в результате начальником отдела. Но, спрашиваю я себя, разве не несут ответственности, разве не виновны и те, кто писал доносы? А те, кто с готовностью голосовал на собраниях за исключение из партии жены «врага», из комсомола — сына, или кто в лучшем случае молчаливо «съедал» то, что преподносилось с газетных страниц, не давая себе труда усомниться и тем развязывая руки хватам? И тем — порождая их!..

Да, я тогда не жила, да, возможно, моя позиция — позиция человека, родившегося в вегетарианское, как говорила Анна Ахматова, время, возможно, она отдает максимализмом, и все же, все же... Мера вины — она, конечно, разная, но разве это повод для самопрощения?

И, наконец: а если Хват говорит неправду и архивы докажут это, что же — судить его, как требует автор письма?

Тогда, после XX съезда партии, Главная военная прокуратура возбудила уголовные дела против целого ряда бывших сотрудников госбезопасности. Вина многих из них — в пытках, избиениях, личной инициативе в фабрикации дел против ни в чем не повинных людей — была доказана. Но на скамью подсудимых попали лишь единицы.

Большинство следователей, как объяснял мне тогдашний заместитель Главного военного прокурора, ныне генерал-лей-

тенант юстиции в отставке Б. А. Викторов, «спасло» истечение срока давности. Но были и другие причины. Так или иначе, а юристам ГВП и особенно группе заместителя Главного военного прокурора полковника юстиции Д. П. Терехова, на которую было возложено решение вопросов об уголовной ответственности работников центрального аппарата МГБ (НКВД), потребовалось немало мужества и терпения, чтобы сделать то, что они сделали: настаивать, чтобы формулировка, по которой увольнялись из органов эти бывшие следователи, звучала хотя бы так: «уволен из органов госбезопасности по фактам, дискредитирующим высокое звание офицера» (это вело к снижению пенсии); требовать лишения воинского звания — 38 генералов с ним расстались; направлять письма в Комитет партийного контроля и добиваться исключения из партии, например, следователей Луховицкого, Авсеевича, того же Хвата. (Это же уму непостижимо: в течение пяти лет, вплоть до 1962 года, когда он был исключен из рядов КПСС, Хват был секретарем парторганизации одного из подразделений Министерства среднего машиностроения СССР!..) И за все это юристам Главной военной прокуратуры низко надо поклониться...

На скамью же подсудимых, повторю, попали лишь единицы — те, чьи преступления можно было квалифицировать все по той же печально знаменитой — дикой, беззаконной, обвинявшей в контрреволюционных, антисоветских и вредительских деяниях, — пятьдесят восьмой статье, по которой шли на плаху их же жертвы; по статье, которая позволяла не применять закон о сроке давности. Так был осужден бывший следователь, к середине 50-х годов уже генерал-лейтенант Александр Ланфанг, который, как было доказано, не только по указанию начальства, но из карьеристских соображений фальсифицировал материалы против руководителей Коминтерна — О. Пятницкого, В. Кнорина, Я. Анвельта, против «камрада Чемо» — представителя ВЛКСМ в Коммунистическом Интернационале молодежи В. Чемоданова. Так был осужден и полковник Кружков, в годы блокады арестовавший ленинградских ученых, работавших по оборонной тематике: «признание» своей вины оплачивалось им 150 граммами хлеба... Так был осужден и часто поминаемый ныне в газетах Шварцман. Были и другие, чьи фамилии мне неизвестны, — наверное, были. Наверное, и еще к кому-то пришло возмездие. Ну так что же, и нам сегодня, в эпоху гласности и демократии, отменить срок давности? Убеждена: кровь порождает

только кровь. Репрессии — новую волну репрессий. Стоит только начать — и колесо беззакония закрутится вновь. Жажда крови, требование крови — это ведь тоже голоса из т о г о нашего прошлого.

Простить? Не знаю. Но называть надо. Поименно. Называть потому, что эти люди жили и живут среди нас. Мало того — требуют своей реабилитации! Как требует ее до сих пор заведующий лабораторией истории горного дела Института проблем комплексного освоения недр АН СССР, заместитель председателя проблемной комиссии ГКНТ и Академии наук «Природные ресурсы СССР», доктор технических наук Владимир Ананьевич Боярский. Он же бывший оперуполномоченный следственного отделения НКВД Северо-Осетинской АССР, который в конце тридцатых годов рапортовал о своих заслугах в ликвидации контрреволюционной организации в северо-осетинском комсомоле и делал это «стахановскими методами». «Стахановские методы» означали, что им и начальником следственной части Городниченко были сфальсифицированы обвинения против 103 человек, из которых 51 расстрелян, остальные отправлены в лагеря, где большинство и погибли... «Проявлял особое рвение, — сказал мне о Боярском подполковник юстиции в отставке Дмитрий Васильевич Каширин, расследовавший цепочку его преступлений. — Мы подобрали десятки дел, к которым он имел непосредственное отношение, опросили многих свидетелей — Боярский лично применял изуверские пытки...»

В 1959 году Главная военная прокуратура собрала неоспоримые доказательства вины Боярского, а также его шефа Городниченко (тремя годами раньше они были исключены из партии). От суда и тюрьмы их «спасли» новые Основы уголовного законодательства и новый Уголовный кодекс, принятые соответственно в 1958 и в 1960 году и отменившие 58-ю статью в ее прежней редакции.

1986 году Главный военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Б. С. Попов в энный раз отказал Боярскому в реабилитации. Совсем недавно Боярский в ответ на мой вопрос о его работе в Северной Осетии сказал, что никогда и никаких следственных дел не вел... Учительницу Фатимат Додоевну Агнаеву Боярский после восьмисуточного непрерывного допроса приказал привязать за косы к штырю в стене — на этом штыре она и скончалась...

Их надо называть! Надо, чтобы знали люди, в том числе и те, кто подписывает ходатайства о восстановлении их в

партии. Надо потому, что, читая сегодня в газете «Советская культура» (29.III.1988) о методах работы иных сегодняшних следователей («Допрашивали всю ночь — 17 часов... Без сна, без еды... Требовали ложных показаний»), нельзя не думать о том, что при всей невозможности сравнения той пандемии репрессий с нынешними случаями нарушения соцзаконности корни беззаконие имеет общие. Надо, потому что те, у кого завтра может возникнуть искус пойти старым путем, должны знать: возмездие существует, наказание неотвратимо. Пусть увидят, как люди отворачиваются при виде их на улице. Пусть в пустоте повиснет протянутая для рукопожатия рука. Пусть задумаются о чести фамилии — ведь не ты один ее носишь, и хоть перед ними, перед потомками своими, будет страх, коли суда людского не боятся (о суде совести и говорить неловко). Жестоко? Может быть. Иного выхода не вижу. Ради будущего — надо. Но только не надо новой крови.

* *
*

...А Хват плакал. И мне было жаль его — не стыжусь этого. Мне было жаль этого старика, прожившего бесславную жизнь, в которой он был и палачом, и жертвой.

Н. Зимарина

«Ленинградское дело»

«Ленинградское дело» — это серия дел, сфабрикованных против ряда видных партийных, советских и хозяйственных работников Ленинграда в конце 40-х — начале 50-х годов. В результате этой акции были осуждены и физически уничтожены многие руководители, которые выдвинулись накануне и в годы Великой Отечественной войны.

Началом широкомасштабного «ленинградского дела» послужило анонимное письмо, пришедшее в ЦК ВКП(б) вскоре после Ленинградской X областной и VIII городской объединенной конференции ВКП(б), проходившей 25 декабря 1948 г. В письме сообщалось, что председатель счетной комиссии конференции А. Я. Тихонов, заведующий отделом тяжелой промышленности Ленинградского горкома фальсифицировал результаты голосования, обманул делегатов конференции и ЦК партии, сообщив о единогласном избрании первого секретаря обкома и горкома П. С. Попкова, второго секретаря обкома Г. Ф. Бадаева и второго секретаря горкома Я. Ф. Капустина. Автор письма утверждал, что он сам и другие члены счетной комиссии видели множество зачеркнутых бюллетеней. (В действительности такие бюллетени были, но их было немного: против П. С. Попкова проголосовало 4 делегата, Г. Ф. Бадаева — 2, Я. Ф. Капустина — 15, председателя Ленгорисполкома П. Г. Лазутина — 2. Причины, которые побудили А. Я. Тихонова исказить результаты голосования, неизвестны, но это было грубым нарушением Устава партии.)

В начале февраля 1949 г. в Москву к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову был вызван А. Я. Тихонов. Затем 15 февраля на заседание Политбюро пригласили П. С. Попкова. В этот же день он, а также секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов и Председатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов были сняты со своих постов. 5 марта 1949 г. было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об освобождении Н. А. Вознесенского с поста заместителя Председателя Совета Минис-

тров и председателя Госплана СССР и от всех других руководящих должностей. Через несколько дней И. В. Сталин подписал решение о выводе Н. А. Вознесенского из состава Политбюро, а затем об исключении из членов ЦК ВКП(б).

Биографическая справка. Николай Алексеевич Вознесенский родился в 1903 г. в Тульской губернии. После смерти отца, мелкого служащего, был учеником столяра, рабочим типографии, в этот же период стал выполнять первые поручения большевиков.

В 1919 г. он был принят в члены РКП(б). С 1928 г. Н. А. Вознесенский — слушатель, а затем преподаватель экономического института красной профессуры. В эти годы началась научная деятельность Н. А. Вознесенского. В печати постоянно появлялись его теоретические статьи по вопросам социалистического планирования, организации труда, хозрасчета и другим коренным экономическим проблемам социализма. В 1935—1937 гг. Н. А. Вознесенский работал председателем Ленинградской городской плановой комиссии и заместителем председателя Ленгорисполкома.

В 1937 г. Н. А. Вознесенский — заместитель председателя Госплана СССР, с начала 1938 г. — председатель Госплана СССР. На этом посту он проработал более одиннадцати лет. В 1939 г. Н. А. Вознесенский был назначен заместителем, а в 1941 г. — первым заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров (Совета Министров СССР). Член ЦК ВКП(б) с 1939 г., в 1941 г. он становится кандидатом, а в 1947 г. — членом Политбюро ЦК ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны Н. А. Вознесенский входил в состав Государственного Комитета Обороны. Под его руководством велась разработка военно-хозяйственных планов, он руководил работой эвакуированных на восток наркоматов: авиационной, танковой промышленности, вооружения, черной металлургии, боеприпасов, а с 1943 г. входил в состав Комитета по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от немецко-фашистской оккупации. В послевоенный период Н. А. Вознесенский возглавил подготовку пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства, а также перспективного Генерального плана на 15—20 лет.

В 1943 г. Н. А. Вознесенский был избран действительным членом Академии наук СССР. Свой последний и главный труд «Политическая экономия коммунизма» Н. А. Вознесенский заканчивал уже в ожидании ареста.

21 февраля 1949 г. состоялось объединенное заседание бюро, а 22 февраля — объединенный пленум Ленинградского обкома и горкома партии. На них присутствовали Г. М. Маленков и член Оргбюро ЦК ВКП(б) В. М. Андрианов. С сообщением об антипартийных действиях А. А. Кузнецова, М. И. Родионова и П. С. Попкова выступил Г. М. Маленков. Им приписывалась самовольная организация в Ленинграде в январе 1949 г. Всесоюзной оптовой ярмарки, которая якобы привела к разбазариванию государственных товарных фондов и нанесла материальный ущерб государству. Надуманность этого обвинения была очевидна, тем не менее оно было использовано как основа для политической дискредитации руководства Ленинградской партийной организации.

Им были поставлены в вину сепаратизм, противопоставление себя ЦК ВКП(б), намерение превратить парторганизацию Ленинграда в свою опору для борьбы с ЦК, создать Компартию РСФСР. По словам Г. М. Маленкова, руководство Ленинградской партийной организации знало о фальсификации итогов голосования на конференции и намеренно не сообщило об этом в ЦК ВКП(б).

Выступившие после Г. М. Маленкова участники пленума отметили целый ряд серьезных недостатков в работе обкома и горкома партии: нарушение принципа коллективности руководства, заседательскую суету, бюрократические методы работы, проявление зазнайства и нескромности. Надо сказать, что общий критический тон выступлений резко отличался от атмосферы предшествующей конференции. Тем не менее критика не давала оснований для обвинений в антипартийном уклоне и сепаратизме.

Пленум поддержал решение ЦК о снятии П. С. Попкова с занимаемых постов и объявил ему выговор.

Биографическая справка. Петр Сергеевич Попков родился в 1903 г. во Владимирской губернии в рабочей семье. В 1925 г. вступил в Коммунистическую партию. Был на хозяйственной, комсомольской, партийной работе. С 1928 г. он в Ленинграде.

В ноябре 1937 г. П. С. Попков становится председателем Ленинского райисполкома, с июля 1938 г. — первым заместителем председателя, а в 1939—1946 гг. — председателем Ленгорисполкома. С июля 1941 г. П. С. Попков — член комиссии по вопросам обороны Ленинграда. Ему принадлежит видная роль в организации обороны города в годы войны.

Особую роль сыграл П. С. Попков в эвакуации населения и промышленности, перестройке предприятий на военный лад, в

строительстве оборонных сооружений, прокладке ледовой «Дороги жизни», продовольственном снабжении города. Он возглавил работу чрезвычайной противоэпидемической комиссии, обеспечившей санитарное и эпидемиологическое благополучие города.

В 1946 г. он сменил А. А. Кузнецова на посту первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Тогда же П. С. Попков стал членом Президиума Верховного Совета СССР.

Были сняты с работы и строго наказаны также некоторые другие ответственные работники, а А. Я. Тихонов исключен из партии.

Первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) пленум избрал В. М. Андрианова, кандидатура которого была предложена Г. М. Маленковым. Свою главную задачу новый первый секретарь видел в том, чтобы очистить Ленинградскую парторганизацию от «антипартийных деятелей». Ленинградский историк В. Кутузов на основе документов и свидетельств пишет, что в июне 1949 г. в Ленинград по просьбе Андрианова прибыла группа работников, которые были назначены на все ключевые посты в партийном и советском аппаратах города.

Были отстранены от работы и исключены из партии большинство партийных, советских, комсомольских и профсоюзных работников. Полностью обновлен аппарат областного и городского комитетов партии, исполкомов областного и городского Советов, обкома и горкома ВЛКСМ, облсовпрофа, заменены руководители районного звена, предприятий, учреждений, вузов. Всего в 1949—1951 гг. в Ленинграде сменилось более 2 тыс. руководящих работников. Сотни коммунистов были исключены из партии за «связь с Кузнецовым, Попковым, Лазутиным, Капустиным», за то, что не написали разоблачительных заявлений об их враждебной деятельности.

Но это была лишь одна сторона так называемого «ленинградского дела». Его организаторам было недостаточно разгромить Ленинградскую партийную организацию и политически дискредитировать ее руководителей. Параллельно началась подготовка к политическому уничтожению и физической расправе над ними.

Как сообщил бывший тогда Генеральным прокурором СССР Р. А. Руденко на собрании партийного актива Ленинграда 6 мая 1954 г., «ленинградским делом» с санкции Сталина

занимался заместитель Председателя Совета Министров СССР Берия. Непосредственно осуществление акции взял на себя Абакумов, в то время министр государственной безопасности.

Первой жертвой сфабрикованного дела стал второй секретарь Ленинградского ГК ВКП(б) Я. Ф. Капустин. 23 июля 1949 г. по приказу Абакумова он был арестован без санкции прокурора. Я. Ф. Капустину предъявили обвинение в шпионаже в пользу английской разведки. Допросы вел сам Абакумов.

В августе 1949 г. последовали аресты А. А. Кузнецова и П. С. Попкова, а затем Н. А. Вознесенского, М. И. Родионова, П. Г. Лазутина и других бывших руководящих работников Ленинграда.

Арестованным было предъявлено обвинение в измене Родине, в том, что они проводили «вредительски-подрывную работу в партии», намереваясь превратить Ленинградскую организацию в свою опору для борьбы с ЦК ВКП(б), вели подрывную работу в государственных органах, нарушали государственные планы и т. д. В ходе следствия арестованных заставляли «признаваться» в «преступлениях», которых они никогда не совершали.

В сентябре 1950 г. в Ленинграде состоялся судебный процесс выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР. Сведений об этом процессе в печати не было, однако на нем присутствовали представители партийного актива города. В последнем слове на судебном процессе Н. А. Вознесенский сказал: «Я не виноват в преступлениях, которые мне предъявляются. Прошу передать это Сталину». Еще более решительно и определенно высказался А. А. Кузнецов: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает...»

Биографическая справка. Алексей Александрович Кузнецов родился в 1905 г. в городе Боровичи в семье рабочего. В 1922 г. он — рабочий на лесопильном заводе. С 1924 г. — на руководящей комсомольской работе в Боровичах, Луге, Ленинграде. В 1925 г. он стал членом партии.

С 1930 по 1946 г. жизнь А. А. Кузнецова связана с Ленинградом. В 1932 г. он — инструктор Ленинградского горкома ВКП(б), в 1936 г. — секретарь Смольнинского, а затем Дзержинского райкомов партии. В 1937 г. А. А. Кузнецов становится вторым секретарем Ленинградского областного, а в 1938—1945 гг. также и городского комитета партии, с 1939 г. — член ЦК ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны А. А. Кузнецов был одним из руководителей и организаторов героической обороны города и разгрома немецких захватчиков под Ленинградом.

В 1945—1946 гг. А. А. Кузнецов возглавлял Ленинградскую партийную организацию.

В марте 1946 г. А. А. Кузнецов становится секретарем ЦК ВКП(б), вводится в его Оргбюро, назначается начальником Управления кадров ЦК партии.

Без глубокого изучения материалов следствия суд приговорил к смертной казни шестерых обвиняемых: Н. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова, П. С. Попкова, М. И. Родионова, Я. Ф. Капустина и П. Г. Лазутина. Остальные обвиняемые были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Однако на этом «ленинградское дело» не закончилось. В течение 1950—1952 гг. Военной коллегией Верховного Суда СССР и Особым совещанием при МГБ были осуждены и приговорены к расстрелу и длительным срокам тюремного заключения свыше 200 партийных и советских работников Ленинграда, а также их близкие и дальние родственники. К высшей мере наказания были приговорены второй секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Г. Ф. Бадаев, председатель исполкома Ленинградского областного Совета И. С. Харитонов, секретарь Ленинградского горкома П. И. Левин, первый секретарь Куйбышевского РК ВКП(б) М. А. Вознесенская (сестра Н. А. Вознесенского), уполномоченный МГБ по Ленинградской области П. Н. Кубаткин и другие. Было заменено все руководство чекистов Ленинграда, командный и политический состав ЛВО, Ленинградской милиции.

В ходе последовавшей серии судов были репрессированы бывшие ленинградцы: председатель Госплана РСФСР М. В. Басов, второй секретарь Мурманского обкома партии А. Д. Вербицкий, первый секретарь Крымского обкома Н. В. Соловьев и многие другие.

«Ленинградское дело» можно расценивать как политическое звено в цепи мер, направленных на упрочение культа личности И. В. Сталина, сложившегося в 30-е годы. Ленинградская партийная организация стала главной мишенью репрессий конца 40-х — начала 50-х годов не случайно. Слова «Ленинград», «ленинградцы» для каждого советского человека стали символом мужества и стойкости, преданности Родине и социализму. Удар по Ленинградской партийной организации был

рассчитан на подавление выросшего в годы войны чувства самоуважения народа, несовместимого с идеологией культа личности. Репрессии были направлены не только против лиц, обвиненных по «ленинградскому делу», но и на устрашение тех сил в партии, которые могли выступить за восстановление ленинских принципов партийного и государственного руководства.

После смерти И. В. Сталина и разоблачения в 1953 г. Берии ЦК КПСС провел проверку «ленинградского дела». 30 апреля 1954 г. Верховный Суд СССР реабилитировал всех обвинявшихся по этому делу, в том числе многих посмертно. А Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС восстановил их в партии и подтвердил членство в КПСС Н. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова и Я. Ф. Капустина.

Капитан 3 ранга
И. Анфертьев

Возвращение Сокольникова

Преподаватель истории в техникуме, где я учился лет двадцать назад, как-то спросил: «А кто подписал Брестский мир!»

— Троцкий, — ответили мы в тридцать голосов. И чей-то еще добавил: — Иудушка.

— Ничего-то вы не знаете, — сказал историк, но больше к этому вопросу не возвращался.

— Чичерин, — не задумываясь, ответил бы я на этот вопрос еще в прошлом году, посмотрев новую художественную киноленту «Чичерин».

И вновь оказался бы неправ. Потому как Брестский договор с нашей стороны подписали члены делегации из четырех человек, а возглавлял ее двадцатидевятилетний Григорий Яковлевич Сокольников.

Если бы в годы учебы в военно-политическом училище меня попросили назвать героев гражданской, я назвал бы десятки фамилий. Но среди них точно не было бы фамилии Сокольникова — члена реввоенсовета 2-й армии, политического комиссара Южного фронта. Лишь недавно узнал я о боевом пути от Воронежа до Новороссийска 8-й армии под командованием Сокольникова и о том, что за Советскую власть в Туркестане сражался в двадцатых годах командующий фронтом Сокольников...

После гражданской первому наркому финансов СССР Сокольникову суждено к середине двадцатых годов провести денежную реформу, намеченную Лениным еще в декабре 1917 года. Появление знаменитого «червонца» позволило обменять астрономические 886,5 квадриллиона старых рублей на твердые денежные знаки.

В тридцатые годы нашу страну представ-

лял в Англии полпред Сокольников, в свое время окончивший Сорбонну и свободно владевший шестью европейскими языками.

Вот что стало известно мне за довольно короткий промежуток времени. А когда о Сокольникове узнал многое, как мне казалось, почти все, увидел протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 23(10) октября 1917 года. Оказывается, за две недели до исторического выстрела «Авроры» и штурма Зимнего Сокольников был избран в состав Политического бюро по руководству вооруженным восстанием...

Как же получилось, что имя Сокольникова оказалось забытым? Чья недобрая рука вычеркнула его из народной памяти? И сколько же еще неизвестных страниц в биографии одного из ближайших соратников Ленина? Или известных, но неисследованных? А сколько исследованных, но явно с конъюнктурным уклоном?

Историк А. О. Чубарьян в вышедшей в 1964 году книге «Брестский мир» пишет: «В 1924 году вышла книга Троцкого «Уроки Октября». Еще ранее им была выпущена специальная брошюра о Брест-Литовских переговорах. В этих работах Троцкий нарисовал искаженную картину событий в Бресте, оправдывая свою позицию, пытался свести свои разногласия с В. И. Лениным, к частностям. В вышедшей в 1928 году книге «Брестский мир» Г. Я. Сокольников обходит вопросы внутрипартийной борьбы и пытается доказать, что заключение мира имело якобы только агитационное значение».

Как же так? Книга Сокольникова выпущена впервые еще в 1920 году, написана она в жанре путевых очерков, без намека на полемическую заостренность. Припомнилось, что в упомянутом уже фильме «Чичерин» главный герой, перед тем как подписать Брестский мирный договор, произносит речь. Но в действительности, по протоколу, обличительные слова в адрес германского милитаризма говорил глава советской делегации Сокольников, вызвав откровенное недовольство немецких офицеров во главе с генералом Гофманом. Кому и зачем нужны были такие передергивания?

Прежде чем ответить на этот вопрос, предстояло выяснить, как Сокольников стал главой делегации. Передо мной протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 24 февраля 1918 года:

«Тов. **Сокольников** предлагает ввиду поездки Карахана и Иоффе, чтобы ехал Зиновьев.

Тов. **Свердлов** говорит, что относительно тов. Сокольникова вопрос уже решен. Зиновьев нужен в Питере для выступлений, кроме него и Сокольникова, нет никого...

Тов. **Зиновьев** заявляет, что он не отказывается ехать, но, рассматривая вопрос с точки зрения пользы, думает, что Сокольников более пригоден в делегации, а он здесь...

Тов. **Сокольников** указывает, что им остались недовольны во время его первой поездки, что если Зиновьев нужен в Совете, то он нужен в «Правде» и в банках, что лучше послать именно Зиновьева как председателя Совета.

Тов. **Ленин** считает, что надо послать обоих, что если вопрос идет только о подписании мира, то они оба могут тотчас уехать, столковавшись о дальнейшем с Чичериным.

Тов. **Зиновьев** указывает, что двоим ехать нечего, что лучше ехать Сокольникову.

Тов. **Сокольников** заявляет, что ввиду неодобрения его поведения в первую поездку он не поедет и в случае настаивания выходит из ЦК.

Тов. **Троцкий** иронизирует по поводу ультиматума тов. Сокольникова.

Тов. **Ленин** просит товарищей не нервничать и указывает, что в делегацию может поехать тов. Петровский как народный комиссар.

Тов. **Свердлов** поддерживает это предложение, но находит, что Петровский поедет только вторым.

Решено, что поедут тов. Сокольников, Петровский, Карахан и Чичерин».

Так и не удалось, к сожалению, установить, когда и в каком качестве Сокольников первый раз побывал в Брест-Литовске. В декабре семнадцатого — январе восемнадцатого, когда обсуждались предварительные условия перемирия, или позже? Подробные стенограммы заседаний Сокольникова не упоминают, нет его подписи и среди пяти членов делегации, возглавляемой Троцким, составивших заявление от имени Совета Народных Комиссаров об отказе от мира на предъявляемых условиях.

И потому сегодня особую ценность представляют воспоминания Григория Яковлевича Сокольникова о его поездке на переговоры в качестве главы советской мирной делегации.

С тревожным чувством в ночь на 25 февраля покидали члены делегации Петроград. В городе шла всеобщая мобили-

зация рабочих. Натужно ревели заводские гудки, оповещая о приближении немцев. К Смольному стекались вооруженные отряды...

Прифронтовая станция Торошино, где пришлось остановиться, была забита товарными составами. Где-то впереди, в снежных заносах, занятый немцами Псков. Железнодорожные пути к нему разобраны. Сокольников и Петровский в сопровождении трех матросов пешком направились через линию фронта. На окраине Пскова их окружили немецкие солдаты. Они с явным недоверием отнеслись к полномочиям Сокольникова. Уж слишком непрезентабельным показался им внешний вид главы дипломатической миссии...

Сразу по прибытии в Псков Сокольников заявил решительный протест германскому командованию в связи с общим наступлением немцев. Дожидаясь остальных членов делегации, он с горечью наблюдал за оживлением состоятельных горожан: появление санного поезда с большевиками вызвало у обывателей бурю негодования. Мгновенно распространяется пущенный кем-то слух о том, что под видом мирной делегации в Германию направляется свергнутое в Петрограде советское правительство...

Предъявленный немцами в Брест-Литовске ультиматум отводил на подписание договора всего трое суток. Не приходится говорить о сколько-нибудь серьезном обсуждении выдвинутых вновь требований. С целью подчеркнуть насильнический характер договора Сокольников настаивает на его подписании в течение 48 часов.

Когда оставалось согласовать технические детали, в Петроград отправлена депеша с просьбой выслать поезд для возвращения делегации. В столице восприняли ее как сигнал к возможному разрыву мирных переговоров. По радио передается сообщение Советам прифронтовой полосы о возможном обострении обстановки. Немцы перехватили его, и ситуация в Брест-Литовске самым неожиданным образом накаляется до предела. Каждое слово Сокольникова подвергается сомнению. Лишь под утро 3 марта все объяснилось, и долгожданный, выстраданный мир наступил...

Подписанный Г. Сокольниковым, Л. Караханом, Г. Чичериным и Г. Петровским Брестский договор — это по сути один из первых практических шагов Советского государства на международной арене. В тех условиях шаг весьма драматичный, на грани разлома партии, чрезвычайно компромиссный, подававшийся противниками большевиков как предательский

сговор с кайзером Вильгельмом. Даже по прямому указанию Ленина на такой шаг решались тогда немногие.

Не гладко проходила и обратная дорога. Около Вильно дверь купе, в котором находился Сокольников, быстро открылась и также быстро захлопнулась за немецким солдатом. Убедившись, что разговаривает с русским большевиком, солдат торопливо рассказал о бегстве из армии, преследовании его за революционную пропаганду. Закончилась короткая исповедь просьбой помочь перебраться за линию фронта в Советскую Россию.

В своих воспоминаниях Сокольников слегка иронизирует над охватившим его тогда замешательством. Положение главы официальной советской делегации обязывало его быть крайне осмотрительным. В Германии имелись силы, заинтересованные в срыве мирных переговоров, и любой неосторожный шаг Сокольникова, любая провокация, поддайся он на нее, могли привести к необратимым последствиям в международных отношениях. Вряд ли следовало ему рисковать в случае с немецким дезертиром, но Сокольников пошел на это, расспросив как следует своего нежданного попутчика. И это лишний раз убеждает в том, что Сокольников был человеком проницательным и дальновидным. В следующий раз он увидит того самого немецкого солдата в Петрограде ведущим революционную работу среди военнопленных...

Чуть было не произошло непоправимое при переходе через линию фронта, когда немецкие солдаты едва не расстреляли автомобильную колонну с делегацией, приняв ее за партизанский отряд...

За семью печатями оказалась непростая судьба Сокольникова для моего поколения. Рожденные на излете сталинской «эпохи», мы заучивали если не лозунги, то готовые схемы тщательно отфильтрованного прошлого. Нашими кумирами были Щорс и Чапаев, Котовский и Лазо... Не в одном ли ряду с ними — место Сокольникова? Но откуда нам было узнать о нем? Ведь ни в одном энциклопедическом издании нет даже краткой биографической справки о Сокольникове. Тем дороже мне каждое упоминание о нем.

Из неопубликованных воспоминаний жены Сокольникова — известной советской писательницы Галины Серебряковой:

«Более духовно вытренированной личности, нежели Гарри, мне не пришлось видеть никогда. Гарри действительно считал выдержку, молчаливость и любовь к одиночеству самыми ценными чертами характера для каждого интеллектуа-

ла. Самый молчаливый из людей, которых я знала, был прекрасным лектором, потому что молчаливость его проистекала не от отсутствия мыслей и слов, а от сознания великой ценности дум и отвращения к пустословию.

Вся его осанка сильного физически человека вызвала изумление английской знати. Таких большевиков, они, впрочем, знали: Чичерин, Красин и Раковский были менее красивы и мужественны, чем Сокольников, но столь же хорошо воспитаны, знали многие иностранные языки, отличались гибким большим умом. Все это были блестящие люди, делавшие честь идее, которую они избрали путеводной для всей жизни. Эти люди отличались величайшей неподкупностью, редким бескорыстием и скромностью в быту».

Всего 51 год жизни отпущен Сокольникову. Но какой жизни! В семнадцать — профессиональный революционер, политкаторжанин в девятнадцать. Восемь лет в эмиграции: заведующий парижским рабочим клубом «Пролетарий», студент юридического факультета, закончивший по выпуску курс доктората экономических наук университета. Журналист. Ученый-экономист с мировым именем. Военный и политический деятель. Дипломат. Позавидуем будущему биографу Сокольникова: половину работы выполнил сам Григорий Яковлевич в 1927 году. Экземпляр его автобиографии не без труда удалось отыскать в архивном хранении Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Из автобиографии Г. Я. Сокольникова:

«Выехал в Россию после Февральской революции в первой группе эмигрантов, в составе которой были Ленин, Зиновьев, Радек, Харитонов, Инесса Арманд, Мирингоф, Лилина, Усневич и др. Путешествие в «запломбированном вагоне» через Германию было заполнено обсуждением тактических платформ на голодный желудок — было принципиально решено отказаться от жидкого супа, которым собирался угостить едущих немецкий красный крест. Два делегата от ЦК германской с. д., пытавшиеся проникнуть в вагон для принесения приветствия Ленину, должны были спешно ретироваться ввиду предъявленного им ультиматума — уйти, если не хотят, чтобы вытолкали в шею. Этот сформулированный Лениным ультиматум был без риторических смягчений предъявлен делегатам и произвел должное действие.

Сведения о травле, начатой против Ленина и едущей с ним группы большевиков, заставляли допускать возможность попытки Временного правительства арестовать приезжих после

переезда через русскую границу. На всякий случай (по предложению Ленина) условились, как держать себя на допросах и т. п.».

— Нельзя не отметить, — сказал мне доктор исторических наук профессор П. С. Смирнов, — что Ленин, высоко ценивший Сокольникова, критиковал его по отдельным теоретическим вопросам. В известной работе «К пересмотру партийной программы», написанной в октябре 1917 года, Ленин указал на ряд неточностей, имевшихся в подготовленном Сокольниковым проекте партийной программы. В частности, на недооценку им империализма на современном этапе. Следует, видимо, подчеркнуть, что разногласия эти носили тактический характер и дискуссии в то время были нормой жизни партии.

Впервые о своем отце Гелиана Сокольникова услышала в девять лет. По дороге домой забежала к школьной подруге. Ее отец, немолодой и важный, шуршал за столом газетой. Он неторопливо осмотрел гостью и спросил:

— Как твоя фамилия?

— Сокольникова, — отчего-то смутилась Лана.

— Так это твой отец травил воду в колодцах, — важный человек швырнул газету на стол. — Поезда пускал под откос, фашистам помогал, шпионил! Вон из моего дома!

Лана опрометью бросилась на улицу. Шел 1943-й, и слово «фашист» было ей хорошо знакомо.

Бабушка на расспросы Ланы не отвечала. Старая большевичка, она здесь, в Семипалатинске, знала, как себя вести, чтобы выжить.

Однажды Лану подозвал старик-поселенец и стал расспрашивать об отце. Лана отмалчивалась, не повторять же услышанное.

— Работал я в банке, а на деньгах стояла подпись твоего отца, — пояснил причину своего любопытства старик. — Да ты разве не слыхала, что он был наркомом финансов?

Лана ему не поверила. Ей приходилось держать в руках мятые замусоленные рубли и трешки, никакой подписи на них не было. Тогда бумажные деньги казались ей целым состоянием, обычно бабушка пересчитывала копейки.

Родившись в Москве, она познакомилась с Москвой в двадцать восемь лет. Какая-то сила тянула ее на Арбат, к дому, в котором родилась и жила первые два года. Набравшись смелости, однажды зашла в подъезд, поднялась на площадку, где, по рассказам матери, был вход в квартиру. Нажать на кнопку звонка не решилась.

Открылась дверь, выглянула седенькая старушка, встряхнула матерчатый коврик. Неспешно вгляделась в девушку в цветастом узбекском платье.

— Что, Ланочка Сокольникова, — сказала не то устало, не то виновато, — пришла посмотреть квартиру? Заходи...

До войны старушка эта жила в соседнем доме и не раз наблюдала, как няня в белом халате прогуливалась во дворе с дочерью Сокольникова, бывшего в ту пору заместителем наркома по иностранным делам. Однажды, летним вечером 1936 года, ее удивило, что крохотная Лана возится одна в песочнице. На следующий день то же самое. Соседка собралась покормить девочку, но пересилить охвативший ее страх не смогла. За двое суток, что девочка провела в песочнице, никто не подошел к ней и не протянул даже куска хлеба...

В атмосфере подозрительности и стойкого недоверия, в окружении кривых холодных ухмылок прошла жизнь дочери Сокольникова — Гелианы Григорьевны.

В апреле 1982 года мы познакомились в Североморске на вечере «Слово о Галине Серебряковой», организованном флотским клубом книголюбов. Гелиана Григорьевна тогда более чем сдержанно отнеслась к моим вопросам о судьбе Сокольникова. Нынешней весной она на них ответила. Оказалось, ее мать Галина Серебрякова не раз подчеркивала, что писательницей она стала во многом благодаря Сокольникову. В литературных кругах того времени ходила даже такая шутка: «Вышла новая книга Серебряковой, написанная Сокольниковым». Конечно, это было преувеличением. Григорий Яковлевич в ту пору писал собственные книги по экономическим вопросам. Но доля истины в этих словах имелась. На первых порах, по словам писательницы, он действительно редактировал ее художественные произведения.

Семнадцать лет в общей сложности провела Галина Серебрякова в тюрьмах, лагерях и ссылке, стояла и под дулами винтовок. И все по стандартному обвинению — как жена «врага народа». У нее хватило мужества, когда гонения прекратились, бороться за возвращение доброго имени мужу. Не хватило только жизни...

В судьбе Сокольникова немало крутых виражей, но самый загадочный приходится на лето 1918 года. Член ЦК Сокольников, редактор «Правды», вдруг едет в Вятку одним из политкомиссаров 2-й армии. До наших дней дошла версия, будто бы Сокольников вошел в конфликт с кем-то из членов

ЦК и поплатился таким вот неожиданным образом. Не возьмусь что-либо утверждать или опровергать, поскольку не располагаю на этот счет достоверными фактами. Пока единственным аргументом в пользу такого толкования служит то, что Сокольников не имел раньше никакого отношения к военному делу.

Но ведь не был никогда Сокольников и дипломатом, однако блестяще справился с возложенной на него миссией. А еще до поездки в Брест-Литовск главой делегации Сокольников по заданию Ленина участвовал в разработке декрета о национализации банков и успешно проводил его в жизнь. Надо полагать, тоже впервые. Напрашивается предположение, что Ленин доверял Сокольникову ответственные задания, посылая его на трудные участки революционной работы. А летом 1918 года не было задачи сложнее, чем создание регулярной Красной Армии.

В партии, среди членов ЦК не было единства во взглядах на то, какой быть армии. Сохранить выборность командиров или они будут назначаться Советской властью? Доверить ли командные должности бывшим царским офицерам и генералам? Мнения высказывались порой прямо противоположные, споры затягивались. А драматизм ситуации заключался в том, что внутри страны подняли мятеж белочехи, одно за другим вспыхивали контрреволюционные восстания, полным ходом шла подготовка к вооруженному вторжению извне.

На состоявшемся 29 июля 1918 года Пленуме ЦК РКП(б) рассмотрены причины сдачи Симбирска. Признано необходимым срочно усилить и оздоровить Восточный фронт, который с трудом сдерживал растущее наступление регулярных частей белочехов и белогвардейцев. Не могли не тревожить членов ЦК и участившиеся случаи измены среди военспецов: к противнику перебежали командующий группой войск в районе Уфы Махин и командующий северо-урало-сибирским участком фронта Богословский, другие бывшие офицеры.

Кризисным было состояние 2-й армии. Основу ее, как вспоминал впоследствии бывший в ту пору командующий войсками Вятского района А. А. Медведев, составляли разрозненные партизанские отряды. Наспех сформированные из местных большевиков и присланных из центра рабочих, демобилизованных солдат и матросов, они действовали вразнобой, были плохо вооружены, слабо обучены.

В этих тяжелейших условиях представитель ЦК комиссар Сокольников решительно наводит порядок, устанавливает кон-

такты с местными большевистскими организациями, лично занимается подбором и расстановкой командных кадров. По его настоятельной рекомендации в конце сентября командующим 2-й армией назначен опытный фронтовик полковник (по другим данным генерал) В. Шорин. Пройдет совсем немного времени, и разойдутся военные дороги Сокольникова и Шорина. В боях за Советскую власть в полную меру раскроется полководческий талант Василия Ивановича Шорина, ему доверят командование Юго-Восточным, впоследствии Кавказским фронтом, а в 1922 году уже он возглавит Туркестанский фронт.

Вот так, довольно конспективно удалось обозначить участие Сокольникова в гражданской войне. Более детально определить вклад Сокольникова в создание Советских Вооруженных Сил оказалось непросто.

В начале 1962 года Гелиана Григорьевна встретилась в Москве с А. А. Медведевым.

— Где же вы были раньше? — невольно вырвалось у нее, когда узнала, что почти всю гражданскую он прошел рядом с ее отцом.

— В заключении, — сдержанно ответил Медведев.

И она поняла, что не обо всем может спросить у него. Да и он не на все ее вопросы ответит. До самой смерти Медведева Гелиана Григорьевна переписывалась с ним. Вот лишь некоторые штрихи, дополняющие путь, пройденный Сокольниковым на фронтах гражданской войны.

Жаркие бои разгорелись в конце лета за Чистополь, Елабугу и Сарапул. Отряды 2-й армии упорно продвигались к Ижевску и Воткинску. Подавить вспыхнувшие там эсеро-белогвардейские мятежи и вернуть республике крупнейшие оружейные заводы — такова задача, поставленная Лениным. К первой годовщине Октября Ижевск освобождает 2-я сводная дивизия В. Азина, Воткинск — особая Вятская дивизия А. Медведева.

«Дорогая Галина Иосифовна! — пишет Медведев 20 апреля 1964 года Серебряковой. — Сегодня я послал ответ в село Зюзино Дебесского района Удмуртской АССР, в котором написал школьникам, что Сокольников Григорий Яковлевич был членом реввоенсовета 2-й армии и комиссаром особой Вятской дивизии и что он погиб во времена «культа личности». Я обещал им и в Ижевск в газету «Удмуртская правда» прислать фотографию Григория Яковлевича. Во всяком случае на громадной территории Удмуртии это имя стало известным,

и красные следопыты в своих школьных уголках будут иметь фото Сокольникова».

Основной удар в конце 1918 года интервенты и белогвардейцы нанесли с юга. И все наличные силы республики спешно брошены на укрепление Южного фронта. 15 декабря Ленин дает указание Реввоенсовету республики: «...ничего на запад, немного на восток, все (почти) на юг». Двумя неделями раньше Сокольников назначен политическим комиссаром Южного фронта при следующих обстоятельствах. Из-за предательства помощника командующего фронтом Носовича фактически сорвано крупное наступление наших войск в районе Царицына. Разоблачен как шпион, арестован и расстрелян начальник штаба фронта Ковалевский. Сменился командующий Южным фронтом. В эти дни возрастает интенсивность переписки Ленина и Сокольникова. Дело удается поправить к весне 1919 года. Донская белоказачья армия Краснова разгромлена. Думаю, немалая заслуга в этом члена Реввоенсовета фронта Сокольникова.

В марте 1919 года Сокольников в Москве выступил с докладом ЦК по военному вопросу на VIII съезде РКП(б). В учебнике, по которому я изучал историю партии, упоминается о дискуссии, развернувшейся на съезде по военному вопросу. Однако ни противники, ни сторонники Ленина, ратовавшего за создание мощной регулярной армии, не называются. Говорилось лишь, что крупные деятели партии, именуемые впоследствии лидерами «военной оппозиции», выступили против введения в армии уставов, насаждения железной дисциплины, использования опыта военспецов. Взамен предлагались партизанские методы ведения войны, выборность командиров, расширение прав армейских партячеек вплоть до передачи им руководства боевыми действиями. Перед угрозой новых мощных выступлений внутренней и внешней контрреволюции такая точка зрения представляла серьезную опасность, вела к ослаблению армии.

Доклад Сокольникова на съезде пронизан ленинскими идеями. Григорий Яковлевич был блестящим полемистом. Неожиданным метким словом, удачным сравнением он разбивал один за другим доводы оппонентов. Убеждая делегатов съезда в несостоятельности платформы «военной оппозиции».

Чего стоит одна, как бы вскользь оброненная им фраза, когда речь в докладе идет о принципиальной необходимости в армии уставов: «Некоторые товарищи, например, выудили

в этом уставе, что по уставу красноармейцам запрещается удить». Докладчик на съезде от оппозиции В. Смирнов, узнав себя, вынужден оправдываться:

«Товарищ Сокольников, говоря об уставе, сострил специально по моему адресу, что уставом красноармейцам воспрещается ловить рыбу. Конечно, это пустяки, но факт характерен. Устав вводит строгую формальную дисциплину... Каков смысл введения таких формальностей в Красную Армию? В этом нет ни малейшего смысла. Я, конечно, не говорю, что товарищ Сокольников здесь говорил неправильно, что мы против всякого устава. Ничего подобного. Устав нужен. Регламентировка нужна, но надо, чтобы мы переработали весь устав в соответствии с тем опытом, который есть, откинув все ненужные указания, которые обусловливаются старым строем армии».

Об остроте развернувшейся на съезде дискуссии по военному вопросу говорят такие факты: в прениях записались выступить 64 делегата, а большинством голосов на военной секции первоначально были приняты тезисы оппозиции. Делегаты, стоявшие на позиции ЦК РКП(б), в знак протеста даже покинули заседание. Перед заключительным словом Г. Сокольникова и В. Смирнова, уже на закрытом заседании съезда, с развернутой речью выступил В. И. Ленин. И лишь тогда большинством голосов (174 против 95) делегаты VIII съезда РКП(б) проголосовали за тезисы ЦК.

Принятая съездом резолюция одобряет предложения доклада Сокольникова: создать Политотдел Реввоенсовета республики для руководства всей партийно-политической работой в армии, поставив во главе его члена ЦК РКП(б); соблюдать принцип классовой мобилизации в армию; продолжать привлечение военспецов на командные должности, осуществляя за ними через комиссаров неослабный партийно-политический контроль; усилить подготовку командного состава из пролетариев и полупролетариев и другие.

Назначение Сокольникова в октябре 1919 года командующим 8-й армией, вспоминал впоследствии Медведев, бойцы и командиры восприняли с радостью, видели в этом признак близких перемен к лучшему, к переходу в решительное наступление. И не ошиблись. Приходится лишь сожалеть, что Медведев, бывший в то время заместителем командарма-8 Сокольникова, не оставил нам более подробных воспоминаний.

Из автобиографии Г. Я. Сокольникова:

«Проделав путь от Воронежа до Новороссийска вместе с частями 8-й армии, вернулся затем в Москву (в апреле 1920 года) и, считая период гражданской войны в основном законченным, возвратился к работе в редакции «Правда». Вошел в состав моск. к-та, руководил школой пропагандистов, участвовал во II Конгрессе Коминтерна. В августе 1920 года был направлен в Туркестан в качестве председателя Туркестанской комиссии ВЦИК и командующего Туркестанским фронтом. Руководил организацией Советской власти в Бухаре, после низвержения эмира. Принимал близкое участие в военных операциях против басмачей в Фергане, закончившихся полным поражением одного из крупнейших басмаческих главарей Хол-Ходжи. Хол-Ходжа, бывший уголовный каторжанин, необычайного роста и силы бандит, бежал со своим отрядом в горы по направлению китайской границы, но на узкой тропинке погиб под снежным обвалом; хотя пущенная басмачами легенда утверждала, что Хол-Ходжа был спасен от смерти подлетевшими ангелами, но исчезновение его было окончательным.

Однако ослабление басмаческого движения было достигнуто экономическими и иными мероприятиями не в меньшей мере, чем военными: была проведена денежная реформа; отменена (до отмены в общем масштабе) продразверстка, замененная налогом, отменена всеобщая натуральная трудповинность; разрешен свободный привоз на базары и торговля на них; выпущены на свободу муллы, заявившие о своей политической лояльности, советские органы управления перенесены из русских городов в туземные города и кварталы; в Семиречьи приступлено было к возвращению киргизам земель, самовольно захваченных у них русскими поселенцами».

Сокольников и Сталин. Летом 1917 года оба избраны членами ЦК и редакторами «Правды». Поначалу многое, наверное, их сближало. Но чем дальше, тем глубже политические разногласия. А после смерти Ленина отношения и вовсе обострились. В 1925 году, выступая на XIV съезде партии, нарком финансов Сокольников говорит об ошибочности курса Сталина на «ограбление» деревни, о допущенных извращениях ленинского плана построения социализма в нашей стране. «Осенью 1925 года, — напишет Сокольников два года спустя, — защищал точку зрения необходимости, наряду с обеспечением возможности быстрого подъема сельского хозяйст-

ва, как базы мощной промышленности, отчетливой классовой политики в деревне и во внутрипартийных разногласиях 1925—1926 годов поддерживал меньшинство ЦК».

Меньшинством ЦК, которое еще именовалось «новой оппозицией», возглавляемой Л. Каменевым и Г. Зиновьевым, на XIV съезде ставился вопрос о замене Сталина на посту генсека. Не тогда ли и начали рождаться в душе Сталина преступные замыслы? Неопубликованные воспоминания Галины Серебряковой дают основания предполагать, что Сокольников и после XIV съезда не раз вызывал неудовольствие Сталина. Образованностью и тем, что по каждому вопросу имел собственное мнение. Неуступчивостью, когда речь заходила о выделении дополнительных средств на содержание государственного аппарата, спецпайков и льготных путевок для избранного круга работников. Вряд ли мог устраивать сталинское окружение такой нарком финансов. Начиная с 1926 года одно за другим следуют перемещения Сокольникова. Но даже в этих условиях Сокольников не торопится уходить с политической арены.

Еще одним поводом могла послужить для Сталина появившаяся за рубежом в тридцатые годы статья, в которой сравнивались политические качества Сокольникова и Сталина. Сравнивались не в пользу последнего.

Известно, сколь ревниво следил Сталин за всем, что говорилось и писалось о нем как в стране, так и за границей. Вряд ли та статья прошла мимо его внимания. Не исключено, что она-то и определила последний крутой вираж в судьбе Сокольникова.

Возвратившись в самом начале тридцатых годов из Англии, где был полпредом, Сокольников оказался не у дел. Его избегают прежние знакомые, ничего не говорят ему служащие Наркоминдела. Чтобы отвлечься от тягостных размышлений и как-то поддержать семейный бюджет, он читал лекции в университете. Так проходит около полугода, прежде чем Сталин вызвал его к себе на беседу. По праву старого товарища он укорял Сокольникова за то, что по возвращении из Англии тот столько времени не давал о себе знать. Ему, Сталину, еще предстоит разобраться, почему такой заслуженный человек, как Сокольников, до сих пор не устроен на работу. А пока не согласится ли он принять должность заместителя наркома по иностранным делам? Прощаясь, Сталин будто бы поинтересовался, есть ли у Сокольникова дача. Услышав отрицательный ответ, слегка попенял на скромность и в при-

сутствии Сокольникова дал поручение Ежову немедленно заняться строительством дачи.

Вечером 26 июля 1936 года, вспоминает доктор исторических наук Зоря Леонидовна Серебрякова, ждали возвращения отчима — Григория Яковлевича. К тому времени его родные, если и вспоминали о пережитых треволнениях, так разве с улыбкой. «Обласканные» самим Сталиным, они уже полтора месяца жили всей семьей на даче в подмосковной Баковке. Значит, великодушный Сталин забыл прежние свои разногласия с Сокольниковым. Или простил, что тоже давало повод говорить о нем в превосходной степени.

Нет, не забыл, и уж тем более не простил.

В темноте к дощатому палисаднику подкатили какие-то машины, на веранду поднялись незнакомые тринадцатилетней Зоре мужчины, начали негромкий разговор с Галиной Иосифовной. До утра на даче продолжался обыск, до утра родные Сокольникова не сомкнули глаз. И по сей день не знают они о подробностях его гибели.

В июне 1988 года состоялся Пленум Верховного Суда СССР. Нелепые обвинения, предъявленные Сокольникову вместе с Пятаковым, Радеком и Серебряковым в январе 1937 года в том, будто бы они являлись членами «параллельного антисоветского центра», наконец-то отменены. Никогда не был Сокольников ни изменником Родины, ни шпионом, ни вредителем, не покушался он и на жизнь Сталина. Вопреки многочисленным усилиям сталинского окружения имя Сокольникова возвращается в нашу историю.

Человек и символ

Беседа корреспондента
Р. Гусейнова
с доктором исторических наук, профессором
Ю. С. Борисовым

Р. ГУСЕЙНОВ: Юрий Степанович! Я знаю, что в сферу ваших научных интересов, особенно в последние годы, входит фигура Сталина, его окружение, тот период в жизни нашего общества, который мы зовем временем «культа личности». Ваши лекции, беседы вызывают огромный интерес. Что, на ваш взгляд, за этим интересом: жажда нового знания, глубокий интерес к прошлому, а может быть, и мода?

Ю. БОРИСОВ: Очень хотелось бы верить, что те, кто приходит на лекции (мои или коллег-историков), те, кто с увлечением глотает современную периодику (а она очень много дает пытливому уму), руководствуются не поветрием моды. Слишком серьезный и драматический поднимается вопрос. История — это арсенал, в котором мы ищем и то, что возьмем с собой в дорогу, и то, от чего нужно отказаться. Но в любом случае это должна быть книга без вырванных страниц. Только тогда она станет по-настоящему полезной и поучительной.

В этом смысл той очистительной работы, которая начата по инициативе нашей партии. Мы, историки, в большом долгу перед народом и стремимся сейчас удовлетворить его потребность в объективном знании прошлого. Могу сообщить, что и в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, и в Институте истории СССР АН СССР, где я работаю, ведется напряженная работа по созданию новых обобщающих книг по истории партии и истории СССР, которые отвечают современным требованиям и готовятся с привлечением ранее недоступных источников. В таких издательствах, как Политиздат, «Мысль» и другие, завершается работа над книгами по ряду острых, малоисследованных проблем. Ряд журналов готовят серии статей о виднейших деятелях нашей и мировой истории. «Фигуры умолчания» уходят наконец в прошлое.

Мне кажется естественным тот огромный интерес, который проявляется сегодня людьми всех поколений, особенно молодежью, к трагическим явлениям нашей истории. Правда,

оценки Сталина и той эпохи разноречивы, порой противоречат друг другу.

Для одних Сталин — это человек, с которым связаны политические преступления, прощения которым нет и быть не может. Для других — это профессиональный революционер, соратник Ленина, «допустивший немало ошибок, но победивший в войне».

Высказывается и такая точка зрения: настоящего социализма в нашей стране построено не было. На этой почве возникают и рекомендации, на мой взгляд, поспешные, а иногда и безответственные. Говорится о том, что во всем виновата, дескать, однопартийная система. За этим стоит наивное представление, будто чем больше партий, тем больше демократии.

Мне думается, что важным сейчас является внести определенность в наши представления об этом времени. Поэтому я начал бы с того, что является главным, на мой взгляд, в той эпохе, которую не всегда обоснованно называют сталинской.

Определенность эпохи, как мне представляется, состоит в том, что в нашей стране впервые в мире строился социализм. Происходило это в особых условиях. А характеристика Сталина как политического деятеля определяется прежде всего тем, что именно к нему сходились решающие нити управления всеми процессами, происходящими в стране.

С 1930 года в СССР была навсегда ликвидирована безработица. Страна создала мощную индустрию. Ушла в прошлое неграмотность, складывалась культура нового типа, более 40 народов впервые получили национальную письменность, сформировали собственную интеллигенцию. Впервые в мире решались социальные проблемы, ликвидация которых невозможна в антагонистическом обществе. Народ все вынес и преодолел во имя социализма, вопреки «механизму торможения» и тем извращениям, которые связаны были с командно-бюрократической системой, представлявшей собой пирамиду, на вершине которой место было лишь для одного.

Р. Г.: Но был ли Сталин со всеми присущими ему качествами закономерным порождением эпохи?

Ю. Б.: Это важный вопрос. Буржуазные советологи часто трактуют его однозначно. Не было бы Сталина, возникла бы другая фигура, но методы правления, командный стиль, по их мнению, остались бы такими же. Я убежден, что эпоха не требовала с неизбежностью такого человека, как Сталин.

На любом повороте истории существует возможность выбора, происходит борьба тенденций. Но из различных вариантов история избирает только один. Увы, не всегда самый лучший. И тогда возникает своеобразный исторический зигзаг. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что объективная закономерность все равно вернет исторический процесс на магистральную линию. Но когда свершится возвращение, оно не будет возвращением к исходной точке. Это будет новая точка отсчета.

Р. Г.: Приходится слышать и такую точку зрения, что, дескать, выбор Сталина из числа тех, кто остался в руководстве после смерти В. И. Ленина, был наилучшим. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин не обладали ни политическими, ни волевыми качествами руководителей, способных поднять разрушенную войной страну и построить социализм.

Ю. Б.: Чаще всего в таких рассуждениях возникает мнимая альтернатива: Сталин или Троцкий.

Но вопрос этот надуман, ибо не было никаких реальных оснований для выдвижения Троцкого на роль единственного или главного руководителя. Это, кстати, показала последовавшая вскоре дискуссия с троцкистами. Лишь незначительное число коммунистов поддержало теоретика «перманентной революции». Убежден я и в другом. Сам Троцкий, как умный политикан, умеющий заглядывать вперед, прекрасно понимал призрачность своих притязаний.

Известно, что Ленин предлагал ему пост заместителя председателя Совнаркома. Практически это был второй пост в правительстве. Заместитель председателя руководил и заседаниями Политбюро в отсутствие Ленина. Однако Троцкий отказался занять этот пост, и его занял Каменев. Я полагаю, что главное, за что боролся Троцкий, состояло в стремлении сохранить в Политбюро особое положение.

Р. Г.: Что значит «особое положение». Была ли это роль главного идеолога, ведущего советника. Ведь Троцкий был человеком крайне самолюбивым, амбициозным.

Ю. Б.: Очевидно, роль идеолога и полная автономия тех сфер, которыми он руководил (особенно военные дела), его бы вполне устроила.

Далее. Каменев и Зиновьев. Пожалуй, они полагали, что после смерти Ленина партией будут руководить они. Допускался в этот круг и Сталин. Но всего лишь как исполнитель, орговик. Политическое, интеллектуальное руководство они оставляли за собой.

Если мы выйдем за пределы этого круга, то появится ряд

других имен. В кругу старых большевиков достаточно упорно в качестве преемника Ленина называется Рудзутак. При этом ссылаются на мнение Ленина, хотя письменных свидетельств этого нет. Достоверно известно одно: к Яну Рудзутаку Ленин питал глубокое уважение.

Несколько позднее называли и другие имена. Фрунзе, Дзержинский. Затем Киров. После смерти Кирова атмосфера в партии изменилась. Ничьих имен уже не называлось. С конца 40-х годов в достаточно узких кругах, как о возможном преемнике, заговорили о молодом секретаре ЦК ВКП(б) Алексее Кузнецове. Его судьба трагична, и об этом ваша газета писала.

Иногда возникает вопрос: а почему Ленин не назвал конкретного преемника? Изучая жизнь Владимира Ильича, его труды, понимаешь, что такой шаг был бы противен самой натуре Ленина. Он полагал, что во главе страны должен стоять достаточно крупный, авторитетный деятель партии, лишенный тех недостатков, которыми обладал Сталин. Главным и важнейшим, по мысли Ленина, было, чтобы этот человек обеспечивал преемственность руководства, его коллективность.

Р. Г.: Ленин не мог не понимать, что власть, сосредоточенная в одних руках, может привести к серьезным проблемам.

Ю. Б.: У Ленина такие опасения были. В марте 1922 года он писал Молотову, что «пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией». При этом он подчеркивал, что «достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него». Ленин тогда еще не знал данных партийной переписи 1922 года. В РКП(б) тогда входило около 400 тысяч человек. Так вот люди, вступившие в партию до революции и в 1917 году, составляли около 11 процентов от общего числа членов. Ленин предчувствовал, что если раскол возникнет в этой среде, то будущие события будет трудно предугадать. Так, по сути, и произошло.

После смерти Ленина внутрипартийная борьба вспыхнула с новой силой. Обострению дискуссии, непримиримости сторон способствовало привнесение в споры элементов борьбы за власть. Это, несомненно, противоречило самому духу большевистской партии. Сталин, который по своему положению в партии обязан был противостоять этим пагубным тенденциям,

лишь обострял их. Собственно, это было свойственно его натуре, о чем и предупреждал Ленин.

В этой обстановке процветала групповщина. Логика такой борьбы неминуемо придавала ей фракционный характер.

Одним из первых почувствовал опасность такой обстановки Ф. Дзержинский. В личном письме В. Куйбышеву в 1926 году он с горечью писал: «Дорогой Валериян!.. Я сознаю, что мои выступления могут укрепить тех, кто наверняка поведет партию в сторону гибели... Как же мне, однако, быть? У меня полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством... Если не найдем этой линии и темпа — оппозиция наша будет расти, и страна найдет тогда своего диктатора — похоронщика революции — какие бы красные перья ни были на его костюме... От этих противоречий устал и я».

Через семнадцать дней его не стало...

Некоторые историки, комментируя это письмо, утверждают, что Дзержинский прозорливо увидел будущее Сталина. Я думаю, что это было бы слишком простым ответом. О Сталине или о какой-то другой конкретной фигуре и речи здесь еще нет.

Несомненно, что письмо Дзержинского отражало в какой-то степени предчувствие старым ядром ленинской гвардии грозящей опасности. Не Сталин, так кто-то другой должен был появиться в этой смутной ситуации, когда вчерашние товарищи по партии привносят в борьбу что-то чуждое самой партии, ее идеологии.

Р. Г.: Важным мне представляется вопрос о соратниках Сталина, тех, кто его окружал и с кем он делил власть. Любая власть, даже самая единоличная, предполагает пусть узкий, но круг соратников, единомышленников. В сознании одних едва ли не единственным виновником трагической гибели людей в период культа личности считался Сталин. Другие же чуть ли не каждого, кто занимал в те годы ответственные посты, причисляют к убийцам.

Наверное, таким настроениям есть и объективные причины. Многие годы в исторической, да и художественной литературе Политбюро тех лет изображалось монолитно-единым, образы руководителей стереотипно-приглаженными. Но ведь это были совсем не простые годы, значит, и судьбы были не простыми. Многие из этих людей прошли через личные трагедии, потери самых близких. Были у них и ошибки, но за плечами были и

годы подпольной работы, ссылки, каторги, тюрьмы, гражданская и Великая Отечественная войны. Разве можно все отбросить и забыть?

Ю. Б.: Свою работу в качестве Генерального секретаря Сталин начинал в ленинском Политбюро. Тогда это было собрание наиболее авторитетных в партии людей, естественно, отстаивающих одну принципиальную программу. Но в рамках этой программы они имели порой очень разные представления о том, как ее выполнять.

Политбюро, как и Совнарком при Ленине представляли собой — и в этом нет никакого преувеличения — созвездие ярких талантов. И это наше счастье, что во главе партии, страны оказались столь талантливые и столь разные люди. Это, кстати, отмечали и зарубежные наблюдатели. Приведу одно из свидетельств. Полковник Робинс, американский представитель Красного Креста в Советской России, встречался с Лениным, другими крупными руководителями. Вернувшись в Соединенные Штаты, он опубликовал интересную книгу своих впечатлений. Робинс характеризует первое Советское правительство как самое способное среди ведущих стран мира, он с восхищением отмечает, что ни в одной стране нет в составе правительства такого количества людей, знающих так много иностранных языков и написавших столько книг.

При этом они оставались разными людьми. Они спорили до хрипоты, во многом не соглашались друг с другом. Это было понятным, естественным. Потому что, чем крупнее талант, тем он оригинальнее, тем меньше укладывается в какие-то общие представления. Но при этом был человек, который организовывал эту работу таким образом, чтобы весь положительный потенциал разных людей, споривших, а иногда и ненавидевших по-человечески друг друга, как, например, Сталин и Троцкий, сливался воедино; все способности направлялись в общее русло. Это действительно было счастьем.

Сталинское Политбюро было иным. В разные годы в него входили разные люди. Если брать последний период его жизни, то это были люди, которые поддерживали политику, провозглашаемую Сталиным. Собственно, это была единая политика. В этом смысле они все несут за нее ответственность, хотя, конечно, главная вина за отход от ленинской политики, за создание административного механизма, который потребовал соответствующего репрессивного аппарата, ложится на Сталина.

Р. Г.: Нередко приходится слышать утверждения о том, что Сталин, дескать, не мог знать о массовых репрессиях.

Ю. Б.: Он был в курсе всего. Однако трагедией для многих людей, которые входили в его окружение, является то, что Сталин почти никогда не оформлял решения только своей подписью. Он требовал согласия и одобрения этих решений другими крупными руководителями. Вот характерный документ, направленный в 1937 году на утверждение Сталина возглавлявшим тогда Наркомат внутренних дел Ежовым:

«Тов. Сталину.

Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду Военной коллегии:

1. Список № 1 (общий).

2. Список № 2 (быв. военные работники).

3. Список № 3 (быв. работники НКВД).

4. Список № 4 (жены врагов народа).

Прошу санкции осудить всех по первой категории.

ЕЖОВ».

«Первой категорией» именовался приговор к расстрелу.

Сталин рассмотрел все списки вместе с Молотовым. На каждом из них сохранилась резолюция: «За. И. Сталин. В. Молотов».

Из соратников Сталина одни, как Молотов и Каганович, полностью разделяли вину не только с ним, но и с теми, кто фабриковал эти дела. Другие, я бы сказал так, вынуждены были мириться, хотя это их не оправдывает.

Но правдой было и то (об этом важно сказать), что в составе Политбюро были люди другого стиля работы, которые иначе понимали функцию, роль руководителей. Например, Киров и Орджоникидзе, хотя они никогда не выступали против политики Сталина. Работали они совершенно иначе. Сталин не любил выезжать и редко покидал Москву, с годами ограничивал число людей, вхожих в его круг. Последний раз в деревне он был в 1928 году и именно из этой поездки привез метод «чрезвычайных мер» — как универсальный при решении экономических проблем.

В последние годы жизни он часто встречался с Берией, Молотовым и редко с полным составом Политбюро. В 30-е годы было еще по-иному. Но с самого начала своей деятельности в качестве Генерального секретаря он был работником кабинета. Человеком, который много ездил по стране, он был тогда, когда выполнял задания Ленина, поручения ЦК до пере-

хода к нэпу. Последние годы страну он видел из окон вагона (если они не были зашторены), когда выезжал на отдых.

Информация, которую он получал, несомненно, становилась все более дозированной и фильтрованной.

Среди людей, работавших в разные годы рядом с ним, я бы назвал Кирова, Орджоникидзе, Куйбышева, Калинина, Хрущева. Будучи непохожими друг на друга, все они были очень крупными руководителями, оригинально мыслившими, своеобразно работавшими. Главным в них, на мой взгляд, была какая-то по-человечески хорошая жадность к людям, желание общаться с ними, стремление понять их мысли и устремления. Я убежден, что в этой среде всегда существовала пусть и глухая, но оппозиция сталинским методам.

Но, как человек коварный, Сталин не случайно согласовывал с членами Политбюро решения, которые мы сегодня осуждаем.

Р. Г.: Своеобразная коллективная ответственность?

Ю. Б.: Я бы даже сказал, круговая порука. Все эти люди оказались связанными общими решениями. И это личная трагедия для многих из них. Одни так и продолжали идти в русле этой политики. Другие, как Орджоникидзе, считали для себя невозможным продолжать это движение и приходили к конфликту со Сталиным. Это кончалось трагически. Существуют разные версии гибели Серго Орджоникидзе. Не хочу их разбирать. Скажу лишь о том, с чем столкнулся сам, работая с предсмертными бумагами Орджоникидзе.

На последнем листочке отрывного календаря в рабочем кабинете он записывает дела следующего дня: встречи, телефонные звонки, различные беседы. Свидетельства людей, встречавшихся с ним в последний день его жизни, также говорят, что он был энергичен, вызывал к себе людей на завтра. У Орджоникидзе отсутствовали какие-либо признаки депрессии.

Но дело не только в этом. Смерть Орджоникидзе — следствие его резкого конфликта со Сталиным накануне Пленума ЦК 1937 года. Здесь ему предстояло выступить с докладом о вредительстве. Я видел в архиве подготовленный Орджоникидзе проект резолюции, видел и замечания Сталина на полях.

Нарком тяжелой промышленности лично подбирал кадры в своей отрасли, хорошо их знал и был убежден в абсурдности обвинений.

Сталин вернул проект резолюции, сопроводив его грубыми

замечаниями. Между ними последовали бурные объяснения. 18 февраля 1937 года Серго не стало.

Р. Г.: Юрий Степанович! Мы уже говорили с вами о том, что приход Сталина к власти не был явлением закономерным, могла возникнуть и другая фигура, но ведь приход Ягоды, Ежова, Берии — это уже был процесс закономерный. Таковым было и появление Вышинского.

Ю. Б.: Это было закономерное явление. Административно-командная система представляла собой, по существу, бюрократический централизм, который подменял открытый большевиками принцип демократического централизма. Приказы должны были выполняться безусловно. Любое нарушение инструкции порождало неминуемое жесткое наказание. Культивировалось не столько творческое отношение к работе, сколько психология «винтика», страх ослушания.

В такой атмосфере был необходим четко функционирующий репрессивный аппарат, контроль над которым осуществлял лично Сталин. Во главе этого аппарата появление таких личностей, как Дзержинский, как Менжинский, было невозможно. Нужны были иные фигуры. Таковыми последовательно становились Ягода, Ежов, Берия, Абакумов. Закономерным было не только появление этих фигур, но и их смена. Широкие репрессии вызывали недоумение, а потом столь широкое возмущение, что необходимо было периодически превращать исполнителей в «козлов отпущения».

Первой фигурой из этого ряда стал Ягода.

Р. Г.: Многое сказано в последние годы о Берии, пишут о Ежове, однако Ягода остается в тени. Именно при этом человеке (и, вероятно, не без его участия) был убит Киров, стала шириться сеть лагерей. Наконец, он несет ответственность как один из главных «архитекторов» системы страха, доносительства, впоследствии получившей столь широкое распространение и доведенной до предела, когда эта система стала пожирать своих творцов.

Современники помнят Ягоду как человека аккуратного, спокойного, делового. Член партии с 1907 г., он занимал различные должности в Нижнем Новгороде и Петрограде. С 1919 года работал в Наркомате внешней торговли, с 1920 года в ВЧК. После смерти Менжинского в 1934 году возглавил ОГПУ, затем стал первым наркомом внутренних дел. В 1936 году короткое пребывание на должности наркома связи, а в 1937 году процесс по делу «антисоветского, правотроцкистского блока». Здесь Генрих Ягода проходил под номером

«три» после Бухарина и Рыкова. Он признал себя виновным в том, что является польским шпионом, агентом гестапо, исполнителем убийства Кирова, а также отравителем Горького, Менжинского, Куйбышева. Последний факт государственный обвинитель А. Вышинский доказал (для суда и общественности) весьма убедительно, используя при зтом примеры из Тацита, времен Филиппа II и папы Климента II. Сегодня зто звучит странно, неправдоподобно. Но тогда поверили! По сути, Ягода стал первой крупной жертвой созданной им самим системы. Как и герою Франца Кафки — офицеру, создавшему чудовищную машину пыток и ставшему ее жертвой, Ягоде было суждено до конца пройти весь этот путь: от дознания до расстрела.

Ю. Б.: А вот преемника Ягоды — Ежова Сталин уже тщательно выращивает. С должности заместителя наркома земледелия он передвигается в аппарат ЦК, становится зав. орготделом, затем промышленным отделом. Вскоре он секретарь ЦК по оргвопросам, постоянно рядом со Сталиным. Изучен его характер (а надо отдать должное, Сталин в людях, особенно в их слабостях, разбирался хорошо), оценил услужливость, беспрекословность. После ухода Ягоды Ежов пересаживается в его кресло.

Мне доводилось встречаться с людьми, которые лично знали Ежова, работали с ним в одном аппарате. Общее впечатление от зтой фигуры весьма зловещее. Говорят о его низких моральных качествах, явных садистских наклонностях. Женщины, работавшие в НКВД, боялись встречи с ним даже в коридорах. Не исключено, что зто был человек с какими-то серьезными отклонениями в психике. Собственно, зто логично. То, чем он занимался, мог делать только человек, лишенный остатков совести, моральных принципов. Его конец был предрешен. В конце 1938 г. Ежов был снят с поста наркома внутренних дел с оставлением за ним должности наркома водного транспорта, которую он занимал по совместительству. 21 января 1939 г. он последний раз появился на публичном заседании в Большом театре. Вскоре Ежов был арестован, а летом 1940 г. расстрелян.

Следующим на посту наркома внутренних дел появляется в декабре 1938 г. Берия. Не буду повторять того, что уже известно читателям. Сталин, несомненно, за ним следил и передвигал ближе к себе.

Р. Г.: Пожалуй, вы нашли очень точное слово. Даже зани-

мая самые высокие посты в партии и государстве, он, по сути, оставался пешкой. Разумеется, при жизни Сталина.

Ю. Б.: Первый крупный пост, который доверен Берии, — руководство Закавказской партийной организации. Здесь он и отличился. Нет, я не имею сейчас в виду репрессии. В 1935 году он выступает с докладом об истории большевистских организаций в Закавказье, и в этом докладе, который был издан потом отдельной книгой, доказывает, что наша партия возникла из двух центров: один — Союз борьбы за освобождение рабочего класса во главе с Лениным, другой в Закавказье — во главе со Сталиным. Вот она, теория двух вождей, двух центров, очень милая сердцу Сталина. Собственно, он сам ее выдвинул. Сделал он это очень осторожно, сразу после смерти Ленина в 1924 году. Но тогда никто эту версию не принял всерьез, да и подручных «разработчиков» еще не было. Теперь такой человек нашелся.

За эту книгу Берия получил Ленинскую премию. Кстати, он был в числе последних довоенных лауреатов этой премии. С 1939 года премии стали называться Сталинскими.

Вспомним, это был 1935 год. «Краткого курса истории ВКП(б)» еще нет. Но его концепция уже заложена.

Р. Г.: Берия продолжался долго, очень долго. Есть этому и объективные причины: война, послевоенная разруха. Механизм репрессий, если и не был остановлен, то был серьезно заторможен. И все же не получилось ли так, что Сталин попал в какую-то зависимость от этого человека, не мог без него обойтись?

Ю. Б.: Я думаю, что это не власть, но, безусловно, довольно сильное влияние. В то же время я никогда не назвал бы этого человека соратником. Это просто слуга для исполнения самых мерзких поручений.

Следует заметить, что появление такого человека свидетельствовало о серьезной деформации отношений в окружении Сталина с конца 30-х годов. Оно принципиально отличалось от окружения Ленина вот еще в каком отношении. Для меня всегда важно, как люди отдыхают. На работе каждый выполняет функции, заданные родом деятельности, а в отдыхе мы больше раскрываемся как люди. Так вот окружение Ленина — это было окружение шахматистов, любителей музыки... А окружение Сталина было компанией людей, которые собирались за столом на ближней даче, в Кунцеве. Сам Сталин пил мало, преимущественно марочные сухие вина. Но ему нравилось, чтобы при нем напивались до помрачения

рассудка. Такие обильные возлияния вошли в традицию. В кругу этих людей и родилось по отношению к Сталину слово «хозяин». Появление этого термина в большевистской среде уже само по себе беспрецедентно. Это говорило об очень серьезных отступлениях от ленинских принципов. Трудно, невозможно себе представить, чтобы Дзержинский, Свердлов да и сам Сталин могли называть Ленина «хозяином».

Так вот отношения Сталина и Берии были отношениями хозяина и слуги. Сталин мог его оскорбить, ударить по щеке, плеснуть в лицо чай. Такая вот чудовищная, противоестественная связь. И соответствующие этому отношения.

Р. Г.: И все же Берия был обречен. Это страшная, в общем-то, мысль, к которой мы с вами приходим: на ключевые посты в репрессивном аппарате ставились люди, заранее обреченные. Наверное, будет правильно предположить, что в какой-то степени Сталин сам опасался этих людей, обладающих слишком большой властью и специфической информацией. У таких людей закономерно возникает желание сделать эту власть абсолютной. История знает немало таких примеров.

Ю. Б.: Вы затронули очень важный момент, к сожалению, у нас мало освещенный. Действительно, как опытный политик Сталин отчетливо понимал опасность этого сконструированного им механизма, заложником и рабом которого стал сам. А мысль о том, что слуга может захотеть стать «хозяином», справедлива. Собственно, Берия на это рассчитывал, он к этому шел, в этом видел единственную возможность выжить.

Р. Г.: Известно, что в последние годы жизни Сталина резко сократился круг людей, с ним общавшихся. Фактически Берия был одним из немногих, кто доводил волю «хозяина» до высших руководителей. Есть свидетельства, показывающие, что он начал плести интриги вокруг Сталина. Сталину смогли доказать, что много лет наблюдавший его врач — академик Виноградов, тайный враг. И Сталин, который прекрасно знал подоплеку «отравления» врачами Куйбышева, Менжинского, Горького, в это поверил! Был отстранен начальник его охраны — генерал Власик. Перетасовывались другие люди в его личном окружении, охране.

Ю. Б.: Все это, конечно, не случайно, но Берия терпеливо ждал своего часа. Он наступил после смерти Сталина. Тогда произошло укрупнение руководства в стране. Берия, в частности, объединил руководство госбезопасностью, внутренними делами. Он являлся членом Президиума ЦК (созданного в 1952 г. вместо Политбюро), заместителем Председателя

Совмина. На экраны вышел очень любопытный художественный фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...» талантливого режиссера А. Прошкина. В этом фильме, художественными, естественно, средствами, описывается атмосфера в стране, о которой я хочу вам рассказать.

После смерти вождя Берия стал инициатором очень широкой амнистии (заметим, она коснулась в основном уголовных элементов). Выход на свободу тысяч уголовников резко обострил обстановку в стране. Резко возросло число преступлений, в том числе самых опасных. Внутренние войска были поставлены фактически под ружье, выведены на улицы. Как и создатели фильма, я уверен, что Берия сознательно накалял атмосферу, имея в виду захват власти. С одной стороны, «стимулировалась» потребность в сильном, уверенном лидере, с другой — под руками силы, подконтрольные ему. Известно и другое: на членов Политбюро, других крупных руководителей были заведены досье. Готовились и идеологические предпосылки будущего захвата власти и, несомненно, расправы с политическими противниками.

Президиум ЦК тех лет (и надо отдать должное этим людям) смог найти верное решение, устранить Берию от власти.

Одним словом, люди его типа — это были фигуры, в общем, преступные. От начала и до конца.

Р. Г.: Почта редакции приносит нередко читательские письма, авторы которых, гневно осуждая недостатки нашей жизни, считают, что их виновников необходимо «расстрелять», «повесить на площади, чтобы все видели», «четвертовать» и т. д. Все это предлагается вполне серьезно, иногда как мера за мелкие прегрешения, даже несогласие с точкой зрения оппонентов.

Давайте признаем: не одно поколение советских людей выросло, пропитанное этим духом. Может быть, поэтому, будем откровенны до конца, так сложно идет перестройка. Антидемократические традиции вошли в кровь и плоть многих людей.

Ю. Б.: Я думаю, что это, вероятно, один из коренных вопросов перестройки, потому что в каждом из нас до сих пор находится нечто мешающее во всю силу включиться в перестройку. А перестройка требует не только революционной решительности и безоглядности, но и высокой нравственности, мудрости.

Командно-бюрократическая система имела свою социальную базу, пустила корни, и эти корни существуют до сих пор.

Разумеется, все это было обусловлено и уровнем культуры

населения, и уровнем образования кадров в системе управления. Во второй половине 20-х годов около половины населения старше 9 лет еще было неграмотно. Даже в партии неграмотные составляли 3 процента. К началу 40-х годов около 20 процентов населения все еще оставалось неграмотным. Среди секретарей райкомов и горкомов партии в это время более 70 процентов имели лишь начальное образование, а среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик — более 40 процентов. Естественно, что большинство этих людей испытывало большие затруднения в работе и нуждалось в подробных инструкциях сверху. После войны дефицит образованных людей все еще был велик. Понятно, что это накладывало заметный отпечаток на деятельность людей, способствовало внедрению и упрочению культа личности. До сих пор следы культа личности отчетливее в той среде, где ниже уровень образования, хотя, конечно, не только он имеет значение, но и психология, очень давние исторические традиции и многое другое.

К сожалению, эта тема недостаточно изучена еще историками. А вопрос этот имеет принципиальное значение. Борьба с администрированием, бюрократической централизацией, культом личности, произволом, нарушениями социалистической законности проходит через всю историю 20—50-х годов. Она свидетельствует о духовном здоровье социалистического общества.

Но корни этой системы, как я уже говорил, остались и сегодня. Вот этот механизм торможения и мешает нам. Почему, спрашивается, осталась унижающая людей, в частности, руководителей высокого ранга, особенность склонять голову перед приказом «сверху», не рассуждая при этом?

Дело в том — и надо сказать правду до конца — эти люди определенным образом стимулировались, поддерживались системой. В общем уровень их обеспечения был обеспечением по потребностям. Работали они очень много, сверх всяких норм. Многие из них изнашивались и уходили из жизни очень рано. Вот А. Щербаков. В годы войны — кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), а также секретарь МК и МГК ВКП(б) (тогда эти посты совмещались). Он также был начальником Главного политического управления Советской Армии, заместителем министра обороны, возглавлял Совинформбюро и имел другие постоянные важные поручения. Причем везде он работал очень много. В 1945 году, когда он умер, ему было едва за сорок. И А. Щербаков не был исклю-

чением. Так работали многие руководители. В этом смысле оплата по потребностям была оплатой по труду. И все-таки в тех условиях это порождало очень серьезные элементы социальной несправедливости. Эти люди получали несравненно больше, жили совершенно иначе, чем жил народ. И некоторые утрачивали даже представление о реальной жизни. Вспомните, как описывает А. Бек в романе «Новое назначение» вынужденное путешествие в метро двух наркомов. Вспоминаю в этой связи и выступление в студенческой аудитории после войны одного из секретарей ЦК ВЛКСМ: оказалось, что он не знает, сколько стоит трамвайный билет.

Я думаю, что и сейчас еще сохранилась немалая часть людей, которая держится за свои привилегии, сопротивляется перестройке. Не будем заблуждаться, материальные стимулы далеко не самое главное здесь. Одна из важных привилегий состоит в праве указывать нижестоящим, не считаясь ни с чем, в праве требовать выполнения решений любыми средствами.

Р. Г.: Смерть Сталина для немалой части его современников стала концом тяжкого пути, который им довелось пройти в годы культа личности. Для других (а их тоже немало) это стало трагедией: люди просто не представляли, как будут жить без «отца народов». Какой урок, на ваш взгляд, предстоит вынести молодому человеку, который пытливо вглядывается в отечественную историю. Он знает, что в эти годы были не только ужасы. Люди жили, любили друг друга, мечтали о будущем. Эти люди победили в войне, они строили социализм.

Ю. Б.: Таких уроков несколько.

История периода, о котором мы говорили, противоречива. Многие, к сожалению, особенно в годы застоя, утратили дух, присущий людям той поры. Безоглядная вера в идеал, готовность самоотверженно и бескорыстно работать во имя будущего, какая-то беззаветная самоотдача, часто аскетичность, принимаемая как должное, — вот этими качествами, мне кажется, сейчас мало кто наделен. Находятся люди, утверждающие, что в те годы коррупции не было из-за страха жестокого наказания. Это не совсем так, хотя такого широкого разложения, как в годы застоя, не было. Но, думается, что дело здесь не в отсутствии страха (за хищения, взяточничество и сегодня сроки дают немалые), а в том, что, несмотря на деформации, в целом еще существовали другие моральные критерии, другая нравственная атмосфера.

Вместе с тем мы должны решительно осудить нравственные потери того времени. В том, что я говорю, нет противоречия, это диалектика, реальность жизни.

У многих людей тот период породил чувство лицемерия, страха, а как следствие — приспособленчество, духовный конформизм.

Мой отец до войны занимался партийной работой, членом партии была и мать, и я хорошо помню, как изменилась обстановка в доме после смерти С. Орджоникидзе. Я не знаю, о чем думали мои родители, но ощущение тревоги, вошедшей в дом, запомнилось. Это нечто, вошедшее в детское сознание, не было чем-то мифическим, как страшная сказка, прочитанная перед сном и забытая утром. Ощущение опасности подтверждалось тем, что происходило вокруг. Еще в те годы, когда широкие репрессии только назревали, было принято решение о запрещении членам партии иметь оружие. У отца с гражданской войны остался пистолет, и не подчиниться такому решению он не мог. Дело было не в чувстве страха, просто для подавляющего числа коммунистов партийная дисциплина была превыше всего. Но он понимал и другое: сданное оружие может вызвать подозрение. Не сегодня, так завтра. Поэтому он, находясь в командировке, по частям выбрасывал из окна поезда разобранный им пистолет.

Такая атмосфера деформировала сознание, ломала слабые души.

Но надо сказать и вот о чем. Даже в этих сложнейших моральных и человеческих испытаниях многие коммунисты, да и те, кто не состоял в партии, но вырос, был воспитан Октябрем, смогли сохранить свое человеческое достоинство, веру в торжество справедливости, идеалы революции. Это, кстати, тема, к которой наша печать, публицистика, театр и кино обращаются нечасто, неохотно. Надо помнить и знать всю картину в целом. Речь идет о создании объективной картины. Пытаться остановить этот процесс невозможно, нереально. Затормозить его можно. Это пытались в былые годы делать неоднократно. Результаты мы пожинаем сегодня. Это была страусиная политика, которая привела к деформации сознания. Однако суд истории все равно наступит.

Илья Окунев

Флагман флота

Своего постоянного жилья у него никогда не было. Как все профессиональные военные, он жил в казенных квартирах. И на этот раз, когда Окунева вызвали в Москву, поселился он в доме у Патриарших прудов. Зачем его вызвали, он не знал и ждал звонка из Наркомата обороны.

На душе было муторно и тревожно. Еще совсем недавно он и командующий Викторов проводили во Владивостоке экстренное совещание, на котором знакомили актив флота с содержанием полученных документов о разоблачении и расстреле «восьмерки» — врагов народа во главе с Тухачевским.

С Михаилом Николаевичем Окунев был знаком не только по службе. Их связывала и многолетняя дружба, в основе которой была общность интересов и увлечений. А теперь, выполняя приказ наркома обороны, он вынужден был публично клеймить своего боевого соратника и товарища, с которым сыграна не одна партия в шахматы и выслушана не одна симфония и соната. А с каким увлечением они оба, когда доводилось встречаться, столярничали!

— Ты, Гриша, прямо виртуоз, рубанком ловко владеешь, — сказал как-то Тухачевский. — Тебе бы скрипичным мастером быть.

— Отец как-никак плотником работал. Было у кого поучиться.

Окунев включил радио, и в комнату ворвался знакомый голос диктора Тобиаша. Захлебываясь от восторга, он читал очередную статью о 20-летии Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, очищенного наконец от подлых врагов благодаря бдительности комсомольцев, преданных партии и товарищу Сталину. «Странное торжество, — подумал Григорий Сергеевич. — Только что расстреляли врагов народа, предателей, шпионов во главе с Бухариным, теперь уничтожено все руководство комсомола, уже идут новые аресты, и вдруг такой радостный шум по поводу юбилея. И все внимание сосредоточено на нем».

Вспомнились и другие недавние события, тоже заполнявшие эфир и газетные полосы, которые призывали народ ко всеобщему ликованию: высадка дрейфующей научной станции «Северный полюс-1» в мае 1937 года, перелет Чкалова через Северный полюс в июне 1937 года, перелет Громова тоже через Северный полюс в США в 1937 году, снятие полярников со льдины в феврале 1938 года...

Окунев выдернул вилку из розетки. Не хотелось ни радио слушать, ни газеты читать. Откуда столько радости и ликования? Кто всем этим дирижирует? Впечатление, что разыгрывается грандиозный фарс. Уже нет многих, с кем слушал Ленина, участвовал в партийных съездах, создавал флот. Что ждет теперь его самого?

Вскоре после того партийного актива, о котором вспоминать теперь и тошно и стыдно, нарком обороны вызвал командующего Тихоокеанским флотом Викторова в Москву. И вот теперь он, его заместитель, тоже здесь. Только встретиться с Викторовым никак не может — никто не знает его московского адреса.

Они с женой уже ужинали, когда опять зазвонил телефон. Окунев снял трубку. Молчание. А через некоторое время раздался звонок в дверь.

— Сиди, я открою, — Алевтина Алексеевна направилась к двери.

В квартиру вошли трое. Двое сразу направились в комнату.

— Вы арестованы, прошу сдать оружие, — сказал один из них, подойдя к Окуневу.

Он заметил надпись на рукоятке нагана (оружие было именное), и прежде чем положить его себе в карман, принялся с усмешкой разглядывать.

— Вешать вас, сук, надо, а не награждать, революцию предали. — И он с «мясом» сорвал ордена с кителя.

Обо всем, что произошло тогда в доме у Патриарших прудов, я узнал лишь спустя 10 лет от тети Али, когда она возвратилась из заключения. В тот вечер, после обыска, ее увезли в Бутырскую тюрьму. А еще 8 лет она, член партии с 1917 года, была поражена в правах, пока Окунева и ее не реабилитировали после смерти Сталина. Постановление Военной коллегии Верховного Суда СССР гласило: «Приговор Военной коллегии от 28 июля 1938 года по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

...Когда, ликвидировав разруху, наш народ приступил к индустриализации страны, партия сказала: «Флóту быть!» С энтузиазмом взялись корабелы за строительство эсминцев, миноносцев, торпедных катеров, тральщиков, подводных лодок, крейсеров. Магнитка, Запорожье обеспечивали верфи металлом, заводы поставляли всю необходимую «начинку» — котлы, машины, приборы. Для службы на новых кораблях требовались моряки грамотные, физически крепкие, дисциплинированные, и флот получил такое пополнение.

Быстрым возрождением не только материальной части, но и укреплением личного состава советский Военно-Морской Флот во многом обязан комсомолу, который, как известно, взял в ту пору над ним шефство.

В 1928 году страна торжественно отмечала 10-летие родной Красной Армии. В ознаменование дружбы комсомола и флота ЦК ВЛКСМ наградил именным оружием члена Реввоенсовета и начальника Политуправления морских сил Черного моря — Григория Сергеевича Окунева. Комсомол высоко оценил его личный вклад в укрепление советского флота и работу с молодыми моряками.

Григорию Окуневу и самому еще не было тогда 28 лет. По нынешним меркам он находился в комсомольском возрасте, но за его плечами уже был большой боевой путь солдата революции и коммуниста.

Родился Григорий в многодетной семье, жившей в белорусской деревне. Он рано ушел на заработки, поступил подручным слесаря на завод в Рогачеве. Нараставшее в стране революционное движение захватило юношу. Оказавшись в Петрограде, семнадцатилетним парнем принимает участие в свержении самодержавия, а в ноябре 1917 года вступает в ряды большевиков.

Партия направляет Григория Окунева в Саратовскую губернию, где сложилась острая политическая ситуация и требовалось укрепить большевистскую организацию. Его избирают секретарем фабрично-заводского районного комитета партии, а весной 1919 года он уходит с коммунистическим батальоном на фронт сражаться с белыми. После возвращения Окунев становится секретарем комитета партии Новоузенского уезда. Его избирают членом президиума Саратовского губкома.

В 1921 году саратовские коммунисты посылают Окунева своим делегатом на X съезд партии. Накануне его открытия Ленин получил сообщение о мятеже в Кронштадте и по его предложению съезд направил 300 делегатов на подавление

восстания. Руководил этой уникальной операцией М. Н. Тухачевский.

Маршал И. С. Конев, который был тогда рядовым в том же отряде, что и Окунев, рассказал мне впоследствии:

— В нашу штурмовую группу входили Ворошилов, Егоров, Бубнов, Дыбенко. И Гришу Окунева очень хорошо помню. Храбрым он был человеком. Смелость его отличалась находчивостью и расчетливостью. Многим это служило примером, вселяло уверенность, а она была необходима. Первая попытка штурма успехом не увенчалась, и теперь мы шли по зыбкому мартовскому льду в густом тумане. Никогда не забуду Гришиных слов о том, что мы непременно должны взять крепость, потому что нас послал Ленин.

За мужество в штурме Кронштадта Окунев был награжден орденом Красного Знамени (№ 9234). Возвратившимся делегатам Ленин повторил свой доклад на съезде. А потом они всей группой снялись с ним на память.

Много лет спустя, при обмене партийных документов, Окунев скажет, отвечая на вопросы товарищей по Черноморскому флоту:

— С десятого съезда отправился на подавление мятежа. Там набралась ударная группа, пошел в нее добровольно. Коммунисты все дрались хлестко.

X съезд принял решение о возрождении и укреплении Военно-Морского Флота. В числе тех, кого партия направила на флот, был и Григорий Окунев. Флотом он «заболел» еще в том памятном семнадцатом, когда вместе с моряками-балтийцами слушал выступление Ленина с балкона дворца Кшесинской.

Григорий Окунев попал в число командированных съездом на флот, потому что его уже хорошо знали и Фрунзе, и Раскольников, и другие руководители Красной Армии. Они увидели в этом молодом парне серьезного и преданного революции человека, перспективного командира и политработника. А его дружба с Тухачевским, родившаяся в те памятные кронштадтские дни, продолжалась потом всю жизнь...

Морскую службу Окунев начал в 1921 году на Черноморском флоте инспектором агитпропа, а после окончания Военно-Морской Академии был назначен начальником Политуправления и членом Военного совета.

В июле 1929 года Черноморский флот посетили Сталин и Орджоникидзе. Командующий флотом В. М. Орлов и его

заместитель Г. С. Окунев сопровождали их на штабном катере на борт крейсера «Червона Украина».

Окунев приходился мне дядей и об этой встрече потом рассказал отцу, который работал в Наркомтяжпроме и был близко знаком с Орджоникидзе.

По мере строительства флота все острее вставал вопрос о дальнейшем развитии теории ведения войны на море. Многие старые специалисты никак не желали менять свои привычные взгляды. Другие старались дискредитировать принятую у нас в стране после революции систему стратегического и оперативного единства всех Вооруженных Сил и единства руководства войной и операциями, которое полностью оправдало себя в годы гражданской войны. Они настаивали на создании по примеру царской России обособленного морского генерального штаба, возрождали теорию самостоятельной морской стратегии. Это мешало бы единству наших Вооруженных Сил, разобщало их и, следовательно, ослабляло.

Требовалось расчистить пути для положительной, творческой разработки и утверждения наших революционных оперативно-тактических взглядов на ведение войны и роли в ней флота. Необходимо было развенчать и ложную теорию, отрицавшую, в частности, действенность подводных лодок.

Главная роль в утверждении новой доктрины отводилась журналу «Морской сборник» — центральному органу научной мысли Военно-Морских Сил. Ответственным редактором его командование решает назначить Г. С. Окунева.

За два года, в течение которых Г. С. Окунев возглавлял «Морской сборник», на его страницах появилось много материалов, не утративших своего познавательного значения и по сей день.

Различные высокие и ответственные посты занимал Г. С. Окунев на флоте. Возглавлял Политическое управление Балтфлота, был помощником начальника Политуправления Военно-Морских Сил СССР, членом первого состава Военного Совета при наркоме обороны СССР, сформированного в 1934 году, председателем которого был К. Е. Ворошилов, а его заместителями Я. Б. Гамарник и М. Н. Тухачевский. Остался чудом уцелевший в Ленинской библиотеке альбом портретов всех членов Военного Совета. Открывается он, конечно же, портретом Сталина, и, может быть, это как раз и спасло альбом от уничтожения. Кроме него, из 80 человек, «представленных» в альбоме, в живых остались тогда лишь шестеро. В том числе: К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный,

Б. М. Шапошников и А. И. Тодорский, который станет впоследствии генерал-лейтенантом и составит страшную статистику сталинских репрессий среди командования Красной Армии и Флота.

— Совершенная техника, — говорил Окунев, — действенна лишь тогда, когда она в руках квалифицированных, умных людей. Профессионализм находится в прямой зависимости от общей культуры человека.

Большое значение придавал Окунев самообразованию, приобщению краснофлотцев к литературе, искусству. Посещая корабли, интересовался составом библиотек, формулярами и поощрял тех, кто много читает. Он содействовал развитию художественной самодеятельности и созданию всевозможных кружков по интересам. В том числе шахматных, иностранного языка, изобразительного искусства. Одновременно подчеркивал, что образование не должно носить формальный характер, что от человека, ставшего чем-то вроде копилки разрозненных сведений, — мало толку. Надо научить его думать, иметь обо всем собственное суждение.

Г. С. Окунев был настоящим комиссаром ленинской школы. В том, к чему призывал других, всегда сам служил примером. Бывший министр Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов, учившийся вместе с Окуневым в академии, вспоминал:

«Григорий Сергеевич буквально заражал всех нас неуемной жаждой знаний. И в дискуссиях, и в полемике, которые постоянно проходили между слушателями, наглядно демонстрировал нам, как велико их значение, как они расширяют кругозор, углубляют постижение окружающего мира. Находясь рядом с Окуневым, было просто стыдно пренебрегать учебой. Мы, однокашники Окунева, до сих пор помним его выступления на собраниях, отличавшиеся смелостью суждений, глубокой принципиальностью. После окончания академии он стал ее начальником, а затем комиссаром. Люди о нем говорили как о человеке на редкость скромном и даже застенчивом».

В 1934 году Г. С. Окунева направляют на Дальний Восток. Японский милитаризм начал поднимать голову, и требовалось срочно модернизировать и укрепить Тихоокеанский флот.

«Григорий Сергеевич был выше меня по званию. Я служил тогда рядовым подводником, — рассказывал мне Георгий Никитович Холостяков, когда он был уже адмиралом, одним из героев Отечественной войны. — Но никто из нас, краснофлотцев, никогда не ощущал его командирского превосход-

ства. Нас привлекала в нем демократичность, отзывчивость, доброжелательность, сердечность. Армейский комиссар Окунев был, что называется, душой нашего флота. Его отличало большое личное обаяние. К нему всегда можно было прийти посоветоваться о самом личном, сокровенном, а в этом у многих из нас часто возникала нужда, ведь мы были молоды, не имели еще достаточного жизненного опыта и к тому же большинство находилось вдали от родного дома».

Последний раз я видел дядю летом 1938 года. Бывая в Москве, он каждый раз приходил к нам. Теперь позвонил и сказал адрес, где остановился, просил прийти. Мы навестили его с моей мамой. В тот день дядя подарил мне морской бинокль. Он, видимо, не выходил на улицу и, как я теперь понимаю, обреченно ожидал тогда решения своей участи.

Когда я вышел с биноклем на балкон посмотреть на Патриаршие пруды, дядя сказал моей маме:

— Если у нашего Илюши будет когда-нибудь свой сын, назовите его Володей.

Об этом разговоре мама рассказала мне спустя 20 лет, став бабушкой, и я выполнил обещание, которое она дала тогда дяде.

Есть у писателя Бориса Лавренева очерк «Флагманы Советского флота». Он был написан им в 1936 году в связи с награждением группы моряков за выдающиеся заслуги в деле организации подводных и надводных морских сил и за успехи в боевой и политической подготовке краснофлотцев. Автор подробно рассказывает о каждом из флагманов: В. М. Орлове, М. В. Викторове, Л. М. Галлере, И. К. Кожанове, К. И. Душенове, Г. С. Окуневе. О Григории Сергеевиче, с которым Борис Лавренев познакомился на том памятном митинге у дворца Кшесинской и с тех пор поддерживал связь, в очерке сказано: «Потомственный пролетарий, политический работник, человек, биография которого от начала до конца озарена пламенем революционных боев».

...От начала до конца...

Жизнь Г. С. Окунева началась 18 июля 1900 года, а оборвалась тоже в июле 1938-го. Его, как и других руководителей Тихоокеанского флота, обвинили вместе с М. Н. Тухачевским в том, что они «продавали японцам Дальний Восток»...

Виктор Долгов,
Валентина Хорева,
кандидаты исторических наук

Верой и правдой

«Если бы меня спросили, кто был самой яркой, колоритной, выдающейся пролетарской фигурой в комсомольском движении, я бы, не задумываясь, ответил: петроградский рабочий-большевик Петр Смородин, всегда и во всем верный сын партии, подлинный вожак трудовой молодежи...» Так скажет о нем Александр Мильчаков, генеральный секретарь ЦК комсомола 1928—1929 годов.

...В 1911 году из Воронежской губернии в Санкт-Петербург Анна Петровна Смородина привезла своего 14-летнего сына. Петра определили на инструментальный завод учеником слесаря — при хозяйских харчах, с койкой в общежитии, с оплатой по восемь копеек за смену.

Трудно сказать, как сложилась бы жизнь Петра, если бы случай не свел его с заводскими большевиками. Вскоре он стал выполнять их поручения. Собирал среди подростков деньги в фонд конфискованной большевистской газеты «Правда труда», летом 1914 года охранял свой завод во время стачки, разбрасывал по рабочим ящикам листовки с призывом «Долой войну!», а вечерами расклеивал прокламации Петербургского комитета РСДРП против войны.

В канун Октябрьской революции Смородин был избран председателем Союза социалистической рабочей молодежи на Петроградской стороне.

В то время в городе были созданы пролетарские юношеские организации, молодежное движение стало значительной политической силой, а вот в руководстве Петроградской городской юношеской организации оказались представители мелкобуржуазных партий, навязавшие ей имя «Труд и Свет». Еще в мае 1917 года руководители «Труда и Света» выпустили листовку, в которой они, прикрываясь фразами о свободе и братстве, провозгласили буржуазный принцип «беспартийности».

Вместе с Васей Алексеевым, Лизой Пылаевой, Оскаром Рывкиным Петр активно участвовал в создании Петроградского социалистического Союза рабочей молодежи, боролся за то, чтобы вывести молодых рабочих из-под влияния руководи-

телей «Труда и Света». Уже в августе 1917 года во многих районах города, в том числе на Петроградской стороне у Смородина, райкомы были переизбраны. Вскоре он стал комиссаром ВРК по ликвидации саботажа, членом районного Совета, тесно связанного со штабом Красной гвардии. А кончилось все тем, что питерский молодой большевик пошел воевать с немцами.

В то время шла первая всероссийская мобилизация на фронты гражданской войны. Враг стоял на подступах к Питеру; Смородин в составе молодежного отряда уехал на линию огня. Два с половиной года он провел на фронте: вначале — рядовым бойцом, затем — комиссаром полка. В одиночку ходил в разведку. За взятие Пскова от имени ВЦИК ему преподнесли серебряные часы, позднее он был награжден орденом Красного Знамени. Красноармейцы любили своего комиссара — человека, не терпевшего пустозвонства, бахвальства, обмана.

В боях под Нарвой 8 ноября 1918 г. Петра тяжело контузило. Больше суток он не приходил в сознание. Отправили его в Питерский госпиталь. Но он ушел оттуда, как только прослышал о городской комсомольской конференции недавно созданного Российского Коммунистического Союза Молодежи.

Именно к этим дням относится легенда о «воскрешении» Смородина. По Питеру пошел слух, будто Петр погиб под Нарвой. И молодежь начала конференцию с заупокойной речи по своему боевому другу. Его любили от чистого сердца и потому говорили о нем с такой теплотой и нежностью, что никто в зале не скрывал слез. А он с перевязанной головой, в папахе до бровей, с усами и каштановой бородой, неопознанный, стоял в задних рядах переполненного зала и лишь посмеивался. Наконец, попросил дать слово фронтовику. На трибуне сбросил папаху и крикнул: «Вы что это, черти драповые, хоронить меня задумали? Я вам покажу «покойничка»!..»

В тот же день делегаты конференции приняли решение послать от питерских комсомольцев Петра Смородина в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Но час его возвращения к мирной работе еще не пробил: на фронте шли бои, и вновь Петр уехал в свой полк. Лишь в июне 1920 года он вернулся в Петроград.

Сразу после возвращения его избрали организатором РКСМ в 1-м Городском районе и членом бюро Петроградского комитета. Несколько раз выдвигали Петра на пост председателя губкома, но он отказался: хотел получше при-

смотреться к работе среди молодежи в новых для него условиях.

Сотни дел исполнял губком комсомола. Вместе с товарищами Смородину удалось создать или восстановить ячейки на крупных предприятиях. Во всех районах города начали работать райкомы. Они помогали подросткам определиться на учебу, доставали им обувь и одежду, прибавку к скудному пайку. Губком помогал создавать сельскохозяйственные коммуны, боролся с беспризорностью. На III съезде РКСМ 2 октября 1920 года Петр слушал Владимира Ильича Ленина.

Смородин был избран в состав Центрального Комитета комсомола. Ему предложили заведовать экономическо-правовым отделом. Однако он не хотел в те дни расставаться с городом своей юности. Три месяца жил между Москвой и Питером. Вскоре он стал первым представителем комсомола в высшем органе государственной власти РСФСР — ВЦИКе.

С декабря 1920 года он секретарь Петроградского губкома комсомола.

Петр руководил Союзом молодежи в Петрограде, а затем в масштабах всей страны в условиях исключительных. Беды на страну обрушивались страшные. Транспорт в развале, нет хлеба и топлива. Люди разуты и раздеты. В деревне — открытое недовольство продразверсткой времен «военного коммунизма». Ширится напор мелкобуржуазной стихии. С введением нэпа многие нерентабельные предприятия закрывались, а на остальных проводилось сокращение штатов. Увольнение молодежи, прежде всего подростков, в промышленности шло в 2—3 раза интенсивнее, чем взрослых рабочих. Рост безработицы среди молодежи сказался на численности РКСМ: уменьшалось число фабрично-заводских ячеек, упала активность комсомольцев. И вот в это время, в 1921 году, Смородин стал во главе ЦК РКСМ.

Петр буквально жил в Цекамоле: руководил бюро и пленумами, писал директивы, принимал ходоков со всей страны. Нередко спал ночью прямо в кабинете на диване. Приходилось часто ездить на комсомольские съезды, пленумы. Под его руководством работа по защите прав и интересов молодежи на производстве сложилась в определенную систему. Однако не все здесь было просто. В 1922 году по стране только 470 тысяч человек комсомольского возраста работали на промышленных предприятиях и транспорте. В ряде губерний, областей и республик оставалось немало безработной молодежи. Когда своими комсомольскими силами стало не-

возможно справиться с трудностями на этом участке, ЦК РКСМ обратился к В. И. Ленину.

Просьба комсомольцев встретила поддержку Совнаркома, а затем и XI Всероссийского съезда партии (март 1922 г.), который высказался за твердое бронирование рабочих мест для молодежи, коренное улучшение охраны и оплаты ее труда. Законодательно это крупное завоевание комсомола закрепил специальный декрет ВЦИК. Результаты не замедлили сказаться: уже с мая 1922 года до мая 1923 года 140 тысяч подростков были вновь приняты на производство.

Как-то Петр узнал о безобразиях в Астраханской комсомольской организации: развал работы на рыбных промыслах, соляных приисках, водном транспорте, рост числа безработных подростков. Экстренно было принято решение ЦК о наложении взыскания на губком «за безответственность, бездеятельность и недисциплинированность, граничащую с разнузданностью». Из комсомола были исключены четыре члена бюро Астраханского губкома. Или такой пример оперативности ЦК. Комсомольцы Московского обозного завода сообщили Смородину о несправедливом увольнении с производства группы молодых рабочих. Он устроил такое «расследование», что уволенных немедленно восстановили на работе.

Буквально на каждом заседании Бюро ЦК РКСМ по инициативе Петра так или иначе шел разговор о рабочей молодежи. На биржах труда действовали секции рабочих подростков; безработную молодежь направляли в создаваемые с 1921 года школы фабрично-заводского ученичества, в школы рабочей молодежи и в цехи предприятий. В эти годы комсомолу удалось добиться улучшения условий труда подростков в кустарной и арендной промышленности. Для них был утвержден четырех- и шестичасовой рабочий день с оплатой не ниже, чем на государственных предприятиях.

В январе 1922 года Смородин подписал большое письмо в ЦК РКП(б), в котором просил включить в повестку дня XI Всероссийского съезда партии специальный вопрос об РКСМ. Основания для такой просьбы были: колебания в среде молодежи в связи с нэпом, необходимость коренного совершенствования политической работы комсомола. Когда просьба была поддержана, по предложению Смородина Цекамол оперативно пересмотрел состав активных работников комсомола, принял циркуляр об укреплении пролетарского ядра в РКСМ.

Намечая программу деятельности комсомола в этом направлении, Петр требовал «глубже втягивать молодежь в ра-

боту, раскрывать перед ней горизонты идейной и классовой борьбы». «...Нужна будничная и кропотливая работа по воспитанию, — говорил он. — И, конечно, под такую работу надо подвести крепкое экономическое основание: дать ребятам трудиться, получать образование на практике и строить новый быт».

Прошедшая по стране в конце 1921 года — начале 1922 года Неделя сближения РКСМ с РКП(б) помогла усилению идейной и материальной поддержки со стороны партии, повышению ответственности коммунистов за состояние работы с молодежью. На самом съезде в комиссии по работе среди молодежи Петр обстоятельно изложил соответствующие предложения Цекамола, убедительно защищал их. Его радовало, что делегаты съезда, и в их числе старые большевики, не отвергли ни одного пункта проекта постановления, над которым он долго работал. Это была первая и единственная резолюция партийного форума, написанная его рукой. Речь в ней шла о том, как работать комсомолу в новых условиях, об усилении партийного руководства коммунистическим союзом молодежи. Фактически это была программа на весь срок, пока Смородин возглавлял ЦК комсомола. Вскоре после XI съезда ЦК РКП(б) утвердил «Положение о приеме новых членов РКСМ в члены РКП(б)». В результате еще больше укрепилась связь между партией и пролетарской молодежью. Теперь молодые люди в возрасте до 20 лет включительно могли вступить в партию лишь через комсомол, будучи его членами.

Спектр действий секретаря Цекамола был очень широк. Политическое воспитание молодежи, вовлечение ее в культурное строительство, пионерское движение, интернациональная работа.

19 мая 1922 года Всероссийская конференция комсомола приняла постановление о детском движении. Так было положено начало созданию единой в рамках всей страны детской коммунистической организации.

Осень 1923 года — начало 1924 года было очень напряженным, тревожным временем. Троцкий, спекулируя на трудностях хозяйственно-политического развития страны в условиях нэпа, воспользовавшись болезнью В. И. Ленина, навязал партии очередную дискуссию. Нападая на испытанное в трех русских революциях большевистское ядро ЦК РКП(б), оппозиционеры пытались использовать комсомол в качестве орудия во фракционной борьбе, разложить единство револю-

ционных поколений, посеять у подрастающей смены недоверие к «старой гвардии».

Союз молодежи отбил раскольнические притязания троцкистов и еще теснее сплотился вокруг партии. Позиция Петра Смородина в составе ЦК РКСМ характеризует его как стойкого, принципиального коммуниста.

Дискуссия с троцкистами многому научила его. Он узнал в лицо тех, кто раньше маскировался, и прежде всего Троцкого. Для Петра двурушническая позиция Троцкого в молодежном движении раскрылась задолго до официальной дискуссии. Весной 1923 года, работая в организационной комиссии XII Всероссийского съезда РКП(б), Смородин обратился с большим письмом к Троцкому, в котором просил его конкретно изложить свои взгляды по вопросам совершенствования работы комсомола и дать предложения. Однако Троцкий предпочел до осени 1923 года не раскрывать своих карт.

О принципиальных ленинских позициях в отношении троцкизма Цекамол открыто заявил в статьях, опубликованных в «Правде» 1 и 16 января 1924 года. Статью «К вопросу о двух поколениях» вместе с другими девятью руководящими работниками РКСМ и КИМа подписал Петр Смородин. Троцкому была дана гневная отповедь.

...И все же на определенном этапе Петр утвердился в мысли, что у него, как и у каждого комсомольского работника, есть своя мера времени, свой диапазон. Революция, гражданская война, первые годы нэпа — пожалуй, в это время никто, кроме него, не мог стать таким ярким руководителем комсомола. Но заканчивался восстановительный период. И надо было учиться. Учиться, пока не поздно. Можно представить, как в годы работы в ЦК Петра угнетало сознание, что с образованием у него не густо, что более преуспели здесь его коллеги Шацкин и Шохин. В анкетах делегата третьего, четвертого и других комсомольских съездов на вопрос об образовании неизменно отвечал: сельский «университет», сельская церковноприходская школа, учился в целом 8 месяцев. Да и по годам Петр считал себя уже «стариком»: в 1924 году ему исполнялось 27 лет...

Куда пойти учиться, ему подсказало само время: в тяжелый для страны день смерти В. И. Ленина десятки сотен рабочих, крестьян, комсомольцев и молодых людей горячо поддержали идею проведения массового ленинского призыва в партию и комсомол. 26 января 1924 года Петр, выступая от имени ЦК РКСМ на траурном заседании II съезда Советов

в Большом театре, сообщил, что пленум ЦК выработал решение о принятии комсомолом имени В. И. Ленина и впервые назвал комсомол Российским Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи. Это решило и судьбу самого Петра, он попросился на курсы марксизма при Коммунистической академии. Во многом решение пойти учиться определялось желанием Сталина, который в то время выступал «за то, чтобы ряд ответственных работников ЦК РКСМ, в том числе и первый секретарь ЦК П. Смородин, ушли на учебу».

При проводах на VI съезде комсомола в мае 1924 года его единодушно избрали почетным членом РЛКСМ. Делегаты съезда долго рукоплескали ему, вновь и вновь просили подняться на трибуну... Решение съезда оглушило его, наполнило сердце пронзительной тоской. Он чувствовал, что в этот день и час, на этом повороте пройденного пути целый кусок его прежней бурной жизни вдруг отпадает и надо начинать все сызнова...

В феврале 1928 года Петр завершил учебу. С. М. Киров, работавший в то время первым секретарем Ленинградского обкома ВКП(б), запросил в ЦК партии в помощь ленинградцам группу стойких молодых коммунистов. Петр стал заведовать орготделом Василеостровского райкома ВКП(б), а затем поочередно в течение восьми лет руководил Василеостровской, Выборгской и Московской районными партийными организациями. Работал вторым секретарем обкома ВКП(б). В это время окрепла его дружба с С. М. Кировым, который был для Петра эталоном коммуниста. И Сергею Мироновичу импонировали личные деловые качества младшего товарища, его прямота. Они виделись почти каждый день.

Однажды С. М. Киров как бы мимоходом бросил: «В Москве считают, что ты уже сделал свое дело в Питере... Сталин звонил мне. Предлагает тебе пост наркома коммунального хозяйства». Петр долго молчал. Потом резко сказал: «Не поеду я, Сергей Миронович! Там надо сидеть в кабинете, а я для этого не гожусь. Да и прикипел я сердцем к Питеру». Конечно, он понимал, что его решение может не понравиться Сталину. Но в тот момент, да и в последующем он ни разу не упрекнул себя за сделанный честный выбор...

Он поддержал инициативу заводчан города выполнить первую пятилетку в четыре года, помогал введению на предприятиях хозрасчета. Энергично занимался благоустройством рабочих окраин Ленинграда. Для него важной оставалась и внутрипартийная работа. По его инициативе в городе были созданы дворцы культуры, открыт первый в стране постоянно

действующий пионерский лагерь, построена единственная в то время в СССР фабрика-кухня.

О комсомоле Петр не забывал, и у комсомольцев память о нем не стерлась. В 1933 году в связи с 15-летием ВЛКСМ журнал ЦК комсомола «Смена» поместил в одном из своих номеров очерк «Смородин». В нем говорилось, что со времени ухода с союзной работы Смородин почти не изменился: «прошедшие годы не сделали его сухим и унылым», не оторвали от рабочей молодежи. Создавая образ главного героя кинофильма «Юность Максима» в трилогии «Выборгская сторона», народный артист Борис Чирков многое перенял от Петра. Он встречался со Смородиным, беседовал с ним, изучал его речь, шутки, жесты, манеры, слушал его выступления. А когда «Юность Максима» появилась на экранах и зазвучала задорная песенка «Крутится, вертится шар голубой...», многие ленинградцы-ветераны, особенно выборжцы, говорили: «Максим — это наш Петр». В сентябре 1937 года его избрали исполняющим обязанности первого секретаря Сталинградского обкома партии, а затем и горкома. Под руководством Смородина значительно оживилась работа в городе и на селе.

Проявившиеся в эти годы негативные явления, связанные с культом личности Сталина, стали для Смородина источником глубокой внутренней драмы. Но он был не из тех, кто плыл по течению, кто боялся поднять голову и сказать правду. В то время, когда небезопасно было даже поздороваться с каким-нибудь «врагом народа», Смородин мужественно вставал на защиту тех, кого знал как преданных коммунистов, кому верил. Так, например, только его вмешательство предотвратило расправу над ведущим инженером Сталинградского тракторного завода Татаринцевым.

Смородин защитил многих. В июне 1938 года с трибуны VII городской партконференции он привел целый ряд фактов бездушного подхода ответственных работников к исключению из рядов ВКП(б). Несколько десятков человек, снятых с работы (а это делалось автоматически), были восстановлены в прежней должности. Причем большинство полностью реабилитированы и вновь вовлечены в активную партийную работу.

На конференции, проходившей два дня, выступило пятьдесят человек. Делегаты единодушно признали политическую линию горкома ВКП(б) правильной, а руководство им со стороны областного комитета — выдержанным. Смородин вновь был избран первым секретарем городского комитета партии.

Было ли страшно Петру Смородину? Какие мысли владели

его разумом, когда он поднимался на трибуну конференции, когда открыто шел вразрез с линией, навязываемой сверху? Нам не суждено узнать об этом. Но ясно одно: этот мужественный человек, закаленный в боях и лишениях, верой и правдой служивший делу Ленина, в то время не думал о себе. Хотя наверняка он прекрасно понимал, что, помогая другим, он подставлял себя...

Сразу же после городской партийной конференции по телеграмме из ЦК Смородин был спешно отозван в Москву. Пленум обкома заочно освободил его от обязанностей. В чем же обвинили его? Вот отрывок из выступления на III Сталинградской областной партконференции (июль 1938 г.) нового первого секретаря обкома А. С. Чуянова: «В составе обкома и особенно бюро орудовали замаскировавшиеся враги народа и люди, вызывающие политическое недоверие, которые при непосредственном вмешательстве ЦК ВКП(б) были разоблачены и изгнаны как не обеспечившие проведение политической линии партии — большинство из них как злейшие враги народа. Пробравшиеся в областное и районное руководство, враги народа тормозили реализацию решений февральско-мартовского (1937 г.) и январского (1938 г.) Пленумов ЦК ВКП(б), проводили вредительство в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в советском аппарате, пытались перебить партийные кадры...»

Но областная конференция, где прозвучат эти клеветнические слова, будет позднее. А накануне, после городской конференции, у Смородина были лихорадочные сборы в Москву и... полная неясность. Однако неясность рассеялась, как только он ступил на московскую землю. Приехавший вместе с семьей, прямо на вокзале он был арестован. В августе 1938 года его исключили из партии.

Черта под этим актом насилия была подведена в дни работы XVIII съезда ВКП(б) в марте 1939 года, на котором упоминалось, что в Сталинграде разгромлены «осиные гнезда троцкистско-бухаринской, фашистской агентуры — шпионов, диверсантов, убийц и вредителей...» Когда произнесут эти чудовищные обвинения, П. И. Смородина уже не будет в живых. 25 февраля 1939 года его расстреляли...

В 1954 году Петр Иванович Смородин был реабилитирован, решением КПК при ЦК КПСС от 22 марта 1956 года восстановлен в партии. Его светлое имя, с которого смыта вся накипь ложных обвинений, на века вписано в историю нашей партии и комсомола.

А. Шалганов

Дневник

Толстая коричневая тетрадь в коленкоровом переплете, уже порядком обтрепанная, хранилась за книгами на верхней полке старого шкафа. Иногда по вечерам ее опасливо доставал внук и тревожно вглядывался в торопливые строки, где мелкие буквы теснились, льнули друг к другу, словно боялись, что им, как и прежде, не хватит места — для мысли, для боли, для вздоха — для всего того, что успел вобрать в себя серый, внешне монотонный лагерный день. Но перелистывалась последняя страница — и тетрадь вновь отправляли в шкаф: время не нуждалось в таких воспоминаниях...

Нет, человек, написавший этот дневник, не был ни политиком, ни крупным общественным деятелем, ни дипломатом, ни ученым. Имена Бухарина, Рыкова, Томского знал разве что со страниц газет, и даже следователи, пытавшиеся поначалу приписать его к «правотроцкистскому блоку», поняли всю видимую нелепость подобного обвинения. Оно было снято. Зато появились другие. Тоже недоказанные, они, однако, обрели силу приговора...

Тех, кто казался Сталину соперниками в его притязаниях на единовластие, вырубали из жизни. С политической карты страны поспешно убраны все «вершины». Но туго закрученная пружина репрессий уже не способна остановиться, требуя все новых и новых жертв. Замечала ли страна, контуженная ужасом и гневом перед «злодеяниями агентов иностранных разведок», как незаметно выбывают из ее рядов сыновья — рядовые рабочие, крестьяне, служащие, — распятые тотальным приговором «обострения классовой борьбы по мере строительства социализма»? Этот сталинский тезис, впоследствии опровергнутый партией, требовал ежедневного подтверждения «делом» — и дела создавались, ломая судьбы.

Страна шла неизведанным, неторным путем, на котором, конечно, хватало и рытвин, и ям, и ухабов. Любая ошибка возводилась в ранг политической диверсии. Навет, подозрение, анонимка служили основанием для возбуждения дела,

и теперь уже не политики, не крупные общественные деятели, не дипломаты представали перед обвинителями, тщетно пытаясь понять, в чем же их такая рядовая, такая обычная, буднично-трудовая судьба провинилась перед Историей.

Перед судом равны все. Перед неправедным — тем более. И все же политик способен если не оправдать, то хотя бы объяснить, способен увидеть причины и следствия, и в самую тяжкую минуту потребовать защиты у будущего, у Истории, надеясь, что они разберутся. А представьте всю горькую муку того, кого терзает один безответный и отчаянный вопрос: за что? А меня-то за что? Необъяснимость наказания едва ли не страшнее его жестокости.

Издевательски-равнодушная клоунада «следствия» обрывала живые, теплые нити — с семьей, с друзьями, с весенней землей, трепетно ждущей заботливого хозяина, с любимой работой. Вдумаемся, прочувствуем сердцем: ведь не безликая масса брела этапом по дорогам России — это миллионы миров, еще месяц назад полных надежд и планов, радостей и печалей, уходили в небытие: иные на долгое время, иные навечно. Сколько же заботливых рук недосчиталась страна? И сколько неродившихся жизней было вычеркнуто стандартной строкой приговора? Как, чем измерить этот урон?

Время выводит на сцену имена, долгое время бывшие в подполье Истории. Время восстанавливает историческую справедливость. Но давайте же вспомянем и негромкие имена тех, кто незаметно и безвестно поднимал на своих плечах разрушенную Россию.

Михаил Гаврилович Кайнов родился в подмосковном селе Ивантеевка в 1888 году. В 14 лет стал учеником слесаря. В 1909 году был призван на военную службу в 3-ю роту лейб-гвардии Кексгольмского полка императора австрийского Франца Иосифа. В 1914 году рядовой Кайнов был мобилизован в Первую пулеметную броневую автороту, в составе которой принимал участие в боевых действиях в Польше, где был контужен. В 1917 году за «честность, храбрость и преданность трудовому народу» солдаты выбирают его председателем Совета рабочих и солдатских депутатов Первого автобронедивизиона. В 1918 году он направлен заведовать машинным отделом Военно-обмундировочных мастерских. В 1929 году становится мастером по ремонту машин. С 1930 года работает механиком по ремонту оборудования оборонного завода.

В короткие анкетные строки вместились события, которых хватило бы на три судьбы: 1905 год, глухо прокатившийся

мимо подмосковного села; кровавая и тифозная первая мировая; торопливая и яростная сумятица февраля 17-го года; распахнувший новую эпоху Октябрь, который он, Михаил Кайнов, принял раз и навсегда.

И вдруг — как обвал, где все годы, недели и дни в кучу, и комом, и под откос, — 37-й год. Обвиненный в том, что сознательно давал неправильные указания по ремонту машин, Михаил Кайнов отправился по этапу.

Он был хорошим механиком. Он сумел доказать, что его рекомендации были правильными. Но и другая механика — надежно отлаженная механика репрессий сбоев не давала. Доказывая и борясь за свое честное имя, Михаил Кайнов не понимал тогда, что его просто не слышат. Ибо для того незнакомого механизма, с которым он так несчастливо столкнулся, важен не человек и даже не конкретное дело, а **идея всеобщей вины,** которую обречен выразить каждый, кто попал в поле зрения следствия.

В момент ареста ему было 49 лет: жизнь, по тем временам, уже на закате. И надо начинать ее сначала, где-то там, на глухой обочине, куда долетают лишь отзвуки рвущейся в будущее страны, которую строил сам, своими руками.

Из заключения он вышел через пятнадцать лет — не сломавшимся, не потерявшим веру, не безродным. В 1955 году его имя было очищено от лжи, с того года он и начал писать свой дневник. Еще в лагере на клочке бумаги записывал «сюжеты дня», чужие истории, свои мысли. Но хранить записи было опасно, и он, запомнив «листок № 18», уничтожал его. Сколько в памяти этих листков, которые надо теперь восстанавливать, осмысливать заново, чтобы как-то понять себя вчерашнего, себя сегодняшнего, своих друзей и свое время, на дорогах которого хватило всего — высокой человечности и страшного предательства, веры и безверия. Кончая свой дневник, он написал: **«Помните, что это — было, но пусть это не станет камнем, привязанным к вашим ногам».**

Вот некоторые эпизоды из его бесхитростного и честного дневника.

3 МАРТА 1937 г. День обычный, похожий на сотни других. Я не спеша раздеваюсь, вхожу в цех. Вижу — навстречу бежит девушка: «Михаил Гаврилович, вас просят к директору».

Спешу в правление завода, недоумевая, зачем я мог потребоваться. Широкая лестница ведет на второй этаж. Упираюсь в дверь с черной табличкой, на которой золотыми буквами

написано: «Директор». А рядом — такая же дверь, такая же табличка, только надпись другая: «Секретная часть». Я стучусь к директору. Но открывается та, «секретная» дверь, и появляется лейтенант в форме НКВД. «Вы Кайнов?.. Это я вас вызывал. Почему не одеты?» Объясняю, что пальто осталось в цехе. «Берите, и поедем в комиссариат НКВД». — «Почему? Что случилось?» — «Там все объяснят, не теряйте времени».

Вдвоем мы идем по заводу — он чуть сзади, вроде и не со мной. Но люди, увидев нас, замирают на секунду, быстро опускают глаза и спешат исчезнуть с дороги. Останавливается лишь слесарь Виктор Лифанцев. Не выдержав, я кричу ему: «Витя, передай Насте, что меня забрали!..» «Не пугайте жену! — тут же одергивает меня лейтенант. — Мы вас вызываем на пятнадцать минут».

Пятнадцать минут обернулись для меня пятнадцатью годами...

6 НОЯБРЯ 1937 г. Вчера я узнал свой приговор: та страшная 58-я статья... А сегодня по спискам нас выводят на улицу, заталкивают в «черный ворон». Машина трогается с места, везет в неизвестность. Сквозь заднее стекло видна радостная суматоха предпраздничной Москвы...

А в нашей машине — тишина, только редкие тяжелые вздохи. Вдруг кто-то говорит негромко, словно для себя: «Вот, завоевали себе свободу... Эх, был бы жив Ильич, разве б он допустил такое». А в ответ со злостью из дальнего угла: «Он бы и до Ильича добрался, он бы и Ильича посадил!»

Машина останавливается. Звучит команда выходить. Мы выползаем в ночную темноту, разминая затекшие ноги. Кругом рельсы, товарные вагоны, вдалеке огни — кажется, Казанского вокзала. Отсюда начинается наш путь — кто-то замерзнет на тюремных нарах, кого-то пристрелит конвой при попытке к бегству, кто-то утопнет в таежных болотах, кто-то надорвется на лесоповале. А кто и выживет. Сейчас никто из нас этого не знает...

ЯНВАРЬ—МАЙ 1938 г. Мариинский распределительный пункт, организованный в 1936 году, состоял из одного здания, в котором могло поместиться от силы человек 250—300. Сейчас же в нем, как говорили, находилось около 17 тысяч.

Для того чтобы хоть как-то разместить заключенных, вырыли несколько землянок с печками, наскоро изготовленными из ржавых бидонов, да поставили с десяток «палаток»: ледя-

ные, кое-где обшитые тесом стены, покрытые сверху брезентом.

В землянке, куда я спустился со своим товарищем по этапу Петром Дурыгиным, творилось что-то жуткое. Люди валялись на нарах, под нарами, в проходах — впритык. Шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить кому-нибудь на руку. Вонь стояла страшная. Люди боялись выйти на улицу, потому что их место тотчас же занимал другой (а на дворе трещал мороз градусов под сорок). Вповалку лежали туркмены, азербайджанцы, татары, мордва и земляки — москвичи, ленинградцы... Халаты туркменов, ветхая одежда заключенных, как маком, были обсыпаны вошью.

Ни мисок, ни ложек не было и в помине. К четырем котлам, в которых варили суп из мерзлой картошки, поздешнему называемый баландой, выстраивалась очередь: заключенные подставляли кепки, треухи, а то и просто калоши и хлебали прямо из них.

— Ну, здесь нам и будет конец, — сказал я Петру.

— Ничего, дядя Миша, не боись, авось, пронесет.

Дня через три нас вызвали к новому лагерному врачу.

Мы вошли в небольшую, ничем не обставленную комнату (она находилась прямо в бараке). На голом топчане лежал лицом вниз человек в офицерской шинели, буденовке и поношенных хромовых сапогах. Заслышав скрип двери, он приподнялся, сел и неожиданно представился: «Иван Матвеевич». У нас несколько отлегло от сердца: а то хоть и из своих, заключенных, но все ж начальство... Он, оглядев нас, спросил:

— Вы из новичков, отощать не успели... Плотничать умеете?

— Умеем.

— Ну и ладно. Тут вот какая штука... Я военврач и, как профессионал, могу вам сказать прямо: к весне здесь будет страшная эпидемия — тиф, дизентерия. В общем, так: будем строить госпиталь, сделаем все, что сможем. Набирайте таких, кто еще способен ходить.

Так я стал бригадиром строителей.

...Как и предсказывал Иван Матвеевич, в феврале в лагере начался мор. Картошка кончалась, а воду не подвозили совсем. Мучаясь жаждой, люди горстями собирали покрытый кровавыми пятнами снег и отправляли в рот. Ослабевшие не могли добраться до отхожего места и садились тут же, около землянок. Дизентерия свирепствовала вовсю. Сначала умирало по

18—20 человек в день. Потом по 50—70. Я делал гробы: на два, на восемь человек. Потом кончился лес. Мы соорудили сарай и складывали там трупы; гора росла и росла и вскоре на два метра возвышалась над землей.

Иван Матвеевич делал все, что мог. Он построил «прожарку» для белья и верхней одежды. Соорудил баню, хотя воды — талого снега — отпускалось по три литра на человека. Заставлял работать здоровых, пытался лечить больных. Но лекарств не хватало, и эпидемия косила людей. Иван Матвеевич слал отчаянные телеграммы в управление Сиблага. Однако помощи не было...

С января по май в Мариинском распределительном пункте погибло около десяти тысяч человек.

...Позже для расследования «причин эпидемии» в Маррасприде была создана правительственная комиссия во главе с Вышинским. Говорят, кого-то из начальников даже наказали... Да, еще одно: Ивану Матвеевичу предложили составить список тех, кто принимал участие в ликвидации эпидемии, рискуя жизнью. Попал в этот список и я, и Петр Дурыгин. Список был отправлен в Москву, но что с ним стало дальше, не знаю, на нашей судьбе это никак не отразилось.

ИЮЛЬ 1941 г. Теперь уже ясно, что это не слухи. Война... Наверное, там, на воле, ее ждали, готовились к ней, чтобы дать отпор врагу. Но что могли знать мы, заключенные!

Для нас это было как гром с ясного неба. Общая беда словно объединила всех, люди ходят оглушенные, даже конвоиры притихли, только самые подонки из лагерного начальства свирепствуют еще более.

Буду проситься на фронт, я же имею опыт боевых действий. Преступно держать людей в тюрьме, когда над Родиной нависла такая опасность, преступно не давать им возможности погибнуть за Отчизну — честным человеком, гражданином.

2 АПРЕЛЯ 1942 г. Хохлов по-прежнему мстит мне за то, что я не пожелал выдать товарища: девятый месяц держит на крохотном пайке в 350 граммов. Если я до сих пор не умер, то лишь благодаря друзьям, особенно Симаре Драгомощенко, румынке, которая работает в медсанчасти. Симара — добрый ангел всех политических. Откуда же в маленькой, слабенькой женщине такое бесстрашие, преданность, такие душевные силы!..

...Вчера получил от нее записку: «Симулируй болезнь,

лучше хроническую (язву), просись к врачу». Я-то вообще болел редко, как симулировать язву, не знал. Ну сказал, что у меня страшные рези в животе: видно, воспалилась старая язва, полученная еще в первую мировую.

Конвоир ведет меня к доктору Виктору Орестовичу Прутовых. В кабинете, кроме него, медсестры из заключенных — Мария Федоровна Петровская, сноха председателя ЦИК Украины, и Симара. Когда они увидели меня — отощавшего, качавшегося, — едва не прослезились. Симара, покосившись на закрытую дверь, командует: «Михаил, быстро расстегивай шаровары». Я протестую, мне страшно неловко, но она хватает меня за руки и крепко держит, пока Мария Федоровна сует в брючины четыре пайки хлеба, несколько кусков сахару и жареную рыбу, завернутую в бумагу. Оглядывает: «Кажется, незаметно».

Доктор вызывает конвоира, говорит ему строго: «Заключенного ведите осторожно, может открыться кровотечение».

Я иду тихо, еле переставляя ноги, боясь выдать своих друзей. Конвоир спрашивает: «Чего тебе там делали?» — «Кололи», — отвечаю. «Больно?» — «Ой, не то слово».

16 СЕНТЯБРЯ 1943 г. В этот день случилось то, о чем я не мог мечтать даже во сне. Нет слов, чтобы описать мое состояние, когда я узнал, что за тюремным забором стоит приехавшая ко мне дочь.

Значит, мои родные, мои любимые по-прежнему верят в меня, верят настолько, что дочь, почти девочка, рискнула приехать за сотни верст, чтобы увидеть отца, названного «врагом народа»! Хотя бы минутное счастье, хотя бы один родительский поцелуй!

Я бросился в свою мастерскую, к еврею Марку Семеновичу: «Что мне делать, свидание мне не разрешат!»

— Подожди, я схожу к заместителю начальника госпиталя Петру Андреевичу. Он замечательный человек, москвич — поможет.

Марк возвратился через полчаса. Подмигнул мне и озорковато сказал: «Слушай, надо найти вольного человека, который сможет выйти из зоны и сказать дочери: пусть идет к заместителю начальника госпиталя, якобы устраиваться медсестрой. С ним, мол, договоренность есть».

Мы попросили зто сделать госпитальную сестру Александру Васильевну. Она колебалась, но, видя мое состояние, решилась помочь.

Марк сказал: «Во двор не выходи: дочь не выдержит, бросится на шею. Слезы, поцелуи, а кругом начальство. Сиди здесь, я сам встречу».

...Мы с Марком отдали все деньги, которые у нас были, за «подпольный» обед. Повар Степан Иванович постарался: не помню, что было на первое, а на второе — жареная щука с вареными яйцами и помидорами. Нина смотрела и не верила: «Папа, как вас хорошо кормят! А в Москве сейчас очень голодно».

12 НОЯБРЯ 1951 г. Для того, чтобы попасть на вокзал станции Яя, надо миновать несколько эшелонов. Приходится лезть под вагонами — а меня шатает, как пьяного, от ветра, от воздуха, от свободы. Я никак не могу поверить в то, что иду один — без конвойного.

Внезапно сталкиваюсь с мальчишкой, который также шныряет под вагонами. Я почти 15 лет не видел детей. «Ты откуда такой?» — спрашиваю. Паренек оробел, вот-вот рванется, сбежит. «Да не бойся ты... Что ты здесь делаешь?»

Паренек слабенький, бледный, одет в рваное пальтишко, на ногах стоптанные худые валенки. «Хлебушек собираю. Здесь дальневосточные поезда останавливаются, так в окна, глядишь, и выбросят корочки. Вон у меня их сколько», — хвастается он, распахивая пальто и показывая мешочек с хлебом и головами рыб. «А у тебя отец-то есть?» — спрашиваю я, стараясь не глядеть на мешочек. «Не-а, его на войне убили». — «А мама?» — «А мамка больная сейчас лежит. А сестренки еще маленькие, они на станцию ходить боятся».

Я выгребаю из своего мешка все, что там есть: три буханки черного хлеба и 2 кило селедок — «Держи». Он не верит, даже отступает назад. «Да бери же! — говорю. — Скажешь маме, что это от дедушки Миши, который только что освободился и едет к своим внучатам».

Мальчишка хватает все, прижимает к груди, осторожно пятится и, внезапно повернувшись, дает стрекача вдоль путей. Лишь шагов через сто останавливается и кричит: «Я все передам, дяденька!»

Я счастлив. Теперь все будет хорошо.

Ан. Макаров

Дочь наркома

...Ей пришли на память вычитанные где-то, а может, и слышанные от кого-то, например от старых большевиков, выступавших на пионерских сборах, рассказы об особом перестуке, по которому узнавали друг друга революционеры, заточенные в казематы царских крепостей и равелинов, о том, как в полученной с воли передаче оказывалась записка, запеченная в пирог, а то и пилка для перепиливания оконной решетки. Какая наивная, старомодная романтика! Интересно, кто бы это решился на побег из глубокого подвала внутренней тюрьмы НКВД? А какую такую передачу могла собрать ей тетка на свою иждивенческую карточку? Пару луковиц да полбуханки черного. А перестук по тюремной азбуке? Она бы и рада была подать о себе весточку хоть кому-то из арестованных вместе с нею, мужу в первую очередь и десяти друзьям, сверстникам, одноклассникам, соседям со Страстного и с Тверского, с Пушкинской и с улицы Горького, и хоть от кого-нибудь из них счастлива была бы получить привет, но попробуй постучи в стену, воспользуйся неведомой тебе азбукой, если под неотступным взглядом надзирателя днем нельзя даже к койке подойти. А среди ночи, в сокровенное, единственно принадлежащее тебе время, когда расступаются стены лубянской камеры, подымают с постели и ведут на очередной допрос.

Следователь по фамилии Родос, невысокий, бодрый — на всю жизнь запомнит она его рыжие волосы и голубые глаза, — не столько спрашивал, сколько обстоятельно ей втолковывал, что вся их арестованная в апреле сорок четвертого молодежная компания планировала совершить террористический акт — покушение на жизнь товарища Сталина. Такой логики, как у следователя, ни до, ни после встречать не приходилось: любой житейский факт, каждую обыденную подробность, всякую мелочь быта он поворачивал таким образом, что они превращались в многозначительные, внушающие подозрение детали, которые, цепляясь друг за друга, создавали мнимо правдопо-

добную, якобы неопровержимую картину злодейского заговора. Одноклассники? Понятно, значит, давно стакнулись. С детских лет отзываются на принятые в их кругу имена и прозвища: Буба, Огурец, Рыбка — ясно ведь, это же не что иное, как конспиративные клички. Один из парней служит санитаром на «скорой помощи» — можно предположить безошибочно, что в его функции во время разъездов по городу входила слежка за машиной товарища Сталина. Ее муж Володя, инвалид войны, год провалявшийся в госпиталях, едва не потерявший обе ноги, был обвинен в том, что ввиду задуманного покушения привез с фронта пулемет. Стрелять, уверял их следователь, они собирались из окна дома одной из девушек, проживающей в районе Арбата. То, что окно это выходит в глухой двор, куда вряд ли когда-либо заедет машина Иосифа Виссарионовича, следователя ничуть не смущало. Такого рода соображения в общем зловещем свете сфабрикованного дела даже внимания на себя не обращали.

Ей вина была назначена сколь страшная, столь и простодушная, она, оказывается, выведала государственную тайну о том, что маршрут товарища Сталина с дачи в Кремль пролегает по Арбату. Впрочем, более основательного преступления для нее и не было нужды подыскивать, с ней, как говорится, и так все было ясно — Елена Андреевна Бубнова, двадцати двух лет, дочь расстрелянного «врага народа», бывшего наркома просвещения, бывшего начальника Политуправления Красной Армии, бывшего секретаря ЦК партии, бывшего члена ЦИК СССР Андрея Сергеевича Бубнова.

Мы сидим в квартире члена МОСХа, искусствоведа Елены Андреевны Бубновой, на улице Качалова в Москве, и она вспоминает о том, как семь с лишним лет провела в одиночных камерах московских тюрем. На Лубянке, в Бутырках, в Лефортове. Самое страшное — это изоляция, мучительный круг одних и тех же неотвязных дум и чувство, что никого из дорогих людей не увидишь больше никогда в жизни. Надо думать, что и в зрелые годы это нелегко, но тогда по крайней мере с тобою вся твоя жизнь, которую уже невозможно перечеркнуть, а каково в самую беззащитную пору молодости, когда человек как бы открыт всему миру? И вдруг весь этот мир — четыре голые стены. Но даже в этом замкнутом пространстве невозможно распорядиться самою собой, потому что голос невидимого надзирателя, будто мистическая высшая сила, предписывает — сидеть или не сидеть, ходить или не ходить.

За окнами квартиры самая что ни на есть московская Москва: улица Щусева, бывший Гранатный переулок, улица Алексея Толстого, прежде Спиридоновка, чуть дальше угадывается сплетение переулков — Козихинский, Трехпрудный, Палашевский, Ермолаевский, названный ныне в честь академика архитектуры улицей Жолтовского. Здесь прошло детство Елены Андреевны, на эти мостовые и тротуары уводила ее из заточения мысль, которую не в состоянии, как известно, удержать глухие тюремные стены.

Вот начальная школа, в которой никому и в голову не приходило, что эта ученица — дочь наркома просвещения, того самого А. С. Бубнова. Однажды классная руководительница, желая проверить политическую, так сказать, грамотность октябрят, принялась их расспрашивать, ну-ка назовите, кто у нас в стране самый главный по заводам и фабрикам? А кто по железным дорогам и паровозам? На вопрос, кто главный по всем-всем школам, она гордо ответила: «Мой папа». Одноклассники рассмеялись, а учительница потом выговаривала ее бабушке, что это, мол, за странные фантазии у девочки. Бабушка, стесняясь, призналась, что девочка говорит правду.

В средней сто семьдесят пятой школе все уже знали, разумеется, что она — дочь наркома, их квартира в Ермолаевском по тем временам была очень просторной, одноклассники после уроков любили там собираться.

Вот он, этот причудливый особняк постройки знаменитого архитектора Ф. Шехтеля. Когда семья Бубновых переехала сюда с улицы 25 Октября, мама Елены Андреевны, Ольга Николаевна, — она происходила из образованной, хлебосольной московской семьи, занималась историей искусств, дружила с художниками — очень радовалась новому жилью, теперь дом будет открыт для гостей. В те годы Наркомпрос ведал не только вузами и школами, вся культура находилась под его покровительством: театры, библиотеки, музеи. Кого только не встречала Елена Андреевна в родительской квартире! И старомодно светского Константина Сергеевича Станиславского, и порывистого Всеволода Эмильевича Мейерхольда, и Александра Яковлевича Таирова вместе с женой, загадочной, прекрасной Алисой Коонен, и Алексея Толстого с неизменной трубкой, и Всеволода Вишневского в морском кителе, и элегантного, насмешливого Михаила Кольцова. А еще академик И. Орбели и пианист А. Гольденвейзер, игравший самому Льву Толстому, И. Грабарь, художник и тонкий знаток искусств...

Еще чаще приходили близкие друзья наркома, люди, с которыми свела его поразительная собственная судьба, жизненная стезя профессионального революционера, подпольщика, партийного журналиста, члена Реввоенсовета, можно сказать, история партии и республики, ставшая личной биографией.

Тухачевский, Егоров, Ворошилов, Буденный, Фабрициус, Примаков — «красные маршалы», герои гражданской войны, о которых поют песни, командармы, комдивы, комбриги, именами которых бредил в стране каждый мальчишка, а для Елены Андреевны все они были свои простые люди, родные почти что, еще бы, старые боевые товарищи отца, вместе с которыми он сражался в горящих степях Украины, под ураганным огнем ступал на кронштадтский лед.

Наверное, не было в советской истории события, о котором в бубновской семье не упоминалось бы с естественностью и достоверностью личного участия. Первая русская революция сдружила Андрея Сергеевича в родном Иваново-Вознесенске с Михаилом Фрунзе, вместе они поднимали на борьбу ивановских и шуйских ткачей, формировали и обучали боевую рабочую дружину. Дружили они, встречались семьями до самой кончины легендарного пролетарского полководца. (О странности, загадочности этой преждевременной смерти Елена Андреевна слышала еще девочкой.)

В октябре семнадцатого года на расширенном заседании ЦК для руководства грядущим восстанием был избран Военно-революционный центр в составе пяти человек. Вместе со Свердловым, Дзержинским, Урицким и Сталиным в него вошел Андрей Сергеевич Бубнов.

Петроградский железнодорожный узел стал конкретным участком его революционной работы. Исторический факт: утром 25 октября 1917 года телеграмма о победе в Петрограде «рабочей и солдатской революции», адресованная «Всем, всем, всем...», иными словами, всей России и всему миру, была отправлена именно по железнодорожному телеграфу за подписью А. Бубнова.

Между прочим, в должности главы Наркомпроса А. С. Бубнов сменил самого Анатолия Васильевича Луначарского. Шутка сказать! Можно вообразить, какую ответственность налагало это обстоятельство на нового руководителя культурного ведомства! Какого уровня мышления требовало от него! Каких деловых качеств! Однако ведь недаром именем А. С. Бубнова был назван Ленинградский государственный университет. Оста-

лось свидетельство Надежды Константиновны Крупской, не один год проработавшей вместе с Бубновым в системе Наркомпроса:

«...Партия поставила на пост наркома просвещения человека, которому вся его предыдущая работа, весь предыдущий опыт борьбы обеспечивал широту партийного кругозора, привычку подходить к делу не формально, а вникая в его суть, умение настойчиво добиваться своей цели, вникать во все мелочи, проверять исполнение».

В справедливости этой оценки Елена Андреевна могла убедиться на своем, так сказать, домашнем опыте. Отец очень ее любил, но поблажки ни в чем не делал.

Конечно, у нее было счастливое детство. Не в классическом понимании исполнения любых желаний и незнания низких забот, а в смысле богатства впечатлений, встреч с замечательными людьми эпохи, в том смысле, что романтика нового мира, революции, гражданской войны, осенявшая дом, естественно сочеталась с уважением к традициям гуманизма, с любовью к русской культуре, с гостеприимством и демократизмом интеллигентной московской семьи.

Много лет спустя она поняла, что душевный ее мир, сложившийся в этих завидных условиях нравственного согласия с окружающей жизнью, стал в годы страшных потерь и лишения свободы ее единственной внутренней опорой и оплотом. Велик был запас счастья, прочен оказался резерв чистых помыслов и надежд, иначе бы она сломалась душевно, не вынесла, не вытерпела бы всего того, что ей выпало пережить.

Нарком Бубнов был волевым, порой крутым человеком с армейской жилкой и любимой дочери не давал спуску — закаливал ее, заставлял делать зарядку, ходил с нею в долгие лыжные походы, вообще приучал к самостоятельности. И тут же, повинуясь совсем иным потребностям души, часами читал ей стихи, заводил любимые пластинки, тащил в музей или на вернисаж.

И в сто семьдесят пятую школу Андрей Сергеевич наведывался не по должности, не для инспекции и указаний, а просто, без чинов, потолковать по душам с педагогами, пошутить и поболтать с ребятами, с командирской галантностью потанцевать на школьных вечерах.

В середине тридцатых «красной столице» уже не хватало бывших гимназических зданий, в глубине дворов одна за другой вырастали типовые школы-новостройки, нарком радовался каждому их этажу из красного кирпича. И на строительство

нового здания Ленинской библиотеки часто брал с собою дочь, хотел, чтобы она своими глазами увидела, сама поняла, запомнила на всю жизнь...

Тогда гордились каждым конкретным достижением мирового уровня, о чем бы ни шла речь, даже открытие закусочной-автомата на площади Дзержинского подавалось как зримая черта московского европеизма. Что уж говорить о метро, по общему убеждению, лучшем в мире! Очень радовались тому, что продукция советских заводов все чаще не уступает заграничным изделиям. Поэтому, например, в детстве у Елены Андреевны был мужской велосипед, дамских наша промышленность еще не выпускала, а доставать дочери иностранную марку Бубнов не желал из принципиальных соображений.

Елена Андреевна помнила, что свет у отца в кабинете часто горел за полночь, — нарком писал: статьи по истории партии, по военному делу, готовил проекты учебников. В начале тридцать седьмого он работал над речью для предстоящего пушкинского юбилея. А незадолго до торжественного заседания в Большом театре улучил время заехать на школьную премьеру, одноклассники дочери поставили свой собственный пушкинский спектакль, невозможно было, как выражались некогда, не почтить присутствием.

Слово о Пушкине, произнесенное Бубновым в Большом театре перед лицом лучших людей страны, получило всесоюзный резонанс. Белинский предсказывал когда-то, что каждая эпоха выскажет о поэте свое суждение, так вот бубновский доклад воспринимался как суждение большевистской эпохи, двадцатилетнего Советского государства.

Ровесники Елены Андреевны начали постигать мир в годы первой пятилетки, слова «домна», «мартен», «встречный план» были им столь же понятны, как «лес» и «река», они росли на тех улицах, по которым в Международный юношеский день парадом проходили физкультурники и пионеры в юнгштурмовках маршировали под горн и барабан, они рвались в кино на «Мы из Кронштадта» и в театр на «Оптимистическую трагедию», мечтали пробраться в Испанию на помощь защитникам республиканского Мадрида, ни секунды не сомневались в том, что живут в самой свободной, самой прекрасной стране на свете, которая была бы еще прекраснее, если бы не вражеское окружение.

И вдруг пошли разговоры, что внутри страны врагов едва ли не столько же, сколько за ее рубежами. Об этом писали газеты, об этом же грозно предупреждали ораторы с высоких

трибун, и каждая такая речь заканчивалась бестрепетным призывом пресечь, разоблачить, заклеймить, выжечь каленым железом! Враги представлялись похожими на редких интуристов, на шпионов и вредителей из фильмов в исполнении артистов Файта и Кулакова. Но потом оказывалось, что жили они в соседнем доме, в соседней квартире или даже в соседней комнате, носили обычные толстовки и полувоенные френчи, ходили на работу в наркоматы и тресты, на заводы и в редакции газет, ездили отдыхать в Евпаторию и Кисловодск, болели за «Спартак» или «Динамо». Врагами оказывались капитаны вновь созданной индустрии, «красные директора», инженеры-орденоносцы, поэты, стихами которых зачитывалась молодежь, спортсмены, при появлении которых вставал с мест многотысячный стадион. Кому было верить, если герои гражданской, любимцы народа, боевые друзья отца, которые еще вчера сидели вот за этим столом, оказались в смертном списке предателей и шпионов?

В октябре тридцать седьмого года члена ЦК А. С. Бубнова не допустили на Пленум Центрального Комитета. Трезво сознавая, к чему идет дело, он поехал к себе в Наркомпрос и по обычаю тех лет работал до позднего вечера. Без чего-то двенадцать испуганная дежурная заглянула в кабинет, краснея и бледнея, доложила наркому: по радио только что сообщили о том, что он снят с работы.

В памяти о тех днях более всего запечатлелась трагическая растерянность матери. Далекая от политики, она по-женски интуитивно ощущала приближение беды. Отца Елена Андреевна растерянным не помнила. Наоборот, после роковой своей отставки он изо всех сил бодрился, не желал признавать, что остался не у дел, успокаивал домашних, что ничего страшного не произошло, говорил, что давно мечтал поработать на Дальнем Востоке. В один из вечеров принес дочери дымковскую игрушку — замечательного, небывалого, пестро раскрашенного индюка. Он вообще любил народное искусство — Дымково, Хохлому, особенно Палех.

Утром 23 октября 1937 года она собиралась в школу. По привычке хотела забежать к родителям, но бабушка, не похожая сама на себя, ее удержала, сообщив еле слышным голосом, что обоих, и отца, и мать ночью увезли в НКВД. На их половине все еще продолжался обыск, молодой военный с эмблемой в виде щита и меча на рукаве плаща обнадеживал: хозяева, надо надеяться, скоро вернутся, всего и делов-то коечто проверить и уточнить, однако строго предупредил, что в

их комнаты заходить не следует. Вместе с прочими конфискованными вещами сотрудники органов вынесли из дому велосипед. Елена Андреевна пробовала протестовать: «Это мой». Ей отвечали: «Как же ваш? Это мужской велосипед». Она еще не знала тогда, что из всех подарков отца на всю жизнь с нею останется только раскрашенный индюк — дымковская игрушка.

Человек так уж устроен, что и в беспросветности постигшего его несчастья сокрушенным сознанием успевает найти хоть какую-нибудь отраду. Вот и Елена Андреевна, перебирая в одиночке один за одним жуткие дни раннего своего повзросления, прощания с домом, с детством, с милыми, родными вещами, со всем тем, что было миром ее беспечального бытия, вспоминала о том, что в классе и в школе весть о том, что отныне она дочь «врага народа», никого от нее не оттолкнула. Правда, в комсомол ее не приняли, поскольку для вступления необходимо было отречься от арестованных родителей, а про такое она даже подумать не могла. Когда в начале шестидесятых ее будут принимать в партию, верность отцу, коммунисту-ленинцу, послужит ей лучшей рекомендацией. И одноклассники, и учителя стали относиться к ней с особой деликатностью и теплотой. Не случись страшной беды, она, быть может, так и не узнала бы, сколько у нее настоящих товарищей. Вспоминая о них в тюрьме, она размышляла, как все-таки странно, именно Советская власть воспитала их благородными, принципиальными людьми, которые не могли отступиться от друзей, чьи судьбы в одну ночь именем той же власти были поставлены под сомнение.

Сведений о судьбе отца и матери невозможно было добиться, ни письма, ни записки, ни какой-либо окольной вести. Сообщений о возможном процессе тоже не поступало. Опытные люди, понижая голос, объясняли, что зто значит:бывший нарком и его жена без суда и следствия приговорены Особым совещанием. К чему приговорены, об зтом страшно было подумать.

Вместе со старенькой бабушкой Елена Андреевна поселилась у тетки, в коммуналке на Кропоткинской. Училась в школе на «отлично», а после уроков подрабатывала, брала в живописных артелях для подкрашивания и ретуши портреты вождей. В те годы много потребовалось новых, неизвестных прежде портретов. Но один и тот же портрет все равно встречался чаще всех прочих. Когда всемирно знаменитый писатель Лион Фейхтвангер намекнул об зтом Сталину, тот, лукаво

улыбаясь в усы, ответил, что не может отказать своим современникам в простодушном удовольствии повсюду выставлять и видеть его изображение.

Так или иначе, но отчасти благодаря этому обычаю осиротевшей Елене Андреевне удавалось сводить концы с концами и школу удалось окончить с отличием. Золотых медалей тогда не было, были почетные аттестаты с золотой полосой.

...Прекратились ночные вызовы на допрос, и жуткая логика следователя, на глазах у нее сочинившего низкопробный детектив, перестала пугать. А время будто остановилось. Было такое чувство, что о ней забыли. Суда не будет, это она поняла, но ведь должно же быть хоть какое-то решение! Оказывается, возможна и такая пытка: неизвестностью. Постепенным и совершенным отключением узника от живой жизни, от всего, что было и что будет, обрывом всех человеческих связей. Никто из близких не знает, где она и что с ней. И ей ничего о дорогих людях неведомо. Да и остались ли они еще на свете, близкие, дорогие люди? Были мгновенья, когда любой приговор показался бы избавлением. Пусть лагерь, пусть Колыма, только не опостылевшие четыре стены в глубоком подвале. Выручал отцовский характер, умение взять себя в руки, овладеть мыслями, в который уж раз направить их в спасительное русло.

Вот Гоголевский засыпанный листьями бульвар, по которому она из школы возвращалась в новое свое жилье. Вот Сокольники, Институт философии, языка и литературы, знаменитый в те годы ИФЛИ, куда ее сначала не хотели принимать, а потом все-таки приняли на отделение истории искусств. И сразу война, первые воздушные тревоги, сперва учебные, потом — настоящие. Подобно матери в годы первой мировой, она закончила курсы медсестер, только вот сфотографироваться на Кузнецком в белой сестринской наколке с красным крестиком на лбу не было возможности. Какие уж тут наколки... Во время налетов приходилось дежурить в метро, детей и стариков размещать по вагонам, некоторые боялись: «Куда вы нас хотите увезти?» — остальных, где придется, прямо на мраморном полу любимой москвичами станции Сокольники. «От Сокольников до Парка на метро...» до войны, в другой жизни пел Утесов. А осенью сорок первого вся эта линия служила бомбоубежищем, превращалась в огромный лагерь со своим бытом, с болезнями, слезами, с руганью, жалобами и надеждами. Нет, только в одиночной камере можно понять всю отраду толкотни, толпы, даже смятенного людского единения.

Только тут можно тосковать о ноябрьской оледенелой крыше, озаренной химическим пламенем немецких зажигалок. И лесозаготовки на трудфронте под Талдомом с трескучим морозом, с бездорожьем и голодухой вспоминать как лучшую пору жизни.

Впрочем, так оно и было, так все совпало: война, молодость, любовь, сборища при затемненных окнах вокруг раскаленной буржуйки, стихи, песни, рассказы одноклассников, возвращавшихся с войны, пусть раненных, пусть искалеченных, но ведь живых, предчувствующих победу, полных грандиозных литературных и кинематографических планов... Все это оборвалось в апреле сорок четвертого, когда их забрали. Всю компанию, двенадцать девушек и парней, детей московского центра. И еще мать ее мужа, старую большевичку.

Свершив круг, мысль ее возвращалась в камеру...

Теперь в квартире на улице Качалова Елена Андреевна показывает мне семейные фотографии. Многие снимки подарили ей работники архивов уже в шестидесятые годы. Уберегли ведь, хотя могли уничтожить, сжечь, порвать под влиянием чугунного страха, в опасении доноса. Поразительное чувство — рассматривать в семейном альбоме фотокарточки людей, портреты которых знакомы по книгам и музейным стендам. Фрунзе, Тухачевский, Якир, Гамарник, Антонов-Овсеенко... И рядом Андрей Бубнов, в шинели или в комсоставской гимнастерке с «разговорами», один из легендарной когорты комбригов и командармов, организаторов и полководцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Елена Андреевна вспоминает, как однажды из тюрьмы ее привезли в чрезвычайно важный кабинет в доме на площади Дзержинского. Хозяин кабинета барственно осведомился, помнит ли она отца. Она ответила, что помнит и будет помнить всегда. Человек за огромным столом посмотрел на нее внимательно и велел ее увести. «Что же вы так вызывающе держались? — укорял ее потом следователь. — И с кем?! С самим министром госбезопасности Абакумовым! Покаяться надо было! Отречься! А не бравировать родством с врагами!»

После семи с половиной лет тюремного заключения Елену Андреевну одним росчерком пера отправили в пожизненную ссылку. Везли, словно опасную террористку, под конвоем трех лейтенантов и двух солдат. А по приезде в Барнаул она узнала, что не имеет права выходить за городскую черту — за нарушение двадцать пять лет лагеря, — что отмечаться у коменданта как административно высланная она обязана в пер-

вое время каждую неделю, а потом — каждый месяц. Так началась еще одна полоса в жизни дочери наркома.

Надо было жить — Елена Андреевна не отказывалась ни от какой работы, то к музею прибивалась, то к библиотеке, вместе с лектором из планетария моталась по клубам и красным уголкам, сама читала лекции и проводила беседы, по семейной традиции тянулась к художникам и скульпторам, среди сосланных, к счастью, нашлись и они.

В середине пятидесятых до Алтая долетел ошеломляющий слух: Бубнова видели в Москве. Нет, нет, совершенно точно, в одной из редакций Учпедгиза. Кто-то из руководителей издательства приезжал в Барнаул, сам рассказывал. Елена Андреевна не знала, верить ли? Обездоленные и бесправные часто тешат себя слухами, вместе с народной бедой, с войной, с арестами, с переселениями бродят они по стране от станции к станции, от барака к избе, за компанию с песнями, байками, солдатским и лагерным фольклором. Далеки еще были времена, когда этот фольклор получит выход на журнальные страницы, однако и прежняя беспощадная ледяная эпоха пошла на слом. В пятьдесят шестом году, когда у нее, как у всякой советской гражданки, был уже на руках нормальный паспорт, Елена Андреевна приехала в Москву. Остановилась у подруги, тоже отбывшей свой срок. Набрала телефон Комиссии партийного контроля. Ей ответили, мы вас ищем по всей стране, приезжайте немедленно. Она примчалась на Старую площадь и выслушала торжественную весть о том, что ее отец, нарком просвещения, член ЦК партии Андрей Сергеевич Бубнов посмертно реабилитирован по советской и партийной линии. Легенда о Бубнове, заходившем в Учпедгиз, однако, подтвердилась. Это оказался дядя Елены Андреевны, брат отца. Когда-то до войны, задолго до всех трагедий его жена написала учебник французского языка, так вот, он справлялся, нельзя ли его переиздать...

Под большим секретом Елене Андреевне передали мало кому доступный номер телефона. Услышав в трубке с детства знакомый голос, Елена Андреевна, волнуясь, произнесла: «Здравствуйте, Климент Ефремович, это — Буба». Она родилась в двадцать втором году в Ростове, где А. С. Бубнов и К. Е. Ворошилов с семьями жили в одной квартире.

Когда она вошла в кабинет Ворошилова, Климент Ефремович заплакал. Женщина, которую он ребенком держал на руках, которую помнил девочкой с двумя длинными косами, явилась ниоткуда, из небытия. Не меньше часа просидела она

в государственном кабинете. Ворошилов рассказывал ей о ее отце, о боевой их молодости, вспоминал бубновскую квартиру на Ермолаевском, часто вытирая слезы.

Только вернувшись к друзьям и отвечая на их расспросы, Елена Андреевна сообразила, что так ничего и не рассказала главе государства о себе и нынешнем своем положении, ни о каком содействии не успела попросить.

Однако все постепенно устроилось. После собственной своей реабилитации Елена Андреевна получила в Москве жилплощадь, поступила на искусствоведческое отделение истфака МГУ. Профессора, преподаватели, научные работники, вообще люди, помнившие ее родителей, работавшие некогда с ними, старались ей помочь. Не потому, что она об этом просила. Это было душевной потребностью, безотчетным желанием хоть каким-то личным поступком утвердить историческую справедливость.

Возвращенцы из «мест не столь отдаленных», которых в те годы нетрудно было распознать на улице, по-разному ощущали себя в забытой ими нормальной жизни. Одни все никак не могли отойти душой, расслабиться, отогреться, словно бы по-прежнему чувствуя кожей мерзлоту той дальней земли. Другие, наоборот, старались подольше продлить внезапное состояние блаженной прострации, безразличия к житейской суете. Елена Андреевна принадлежала к иному типу воскресших к жизни людей.

Все заново и все впервые. Университет, торжественные залы выставок и библиотек, гул собраний, шум премьер, вечерняя тишина Патриарших прудов. И непривычное, счастливое, возвратившееся ощущение своей страны за плечами. Она училась, работала в музеях, занималась историей русского фаянса и фарфора, ездила на заводы, знакомилась с мастерами, писала книги. Родила сына. Теперь ему двадцать шесть, он выпускник Строгановского училища. Это вообще художественный дом, по-московски уютная квартира, где переплелись и оттенили друг друга интересы мужа — скульптора, жены — искусствоведа и сына — живописца-реставратора. Синева Гжели и Веджвуда на стене, иконописные лики, пейзажи, гравюры, среди книг авторские копии скульптурных портретов. И еще тот, уцелевший во времени сказочный индюк, потемневшая от времени дымковская игрушка.

Уже простившись с Еленой Андреевной, на улице я вспомнил вдруг об одном пришедшем в редакцию письме. Его автор, подписавшийся от имени целого семейства, раздражен

нынешними газетными публикациями о трагических событиях прошлого. Он уверен, что все безвинно погибшие, арестованные и сосланные, пострадали «поделом». Их, полагает он, обуяла гордыня. Винтиками, видите ли, не хотелось им быть. Захотелось блюсти свою личность. Вот за это и получили. Не знаю, насколько распространена эта холопская точка зрения. Знаю только, убежден, что революция начинается в тот момент, когда все люди осознают себя рожденными для свободного труда и свободной мысли. И социализм — жизнеустройство мыслящих людей, воплощенная воля миллионов единственных и неповторимых личностей, приравнявших свое человеческое достоинство к достоинству справедливого общества.

...Вокруг была Москва — особняки, переулки, проходные дворы, кирпичные школы, считавшиеся новостройками еще и в сороковых годах, и дома, возведенные совсем недавно.

Беседа Галины Никулиной с писателем Анатолием Алексиным

Сто процентов истины

— Анатолий Георгиевич, редакция «Советской культуры» и вы получили много писем-откликов на нашу беседу, опубликованную первого декабря прошлого года под заголовком «Воспользоваться временем». Эти письма побудили меня продолжить начатый тогда разговор. Многие касаются прежде всего проблем литературных, которые, как и все большие литературные проблемы, неотторжимы от жизненных. В том числе исторических... Утверждают: в исторической науке, как и в литературе, возможна либо вся правда, либо никакой правды. История, подобно художественному произведению, состоит из деталей. Одна ложная деталь, к примеру, в живописном полотне приговаривает всю картину к нежизненности. Так и в истории. Так и в литературе.

Безусловно. Возьмите довольно распространенные утверждения, будто все-де верили в законность творившихся беззаконий, что никто в ту пору «не предполагал», «не мог себе вообразить». И что Сталин тоже не знал и не ведал. Согласиться с этим, говорят мне, значит признать, что мы находились под каким-то всеобщим одурманивающим гипнозом. Мог ли, в самом деле, не находящийся под таким гипнозом человек поверить, что почти все до одного секретари ЦК республиканских компартий, почти все секретари обкомов, горкомов и райкомов, большинство военачальников не просто в чем-то ошибались, а были шпионами, агентами иностранных держав, вредителями? Столь «негативному», пишут мне, гипнозу способствовали, как ни поразительно, явления позитивные, героика и романтика созидания, отблеск недавних революционных битв. Вот почему многие искренне верили. Многие, но отнюдь не все... Ну, а «гений всех времен и народов»?

Мнение о том, что и Сталин «не ведал», отвергнуто и в партийных документах.

— То есть вера в идеалы и цели революции оказалась неразделимой с верой в «государственное лицо». И если даже это можно оценить, то все равно нельзя понять.

Меня всегда изумляло, что те, которые (несмотря ни на что и наперекор, вопреки всему!) и ныне преклоняются перед бывшим «величайшим», что эти люди, подчас очень честные, и сейчас убеждены в сталинском «неведении». Но тогда, значит, он уж, безусловно, не был ни величайшим, ни даже просто здравомыслящим: разве мог человек, владеющий элементарной логикой, вообразить себе, что почти вся большевистская ленинская гвардия — это гвардия... «врагов народа»? И как же это могло совмещаться с уважением к Владимиру Ильичу, к его мудрости, прозорливости, умению разбираться в людях?

— Вы ведь рассказывали, что с детства были хорошо знакомы со многими старыми большевиками.

— Мой отец, который в течение десяти лет работал ответственным редактором журнала «Спутник коммуниста», органа МК ВКП(б), был не просто знаком с этими бойцами ленинской гвардии — он дружил с ними, они постоянно бывали у нас в доме. И даже я, в то время мальчишка, понимал, что люди это высоконравственные, высокообразованные, беспредельно верные тому, за что сражались в гражданскую и в мирные дни. Когда всех их — всех до единого! — арестовали, я, шестиклассник, ни минуты, ни секунды не сомневался в их абсолютной невиновности. И в абсолютнейшей невиновности отца... При всей чрезмерной мягкости своего характера, подаренного не отцом, а мамой, я в ответ на требование отказаться от отца, которое выдвинули, принимая меня в комсомол, сказал: «Нет... Ни за что! Никогда!..» И меня все-таки приняли. Значит, и товарищи мои, тоже школьники, не верили в справедливость репрессий и в «поголовную виновность» всех исчезавших (употреблю до ужаса точный трифоновский термин). По крайней мере они сомневались...

— Хотелось бы, чтоб вы рассказали о некоторых трагически погибших, о тех, кого вы знали, о тех, кто не должен быть забыт. Подобные вопросы есть в письмах.

— Помню бывшего второго секретаря Московской партийной организации, а затем первого секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Кузьму Васильевича Рындина. До революции картузник, окончивший не так уж много классов, он мог рас-

сказать о каждой картине в Музее изящных искусств или в Русском музее, был энциклопедически образованным человеком. А спал по три-четыре часа в сутки: строил Челябинский тракторный и превращал Южный Урал в индустриальную кузницу, что так пригодилось в годы сражений. И в его вине я тоже не должен был сомневаться?!

— Ну, а какие письма вас особенно удручают! С кем вы не можете не вступить в полемику! Чья позиция вам кажется ошибочной!

— Один из читателей уверен, что жестокость может считаться «доброй», если она «во имя» и утверждает: «Это естественно: лес рубят, щепки летят». Но как можно (и зачем?) рубить лес заповедный, священный для той земли, на которой он произрос. На которой поднялся, чтобы дарить людям красоту, нравственный кислород, чтобы олицетворять собой нерушимость святых идеалов... Рушить то, что создано для нерушимости?.. Ошеломляющее своим цинизмом и своей бессовестностью преступление! Ну, а «щепки»? Это что имеется в виду? Судьбы человеческие, надежды? Невольно вспомнились слова песни, которую, кажется, сочинили заключенные (но отнюдь не уголовники):

Мы рубим лес по-сталински:
на щепки,
А щепки, разумеется, летят.

И вот по-житейски размышляю: а мог бы считать автор письма подобной «щепкой» жизнь родного отца, или родной матери, или родного сына?.. Чужую беду равнодушной рукой «разводить» нельзя! Да и зачем вообще пытаться оправдывать то, что оправданию не подлежит? Пришел бы к вам кто-нибудь и изрек: «Мой сосед вчера убил невинного человека. Но у него, у моего соседа, есть при этом достоинства...» Как бы вы восприняли такое? Значит, когда речь идет об одной невинной жертве, прощать нельзя, а если о... (не стану называть цифры, ибо не располагаю ими!) — тогда можно?..

— Кстати, цифры, — точные и трагичные эти цифры — когда-нибудь станут известны. Но скажите, вы ведь наверняка знаете не только тех, кто и тогда понимал, что происходит, но и тех, которые пытались, не страшились помогать пострадавшим. Трагедия рождала не только «вершителей», но и героев.

— На станции Синарская, вблизи которой находилась стройка, где я работал, рассказывали о легендарном комму-

нисте из Германии. Он пошел на разрыв со своей весьма зажиточной семьей и прорвался к нам, чтобы поднимать на Урале вагоностроительный завод, а потом строить железнодорожные мосты и, фигурально выражаясь, наводить таким образом мосты между коммунистами разных стран. Приняли его с распростертыми объятиями... А потом эти «объятия» стали железными: по приказу Кагановича талантливейший специалист, ставший к 1937 году главным инженером Мостостроя, был арестован.

— Какой урон интернациональным связям, международным контактам!

— Огромный... На пути в Магадан этот человек выбросил сквозь вагонную щель прямо на ветер, в зимнюю степь папиросную бумажку. На ней были огрызком карандаша написаны адрес и слова, обращенные к жене, с которой незадолго до ареста он, заботясь о безопасности семьи, фиктивно развелся. Слова были такие: «Маруся! Я ни в чем не виноват. Сева». Значит, кто-то не только чудом обнаружил на белом снегу белую бумажку, брошенную в «никуда», но и доставил ее по адресу. И это для той поры тоже было чудом. Значит, не все «были убеждены»?..

«Я ни в чем не виноват!..» — писала и кричала каждая жертва беззакония. Но голоса правды не были услышаны. Потому что «величайший» и так был уверен, что карает безвинных.

— Но все-таки многие «непострадавшие» были, как вы говорите, под гипнозом и верили...

— Вопреки утверждению К. Маркса, что все надо «подвергать сомнению» (то есть, как я понимаю, во всем докапываться до истины, ничему не следовать механически и бездумно), нам предлагали иное: не сомневайтесь ни в чем, что происходит, если это «благословлено», любую чудовищную нелепость, даже нелепость «на крови» принимайте за совершенную истину, коли это исходит от...

— Увы, это «предложение» многие воспринимали...

— Но прежде всего, конечно, не верили в виновность людей, становившихся жертвами, те, которые превращали их в жертвы. У следователей той поры даже существовал, так сказать, узаконенный штамп — «сочинить легенду».

«Ну, какую мы сочиним легенду? — говорил моему отцу следователь. — Ты был в Японии. Родился же в Минске. Минск!.. До революции он кому принадлежал?» Напрасно отец пытался доказать следователю, не очень, видимо, успе-

вавшему в школе по географии, что Минск никогда и никому, кроме Белоруссии, не принадлежал. «Скрываешь? Даже это скрываешь? Ну, чьим ты предпочитаешь быть агентом?» «Белорусским!» — ответил отец. И за дерзость угодил в карцер.

— Простите за такой, быть может, «наивный» вопрос: как все это отразилось на общем душевном состоянии отца, который, как вы писали, в канун войны «обрел свободу»!

— Повторю то, о чем уже говорилось в предыдущем интервью: отец не утратил ни одного из своих прежних убеждений. Не потускнел ни один из его идеалов! Он даже анекдотов при себе рассказывать не разрешал: ни политических, никаких других. Это выглядело ханжеской ортодоксальностью, но я уважал такое проявление цельности (пусть даже чрезмерной!). До последнего своего дня (а прожил он 87 лет) отец трудился, трудился, трудился... И все во имя того же дела, которому служил «в огне революционных битв». Беру эти слова в кавычки, потому что так называется книга, вышедшая незадолго до смерти отца, где опубликованы его «Записки рядового подпольщика». Главная трагедия была в том, что били не просто «по своим, по родимым», а по лучшим из лучших, уничтожали самых одержимо преданных революции. Теперь про мое «самочувствие» тех лет... Нестерпимая боль, горестное сознание не только преступности, но и бессмысленности жестокостей удивительно органично соединялись с оптимизмом, энтузиазмом и в предвоенную пору, и особенно в годы Великой Отечественной. В этой органичности заключена какая-то тайна. А может быть, ответ как раз очень прост: любовь к Отечеству побеждала все! Несколько лет назад я получил письмо от Тони Дзикан, которую запомнил девушкой на той самой гигантской далекой стройке. «Какое было страшное и прекрасное время!» — пишет она. Страшными Тоня называет лишения, неслыханные по многообразию и изощренности испытания военной поры, а не нарушения законности. Хотя, вспоминая ту стройку, не могу забыть и заключенных, работавших с нами рядом под присмотром часовых и овчарок: вина многих из них состояла лишь в опоздании на работу или неосмотрительно рассказанном, но с точки зрения нормального человека абсолютно невинном анекдоте.

«Страшное и прекрасное время...» Так годы на стройке воспринимались и мною.

— Может быть, потому, что вы были очень молоды!

— Нет, не только поэтому. Все мы, трудясь с фанатиче-

ским подъемом, были уверены: вот разгромим Гитлера — и сразу наступит пиршество всеобщей справедливости, всеобщего благоденствия. Разве думали три маминых сестры-ленинградки, преодолевшие непобедимой силой любви к родному городу все блокадные муки, могли ли они, страстные поклонницы искусства, литературы, представить себе, что торжество победы соединится с позором избиения их кумиров — Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича (тут и Седьмая симфония не защитила!), Сергея Прокофьева, Михаила Зощенко? Могли ли вообразить себе, что все руководители Комитета обороны Ленинграда — в том числе любимцы города А. А. Кузнецов и П. С. Попков — будут «отблагодарены» за свои подвиги смертной казнью?.. Зачем это нужно было? Зачем?!!

— Отец рассказывал когда-нибудь о годах, проведенных в камере?

— Не мог не рассказывать. Скажу лишь об одном... Самом меня потрясшем! Некоторые полагают, что репрессиям подвергались лишь старые (в то время еще не очень) большевики, ветераны революции, ученые, творческая интеллигенция. Более всего они... Но не только! В соседней с отцовской камере томились... десятиклассники. Да, да! У них был топографический кружок. Они нарисовали карту той местности, невдалеке от которой был расположен аэродром. И их обвинили... в шпионаже. Почему я все-таки не умолчал об этом? Потому что преуменьшать масштабы тех зверств — значит хоть в какой-то мере реабилитировать их. А они прощению не подлежат.

— Вот именно это-то не все, по-моему, хотят понимать... В первом интервью вы говорили об ущербе, который наносили литературе, в том числе детской и юношеской, групповые борения.

— Помню, как впервые распахнулись перед детьми двери кремлевских залов. Мне позвонил Константин Георгиевич Паустовский и с весьма необычным для него волнением сообщил, что ему заказали «репортаж» о первой новогодней елке в Кремле. Я тоже порадовался, но и слегка загрустил: как же упрямо должны были держать в отдалении от прессы этого замечательного русского писателя, если он почти ликовал по поводу возможности написать... «репортаж»?

— Вы вспоминали и о том, что крупнейшие детские писатели были кем-то «стихотворно», как вы выразились, осуждены. Как это произошло, этот вопрос содержится во многих письмах.

— На одном из совещаний по детской и юношеской литературе с докладом о ней выступил весьма уважаемый и любимый мною писатель. Конечно, либо вся правда, либо — никакой, но имени его все же не назову, потому что позже он искренне сожалел, что взялся за тот доклад и произнес его с малой степенью компетентности, в духе того времени (было самое начало пятидесятых годов). Не назову... Хотя в одном из читательских писем меня упрекнули в «анонимности обвинений». Но я ведь говорил и говорю о явлениях, а выпячивание иных «имен» сведет, мне кажется, разговор к вроде бы частным фактам. Да и к чему задним числом дискредитировать тех, которые не злонамеренно, а как бы по ошибке заблуждались, потом страдая из-за этого и искупая поступками свои заблуждения?

Так вот, большой мастер в докладе, за который, вновь подчеркну, после беспощадно и открыто осуждал себя, тогда осудил не себя, а Льва Кассиля. Осудил за «изобретение» разных несуществующих стран — Швамбрании, Синегории, в то время как у нас-де столь много реально существующих краев, республик и областей. Оратор противопоставил книгам Кассиля, так любимым детьми, малоизвестное произведение молодого в ту пору писателя, которое испытания временем не выдержало. Появилась в дни совещания стенгазета. Были в ней и стишки:

А входил в обойму кто!
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательство косяк:
А. Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль —
А. Барто, Маршак, Кассиль.

Стихи до такой степени понравились редакции одной из центральных газет, что она их перепечатала.

— Вы сказали о «загадочности» некоторых сочетаний, явлений тех давних лет, о которых мы говорили...

— Были не только загадки, но и кромешные тайны. Кромешные и ужасающие! Помню, Лев Кассиль, работавший долгие годы в редакции «Известий», вспоминал о том, как 1 декабря 1934 года вошел в кабинет к ответственному редактору Николаю Ивановичу Бухарину. Бухарин, слушая собеседника, находившегося на другом конце провода, заметно бледнел, вытирал ладонью испарину со лба. А повесив трубку, тихо произнес: «Сегодня в Ленинграде убит Киров, — и, тягостно

помолчав, добавил: Теперь Коба сделает с нами все, что захочет».

Никто и предположить не мог, что бухаринское провидение осуществится так быстро и в такой неведомой истории форме. Кассиль вспоминал и другое... Шли процессы, в ходе которых люди, не боявшиеся прежде ни ссылок, ни каторг, ни пыток, вроде бы участвовали в бесовском спектакле: словно состязаясь друг с другом, они старались побольше, поизобретательнее, поподробнее рассказать о своих несуществовавших в реальности злодеяниях. Бухарин, например, который мог бы, не задумываясь, отдать жизнь за Ленина, со зловещими деталями поведал, как он сознательно боролся против... Ленина и ленинизма. Да и все подсудимые прямо-таки с «упоением» докладывали о том, как они собирались взрывать, отравлять, пускать под откос... Какими способами это достигалось? Как?! Непостижимо.

Л. Кассиль говорил, что они с Михаилом Кольцовым не поверили в возможность подобных показаний Бухарина, решили, что выступает не он, а кто-то под него загримированный. Достали пропуска и оказались в зале, где шел суд. Нет, это был Николай Иванович Бухарин... И он признавался в преступлениях не мыслимых, не поддающихся разумению. Как его заставили пойти на такое? Тайна сия не просто велика — она безмерна. И остается тайной.

«Бухарин должен быть оправдан... Он будет оправдан!» — говорил Кассиль. Надежда моего друга сбылась.

— Видели ли вы близко, лицом к лицу, кого-то из тех, кто «гипнотизировал»?

— Со мной в одном классе учился мальчик, мать которого была сестрой жены Ульриха — председателя Военной коллегии Верховного суда тех самых лет. На семейном торжестве в доме своего школьного приятеля я наблюдал за его «высокопоставленным» родственником, с виду, как и многие полные люди, добродушным человеком. И думал: «Неужели это тот? Тот самый?! Который приговорил к смертной казни всех друзей моего отца, лучших людей страны?». Я, мальчишка, не мог постичь, как он позволяет себе улыбаться, поздравлять, даже дарить цветы и сердобольно напоминать о том, что «уже поздно и детишкам пора спать».

— А что испытал сам Лев Кассиль, с которым вы были так близки?

— Многое испытал... Арест и гибель брата — того самого Оськи из «Кондуита» и «Швамбрании». Исчезновение (опять

возвращаюсь к Трифонову) близких друзей... А потом — пасквили, даже фельетон. Назывался он, помню, «Путешествие писателя Кассиля». В нем не было и тех пяти процентов правды, которые считались тогда достаточными для публикации фельетонов. Говорю это для того, чтобы нынешние обожатели сенсаций, свар и лживых доносов знали: ни пяти, ни девяноста пяти процентов истины для публикации каких-либо обвинений недостаточно. Необходимо сто процентов истины. И ни на один процент меньше! А если бросил тень на репутацию человека — изволь за это ответить! Таково, мне кажется, требование подлинной демократии.

— Писательская общественность потребовала тогда восстановления истины!

— Увы, нет. Этого требовал лишь Борис Горбатов, возглавлявший комиссию «по проверке фактов». Остальные же неправедным голосованием провозгласили, что факты якобы «в основном подтвердились». А раз так, последовали и оргвыводы. Вскоре, правда, по инициативе А. Фадеева положение было исправлено тем, что Льву Кассилю (вместе с М. Поляновским) присудили Сталинскую премию за «Улицу младшего сына». А если бы этого не произошло?

— Последняя история поучительна, мне кажется, в том смысле, что может предостеречь от повторения чего-либо подобного ныне и в будущем. Именно потому такие достоверные факты мы должны знать. Во всем их объеме и реальности. Пока живы свидетели.

— Безусловно... Что скрывать, есть и ныне такие, которые под видом «борьбы за правду» пытаются клеветать, доводить своими наветами честных людей до беды. В одном из писем я прочитал слова «чистая река гласности». Да, река гласности должна быть родниково чистой... Никто не смеет отравлять ее нечистотами групповых свар и шкурного сведения личных счетов!

— В чем вы видите основной порок, основную ошибку в истолковании некоторыми сути «репрессивных лет»!

— В попытке наших недругов объявить те годы закономерностью. Ложь... Продуманная и злонамеренная! Закономерностью, продиктованной нашим мировоззрением, нашим строем, являются нынешние покаяние, очищение и созидание.

Давид Гай

Конец «дела врачей»

Начало пятидесятых годов было временем, когда Советская страна поднялась и расправила плечи после военной разрухи, временем покорения атома, сооружения гигантских гидроэлектростанций и каналов... Народ, вернувшийся с войны победителем, вправе был рассчитывать на новую жизнь — открытую и свободную, он был готов к ней, выстрадал ее.

М. С. Горбачев в своем докладе в связи с 70-летием Великого Октября говорил о послевоенных годах: «...все более ощутимо давало себя знать противоречие между тем, каким стало наше общество, и прежними методами руководства. Продолжались злоупотребления властью, нарушения социалистической законности. Были сфабрикованы «ленинградское дело», «дело врачей».

13 января 1953 года ТАСС сообщил об аресте группы врачей. Как было объявлено, террористическая группа медиков ставила своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского государства. «Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи А. А. Жданов и А. С. Щербаков». И далее: «Установлено, что все участники террористической группы врачей состояли на службе иностранных разведок, продали им душу и тело, являлись их наемными, платными агентами. Большинство участников террористической группы — Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие — были куплены американской разведкой. Они были завербованы филиалом американской разведки — международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт»... Другие участники террористической группы (Виноградов, М. Коган, Егоров) являются... старыми агентами английской разведки.

Сообщение прозвучало как гром среди ясного неба. Корифеи медицинской науки и практики, консультанты кремлевской больницы — шпионы и убийцы? Люди поначалу отказы-

вались в это верить. Многие, однако, верили, в результате пустели поликлиники, в больницах пациенты отказывались принимать лекарства. Белые халаты внушали страх.

С чего началось «дело врачей»? Где его истоки? Некоторый свет на это проливает Ефим Смирнов — академик Академии медицинских наук, Герой Социалистического Труда, после войны — министр здравоохранения СССР. В одном из своих интервью он вспоминает:

— Незадолго до 13 января 1953 года был я в гостях у Сталина — на даче, расположенной недалеко от Сочи. Мы гуляли по саду, разговаривали. Сталин, показывая на деревья, где росли лимоны, апельсины, рассказывал, какого ухода они требуют. И вдруг без всякого перехода спросил:

— Товарищ Смирнов, вы не знаете, какой врач лечил Димитрова и Жданова?

— Знаю, — ответил я и назвал фамилию.

— Странно. Один врач лечил, и оба умерли.

— Товарищ Сталин, врач-то здесь не виноват...

— Как это «не виноват»?

— Я интересовался историей болезни Димитрова, патологоанатомическим заключением. Смею вас уверить, ничего нельзя было сделать. Знаю, кстати, что сам Димитров и рекомендовал Жданову этого врача. Считал его образованным и тактичным человеком, квалифицированным специалистом.

Сталин промолчал. Но я почувствовал, что вряд ли убедил его. Он и всегда-то отличался подозрительностью, а к концу жизни черта эта стала просто патологической.

Профессор Яков Рапопорт, арестованный по «делу врачей» (его воспоминания опубликованы в журнале «Дружба народов»), вспоминает то, что в свое время рассказывал Владимир Виноградов:

— В последний визит к Сталину профессор Виноградов обнаружил резкое ухудшение состояния здоровья своего пациента и сделал запись в истории болезни о необходимости строгого режима с полным прекращением всякой деятельности. Надо сказать, что после смерти Сталина диагноз, поставленный Виноградовым, полностью подтвердился. Но при жизни «вождя народов» политическая наивность замечательного врача стоила ему свободы и могла стоить жизни: рекомендация его была расценена как попытка устранения Сталина от всякой активной деятельности, в том числе, разумеется, и политической...

Когда Берия, курировавший врачебное наблюдение над Сталиным, сообщил ему о заключении Виноградова, тот пришел в неописуемую ярость, закричав: «В кандалы его! В кандалы!»

Вспышка гнева, похоже, была вовсе не случайна. Вполне возможно, Сталин вспомнил период болезни Ленина и свою роль в изоляции вождя революции — под видом заботы о его здоровье — от дел партии. Теперь выходило, что он сам попадал в сходное положение, а ратовал за полный покой и прекращение всякой деятельности его лечащий врач...

Профессор Виноградов вскоре был арестован.

Аресты первой, наиболее авторитетной группы врачей прошли в ноябре 1952-го.

Архитектор Леонид Коган, сын профессора Бориса Когана, вспоминает:

— Я учился в архитектурном институте, как-то пришел домой поздно и вдруг услышал громкие голоса в квартире. У нас шел обыск. Отца, как я понял, уже увезли. Обыск продолжался всю ночь: простукивали стены, искали оружие, яд, ну и так далее. Мой отец, член партии с февраля 1917-го, был одним из организаторов Советской власти на Волыни. Посвятив себя затем медицине, стал одним из ведущих терапевтов Москвы. Он отвечал за здоровье видных деятелей Коминтерна, в частности лечил Димитрова (именно Б. Когана имел в виду Сталин в упомянутом разговоре с тогдашним министром здравоохранения Смирновым). Отца и Димитрова связывала дружба. Как же дико было услышать ему на первом допросе утверждение, что он — иностранный агент.

Врач Валентина Готлиб, дочь профессора Якова Готлиба, скончавшегося еще до тех печальных событий:

— Отцу доводилось лечить Багирова — первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, впоследствии расстрелянного. Будучи еще в 1946 году в Баку, отец проводил Багирову процедуру под названием хромоцистоскопия: для этого в вену вводился специальный раствор. Так вот этот самый раствор сначала вводили в вену отцу, а уж потом — его пациенту...

Но вернусь в те дни 1952-го. Наша семья дружила с семьей Вовси. 7 ноября мы отмечали праздник у них в гостях. А вскоре узнаем: Мирон Семенович арестован. За что? Почему? Полное неведение. В войну Вовси был главным терапевтом Красной Армии. Выдающийся клиницист, ученый — в чем же дело?

Инженер Любовь Вовси:

— Окончив Московский университет, я вышла замуж и переехала в Ленинград. Ноябрьский праздник 1952-го провела с трехлетним сыном у родителей в Москве. Папа пошел со мной погулять. По дороге неожиданно сказал: «На днях отмечалось семидесятилетие Виноградова. Его так странно чествовали, словно вполголоса. И у Егорова неприятности...» Я поняла: папа хотел подготовить меня к последующим событиям. Наверное, уже тогда он о многом догадывался.

В тревоге я уехала домой. А в ночь на 11 ноября папу арестовали.

Чудовищные обвинения в адрес еще недавно уважаемых людей ошеломляли. А вскоре становится известным имя рядового врача кремлевской больницы Лидии Тимашук — ей, оказывается, принадлежит главная роль в разоблачении «банды преступников». Указом Президиума Верховного Совета СССР она награждается орденом Ленина. В газете тех дней читаем: «Еще совсем недавно мы не знали этой женщины, а теперь имя врача Лидии Феодосьевны Тимашук стало символом советского патриотизма, высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины. Она помогла сорвать маску с американских наймитов, извергов, использовавших белый халат врача для умерщвления советских людей»...

В середине января 1953-го арестовываются жены «врагов народа», а их дети подвергаются гонениям: увольнения с работы, исключения из партии, комсомола...

Никого из тех, кто фигурировал в главном списке участников «террористической группы», сейчас нет в живых. Последним совсем недавно ушел из жизни 90-летний Владимир Василенко, Герой Социалистического Труда, академик АМН СССР. Крайне скупо делились они воспоминаниями о пережитом в тюрьме. Боль эта не проходила с годами, только становилась глуше; они не любили, когда кто-то бередил расспросами старую рану. Поэтому, наверное, в памяти их близких сохранилось немного эпизодов, связанных с «тюремным периодом»...

Допросы шли ночами. Самое тяжелое было не спать сутками напролет. На допросах светили сильными лампами в лицо. Жену Вовси — Веру с тех пор раздражал яркий свет.

От Мирона Вовси требовали признания, что он был связан с разведкой гитлеровской Германии. Мирон Семенович бросил следователю: «Вы сделали меня агентом двух разведок, не приписывайте хотя бы германскую — мой отец и семья

брата в войну были замучены фашистами в Двинске». «Не спекулируйте кровью своих близких», — ответил следователь.

За «дело врачей» лично отвечал начальник следственной части по особо важным делам Министерства государственной безопасности Рюмин. Человек абсолютно безнравственный, циничный, жаждущий власти и карьеры, Рюмин сознательно фальсифицировал следственные материалы. «Копать» под врачей он начал задолго до их ареста. Еще до появления в печати известия о «террористической группе» его жертвами стали заведующая кабинетом электрокардиографии кремлевской больницы Софья Карпай и консультант этой же больницы профессор Яков Этингер. Их обвинили в заведомо неправильной расшифровке электрокардиограммы Андрея Жданова. Этингер не вынес тюремного режима и скончался.

Круги арестов ширились. Рюмин предвкушал громкий процесс, повышение в звании, награды... И тут умер Сталин. Заключенным медикам об этом не сообщили. Допросы продолжались, хотя, пожалуй, с меньшей активностью, как бы по инерции.

У многих из тех, кто находился на свободе — детей и родственников арестованных, — реакция была вот какая: «Теперь нашим близким никто не поможет». В Сталине они видели спасителя и защитника...

И вот наступила ночь с 3 на 4 апреля. Всех арестованных врачей и их жен внезапно вывели из тюрьмы, посадили на машины и развезли по домам. Только сейчас, на свободе, узнали врачи о том, что писалось о них в газетах, о смерти Сталина...

Наутро газеты опубликовали сообщение, в котором, в частности, говорилось: «Проверка показала, что обвинения... являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия».

Ниже шел текст об отмене Указа о награждении Тимашук орденом Ленина. Сама же она еще немало времени работала в больнице, а затем вышла на пенсию. Об этом, вероятно, следует сказать еще и потому, что до сих пор кое-кто верит слухам и распространяет их, будто бы Тимашук в середине

пятидесятых погибла в автомобильной аварии, став жертвой чьих-то козней. Нет, она благополучно дожила до старости...

Вновь обретя честное имя, вернулись к плодотворной работе на поприще медицины Вовси, Виноградов, Коган, Егоров, Фельдман, Василенко, Гринштейн, Зеленин, Преображенский, Попова, Закусов, Шерешевский, Майоров и другие.

Что касается Рюмина, то, как было написано в правительственном сообщении, «учитывая особую опасность его деятельности и тяжесть последствий совершенных им преступлений, Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Рюмина к высшей мере наказания — расстрелу». Суровое наказание понесли и другие работники бывшего Министерства госбезопасности, причастные к фальсификациям, нагнетанию лживых обвинений.

Так была поставлена последняя точка в «деле врачей».

Е. Тимошенко

Каналармейцы: жизнь и судьба

Москва-река дала имя великому городу, но не может его напоить, — так прежде говорили жители столицы. За годы после Октябрьской революции, к середине 30-х годов, снабжение Москвы очищенной водой увеличилось в три раза, однако вопрос этот попрежнему оставался острым. Ведь город стремительно рос. К тому времени построили пятьдесят новых фабрик и заводов. Поднимались «Калибр», «Фрезер», шарикоподшипниковый. Быстрыми темпами увеличивалось население столицы.

Воды же катастрофически не хватало. Специалисты предупреждали: если водные ресурсы Москвы-реки не будут пополнены, то уже к 1935 году вся вода из нее будет попросту выпита.

15 июня 1931 года была принята резолюция Пленума ЦК ВКП(б), в которой говорилось о необходимости соединить Москву-реку с верховьем Волги. Это решало бы сразу несколько задач, и столица превращалась бы в порт трех, а в перспективе, после строительства канала Волга—Дон, пяти морей.

Забегая вперед, скажу: прокладка канала Москва—Волга вместе со строительством плотин, гидроэлектростанций, шлюзов, насосных станций, железнодорожных и шоссейных мостов (всего более двухсот различных сооружений) обошлась в 1 миллиард 750 миллионов рублей. Средства и по тем временам не столь уж большие.

После утверждения 1 июня 1932 года Совнаркомом СССР дмитровского (через район города Дмитрова) варианта строительства встал вопрос: кому сооружать канал Москва—Волга? Впрочем, ответ уже был. Вот строки из книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» (под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина): «Сталин был инициатором трудкоммун ГПУ и всей лагерной исправительно-трудовой политики. Сталин выдвинул идею создания Беломорско-Балтийского канала силами заключенных».

И на этот раз строительство поручили ОГПУ. «Каналармейцы» — так называли лагерников, сооружавших оба канала.

Поначалу в распоряжении Главного управления исправительно-трудовых лагерей были в основном «тридцатипятники» — осужденные за воровство и мелкое мошенничество. В конце 20-х — начале 30-х годов отряд будущих «каналармейцев» пополнили «раскулаченные» крестьяне и «вредители», среди которых были профессора и преподаватели институтов, ученые, инженеры. Они-то и составили «трудовую армию». В ее формировании не последнюю роль сыграл начальник ГУЛАГа М. Д. Берман (в конце 1935 года он был назначен начальником строительства канала Москва—Волга). Сошлюсь на уже упомянутую книгу. В 1928 году, будучи уполномоченным ГПУ в Шахтах, Берман запечатлел новую эпоху классовой борьбы, впервые сказав в донесении: «вредитель».

Тогда то в одном, то в другом месте ОГПУ «раскрывало» «вредительские группировки». Прошел процесс по делу «Промышленной партии», несколько позднее, весной 1931 года, слушалось дело о «Трудовой крестьянской партии», членов которой обвиняли во вредительстве в сельском хозяйстве.

Получив назначение в ГУЛАГ, Берман рассуждал: «Заключенный стоит государству больше 500 рублей в год. С какой стати рабочие и крестьяне должны кормить и поить всю эту ораву... Мы их пошлем в лагеря и скажем: «Вот вам орудия производства. Хотите есть — работайте».

Сообщения о «трудовой армии» напоминали военные сводки. «В большой дом на углу Лубянки и Фуркасовского переулка стягивались из разных мест заключения квалифицированные инженерные силы». Здесь, в Москве, разместилось особое конструкторское бюро, которому поручено проектирование Беломорско-Балтийского канала. Начальник отдела не обещал льгот, но рассказал об одной из работ ОКБ — бывшие «вредители» во главе с инженером Querner... Неймайером создали первый советский блюминг — прокатный стан... Слова эти будят в душах заключенных инженеров надежду на свободу. Но это в будущем. А пока работа, пусть в чудовищно невероятных условиях, но любимая работа... «В тюрьме не дают даже вилки, — думает профессор Орест Валерианович Вяземский, — а здесь, пожалуйста, — рейсфедер, циркуль... А синька с кружевом чертежа — великолепие...»

1 июля 1931 года Особый комитет утвердил эскизный проект Беломорканала. «В начале августа руководство ГУЛАГа было вызвано в коллегию ОГПУ. Им сказали: канал должен стоить дешево и должен быть построен в короткий срок. Таково указание Сталина».

И Беломорканал был сооружен в рекордный срок — за двадцать месяцев — к 1 мая 1933 года. Открывали его шумно и торжественно. Первыми на пароходе «Анохин» по нему проплыли И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, С. М. Киров. За строительство канала «бывшие вредители» инженер Н. И. Хрусталев, профессора О. В. Вяземский, В. Д. Журин были награждены орденами Трудового Красного Знамени. А инженеру К. А. Вержбицкому в числе восьми человек был вручен орден Ленина. Были награды и другого рода — 12,5 тысячи человек освободили досрочно, почти 60 тысячам сократили срок.

Опустела трасса. Многих из освободившихся прямо здесь завербовали на разные стройки — Электросталь, Криворожье... Часть «каналармейцев» уехала на БАМ, где в то время начинали развертываться работы. На платформы грузили разобранные бараки. Их везли в Дмитров: на сооружение канала Москва—Волга направлялись 20 тысяч квалифицированных гидростроителей.

Об одном из них — заместителе главного инженера Москва—Волгострой Владимире Дмитриевиче Журине — хочется рассказать немного подробнее. В 1918 году Журин окончил Ленинградский политехнический институт, занимался проектированием ирригационных систем и гидротехнических сооружений в Голодной степи, участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. Журин — автор множества статей по гидравлике. В 1924 году в Ташкенте по его инициативе был организован НИИ по изучению проблем водного хозяйства Средней Азии. Спустя четыре года Журин вступает в ряды ВКП(б) (позднее это расценят как «отвлекающий маневр»). Затем обвинение в принадлежности к «Промпартии» и во «вредительстве» на ирригационной системе... Беломорканал... Канал Москва—Волга, за который был награжден орденом Ленина.

Полвека — срок немалый. Очень хотелось разыскать когонибудь из бывших «каналармейцев», но не удалось. Правда, как уже говорилось, были на канале Москва—Волга и вольнонаемные специалисты. Дальше — запись беседы с двумя из них.

Иван Васильевич Овчинников:

— Я приехал на канал в конце 1932 года после окончания

Московского института водного хозяйства. Начал работать инженером в производственно-техническом отделе. Вскоре прибыла большая группа специалистов с Беломорки (так мы попросту говорили). Начальником нашего отдела назначили Николая Виссарионовича Некрасова. С ним пришли еще десять старых инженеров. Помнится, сидели мы все в одной большой комнате — их столы по одну сторону от прохода, наши — по другую. Делали проекты производства работ. Старым спецам поручалось то, что посложнее, а нам, молодым, что попроще.

Сам Некрасов был личностью чрезвычайно интересной. Профессор, крупный инженер-технолог. В начале двадцатых годов работал в Центросоюзе. Был осужден, как говорили, за связь с «Промпартией». На Беломорке Некрасов, видимо, себя хорошо зарекомендовал, потому что срок ему сократили. В Дмитрове он пользовался правом свободного передвижения. Освободили его в 1934 году, потом он был начальником работ Завидовского района (канал был разбит на тринадцать районов). После завершения строительства канала в 1937 году Некрасова наградили орденом Трудового Красного Знамени. А в конце этого же года он был вновь репрессирован и закончил свою жизнь в лагерях...

Проработал я в управлении несколько месяцев, а летом 1933 года перешел прорабом по земляным работам в Карамышевский район. Здесь нас, вольнонаемных, было человек тридцать, в том числе несколько экскаваторщиков. Сколько заключенных работало, точно сказать затрудняюсь. Жили они в бараках, метрах в трехстах от канала. Неподалеку от каждого сооружения был свой лагерь. Часовые на вышках зорко следили, как бы кто, закопавшись в землю, не выбрался из зоны. Иначе — самому дадут в руки лопату.

В ноябре ударили морозы, намертво сковавшие пропитавшиеся водой известняки. Норму перестали вытягивать даже самые сильные из заключенных. А ведь от ее выполнения зависело, сколько получишь хлеба. Не справишься — вместо 1200 граммов хлеба в день полагалась половина. Бригады хитрили. Половине людей ставили стопроцентное выполнение, остальным как придется. А полученный хлеб делили поровну...

Хорошо запомнился мне в Карамышеве один человек — Вячеслав Иосифович Ковалевский. Стройный, высокий, подтянутый. Прежде работал главным инженером Челябинского тракторного. Осудили его за то, что завод не выполнил план.

На нашем участке Ковалевский был специалистом, можно сказать, незаменимым — фактически он руководил всеми земляными работами. Был расконвоирован, жил не в лагере, а в специально отведенном помещении прямо на стройке. Помню, приезжала к нему на свидание дочь лет семнадцати.

Кого на канале я только ни встречал! Бывшие музыканты, артисты, врачи. Однажды из Белоруссии чуть ли не в полном составе прибыли райком и райисполком — за срыв плана хлебозаготовок. Были среди заключенных и осужденные, как мы говорили, «за колоски»...

Еще одна беседа с участником строительства — Борисом Сергеевичем Успенским:

— На строительство канала Москва—Волга меня и некоторых моих товарищей по работе мобилизовали из Наркомата тяжелой промышленности. В нашем энергомонтажном отделе, как, впрочем, и в других, было немало инженеров-заключенных. Например, Борис Васильевич Макрашанский — видный специалист по торфу. Ему присылали проекты на экспертизу. Тихий, скромный, интеллигентный, он не роптал, но ясно давал понять, что невиновен. Вспоминается еще одно имя — Бориса Леопольдовича Эйхенвальда, крупного связиста, близкого родственника известного физика А. А. Эйхенвальда. Глядя на этого деликатного человека, не верилось в предъявленные ему обвинения в шпионаже, диверсиях. Эйхенвальд в совершенстве знал несколько иностранных языков. В лагере читал французские романы, переданные для него родными. В отделе занимался вопросами автоматизации технологического оборудования, переводил статьи из зарубежных журналов.

И еще одно имя мне хотелось бы назвать. Правда, человек этот работал не в нашем отделе. Это В. Г. Иванов-Смоленский. Один из участников создания плана ГОЭЛРО, в 20-е годы профессор Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Им было разработано техническое задание на электровозы, изготовленные в Соединенных Штатах, а затем освоенные отечественной промышленностью. Под руководством Иванова-Смоленского впервые в нашей стране была выполнена электрификация железной дороги на Сурамском перевале...

Потом арест. Нелепое, абсурднейшее обвинение в создании вредительской группы, шпионаже, Беломорско-Балтийский канал, затем Москва—Волгострой. Ровно десять лет в ла-

герях. В 1943 году Иванов-Смоленский был освобожден, а спустя пять лет вновь арестован по тем же обвинениям. Лишь в 1954 году дело его пересмотрели. В. Г. Иванов-Смоленский был полностью реабилитирован. Долгое, слишком долгое ожидание очищения доброго имени надорвало сердце. И месяца не прожил он с родными...

Меньше чем за пять лет был сооружен канал. Построен он по последнему слову техники.

1 мая 1937 года с Волги от Московского моря, разлившегося близ деревушки Иванькове, прошла флотилия из четырех флагманских кораблей — «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» и «Клим Ворошилов». Утром 2 мая состоялась торжественная встреча в Москве, на Северном речном вокзале... 14 июля 1937 года было опубликовано постановление ЦИК и СНК СССР «О награждении и льготах для строителей канала Москва—Волга». В нем, в частности, говорилось: «Досрочно освободить за ударную работу на строительстве канала Москва—Волга 55 тысяч заключенных». 404 работников наградили орденами, из них 42 — орденом Ленина. Дать полный список не имею возможности. Назову лишь несколько имен: А. И. Фидман, А. Н. Комаровский, И. Д. Холин, С. В. Шестоперов, Л. И. Баумгольц, И. Н. Вознесенский.

Л. И. Коган, начальник строительства, был награжден орденом Красной Звезды (ранее за сооружение Беломорканала его наградили орденом Ленина). Судьба его, кстати, также трагична. В конце 1935 года он был назначен заместителем наркома лесной промышленности, а спустя два года его арестовали как врага народа.

Десять лет канал был безымянным. Имя Сталина уже носил Беломорско-Балтийский водный путь, а дать любое другое, видимо, опасались. Лишь в 1947 году, когда праздновали восьмисотлетие столицы, канал получил свое нынешнее название — имени Москвы.

Беседа
Григория Нехорошева
с журналистом
Эдуардом Белтовым

Это нужно не мертвым — живым ...

Почти пятнадцать лет сотрудник журнала «Дружба народов» журналист Эдуард Белтов собирает материалы о незаконно репрессированных в 30—50-е годы революционерах, ученых, военных, деятелях литературы и искусства. Сейчас в этой скорбной картотеке около 17 тысяч имен. В силу личных и профессиональных пристрастий наиболее тщательно подбирает Белтов сведения о репрессированных писателях.

— Эдуард Николаевич, почему и как началась работа!

— Лет семнадцать назад я прочитал в каком-то западном издании, что у нас было репрессировано 600 писателей. Эта цифра меня поразила: я решил, что здесь очевидное преувеличение. Не может такого быть. И решил составить список репрессированных. Довольно быстро удалось установить имен четыреста: в разных справочных изданиях, например в Советской исторической энциклопедии, в Краткой литературной энциклопедии, есть такие сведения. На этом закончился первый, самый простой этап работы. Дополнительную информацию стал искать в мемуарной литературе. По роду службы мне приходится читать огромное количество рукописей-воспоминаний. И вот по мере углубления поисков вырастали и эти скорбные цифры. Сейчас у меня есть сведения о 1000 погибших писателей. И приблизительно столько же репрессированных литераторов выжило в заключении. О судьбах некоторых удалось «вспомнить» в начале шестидесятых. Но когда после 1967 г. тема оказалась закрытой, прекратилось и осознание обрушившегося на нашу литературу бедствия. Многие знают, что были репрессированы выдающиеся писатели: Бабель, Пильняк, Мандельштам... Но литература никогда не состояла лишь из первоклассных имен. Литература — явление более сложное. Мы ведь не судим о литературе XIX века лишь по Пушкину, отбрасывая Баратынского, например, или Кюхельбекера, Дельвига. Давайте я сейчас лишь бегло перечислю погибших

русских советских писателей так называемого «второго ряда», а вы, соединив их с известными всем именами уничтоженных «живых классиков», поразмыслите над тем, что сделал сталинизм с нашей литературой.

Убиты были известные на всю Россию еще до революции «сатириконовцы» Аркадий Бухов и Илья Василевский (псевдоним «Не-буква»); друг Ахматовой, Гумилева акмеист Владимир Нарбут. Известнейший в 30-е годы критик и теоретик литературы Александр Воронский. Известнейший основоположник рабочей поэзии, директор Института труда Алексей Гастев. Глава РАППа Леопольд Авербах. Рапповские критики Илларион Вардин, Сергей Динамов, Алексей Селивановский. Прозаики Глеб Алексеев, Сергей Буданцев, Иван Васильев, Александр Завалишин, Виктор Кин, Сергей Клычков, Иван Касаткин, Иван Катаев и многие, многие другие. Поэт Владимир Кириллов, известный даже сегодняшнему поколению, потому что его в знаменитой статье «Как делать стихи» цитировал Маяковский. Василий Князев, автор знаменитой, любимой Лениным «Песни Коммуны», умер в 38-м году на Колыме. Крестьянский поэт Петр Орешин, то будущее нашей крестьянской поэзии, в которое верил Есенин. Крестьянский же поэт Иван Приблудный. Футурист Сергей Третьяков. Необычайно интересная фигура, в разных жанрах работал; его пьесы с огромным успехом шли в т. н. трамах, театрах рабочей молодежи. Драматург, директор Малого театра Сергей Амаглобели.

Это касается и национальных литератур. Причем, вопреки моим предположениям, репрессированных русских писателей оказалось меньшинство. Из тысячи погибших примерно семьсот — писатели союзных и автономных республик. По национальным литературам был нанесен такой сокрушительный удар, что некоторые из них от него еще не оправились, и вряд ли оправятся в ближайшее время.

И, кстати, здесь странная ситуация: вот я, например, выступаю с информацией о своей работе где угодно: в Доме ученых, Доме композиторов, различных научных и учебных институтах. Единственная организация, ни малейшего интереса ко мне не проявляющая, — Союз писателей СССР. Хотя рядовые члены союза этим активно интересуются, этим болеют.

— Коль скоро речь зашла о национальных литературах, не могли бы вы конкретизировать, какая из них пострадала больше всего?

— Еще раз повторю. Уничтожению подвергались не какая-

либо отдельная, а практически все национальные литературы.

Были арестованы почти все лучшие писатели Удмуртии: Кузьма Чайников, писавший под псевдонимом Кузебай Герд, Митрей Кедра, Михаил Коновалов, Григорий Медведев.

В корне была подорвана такая маленькая, и потому вдвойне хрупкая, алтайская литература — ее основоположник Павел Чагатстроев, прозаик Иван Толток, драматург Никандр Чевалков.

В большинстве своем были уничтожены башкирские писатели: поэт Абдула Амантай, прозаики Гусей Давлетшин и Иван Недолин, Афзал Тагиров, писатель и председатель ЦИК Башкирии.

Погибло больше двадцати писателей Северной и Южной Осетии.

Необходимо подчеркнуть, что все они были не просто основоположниками советской литературы на своих языках, но и непосредственными участниками революции и гражданской войны. И их творчество было продолжением их жизни: они были живой связью времен в культуре.

Сокрушительный удар был нанесен по еврейской советской литературе. Мало того, что еще до войны был уничтожен ряд еврейских писателей, в конце 40-х — начале 50-х годов, когда так называемая борьба с космополитизмом вылилась в откровенную антисемитскую кампанию, погибли прозаик Давид Бергельсон, поэты Давид Гофштейн, Перец Маркиш, Ицик Фефер, изумительный детский поэт Лев Квитко...

Кабардинцы: поэт и драматург Мухамед Афаунов, поэт и драматург Карачай Блаев, поэты Туту Борукаев, Пшемахс Кешоков, прозаики Сосруко Кожаев, Джансох Налоев...

Казахи: крупнейший казахский прозаик Сакен Сейфулин — первый председатель Совнаркома Казахстана, Ялжас Бекенов, поэты Можит Даулетбаев, Ильяс Джансугуров, прозаик Саттар Ерубаев, поэты Магжан Жумабаев, Турмагамбет Изтлеуов.

Таджики: поэт и прозаик Рашид Абдуло, прозаик Али Хуш, драматург Гульям Зафари, публицист Саид Резо Али-заде, редактор первого советского журнала на таджикском языке «Пламя Революции».

Среди армянских писателей, я имею в виду только членов СП, а их всего погибло 41 человек, подавляющее большинство — основатели союза. Среди них были очень старые люди. Прозаику Атрпету (это его псевдоним, настоящая фамилия Саркис Мубаяджян) было 77 лет, когда он был расстрелян.

А Абрааму Заменяну — 76 лет, это был литературовед. Дальше: Геворг Караджян — 75 лет, драматург. Прозаик Арутюн Чугурян — 74 года, прозаик Согомон Мелик-Шахназарянц — 80 лет! Эмин Тер-Григорян, драматург — 82 года, расстрелян. И уж совершенно поразительно, прозаик-юморист Хачан Тмблачи (настоящая фамилия его Константин Мелик-Шахназарян) — погиб в возрасте 84 лет! Это так сказать, печальный рекорд.

То, что сделали с украинской литературой, плохо поддается описанию. Это объясняется тем, что борьба с «буржуазным национализмом» началась с Украины и Белоруссии. В 29—30-й годы на Украине была обнаружена некая «контрреволюционная организация»; причем, что интересно, она состояла исключительно из интеллигентов: ученые, писатели, художники... Уже к 1930-му году было арестовано несколько десятков украинских писателей.

Потом второй удар — 33-й год. Компартия Западной Украины разоблачена как шпионская, расстрелян почти весь ЦК, все руководство и заодно группа писателей «Західна Украина» тоже почти все без исключения.

1934 г., убийство Кирова. Целая группа талантливых украинских писателей почему-то оказалась (по этому поводу) террористами и была расстреляна ровно через две недели: Дмитрий Фальковский, Олесь Досвитный, Алексей Влызько...

В 35-м аресты продолжаются, в 36-м немножко поутихли. И вдруг 37-й — это уже шквал. Очень мало кто приговорен к лагерю. Как правило, все идут под расстрел. Список расстрелянных писателей читать без слез невозможно...

48-й год — еврейские писатели, живущие на Украине. А с ними и украинцы — «недобитые буржуазные националисты». Все опять идут под расстрел, в лагеря...

Есть сведения о том, что всего репрессировано около 500 украинских литераторов, активно работавших в 20—30-е годы. Они не все погибли: в моем явно неполном списке около 150 человек погибших. Но на мою просьбу прислать полный список репрессированных, в т. ч. и погибших, пока ответа не получил. Связано это, видимо, с тем, что некоторые из них не реабилитированы еще до сих пор. И лишь сейчас дела их будут пересматриваться.

То же самое с белорусской литературой. Она было распустилась, расцвела в 20-е — начале 30-х, и вдруг — ничего нет. А те, кто остался (Якуб Колас), они практически ничего не писали, сидели и ждали, когда их арестуют.

— Какова методика вашей работы!

— Методика самая разнообразная. О мемуарах я говорил. Когда у меня было уже примерно 700 имен погибших, я понял, что зашел в тупик, просто неоткуда было брать больше сведения. Тогда я попросил главного редактора нашего журнала Сергея Алексеевича Баруздина помочь мне и за его подписью разослал почти во все писательские организации союзных и автономных республик и некоторых крупных городов письма с просьбой помочь мне в розысках. Приложил к письмам материалы и попросил подтвердить или опровергнуть данные, которые у меня есть. Некоторые откликнулись сразу же: первыми литовцы — буквально через несколько дней получил ответ; туркмены, азербайджанцы. Товарищи понимали важность дела, и даже благодарственные письма, очень трогательные, прислали. Но некоторые не откликнулись. Не получил ничего, например, из Куйбышева. А там погибло по меньшей мере 3 известных писателя. (Переживаю особенно, потому что я сам из Куйбышева родом.) Но совершенно возмутительное письмо я получил на послание Баруздина из Грузии. Председатель Правления СП Грузии Г. Цицишвили ответил буквально следующее: у нас нет подробных данных, и пусть товарищ Белтов обратится в с о о т в е т с т в у ю щ и е органы. В Грузии погибли такие выдающиеся писатели, как Тициан Табидзе, который не только для грузинской литературы представляет ценность, но и для всей советской. Вряд ли не знает этого СП Грузии.

Я все равно все найду, но то, что глава писательской организации так относится к этому, меня просто возмущает. Есть же люди не просто неравнодушные к тому, чем я занимаюсь, а тяжело переживающие это. Один из таких людей — марийский писатель, краевед Ким Васин. Он прислал мне совершенно потрясшее меня исследование о судьбах марийских литераторов. Когда буду писать книгу, практически все, что он собрал, туда обязательно включу. Потому что это пример того, как нужно относиться к судьбам своей культуры, своей литературы.

Во многом мне помогает молодой талантливый историк Дмитрий Юрасов, студент-заочник Историко-архивного института, он работает на студии «Мосфильм» грузчиком. А работал он когда-то в Военном архиве Верховного Суда.

К сожалению, объем интервью не позволяет включить и тысячной части собранных Белтовым сведений. Много трагических тем, о которых рассказал мне журналист, остались за

газетной полосой. Среди них такая, как гибель бывших писателей-эмигрантов, поверивших в новую социалистическую судьбу своей страны и вернувшихся.

— Эдуард Николаевич, как ваша работа будет развиваться в дальнейшем, что в планах!

— Считаю, что закончен первый, предварительный этап работы, да и то не во всем, не собрал еще всех имен.

Дальше, если относиться к этому серьезно, нужно составить библиографию. Я думаю, что должен быть библиографический справочник погибших писателей или шире, репрессированных. Не просто мартиролог, где перечислены одни имена, а библиография какая-то, хотя бы краткая. Тут уж я, конечно, один не смогу, придется кого-то подключать из специалистов, потому что это гигантская работа, одному с этим за 100 лет не справиться...

Но общая цель — такой справочник издать, он совершенно необходим.

— Для чего!

— Во-первых, чисто этические, нравственные цели. Наша совесть нечиста. Она будет нечиста до тех пор, пока мы не назовем всех поименно и не расскажем об их месте и вкладе в нашу литературу, в нашу жизнь вообще.

Второе. История советской литературы как наука не может существовать без этих имен. Я как-то пытался себе представить, как бы выглядела «История гражданской войны» (да такая, как оказалось, и была издана) перед началом Великой Отечественной. Ведь, кроме Сталина, Ворошилова и Буденного, нет ни одного имени! Полки, бригады, корпуса, целые фронты действуют сами по себе. Они ходят в атаку, отступают, но никто ими не руководит...

Так и здесь. К концу 30-х годов кто был в советской литературе? А. Толстой, Шолохов и Маяковский. Так я, например, учил в школе.

И, к сожалению, нынешнее поколение молодых просто не представляет себе, что такое советская литература в целом. В частности, литература 30-х годов, без которой разговор о сегодняшней литературе невозможен. Как он невозможен вообще в искусстве, в науке... Без прошлого нет настоящего...

— Мысль очевидная: установление имен и судеб ведет за собой восстановление их трудов, их места в литературе...

— И это нужно не мертвым, это нужно живым! Для того чтобы знать историю нашей Родины, мы должны ее представлять не просто как конгломерат фактов, а как историю челове-

ческих судеб. Не представляя себе историю судеб, мы очень механически понимаем историю: как движение каких-то масс, как движение непонятных каких-то социальных слоев, а ведь на самом деле история — это живые люди. Они ее делают.

Если бы мы, допустим, не знали сейчас, кто такой Артем Веселый, история гражданской войны была бы неполной. А история Первой Конной армии без Бабеля — это ничто вообще. Вот вам пример того, как история, как наука и литература, искусство теснейшим образом смыкаются.

Расскажу немного об одной стороне возможных нравственных исканий для историка, писателя, философа. После того как появилась в «Огоньке» публикация о Борисе Дьякове, наделавшая много шума, очень многие ко мне обращаются, нельзя ли назвать еще имена тех, кто был «стукачем», доносчиком, из-за кого погибли невинные люди. Я думаю, что делать это можно.

Во-первых, в дополнение к тому, что было напечатано о Дьякове. Там названо было два имени, это люди, которых непосредственно «заложил» Борис Дьяков, нужно назвать их полностью. Поэт, прозаик и драматург Григорий Яковлевич Смоляков. Он был ответственным секретарем отделения СП в Сталинграде. Расстрелян в конце 38-го года. И второй человек, Иван Владский (это его псевдоним; к сожалению, я пока не уточнил его настоящую фамилию). Он был собкором газеты «Водный транспорт» в Сталинграде. Может быть, благодаря публикации кто-то отыщется, кто знает его настоящую фамилию.

Смоляков 3 сентября 37-го года осужден Военной коллегией Верховного Суда. И в 57-м году реабилитирован посмертно. То же самое, видимо, и с Иваном Владским, потому что больше он никогда нигде не появлялся. Реабилитирован тоже в 57-м году вместе со Смоляковым, я видел документы реабилитации. Он там тоже фигурирует как Владский.

Василий Патраш (это псевдоним Василия Михайловича Петухова), прозаик, автор ряда книг, повестей и рассказов. В 37-м году ответственный секретарь Союза писателей Марийской республики. Арестован в декабре 37-го года, осужден на 10 лет и погиб в лагере. Но надо сказать, Василий Патраш был активным участником репрессий против других писателей. На основании его клеветнических доносов погибли некоторые марийские литераторы. И такого рода вещи были очень частыми. Когда мы говорим о погибших писателях, нужно иметь в виду, что очень многие из них — скажем мягче, —

некоторые — такую же зловещую роль сыграли в судьбе своих сотоварищей...

— Как же это случилось!

— Во многих случаях речь не может идти о том, что человек специально взял и оклеветал. Порой он был совершенно искренне убежден, что это враг. Появилась возможность истолковывать совершенно невинные высказывания как вражеские. А этого было достаточно, чтобы НКВД арестовало, а уж там путем выкручивания рук что угодно можно было доказать... Клеветники же не отдавали себе отчета (это с нашей, сегодняшней точки зрения) в том, что они делают. Например, я не считаю, что Всеволод Вишневский был плохим человеком изначально. Но то, что он делал в 37-м году, — это страшно. Вероятно, и не был Владимир Ставский плохим человеком, он не родился таким — условия жизни сделали его буквально палачом советской литературы.

Страшно, когда читаешь то, что они говорили, какие они предъявляли обвинения — и гордились тем, что они сделали! Потому что в этом они видели свой долг, свое призвание. Это отдельная, огромная и скорбная тема.

Об этом нужно много думать и попытаться понять, что происходило, чтобы случившееся ни в каком виде не повторилось вновь.

Ведь очень легко сказать: этот враг, а этот не враг. Но когда начинаешь задумываться... Я вообще считаю, что неправильно говорить, что были «мы» и «они». Нет, это все «мы». Но это предмет для художественного исследования и, конечно, научного.

Валерий Гавричкин

Александр Чаянов — гражданин и ученый

Имя этого человека вряд ли известно широкой массе читателей, как, впрочем, незнакомо оно и большинству специалистов, работающих над проблемами, изучению которых посвятил свою жизнь Александр Васильевич Чаянов.

В карточке отдела кадров НИИ основ социалистического земледелия (НИОСЗ) сам он написал о себе так:

«Родился в 1888 году. Окончил Москов. СХ Институт (ныне Тимиряз. СХ Академия) в 1910 году. Был два года аспирантом с 1910 года и год в научной заграничной командировке. С 1913 года работаю сначала в качестве доцента, а с 1918 года в качестве профессора ГСХА. Магистерский экзамен сдал в 1913 году. С 1919 по 1928 состоял директором Института СХ Экономии, ныне НИОСЗ. Работал на руководящих постах с. х. кооперации с 1915 по 1920 год, в 1921—1923 был членом коллегии Наркомзема РСФСР. Написал более 300 печатных листов, напечатанных по-русски, украински, немецки, японски, английски и французски. В настоящее время выходит книга «Организация крупного хозяйства эпохи социалистической реконструкции земледелия», около 30 печатных листов.

12 мая 1930 года».

Чаянов, как видим, заполнял карточку накануне XVI съезда партии. 21 июля 1930 года, через неделю после съезда, Чаянов был арестован. 3 октября 1937 года приговорен к расстрелу. Полтора года спустя приговор приведен в исполнение.

«Через минуту густой удар Полиелейного колокола загудел и пронесся над Москвой. Ему в октаву отозвались Кадаши, Никола Большой Крест, Зачатьевский монастырь —

и ростовский перезвон охватил всю Москву. Медные звуки, падающие с высоты на головы стихшей толпы, были подобны взмахам крыл какой-то неведомой птицы. Стихия ростовских звонов, окончив свой круг, постепенно вознеслась куда-то к облакам, а кремлевские колокола начали строгие гаммы рахманиновской литургии».

Даже несколько чаяновских строк из вышедшей еще в 1920 году книги «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» способны передать ощущение искрометности таланта их автора. А ведь он не писатель, хотя и был им: знатоки утверждают, что несколько его литературных работ, составивших самобытную «российскую Гофманиаду», послужили предтечей булгаковского «Мастера». Он не искусствовед, не поэт, не историк, хотя и в этом преуспевал. Он — ученый, экономист-аграрник.

И, надо думать, не за красоту стиля (хотя каждая чаяновская работа, а их известно более пятидесяти, отмечена особым изяществом) в 1967 году, в Париже, в Сорбонне, увидело свет первое восьмитомное собрание сочинений А. В. Чаянова. Зерно научного познания должно быть очень жизнеспособным, чтобы дать всходы во многих странах мира. А чаяновские работы изучаются в Венгрии, Англии, Японии, в Латинской Америке... У нас пока нет...

Но колокол времени пробил. Рахманиновская литургия, исполненная фантазией Чаянова, прозвучала и для него самого — его имя возвращено Отечеству. 16 июля 1987 года Военная коллегия Верховного Суда СССР полностью сняла с А. В. Чаянова и еще четырнадцати известных ученых-аграрников обвинения в принадлежности к так называемой «Трудовой крестьянской партии» (ТКП), якобы ставившей целью свержение Советской власти, связанной с руководителями контрреволюционных организаций.

Чаянов не был политиком в прямом значении этого слова. Но зрелая пора его научной мысли вознеслась на волне новой экономической политики, выработанной В. И. Лениным. Пересмотр этой политики и стал крахом Чаянова, предопределил его гибель.

Сегодня, на переломном этапе нашей истории, когда вся политическая жизнь и экономика страны переналаживаются на новый революционный курс, возвращение Чаянова — это не просто реабилитация его имени. Это и возвращение в жизнь его идей. В вводной главе второго издания книги «Основные идеи и формы сельскохозяйственной кооперации»,

вышедшей в 1927 году, Чаянов показывает нам эту деревню, имея перед собой задачу: как приобщить ее к цивилизации?

На протяжении всей своей жизни, исследуя этот жгучий вопрос в самых разных аспектах, Чаянов видел пути его решения в особой экономической природе трудовой крестьянской семьи и в присущей ей в силу этого способности вступать в кооперативные связи.

Если коротко, суть идеи, пронизывающей многие работы ученого, в следующем. Крестьянская семья — это прежде всего самостоятельная социально-экономическая ячейка, семейное трудовое предприятие, живущее по своим законам, отличающимся от законов капиталистического предприятия, основанного на наемном труде. В семейном хозяйстве крестьянин в одном лице и хозяин, и работник. Естественным регулятором многих процессов здесь является степень самоэксплуатации семьи. А цель производства не в извлечении прибыли, не столько в стремлении получить процент с вложенного капитала, сколько в удовлетворении потребности семьи. Иначе говоря, если капиталист «прогорает» в каком-то хозяйственном предприятии, то он стремится переместить капитал в другое, более прибыльное дело. Крестьянин же в такой ситуации увеличит трудовые затраты, а если это невозможно — снизит уровень потребления семьи. Словом, в трудовой крестьянской семье мы имеем дело с совершенно особенной социально-производственной ячейкой, которой «свойственны иные (чем капиталистическому предприятию. — **В. Г.**) мотивы хозяйственной деятельности и даже иное понимание выгодности».

Разумеется, выходя из полунатурального бытия, крестьянское хозяйство начинает все острее нуждаться в технике, кредитах, прогрессивных технологиях. С одной стороны, ему тесно на нескольких десятинах, но с другой — «чистота» биологических процессов при уходе за скотом и посевами требует и индивидуального внимания, ограничивает рост хозяйства вширь. Для каждой отрасли необходим свой оптимум — гласит чаяновская теория дифференциальных оптимумов. Когда тот или иной оптимум становится выше размеров крестьянского хозяйства, он способен «отщепляться» от него. Таким образом отдельные отрасли или операции кооперируются, выходя на уровень крупного производства. То есть, лишенное возможности, в отличие от промышленности, безгранично концентрироваться по горизонтали, сельское хозяйство способно концентрировать по вертикали один процесс за

другим. Иначе говоря, крестьяне, оставаясь хозяевами-работниками, но объединяя «отщепляющиеся» процессы и отрасли, совместно покупая средства производства, создавая машинные и сбытовые товарищества, случные пункты, племенные союзы, мелиоративные кооперативы, качественно преобразуют хозяйствование. Вся эта сеть превращается в систему общественного кооперативного хозяйства деревни. Здесь уже миром правит общественный капитал. Частные хозяйства при нем выполняют лишь некоторые процессы почти что на началах технического поручения.

Что это — строй цивилизованных кооператоров, необходимый для победы социализма в деревне, о котором писал В. И. Ленин? Похоже, что именно такой строй обосновывался в работах Чаянова. Труды его, несомненно, помогли Владимиру Ильичу при подготовке статьи «О кооперации» — в Кремлевской библиотеке Ильича и сейчас хранятся семь чаяновских книг, а также книга С. А. Клепикова со вступительной статьей Александра Васильевича. Даже будучи тяжело больным, Ильич не прекращал думать над разработкой тактики и стратегии нэпа и сердцевины ее — кооперативного движения.

Начиная с 1921 года уже миллионы крестьянских хозяйств практически на кооперативных началах пользовались кредитами, машинами, услугами по сбыту и переработке продуктов. К октябрю 1929 года уже насчитывалось 165 тысяч различных сельскохозяйственных товариществ, кооперацией было охвачено 55 процентов крестьянских хозяйств. «Теперь по размаху своей работы, — с гордостью писал Чаянов, — русская кооперация — первая в мире...»

Не без ее помощи начиная с 1923 года начался бурный рост посевных площадей и сельхозпроизводства в целом. В 1925 году валовой сбор зерна превысил уровень 1913 года на 11,6 процента, льна — на 12,6. Однако в конце двадцатых годов взгляд на кооперацию изменился...

Оставляя за неимением места многие события последующего времени, сразу обращусь к двум известным судебным процессам — над Промпартией в 1930 году и над «Союзным бюро меньшевиков» в 1931 году. Даже не к самим процессам, а к их, так сказать, «итогу».

Приговор по делу о Промпартии был суров, но затем по ходатайству осужденных смягчен, все остались живы, а главный из «руководителей» — Л. К. Рамзин стал впоследствии

даже лауреатом Сталинской премии. Приговор по делу «Союзного бюро» уже несравнимо мягче.

Третий процесс — над «Трудовой крестьянской партией», по делу которой был арестован Чаянов и сотни других, не состоялся вообще, однако «неосужденные» оказались наказанными самой высшей мерой. Не потому ли, что научные взгляды Чаянова никак не могли быть соотнесены с политической практикой в деревне тех лет?

Чаянова постоянно называли, да и сейчас еще кое-кто называет, противником коллективизации. Знакомство с его трудами показывает, что это вовсе не так. Не против коллективизации — против форм, в которых она нередко осуществлялась, был ученый, против сведения всего богатства кооперативных форм лишь к одной — к колхозу. Это при наших-то пространствах, при той многоукладности экономики, о которой писал Ленин, при разительных контрастах условий.

Постепенность перестройки деревни, основанная на экономическом интересе крестьян и на богатейшей гамме кооперативных связей, служащих этому интересу, — вот наш путь, считал Чаянов.

В «Кратком курсе кооперации» он писал: «Только опираясь на союзное, кооперативное начало обобществленного хозяйства, крестьянство может на своих полях и стойлах использовать все завоевания агрономической науки... сбросить со своих плеч бремя ростовщиков и скупщиков и твердыми шагами пойти в лучшее будущее... Тогда перед нами вырастет новая, невиданная доселе форма земледелия, построенная на принципе обобществления, совершенной техники и научной организации производства. Это будущее заставляет нас видеть там, где поверхностные наблюдатели видели только продажу масла и покупку плуга, будущий грандиозный социально-экономический переворот, превращающий распыленное стихийное крестьянское хозяйство в стройное хозяйственное целое, в новую систему организации земледелия, и вполне согласиться с мыслью предсмертной статьи Ленина о том, что развитие кооперации во многом совпадает с развитием социализма».

Написано это было в 1925 году. В декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства. Одновременно шла и индустриализация промышленности, отсосавшая в города миллионы крестьян. В том же году вторым изданием вышли чаяновские «Основные идеи и формы сельскохозяйственной кооперации», где

Чаянов прямо говорил: колхоз или земледельческая коммуна «...всегда будет слабее трудового кооперированного хозяйства, так как по своей структуре она принуждена будет организовывать в крупных формах не только те отрасли хозяйства, которые ей выгодно так организовать, но так же и те, в которых мелкое производство технически всегда более совершенно».

А вот это уже было понято как прямое выступление против колхозов. К тому же многие мировоззренческие позиции Чаянова брали начало от «народничества» лучшей его поры, от русских социалистов-утопистов. Вот вам и готовое клеймо, «представителя мелкобуржуазной, неонароднической школы», которого «ни в коей мере нельзя переубедить и заставить мыслить марксистски».

И не разглядели в суровой спешке времени, что за щедрым фейерверком идей, мыслей, слов, которые вполне могли обжечь их автора, стоял честный, чистый ученый, сердцем воспринявший и марксизм, и Октябрь, и идеалы социализма. Анализируя упрощенное деление деревни на кулака, середняка и бедняка, он в своих исследованиях глубже видел истинное ее расслоение и делил крестьян на шесть реально существовавших социальных групп, безоговорочно отдавая симпатии крестьянину-труженику. Исключая из кооперации кулака-«мироеда», как социально чуждый ей элемент, не видя возможности вовлечь в кооперативное сообщество сельского полупролетария, которому и кооперировать-то попросту говоря нечего, остальных крестьян Чаянов считал кровно заинтересованными в кооперации. Надо заметить, что для борьбы с кулачеством еще в июне 1918 года были созданы комбеды. Они отобрали у кулаков для бедняцких и середняцких хозяйств две трети принадлежащей кулакам земли, конфисковали другие средства производства. Материальная база кулачества была разрушена, а последующие три года довершили его разгром. К 1926 году 62,7 процента крестьянских хозяйств, получивших от Советской власти землю, были уже середняцкими.

Поэтому по меньшей мере удивление вызывает высказанное Сталиным в 1928 году утверждение, что 5 процентов крестьян страны являлись кулаками, из них 2—3 процента (это 500—700 тысяч дворов) — особенно зажиточные — подлежали индивидуальному налогообложению. Позднее он сказал, что в годы коллективизации были раскулачены миллионы человек. Выходит, в кулаки зачислялся и середняк, выходит,

лучшими производительными силами деревни обеспечивались эти цифры раскулачивания.

Экономически смысл всех этих действий, конечно, ясен. Индустриализация требовала средств. Их можно было взять в виде хлеба у крестьян, а 80 процентов его находилось у середняка. Ленинские идеи о продналоге пришлось фактически снова заменить продразверсткой.

Деревня отреагировала на это страшным ударом. В 1928 году, когда еще в единоличных хозяйствах было сосредоточено 97,6 процента посевных площадей и 99,5 процента скота, а общая посевная площадь не достигла довоенного уровня, страна превзошла по валовому производству сельхозпродуктов 1913 год на 24 процента — оно составило 71,9 миллиарда рублей. В 1940 году, когда площади посевов превысили 1928 год на 30,4 процента, а основные производственные фонды возросли почти в 12 раз, продукции было произведено лишь на 76,7 миллиарда рублей. При этом сокращение поголовья скота удалось приостановить только к 1933—1935 годам. Однако и в 1940 году крупного скота страна имела даже меньше, чем в 1930 году на 5,5 процента, коров — на 20, овец — на 22,1, лошадей — на 43 процента... Приводимые данные общеизвестны, они содержатся в статистических справочниках.

Иначе говоря, сельское хозяйство ступило на путь экстенсивного, крайне вялого развития. Конечно же, на фоне таких «успехов» Чаянов и другие экономисты-аграрники, которые не просто исповедовали идеи кооперации, но и оперировали расчетами их альтернативного осуществления, становились опасными.

Никто из них по собственной воле своих воззрений не менял. Тогда-то их и принудили к этому силой.

Признаюсь честно: услышав о покаянных письмах Чаянова, не осудил его — ясно ведь, что следовало бы за отказом. Но вот читаю последнее из таких писем. (Написано оно 12 декабря 1929 года — за неделю до Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, где Сталин, в частности, скажет пренебрежительно: «Непонятно только, почему антинаучные теории «советских» экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати...») Александр Васильевич, признавая собственные исторические прогнозы и воззрения на индивидуальное крестьянское хозяйство «грубой и реакционной ошибкой», завершает вдруг «признание» фразой: «В целом ряде статей я достаточно точно и определенно

выдвинул свои новые позиции, в полной мере совпадающие с генеральной линией социалистической реконструкции нашего народного хозяйства».

Прочел это, и сразу мелькнула мысль, что вот так покаяться — это по существу сказать галилеевское: а все же она вертится! Могучий его ум уже нацелился на осмысление ситуации, реально складывающейся.

Жаль, что до сих пор не найдена та самая работа, 30 печатных листов, о которой он упоминал в карточке отдела кадров — «Организация крупного хозяйства эпохи социалистической реконструкции земледелия». Но и из того, что дошло до нас, ясно вырисовывается направление чаяновской мысли. С одной стороны, он по достоинству оценил возможности крупных сельскохозяйственных предприятий, совхозов, зерновых фабрик, агрокомбинатов (немногие, наверное, знают, что в 1930 году их было создано более 300), преимуществ машинизированных технологий. А с другой — разглядел и их беды: уравниловку, поденщину, неравномерное распределение труда во времени, отсутствие оплаты по труду и личной заинтересованности в работе — то есть все то, с чем мы сталкиваемся сегодня. И уже тогда фактически сформулирована была Чаяновым идея о хозрасчетной природе социалистических сельскохозяйственных предприятий.

Или взять ту же проблему оптимального размера крупных хозяйств? Оптимум, утверждал ученый, заложен там, где «при прочих равных условиях себестоимость получаемых продуктов будет наименьшая». И предлагал простую, строго научную методику исчисления. Не нашли применения его теория вертикальной концентрации и разработки по агрокомбинатам, но, подхваченные во многих зарубежных странах, они оказались исключительно жизненными.

Нет, ни как ученый, ни как гражданин Чаянов не был сломлен, не сдался. Даже в этом смысле пример его — урок нам всем. Человек смертен, но дело, им исповедуемое, если, конечно, оно настоящее, — не умирает. Он исповедовал настоящее. Потому имя и научное наследие ученого сегодня принадлежит всему миру. Но прежде всего оно принадлежит нам.

Почти два десятилетия собирала, изучала наследие Чаянова и добивалась возвращения его имени народу группа советских ученых. Из богатства чаяновских идей три проблемы они считают первостепенно актуальными сегодня. Это — оптимизацию решений, приоритет человека и первичного трудового коллек-

тива на селе (помните чаяновское «хозяин-работник») и развитие кооперации во всех ее формах и во всей широте. Пришел черед радикального преобразования колхозов и совхозов — они должны трансформироваться «в кооперативы кооперативов», объединяющих самостоятельно, на хозрасчетной основе хозяйствующие первичные трудовые коллективы, семьи. Чаяновские идеи получают развитие и в создаваемых сейчас агрофирмах, агрокомбинатах, агрообъединениях, в производственных системах.

...29 января 1988 года отмечалось 100-летие со дня рождения Александра Васильевича Чаянова. В Госагропроме СССР состоялась научно-практическая конференция, посвященная его памяти. Имя и идеи выдающегося ученого-экономиста возвращаются народу...

Свои заметки-раздумья я начал строками чаяновского «Путешествия...» Цитатой из него и закончу.

«В прежнее время весьма наивно полагали, что управлять народнохозяйственной жизнью можно только распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая, приказывая и давая наряды. Словом, выполняя через безвольных исполнителей план народнохозяйственной жизни... Методы этого рода нами давно заброшены, как в свое время были брошены катапульты, тараны, телеграф»...

По воле автора, слова эти были сказаны герою утопической повести в... Москве 1984 года, то есть наших дней. Случайное совпадение или предвидение неизбежных перемен? Хотелось бы последнего.

Юрий Феофанов

Возвращение к правде

13 июня 1988 года Пленум Верховного Суда СССР отменил приговоры по делам Зиновьева — Каменева, Пятакова — Радека и их товарищей, осужденных в 1936 и 1937 годах.

Журналисты, заинтересованные не упустить это событие, давно уже перезванивались: «Будет? Когда? Не будет? Почему?» То есть будет ли реабилитация Зиновьева и Каменева, Пятакова и Радека — этими именами обозначены все еще оставшиеся в тени открытые процессы над «врагами» народа». Ведь Бухарина, Рыкова и их товарищей реабилитировали еще в феврале.

Не рискнул бы сказать, что «народ требовал» ответить на этот вопрос, но смело могу утверждать, что «общественность интересовалась». И дело тут не в праздном любопытстве. У нас ведь время тоже тревожное: когда нарушается предполагаемый ход восстановления правды, что-то стопорится, рождаются естественные сомнения: а будет ли она вообще восстанавливаться? Не маячит ли на горизонте сводная сестра Нины Андреевой?

И вот теперь этот акт состоялся. Отменены приговоры по тем делам. Поистине громким для того времени: все запечатлено в открытой печати. Запечатлено броско, резко, страшно. В 1934 году Сталин мог бы сказать о себе словами Бориса Годунова: достиг я высшей власти, такой абсолютной власти, когда «можно все» и когда «все» бесспорно получит одобрение — единодушное, всеобщее, без тени сомнения. Пресса показывает, как в тогдашнюю жизнь вползало нечто химерное, причудливо сплетенное из страха и энтузиазма, организованного поклонения и добровольного отречения от себя самого.

И раньше были одобрения или осуждения того, о чем ораторы на собраниях или авторы газетных откликов имели самое смутное представление. Если имели его вообще. И все-таки, пожалуй, после тридцать четвертого в обществе появилась эпидемия болезни, которую можно обозначить как «синдром толпы». Толпа, известно, живет по законам извращенной

диалектики: она неуправляема и в то же время легко направляется одним междометием — «ату его»; не имея убеждений, она тем не менее охвачена единым порывом; она может объединить на миг сотню людей и тут же распасться, но способна и разрастись до безграничности, и существовать годами...

Чтобы из общества сделать толпу, нужен был сильнейший, ошеломляющий, нокаутирующий удар. Нужно было чудовищное, оскорбляющее партию и страну преступление. И оно свершилось — 1 декабря 1934 года был убит Киров.

Кто убил? Уже 20 декабря расследование установило — Леонид Николаев по поручению террористического подпольного «ленинградского центра». «Эта антисоветская группа представляла собой замкнутую группу, потерявшую всякую надежду на поддержку масс...», говорилось в обвинительном акте. Суду было предано 14 человек, и все расстреляны в том же декабре.

Но все-таки кто убил? Очевидно, приговор по делу Николаева не дал ответа, который был нужен. И уже в январе 1935 года состоялся новый суд. Не над безвестным до того Николаевым, а над вчерашними вождями, крупнейшими деятелями революции — Зиновьевым, Каменевым и другими. Потом еще один суд над Каменевым, его братом и некоторыми другими — так называемое «Кремлевское дело». То была «проба пера», зондирующий общественное мнение шар: пройдет ли обвинение без улик, приговор без доказательств? Уже осуждена Промпартия, состоялось Шахтинское дело. Но там фигурировали мало известные стране люди. А теперь...

В обвинительном заключении было осторожно сказано: «Следствием не установлено фактов, которые дали бы основание предъявить членам «Московского центра» прямое обвинение в том, что они дали согласие или давали какие-либо указания по организации совершения террористического акта, направленного против т. Кирова». Фактов нет, но обвинительное заключение на 19 человек подписали зам. Прокурора СССР А. Вышинский, следователь по важнейшим делам при Прокуроре СССР Л. Шейнин. Утвердил — Прокурор Союза ССР И. Акулов. Приговор вынесла выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР — В. Ульрих, И. Матулевич, А. Горячев. Высокий суд тоже «не установил фактов», однако посчитал достаточным, что осужденные «знали о террористических настроениях «ленинградской группы» и сами разжигали эти настроения». За что: Зиновьеву — 10 лет, Каменеву —

5, остальным в этих пределах. С точки зрения права, не очень убедительно,.. но «проба пера» прошла.

Тем не менее полугласный процесс с приговором, исходящим не из фактов, а из неких неопределенностей, очевидно, не устраивал. Хотя, понятно, получил всеобщее одобрение. Судя по всему, требовался ослепительный спектакль с фейерверком. И в августе 1936-го грянул первый из знаменитых «московских процессов» — открытых, гласных, происходивших в Доме союзов при переполненном зале, в котором занимала места и иностранная пресса. Соблюдались все формы судопроизводства. Подсудимые — те же Каменев, Зиновьев и еще 14 человек — публично давали показания, прокурор Вышинский вел допрос, обращаясь на «вы». Это было дело «Объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Расстреляли всех. Под приговором подписи — В. Ульрих, И. Матулевич, И. Никитченко.

Нет нужды рассказывать, как проходил сам процесс, — точно так же, как следующий за ним в 1937 году по делу «Параллельного антисоветского центра» — Пятакова — Радека, как последний открытый суд в 1938-м над Бухариным, Рыковым и их товарищами. Подробности последнего процесса печать осветила достаточно полно, с деталями, цитатами и оценками. Поэтому рассказывать о других процессах — значит, просто повторяться. Все то же, только на первом процессе не было еще обвинений в шпионаже. До этого еще не дошли. Но уже подходили близко, ибо имели безоговорочную поддержку общественным мнением практически любой акции: единодушно одобрялось все, идущее сверху.

15 августа 1936 года в «Известиях» на второй полосе в правом верхнем углу появилось лаконичное сообщение «В Прокуратуре СССР». Просто сообщение, что Каменев, Зиновьев и другие предаются суду. Но сразу же во всех газетах — «гнев трудящихся»: «никакой пощады врагам», «уничтожить гадов» и т. п. Резолюции выносят митинги рабочих, колхозников, ученых, деятелей культуры; партактивы и общие собрания; отдельные наиболее выдающиеся граждане подписывают единоличные и коллективные письма с выражением преданности товарищу Сталину. Еще нет показаний обвиняемых, нет приговора, но «массы» уже пылают злым энтузиазмом. Общество превратилось в толпу. Степень искренности всех этих резолюций с требованием уничтожить? Не знаю, не могу ничего утверждать. Но разве толпа не искренна в своем диком порыве?

Вся эта кампания происходила тогда, когда страна обсуждала проект Конституции, уже названной «Сталинской». Неумолкаемое радио утверждало, что нет другой страны на свете, «где так вольно дышит человек». В «Известиях» статья под названием «Неприкосновенность личности»: судьям и прокурорам надо «сперва расследовать, потом арестовывать», «рано или поздно должен быть поставлен вопрос о допущении защиты на предварительном следствии», упоминался даже «habeus corpus act» — документ, обосновавший презумпцию невиновности за много веков до этого. Читали статью. И тут же требовали «уничтожить гадов», хотя суд и не начался.

Двойная мораль насаждалась грубо, настойчиво, масштабно. О праве мало кто думал. Право слилось в сознании со всегда справедливыми акциями «органов».

Но вот парадокс. На третий день процесса «Известия» публикуют: **«Из Парижа. Председателю Совнаркома. Несмотря на то, что обвиняемые — Зиновьев и его товарищи — всегда были злейшими врагами Социалистического интернационала и Международной федерации профсоюзов, мы не можем воздержаться от просьбы, чтобы им были обеспечены все судебные гарантии, чтобы им было разрешено иметь защитников, совершенно независимых от правительства, чтобы им не был вынесен смертный приговор и чтобы, во всяком случае, не применялась какая-либо процедура, исключающая возможность апелляции. Председатель Социнтерна Де-Брукер. Председатель Международной федерации профсоюзов Ситрин».**

Наивные люди! Они не могли уразуметь, что происходит. И, понятно, тут же получили достойный отпор — «адвокатов троцкистско-зиновьевских убийц к позорному столбу», так он, отпор, назывался. Эта публикация, кажется, могла бы чуть отрезвить. Но разве ажиотаж слушает «голос разума»? К тому же, говоря о гарантиях, защитниках и апелляциях, те, наивные из Парижа, просто не знали, что по «линии права» к 1 декабря 1934 года была проведена необходимая подготовка. Думаю, интересно и сейчас с ней познакомиться.

10 июля того года ОГПУ было реорганизовано в НКВД и при нем создан внесудебный орган — Особое совещание. В его состав введен Прокурор СССР. Тут тебе и «меч закона», и «надзор» за ним. В день убийства Кирова, 1 декабря 1934 года, Президиум ЦИК СССР принимает постановление «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов». В тот же день! Верх оперативности? За такой срок разработать юридический документ? Или особый дар

предвидения событий? Но факт тот, что документ появился, и он устанавливал невиданный дотоле «порядок». До 10 суток срок следствия; вручение обвинительного заключения за сутки до суда, исключение из процесса «сторон» — прокурора и адвоката; отмена кассационного обжалования и даже просьбы о помиловании — немедленный расстрел. (В 1937 году такой же порядок введут по делам о вредительстве и диверсиях. Но и этих упрощений оказалось мало. По предложению Кагановича введено внесудебное рассмотрение дел с применением высшей меры, а Молотов, учитывая большое количество дел, предложил вообще «судить» и расстреливать по спискам.)

Понятно, шла и подготовка «общественного мнения». Сначала оппозиция была «идейно разгромлена», ее главнейших деятелей сняли с постов, исключили из партии. Потом они покаялись, и к ним отнеслись великодушно: в 1933 году Зиновьева и Каменева восстановили даже в партии.

После всего этого комедия открытых судов должна была явить миру объективность и справедливость. Подсудимые имели «возможность» давать показания перед всем миром. Устроителей занимали и «процессуальные вопросы». Во время суда над Зиновьевым и Каменевым просто дали решительный отпор «непрошенным адвокатам». А в обвинительной речи на процессе Пятакова — Радека Вышинский уже целый раздел озаглавил «Процедурные вопросы». Он всячески доказывал, будто следствие шло корректно, а суд соблюдал все нормы права. Этот свой пассаж Вышинский перед тем подкрепил показаниями самих же обвиняемых.

Из стенограммы допроса Норкина (он во всем признался):

В. Может быть, на вас нажали! Как вы вообще содержались, условия камерного содержания!

Н. Очень хорошие. Вы спрашиваете о внешнем давлении!

В. Да.

Н. Никакого давления не было.

В. Можно лишить человека хорошего питания. Лишить сна. Мы это знаем из истории капиталистических тюрем. Папирос можно лишить.

Н. Ничего похожего не было. Я понял безнадежность борьбы и понял необходимость выявления всего этого дела.

Вряд ли история юриспруденции знает примеры такого единомыслия и сотрудничества обвинителя и обвиняемого. И в который уж раз возникает вопрос: почему на открытом суде они признавались в полной галиматье? (Правда, И. Н. Смирнов, проходивший по первому процессу, так и не

дал нужных признаний; отверг шпионаж и Бухарин.) Упорно держится версия: то были спектакли с подставными лицами. Я слышал даже о том, будто во время суда у «Бухарина отваливалась бородка». Версия привлекательна, ибо все легко объясняет. Но зададим себе вопрос: пошел бы на подставных лиц Сталин?

Об этом человеке сейчас много пишут. И о его кровавых делах, и о созданной им системе, и о «феномене Сталина», «загадке Сталина», разбирают по косточкам его дела и личность. Из всего, что мы теперь знаем, вряд ли можно допустить, чтобы он согласился на спектакль с подставными лицами. Ему нужно было официальное торжество, унижение бывших оппонентов до полного их морального уничтожения, нужна была месть и созерцание того, как корчатся жертвы в огне его мести. Мне думается, иное объяснение было бы нелогичным. Просто убить? К этому он придет потом, когда будет уничтожать без разбора, в массовом порядке. Заработает репрессивный механизм, действующий по программе своего творца, без его прямого участия. Мог ли он знать тысячи и тысячи его жертв?

Этих он знал лично. То были оппоненты, над которыми он взял верх в дискуссии. Ну, и, естественно, одержал победу за власть. Так мог ли он лишить себя мига торжества?

Двадцатые годы, после отхода от дел и смерти Ленина, были наполнены в верхах партии и государства, конечно, борьбой за влияние и власть. Сначала Зиновьев, Каменев, Сталин против Троцкого; потом Сталин и Бухарин — против Троцкого, Зиновьева и Каменева; а уж потом Сталин — против своего верного союзника Бухарина. Прочитайте стенограммы съездов — там все как на ладони. Официально дискутировали не о личной власти: о возможности построения социализма в одной стране, о путях такого строительства, о перспективах мировой революции, о нэпе, о понимании ленинизма и т. д. и т. п. Кого и в какой степени занимало само существо вопросов, ответить — удел историков. Но нетрудно проследить линии: каждый из соперников Сталина отстаивал свою концепцию, чтобы она вывела его в лидеры. Сталин готов был взять любую программу, лишь бы достичь абсолютной власти. Разгромив создателя теории «винтиков» и «закручивания гаек», он спокойно превратил его теорию в свою практику.

Он все помнил и не был способен прощать. Став вождем, он вряд ли не вспомнил слова Каменева, произнесенные с трибуны XIV съезда партии:

— Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать «вождя». Мы против того, чтобы Секретариат, фактически объединяя и политику, и организацию, стоял над политическим органом. Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластное Политбюро... Я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба.

Подобное высказывание, кстати, тогда не было чем-то необычным. Этого не стеснялись, это было нормой. Странным бы казалось иное: смотреть в рот вождям, угадывать, какое мнение им будет по душе. Ленин был страстный полемист. Мы это знаем по его речам, репликам, запискам. Они свидетельствуют о ленинской терпимости к взглядам других. Он уничтожающе резко осуждал фракционную борьбу, но уважал аргументы даже врагов. Цитируя Ленина, мы делаем это частенько вне контекста других слов и самой ситуации, упускаем из виду полемический задор и горячность спора. У Ленина можно найти «надо расстрелять», «бюрократа посадить» и т. д. Но было бы кощунственно говорить, что Ленин был за внесудебные расправы. В живом споре он же говорил не для законопроектов и даже не для газетных передовиц. И другие его соратники, оппоненты и противники были столь же резки. Они спорили яростно, имея в виду не оценку в будущем их слов, а сегодняшнее дело. Вспомним «Брестский конфликт», введение нэпа, национальный вопрос и многое другое.

И в горячечном бредовом сне никто из них и предположить не мог, что итоги дискуссий о путях строительства партии, государства, социализма будут подводиться на судебных процессах, когда нет даже права на защиту и права на правду. И не только у подсудимых. Это право отняли у самого общества и тем, как я уже рискнул сказать, превратили его в толпу, обуреваемую энтузиазмом без мысли, без чувства — лишь с экстазом поклонения божеству. И сколько еще будет таких взвинченных кампаний!

Увы, экстазу поддавались достойные по всем параметрам люди. Хворост в костер подбрасывали завтрашние жертвы. Приведу один лишь эпизод из 1936 года.

В предпоследний день процесса, 21 августа, Карл Радек написал большую статью «Троцкистско-зиновьевская фашистская банда и ее гетман — Троцкий». Там есть и такие слова: «Дело разбирается в присутствии сотен людей, десятков иностранных корреспондентов, и никто, не потерявший ума, не

поверит, что обвиняемые клевещут на себя...». Каково же на другой день было автору читать в той же газете заявление Вышинского о том, что сделано распоряжение начать расследование о Томском, Рыкове, Бухарине, Радеке, Пятакове? А через год точно так же клеветать на себя? И выслушивать от Вышинского цитаты из собственных статей, клеймящих «врагов народа»?

Жуткое время — мечты о светлом будущем и единодушные одобрения кровавых расправ.

В такой атмосфере «вершилось правосудие». Мы теперь возвращаемся в то время, стараемся понять его и переоценить. Но, думаю, делаем это крайне непоследовательно, как-то судорожно, все еще не хотим взглянуть правде в глаза. Всей правде! Например, Бухарин, Рыков, Тухачевский, Вавилов и многие другие в глазах общества были реабилитированы задолго до того, как состоялись официальные акты, сейчас все уже знают, что Николай Иванович Бухарин был другом Ленина, любимцем партии и ее крупнейшим теоретиком. Фигуры Рыкова, осужденного вместе с ним Пятакова, главного обвиняемого на втором «московском процессе», десятки других крупнейших деятелей сомнений в общем не вызывают. Их реабилитация — говорю о своих, по крайней мере, ощущениях — воспринимается как восстановление чести и имени «чистых жертв» сталинского произвола.

А вот Зиновьев и Каменев, осужденные первыми на процессе 1935 и 1936 годов? Они кто? Они — оппозиционеры. И это действительно так: они выступали со своими особыми взглядами на важнейшие проблемы развития революции. После смерти Ленина, как считалось, да и сейчас еще считается, они были против «генеральной линии», отошли от ленинизма и скатились к троцкизму. Боролись с «ленинским ЦК». Большинство осудило их фракционную борьбу и тем как бы предопределило, оправдало их обвинение, уже юридическое, в немыслимых преступлениях. Давно никто не верит, что они были террористами и убийцами Кирова. А вот в том, что это были честные революционеры, преданные идеям социализма, и никакие не враги партии и государства, — в этом, по-моему, еще сомневаются. Не во всем том, мол, в чем обвиняли их, виноваты, но все же виноваты, хотя бы «вообще».

Кандидат философских наук Г. Матвеец 30 апреля нынешнего года в письме, опубликованном «Советской культурой», в ответ на ранее напечатанную статью с наивностью довоенного школьника упрекает автора: **«Как должно быть известно**

(подчеркнуто мной. — **Ю. Ф.**) доктору наук, троцкисты, зиновьевцы, превратились в контрреволюционную оппозицию, которая... пошла на антипартийные, антисоветские акции...»

Какие же такие антисоветские, т. е. противогосударственные акции? Их нет и не было. Почему борьба против линии Сталина считается антипартийной? И в чем антипартийность? Кандидату наук **должно бы быть известно**, что нельзя обвинять, не имея на руках улик. Впрочем, никаких улик не было в 1936 году у Вышинского. Когда-то открыто высказанное мнение, отличное от официальной линии, предопределяло судьбы в условиях нетерпимости сталинского единовластия. Раз другое мнение — значит, еретик, значит, достоин костра. Но сейчас-то зачем раздувать уже потухший костер?

Кандидат философских наук имеет право на любое аргументированное мнение о позиции сподвижников Ленина. Но вот это — «как известно»...

А, собственно, известно ли, кем были оппозиционеры?

Мне хотелось познакомить читателей с основными фигурами первого из «московских процессов», с теми, над кем до сих пор не рассеяны тучи сомнений. О ком, как видите, до сих пор говорят как о персонах во всех отношениях подозрительных.

Григорий Евсеевич Зиновьев и Лев Борисович Каменев рано вступили на путь революционной борьбы и до кончины Ленина были с ним. Опущу их предреволюционные биографии: они безупречны. Упомяну лишь всем известный факт: накануне Октября они выступили в открытой печати с предостережением о риске восстания. Ленин гневно осудил этот поступок, употребив даже слово «штрейкбрехеры». Но какой вывод он из этого сделал? Лучше всего на это ответят факты.

Избранный в октябре 1917 года членом Политбюро ЦК партии, Зиновьев им и остается после победы. В ноябре едет на Украину для организации борьбы против Рады. Возглавляет Петроградский Совет. В январе 1918-го встает во главе комитета Революционной обороны Петрограда, в феврале становится председателем Совнаркома Петроградской Трудовой Коммуны. Во время Брестского конфликта твердо занимал ленинскую позицию. Позже — организатор обороны Красного Питера от Юденича — член РВС 7-й армии. В 1919 году Зиновьев — председатель исполкома Коммунистического интернационала — это на 10 лет станет его основной работой. На XII и XIII съездах партии выступает с политическими отчетами ЦК.

Л. Б. Каменев перед Октябрем — член ЦК партии и один из редакторов «Правды». Не кто иной, как Каменев, открывает II съезд Советов, провозгласивший Советскую власть, и становится первым Председателем ЦИК РСФСР. В связи с включением в делегацию для Брестских переговоров сдает эту должность Свердлову. 1918 г. — председатель Моссовета; 1919 г. — чрезвычайный уполномоченный Совета Обороны на фронтах гражданской войны. 1922 г. — заместитель председателя Совнаркома, а после смерти Ленина — Председатель Совета Труда и Обороны. Дополнительный том к Энциклопедическому словарю Гранат — издание, пожалуй, можно считать еще объективным — свидетельствует: «Во время своей болезни В. И. передал К. свой личный архив, из которого впоследствии вырос и развернулся институт В. И. Ленина, директором которого и состоит К.».

Те полувековой давности процессы и, главное, все, что было вокруг них, — это сегодняшняя злоба дня. Мы учимся демократии, овладеваем правилами политических дискуссий тоже во время напряженной борьбы. Наши предшественники — люди двадцатых годов — не сумели овладеть положением и получили тридцатые годы, сгорели сами в огне репрессий. Они исповедовали нетерпимость к мнению оппонентов и породили террор — физический и моральный. Подавление оставшихся в меньшинстве привело к тому, что один растоптал большинство. А отсутствие самого понятия о праве на личное мнение создало тот дикий «синдром толпы», который освещал именем народа любой произвол.

Словом, над дискуссиями о путях строительства социализма надолго была подведена черта. Они возобновились сейчас, более чем полвека спустя — и с того же места: о путях развития революции, о роли партии, о месте «вождя». И о трагических фигурах, коим полвека спустя государство, которое они создавали и которое «упустили», возвращает и честь и имя.

Верховный Суд, естественно, не рассматривал «партийное лицо» реабилитированных граждан, не оценивал их правоту или неправоту в давних спорах. Но сказал ясно: перед законом, государством, народом они не виноваты.

Дискуссию о путях строительства социализма мы возобновили сегодня. Поэтому так современно все, что было вчера. Дискуссии ведь только-только начались...

М. Степичев

Встань за правду

Эта история — нелегкая, но хочется начать ее олтимистично, словами Константина Симонова: «Был у майора Деева товарищ — майор Петров, дружили еще с гражданской, еще с двадцатых годов. Вместе рубали белых шашками на скаку, вместе лотом служили...» И логоворка у них была лаконичная и предельно ясная: «... на свете два раза не умирать».

Так поначалу сложилась жизнь и у друзей-конников Виктора Ильина и Бориса Теплинского. Ничего, что звания у них были разные, но в революцию шли в одном солдатском строю. Их объединяли общность взглядов на жизнь и преданность делу рабочего класса.

В июле 1920 года под Белостоком от разрыва артиллерийского снаряда выпал из седла политбоец отдельного эскадрона третьего кавкорпуса Виктор Ильин. Его доставили в госпиталь города Вильно, а затем перевезли в Петроград. Казалось, все: вышибли из седла парня. Но не сдался конармеец Ильин. И спустя некоторое время, после излечения, он снова сидел в седле, став курсантом Елизаветградских кавкурсов, а позже курсантом военно-политической школы МВО. После окончания школы Ильин был назначен политруком эскадрона кавполка дивизии особого назначения при коллегии ОГПУ.

Вскоре их служебные дороги разошлись. Виктора Николаевича Ильина по зрению уволили в запас из армии, и он приступил к работе в ВСНХ. В 1933 году ЦК направил его в органы госбезопасности.

Его друг окончил Академию Генштаба и был оставлен в ней адъюнктом на кафедре авиации. Затем был начальником оперативного отдела ВВС Сибирского военного округа. Когда началась Великая Отечественная война, генерал Теплинский просится на фронт. В Москву посылал рапорт за рапортом. Но все бесполезно. В письме Ильину он изливает свои чувства: «Виктор, я несколько раз посылал руководству ВВС рапорта и просил направить меня на фронт. Но ни привета,

ни ответа. Горю неистребимым желанием громить гитлеровцев, посягнувших на нашу Отчизну».

Как-то раз начальник управления НКВД Абакумов попросил Ильина зайти. Ильин знал Абакумова еще в то время, когда тот работал пом. оперуполномоченного ГУЛАГа. Потом оказался в следственной группе, где и отличился умением фабриковать «дела» на невинных людей, «добывать» у арестованных любые нужные начальству признания.

— Знаешь Теплинского? — с ходу спросил Абакумов.

— Знаю.

— Откуда?

— Это мой товарищ. Вместе служили в армии. Я рекомендовал его в партию.

— А знаешь ли ты, что он тебе пишет одно, а сам думает о другом? — мрачно заметил Абакумов. Неожиданно хозяин кабинета достал из папки фотокарточку и сказал: — Вот его лицо. Лицо, которое не вызывает доверия.

— Для такого заключения одного выражения лица мало... Я не верю, чтобы Теплинский мог допустить что-то нехорошее, — твердо заявил Ильин. — Он надежный партийный товарищ. Активный участник гражданской войны. Имеет три ранения. Патриот до мозга костей. За каждое свое слово отвечаю перед партией...

Абакумов резко встал и заговорил тоном приказа:

— Прекрати связь с ним. Но так, чтобы он ничего не заподозрил. Не смей ему говорить ничего о нашем разговоре. Ни единого слова!

Видя, что Ильин не уходит, Абакумов спросил:

— Ты что-то хочешь сказать?

Ильину было ясно, что сегодня разговор не получится, ситуация складывается трудная, но он не мог даже в этот критический момент отступить ни на йоту от правды.

— Бориса Теплинского я знаю лучше тебя.

— Лучше меня? — вспыхнул Абакумов. — Не забывайся, комиссар госбезопасности.

Было уже поздно, но он решил пешком пройтись до дому. Ясно одно: над Теплинским нависла угроза. За что? И чем больше думал в тот вечер, тем больше утверждался в мысли: нет, не может он отшатнуться от друга, предать товарища, верного бойца революции.

29 апреля 1943 года Теплинский позвонил Виктору на работу и сообщил, что его вызывают к начальнику отдела кадров ВВС. После этого Теплинский не вернулся на квартиру. Потом

выяснилось, что сам Абакумов арестовал генерала, привез в свой кабинет и, сорвав с него погоны, приказал «обрядить» в старые солдатские гимнастерку и брюки.

На другой день зам. наркома Кобулов предложил Ильину дать письменное объяснение, почему он не только игнорировал указание Абакумова порвать связь с Теплинским, но и привез его к себе на квартиру. Ильин дал такое объяснение и в конце его заключил: «Я написал все. Добавить больше нечего. Если бы все это повторилось снова, я поступил бы точно таким же образом».

3 мая 1943 года вечером Ильина вызвали к Меркулову. Здесь уже сидел Абакумов. В томительной тишине Меркулов внимательно читал какую-то бумагу. Наконец закончил чтение, вернул листы Абакумову и, обращаясь к Ильину, глухо произнес:

— Получено указание о твоем аресте.

— Неужели сейчас, когда идет жесточайшая битва на фронте, я нужнее в лагерях, а не на передовой? — сказал Ильин.

Ему не ответили.

После звонка Меркулова в кабинет вошел начальник внутренней тюрьмы и увел Ильина в камеру-одиночку.

С усердием следствие занялось «созданием» дела на Ильина—Теплинского. Его было поручено вести Лихачеву и Соколову. Они пользовались особым доверием Абакумова.

Сначала Соколов добивался у Ильина самооговора и дачи ложных, клеветнических показаний. Не удалось. Занялись политической компрометацией Ильина как члена партии и чекиста. В свое время Ильин дал Теплинскому рекомендацию для вступления в кандидаты партии. Потом написал партийный отзыв, когда Теплинского назначили начальником оперативного отдела ВВС. Следователи представили дело так: Ильин, давая свои рекомендации, якобы не только знал о троцкистских взглядах и высказываниях Теплинского, но и сам принимал участие в этих разговорах. Ильин возражал:

— Это — ложь! Я отказываюсь отвечать на провокационные вопросы.

Следователи вынудили Теплинского признать факт участия Ильина в разговоре Теплинского со своим товарищем по академии, когда они с троцкистских позиций критиковали политику ЦК, а Ильин с ними не соглашался и защищал политику, проводимую ЦК партии. Необоснованно принимая на

себя удар, Теплинский этим хотел спасти Ильина, облегчить его участь.

На очной ставке Виктор Николаевич твердо и доказательно заявил:

— Теплинский клевещет на себя, на своего товарища и на меня. Такого разговора не было. И не могло быть!

Очную ставку прервали, и Соколов грубо вытолкнул Ильина из кабинета. Теплинский, поняв, что его обманули следователи, полностью отказался от своих показаний... И ничто уже, даже применение средств физического воздействия, не помогло следователям добиться, чтобы Теплинский повторил свои ложные показания.

После очной ставки, идя по узкому, темноватому коридору, Ильин думал, что этот разговор, видимо, приблизит развязку. Шедший рядом следователь, словно угадав мысли, сказал:

— Что вы упрямитесь?

— Это не упрямство, а борьба за истину.

— Все равно ведь конец...

— У каждого он будет, — заметил Ильин. — Но еще посмотрим, у кого раньше.

— Посмотрим.

Четыре года держали Ильина в одиночном заключении. В длинные мрачные вечера и ночи он обдумывал происходящее. Жизнь давила своей неизвестностью, несправедливостью. Ильин не боялся, что «черный буран» своим крылом захватит и его. Сколько людей уже погибло в этом «смерче». Среди них и чекисты-дзержинцы, которые не шли на сделку с партийной совестью, не отступали от правды.

Когда ночью в коридоре раздавался лязг соседней камерной двери и вскоре слышался скрип сапог выходящего человека, он знал, что опять повели на допрос Бориса Львовича. На скрип его сапог он обратил внимание еще тогда, на аэродроме. Сейчас шаг его неровный, с аритмией. Как оказалось, недавно в тюрьме он перенес инфаркт. Сколько испытал, но ничто не сломило волю коммуниста. Не скрепил своей подписью ни грамма неправды. Счастье, когда имеешь такого друга, какой в самую трудную минуту, рискуя жизнью, в бою заслоняет тебя своей грудью. В трудной и тяжкой борьбе друзья не подписали себе приговора, сражались до последнего.

И победили.

Шел 1952 год. Однажды утром Ильина перевезли в Бутыр-

скую тюрьму и там освободили из заключения. Весьма странным Ильину показалось решение особого совещания, которым был оформлен срок 8 лет и 10 месяцев. И все. То есть столько, сколько он пробыл, находясь под следствием.

Хотелось скорее забыть этот кошмар. Уехал в Рязань, занимался строительством двух заводов.

Вскоре Ильин пережил огромную радость: встретил на свободе в городе Щербакове Бориса Львовича Теплинского. Исхудавшего, прихрамывающего. Они обнялись. Два взрослых человека стояли и плакали. А когда волнение стихло, Борис Львович достал из стола и дрожащими руками протянул товарищу документ, в котором было сказано всего несколько слов:«Приговор Военной коллегии от 27 марта 1952 года в отношении Теплинского Б. Л. в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отменить, и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

Теплинский переехал в Москву, ему было возвращено воинское звание — генерал авиации. Занялся разработкой важнейших авиационных проблем. Эти мысли нашли отражение в его работе «Об особенностях взаимодействия авиации с наземными войсками и о роли авиации в современной войне», изданной в 1965 году. Фамилия его в сборнике стояла рядом с такими авторами, как М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. С. Каменев, А. И. Егоров, Б. М. Шапошников, и другими видными специалистами.

В партийном органе Ильину дали копию письма, написанного Б. Л. Теплинским. В нем, как звуки колокола, звучали слова: «Я считаю долгом своей совести заявить, что та ленинская партийность, верность нашей дружбе, которые проявил Ильин в течение пережитых нами обоими страшных девяти лет, является одним из самых высоких проявлений человеческого духа и относится к тем качествам, которыми может гордиться каждый подлинно советский человек».

...Мы встретились с Виктором Николаевичем Ильиным в просторной комнате, заполненной книгами. Стройный, подтянутый, с добрым взглядом. Словно и нет за плечами восьмидесяти четырех лет. Почти четверть века его деятельности связана с Союзом писателей. Много сил отдал Ильин Московской писательской организации.

Только по одним автографам на авторских экземплярах книг — теплых, дружественных, подаренных Виктору Николаевичу, — можно видеть, как писатели высоко оценивают труд

В. Н. Ильина, широкий диапазон его лучших человеческих качеств. Возьмем для примера слова двух писателей.

«Дорогой друг, Виктор Николаевич, поздравляю Вас, чуткого, талантливого организатора нашей писательской жизни. Благодарю за все хорошее. Будьте здоровы, счастливы. Ваш Федин».

«Мне хочется сказать Вам о том глубочайшем уважении, — написал К. Симонов, — которое я испытываю к Вам, к тому огромному труду, который Вы вложили и продолжаете вкладывать в наше нелегкое общественное и писательское дело... Вы настоящий человек, человек, отдающий себя людям... Живите подольше и подольше работайте вместе с нами — я очень этого хочу, любя Вас и любя то дело, которое Вы делаете».

И вот еще отзыв.

...В начале 1949 года в одной из камер тюрьмы появился новый заключенный А. Гонтарь. Здесь уже находился В. Н. Ильин. Познакомились.

«Первое время, — рассказывает А. Гонтарь, — я, по правде говоря, растерялся. Мне казалось, что выхода из этих стен нет... Но моим счастьем в этих невероятных условиях было то, что моим соседом по камере оказался Виктор Николаевич. Он понял мое состояние и убеждал меня: «Не оговаривай себя и не оговаривай других; правда восторжествует. Ты коммунист и не имеешь права поступать против совести. Я сам чекист и нахожусь здесь потому, что не хотел поступиться совестью...» Почти целый год я просидел с Виктором Ильиным в одной камере, и этот человек стал для меня примером коммуниста, который ни на минуту не переставал верить в справедливость ленинской партии.

В архивах Союза писателей найдутся копии документов за подписью Ильина, в которых он ходатайствовал перед Военной коллегией Верховного Суда о моей реабилитации. Я находился еще в лагере, когда Виктор Николаевич разыскал мою семью и нашел для нее слова утешения. Мне известно, что он помог в реабилитации семьи поэта И. Фефера.

Не случайно одно из первых моих стихотворений после реабилитации было посвящено В. Н. Ильину. Оно заканчивается словами:

Меня рукопожатие
спасло
В минуту одиночества
большого!

Это стихотворение опубликовано в моем сборнике «Серебряные нити».

Член КПСС с 1940 года.

Член Союза писателей».

* *
*

...Разные были у него встречи. Но эту трудно было даже представить.

— Однажды позвонил завкадрами и попросил меня познакомиться с человеком, который просится на работу, — рассказывает В. Н. Ильин. — Я ответил — пусть, мол, заходит. В кабинет влетел человек и с ходу разложил на моем столе свои документы. «А мы, по-моему, знакомы», — сказал я.

Они знали друг друга. Посетитель поднял глаза, побледнел, быстро собрал со стола бумаги и мгновенно исчез... То был бывший следователь Соколов. Где-то живет рядом.

Реабилитирован посмертно. Вып. 1, 2. — 2-е изд. — М.:
Р 36 Юрид. лит., 1989. — 576 с. — (серия «Возвращение к правде»).
ISBN 5-7260-0281-4

В первый и второй выпуски сборника включены опубликованные в периодической печати в последние годы материалы, рассказывающие о трагических судьбах миллионов советских людей, в том числе видных деятелей партии, крупнейших военачальников, ученых, врачей, представителей творческой интеллигенции, подвергшихся репрессиям, об атмосфере беззакония, в которой проходили судебные процессы тридцатых годов.

Сюда вошли также обзорные статьи, посвященные заседаниям Пленумов Верховного Суда СССР по рассмотрению реабилитационных дел в отношении лиц, незаконно репрессированных во времена культа личности Сталина.

Для широкого круга читателей.

Р $\frac{1203010000—107}{012(01)—89}$ без объявл. 67.3

ISBN 5-7260-0281-4

РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО

Выпуск первый — «Возвращение к правде»

Выпуск второй — «Возвращение к правде»

Редактор С. А. Панов
Оформление и художественное редактирование А. Б. Боброва
Технический редактор Н. Л. Федорова
Корректоры А. В. Ванькова, М. В. Сладкина

ИБ № 2299
Научно-популярное издание

Сдано в набор 5.05.89. Подписано в печать 10.08.89. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура журнальн. рубленая. Печать высокая. Объем: усл. печ. л. 30,24; усл. кр.-отт. 30,24; учет.-изд. л. 32,77. Тираж 100 000 экз. Заказ № 305. Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Юридическая литература», 121069, Москва,

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ПРАВДА
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
ПРИГОВОР
ПОДЛАЯ БАНДА УБИЙЦ И ШПИОНОВ
Допрос подсудимого Левина
ДРУГОГО ПРИГОВОРА И БЫТЬ НЕ МОГЛО
Мы шлем проклятие наймитам фашизма
С 38-ГО
ЗИМОВЩИКИ СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» — ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Приветствие товарищу Сталину
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ — ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО
Сегодня трудящиеся
победителей арктичес
замечательных сынов со
Иван Папанин, Эрн
ступят на землю Советс
Пламенный
15 МАРТА
УД ВЫПОЛНИЛ ВОЛЮ

Проверка дела показала,
что материалы
были сфальсифицированы.
Преступная
лицами, привлеченными
не создавалась,

по нему

организация

к ответственности,

антисоветской деятельностью

они не занимались.

Обвинения,

выдвинутые против этих лиц,

были

необоснованными.

1 р. 70 к.

«Юридическая литература»